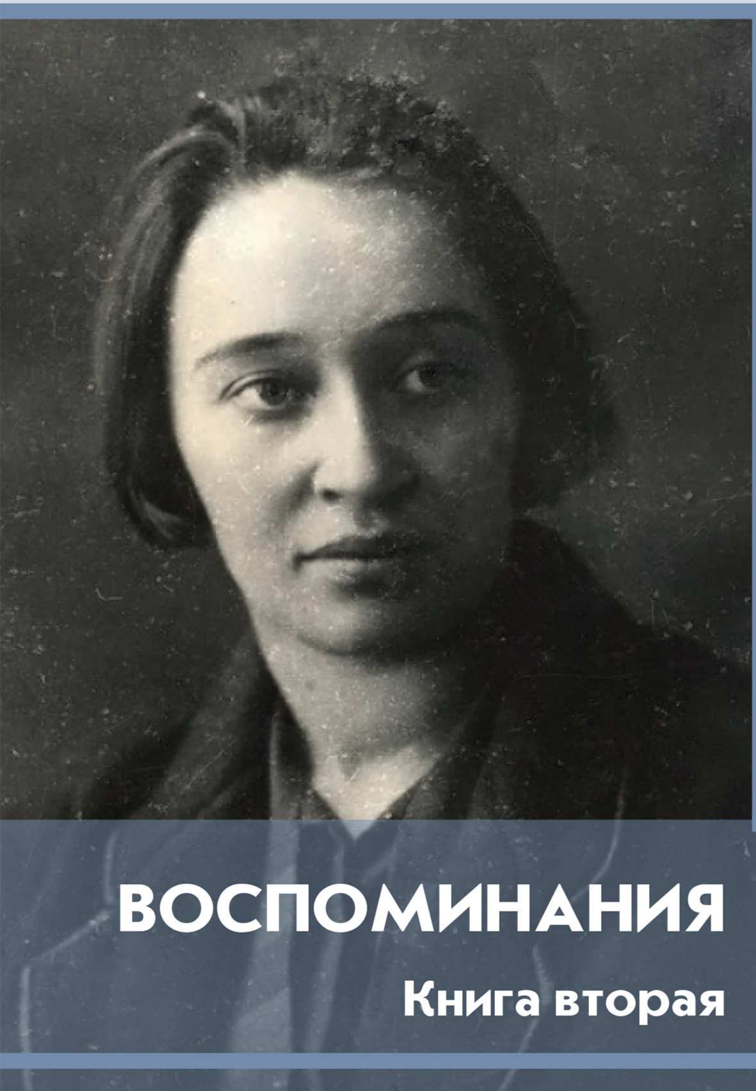
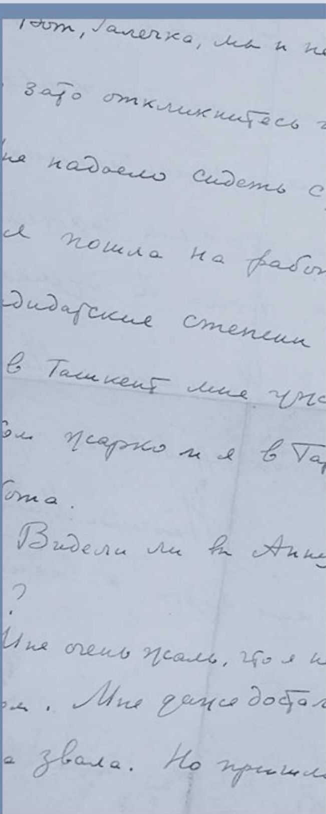
МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

НАДЕЖДА МАНДЕЛЬШТАМ





Вот, Галечка, мы и не
зато откликнитесь
не надоело сидеть с
я пошла на рабо
ндидатские степени
в Ташкент мне что
бы жарко и я в Тар
ота.
Видели ли вы Анну
?
Мне очень жаль, что я н
м. Мне даже добал
а звала. Но пришл

ВОСПОМИНАНИЯ

Книга вторая

DirectMEDIA

«Мемуары замечательных людей»

Надежда Мандельштам

Воспоминания

Книга вторая

DirectMEDIA
Москва
Берлин
2019

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)6
М23

Мандельштам, Н. Я.
М23 Воспоминания. Книга вторая / Н. Я. Мандельштам. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 763 с. – (Серия «Мемуары замечательных людей»)

ISBN 978-5-4475-8175-6

В издании представлена вторая книга воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980 гг.) – русской писательницы, мемуариста, супруги одного из крупнейших поэтов XX века Осипа Мандельштама. Мемуары являются не только бесценным источником для всех изучающих творчество О. Э. Мандельштама, но и считаются важнейшим свидетельством эпохи социализма в истории нашей страны, и в частности, сталинского времени. Это свидетельства не «только о времени, но и из времени», в которых автор выносит на суд читателей целую эпоху и личности конкретных людей, высказывая свое отношение ко всему происходящему. На страницах книги мы встречаем имена великих современников Н. Я. Мандельштам – Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Александра Солженицына, Велимира Хлебникова и многих других представителей мира искусства и литературы, чьи имена неразрывно связаны с той безвозвратно ушедшей эпохой. Одно из центральных мест во второй книге уделено взаимоотношениям Надежды Мандельштам с супругом и рассказу о их трагических судьбах.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8175-6 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2019

«Я»

I

Передо мной стоит новая задача, и я не знаю, как к ней подступиться. Раньше все казалось ясным: надо сохранить стихи и рассказать, что с нами произошло. Речь шла о событиях, от нашей воли не зависевших. Как все каторжанки, стопятницы, пленницы, я думала только о времени, в котором жила, и вместе с себе подобными терзалась одним-единственным вопросом: как это могло случиться, как мы до этого дошли?.. Думая об этом, я забывала и себя, и свою судьбу, и даже то, что говорю о себе, а не о ком другом. Ведь в моей судьбе не было ничего исключительного. Такие, как я, слонялись всюду в неисчислимом количестве: бессловесные запуганные твари с детьми и без детей, старательные и робкие служаки, непрерывно повышающие свою квалификацию, чтобы не потерять службу, и каждый год заново в философских кружках изучающие «Четвертую главу» и историю обезьяны, которая стала человеком, потому что научилась отличать правую руку от левой. Некоторую роль в очеловеченье обезьяны сыграл и богатый витаминами и белками сытный и вкусный стол, чего у нас самих и в помине не было. Зато была служба, и мы за нее судорожно держались, потому что без службы только пропасть... Моя сослуживица по САГУ, Среднеазиатскому университету, с моей точки зрения, совершенно благополучная женщина с собственной жилплощадью, призналась, когда мы шли вместе вечером с философского семинара, что каждую осень испытывает настоятельную потребность перечитать «Краткий курс» и «Диалектику природы», потому что это дает ей силы на весь учебный год. Ей было шестьдесят, и она дрожала, что ее выгонят «за выслугой лет». Пенсии до Хрущева были совершенно липовые, и я прекрасно знала, откуда ее энтузиазм. Все это предстояло и мне старость, философия, энтузиазм — в случае благополучного исхода, разумеется, если мне разрешат до конца работать, стараться и постигать мудрость наших правителей. Единственная между нами разница заключалась в том, что я под конец жизни бросила бы в море запечатанную бутылку, а она свои бутылки берегла пустыми — про черный день в кладовой. Ничто не предвещало того, что случилось впоследствии. Мы жили затаившись и не надеялись ни на что. Тысячелетнее царство только начиналось, а человеку такой срок не отпущен.

Я говорю о тех, кому повезло, как мне, потому что мы остались на свободе. Я знала, каково нам живется на такой свободе, и помнила о тех, кого угнали за колючую проволоку. Вот почему о себе я думать не могла. Думать я могла только о людях — обо всех и о каждом. О тех, кто ушел и не вернулся, и о тех, кто ждет и не дождется. До меня доходили слухи об очередных арестах, и каждый отзывался новой болью по незажившей ране. В этом вареве и крошеве исчезло слово «я». Оно стало почти постыдным запрещенной темой Кто смеет говорить о своей судьбе, жаловаться на свою судьбу, когда это общая судьба?.. Однажды — уже в новую эпоху — я услыхала по еще и поныне запретному радио отрывок из мемуаров человека, побывавшего в лагере и выпущенного, кажется, с поляками. Лейтмотив его мемуаров, вернее, этого отрывка, был такой как смели его, имярек, вырвать из домашнего уюта — там дом, там мать, там стол, накрытый белой скатертью, — и упрятать сюда — в проклятый лагерь, на вонючие нары Я в бешенстве выключила жалкую балаболку хорош гусь, ну и претензии. На каторгу, видите ли, ему не захотелось!.. Впрочем, каторга слишком мягкое слово для лагерей двадцатого века, но найдется ли на свете человек, которому хочется на каторгу или в газовую печь?.. Лезет со своим «я»... «Западные», как я заметила, носятся с ним как с писаной торбой

И Ахматовой я как-то устроила сцену из-за этого самого «я». Она попросила меня найти какое-то стихотворение по алфавитному списку и невзначай сказала, что у нее много вещей начинается на «я». Я впала в ярость и стала вдруг доказывать, что это худший из ее пороков — «ячество». Она не защищалась, хотя вообще легко вставала на дыбы. Моя уверенность, что в слове «я» содержится что-то запретное и даже постыдное, показалась ей убедительной. Вероятно, она тоже прошла через отвращение к «я». Вскоре я, впрочем, опомнилась: во-первых, начальных «я» у нее не больше, чем у других, — лирика ведь самый личный жанр, во-вторых, вовсе не слово «я», а все направление стихов показывает наличие или отсутствие пресловутого «ячества». И, наконец, разве не подвиг сохранить чувство личности и ощущение «я» в нашу эпоху оптовых смертей и гигантских мясорубок? Такие эпохи порождают только индивидуализм, основанный на принципе «спасайся, кто может», а совсем не чувство личности.

Потеря «я» не заслуга, а болезнь века. Вот симптомы этой болезни, которые я изучила на себе и на всех окружающих Люди, потерявшие «я», делятся на две категории. Одни, подобно мне, погружаются в оцепенение и живут одной только мыслью «как времени бремя избыть» В душе они часто таят безумную надежду прорваться в будущее, где снова обретут себя, потому что там будут восстановлены все ценности в их извечной форме Жизнь принимает у них форму непрерывного ожидания каких-то лучезарных берегов, которых не было и не будет на нашей планете, а ничего иного они не видят. Преодолевая болезнь ожидания, я издевательски сравнивала себя с отставными деятелями только что отошедшей эпохи. Сейчас они тоже сидят по своим углам, по нашим масштабам довольно комфортабельным, и ждут возвращения кто двадцатых, а большинство — тридцатых или сороковых годов, чтобы навести порядок и отправить куда следует тех, кто распустил язык за последние полтора десятилетия. У этих героев, конечно, больше шансов дождаться своего рая, чем у меня, но для них понятие личности не существовало никогда, а мою при наведении порядка они быстро ликвидируют, если только узнают от своих стукачей о моем существовании. Впрочем, я могу уцелеть, потому что они займутся чем-нибудь более актуальным. Ведь я нигде не служу и никому не мозолю глаза.

Второй вид утерявших личность выглядит совсем по-иному. Они считают свое «я» лишь случайной и минутной удачей и готовы на все, лишь бы урвать хоть каплю удовольствия: все можно ради жизни — надо же ублажить себя, пока ты есть. Такое «я» вовсе не «я», а просто забавный феномен, приятное ощущение живой материи, случайность или трюк слепой эволюции, подарившей мое тело жаждой удовольствия. Из этого следует, что выше всего стоит инстинкт самосохранения — спасайся, кто может и какими угодно способами. В этом случайном мире никто ни за что не отвечает, и все твои поступки канут в бездну вместе с тобой и с твоей эпохой.

Потеря «я» выразилась в ущербности (мой случай) или в открытом индивидуализме — ведь эгоцентризм и самоутверждение его крайние проявления. Симптомы разные, а болезнь одна: сужение личности. И причина болезни тоже одна — рухнувшие социальные связи. Весь вопрос в том, почему они рухнули, а как это происходило, мы видели: все промежуточные звенья — семья, свой круг, сословие, общество — внезапно исчезли, и человек очутился один перед таинственной силой, которая именуется власть и служит распределителем жизни и смерти. В просторечье у нас это называлось Лубянка, и если процесс, который мы наблюдали у себя, протекает во всей европейской культуре, то мы продемонстрировали такие яркие и чистые формы жестокой болезни века, что именно их следует изучать в целях профилактики и лечения. В эпоху, когда основной лозунг — «спасайся, кто может», личность обречена. Личность связана с миром, с людьми. Она находит себя среди себе подобных и, сознавая свою неповторимость, видит эту неповторимость в каждом. Индивидуалист, подчеркивая в себе особенное, выделяет себя из всего окружения и борется за особое место в обществе или просто — за свое индивидуальное право на паек, куда входит все, даже дни и часы жизни. Паек везде и всюду выдается только за заслуги. Вот тут-то требовалось остроумие — индивидуалисты изощрялись, предлагая свой товар. Каков бы товар ни был, индивидуалисты заранее подписывали себе индульгенцию и оправдывали себя тем, что не они выдумали эти порядки и только подчинились обстоятельствам. Впрочем, даже индульгенции не требовалось: понятие греха было отменено и объявлено идеалистическим предрассудком. Индивидуалисты, ублажавшие свое омертвевшее «я», составляли верхушку общества и были гораздо заметнее оцепеневших. Своеобразие заключалось в том, что за кучкой индивидуалистов прятались огромные толпы оцепеневших. Среди них была я и жила общей с ними жизнью.

Потеряв свое «я», обе категории, оцепеневшие и индивидуалисты, оторвались от всего, на чем строилась повседневность, жизнь и то, что называется культурой. На что мне все эти заветы, если это только путь к личному спасению, которое еще к тому же никакими гарантиями не подтверждено? Стоит ли сыр-бор городить ради отвергнутого и ненужного «я»?.. Сжатое и раздавленное «я» где-то ютилось в полном сознании своей никчемности и отсутствии права на жилплощадь. Мне тоже, как Солженицыну, перепадала иногда палочка шашлыку, и я понимала, что это стоящее дело, настоящая реальность, почти что паек, только незаслуженный, а потому особенно сладостный, но до «я» ли мне было, когда я помнила, что есть «они», и «ты», и «мы», и такая боль, с которой не сравнится никакой инфаркт.

Вместе с «я» отпадал и смысл жизни. Мальчиком Мандельштам сказал неуклюжие и странные слова: «Ибо, если в жизни смысла нет, говорить о жизни нам не след...» Ни жизни, ни смысла жизни для меня, как и для всех оцепеневших, уже не было, но меня, как и большинство из них, спасало «ты». Вместо смысла жизни появилась конкретная цель: не дать затоптать след, который оставил на земле этот человек, мое «ты», спасти стихи. В этом деле у меня была союзница — Ахматова. Восемнадцать лет, хороший лагерный срок, мы жили, не видя просвета, без всякой поддержки извне, не смея произнести заветное имя — только шепотом, только с глазу на глаз, — и тряслись над горсткой стихов. Потом забрезжила надежда, и Ахматова стала повторять: «Надя, у Оси все хорошо». Это значило, что стихи нашли своего читателя. Я не сразу поняла значение Самиздата и огорчалась, что Мандельштама не печатают. У Ахматовой и на это был ответ: «Мы живем в догутенберговскую эпоху» и «Ося в печатном станке не нуждается»... И я постепенно убедилась в ее правоте: стихи — вещь летучая, их нельзя ни спрятать, ни запереть. Именно стихи пробили дорогу прозе в таинственных каналах самозародившихся читателей. Читатель появился совершенно неожиданно, когда никакой надежды на него не оставалось. Он научился отбирать то, что ему нужно, а стихи, двинувшиеся к нему, преобразовали его и вывели на дорогу.

Прошло больше сорока лет с тех пор, как вышла последняя книга Мандельштама, весь тираж девяти книг не больше тридцати тысяч, а он жив и существует в гораздо большей степени, чем многотиражные авторы, которыми завален книжный рынок. Ахматова не переставала удивляться тому, как воскресают затоптанные и, как некогда казалось, уничтоженные стихи. Она говорила: «Мы не знали, что стихи такие живучие» и «Стихи совсем не то, что мы думали в молодости». Может, мы и не знали, но все же что-то подозревали. Спасая стихи Мандельштама, мы не смели надеяться, но не переставали верить в их воскрешение. Этой верой мы и держались. А ведь это была вера в непреходящую ценность поэзии и в ее священный характер. Мы знали, что судьбу поэта решает только время, значит, нельзя было умирать, не отдав стихов на суд людям. Сейчас это совершилось, а что будет дальше — не в нашей власти. Тут можно только верить и надеяться. Я всегда верила в стихи этих двух поэтов и продолжаю верить и сейчас. В нашем обезличенном и отказавшемся от личности мире, где не слышно человеческого голоса, тот, кто был поэтом, сохранил личность и голос, который и сейчас слышен людям.

Основная разница между двумя видами людей, утративших свое «я», то есть личность, заключается в том, что одни, индивидуалисты, отказались от всех ценностей, а личность осуществляется только как хранительница ценностей, другие, оцепеневшие, заглушили в себе все личное, но сохранили хоть каплю внутренней свободы и хоть какие-то ценности. Великое множество среди них сберегли не ценности, а только смутную память о них, но даже эта смутная память уберегла их от многого, на что толкала необходимость.

II

Тиражи Самиздата, в котором распространяются стихи Мандельштама и многое другое, учесть нельзя, но, похоже, что они несравненно превосходят тиражи любых стихотворных книг нашей молодости. Об этом говорит судьба единственной книжки Мандельштама, вышедшей за эти годы: «Разговор о Данте» исчез с прилавков в один миг. На наших глазах действительно произошло самозарождение читателя, но как это случилось, понять нельзя. Он возник наперекор всем стихиям. Вся воспитательная система была направлена к тому, чтобы он не появился. Вокруг одних имен был заговор молчания, другие имена поносились в печати и в постановлениях, и уже казалось, что никто никогда не прорвется сквозь толщу самого настоящего забвения, как вдруг все изменилось и заработал Самиздат. Кто пустил его в ход — неизвестно, как он работает — понять нельзя, но он есть, существует и учитывает реальный читательский спрос.

Мне хотелось бы знать, кто такой этот читатель. Я не очень верю в его качество, потому что он воспитан на рационалистическом хлёбове. Оно расслабило все интеллектуальные и логические связи, и мысль должна пройти через тысячу препятствий, прежде чем дойдет до читателя. Сейчас средний читатель даже не ищет мысли. Он не доверяет ей. Его слишком долго обманывали, подсовывая суррогаты, которые выдавались за мысль. В этом он еще не разобрался, и по контрасту его потянуло на то, что не поддается примитивному анализу. Все для себя непонятное этот новый читатель приветствует, называя иррациональным и субъективным. Трудно сказать, что он называет субъективным, потому что все понятия у него немного перекошены. К теории субъекта и объекта его представление не имеет никакого отношения, хотя и держится на наивной уверенности, что это тяжеловесные и солидные категории: объект лежит на столе, а субъект анатомирует его, как шестидесятник лягушку. Еще субъект гуляет по объективному миру, но должен отрешиться от себя, чтобы его понять. Субъект маленький, а объект большой, и от этого все качества... Такое упростительство вызвано воспитанием, которое сгубило старшие поколения, варившие похлебку из позитивистских кормов. Они с ложечки кормили хлёбовом своих детей, и это до сих пор отрицательно отзывается на младших поколениях: детская пища отравила им кровь. Ими владеет примитивный страх: действительность слишком ослепительна, чтобы искать в ней смыслы и связи, а страшнее всего выводы, логически неизбежные и неотвратимые, которых они стараются избежать. Усилия огромных толп направлены на то, чтобы уклониться от понимания и скользнуть по поверхности. Один из самых блистательных людей в истории человечества сказал, что на смену мысли, когда она иссякает, приходят слова. Слово из смыслоносящего знака слишком легко превращается в сигнал, а группа слов — в мертвую формулу, даже не в заклинание. Мы обмениваемся готовыми формулами, не замечая, что из них улетучился живой смысл. Тварь дрожащая не знает смысла — он исчез. Логосу нечего делать в нашем мире. Он вернется, если люди когда-нибудь вспомнят, очнувшись, что человек отвечает за все, и прежде всего за свою душу.

И все же — каков бы ни был читатель, он судья. Для него я сохранила и ему отдала стихи. И сейчас — в это длящееся время — происходит своеобразный и любопытный процесс: равнодушно, не отдавая себе ни в чем отчета, человек перебирает стихи, а они постепенно вливаются в него, встряхивают омертвелое и сонное сознание, будят читателя и сами оживают, оживляя того, кто к ним прикоснулся. Происходит диффузия, взаимопроникновение, и в результате хоть кто-нибудь очнется, стряхнет с себя проклятое оцепенение. Не знаю, всюду ли, но здесь, в моей стране, поэзия целительна и животворна, а люди не утратили дара проникаться ее внутренней силой. Здесь убивают за стихи знак неслыханного к ним уважения, потому что здесь еще способны жить стихами. Если я не ошибаюсь, если это так и если стихи, которые я сохранила, чем-то нужны людям, значит, я жила не зря и сделала то, что должна была сделать для того, кто был моим «ты», и для людей, в которых стихи пробуждают человеческое и, следовательно, человечное начало. Если это так, то, вероятно, у меня было назначение и я правильно его поняла.

Видно, ко мне начинает возвращаться мое «я», раз я задумалась, есть ли у меня назначение и сумела ли я его выполнить. Первую книгу я писала, абсолютно выключив себя, и это получилось совершенно естественно — без всякого предварительного замысла: меня еще просто не было. Я снова возникла, когда завершилось мое основное дело. Очевидно, хотя и раздавленное, но мое «я» все же существовало, а дай ему хоть мгновенную передышку, и оно снова заявит о своих правах. И оно особенно активно в той старости, когда уже наступила тишина, но еще живет боль от прожитой жизни. Потом боль, вероятно, утихает и начинается старческая самоуспокоенность, но до этого я еще не дожила. Тогда писать будет поздно, потому что боль вроде закваски, на которой поднимаются слово, мысль, ощущение действительности и подлинных связей в этом мире. Без боли никто еще не различил живого начала, которое строит и укрепляет жизнь, от противопоставленного ему — мертвящего и разрушающего, но почему-то всегда очень привлекательного и, с первого взгляда, логически устойчивого, а может даже — неотвратимого. Боль сейчас сильна, и я собираюсь писать о себе, о себе и только о себе, но это вовсе не значит, что я буду говорить о себе. Меньше всего я думаю сейчас о себе, а только о тех крохах опыта, который собрался и накопился за мою жизнь. Мне кажется, что, пересмотрев его, я что-то пойму: ведь если нам дана эта жизнь, в ней должен быть смысл, хотя все поколения, с которыми я встретилась в жизни, начисто снимали этот вопрос. Избалованные научным мышлением, они отворачивались от всего, что не поддается стройному и точному доказательству. Идеалом стала математическая логика, но, к несчастью, только на словах. Наука не отвечает за наукообразные шарлатанские теории, «в которых нет ни смысла, ни аза». До смысла ли, когда все смыслы протекают между пальцами?

В моей молодости вопрос о смысле жизни подменялся поисками цели. К этому так привыкли, что многие и сейчас не видят различия между смыслом и целью. А в те годы вопрос о цели ставила молодежь, уходившая в революцию. Цель была одна: осчастливить человечество. Что из этого вышло, мы знаем. Цель и смысл не одно и то же, но проблема смысла в молодости доступна немногим. Она постигается только на личном опыте, переплетаясь с вопросом о назначении, и потому о ней чаще задумываются на старости, да и то далеко не все, а только те, кто готовится к смерти и оглядывается на прожитую жизнь. Большинство этого не делает.

Слишком громко говорить о назначении для человека без резко выраженного дара. Лучше подумать о правильности свободно выбранного пути среди миллионов соблазнов, колебаний и ошибок, которыми так богата жизнь. Проделанный путь ощущается как судьба, но на каждом шагу есть тысячи развилок, тропинок и перекрестков, где можно свернуть, избрав совершенно другой путь. В том, как мы строим жизнь, есть известная социальная обусловленность, потому что каждый живет в определенном историческом отрезке времени, но царство необходимости ограничивается именно этой исторической соотнесенностью, все прочее зависит от нас самих. Свобода неисчерпаема, и даже личность, собственное «я», не есть некая данность, но формируется в течение жизни и в значительной мере сама создает себя в зависимости от избранного пути

В молодости о смысле жизни задумываются только особо одаренные люди со скорее философским, чем поэтическим, уклоном. Слова Мандельштама о смысле жизни, которые я привела в начале этой главы, промелькнули в черновиках и не попали в основной текст. Он принимал жизнь, как она есть, и остро чувствовал ее необычайную насыщенность. Мне кажется, это происходило оттого, что свой поэтический дар он сразу принял как назначение. Об этом свидетельствуют ранние, только совсем недавно напечатанные стихи: «Как облаком сердце одето и камнем прикинулась плоть, пока назначенье поэта ему не откроет Господь... Он ждет сокровенного знака, на песнь, как на подвиг, готов, и дышит таинственность брака в простом сочетании слов».

В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. А она была результатом спокойной уверенности, с которой он относился к поэтической работе. Это вызывало ярость настоящих писателей, служителей литературы. Разрыв Мандельштама с литературой был бы неизбежен в любой стране, но у нас литература, как личное и частное дело, объявлена вне закона и любой разрыв сопровождается вмешательством государства. С Мандельштамом могли бы еще примириться, если б он был преисполнен важности и жреческой осанки: ведь ничто так не импонирует, как величественная поза. Но этот человек совершенно не беспокоился о том, как обеспечить себе положение в литературном мире. Для этого он был чересчур занят. Книги, люди, разговоры, события, а то и просто сбегать в лавочку за хлебом или за керосином — все это отнимало слишком много времени... Даже я, легкомысленная из легкомысленных, удивлялась его беспечности. А время работало против нас.

Потрава

Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосящемуся полю бежит огромное стадо — происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домоуправом — они возникли с приходом «красных», как тогда говорили, словно грибы после дождя, — врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда орава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру.

Марджанов ставил пьесу испанского классика: деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками, актеры кричат хором: «Вся власть советам», а зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских фруктов, овощей, рыбьих и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц: одна была я, другая — моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасывали грудами дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись.

Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки — до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу — бежавшие с севера настоящие дамы пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков: ведь мы переживали период романа наших хозяев с левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали «Левый марш» Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом, а в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали...

В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Эренбург. Он на все смотрел как бы со стороны — что ему оставалось делать после «Молитвы о России»? — и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония — единственное оружие беззащитных. У молодых да еще левых художников был блаженный дар — не знать, что они беззащитны. Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С девятнадцатого года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался пятидюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли.

По вечерам мы собирались в «Хламе» — ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности.

На этаж ниже в той же гостинице поселили Мстиславского. У него на балконе всегда сушились кучи детских носочков, и я удивлялась, зачем это люди заводят детей в такой заварухе. Мстиславский заглядывал в чужие номера и повествовал об аресте царя. Он всегда напоминал, что он рюрикович, и подчеркивал древность своего рода по сравнению с Романовыми. Мандельштам морщился.

Юность ни во что не вдумывается. Тревога и озабоченность старших нас не трогали. Мрачные старики, наши родители, шли к гибели, а дети веселились. Огромная толпа приехавших с севера, уже в полной мере познавшая голод и разруху, откармливалась на хлебах еще не разоренной Украины и спешила нагулять побольше жиру, прежде чем снова откатиться назад. Деньги падали медленно, и люди, которые привезли из Москвы груду ничего не стоящих бумажек, ликовали, покупая на них полноценные продукты.

Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама. Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель, — мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга, — прочь от дому куда-нибудь южнее, — поезжай к Волошину, это человек верный — с ним не пропадешь... Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды — вещь живучая. А на «ты» с Эренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились — особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе — хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стали читателями Самиздата.

Что же касается до советов Эренбурга в девятнадцатом году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что, кроме братьев Маккавейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи, которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность.

Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно — приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое — любое, если б они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не

Достоевские, нам лишь бы деньги...» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.

А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой: неубранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе — жестяная кружка для чаю. Не знаю, что сталось с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора — слишком тяжелое испытание для интернационалистов Украины.

Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку — его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки... Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей (я не помню, при какой власти это происходило — при украинцах или при красных, — каждая старалась перещеголять другую). Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей.

Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми «они» ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком под влиянием Бориса Синани он верил, что «слава была в б. о.», и даже просился в террористы (для этого ездил в Райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству). Потом отношение к террору начисто переменилось. Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный, Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы. Иванов-Разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало узнать, как тот относится к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась: опять наткнулись на чужого, все почему-то чужие, и зачем Мандельштам не смягчает чуждость — что ему стоило уклониться от ответа или пробурчать что-нибудь неопределенное? надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость вместо того, чтобы срезать острые углы... В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримиримость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание...

Мандельштам покупал и просматривал издания Центроархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. (Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не издавалось. Во всяком случае, мы его не видели.) Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен.

А в дни нашей ранней близости, в Киеве девятнадцатого года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как молодые. Старших беспокоят существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать, а пока что жадно впитывали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы.

Однажды Мандельштам мне сказал, что «они» строят свою партию на авторитете наподобие церкви, но что это «перевернутая церковь», основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он: «Странный разговор для такого места»... Мысль настигла его в неподходящем месте и в неподходящую минуту: мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в «Хлам».

Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно — к этому времени Мандельштама уже выгнали из гостиницы и он жил с братом в кабинете моего отца — телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь, — техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было — комендантский час... Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло, но я и сейчас вижу этого человека, только его, скорее всего, везли не на расстрел — расстреливали в самой Чека, на горе, а телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму, а может, даже в больницу.

Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую Думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. Уже без Мандельштама — он успел уехать город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал или, вернее, потрава?

Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией — на Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров — красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Эренбургами, но не решилась — за порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама — я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться нельзя ни от чего и надо принимать то, что есть. Он пытался привить и мне такое отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. «Лоном широкая палуба« казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой: «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» — вполне себя оправдал.

Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я испытала в жизни. Это только прелюдия — потом стало гораздо страшнее.

Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес — нас успели выселить. В марте он приехал за мной — Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей, — это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с первого на второе мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться потому, что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок, — он пролетел как миг.

«Мы»

В первую нашу встречу в Киеве девятнадцатого года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился «Хлам» — почти как «Собака», люди хорошие и кофе хороший. «Хлам» вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настояща простокваша только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейне с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Эренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, «с кем ты гуляла», потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед Думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть «чекистка Роза». У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю.

Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает... Я подумала — «балованный» и спросила: «Почему?» Объяснить он не мог: не знаю, но так получается... Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые — вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на «Собаку».

Через несколько лет в измученной и одичавшей нэповской Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего: все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. Вышла «Вторая книга», приходили разные люди, просили надписать и что-то говорили, но во всех отзывах, хвалебных и ругательных, нельзя было найти смысла: ум обленился и «задарма» работать не желал. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений: «...он приучается чувствовать себя зрителем в партере... морщится, гримасничает, привередничает...» А потом в стихах: «Еще меня ругают... на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза...» Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань... Он пересказывал мне, что услышал за день, и спрашивал: «Разве это так?» — и наконец догадался: «Они просто не любят стихов...» Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в двадцатые годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду.

Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них по обычаю своего круга проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей, но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание и есть единственное, на что мы способны, и осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее.

В двадцатых годах корни были подрублены, и тайным законом стало: «все позволено», с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей, которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда начиналась борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях — далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готово распасться в любой момент, если забрезжит другая, более заманчивая цель.

На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки и где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах — в «мы» и, в случае удачи, в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с «сотоварищами, соискателями, сооткрывателями», как он сказал в «Разговоре о Данте», отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же «Разговоре о Данте» говорится, что время есть содержание истории, «и обратно: содержание истории есть совместное держание времени» теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Наши поколения — мое и мандельштамовское — на всех перекрестках кричали, что живут в историческое время, но полностью снимали с себя ответственность за все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои собственные на детерминированность исторического процесса. Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории предопределен?.. Впрочем, я не хочу целиком обвинять все поколение Мандельштама — в нем были люди, дорого заплатившие за свое неверие в официальные догматы. В моем окружении я таких не замечала. Если такие и существовали, они держались тише воды, ниже травы и видны не были.

Я возвращаюсь к Мандельштаму и к людям, с которыми он совместно «держал время». Жирмунский мне говорил, что в Тенишевском, где они вместе учились, к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно. Смерть Бориса Синани, первого друга, была, вероятно, большим ударом. Нам случалось иногда встречать людей, посещавших в юности «розовую комнату» в квартире Синани. Однажды какая-то женщина рассказала Мандельштаму про гибель Линде, комиссара Временного правительства, на фронте. Эта гибель описана Пастернаком в его «Докторе» и в воспоминаниях генерала Краснова. Не знаю, был ли Пастернак знаком с Линде (в романе его зовут Гинцем), но версия генерала Краснова гораздо больше похожа на рассказ, который я слышала на улице от старой приятельницы Мандельштама, Линде и Бориса Синани. О Линде Мандельштам вспоминал с уважением и нежностью, как обо всех, кто так или иначе был связан с его другом Борисом.

После смерти Бориса Синани Мандельштам провел целых два года за границей. Это период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежном спутнике всякого юноши. Особенно одиноко он почувствовал себя в Италии, где прожил несколько недель даже не на положении студента, а туриста. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку.

Чувство обособленности исчезло только по возвращении в Петербург. В Териоках, куда он часто ездил отдыхать, Мандельштам познакомился с Каблуковым, кажется, секретарем Религиозно-философского общества. Сохранились дневники Каблукова, где он много пишет о Мандельштаме. Каблуков боролся с тягой Мандельштама к католичеству, хотел обратить его в православие, заставлял сдавать экзамены в университете, чего тот органически не умел, и, наконец, искренно огорчился, когда в стихах после романа с Мариной Цветаевой вдруг прорезался новый голос. Каблукову, как многим родным и духовным отцам, хотелось сохранить мальчика в его нетронутой юношеской серьезности. Мандельштам тянулся к Каблукову и, вероятно, много от него получил. Он невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, на сколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца.

Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что — не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок».

Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самоё Гиппиус. А игра в «жиденка» продолжилась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в «Аполлоне» дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок... Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола... Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров (или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович), чтобы писать подобные вещи. Пока существует «мы», даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит.

Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер... И те и другие действовали «под нажимом», как у нас принято говорить, но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше тридцати лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего одиннадцать лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горя, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда восемнадцатилетней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка...» Единство семьи рассыпалось под нажимом — ведь обе девочки, одиннадцатилетняя и восемнадцатилетняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись «родимые пятна» прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца, Николая Степановича, и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях: по политической статье... Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество — все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует.

Настоящее «мы» — незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

Лишний акмеист

Мандельштам не сразу нашел людей, с которыми объединил себя словом «мы». В отроческие годы «мы» образуется только у поколений, планомерно продолжающих дело отцов, а двадцатый век весь состоял из разрывов. В «розовой комнате» завязалась первая дружба, но уже в Тенишевском училище Мандельштам получил противоядие от позитивизма старика Синани. Благодаря В. В. Гиппиусу Мандельштам еще в школьные годы научился горячо и пристрастно относиться к русской литературе, и особенно к поэзии. Не будь этого, ему было бы гораздо труднее определить свое место, найти единомышленников и, следовательно, себя. В этом и заключается приобщение к традициям живой литературы, и в «Шуме времени» Мандельштам сказал, что «первая литературная встреча непоправима» и «Литературная злость! Если б не ты, с чем бы стал я есть земную соль?». От Коневского и Добролюбова, сейчас почти забытых поэтов раннего символизма, которых он узнал еще в школе благодаря В. В. Гиппиусу, Мандельштаму легко было перейти к Анненскому и выбрать его себе в учителя. Такой путь менее тернист, чем обычный, который предполагал ученичество у шумевших тогда официальных мэтров символизма Бальмонта, Брюсова или Вячеслава Иванова (им Мандельштам, конечно, отдал дань, но не столь большую, как другие). Великие соблазнители, они окружали себя учениками и внушали им свои теории. С Вячеславом Ивановым Мандельштама еще до отъезда за границу познакомила, вероятно, мать или Венгеровы, но весь строй даже ранних его стихов свободен от соблазнов «Прозрачности» и «Горящего сердца», что бы ни говорили поздние адепты Иванова. И на «башне» Мандельштам не прижился. Быть может, единственное, что он оттуда вынес, это отвращение к жреческой позиции поэта, столь характерной для старших символистов. Вполне ли свободны от нее были Блок и Белый?

Отсутствие влияния относится к строю поэзии, но это не исключает отдельных заимствований. Перед тем, как написать стихи о свадьбе и черепахе, Мандельштам перелистал у меня в комнате томик переводов Вячеслава Иванова из Алкея и Сафо в милом Сабашниковском издании — я всегда покупала их классику... Из переводов и пришел «пестрый сапожок», адрес дан точный: «Обула Сафо пестрый сапожок». Пришелся он ко двору, потому что за отсутствием пристойной обуви я носила нелепые казанские сапожки с киевской ярмарки, называвшейся «Контракты»... Накануне мы «обвенчались», то есть купили возле Михайловского монастыря два синих колечка за два гроша, но, так как венчание было тайное, на руки их не надели. Он носил свое колечко в кармане, а я — на цепочке, припрятав на груди.

Чудные вещи продавались на Михайловском подворье! Особенно я любила безобразные круглые гребенки с надписью: «Спаси тебя Бог». Самую круглую и самую безобразную гребенку я получила от Мандельштама вместо «свадебного» подарка и ходила в ней по городу и в «Хлам», потому что была молода и нахальна. Кто бы мог подумать, что на всю жизнь мы останемся вместе?..

Что же касается до цикады, которая кует перстенек, то ее надо искать у Державина. Не знаю, как отнесутся к этому энтомологи, но Мандельштам верил, что цикада просто кузнечик, а кузнецы, как известно, куют. Это их профессия... Этот отрывок посвящается американско-русским профессорам, которые считают, что даже слово «весна» Мандельштам заимствовал у Вячеслава Иванова. Сам Мандельштам утверждал, что учится у всех и разговаривает со всеми.

Со слов Ахматовой я знаю, что «Цех поэтов», из которого выделилась группа акмеистов, образовался как бунт против

«Академии стиха», где главенствовал Вячеслав Иванов. Инициатором бунта был Гумилев. Он теснее других связал себя с символистами и более болезненно отрывался от них, освобождая себя от их влияния. Как часто бывает, он долго вчитывался в статьи и теории символистов, и ему все казалось, что он еще чего-то в них недопонимает. Освобождение пришло внезапно, но все же родовая метка русского символизма сильнее всего именно на нем. Мне думается, что в последней книге он уже стал свободнее, и если б ему было суждено прожить жизнь, как она отпущена людям, он бы еще показал себя. Но ему этого не дали.

Мандельштам и Ахматова приходили в ярость, когда литературоведы приписывали в акмеисты кого им вздумается: Кузмина за «кларизм», Лозинского за дружбу с акмеистами, молодых людей, числивших себя учениками Гумилева, а таких было сколько угодно, потому что Гумилев по природе своей, видимо, оказался прирожденным учителем. Акмеистов только шесть, а среди них затесался один лишний. Первое место в своем рассказе я предоставлю «лишнему».

В двадцать первом году мы ехали с Мандельштамом в Тифлис в вагоне Центроэвака. Кроме вагона, предоставленного «начальству», к Тифлису полз целый теплушечный поезд, забитый работниками, которым предстояло расселить и трудоустроить армянских беженцев из Турции. В теплушках ехали обыкновенные работяги. Им, надеюсь, удалось что-то сделать для трагических армянских толп, а наш вагон внушал сомнения. В нем ехали начальник, художник Лопатинский из «Мира искусства», которому неизвестно почему поручили такую невероятно сложную работу, и кучка его друзей, получивших мандаты Центроэвака на командные должности. Лопатинский когда-то служил под началом Мандельштама в Комиссариате просвещения. Оба ничего не делали и боялись сердитой секретарши-большевички, возмущавшейся, что двое бездельников спасают почему-то церковный хор и совершенно не думают о классовом подходе. Хорошо, что они хоть не разоряли школу.

Из Киева мы выехали в надежде попасть в такой же поезд, но возглавляемый Раскольниковым и направляющийся в Афганистан. В Москве выяснилось, что на эту авантюру мы опоздали, и мать Ларисы Рейснер сказала, что Раскольников уперся и, несмотря на все настояния жены, ни за что не соглашался взять «поэтишку». Вместо Мандельштама он захватил Никулина. Сейчас я понимаю, что все к лучшему, но тогда огорчилась, а Мандельштам нисколько, хотя поездка была бы отдыхом от бедствий невероятных голодных лет. Он сказал, что судьба его хранит, чтобы он не путался в афганистанские интриги Раскольниковых, и принялся искать оказию на Кавказ. Случайно на улице он встретил Лопатинского, узнал про центроэваковскую экспедицию и привел его к нам. Мы жили у моего брата и кормились оладьями из муки, привезенной из Киева. Накормили и Лопатинского, славного человека, и тут же решили ехать с ним. До Ростова мы плелись в теплушечном поезде, а там Лопатинский взял нас в начальственный вагон, на котором висела надпись: «Для душевнобольных». Эта надпись спасала от напора толпы на всех промежуточных станциях. В теплушке мы кормились пайковым хлебом, за корку которого голодные крестьяне готовы были отдать что угодно — кусок мяса, курицу, сметану... Насельники вагона «для душевнобольных», включая нас, проедали авансы, получаемые из рук Лопатинского. Вся страна жила тогда авансами, отчитываясь за них расписками от имени извозчиков, которые открыто фабриковались на глазах у начальства.

Поездка оказалась в своем роде увеселительной: неделю мы почему-то простояли в Кисловодске, хотя никаких армянских беженцев там никто в глаза не видел. Мы радовались жизни и отдыхали от холода и голода серьезных городов. Все шло хорошо, если не считать, что главный помощник Лопатинского и, конечно, его собутыльник обижался, что авансы перепадают и нам. Это ведь был прямой убыток для прочих. Но Лопатинский не сдавался, и мы получали хоть и меньше других, но нам все же перепадало на лаваш и рис.

Мирная жизнь внезапно прервалась в Баку: несколько человек в вагоне заболели холерой, в том числе и Лопатинский. Нас отвели на запасный путь, и мы жили в неподвижном вагоне как железнодорожная бригада, пока больные отлеживались в городе. В Баку мы сходили в баню, где нам поставили отметку на паспорте (вместо паспортов были какие-то бумажки), чтобы нам не пришло в голову вторично помыться, побывали у Вячеслава Иванова, и Мандельштам как-то без меня зашел к Городецкому. Там-то я и увидела его в первый раз... Это был третий по счету акмеист на моем пути, потому что в Киеве мне довелось встречаться с Нарбутом.

Городецкий явился с ответным визитом в вагон на запасный путь. Из карманов у него торчали две бутылки вина. Усевшись, он вынул пробочник и три металлические рюмки. Сидел он долго и все время балагурил, но так, что показался мне законченным маразматиком. У нас еще не было опыта для распознавания старческого идиотизма, и Ахматова лишь через много лет придумала формулу: «маразматист-затейник» — или, вздыхая, говорила про безумных стариков: «Маразм крепчал...» Но именно эти слова характеризуют едва ли сорокалетнего Городецкого как в день нашей встречи, так и потом в Москве, куда он вскоре переехал.

Городецкий ушел, и я с удивлением спросила Мандельштама, зачем они связались с ним: у него уже склероз и размягчение мозгов. Что будет дальше?.. Мандельштам объяснил, что Городецкого «привлек» Гумилев, не решаясь выступать против могущественных тогда символистов с одними желторотыми. Городецкий же был известным поэтом. После «Яри» с ним носились все символисты и прозвали его «солнечным мальчиком». «Он всегда был таким?» — спросила я. Мандельштам ответил, что почти таким, но сейчас он еще притворяется шутом, потому что смертельно напутан: незадолго до революции он выпустил книгу «Сретенье царя» и теперь боится, как бы ему не пришлось за нее отвечать... Мандельштам с его отвращением к насилию явно сочувствовал Городецкому, но я почему-то сразу сообразила, что такой не пропадет. Вел он себя как настоящий шут, но не как те благородные шуты, которым литература поручила говорить правду, а как обыкновенный гороховый шут или, по-нашему, эстрадник. И физиономия у него была соответственная: огромный кадык, крошечные припрятанные глазки и забавный кривой горбатый нос. Солнечная физиономия...

Несколько раз мы встречались с ним в Москве — то он забегал к нам, то мы раза два-три заходили к нему. Вел он себя не так, как при первой встрече в вагоне, где был льстив до непристойности, потому что, как я потом поняла, принял Мандельштама за важного советского барина. Даже Мандельштам, который упорно не хотел плохо думать о людях, а тем более о прежних товарищах и поэтах, вынужден был согласиться со мной: «Может быть, но не все ли равно?..» В Москве страх прошел — Городецкий сумел договориться с новыми хозяевами, и в этом, вероятно, сыграло свою роль то, что он, бывший «солнечный мальчик», надежда русской поэзии. Мандельштам правильно заметил, что большевики свято верили оценкам символистов и выдавали пайки по завещанным ими шкалам: «Они нас приняли прямо из рук символистов...»

Городецкий поселился в старом доме возле Иверской и уверял гостей, что это покои Годунова. Стены в его покоях действительно были толстенные. Жена крестом резала тесто и вела древнерусские разговоры. Сырая и добродушная женщина, она всегда помнила, что ей надлежит быть русалкой, потому что звали ее Нимфой. Мандельштам упорно называл ее Анной, кажется, Николаевной, а Городецкий столь же упорно поправлял: «Нимфа»... Мандельштам жаловался, что органически не может произнести такое дурацкое имя, но проблема оказалась второстепенной, потому что в годуновские покои нас не тянуло.

На этом этапе Городецкий был еще терпим — он только хвастался. С него началась длиннейшая серия хвастунов: и сейчас старики, которым бы впору подумать о душе, ходят по Москве и хвастаются. Их много, и, я думаю, причина хвастовства в том, что надежды не оправдались и жизнь прожита впустую. Городецкий первый занялся этой деятельностью, а лет ему было сорок, может, с лишком: ранняя старость. Он хвастался доверием начальства, поручившего ему переделать текст оперы Глинки, гениальностью своих стихов и басен, которые он не уставал сочинять, умением жарить помидоры, качеством рубашек, сделанных из материи, пропускающей воздух, доходами и пайками...

Последний раз я столкнулась с ним в Ташкенте в период эвакуации. Он жил в том же доме, что Ахматова, — она в каморке на втором этаже полуразрушенного трущобного дома, он внизу — в сносной квартире. Меня он не узнавал, сознательно или нет, я не знаю, но меня вполне это устраивало говорить с таким типом мне не хотелось, потому что все годы он только и делал, что публично отрекался от погибших и вопил про адамистов, ничего общего с акмеистами не имевших. Зато он перехватывал людей, шедших к Ахматовой, и спрашивал, что делает там наверху «моя недоучка». До нас доходили его высказыванья за чайным столом про контрреволюционную деятельность Ахматовой, Гумилева и прочих акмеистов, по имени не называемых. К Ахматовой забегала его дочь, славная, недалекая женщина, обожавшая отца. Она, по глупости, передавала нам, что говорит отец, и советовала Ахматовой исправиться. Мы молчали, жалея дурочку. Все, что говорил Городецкий, звучало как донос, но я не знаю, ограничивался ли он болтовней во дворе да еще публичными выступлениями или ходил со своими доносами по начальству. Я считаю, что акмеистам повезло: обстоятельства сложились так, что Городецкий сам от них отрекся. Было бы гораздо хуже, если б они оказались не загнанными, а процветающими и Городецкий бы нес всякую чушь и гадость, подсказанную модой времени, от их имени. К счастью, этого не случилось, но легкомыслие Гумилева, слишком хорошего организатора, привлекшего в молодую группу признанного символистами поэта, подарило им связь с дрянным типом, маразматиком и доносчиком от природы.

Из этого можно сделать еще два вывода: неудавшийся поэт, смолоду вкусивший хвалу и нечто вроде известности, превращается в зрелые годы в существо, не достойное имени человека. Сгусток злости и зависти отравляет его жизнь. Второй вывод, вернее, вопрос: как могли так ошибиться символисты, люди, как принято думать, образованные и руководствовавшиеся в своих суждениях как будто только литературными соображениями, а не литературной политикой. Ведь все они, включая Блока и Вячеслава Иванова, приняли Городецкого за надежду русской поэзии. Я где-то читала, что Хлебников таскал с собой «Ярь» и подарил свою книжку Городецкому с такой надписью: «Одно лето носивший за пазухой «Ярь», любящий и благодарный Хлебников». Я смотрела «Ярь» — в ней нет ни одной йоты подлинной поэзии, ни одного настоящего слова. У тех, кто превознес ее, должен был быть серьезный внутренний изъян, чтобы допустить такую оценку. В чем заключается этот изъян людей, живших в период, который и сейчас именуется «серебряным веком» русской поэзии?

Встает еще один вопрос: действительно ли это был период расцвета искусства, особенно поэзии, второй после эпохи Пушкина, Баратынского и Тютчева? По моему глубокому убеждению — нет.

«Мир искусства» и «Бубновый валет» в живописи — время собирания сил, период ученичества у Запада, когда много способных людей овладевало первоначальными навыками благородного ремесла, сдабривая их элементами примитивного русизма, жалкими националистическими тенденциями, которые никогда не вылезают на первый план во время настоящего расцвета живописи. Сезанн ничуть не заботился о том, чтобы снабдить свои работы специфически французскими чертами. В русской иконе и у Рублева есть черты великих европейских традиций, сквозь которые пробивается земля, человек Руси. Почвенничество, национализм — низовая прокладка сознания. Когда они выходят на первый план, затмевая основы, это признак болезни, а не здоровья, мелкости, а не глубины.

Первое десятилетие века в поэзии представлено символистами. Я оставляю в стороне стихи — в них разобраться будет нетрудно. Просветительская деятельность символистов не вызывает сомнения, но в их сознании было нечто, подготовившее последующее падение, и ошибка с оценкой Городецкого — не случайность, и я не случайно останавливаюсь на ней — она характеризует основные тенденции эпохи и ее болезнь. Бердяев, плоть от плоти символистов, в конце жизни предпочитал литературу девятнадцатого века, но продолжал считать начало века периодом расцвета. Блок, представляющий синтез двух слоев русской интеллигенции, низовой, или, по терминологии Бердяева, революционной, и высшего слоя, или элиты, остро ощущал болезнь эпохи, но пытался излечить ее прививкой шестидесятых годов прошлого века. Такое лекарство подействовать не могло, потому что идеями шестидесятников жил нижний слой (революционное подполье) и болел той же болезнью, что и верхний (элита). Оба переживали однородную болезнь и общий кризис. Верхний слой, элита была поглощена поисками лекарства от кризиса, от слабости, разъедавшей верхушку. Предлагались реформы всех идей, каждый реформировал по-своему, но особенно популярной оказалась идея о прививке язычества, древнерусских перунов, к сегодняшнему дню. При этом само собой разумелось, что язычник силен, дышит мощью и силой и к тому же красив. Прививка греческой мифологии не удалась, и тех, кто приволок родных богов, приняли с распростертыми объятиями. Такова была мода времени, и Городецкий с женой Нимфой и «Ярью» попал в точку. Первым благословил его Вячеслав Иванов. На «башне» он встретился с Хлебниковым. Дань реформаторству и язычеству отдали многие. В ней был скрытый культ силы и безнадежные поиски выхода и оздоровления.

Язычество с перунами — националистический вариант и своя домашняя лекарственная кухня. Западники шли в разные виды теософии, прививая к Европе портативную и упрощенную Азию. Розанов метался в одиночестве, ища спасения в семье и в юдоистических основах жизни. В годы испытаний он не выдержал, потому что всегда бунтовал против свободы, которая лежит в основе христианства. В защиту Розанова можно сказать одно: у этого человека не было даже тени культа силы и язычество его не прельщало.

Из истории адамиста Городецкого можно извлечь мораль: пугаться следует не до бесчувствия, не до потери человеческого облика. В меру. В нашу великую эпоху не испугаться было невозможно, и все дело — в соблюдении меры. Только в этом. Храбрых мальчиков, которые, ничего не испытав, посмеются над моим советом, я приглашаю в свою эпоху и ручаюсь, что, едва поняв сотую долю того, что знали мы, они проснутся среди ночи в холодном поту, и неизвестно, каких мерзостей наделают утром.

И еще одно соображение насчет «солнечного мальчика»: мнимая поэзия отрава. В любых условиях — в самой блаженной жизни — Городецкий испытал бы муки черной зависти и, корчась, проклинал свою «недоучку». Не надо убивать поэтов, но и не следует захваливать их зря...

Трое

Три поэта — Ахматова, Гумилев и Мандельштам — до последнего дня называли себя акмеистами. Я всегда спрашивала, что объединяло трех совершенно разных поэтов с разным пониманием поэзии и почему была так крепка их связь, что ни один не отрекся от юношеского союза, длившегося один короткий миг. Мандельштам отшучивался. Ахматова же — особенно в старости — постоянно говорила об акмеизме, но на мой вопрос ответить не могла: связь трех поэтов казалась ей чем-то само собой разумеющимся. Рассказы Ахматовой касались обстоятельств, при которых произошел разрыв с символистами, вернее, с Вячеславом Ивановым, состава «Цеха поэтов» (первого) и образования группы акмеистов. Я кратко передам основные факты, как они мне запомнились с ее слов. (Их немного — она повторялась, как многие старики.)

Гумилев, глубже связанный с символистами, чем Ахматова и Мандельштам, постепенно отходил от них, потому что присматривался к поэтической работе своих младших друзей и жены и начинал осознавать внутреннюю пустоту теорий Вячеслава Иванова. «Блудный сын» Гумилева («Первая акмеистическая вещь Коли», — говорила Ахматова) был прочитан в «Академии стиха», где княжил Вячеслав Иванов, окруженный почтительными учениками. Вячеслав Иванов подверг «Блудного сына» настоящему разгрому. Выступление было настолько резкое и грубое («никогда ничего подобного мы не слышали»), что друзья Гумилева покинули «Академию» и организовали «Цех поэтов» — в противовес ей. Председателем «Цеха» пригласили Блока, но он почти сразу сбежал. Из «Цеха» выделилась группа акмеистов — шесть человек, включая «лишнего». В качестве манифестов новой группы напечатали статьи Гумилева и Городецкого.

Манифест, предложенный Мандельштамом (статья «Утро акмеизма»), Гумилев и Городецкий отвергли. Ахматова говорила, что целиком разделяет положения этой статьи и жалеет, что по молодости и легкомыслию в свое время не отстояла ее как манифест. Вот, в сущности, все, что она рассказывала. Остальное — детали: где и когда собирались, и кто назывался «синдиками цеха», и почему Лозинский не пошел в акмеисты...

Рукопись статьи «Утро акмеизма» случайно сохранилась у Нарбута, и он в период своего комиссарства раздобыл бумагу и тиснул в Воронеже журнальчик под пышным названием «Сирена». Там он напечатал и «Утро акмеизма», не проставив дату. Рассказал он об этом Мандельштаму весной девятнадцатого года при встрече в Киеве. Мандельштам хмыкнул, а журнальчик так никогда и не увидел — у Нарбута с собою не было ни одного экземпляра, а впоследствии оба и думать об этом позабыли... Составляя книгу статей, Мандельштам про «Утро акмеизма» не вспомнил. Потом прочел в книжке манифестов и пожалел, что не включил в сборник «О поэзии». Цензура могла сдуру пропустить.

Какой-то старый литератор в Воронеже рассказывает, будто встретился впервые с Мандельштамом в «редакции журнала «Сирена»«. Какая могла быть редакция у такого журнальчика?.. Если кто-нибудь будет этим заниматься, пусть помнит, что все, кто знали и понимали Мандельштама, ушли, не успев ничего о нем сказать. Исключение — «Листки из дневника» Ахматовой. Теперь, когда появился спрос, кроме зарубежного вранья появилось и свое отечественное. Надо различать брехню зловредную (разговоры «голубоглазого поэта» у Всеволода Рождественского), наивно-глупую (Миндлин, Борисов), смешанную глупо-поганую (Николай Чуковский), лефовскую (Шкловский), редакторскую (Харджиев, который мне, живой, приписывает в комментариях что ему вздумается, а мертвому Мандельштаму и подавно) и добродушную — вроде встречи в редакции «Сирена». Критерий подлинности подсказывает Лидия Яковлевна Гинзбург. Она заметила во вступительной статье к неизданной книге «необычайное сходство между статьями, стихами, застольным разговором. Это был единый смысловой строй». Замечание исключительно точное. Мало того все статьи Мандельштама с двадцать второго года хранят живой звук его голоса: он диктовал их мне, как и «Шум времени» (кроме последних четырех главок) и «Четвертую прозу»... Это отличный критерий, чтобы выделить ложь у «вспоминателей» от случайно вкрапленной правды. Точна в своих воспоминаниях Наташа Штемпель: у нее отличная память.

Последние годы жизни Ахматова вспоминала акмеистическую молодость, и ее обуревал страх, что будущие литературоведы зачислят акмеистов в «младшие символисты» или оторвут от них Мандельштама, чтобы соединить с Хлебниковым и Маяковским. Такая тенденция действительно существует. Тот же Харджиев в своих примечаниях поминает Маяковского, Хлебникова и даже Лилю Юрьевну Брик, но почему-то забыл Ахматову и Гумилева, и это ее возмущало. Она огорчалась еще тем, что Мандельштам где-то написал про родовое лоно символизма, откуда они все вышли... Я отношусь равнодушно к проискам будущих литературоведов: лишь бы не угасли стихи и сохранилось живое чувство поэзии. Зато вопрос о том, что связывало трех поэтов помимо юношеской дружбы, кажется мне очень существенным. Если он будет разрешен, всяким спекуляциям придет конец. Ведь их необоснованность бросается в глаза, и только интеллектуальная лень допускает их существование.

Одновременно с акмеистами против старших поэтов выступила другая группа — с Бурлюками, Хлебниковым, Маяковским, а затем и Бриком. Они называли себя футуристами, потом лефовцами, а по-современному им бы подошло название «авангард». Этих символисты приняли по-отцовски — с распростертыми объятиями. Принято думать, что футуризм действительно противопоставил себя символистам и нанес им сокрушающий удар. Его восприняли как подлинно новаторское течение (надо помнить, что слово «новатор» в течение полувека звучало как единственная и сладостная похвала), акмеисты же воспринимались как сколок с символизма, маленькое ответвление от мощного дерева. А я думаю, что символисты оказались прозорливее, считая футуристов своими прямыми продолжателями и наследниками. Футуристы довели до логического конца то, что было начато русским символизмом, и, быть может, благодаря влиянию Маяковского способствовали развитию западного авангарда. Литературоведенье в течение многих лет принимает во внимание только поверхностный слой, фактуру, словарный запас, в лучшем случае принадлежность к группе, даже случайную, как, например, у Пастернака. Объясняется это жаждой наукоподобия. Можно изучать литературу как социальное явление, но поддается такому анализу именно литература, и только она, а не поэзия (о классовом подходе говорить не стоит — известно, что он дал). Область искусства и особенно поэзии относится к человековеденью, к которому никаких методологических щипчиков не подобрать.

Сейчас ни одного поэта той эпохи нет в живых. Труд их лежит перед нами, и к нему ни одной строчки прибавлено не будет. Пора подумать, в чем заключалось дело жизни каждого из них и как оно отпечаталось в их труде. Хватит соблазняться вторичными признаками, которые всегда выводимы из первопричины.

По моему глубокому убеждению, акмеизм был не чисто литературным, а главным образом мировоззренческим объединением (а может, только так и бывает). Впрочем, говоря о поэтах, правильнее употреблять слово «миропонимание» или «мироощущение», потому что у самых интеллектуальных из них чувственные элементы преобладают над отвлеченно-мыслительными. Поэтическая мысль представляет синтез всех слоев личности, включая интеллект и физиологию, духовный и душевный строй, все, что постигается чувствами, как и то, на что толкают инстинкты и желания, а также и высшие устремления духа. Достигается синтез благодаря ведущей идее, строящей личность. Если идеи нет, возникает в лучшем случае умелец, «переводчик готовых мыслей», стальной или ситцевый соловей... Идея может корениться в любом слое сознания, как в поверхностном, так и в глубинном. Маяковский, например, в лучших стихах — поэт юношеской обиды. Он кричит и жалуется, когда не всякая вожделенная игрушка попадает ему в руки. Подобно ребенку, он мечтает, чтобы взрослые, они-то и есть обидчики (каждая женщина для него — взрослая), раскаялись, когда уже будет поздно... Роль Брика в жизни Маяковского несомненно положительная — в агитационной теме Маяковский нашел некоторую компенсацию. Она отсрочила конец и дала Маяковскому сознание цели и необходимое для таких людей ощущение силы. Маяковский доказал, что и на этом уровне возможен поэт, и люди сейчас к нему несправедливы, потому что то, на что он ставил, оказалось не силой, а немощью. Между тем Маяковский трагичен именно своей немощью, а потому с подлинной силой связать себя бы не мог. Он мог связать себя только со своей эпохой, немощной, как он сам. Такая поэзия, конечно, не дает катарсиса, внутреннего очищения, но подобные требования были бы чрезмерны. Поэзия, как правильно заметил Мандельштам, вообще никому ничего не должна, и требований к ней предъявлять не следует. Говорят, что народ заслуживает своих правителей. Еще в большей степени он заслуживает своих поэтов. Ту поэзию, которую заслуживают лишь немногие, обычно убивают или еще хуже — поэта берут в оборот, запугивают и заставляют исправиться. Именно это сделали у нас с Заболоцким.

Каковы бы ни были три поэта, восставшие против символистов, они отделились от основного течения не из-за обиды на горькие слова по поводу «Блудного сына» — это был только толчок, повод — и не по причинам чисто формальным, стихотворческим, а только потому, что осознали коренное различие в миропонимании своем и своих недавних учителей. Мне недавно доставили фотокопию записочки Мандельштама (1923 г.) молодому поэту, считавшему себя близким к акмеистам, потому что в его стихах «борется живая воля с грузом мертвых, якобы «акмеистических» слов». Вероятно, он был одним из бесчисленных в те годы подражателей Гумилева. В этой записке сказано: «Акмеизм 23 года — не тот, что в 1913 году. Вернее, акмеизма нет совсем. Он хотел быть лишь «совестью» поэзии. Он суд над поэзией, а не сама поэзия...»

Письмо написано после статей, в которых Мандельштам, пережив страшную эпоху и готовясь к новой страшной эпохе, подчеркнул нравственное значение поэзии и сказал, что акмеизм не только литературное, но и общественное явление в России. Обособляясь от символистов, он привел строки Брюсова: «Хочу, чтоб всюду плавала свободная ладья; и Господа, и дьявола равно прославлю я». Брюсов — индивидуалист, понимавший свободу как право человека служить и дьяволу и Богу. Он ставил себе цели, характерные для времени и для русского символизма. Основная цель была найдена еще в юности: стать вождем нового литературного движения, того, что тогда называлось декадентством. Он прошел не мимо христианства, но отверг его с ходу: для него это была «бедная содержанием религия». Некоторую прелесть он находил только в кощунстве: стоит вспомнить, чем для него был «путь в Дамаск». Однажды он обмолвился: «В моем самохвалении служенье Богу есть. — Не знаю сам какая, но все ж я миру весть». Он действительно был «вестью грядущего», эпохи индивидуализма, неизбежно кончающегося распадом личности. Какому богу служил он, самоутверждаясь в своем роскошном вождизме и призывая грядущих гуннов? Не забыть: Брюсов еще изрек, что поэзия ни более ни менее как откровение.

Гумилев больше всех заплатил за увлечение Брюсовым. В ранней молодости, сразу после окончания школы, Мандельштам тоже отдал ему дань. Ведь Брюсов действительно стал вождем (всю жизнь мою — куда ни ткнешься, всюду вожди!)... Он стал вождем нового направления, и для меня загадка, как это могло случиться. Владимир Соловьев блистательно высмеял его, но оказался на длительный период не прав. Сейчас его правота ясна тем более, что раскрыт весь архив Брюсова, и мы узнали то, что поленились прочесть в стихах.

Символисты, все до единого, были под влиянием Шопенгауэра и Ницше и либо отказывались от христианства, либо пытались реформировать его собственными силами, делая прививки античности, язычества, национальных перунов или доморощенных изобретений. Даже Блок, который был несравненно глубже своих лихих современников и воплотил в себе всю трагедию русской интеллигенции, имел массу родимых пятен своей эпохи. Но в роли искусителей и соблазнителей выступали главным образом Брюсов и Вячеслав Иванов: культ художника и культ искусства. Блок выписывает тезис доклада Вячеслава Иванова: «Ты свободен — божественность, все позволено, дерзай...» Достоевский отдал жизнь, чтобы наглядно раскрыть последствия тезиса «все позволено», но его не услышали. Вячеслав Иванов усмотрел в Достоевском «дионисийское начало» и решился произнести самые запретные слова...

Три акмеиста начисто отказались от какого бы то ни было пересмотра христианства. Христианство Гумилева и Ахматовой было традиционным и церковным, у Мандельштама оно лежало в основе миропонимания, но носило скорее философский, чем бытовой характер. Поэзию Мандельштам считал священной, но в применении к себе только «простой песенкой о глиняных обидах». В теурги он не просился. Это было не для него...

Вячеслав Иванов провозгласил теургическое искусство и, приглашая идти a realibus ad realiora, надеялся с помощью символов познать иной мир. Близкий к символистам Бердяев определил, как они понимали символ: «Иной мир доступен искусству только в символистическом отображении». Для Бердяева символ — связь двух миров, мост между ними. Для христианина связь эмпирического мира с высшим осуществляется не через символ, да еще найденный художником, а через откровение, таинства, благодать и — главное: через явление Христа. Христос не символ, а символом является крест, на котором Он был распят.

Для трех акмеистов теории старших, называвших себя символистами, звучали кощунством. Гумилев и Мандельштам сходятся в отказе познавать непознаваемое. Гумилев говорит, что непознаваемое по самой сути своей не может быть познано, а Мандельштам, провозглашая закон тождества, видимо, считал, что познание скрытого от нас возможно только через явленное. Он обвинял символистов в том, что они «плохие домоседы» и не ценят этот мир, «Богом данный дворец». Я не думаю, чтобы он разделял философию тождества Шеллинга с его развертыванием (или развитием) абсолюта в природе и в истории. Говоря о законе тождества (А=А), Мандельштам скорее напоминал о том, что всякий символ должен иметь твердо установленное значение, а не изобретаться произвольно — от случая к случаю. В одной из статей он говорит: «Журдень открыл на старости лет, что он говорил всю жизнь прозой. Русские символисты открыли такую же прозу: изначальную образную природу слова». В другой статье была фраза про Андрея Белого — по поводу его «Магии слов», — что, открыв образную природу слова, он так удивился, что не знает, что с ней делать (статья напечатана в 22 году в Харькове). Мандельштам прекрасно знал, что «человек — символистическое животное» (кто это сказал?), но возражал только против спекуляции метафорами и символами и против болезни века — принципиального новаторства. Он отстаивал связь времен и ту образность, метафоричность и символику, которая присуща, а не навязана слову, исторически в нем закрепилась. Болезнь новаторства всегда приводит к произволу и спекуляции. Ставка на чистое изобретательство неизбежно ведет к отказу от богатств, накопленных человечеством, то есть грозит роковыми последствиями.

Общее филологическое невежество нелепо поняло следующее высказывание Мандельштама: «Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело». Это было принято как декларация об отказе от постоянного смыслового значения слова, сближающая Мандельштама с футуристами. Между тем речь идет только о соотношении вещи и слова и об изменчивости значения слов, ясных для каждого элементарно грамотного языковеда. И сейчас еще бодрые молодые люди изучают язык Крученых и словотворчество футуристов, надеясь, что каждое придуманное и выращенное в колбе сочетание звуков (их труднопроизносимость считается дополнительным достоинством) обогащает язык и расширяет смысловое содержание человеческой речи. Мышленье Мандельштама всегда было историческим, и потому он не мог пойти ни по пути изобретательства символов, ни по пути так называемого корнесловия, в котором корни слов как угодно слепливались друг с другом и со служебными элементами, ни тем более по пути фонетических забав несчастных и невежественных фантастов... Все это считалось изобретательством и развлекало праздных людей...

Акмеисты отказались от культа поэта и «дерзающего», которому «все позволено», хотя «сильный человек» Городецкого и отчасти Гумилева унаследован от символистов. Сила и смелость представлялись Гумилеву в форме воинской доблести (воин и путешественник). Мандельштам мог понять только твердость того, кто отстаивает свою веру. В трудные годы он не случайно вспомнил четверостишие, не вошедшее в «Камень», и напечатал его в «Стихотворениях»: «Здесь я стою — я не могу иначе». В статье «О природе слова» он писал: «Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. Гиератический, то есть священный, характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже всего остального в мире». В 1922 году, когда он написал эти слова, все кругом говорили о твердой власти, но никто не помышлял, что и человек несет ответственность за все происходящее в мире. Каждый был рад снять с себя ответственность даже за свои собственные поступки. Слова Мандельштама прозвучали бы диссонансом, если бы хоть кто-нибудь их услышал, но я уверена, что их не услышал никто, кроме разве Ахматовой. Она плакальщица. Для нее и мученик за веру, и воин — жертвы, которых она оплакивает.

«Красивый, двадцатидвухлетний», как и красивые полубоги сказок Хлебникова, гораздо ближе к дерзающему человеку символистов, чем «твердый человек» Мандельштама. В молодости я, наверное, смеялась над твердым человеком и просто измывалась над словами: «Нам только в битвах выпадает жребий», потому что представляла себе «битву» поэйзенштейновски: рыхлые рыцари размахивают картонными мечами. Мандельштам не умел вычистить винтовку, питал органическое отвращение к огнестрельному оружию и никогда не ходил в военной форме. Могла ли я себе представить, что на таком мирном поприще, как поэзия, разыгрываются настоящие, не липовые, как у Эйзенштейна, битвы с кровавым исходом?

Хорошо, что Мандельштам не обижался и не ждал фимиама от собственной жены. Сильные люди героической эпохи требовали восхвалений от женщин. Они компенсировали их за все унижения, которым они подвергались в общественной жизни. Мандельштам в этом не нуждался, и причина мне ясна. Юное содружество акмеистов, настоящее «мы» Мандельштама, помогло ему ощутить свое «я», отнюдь не индивидуалистическое и не нуждающееся в самоутверждении.

Пятеро

Крошечные объединения художников или молодых литераторов с их нелепыми манифестами, с дурацким шумом, который они поднимают и слышат только сами, вероятно, один из лучших способов становления, а может, даже единственный. В мире, всегда враждебном новому голосу, необходим дружеский глаз и слух, хорошая насмешка, живой спор. В одиночку увидеть огонек и пойти к нему гораздо труднее, чем со спутниками и друзьями. Можно считать оправданием всей тысячи группок, если хоть в одной из них хоть один человек найдет себя и нужное слово. Что же касается до враждебности большого мира, то она только полезна художнику, потому что он учится преодолевать сопротивление. Гораздо хуже любимчикам. Преодолеть соблазн всеобщей ласки гораздо труднее, чем плыть против течения. Я, разумеется, говорю о нормальных условиях, когда «враждебный мир» только отругивается или не замечает художника, а не пользуется карательным аппаратом для его перевоспитания. У Мандельштама была хорошая юность, и она дала ему силы на всю жизнь. Он получил закал в содружестве акмеистов и в первом «Цехе поэтов».

В годовщину гибели Гумилева в 28 году Мандельштам написал из Крыма Ахматовой письмо, которое она привела в своих «Листках из дневника» (оно сохранилось в копии, сделанной Лукницким). Он пишет: «Беседа с Колей не прервалась и никогда не прервется». Я могу подтвердить, что Мандельштам постоянно вспоминал высказывания Гумилева о том или другом стихотворении или примеривал, как бы он отозвался о новых стихах, которых уже нельзя было ему прочесть. Он особенно любил повторять похвалу Гумилева: «Это очень хорошие стихи, Осип, но когда они будут закончены, в них не останется ни одного из теперешних слов...» И еще —

по поводу дружбы с Георгием Ивановым, когда Мандельштам еще не понимал некоторых особенностей «жоржиков» (выражение Ахматовой): «Осип, прекрати, это не для тебя...»

По статьям Гумилева, вероятно, трудно судить о его понимании поэзии и поэтическом слухе. И Мандельштам говорил, что в разговорах он был гораздо сильнее, чем в статьях[1]. С Мандельштамом Гумилев разговаривал иначе, чем с Ахматовой. Все замечания Гумилева о стихах Мандельштама (чаще всего в форме шутки) относились к частностям, к какой-нибудь неточности эпитета или сравнения. На Ахматову он пробовал влиять, прививая ей свое отношение к поэзии. Я сужу об этом по ее рассказам, один из которых сейчас приведу...

Ахматова рассказывала, как она сидела у окна, расчесывая косу, читала только что вышедшую книжку Анненского и вдруг поняла, что ей нужно делать. Гумилев был тогда в Абиссинии. Когда он приехал, у нее уже накопилась кучка стихов, которые вошли потом в «Вечер». Гумилев удивился стихам. До этого он все придумывал занятие для жены: «Ты бы, Аничка, пошла в балет — ты ведь стройная...» Стихи он принял всерьез и уговаривал Ахматову писать баллады. Ему казалось, что выход из тупика, в который завели символисты, — в сюжетной поэзии. Мне думается, что в этом совете есть еще нечто от Брюсова. Может, есть и элемент завлекания читателя, как и в отказе полным голосом говорить в статьях. Их построение — дань читательскому равнодушию и невежеству. А самый принцип «завлекательства» — наследство символистов, профессиональных «ловцов душ».

Стихи вроде «Сероглазого короля» (а в какой-то степени и вся новеллистичность стихов Ахматовой) — дань балладной теории, но добился Гумилев «баллады» только от Одоевцевой, которая сочинила что-то про могильщиков и кота (Мандельштам говорил, что Гумилев обрадовался «балладе», и именно на этом держались его отношения с Одоевцевой, которая так ловко их расписала). Учительский темперамент Гумилева понукал его окружать себя учениками. Ко второму и третьему цеху (он назывался, кажется, «Звучащая раковина») ни Мандельштам, ни Ахматова не имели уже никакого отношения. Они всегда это подчеркивали: «Затея Гумилева... Мы здесь ни при чем...» В последний период жизни Гумилев возился с Оцупом, Рождественским и Нельдихеном. Из них Всеволод Рождественский активно отрекся от Гумилева и усердно подчеркивал свое ученичество у Блока. В последней книжке, мне сказали, он сообщил, что его «старшим товарищем» был Мандельштам. Это такое же вранье, как ученичество у Блока и акмеистические речи Мандельштама в мемуарах. Хорошо, что Мандельштам в противоположность Гумилеву не нуждался в учениках и не переносил подражателей. Этого сброда вокруг него не водилось.

---

[1] *Далее следовало*: Не случайно из всех суждений поэтов он запомнил только гумилевские. (Еще разок-другой он цитировал слова Ходасевича.) Здесь и далее приводится текст, восстановленный по авторизованной машинописи книги (собрание С. В. Василенко).

Мне думается, что психологическим толчком к разрыву Гумилева с символистами была его потребность в учительской деятельности. При символистах он сам состоял в учениках, между тем популярность его росла, книги раскупались, выступления пользовались неизменным успехом, девушки висели гирляндами (слова Ахматовой!)... Я не свидетельница тех лет, и это мое мнение, не подкрепленное ничьим авторитетом. Но популярность Гумилева я сама видела. Она продолжалась все двадцатые годы, а в тридцатые спустилась в периферийные читательские круги и стала еще шире. Даже и я отдала ему дань и не сразу поняла, почему Мандельштам равнодушен к «Трамваю» (баллада!) и особенно к «Слову». Эпиграфом к статье «О природе слова» строчки из гумилевского стихотворения поставили издатели, а не автор. Но строчку: «дурно пахнут мертвые слова» Мандельштам любил и часто повторял. И в «Восьмистишиях» есть реминисценции из Гумилева. Мандельштаму нравились куски из «Звездного ужаса» («Что за жертва с теменем долбленым»), а в одном из них он не узнал перифразу из Библии («страх, петля и яма»). Как и при всяком чтении поэтов, Мандельштам искал у Гумилева удач. Такой удачей он считал «На Венере, ах, на Венере...». Артур Лурье, пожалуй, слишком решителен, когда говорит, что Мандельштам не мог скрыть скуки, слушая Гумилева. Вопрос в том, что он слушал. «Из логова змиева, из города Киева» превратилось в «Киев-Вий» в одном из последних стихотворений Мандельштама...

Нарбут и Зенкевич находились под полным обаянием Гумилева. Все теории и мысли Гумилева были для них каноном, но вряд ли они их понимали. Они присоединились к акмеизму, потому что поняли его как бунт земного против зова ввысь, как утверждение плоти и отказ от духовности. Оба они принадлежали к породе людей, которая выше всего ставит юность, акмеизм же для них был молодостью и цветением. Они сияли, когда видели Мандельштама, а Зенкевич и сейчас только и делает, что рассказывает про начало десятых годов в Петербурге и выкапывает из недр памяти забавные приключения и веселые истории. Как, например, Мандельштам смеялся, когда они не вовремя пришли к одному из участников «Цеха» (к Георгию Иванову) и попали на скандал между ним и его покровителем. «Мы, акмеисты, этим никогда не занимались», — твердит восьмидесятилетний Зенкевич и хохочет, вспоминая молодость. Поэзия играет третьестепенную, а может, и никакую роль в его рассказах, добродушных и милых, а позу Ахматовой у камина он запомнил навсегда, как и «шалости» Георгия Иванова, своеобразным способом добывавшего деньги на легкую жизнь и кукольные костюмчики. Повествуя о приключениях этого героя, Зенкевич тут же отмежевывается, напоминая, что Георгий Иванов только член «Цеха», не больше... Я когда-то читала заветную повестушку Зенкевича, написанную после гибели Гумилева. В ней, кажется, легкая романтическая даль и горестное прощание с юностью. Факты он обходит — ему они не нужны. Он хранит рукопись под спудом и никому ее не показывает. Зенкевич жил в современности, совершенно оторванной от прошлого. Современности он боится и умело к ней приспособляется, а о прошлом мечтает. Крошечный архив с автографами покойников — главная дань прошлому.

Акмеизм был для Зенкевича и западничеством, которое облегчило ему переход на переводы, а это единственный способ существования для литератора, не способного сочинять казенную беллетристику. Пока Нарбут состоял в начальниках, он держал Зенкевича при себе и здорово третировал, но Зенкевич отлично с ним уживался, потому что в диком чужом мире хорошо притулиться около своего человечка. Больше всего он боится чужих. После ареста Мандельштама в 38 году он встретил меня на улице и напал за то, что я пускала в дом «чужих». Чужими оказались биологи во главе с Кузиным. Они тоже гневались на меня, считая, что Кузин попал в переплет оттого, что встречался у нас с подозрительными людьми вроде Зенкевича. В одном и Зенкевич и биологи правы: в такие эпохи, как наша, следует вырыть яму в лесу, как рекомендует Зощенко, и завыть зверем. Впрочем, Кафка предусмотрел этот метод и доказал, что хозяйственного крота все же вытравят из отличной норы, на рытье которой он потратил столько сил... Кузин же был на примете у любимого учреждения задолго до встречи с нами. Его непрерывно таскали, потому что он отказался стукачить. Сейчас он вполне благополучный старик и любит только Гёте. Все мы принадлежали к кругу, который походя уничтожался. Удивительно не то, что многие из нас побывали или погибли в лагерях, а то, что кое-кто уцелел. Осторожность не помогала. Помогала только случайность.

Итак, Зенкевич доживает жизнь, вспоминая, рассказывая и вновь переживая легкий хмель десятых годов. По-своему он остался верен юношескому содружеству. В страшные годы он молчал и выбирал утешительные занятия, чтобы хоть немного позабыться. В 37—38 годах он пристрастился к верховой езде и получил разрешение два раза в неделю с часок упражняться в манеже. Один из самых его горестных рассказов, переданный мне его слушательницами, касается именно этой страстишки и этих лет. Перед отъездом в Саматиху, где его ждали арест и гибель, Мандельштам зашел со мной к Зенкевичу. Мишенька спешил в манеж и убежал, даже не насмотревшись на Мандельштама в последний раз, как он теперь жалуется. Ведь он мог пропустить занятия в манеже, но ему просто не пришло в голову, что он больше никогда не увидит Мандельштама... Если б он только знал!.. Мишенька обладает такой природной наивностью, вернее, невинностью, что ничего похожего на помощь мы от него не ждали никогда. В тот последний раз, я помню, Мандельштам уговаривал жену Зенкевича стащить для него одну из Мишенькиных рубашек. Она не решилась: Мишенька слишком хорошо знал счет и был строг насчет имущества. В совсем недавние годы мне пришлось позвонить Зенкевичу, чтобы что-то узнать. Я попала на жену. Она жаловалась, что к ним приходил Дувакин записывать болтовню Мишеньки. По ее мнению, он не смел показываться в порядочных домах, раз Синявский, каторжник, был его учеником. В страшные годы она была гораздо смелее, но с возрастом стала настоящей советской женщиной. Не понимаю только, как она решилась излагать свои жалобы по телефону. У нас это не принято.

Зенкевич — единственный из акмеистов, кроме «лишнего», которого пощадила судьба. Я рада, что он не разделил общей участи. По-моему, он никогда в жизни не совершил ничего плохого и на зло не способен. Вялый, добродушный, мягкий, никакой, Мишенька Зенкевич твердо знает, что только неосторожность приводила людей к гибели, но даже не догадывается, что и сам бывал неосторожен, собирая автографы и вздыхая в одиночестве по погибшим друзьям, — ведь даже стены могли подслушать его вздохи... Его счастье, что этого не случилось. В последние годы он часто навещал Ахматову и даже раз принес ей цветочек. Он утешал ее своими рассказами, и она уговаривала меня узнать у Мишеньки все про «Цех» и акмеизм, а затем записать его путаные рассказы в должном порядке. Пусть это делают без меня — я не историк акмеизма. Думаю, что он может обойтись без истории.

Горестная судьба Нарбута не связана с его принадлежностью к акмеистам. Он погиб вместе с толпами партийцев ранних призывов, почему-либо отколовшихся от главного течения, а попался на глаза в доме вдовы Багрицкого, сестры его жены. Сестры Суок считают, что дело было состряпано небезызвестным Тарсисом, одним из постоянных посетителей вдовьего салона. Вот, казалось бы, осторожность: только и ходил, что к вдове любимого советского поэта, но гибель подстерегала человека повсюду. Впрочем, уцелеть в положении Нарбута было почти невозможно — разве что только в яме в лесу, но ведь и леса прочесывались густым гребнем. Один из самых популярных рассказов тридцатых-сороковых годов выдает общую мечту честных советских людей: на Байкале в лощинке между горами жили старик со старухой, укрытые лесом, кустарником и горными вершинами. Они жили в таком уединении, что, по одним рассказам — в течение двадцати, по другим — тридцати лет, не видели ни одного человека «с большой земли». Экспедиция, которая случайно набрела на их избу, удивилась их блаженному неведенью и впервые сообщила им про войны и революцию. Я не верю в существование идиллической пары. Либо старики притворялись, либо их выдумали мечтатели, тосковавшие по уединенной жизни и тишине. Ведь врач Пастернака тоже мечтал жить плодами своих рук на отшибе и в тишине. Такое случается только в сказках и в воображении советских людей. Я тоже мечтала о таком, но всюду и везде хуторян находил фининспектор, раскулачиватель, организатор, разоблачитель и, наконец, уполномоченные великих органов порядка, которые сумели бы приобщить любого отшельника и столпника к нормальной деятельности на воле или за колючей проволокой... Нигде бы Нарбуту не спрятаться, хотя иррациональная случайность иногда спасала людей вернее, чем ложбинка в горах.

Я любила Нарбута: барчук, хохол, гетманский потомок, ослабевший отросток могучих и жестоких людей, он оставил кучку стихов, написанных по-русски, но пропитанных украинским духом. По призванию он был издателем зажимистым, лукавым, коммерческим. Ему доставляло удовольствие выторговывать гроши из авторского гонорара, составлявшего в двадцатые годы, когда он управлял издательством, совершенно ничтожный процент в калькуляции книги. Это была его хохлацкая хохма, которая веселила его душу даже через много лет после падения. Издательскую деятельность Нарбут представлял себе на манер американских издателей детективов: массовые тиражи любой дряни в зазывающих пестрых обложках... В нашей ханжеской действительности он не мог развернуться как делец и выжига и сам взял на себя особый искус — стал партийным аскетом. Ограничивал он себя во всем — жил в какой-то развалюхе в Марьиной роще, втискивался в переполненные трамваи, цепляясь за поручни единственной рукой — вместо второй у него был протез в перчатке, работал с утра до ночи и не пользовался никакими преимуществами, которые полагались ему по чину. (Не знаю, были ли тогда «пакеты», а если были, то от них бы он отказался.) Свое издательство «ЗиФ» («Земля и фабрика») он взял нищим, а отдал процветающим, с большим капиталом в банке. После рабочего дня в издательстве он мчался в Цека, где занимал какую-то важную должность. О стихах в те годы он не помышлял и весь ушел в партийные интриги. В противовес Воронскому, поддерживавшему «попутчиков», Нарбут выдвигал писателей, которых он сам называл «усачами». Другой характеристики для них он подобрать не мог. «Усачи», вероятно, принадлежали «Кузнице» или РАППу Нарбуту на это было наплевать. Усатых книг он не читал — этим занимались его подчиненные. Ничего, кроме партийного и коммерческого смысла книги, он знать не хотел. Единственный человек, которому он радовался, был Мандельштам, и торговался он с ним только для виду, чтобы по всем коридорам издательства гремел его голос и пугал и так запуганных служащих, редакторов всех чинов и мастей. Они-то твердо знали, что «нашего хозяина» ничем не проймешь... И все же они считали Мандельштама креатурой Нарбута, поскольку он не принадлежал к «усачам». После падения «хозяина» они ринулись травить Мандельштама. Нового начальника, Ионова, подвигнуть на это было легче легкого. Старый шлиссельбуржец — говорят, что над его кроватью висели кандалы, — он отличался крутым нравом. Проще говоря, у него не все были дома: в Ленинграде, заведуя там Госиздатом, он безумствовал как хотел. Однажды, рассердившись на одного из служащих, он приказал продержать его часок-другой в лифте, остановленном между этажами. Кажется, он разделил общую участь и погиб, как все.

Воронский одолел Нарбута с помощью Горького. Он раздобыл документ, подписанный Нарбутом в деникинской тюрьме, кажется, в Ростове. Спасая жизнь, Нарбут отрекся от большевизма и вспомнил про свое дворянство. Воронский победил бы Нарбута и без всякого документа — он действительно принадлежал к победителям, а Нарбут торчал сбоку припека — таких терпели только в годы гражданской войны. Ирония судьбы в том, что всех ожидала одинаковая участь.

После падения Нарбут растерялся, потому что успел войти в роль партийного монаха, строителя советской литературы. Вскоре он пришел в себя, переехал из развалюхи, которая пошла на слом, в чистую комнату, нашел заработок в научном издательстве, где сидел редактором Шенгели, и зачастил в гости к нам и к Багрицкому, куда его иногда брала с собой жена.

Мне кажется, что Нарбут пошел в акмеисты по той же причине, что потом в партию: гайдамаки любят ходить скопом, сохраняя вечную верность толпе, с которой делили судьбу. Кроме краткого периода сидения в сановниках, Нарбут всегда мечтал воскресить акмеизм — в обновленном, конечно, виде В 22 году он часто приходил к Мандельштаму с рукописями Бабеля и Багрицкого и умоляюще твердил: «Ведь они же настоящие акмеисты...» На Багрицком он настаивал меньше, чем на Бабеле: с поэтами не так-то легко разобраться, но что касается Бабеля, то все ясно. Он отлично рассказал про Беню Крика и выше всего ставил силу и мощь человека. Не знаю, был ли тогда уже Беня Крик, но устное предание о нем уже существовало. Бабель нашел вожделенного «сильного человека» и среди евреев. Не беда, что он оказался одесским бандитом. Нарбут упорно прочил Бабеля в неоакмеистическую группу во главе с Мандельштамом, но без Ахматовой. Думаю, что это делалось с ведома и согласия Бабеля, который еще не успел опериться, хотя потом, встречаясь с Мандельштамом, он никогда ни о чем не обмолвился. В начале двадцатых годов союз с Нарбутом, из рук которого одесские писатели ели хлеб, и с Мандельштамом мог показаться Бабелю выгодным. Мандельштам категорически отказывался от нового акмеизма в союзе с одесситами. Нарбут возобновлял предложение и удивленно хлопал глазами, когда снова получал отказ. Он искренно не понимал, почему Мандельштам «упрямится». По-моему, Нарбут не понял ни единого слова в статье, которую он тиснул в своей воронежской «Сирене».

В тридцатых годах, после падения, Нарбут кинулся на поиски «научной поэзии», считая, что именно к ней должен прийти акмеизм. Он думал, что акмеизм живет деталями, частностями, подробностями и готов смотреть в лупу, чтобы каждая частица стала выпуклой и крупной. Вот доводы Нарбута в пользу нового акмеизма: поэт — изобретатель, значит, он может изобрести что угодно — даже машину, а именно к этому его готовит научная поэзия... Мандельштам обращался с Нарбутом нежно, как с больным ребенком. Ничего объяснять ему он не пытался, но ценил в нем хохлацкое остроумие и любовь к шутке.

Как ни глубока была привязанность Нарбута к Мандельштаму, после мая 1934 года я видела его, может, раз или два. Ахматова, приехав как-то летом 34 года в Москву, остановилась у Нарбутов. Она попыталась еще раз заехать к ним, но ее больше не пустили. К сожалению, осторожность никому не помогала, не помогла она и Нарбуту.

Нарбут и Зенкевич — спутники акмеизма, друзья молодости, случайно пошедшие за тремя поэтами с трудной судьбой. Ни Нарбут, ни Зенкевич даже не подозревали, что существует такая вещь, как миропонимание и основная идея, на которой строится личность. Да и до личности им дела не было. Для них личность — это шутка, забава, игра, как в молодые и светлые дни. Оба они сохранили любовь и верность акмеизму, как к основному событию своей юности, но взрослыми им стать не довелось.

И все же они входили в «мы» Мандельштама, но только до тех пор, пока был жив Гумилев. С его смертью группа распалась, а дружба с Ахматовой, возобновившаяся в середине двадцатых годов, сохраняла старое единение, и в нем всегда присутствовал Гумилев, с которым велся воображаемый разговор.

Ахматова часто зазывала в последние годы жизни Мишеньку и радовалась его выпуклой и подробной памяти о прошлом. Он рассказывал ей свои сказки, и она наслаждалась, снова переживая старые приключения, и впивала в себя похвалы своей красоте и свидетельства о безумной любви к ней Гумилева. На старости ей почему-то понадобилось, чтобы Гумилев нес в душе неостывающую любовь к ней и только потому менял женщин, что ни одна не могла ее заменить. И Мандельштам, и Зенкевич действительно считали, что Гумилев по-настоящему любил именно Ахматову. Его она, кажется, не любила никогда. Так, по крайней мере, считали все современники, и она этого совсем не скрывала. Зачем же ей понадобилось утверждать посмертно любовь к себе Гумилева? Она говорила, что в этом спасение Гумилева как поэта. Довод более чем сомнительный... Мишенькина трактовка акмеизма тоже ее вполне устраивала, но, разумеется, только в последние годы жизни. Она уговаривала меня допросить обо всем Зенкевича. Я только отмахивалась от ее уговоров, потому что не принадлежу ни к историкам, ни к литературоведам и спрашивать Мишеньку про дни, когда я еще «не существовала», мне не хотелось, как и глядеть на жизнь его невинными детскими глазами. У меня с ней другие счеты, и в их первое юное акмеистическое «мы» я не вхожу. Мне только жаль, что не довелось увидеть Мишеньку, неуклюжего и толстоватого, на смирной манежной лошадке. Верхом он, наверное, был еще милее, чем на жестком редакторском стуле в аскетически пустой и грязноватой редакции «ЗиФа». Рыхлый и добродушный редактор, наездник и собиратель автографов друзей, погибших страшной смертью...

Возвращение

Двойственное число потеряно, и это дало повод Харджиеву приписать стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» — Арбениной. Между тем стихи Арбениной начинаются после этого стихотворения. Они идут в следующем порядке: «Мне жалко, что теперь зима...», «Возьми на радость из моих ладоней...», «За то, что я руки твои не сумел удержать...», «Я наравне с другими хочу тебе служить...» и, возможно, «Я в хоровод теней...». Я не устану повторять, что в «Тристиях» порядок совершенно случайный. Не им ли руководствовался Г.Струве, когда поместил стихи о разрыве раньше, чем два идиллических?

Под стихотворением «Возьми на радость...» дата — ноябрь (согласно «Тристиям»?). «В Петербурге мы сойдемся снова...» — дата 24 и 25 ноября. Во-первых, неизвестно, где даты по старому, где по новому стилю. В те годы оба стиля еще здорово путались. Во-вторых, после 25 ноября осталось еще пять ноябрьских дней, когда возникло первое и второе стихотворение Арбениной. Стихи у Мандельштама всегда шли пачками, и после взрыва следовал длительный отдых. Вся груда ленинградских стихов двадцатого года была написана в ноябре 1920 года. В конце ноября появились стихи Арбениной, а в январе — «Исаакий». Мандельштам приехал в Ленинград только в конце октября, а уехал оттуда в последних числах января. Точный порядок установлен в «Стихотворениях». У нас, кстати, тогда еще была груда черновиков, многие с датами. Ошибки в числах возможны именно в беловиках: стихотворение записывается случайно — с самыми разными целями, обычно для передачи в редакцию, — и дата ставится на глазок. Кроме того, Мандельштам всегда прекрасно помнил, в каком порядке следуют стихи. Этого спутать нельзя. Но именно этого не понимает ни один редактор.

В Москве в 22 году, когда Мандельштам собирал «Вторую книгу», он вспомнил стихотворение «В Петербурге мы сойдемся снова...» (цензура его не пропустила), и я спросила его, к кому оно обращено. Он ответил вопросом, не кажется ли мне, что эти стихи обращены не к женщинам, а к мужчинам. Тогда я удивилась: в юности есть только одно блаженное слово — любовь. Меня смущало, что Мандельштам назвал «бессмысленным»... Такое определение любви ему несвойственно. Он посмеялся: дурочкам всегда чудится любовь... Тогда же или несколько позже он сказал, что первые строки пришли ему в голову еще в поезде, когда он ехал из Москвы в Петербург. Закончил он стихотворение с первым снегом — оно сначала отлеживалось заброшенное, а потом внезапно вернулось и сразу «стало»... Помимо приведенных мною слов — им могут поверить или усомниться в точности передачи — простой смысловой анализ показывает, что это стихотворение не обращено к женщине.

«Снова» можно встретиться только с тем, с кем был в разлуке. *Снова сойтись* в Петербурге могут только люди, которых разметала судьба, разлучив с любимым городом («словно солнце мы похоронили в нем»). Так не скажешь женщине, впервые встреченной и никуда из Петербурга не уезжавшей, как Ольга Арбенина. Мало того — если речь идет о мужчине и женщине, то «сойтись» имеет совсем иной смысл, чем когда мы говорим о странниках. Я могу сказать про себя, что мы «сошлись» с Мандельштамом в девятнадцатом году в мае. Вторично мы уже не «сошлись», а вернулись друг к другу. Это слово для двоих имеет чисто постельное значение, и на протяжении нескольких дней нельзя дважды «сойтись». Если б это относилось к женщине, то скорей к той, к которой обращено «Я изучил науку расставанья...». О ней я почти ничего не знаю. Только то, что она имела какое-то отношение к балету, скучала в Москве по родному Петербургу. Мандельштам видел ее, когда ехал из Грузии в Петербург через Москву, где на несколько дней задержался и даже был с ней в балете. Но разве женщине скажешь: «У костра мы греемся от скуки, может быть, века пройдут, и блаженных жен родные руки легкий пепел соберут...»? Это обращение к поэтам, а не к возлюбленной, и Харджиев правильно сопоставил эти строки с пушкинским: «И подруги шалунов соберут их легкий пепел», но не сделал из этого семантических выводов. Прибавлю, что «родные темные зрачки» из окончательного текста никакого отношения к светлоглазой Арбениной не могут иметь (древнее «зрак» у Мандельштама всегда со значением «глаз», в котором он чувствовал корень — бусина). «Родная тень», «родные темные зрачки» всегда связаны с музыкой, а у Мандельштама, как и у Марины Цветаевой, есть тема «мать и музыка». Об отношениях с Ольгой Арбениной я знаю одну деталь и от нее, и от Мандельштама: они тоже вдвоем были в балете, вернулись к нему — и тут-то и произошел разрыв, так что Арбенина ночью ушла от него, несмотря на комендантский час. После этого начались стихи разрыва — «За то, что я руки твои не сумел удержать...».

Чтобы понять это стихотворение Мандельштама, надо знать, как все мы, выросшие в обыкновенных интеллигентских семьях, привыкшие к застольному разговору и определенному кругу интересов, вдруг — без всякого переходного периода, в один миг — очутились в новом мире, среди совершенно чужих людей, говорящих не на нашем языке. У меня ощущение, будто я оглянулась и никого вокруг себя не нашла: другие слова, другие мысли, другие понятия и чувства. А я значительно моложе Мандельштама и еще, в сущности, не успела узнать, что мое, что чужое. Многие говорили мне о подобном ощущении, а среди них жена Зенкевича, «пленная турчанка», которая действительно казалась затворницей и пленницей тяжелоступа Мишеньки. Именно поэтому мне показались такими дикими ее слова о бедном Дувакине и Синявском. Она приспособилась к миру, а я лишь в последние десять-двенадцать лет снова нашла людей младших, разумеется, поколений, — с которыми у нас оказался общий язык. Видно, и они, и их родители прятались по своим углам, не смея произнести ни слова. К революции Мандельштам был уже сложившимся, хотя и молодым человеком, и для него переход в новый мир оказался еще труднее, чем для меня. Только остро вспомнив этот разрыв связи времен, можно раскрыть значение «блаженного бессмысленного слова».

И в любви бывают блаженно-бессмысленные слова, но о них Мандельштам не говорил (разве что в письмах ко мне). Это не блаженные слова из «Соломинки», где он просто перечисляет имена женщин, которых любили поэты («Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита»). «Блаженное бессмысленное» слово надо сопоставить с «блаженным смехом» («блаженный брызнет смех»), который вернется, если человек почувствует единение с миром. В нем радость не любви, а единения с людьми, с кругом близких, которые понимают друг друга с полуслова. Возвращаясь после долгих странствий в Петербург в 1920 году, Мандельштам еще верил, что все сохранилось, как было, что туда соберутся и другие странники, рассеянные историческими событиями, и он снова очутится среди тех, кого считал своим «мы»... Его не оставляла ностальгическая тоска по этому «мы», в которое входила и одна женщина — Ахматова. В последний раз он видел ее в Москве в Зачатьевском переулке, а в зиму 20/21 года она отсиживалась в Мраморном дворце с Шилейкой, и Мандельштам ни разу с ней не встретился.

В 22 году в одной из статей, напечатанных в Харькове, Мандельштам уточнил свое понимание «мы» и, в сущности, дал комментарий к разбираемому стихотворению. Рассказывая, как Розанов боролся с антифилологическим духом, который «вырвался из самых глубин истории», он вспомнил университетский семинар: «Литература — это лекция, улица; филология — университетский семинар, где пять человек студентов, называющих друг друга по имени-отчеству, слушают своего профессора, а в окна лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология — это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках. Самое лениво сказанное слово в семье имеет свой оттенок. И бесконечная, своеобразная нюансировка составляет фон семейной жизни...» Для Розанова «мы» — семья, для Мандельштама — это пять студентов, несколько поэтов, кучка друзей. Он вспоминает семинар «молодого профессора» (это его слова) Шишмарева, среди слушателей и участников которого были и Гумилев, и Мандельштам. Они читали старофранцузские тексты, и любовь к ним Мандельштам сохранил на всю жизнь. Я знала Шишмарева уже стариком, и он нежно вспоминал своего ученика Осю Мандельштама, способного, но ленивого филолога.

Для Мандельштама «филология» — глубокое и нравственное понятие. Ведь слово воплощает в себе смысл, Логос. Народ, особенно русский, существует, пока владеет живым, неомертвевшим словом: «Для России отпадением от истории, отлучением от царства исторической необходимости и преемственности, от свободы и целесообразности было бы отпадение от языка. «Онемение» двух, трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти». «Историческая необходимость» для Мандельштама связана с преемственностью, следовательно, она совсем не напоминает о детерминизме марксистов, а вся его жизнь ушла на защиту того, что он называл «филологией» и связывал с внутренней свободой, а мы жили в царстве мертвых, лишенных смысла слов, которыми дурманили народ. Живое слово в церкви, в семье, в своем кругу, среди друзей и поэтов, составляющих «мы» и охраняющих единые ценности, — вот что Мандельштам надеялся найти в Петербурге двадцатого года.

У Мандельштама было своеобразное деление мира на «мужей» и «жен». Всю ответственность за течение земных дел несут «мужи», а «жены» — плакальщицы, гадальщицы, собирательницы легкого пепла... Только мне гадать он не позволял, и я обижалась, что выключена из числа «жен». Однажды, отогнав от меня гадалку, он сказал: «Тебе зачем гадать? Ты уже все знаешь». Господи, что я знала тогда, если я и сейчас ничего не знаю...

Больше всего Мандельштам ценил мужскую дружбу, куда входило «рукопожатие в минуту опасности», «битва», конкуренция за жен, общий язык и шутка. «Битва», как я уже говорила, смешила меня, а он к ней готовился. В нашей жизни гражданская смелость явление гораздо более редкое, чем воинская доблесть. Люди, отличавшиеся низкой трусостью в общественной жизни, оказались храбрыми офицерами и солдатами. Как это могло быть? Пожалуй, все дело в том, что на фронте они были в строю и, в сущности, только исполняли приказы. Это была служба, а не «битва». Для службы требуется не смелость, а стойкость, подчинение дисциплине, а не нравственному долгу. Человек, потерявший личность, нередко обретает достоинство именно в строю, на войне. В мирное же время он у нас тоже оказывался строевым и подчинялся приказам даже в тех случаях, когда они шли вразрез с его понятиями о долге и чести (у многих ли сохранились эти понятия?). Вторая мировая война, как это ни ужасно, для некоторых явилась внутренним облегчением, потому что избавила от раздвоенности, характерной для мирной жизни. Мандельштам до войны не дожил, и в минуту опасности не нашлось ни одного «мужа», который бы пожал ему руку. Зато с нами была плакальщица Ахматова, последняя из тех, кого он называл «мы». Ее прощальный поцелуй стоил больше того, на что были способны куцые «мужи» нашей эпохи.

В Петербурге двадцатого года Мандельштам своего «мы» не нашел. Круг друзей поредел, а я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке — до первых испытаний... Гумилева окружали новые и чужие люди. «Звучащая раковина» после «Цеха» казалась карикатурой. Старики из Религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама, и если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее: мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в елисеевском «Доме искусств» даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос, где Мандельштам, ответил: «Жабу гладят», и это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге: «Мандельштам, сорок лет, поет...» Процветали шуточные стихи: «Как об арбе ни ной, в арбе катается другой», «Хочу быть русской литературой, чтобы всю скупил меня Гржебин», «юный грузин Мандельштам»...

Мерцали коптилки, топились печки-времянки, но не дровешками, а бухгалтерскими книгами — часть дома когда-то занимал банк. Это было время активного и всерьез увлечения просветительством. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа.

Мандельштам в комиссиях не заседал и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал, но и ему на минутку показалось, что «произошло отделение церкви-культуры от государства... Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин «терпимость». Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающий государство с культурой наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано»...

Ничего похожего на терпимость не было никогда — у государства еще руки не дотянулись до культуры, оно занималось голодом и войной. А Ленинград оказался центром маниловщины: по требованию Горького там «сохраняли» интеллигенцию за то, что она много знает. Ведь именно этим апеллировал Горький к молодому государству: суммой знаний. Количество знаний всегда импонирует некоторым видам интеллигентов-самоучек, как и всеобъемлющие издания вроде «Мужчина и женщина» или «История молодого человека», где в одном томе собраны все полезные сведенья по данному предмету. На количественном принципе строились издательские планы, а потом школьные программы. Что же касается до терпимости и советов, то отборную интеллигенцию в компании с милыми дамами пристроили к «культурному» делу: засадили за переводы, хотя они могли еще думать и работать. Интеллигенцию заняли «самодеятельностью», и Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека — Блок и Гумилев. Чем не мужи совета?

Последним «мужем совета» для Мандельштама был Флоренский, и весть об его аресте и последующем уничтожении он принял как полное крушение и катастрофу.

Единственным способом пропитания в начале двадцатых годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паек, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому, весьма относительному, благополучию. Поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул: уже тогда у нас не было уравниловки и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои — запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным.

Обращалась к Горькому и Ахматова. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали, и она жила с Шилейкой на его академические селедки. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ковры, наверное, были отличные, потому что вещи продавались за бесценок. И мы с Мандельштамом, уезжая из Москвы в 21 году, продали кому-то неплохой текинский ковер, который повезли к покупателю в детской колясочке. Но моя текинка была обыкновенной, отнюдь не для коллекции. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе.

Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге: месяца три с половиной, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Если б он не получил письма Любы Эренбург о том, что я по-прежнему в Киеве — только переменила адрес, он бы все равно там не остался, в этом я уверена. Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта и «трогательный чин, ему же все должны — у Исаака отпеванье». Из прежних друзей, «мы» Мандельштама, никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания, да и она не «у Исаака» — запечатанного ныне собора.

Распад

Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне «для душевнобольных», мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые: в Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди — все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали «Ирой рассыпной» и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших, красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из «Совдепии» в пышном Константинополе. В те дни я узнала, как горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы, но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он расстрига, и не позволяли ему зажимать «своих». От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка: «У него Брехничев вместо цепной собаки», а от предыдущей только рифма — Канделаки...

Мандельштам не унывал, мы пили телиани, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки две-три. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и «мазали» мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торг и обмен — мы и рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась — в центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир, но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершение всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голоском штатский объявил, что он представляет Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся — обратно на Тифлис. Грузин увели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю... Я еще не раз видела, как по поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки... Это называлось «борьбой с мешочничеством».

Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили телиани и ели каймак, брынзу и лаваш. Однажды на базаре нас остановила мощная процессия «шахсе-вахсе». Она была последней, потому что на следующий год ее запретили — и навсегда. Под равномерные звуки восточных барабанов шли полуголые люди, ритмически хлеставшие себя кожаными плетками. Они держались стройными прямоугольниками. За ними в том же порядке — люди с кинжалами с более сложными ритмическими движениями. Один к одному, совершенно точно и одновременно они поднимали то правую, то левую ногу и наносили себе удар кинжалом все в одно и то же место. Это было бы похоже на балет, если бы не струйки крови, сочившейся из ран. Шли верблюды, ослы и кони в прекрасных попонах. На них ехали женщины и дети — семейство брата Магомета, в память убийства которого разыгрывался весь спектакль. На большом коне провезли голубя, а на другом верхом ехал странно качавшийся всадник. В спину у него был воткнут кинжал, и на белой одежде сверкала свежая кровь. Толпа зрителей то и дело шарахалась от страха, и мы тоже вместе с толпой. Я хотела бежать, но Мандельштам меня удерживал и заставил достоять до конца бесконечной процессии. Все участники выкликали хором два каких-то коротеньких слова, и эти выклики служили единственным регулятором ритма всего сложнейшего и кровавого балета. Говорят, что в прежние годы европейца, случайно оказавшегося в толпе зрителей, мусульмане бы немедленно растерзали. Процессия направлялась к холму под самым городом. Там тоже происходили какие-то ритуальные действия, но туда сунуться мы не решились. На следующий день все торговцы на базаре ходили в марлевых перевязках. И хозяин в чайной, где мы всегда пили поразительный персидский чай в маленьких стаканчиках, тоже был весь забинтован. Я не знаю, шииты или сунниты придерживаются «шахсе-вахсе» и что значат выкликаемые два слова (быть может, они и есть: шахсе вахсе), но понимаю, почему Армения «со стыдом и скорбью» отвернулась «от городов бородатых Востока»... И все же, как ни жестоко зрелище самоистязания и проливаемой крови, жертв среди участников процессии не бывает — только царапины, ранки и шрамы да еще ложка пролитой крови, а потом бинты и марля. Больше ничего. Европейцы, случается, действуют покрепче...

На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими Легранами, а затем уносили посольские судки с обедом и пачку газет, из которых Мандельштаму полагалось по долгу службы делать вырезки. Посольству хотелось иметь референта, но и посольство, и референт, и обеды были не настоящими, а липовыми, газеты же приходили с севера и из-за границы со скоростью черепахи. Легран раздобывал новости не из газет, а в Цека (или это называлось тогда Закрайком? названия у нас непрерывно меняются), имевшем с Москвой либо телефонную связь, либо тысячу курьеров.

Однажды Легран, обычно равнодушный и сдержанный, выскочил к нам навстречу из кабинета и увел нас к себе в квартиру. Там он рассказал о расстреле Гумилева. Он не на шутку испугался, хотя говорил искусственно дипломатическим голосом. Я не знаю, удалось ли ему сделать карьеру почище советского посла в Грузии, потому что это была наша последняя встреча. В разговор вмешалась жена Леграна, приятная и приветливая женщина. Она поспешно сказала, что ей никогда не нравился Гумилев — заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек. Жена Леграна оказалась первооткрывательницей и пионеркой: в те ранние годы еще не научились с ходу отрекаться от погибших, обвиняя их в дурном характере и чуждой настроенности — и притом совершенно искренно (в этом весь фокус). Потом только так и поступали с завидной прямотой и честностью. Рассказы честных советских людей о Мандельштаме отражают те умонастроения: легенда, пущенная про него, живет и поныне и облегчает души свидетелей расправы. Почему, в самом деле, нельзя было прикончить этого нелепого и надменного чудака? Легковеры обследуют легенды, но даже они изредка качают головой и удивляются, каким образом согласуются странные черты характера, описанные современниками, со свободным потоком стихов этого диковинного человека... То, что сейчас было бы понято как внутренняя свобода, глубина, независимость и прямота, тогда воспринималось (совершенно искренно) как петушиная дурь... Жена Леграна была предельно искренней, но впечатление от первого выпада против расстрелянного оказалось таким сильным, что нам не захотелось возвращаться в посольство за обедом и газетами. Мы ушли с судками, но в посольство больше не заглядывали. Вскоре к нам явился солдат, рассыльный посольства, и забрал посольскую жестяную посуду. На этом отношения с Легранами кончились.

– Куда же теперь ехать? — сказал Мандельштам. — В Петербург я не вернусь.

Смерть Гумилева — без отпевания у Исаакия — окончательно превратила Петербург в город мертвых. Об этом есть поздние стихи: «Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Мандельштам ни за что не хотел ехать на север, потому что родной город для него закрылся. С гибелью Гумилева рухнуло «мы», кончилось содружество.

Ехать было некуда, но мы все же уехали, потому что не существовало места, где мы могли бы остаться. Новый, 1922 год мы встретили на рейде в Сухуме. Наш пароход назывался «Дмитрий», и нас везла без билетов комиссарша, бывшая пароходная нянька, добродушная, ширококостная женщина, отлично справлявшаяся с беснующейся оравой демобилизованных красноармейцев. Перепившись, они требовали у комиссарши отчета, почему портрет лейтенанта Шмидта висит у нее в каюте выше Ленина и кто эти двое, которых она уложила на тюфяке у своих дверей и прячет от контроля. Она нас и не думала прятать, а просто заслоняла своей могучей спиной и говорила совершенно беспомощным контролерам, что «эти» с ней и «этих» трогать не надо. И они нас «не трогали», как и прочую толпу безбилетных пассажиров.

На этом пароходе я видела, как бьются в припадках травматической падучей, нажитой при холодном ранении, полупьяные, полубезумные солдаты, жертвы гражданской войны (отец и сын у Шекспира, сын и отец у Шекспира!). Война еще шла, и демобилизация коснулась только больных, то есть инвалидов, но настоящих инвалидов — безногих, безруких — на пароходе почти не было. Таких вывозили поездами, а на пароход хлынула свободно передвигавшаяся бурлящая толпа, уже по разным причинам не годная для армии и тут же по возвращении разворачивавшая широкую деятельность в родных деревнях и городишках. Ведь в армии они получали политическое образование от комиссаров и начальников и «на местах» стали предвозвестниками «нового» и чем-то вроде светочей. Инвалид в «Котловане» не случайная фигура, выдуманная досужим писателем, а ведущее начало провинциальной жизни. Многие из них плохо кончили, потому что привыкли разрешать все недоразумения рукопашной схваткой. Другие, когда приток свежих сил оттеснил их от «власти на местах», подняли крик, прогремевший на всю страну: «За что боролись?»

Толпа на пароходе делилась на маленькие группы, и в центре каждой стоял добровольный агитатор. Иногда центром такого средоточья оказывался припадочный. Он падал наземь, судороги сводили тело, голова запрокидывалась, и он то выгибался дугой, то бился о деревянный настил. Но голос не терял силы: припадочный воспроизводил сцену ранения — давал команды, бросался в бой, выкликал лозунги, проклинал «белых гадов», кричал, что не пощадит родного отца... Четыре товарища придерживали его, чтобы он не разбил голову, пятый пытался — обычно безуспешно — сунуть ему в рот ложку, потому что среди брани у него то и дело вываливался язык и вместо слов раздавались одни хриплые стоны. Под конец разносился густой мат: припадочный крыл подбежавшую к нему среди боя «сестрицу». Окружающие с облегчением вздыхали: раз дошло до сестры, значит, припадок кончается. И действительно, корчи ослабевали, припадочный, успокоившись, засыпал. Его оставляли в покое, но где-нибудь, в другой части парохода, уже валился наземь и начинал биться и вопить другой безумец... Они бились в приступах падучей, как вся страна, изошедшая кровью и бранью в годы гражданской войны. В таких войнах, по-моему, не бывает победителей и побежденных, потому что победитель, не выдержав ненависти и обуявшей его братоубийственной злобы, исходит кровью и бьется в падучей. Сколько раз это было уже сказано? Почему никто ничего не слышит и не читает? Почему все слова уходят в прорву и все предупреждения никого ни от чего не предостерегли?.. Большеглазый мальчик Мандельштам — я тогда еще не знала, как он молод, потому что он был старше меня, — все видел и слышал. Он иногда говорил: «Надюша, не слушай, Надюша, не смотри», а иногда: «Господи, посмотри, послушай, что с ними...» Иногда он говорил: «Все это пройдет», но чаще: «Ведь все они, припадочные и здоровые, говорят одно и то же, ничем друг от друга не отличаются...» Так и было. Все они говорили, словно в припадке падучей, одно и то же, но это оказалось далеко не самым страшным из того, что мне суждено было увидеть с Мандельштамом, его глазами, и потом — без него, собственными глазами, которые он научил видеть и воспринимать виденное.

Мы высадились в Новороссийске под безумный вой оголтелого норд-оста. Ветер сбивал с ног. Мы дрожали от холода после прелестной теплицы, где провели полгода, то изнемогая от жары, то шлепая по покрытым ледяной пленкой лужам элегантными деревянными сандальями. Мы не боялись холода, потому что вдруг перестали чувствовать себя эмигрантами.

Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы двадцатого века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор — чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие. Ни одна из этих возможностей не является «меньшим злом». Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски, а это великое благо. Не случайно в статье, написанной по пути в Москву, Мандельштам написал дифирамб русскому языку, который был для него родным. Он вернулся в края, где говорят по-русски, и остро почувствовал власть родного языка.

К несчастью, все мы узнали ту степень разъединения, когда людей, говорящих на одном языке, нельзя объединить словом «мы». Есть степень разъединенности, когда люди уже не могут понять друг друга. Больше у Мандельштама не было «мы». Даже говоря о нас двоих, он употреблял не «мы», а «мы с тобой»: «Мы с тобой на кухне посидим» и «Куда как страшно нам с тобой»... Равноправное «мы» — союз «мужей», куда входила одна женщина, распался с гибелью Гумилева, и с ним остался только непрекращающийся воображаемый разговор.

Мы ехали на север, но не в Петербург, а в Москву.

В пути

В Новороссийске мы переночевали на столах в редакции газеты и двинулись дальше. В те годы всюду были мальчишки, которые знали Мандельштама и готовы были устроить ему ночевку, билеты и каплю денег. Такие нашлись и в новороссийской газетке. Около месяца мы прожили в Ростове, где Мандельштам напечатал несколько статеек в местной газете. В феврале мы сели в отдельный салон-вагон, предоставленный хирургу, профессору Тринклеру (его вызвали из Харькова, чтобы сделать операцию кому-то из начальников), и вскоре дотянулись до Харькова. Салон-вагон знак высокого положения в мире, и потому его прицепляют к поездам в первую очередь, не то что поганую теплушку. В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву.

Там Мандельштама встретили люди, бредившие стихами. Все они были на отлете и собирались в Москву с литературными заявками. Гражданская война выхлестнула наверх особый слой разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, что они видели. К обобщениям не стремился никто. Смысл событий ускользал. Все жили конкретным случаем, живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором... Забавный и живописный оборванец, Валя Катаев, предложил мне пари: кто скорее — я или он — завоюет Москву. От пари я отказалась, потому что Москву завоевывать не хотела и ни к какой деятельности не стремилась, разве что написать дюжину натюрмортов. У меня уже тогда было полное равнодушие к «паблисити» и деятельности, я думаю, под влиянием Мандельштама. У него было четкое ощущение поэзии как частного дела, и в этом секрет его силы: перед собой и для себя звучит только основное и глубинное. Хорошо, если оно окажется нужным людям. А это зависит от того, кто говорящий и какова его глубина. Мандельштам сам не знал, кто он и какова его глубина, и по этому поводу не задумывался. Он не стыдился ни себя, ни своих мыслей, ни того, что ему было отпущено. Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: «Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет»? Мандельштам не «самолюбивый, скромный пешеход», он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. Если в Мандельштаме была крохотная крупинка Парнока, то она исчезла в такой ранней юности, когда он еще не подозревал, что такое «мы». Такое могло быть в период жизни за границей сразу после школы, на одну минутку, а потом вспомнилось и улыбнулось. Но не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он «судьбу клянет». Мы с ним попадали в разные переделки и в страшные катастрофы. Случалось, что я не только кляла, но проклинала обстоятельства, жизнь, что угодно. Но это была я, а не он. От него ничего подобного я никогда не слышала. Это не он. Он — оборванный или хорошо одетый, с деньгами или нищий, возмущенный чем-нибудь или радостный, в минуты дикой ревности или полного согласия, шумный или тихий, пишущий стихи или молчащий — никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы клясть судьбу. Он принимал жизнь, какая она есть, отвергал все виды теодицеи, а уж бедности бы никак не стыдился, потому что чувствовал себя богачом: «У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву?» Мы ведь только и делали, что пировали. Даже банка консервов или пшенная каша на нашем столе, доске или чемодане воспринимались как пир. И право же, судьба Алексея казалась ему куда более завидной, чем любого банкира, чиновника или советского спеца, тем более литературного...

В Харькове пришли первые литературные заработки, гораздо более ощутительные, чем в Ростове, потому что открылась не только газета, но и издательство, нищее, как вся страна. Издательство замышлялось сестрой Раковского. Худая темноволосая женщина, похожая на монахиню и запомнившаяся мне силуэтом, словно в ней не было объема, она собиралась открыть издательство, и Мандельштам написал для нее статью «О природе слова» и первую прозу — очерк под названием «Шуба», часть которого появилась в местной газете. Газета с этим очерком пропала, как и весь архив Раковской. Статью напечатали после нашего отъезда и прислали оттиск. Его забрали из сундучка в мае 34 года, но кое у кого он сохранился. Эпиграф к статье прибавили харьковские издатели. Первоначально его не было. Пусть уж он останется в память о дружбе двух поэтов.

Когда я увидела Раковскую, у меня было острое чувство удивления: каким образом такая женщина «с ними». В годы великой путаницы понятий «такая женщина» могла быть с кем угодно и где угодно, да и неизвестно, чем она была на самом деле. Судить по внешности нельзя. Думаю, что она разделила общую судьбу, и допускаю, что приняла ее за монахиню по неопытности и незнанию людей. Все же хочется думать, что аскетический силуэт дается не зря. Возможно, что все это только сдвиг памяти или, как тогда сказал Мандельштам, непривычный римско-румынский типаж, европейский облик, в странной дисгармонии с ширококостными и славными нянньками-комиссаршами. Я знаю одно: в обезумевшей толпе тех лет все же мелькали одухотворенные лица. Вероятно, у толпы (именно у толпы, а не у вожаков) была какая-то правота.

В Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о

Фрейде. О них говорили все, но сведенья были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пильняк — это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался — и навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты.

У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуме вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «над лимонной Курою в ущелье балконном шили платье у тихой портнихи...». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось — оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга.

Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков...» Нарастали презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры — без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители, а им всегда — почет и уважение. Старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк[2], и подростком я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал — он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленой комнате. Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх тридцатилетних самым презрительным словом стало «интеллигент». Мы услыхали его еще в Харькове от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву...

Из Харькова мы выехали в Киев, вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом «штабном» вагоне, куда продавали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по блату писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата, во всяком случае люди нового типа. На них были целые и добротные сапоги и кожанки. Наши спутники не пили, не нюхали кокаин, чрезвычайно распространенный в первые годы революции, и почти не разговаривали ни с нами, ни между собой. Единственное, что они себе позволяли, — это пошучивать со мной. Я лежала на верхней полке, и все они казались мне телеграфистами, и двое, занимавших нижние полки, и те, кто к ним заходил из соседних купе. Меня же они принимали за барыньку. Как только Мандельштам выходил из купе, они вскакивали и говорили, что таких, как я, надо за косу, и советовали учиться писать на машинке. В этом-то и состояли их шутки. Меня они не смешили, и было странное чувство, что в этом штабном вагоне уже сгущается новый и непонятный мир. Они соскучились по женщинам на войне, а собственных секретарш еще не заполучили, потому и крутились передо мной. Мандельштам с любопытством присматривался к ним. Он сразу заметил, что они не разговаривают и только время от времени цитируют статью или газету. «Им не о чем говорить», — сказал он и пробовал догадаться, кто они. Среди них могли быть организаторы всех отраслей хозяйства и административной жизни, включая органы порядка, но понять, кто чем занимается, мы не могли. Все они были выкроены на один образец.

---

[2] Кареев. – *Примеч. Н. Я. Мандельштам.*

С этим слоем мы почти никогда не сталкивались, и поэтому оба запомнили единственную встречу с типовыми организаторами новой жизни. Их бессловесность нас настораживала и пугала, потому что она появилась в результате особой дисциплины нового типа. Из таких людей создавался аппарат, победивший или презревший человеческие слабости и безукоризненно действующий по инструкциям независимо от их содержания. Аппарат выдержал испытание временем и существует по нынешний день, хотя винтики неоднократно заменялись более усовершенствованными, а старые пропадали без вести, обернувшись лагерной или провинциальной пылью.

У нас была игра — входить в новый город. Мы входили в Москву, в Ростов, в Баку, в Батум и в Тифлис, а на обратном пути — в Новороссийск, в Ростов и в Харьков. Мы всю жизнь входили в другие города, и без Мандельштама я продолжала это занятие, но оно перестало быть игрой. В те ранние годы поезда иногда останавливались на вокзалах, но чаще их задерживали черт знает где. Тогда вещи взваливались на плечи, и мы вступали в город по проселочным дорогам или по шоссе и по улицам. Первая улица уже вызывала вздох облегчения. Иногда попадался извозчик или телега, но это было редкой удачей. Я вижу вокзальную площадь холодного Киева, но не помню, как мы добрались до родительского дома. Может, уже изредка ходили трамваи. Только слышу стук в дверь и как она открылась. Родители встретили нас, будто мы явились с того света. Уехать значило кануть в вечность. Ни одно письмо, ни одна весточка не дошли до них. Из Москвы, где жил мой брат, письма изредка доходили. К этому времени отъезд в Москву уже не отрывал уехавших от тех, кто остался на месте.

Киев оказался самым чужим городом, таким же иностранным, как Грузия. Украина обособлялась от русского языка с удвоенной силой, потому что, близкородственный, он всем понятен, как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала: где ваша столица — Киев или Москва?.. Всюду — по всей громадной территории страны слышны отзвуки южнорусской и украинской речи, но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для них — родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобычный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и действенные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые — от московской Руси до нынешнего дня. (Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат.) Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины — между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшейся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с киевской Софией и дивным городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре, чтил Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва: ведь мой родной язык — русский. И если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попробует остановить погромщиков привычным и ласковым матом: эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее.

Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в загс. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в загс мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде и баста: «Без удостоверения не повезу». Значения регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле — в загсе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В загс же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно — барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотаться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, которое он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить «бракосочетание», потому что «молодым не терпится». Она посмотрела на нас опытным, холодным взглядом и сказала: «знаем мы» и «подождут до завтра»... Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда, а в середине пятидесятых годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг: все либо забыли «оформиться», либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что...

В конце марта (по какому стилю?) мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда, даже чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в «мрак небытия». Мы осели в Москве — чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». (Думаю, что здесь «мы» — петербуржцы.) Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена — и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше: город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх — домами и пристройками — ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми, со всех краев земли стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт, но еще по огромному городу ходили главным образом пешком да еще ездили на «ваньках». Извозчики стоили непомерно дорого, и мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчичьи расписки.

Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услыхав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти «на площадь», а потом свернуть и пойти, куда следует.

Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни... Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском — он пел, мычал, шумел и гремел... Он был москвичом и с детства собирал «грыбы». Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор, но у Пастернака действовала еще врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно вслушивается в него. Это верно и по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучавшие в уме звуки.

Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разноголосыми толпами. И все же мы чувствовали себя дома и привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью...

Современники

Впереди еще много трудного и мрачного. Прежде чем переходить к нему, я скажу несколько слов, легких и неогорчительных, про поэтов, встретившихся на пути Мандельштама. Он ни разу в жизни не припомнил, что говорил про стихи Вячеслав Иванов, Сологуб, Волошин и другие поэты старших поколений. К ним у него было смешное отношение — внешняя почтительность и скрытое озорство. Не случайно этих людей, живших в атмосфере настоящего культа, раздражал нахальный школяр. Учителем своим Мандельштам считал Анненского и очень любил его стихи. Впрочем, форма его ученичества была более широкой: «Я учусь у всех — даже у Бенедикта Лившица», — сказал Мандельштам, написав стихи о певице с низким голосом. Я уже говорила, что, читая поэтов, он выискивал у них удачи, оставляя остальное без внимания. Он научил меня, что в русскую поэзию вошли поэты, написавшие несколько — два-три — настоящих стихотворения (например, Мей), и занимают в ней свое законное и почетное место. Только у Майкова и Брюсова он, сколько ни искал, ничего не нашел. При мне он как-то перелистал Волошина — книгу и тетради — и со вздохом отложил в сторону. Роскошь ему претила. В странноприимный дом он не поверил — чересчур выигрышная позиция. У Сологуба он искал легкофактурные стихи — дыханье... Но я собираюсь говорить не про оценки и влияния, а просто про несколько встреч...

Мальчиком он был у Анненского. Тот принял его очень дружественно и внимательно и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки. Из этого ничего не вышло — однажды Мандельштам вспомнил совет Анненского и попробовал перевести Малларме. У него получилось: «Молодая мать, кормящая со сна (сосна)», и он со смехом об этом рассказывал. К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством. Почему — не знаю.

О Сологубе он рассказывал, что тот продавал стихи по разным ценам если получше, то подороже, — разделив их на три, что ли, сорта. Мандельштаму это страшно нравилось, но пока он сам торговал стихами, он требовал себе высшую ставку за любое. Но это было не потому, что считал их одинаково хорошими, а просто у него не хватало энергии поделить их на сорта, да и товару всегда оказывалось слишком мало. Один раз Мандельштам водил меня к Сологубу, и тот при встрече сказал: «На вас уже виден зуб времени». Когда мы жили в Царском в пансиончике вместе с Ахматовой (ранняя весна — с марта 1925 года), к ней часто заходил Сологуб, отдыхавший у каких-то друзей. Мандельштаму он кивал головой, а на меня раз долго кричал за то, что у входной двери был неисправный звонок. Я побежала к нему на помощь, заметив, что он нажимает бездействующую кнопку, и он принял меня, вероятно, за горняшку... Это была славная порода бабенок, и я не обиделась. Старик был полон причуд и воркотни.

Про Вячеслава Иванова Мандельштам рассказывал смешные штуки. В добавление к тому, что рассказала Ахматова, я прибавлю еще одну: двое ехали на извозчике и читали стихи Иванова. Извозчик обернулся и сказал: «Ядовитая приятность». Я уверена, что выдумано все: извозчик, изречение и двое... На эту сказку я реагировала вопросом: «А кто заплатил извозчику?» За такое изречение полагалось бы на шкалик.

Рассказы о Брюсове носили другой характер: шалили не школяры, а сам мэтр. Однажды — до меня — Брюсов зазвал Мандельштама в свой служебный кабинет (не знаю, где он служил на самой заре советской власти) и долго расхваливал стихи, находя в них все качества. Фокус заключался в том, что, обильно цитируя для иллюстрации своих похвал, Брюсов ни разу не произнес ни одной строчки Мандельштама. Расхваливая его, он цитировал киевского поэта Маккавейского, чудака, вставлявшего целые латинские фразы в свои ученые стихи... Мандельштам молча выслушал Брюсова, горячо поблагодарил за внимание и похвалы и ушел, не показав виду, что удивлен или рассержен. По-моему, он был не рассержен, а только удивлен: ведь для этой десятиминутной игры Брюсову пришлось выучить наизусть с полсотни трудных и плохо запоминающихся строк. Забава была в стиле десятых годов, но стоила ли овчинка выделки?

О другом фокусе Брюсова мы узнали от свидетелей, сидевших вместе с Валерием Яковлевичем в комиссии по распределению академических пайков. После возвращения из Грузии добрые и унылые марксистские дядюшки, Коган и Фриче, возбудили ходатайство о предоставлении Мандельштаму академического пайка. Дело происходило накануне нэпа или в самые первые дни, когда открылось два-три магазина с неслыханно высокими ценами. Название первого магазина было «Эстомак». Чем торговали в «Эстомаке», я не знаю — люди еще жили пайками. Брюсов насторожился, услыхав имя Мандельштама как претендента на паек и добился — не без труда, — чтобы ему предоставили паек второй категории. Интересно, как он этого добивался, — Брюсов сделал вид, что принимает поэта Мандельштама за юриста-однофамильца, одного из деятелей кадетской, кажется, партии. (С его женой я встретилась в очереди в Бутырскую тюрьму — его забрали из больницы, где он лежал с тяжелым заболеванием сердца.) Брюсов, большевик, не мог допустить, чтобы деятелю буржуазной партии дали паек первой категории... Кроме того, по утверждению Брюсова, Мандельштам — человек богатый, с одной из лучших в Москве библиотек (у Мандельштама в то время была одна-единственная книга — «Столп и утверждение истины»)... Темные люди, сидевшие в комиссии, разумеется, верили Брюсову, двое или трое понимавших, в чем дело, пытались их разубедить, но ничего не вышло... Они-то и уговаривали Мандельштама подать заявление о пересмотре, но про шалости Брюсова не поминать, чтобы их не обвинили в разглашении тайн заседательской комнаты. (Мы требовали отмены всякой тайной политики, в частности в международных делах, — и показали образцы скрывания решительно всего, каждой детали и мелочи. В сущности, сейчас — в 1970 году — небольшие недоразумения между кучкой интеллигентов и правительственными кругами, которые кончаются лагерями со строгим режимом, сводятся только к одному: нам запрещено выдавать «народные» тайны, то есть говорить о преступлениях против народа, которые были совершены в прошлом, совершаются в настоящем в меньшем масштабе — и будут совершаться в будущем, но еще неизвестно, в каком масштабе.)

Узнав о проделке Брюсова, я по молодости лет возмутилась, что у меня вырывают изо рта кусок мяса и кулек крупы, а Мандельштам только позабавился поведением Брюсова: какая энергия!.. На меня он цыкнул, объяснив, что со стороны прославленного мэтра такая выходка является весьма лестной. Заявления он, конечно, подавать не стал. К тому же его возмутило, что применялся классовый принцип — не давать адвокату...

Видела я Брюсова один-единственный раз — в очереди за посылками Ара для ученых и деятелей культуры. В оборванной толпе тех уже не очень голодных лет он выглядел пристойно, но чересчур старомодно и подчеркнуто официально. Во всей одежде — шляпе, галстуке, перчатках, навакшенной обуви — был устарелый и нелепый дендизм. Среди стариков, стоявших в очереди, Брюсов выглядел бы обыкновенным папашей — ему минуло лет пятьдесят или вроде, — если бы не испитой вид и брюзгливое выражение. Мандельштам почтительно поклонился, Брюсов пожал ему руку... Он что-то сказал. Сейчас мне кажется, будто он спросил, какими судьбами Мандельштам очутился в этой очереди. Скорее, он выразил это не словами, а мимикой. Брюсова пропустили вперед, и, когда очередь дошла до него, произошла заминка: полагалось расписаться под официальной формулой — посылку получил и благодарю... Брюсов счел унижением национального, что ли, или своего брюсовского достоинства поблагодарить Ара за банку бледно-белого жира и мешочек муки. В очереди сдержанно сердились за задержку и повторяли, что Ара вовсе не обязана нас подкармливать и что от благодарности язык не отсохнет.

Мандельштаму почему-то понравилось упрямство Брюсова, по-моему, бессмысленное. Он любил строптивых людей и с любопытством следил за спором. Не знаю, как он разрешился, но Брюсов ушел с посылкой. Быть может, покуражившись, он все же подписался под благодарственной формулой, а не то барышня, выдававшая посылки, сама что-нибудь чиркнула из уважения к почтенному мэтру. Из аровской муки я пекла на примусе оладьи. Мне и сейчас иногда хочется испечь оладьи, хотя я не понимаю, как мы избежали заворота кишок. Вся молодость прошла у шипящей сковородки, где пеклись или жарились черт знает на чем сыроватые лепешки из муки с прибавкой горсточки соды для всхожести. Вариант — перепечки, те же лепешки, но без всякого жиру на железном ободке печки-времянки. Удивительно вкусная еда, особенно в голод, когда обостряются все вкусовые ощущения.

С Волошиным Мандельштама я не видела никогда — после врангелевской зимы в Крыму Мандельштам при жизни Волошина в Коктебель не ездил, как и Эренбург. Я была там без него, и Волошин однажды зазвал меня к себе — в большую комнату, не то кабинет, не то мастерскую, вызывавшую бурный восторг у толпы поклонниц. Меня, насмешницу, его чарами подкупить было трудно. Акварельки показались мне претенциозными и чересчур уж дилетантскими, то есть попросту отвратительными. Волошин рассказывал разные оригинальные вещи, например про то, что почта лишает переписку особой прелести, которой она обладает при передаче письма нарочным или случайным приезжим. Я же очень ценю хорошо работающую почту и всегда дружу со славными почтальоншами. Ведь не они виноваты, если письма задерживаются или пропадают, а тяжеловесный аппарат перлюстрации. А тогда в Коктебеле был смешной почтарь и телеграфист в одном лице. Ему нравились длинные телеграммы Мандельштама с ласковыми словами, и он никогда не давал мне в руки телеграмму, не прочитав ее предварительно вслух и не задав несколько вопросов — стоит ли жениться и как я живу с мужем, бывают ли у нас крик и скандалы и как этого избежать. Этот вид перлюстрации меня не раздражал, и я охотно болтала с ним; меня не прельстишь отказом от удобств — для этого я чересчур неудобно жила всю жизнь.

Главной темой Волошина, ради которой он меня зазвал, была ссора с Эренбургами. В своих мемуарах Эренбург про эту ссору не сказал ни слова, но я знаю, что это вульгарнейшая история с кастрюлями. Для оправдания Волошина надо напомнить, что кастрюля и сковородка — великая драгоценность и домашний очаг. Чтобы сварить картошку или кашу, тоже нужна кастрюля. В случае беды ее можно заменить горшком, но обойтись без нее или без заменителя нельзя. Кастрюля пропала, потом нашлась, но, пока она находилась в нетях, вспыхнула ссора. Эренбурги потом в Коктебель не ездили и о «проклятых вопросах» не разговаривали, вернее, быстро забыли про повод к ссоре. Волошин убеждал меня, что вся история с кастрюлей обыкновенная «мистификация». «Вы же слышали, что мы любим мистификации», — сказал он. Я по-хамски ответила, что ничего не понимаю в «мистификациях» и не знаю, в чем их прелесть. Зато я понимаю, как трудно сварить щи без кастрюли... Только я не думаю, что у Волошиных, оседлых людей, проживших всю жизнь в Коктебеле, была одна-единственная кастрюля.

Недоразумения с Мандельштамом Волошин не касался, и Мандельштам тоже о нем неохотно говорил. Вспомнил про него Миндлин в глупейшей главке, посвященной Мандельштаму. Волошин заподозрил Мандельштама в похищении Данта, в роскошном издании с иллюстрациями, как пишет Миндлин. (Бродячий и бездомный Мандельштам, должно быть, нанимал носильщика, чтобы таскать за собою такое роскошное издание.) В обиде Волошин написал в управление порта, чтобы похитителя книги не выпускали из Феодосии, пока он не возместит потерю. Узнав об этом, Мандельштам написал Волошину письмо на полный разрыв. Бедный Миндлин рассказывает, как он уговаривал Мандельштама не посылать такого письма, но оно было отправлено и, вероятно, уничтожено Волошиным. Миндлин преклоняется перед Волошиным и потому не понимает, что даже коктебельским мудрецам не следует писать доносов и задерживать отъезд людей, подвергающихся смертельной опасности в безумных городах, охваченных страстью к человекоубийству, как было в годы гражданской войны. Письмо в управление порта — самый обыкновенный донос. Действительно ли Мандельштам стащил роскошное издание Данта?.. Значения это не имеет никакого: на любых весах человеческая жизнь перевесит самое роскошное издание. Но я думаю, что никакого Данта он не стащил и не потерял. По-итальянски он тогда не читал, а переводам не доверял. Данта он впервые читал при мне в тридцатых годах. А кроме того, ведя бродячий образ жизни, роскошными изданиями не соблазняются, а предпочитают портативные, легкие на вес. А если б он даже потерял книгу, можно ли было подвергать опасности жизнь ради целостности библиотеки? Жалко, что письмо Волошину написано без копии и не сохранилось ни у него, ни в нашем опустошенном сундучке.

Я не люблю всеобщих баловней и кумиров типа Волошина, мнимых мудрецов и пророков для истерических женщин с неустроенной любовной жизнью. В венке и в белом халате, называемом туникой, Волошин ходил по Коктебелю, окруженный почитательницами. А я расхаживала с двумя огромными собаками, дикими, злыми и преданными, которые отгоняли от меня планеристов, когда мне не хотелось с ними болтать, и вежливо отклоняла приглашения Волошина зайти в мастерскую и посмотреть новые акварели. После смерти Мандельштама вдова Волошина передала мне приглашение поселиться с ней. Это приглашение показалось мне трогательным, но неприемлемым. Вместе жить можно только с очень близкими людьми, а еще лучше жить одной. Этому искусству я научилась сразу и узнала, что самое трудное — это садиться за стол и есть в одиночестве. К этому привыкнуть нельзя, но еще труднее было бы привыкать к любому неестественному сожительству.

Ахматова обвиняла Волошина в тысяче сплетен-анекдотов про Мандельштама, которого он стилизовал под дурковатого жулика. По-благородному это называлось «современный Виллон», а еще «игры-мистификации». До нас постоянно доходили непристойные рассказы из Коктебеля, распространяемые поклонницами Волошина, и Мандельштам очень резко на них реагировал. Сохранилось его письмо к Федорченко, побывавшей в Коктебеле и послушавшей тамошних рассказов. Меня удивило, что Цветаева принадлежала к секте почитательниц Волошина. Неужели ей импонировали рассказы про почту, книгу и тетрадку и великое искусство? Я уверена, что это произошло только по молодости лет, потому что в юности все неразборчивы и наивны. Я не люблю мемуаристов типа Георгия Иванова, к числу которых, по крайней мере в этой главке, принадлежу и я, потому что в ней много недоброжелательства — больше к Волошину, чем к чудаку Брюсову. Видно, на всякую старуху бывает проруха.

Я хочу рассеять еще одну легенду — ту, что пустил Эренбург, — будто из врангелевской тюрьмы Мандельштама спас Волошин. На самом деле было так: до Коктебеля дошел слух об аресте Мандельштама, случившемся перед самым отъездом в Грузию (на первый транспорт он опоздал из-за ареста и потому поехал на дикой «азовской скорлупе»). Эренбург бросился к Волошину и с огромным трудом заставил его сдвинуться с места и поехать в Феодосию, чтобы спасти арестованного. В те годы, как и потом, впрочем, ничего не стоило отправить на тот свет случайно попавшегося человека. Связи у Волошина были огромные: он был местной достопримечательностью. Волошин проканителил несколько дней, а когда он явился в Феодосию, Мандельштама уже выпустили на свободу. Своим освобождением он обязан полковнику Цыгальскому[3], которому посвящена главка в «Шуме времени». Где-то живут внуки Цыгальского, и я хотела бы, чтобы они про это услышали. Со слов Мандельштама я знаю, что Цыгальский отличался редкостной добротой, а Мандельштам научил меня больше всего ценить именно это качество в людях. Что же касается до Волошина, я думаю, что никакого обмана не было. Вернувшись, он просто сказал Эренбургу, что Мандельштам выпущен, а Эренбург решил, что вытащил его Волошин. Шли годы, и Волошин, живший в атмосфере обожания тысячи женщин, постепенно привыкал к мысли, что всех спас он — в том числе и Мандельштама. Но скорее всего, тысяча женщин даже не упоминала имени Мандельштама в числе спасенных, не интересуясь такой мелочью, и ошибка принадлежит одному Эренбургу. Ошибся Эренбург и насчет роли грузинских поэтов при освобождении Мандельштама из грузинской портовой тюрьмы. Грузинские поэты действительно пришли в портовый участок, где содержался Мандельштам с братом. Они предложили моментально освободить Мандельштама, поручившись за него, но отказались помочь брату Александру: кто его знает, кто он... (Иначе говоря, они не приняли поручительства Мандельштама за брата.) На таких условиях Мандельштам выйти отказался. Грузины уехали из Батума, позабыв обо всем. Спас случай: конвоир Чагуа, который принял Мандельштама за большевика... Кое-какую роль грузинские поэты, может, и сыграли, если гражданский губернатор от них узнал про Мандельштама и потому выпустил его. Сейчас проверить этого нельзя, потому что все участники успели погибнуть. В течение последнего полстолетия легче всего было погибнуть. Случаев погибнуть представлялось сколько угодно. Спасители же всегда действовали спустя рукава, лениво и невнимательно, а потом находился доброхот, который подносил им хвалу за человеколюбие. Этого делать не надо. Нам предстоит еще много испытаний, и надо помнить, что в борьбу за спасение чужой жизни следует вкладывать всю душу, как делала Фрида Вигдорова, например.

---

[3] Цыгальский за него поручился. – *Примеч. Н. Я.Мандельштам.*

Недавно до меня дошел сентиментальный рассказ Чуковского о роли Горького в попытках спасти Гумилева. По словам Чуковского, Горький моментально рванулся в Москву к Ленину, а по возвращении в Ленинград с приказом освободить Гумилева узнал, что Гумилев уже расстрелян. От горя у Горького сделалось кровохарканье. Произошло это в Доме искусств на Мойке в присутствии многих свидетелей. На случай, если Чуковский или его слушатели записали эту брехню, цель которой обелить Горького, сообщаю со слов

Ахматовой, Оцупа и многих других, которые были тогда в Петербурге, что Горький, оповещенный об аресте Гумилева Оцупом, обещал что-то сделать, но ничего не сделал. В Москву он не ездил. Никакого приказа об освобождении от Ленина не было. Про трогательное кровохарканье я услыхала только сейчас, а лет сорок с лишним назад Мандельштам при мне говорил с Чуковским о гибели Гумилева. Тогда Чуковский поддерживал общую версию: никто ничего не сделал, никто пальцем не шевельнул, и все произошло так быстро, что даже не успели повздыхать... Люди погибали так легко и в таком количестве, что никто не успевал пролить слезу, вздохнуть или помянуть их добрым словом. С начала тридцатых годов вошло в обычай поносить погибших, так что о слезе и речи не было. Как будет дальше, неизвестно.

Эренбург и Чуковский считали, что защищают достоинство литературы, приписывая писателям спасение своих собратьев или, как в случае кровохарканья, по крайней мере, некоторый минимум чувств. В этом отголоски культа литературы и носителя литературы — писателя. Литература достаточно позорно себя зарекомендовала, чтобы такими мерами удалось спасти ее достоинство. А время у нас действительно культовое. Культ отшельника, прожившего жизнь на модном курорте, только частный случай миллионов культов так называемых деятелей, чем бы они ни занимались, в нашей стране. В крайнем случае культ осуществляется одной женой, восхваляющей каждый поступок мужа. Униженный и оплеванный человек, нуль в общественной жизни, не смеющий додумать своих мыслей, а еще чаще чурающийся всякой мысли, лишенный семьи, детей и домочадцев, даже если у него есть жена и дети, послушно голосующий «за», не знающий, куда запрятать свой стыд, не способный взмолиться «помоги моему неверию», потому что утратил даже самое смутное представление о вере, жаждет восхваления и оправдания своего поступка. Мне думается, что это явление не только наше, но всех стран европейской культуры, утративших основную мысль, на которой строилась жизнь, только у нас это особенно бросается в глаза, потому что степень унижения человека больше, чем где-либо. Человек не стал тверже всего на земле, а «мужи» служат в строю и повинуются начальству. Свое мужское достоинство они обретают, слушая восхваления женщин. Я недаром смеялась над верой Мандельштама в дружбу «мужей», которым «только в битвах выпадает жребий». Мы стояли на пороге нового века, когда «мужей» не стало.

Хлебников

В 22 году Мандельштам встретил на улице Хлебникова, который ему пожаловался, что в Москве он неприкаянный и есть ему нечего. У него в ту пору был острый приступ ненависти к Брику, и это отразилось на записках художника Митурича, который ухаживал за Хлебниковым во время его последней болезни и похоронил его. Не берусь судить, имелись ли какие-нибудь серьезные основания для обиды на Брика. Вполне возможно, что Хлебников в своей полной наивности считал Брика всемогущим и требовал от него чудес. Единственный вопрос: как мог Хлебников «требовать»? Я не представляю себе требовательных интонаций в его голосе. Те немногие слова, которые он сказал про Брика, не означали, в сущности, ничего. Брик, например, не хотел издать два-три хороших тома Хлебникова и вообще — Брик ничего не хотел... Немногословный Хлебников ничего не объяснил, да мы и не домогались. Обидеть его не стоило ничего — Брик не так поклонился, увидав его, вот и обида. После смерти Хлебникова в Москве появился предстатель, обвинявший Маяковского в сплошном плагиате у Хлебникова. Он ходил из дома в дом и бессвязно кричал о плагиате. Мандельштам пытался разубедить и остановить, но убедился, что ничего втолковать ему нельзя, и просто выставил его. И мы тогда поняли, что безумие заразительно — один безумец попросту передает эстафету другому. Содержание бреда изменчиво, но огонек безумия сохранен и продолжает гореть.

Так или иначе, Хлебников был голодный, а мы со своим пайком второй категории чувствовали себя богачами. Раз в месяц нам насыпали в мешочки крупу, муку и сахар, отваливали брусок масла и омерзительную свиную голову. Все это мы отдавали старушке дворничихе в Доме Герцена, где мы только что получили комнату. Она кормила нас кашей и заливным, и мы старались забыть, из чего оно сделано. Масла, конечно, не хватало, и мы прикупали сметану, чтобы сдобрить кашу. Старушка жила в подвале главного дома. Она была ласковая и добрая, и Мандельштам привел к ней Хлебникова. С тех пор он каждый день приходил к нам обедать, и мы вчетвером — со старушкой — вкушали сладостную пищу. В те годы и каша, и сметана, и то, что перепадало сверх этого, ощущалось как полное благополучие. Особенно чувствовала это старушка, потому что нам — нищим — иногда попадал на зубок даже бифштекс, а она, порядочная и оседлая, за долгие голодные годы забыла даже вкус пищи.

Старуха встретила Хлебникова не то что приветливо, а радостно. Она обращалась с ним, как со странником и божьим человеком. Ему это нравилось он улыбался. Мандельштам ухаживал за ним гораздо лучше, чем за женщинами, с которыми вообще бывал шутливо грубоват. Я, способная нахамить каждому по моде того времени и по глупости, с Хлебниковым своих свойств проявлять не смела, потому что боялась и Мандельштама, и старушки — за это мне бы здорово попало. Хлебников обедал, отдыхал с полчаса и уходил, чтобы вернуться на следующий день, о чем мы трое — старушка, Мандельштам и я никогда не забывали ему напомнить. К нашему удивлению, он был пунктуален и ни разу не опоздал. Из этого я вывела заключение, что он умел смотреть на часы. Ручных у него, конечно, не было: такая роскошь водилась только у больших начальников и у «бывших людей». Четверть века мы жили без ручных часов. Они возникли только после войны. В 22 году, кажется, уже пустили большие электрические часы на улицах, а может, у Хлебникова в кармане лежала отцовская луковица. Такое иногда случалось.

Разговор с Хлебниковым был немыслим: полное отсутствие контакта. Он молча сидел на старухином стуле с прямой спинкой, сам — прямой и длинный, и непрерывно шевелил губами. Погруженный в себя до такой степени, что не слышал ни одного вопроса, он замечал лишь совершенно конкретное и в данную минуту существенное; на просьбу «откушать еще» или выпить чаю отвечал только кивком. Мне помнится, что, уходя, он не прощался. Несмотря на шевелящиеся губы, лицо оставалось неподвижным. Особенно неподвижна была вся голова на застывшей шее. Он никогда не наклонялся к тарелке, но поднимал ложку ко рту — при длине его туловища на порядочное расстояние. Я не знаю, каким он был раньше, но вскоре мне подумалось, что его сковала приближающаяся смерть. Потом мне пришлось увидеть застывших в неподвижности шизофреников, но они ничуть не напомнили мне Хлебникова. В позах шизофреников всегда есть что-то неестественное, нелепое. Их позы искусственны. Ничего подобного у Хлебникова не замечалось: ему было явно удобно и хорошо в его неподвижности и погруженности в себя. Он, кстати, не ходил, а шагал, точно отмеривая каждый шаг и почти не сгибая колен, и это выглядело вполне естественно благодаря форме бедер, суставов, ног, приметных даже в диком отрепье, в которое он, как все мы, был одет. Могу прибавить, что нельзя себе представить большей противоположности, чем Мандельштам, динамичный, сухой, веселый, говорливый и реагирующий на каждое дуновение ветра, и Хлебников, закрытый и запечатанный, молчащий, кивающий и непрерывно ворочающий в уме ритмические строки. Я уверена, что нет настоящего читателя, который соединяет любовь к этим двум поэтам. Вместе их нельзя любить — только врозь. Механический читатель, упивающийся и глушащий сознание одним только ритмом и внешним обликом слова, способен объединить что угодно, но тот, кто слышит глубинный смысл поэтической мысли, будет жить либо в мире Хлебникова, либо в мире Мандельштама. Если бы нашелся человек, живущий и тем и другим, я бы определила это мандельштамовским словом: «всеядность». Мандельштам ни в чем не переносил всеядности и способность к выбору и определению собственного мира считал основным признаком человека.

О своем отношении к Хлебникову Мандельштам сам сказал в статьях, но я еще подозреваю, что, подобно старушке дворничихе, он видел в нем божьего человека. Такого бережного внимания, как Хлебникову, Мандельштам не оказывал никому. Что же касается до стихов, то у Хлебникова он ценил кусочки, а не цельные вещи. В Саматихе весной 38 года у нас были с собой два тома Хлебникова. Мандельштам их листал и выискивал удачи, а когда я говорила, что целое бесформенно, он надо мной издевался: ишь чего захотела... А этого тебе мало? Чем не целое?.. Вероятно, он был прав.

Незадолго до своего отъезда Хлебников пожаловался, что не хочет уезжать, но вынужден из-за отсутствия жилья. Правительство отдало писательским организациям Дом Герцена, где Герцен, кажется, никогда не жил. Деляги успели продать датчанам-концессионерам лучшую часть левого от входа строения, в одну из квартир которого и во флигель справа от входа, сырой и омерзительный, вселяли бездомных писателей. Мы въехали одними из первых, когда оба дома еще пустовали. Мандельштам, человек с быстрыми реакциями, услыхав жалобу Хлебникова, тотчас потащил его на Никитскую — в книжный магазин группы писателей, чтобы поговорить с Бердяевым, который тогда был председателем Союза писателей. Бердяев часто бывал в магазине. Он кормился доходами с него. Тогда еще разрешалось выискивать частные формы прокорма. Мелочь как будто, но оказывается, что частный прокорм обеспечивает некоторую свободу мысли. Если получать каждый кусочек прямо из рук начальства, то в погоне за добавочной порцией разумно отказаться от всякой мысли. Писатели охотно на это пошли ради сначала скудного, а потом отличного прокорма. Я сама не знаю, как оценить свое прошлое: если бы Мандельштам стал покорно кормиться вместе со всеми, он бы остался в живых. Мы бы прожили длинную и хорошую жизнь вдвоем, и он бы не узнал ужаса ожидания гибели и невероятной лагерной смерти. У меня так болит душа, когда я думаю о его последних днях, что я невольно склоняюсь к тому, что называется компромиссом и считается разумным. Всем своим друзьям я советую идти на компромисс. К несчастью, то, что у нас обозначается компромиссом, есть нечто иное. Пойти на компромисс равносильно тому, чтобы запродать себя с потрохами. Как же быть?

Бердяева застали на месте, и Мандельштам обрушился на него со всей силой иудейского темперамента, требуя комнаты для Хлебникова. При этой сцене я не присутствовала, но мне не раз приходилось выдерживать приступы ярости Мандельштама (чаще справедливой, но бывало и зря), и я представляю себе, как испугался не подготовленный к буре Бердяев. Со слов Мандельштама я знаю, что такого приступа тика, как во время этого разговора, он у Бердяева никогда не видел. Требование свое Мандельштам мотивировал тем, что Хлебников величайший поэт мира, перед которым блекнет вся мировая поэзия, а потому заслуживает комнаты хотя бы в шесть метров. В нашей квартире, уцелевшей от датчан, были такие клетушки за кухней. Хлебников, слушая хвалу, расцвел, поддакивал и, как сказал Мандельштам, бил копытом и поводил головой.

Бердяев, столкнувшись с неизвестными ему нахалами и хвастунами, растерянно мычал и пытался объяснить, что все комнаты уже обещаны солидным литераторам, Дмитрию Дмитриевичу Благому... Выяснилось, в сущности, только одно: Бердяев был абсолютно беспомощен в хозяйственных делах, ничего не знал, а за него орудовали дельцы, прикрывавшиеся его именем. Он даже не побывал в помещениях, где распределялись комнаты, не понимал, какое свинство продажа дома датчанам, чтобы у Союза завелись деньги... Вскоре путем крохотной перестройки накроили еще несколько клетушек, а Благому отвалили большую светлую комнату. Часть клетушек была с окнами, другие без света, но Хлебников согласился бы и на темный угол. Только никто ради него не пошевелил пальцем, Бердяев не зашел, как просил Мандельштам, проверить возможность перестройки, и Хлебников уехал. Его просто выбросили из Москвы в последнее странствие.

Прошло немного времени, и разнеслась весть о его смерти в глуши без сколько-нибудь квалифицированной медицинской помощи. Смогли бы московские специалисты сохранить ему жизнь? Кто знает... Болезнь была, вероятно, очень запущенной. Там, где он умер, имелся, конечно, и земский врач, и фельдшер, люди опытные и по старинной традиции внимательные и добрые к больным. Я в детстве знала земских врачей. Они ходили в сапогах и приезжали к моим родителям, потому что в одно время с ними учились в Петербурге. Мать была врачом и кончила в первый выпуск женские медицинские курсы. Старые врачи и профессора несколько раз во мне узнавали дочку своей молоденькой студентки. Кто-то из них показал мне выпускную фотографию, где среди серьезных и ученых девушек сидит моя образованная мама, совсем еще девочка. Отец кончил математический. Гости-врачи были настоящими интеллигентами, о чем свидетельствовал застольный разговор и книги, которые они увозили в свой провинциальный дом. Я надеюсь, что Хлебников попал в земскую больницу к одному из таких человеколюбивых врачей, и в версию «без медицинской помощи» не очень-то верю. Но факт остается фактом — писательские организации, еще не ставшие казенным домом и возглавляемые Бердяевым, ничего для его спасения не предприняли.

Изгнание Хлебникова из Москвы уже не первый, но один из первых подвигов организованной литературы, отнюдь не продиктованный сверху, а совершенный по собственной инициативе. Этот подвиг свидетельствует, что литература вполне закономерно стала тем, что она есть. С первых дней в ней обнаружились качества, которые расцвели пышным цветом и сейчас видны каждому. Начав свой подвиг с Гумилева и Хлебникова, писатели продолжали славный путь до сегодняшнего дня. Нельзя все сваливать на начальство. Оно сидит высоко и не видит, как внизу шевелятся человечки. К нему приходят осведомители, доносчики, челобитчики, делегации и советчики, и это называется «инициативой снизу». Так осуществляется связь верхов с низами. Выгоняя очередного человека из Союза писателей, отправляя кого-нибудь в лагерь, в тюрьму или на расстрел, добрые писатели делают вид, что они ни при чем, а только с горечью выполняли приказ начальства. А ведь если подумать — каково общество, таково и начальство. Прошу это помнить и поменьше вздыхать и улыбаться. Каждый вздох и каждая улыбка представляются мне непристойностью.

Великое счастье, если у господствующего течения есть возможность только снижать категорию пайка, вычеркивать брюки из просимых предметов или хвастаться коллекцией ковров. Хуже, если оно получает право отправлять противников в газовые камеры. Для Брюсова категория пайка была оценочным суждением и чем-то вроде мистификаций Волошина. Горький, вычеркивая брюки, совершал высокий суд с полным сознанием своей правоты и правопорядка. Не случайно, что именно он опоздал позвонить или поехать в Москву, когда речь шла о жизни Гумилева. Так начиналась новая эпоха, в которой я прожила жизнь. Хорошо, что эстафета перешла от Горького в руки мелких чиновников, которые с трудом скребут пером по бумаге. В этом я вижу некоторый просвет.

Бердяев же честно защищал милого молодого человека Благого от нахалов — Хлебникова и Мандельштама. Я отнюдь не советую отнимать комнату у Благого, чтобы передать ее Хлебникову, но только ратую за напряженное внимание к каждой мелочи, к жизни с ее неприглядной суетой, ко всякой нужде и потребности любого человека — даже если он поэт. Надо уважать жизнь во всех ее маловозвышенных и неинтересных проявлениях, иначе обязательно попадешь впросак. Мне вспоминается сестра Ленина, которая настояла, чтобы Мандельштаму не дали вторую комнату в трущобном флигеле Дома Герцена (дело происходило в начале тридцатых годов), но предоставили ее некоему Рудерману. У нее был один довод, который она произносила с убежденностью старой подпольщицы: «Нехорошо, если у одного писателя две комнаты, а у другого ни одной». Она, бедная, оторвалась от жизни и понятия не имела, у кого сколько комнат. Зато у нее были принципы. Согласно этим принципам она забыла посчитать, сколько комнат у нее, и тем самым подготовила решение о борьбе с уравниловкой. Ведь в новом мире каждый получает по заслугам. У меня сейчас случайно оказалась однокомнатная квартира, которую я получила не по заслугам. Я мечтаю дожить в ней до самой смерти, пользуясь уборной и ванной. Удастся ли это мне, я не знаю. Очень бы хотелось, чтобы удалось... У большинства моих современников такой роскоши и сейчас нет, потому что они не заслужили... Мне хотелось бы, чтобы такое давалось не по заслугам. Ведь я знаю, что Мандельштам и Хлебников получили по заслугам, и мне больно вспоминать их участь. Кто высчитывает эти заслуги?

«Мы» Мандельштама — это те люди, заочный разговор с которыми продолжался всю жизнь. Их было трое, но кроме троих — вся мировая поэзия, не знающая разделения ни в пространстве, ни во времени. Неважно, какое место займет поэт в мировой поэзии, хотя бы самое крохотное. Самое маленькое местечко в поэзии, одна-две удачи, одно сказанное слово, один стишок, дает право на братство, на вхождение в «мы», на участие в пире. Я твердо знаю, что в председатели земного шара ни один поэт не метил и самый титул лишь шутка одного из самых наивных среди них, бездомного странника, которого обласкала старуха дворничиха в Доме Герцена. Пропуском в поэзию служит вера в ее священный характер и чувство ответственности за все, что совершается в мире. Хлебников, который не слышал обращенных к нему слов, кроме приглашения прийти на следующий день в то же время к обеду, написал рассказ про зайца, которого пристрелил человек с ружьем. А ведь заяц, увидав его, подумал, что впервые видит настоящего человека, и потому не бросился бежать. Еще Хлебников написал стихи про чрезвычайку («словно чайка») и про дурачка, хваставшегося способностью совершать подвиги и убийства, но, как выяснилось, вымазавшего свою шашку не кровью, а красной краской. Как будто оторванный от мира Хлебников видел преступления эпохи и с ужасом от них отвернулся. Разве это не пропуск в поэзию?

Поэт всегда благодарен тем, кто своим опытом помог становлению его стихов, когда он приступал к работе над словом. Эта благодарность служит пропуском в поэзию. Я не верю молодым бунтарям, отрекавшимся от Пушкина. Они просто хорохорились, стыдясь своей любви к первому поэту. Пусть им простится их юношеская заносчивость, за которую они, наверное, сами же расплатились.

Поэт еще отличается острым сознанием своей греховности, и это особенно важно в двадцатом веке, который отменил само понятие греха. Этому дал пример первый поэт, повторивший молитву, которая «падшего крепит неведомою силой». Ахматова говорила о «грехе и немощи» своей, Мандельштам единственной своей заслугой считал, что он «крови горячей не пролил», Хлебников, сказочник, мечтавший о «девах», которые окружают полубога, знал, что он «проснется, в землю втоптан, пыльным черепом тоскуя». Я верю, что им простятся их грехи и люди вспомнят в нужный час хотя бы строчку, хотя бы слово, которые они нашли и сказали. А я живу жалостью к каждому из них, такой смертной, что она дает мне силы жить[4].

---

[4] *Далее следовало*: В этом сила старости, потому что в прежние годы я не знала такого чувства. У каждого возраста есть свой смысл, и единственное доступное на земле счастье - подойти к порогу, познав все времена года.

Чад небытия

В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только «возвращались». Это был родной город Мандельштама любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество», названные в «Разговоре о Данте», это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург постоянная тема Мандельштама. О нем «Шум времени», «Египетская марка», много стихов из «Камня», почти все «Тристии» и несколько стихотворений тридцатых годов. В строчках «И каналов узкие пеналы подо льдом еще черней» — почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень: «Так гранит зернистый тот тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами...» От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург — боль Мандельштама, его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат?.. Сентиментальная версия нашей жизни... Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния, и он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня, а потом повторно бросал и дал точное объяснение: «В Петербурге жить — словно спать в гробу...» Хотела б я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила... В «буддийской Москве», в «непотребной столице» Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть — в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам, и, наконец, самым страшным в стране террором, остекленившим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до тридцать восьмого года. Он только тем и спасся, что «убежал к нереидам на Черное море». Впрочем, черноморские нереиды так же плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность.

Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию («перевернутая церковь» или нечто близкое к этому). Он заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой — Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если б к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев.

В этом-то разгуле и погиб Гумилев. Два слова о «юноше из морской семьи», который приезжал в 21 году к Гумилеву. Он был послан адмиралом Нимецом пригласить Гумилева в поездку в Крым — отдохнуть и подкормиться. Ходасевич наивно считал, что он был специально подослан к Гумилеву. Надо уметь отличать подосланных стукачей, и это своеобразное советское искусство, которым Ходасевич не успел овладеть, предпочитая всюду и везде видеть сети и капканы. Таков советский обычай, но он только ослабляет людей, которым следовало бы быть всегда начеку. Ни в каких особых сетях и капканах у нас не нуждались — при терроре не требуется серьезной мотивировки, чтобы уничтожить человека. «Оформить дело» легче легкого, пора это понять. Вокруг поэта всегда много мелкой швали, чтобы из нее выжать любое показание, и никто не стал бы тратить на командировочные, засылая человека из столицы. Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. (Он тоже был арестован, но вышел невредимым.) Но есть чисто бюрократическая загвоздка, снимающая предположения Ходасевича. Адмирал Нимец сам взял к себе Павлова, чтобы спасти юношу из «хорошей семьи». Павлова могли использовать для слежки за его покровителем Нимецом, иначе говоря, дать ему поручение первостатейной важности. Совершенно исключается, чтобы столь ценному агенту дали дополнительное задание по уничтожению Гумилева. Такого рода «совместительство» немыслимо. Отделы карательных органов использовали своих агентов по назначению, а не как попало. Для уничтожения поэта взяли бы поэтишку, а не военного специалиста. Оцуп, бывший в курсе дела Гумилева, ходивший к Горькому и разузнавший все, что до нас дошло, не подозревал Павлова ни в чем. Он не прерывал с ним сношений и перед своим отъездом — в последний раз, когда был в Москве, останавливался у Павлова, куда мы зашли с ним прощаться.

Оцуп воспринял гибель своего учителя как личную трагедию. Я не допускаю мысли, чтобы он поддерживал отношения с человеком, которого бы считал виновником происшедшего. Среди легенд, создавшихся о смерти Гумилева, ходят разные высказывания Горького, сочиненные неизвестно кем. Одно из них про Павлова — будто его показания легли в основу приговора. Вполне допускаю, что так и было, хотя далеко в этом не уверена. Это вовсе не значит, что Павлов был подослан, а только то, что его между прочим использовали для «оформления дела». Роль Мандельштама в этом деле проста: он узнал, что в Ленинград едет от Нимеца человек приглашать Гумилева в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург проститься с отцом перед «экспедицией» на Кавказ. Ходасевич — человек старой школы. Он верил в необходимость провокации для уничтожения человека. Кроме того, он отдал дань современному стилю и в каждом встречном подозревал провокатора. Вспомните Зенкевича, который подозревал стукача в том же человеке, который подозревал его в стукачестве, причем оба не заметили настоящих стукачей, отлично видных и мне, и Мандельштаму. Мерзко смотреть на болезнь, которой охвачены огромные толпы, включая самих стукачей. Они-то болеют самыми тяжелыми формами этой болезни, поэтому их легко узнать по глазам отчаянным, полным застывшего ужаса. В Петербурге эта болезнь — мания видеть во всех стукачей — достигла самого высокого уровня. Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург — проклятый город, «сему месту быть пусту».

Ахматова назвала Петербург траурным городом. Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге — Ленинграде в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николы Морского. Старухи, для которых церковь — дом, не могли в нее пробиться и справедливо негодовали на людей, никогда не ходивших в церковь и заполонивших все щели по случаю отпевания. Толпа была молодая — студенты сорвали занятия и пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отрепьях. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица. Москвичи выделялись отдельной группой, тяжеловесной и устойчивой. Молодежь не знала, как ведут себя в церкви, и толкалась, пробиваясь к гробу. Я стояла рядом с Левой, который впервые за несколько лет увидел мать. Он пытался прорваться к ней в больницу, но его не пустила жена Ардова, Нина Ольшевская. Она при мне приезжала в больницу, чтобы подготовить Ахматову к очередной «невстрече» с сыном. Нина убеждала Ахматову, что встреча может ее погубить, Ахматова возмущалась, но ничего поделать не могла. Ее энергично охраняли от сына.

Я приехала домой из больницы и застала Леву у своих дверей. Он был сам не свой, плакал, бесился, подробно рассказывал, как идиотка Ольшевская учила его, о чем можно, о чем нельзя говорить с матерью. Она внушала Леве, что в больницу он без ее разрешения (и без нее) не пойдет, для чего она грозилась принять соответствующие меры. Ему предложили ехать в Ленинград и ждать вызова, которого он, разумеется, не получил. От меня Ахматову охраняла внучка Пунина, ангелоподобное создание со злым маленьким личиком. Однажды она подслушала, что мы с Ахматовой говорим о завещании, и ей такой разговор не понравился. Появляясь в Москве, Аня нежно, но твердо просила меня по телефону не заходить, чтобы «не утомлять Акуму». Время от времени Ахматова поднимала крик, и тогда меня спешно призывали в больницу, но старались, чтобы кто-нибудь при нашей встрече присутствовал. Ахматова была стара и беспомощна, и ее окружали претенденты на фантастическое наследство, которое, к счастью, получил сын. Ахматовой удалось обмануть бдительных мелких хищниц и уничтожить вырванное в свое время (когда Лева был в лагере и лишен всех прав) завещание в пользу Ирины Пуниной.

В толпе, хоронившей Ахматову, был еще один по-настоящему осиротевший человек — Иосиф Бродский. Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта — ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась. Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости. В старости, как я убедилась, люди действительно обретают черты, свойственные им в молодые годы (не потому ли, что ослабевает самоконтроль?). Со мной этого как будто еще не произошло. И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский.

Мне случалось слышать, как Иосиф читает стихи. В формировании звука у него деятельное участие принимает нос. Такого я не замечала ни у кого на свете: ноздри втягиваются, раздуваются, устраивают разные выкрутасы, окрашивая носовым призвуком каждый гласный и каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр, но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется.

Откуда взялось столько евреев после всех погромов и газовых печей? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорционально много. В моей молодости я такого не замечала. И русская интеллигенция была блистательна, а сейчас — раз-два и обчелся... Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и полукровки сегодняшнего дня — это вновь зародившаяся интеллигенция, нередко вышедшая из мрачно-позитивистских семей, где родители и нынче твердят свою окостеневшую чушь. А среди молодых много христиан и религиозно мыслящих людей. Я однажды сказала Ахматовой, что сейчас снова первые века христианства и в этом причина перехода в христианство множества иудеев. Она закивала головой, но меня мой прогноз не устраивает. Все чаще приходит мысль о надвигающемся конце, окончательном и бесповоротном, и я не знаю, чем оправдать такую настроенность — моей собственной надвигающейся смертью или тенью, отбрасываемой будущим на весь еще недавно христианский мир. Лишь бы мне не увидеть еще зрячими земными глазами то, что, быть может, надвигается.

В наши дни предчувствие конца стало уделом огромных масс, и не только потому, что наука блестяще продемонстрировала свои возможности. Мне иногда даже думается, что наука просто дает рациональное обоснование естественному испугу людей перед делом своих рук. Об этом свидетельствует бесплодный взрыв философского пессимизма, который охватил весь Запад после второй мировой войны. Говорят, он исчерпывается, но у нас, искусственно задержанный, он подтачивает силы и так измученных людей. Но пессимизм, хоть я и назвала его бесплодным, все же лучше, чем чудовищная, слепая и злобная вера в спасителей человечества, от которых нас-то спасает только таинственный закон самоуничтожения зла. Проклятая вера в «ничто» все же еще гнездится в чьих-то незрелых умах, о чем свидетельствуют портреты, которые вывешиваются в некоторых злосчастных западных университетах. Подлым душонкам захотелось погулять на воле: убийство тысячи-другой простых людей подарит каждого из них ощущением силы, которым так любят обзаводиться ничтожные духом. Они твердо знают, что палач всегда сильнее жертвы. Палач даже презирает свою жертву, потому что у нее испуганные глаза и брюки держатся не на ремне, а на честном слове, а потому сползают. Сытая скотина охотно морит голодом свою жертву, потому что голод снижает сопротивляемость. Зато когда по закону самоуничтожения зла бывшие соратники приступают к уничтожению своих, то есть тех самых, которые допрашивали, били, убивали или санкционировали «ради пользы дела» убийство «чужих», вчерашние «свои» вопят от удивления, рвутся доказать свою кристальную чистоту и рассыпаются на куски.

Всюду портреты и чувство надвигающегося конца. Люди ощущают его всеми порами и клетками души и тела. Один философ с неумеренно гениальными прозрениями публично заявил, что эсхатологические настроения — участь погибающих классов. Тот же философ доказал, что классовый подход — самый научный и точный. Остается вопрос: кто же погибающий класс в нашей стране, охваченной острой тоской и мучительным предчувствием конца?

Молодой левит

Первый приступ эсхатологических предчувствий начался у Мандельштама в период становления «Тристий». Тема развивается медленно. Я вижу ее истоки в стихотворении шестнадцатого года, где говорится: «В Петрополе прозрачном мы умрем... Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем, и каждый час нам смертная година». Здесь речь идет о собственной смерти вместе со всеми, кого он называл «мы». Петербург ощущается как город смерти, где жизнь есть только ожидание конца. В ноябре семнадцатого года написано стихотворение, посвященное Карташеву, про молодого левита, предрекавшего гибель Иерусалима, а ранней весной восемнадцатого года жалобная песенка о гибели Петербурга: «Прозрачная звезда, блуждающий огонь, твой брат, Петрополь, умирает...»

Стихотворение про молодого левита принадлежит к числу немногочисленных, но всегда глубоких вещей, в которых затрагивается иудейская тема. Погибающий Петербург, конец петербургского периода русской истории, вызывает в памяти гибель Иерусалима. Гибель обоих городов тождественна: современный город погибает за тот же грех, что и древний. Петербург не Вавилон — мировая блудница пророческих прозрений, а именно Иерусалим. Вавилон, языческий город, погряз в роскоши и в блуде. Петербург, как и Иерусалим, отвечает за другой, более глубокий грех, и об этом говорит вся образная система стихотворения. Проза, как всегда, служит комментарием к стихам, раскрывает мысли и состояние Мандельштама, вызвавшие те или иные стихи. Я имею в виду статью-доклад на смерть Скрябина, прочитанный в религиозно-философском обществе, где Мандельштаму случалось встречаться с Карташевым.

Рукопись статьи Мандельштам отдал Каблукову. Вернувшись из Грузии после второй поездки (со мной), он узнал, что Каблуков умер, а его архив передан в Публичную библиотеку: наследников у Каблукова, кажется, не было. Несколько раз Мандельштам обращался в библиотеку, чтобы найти статью, но она пропала. Потеря очень его огорчала. «Мне не везет, — говорил он, — это основная моя статья». В 23 году заболел отец Мандельштама. Он лежал в больнице, а мы без него отвезли вещи к сыну, Евгению Эмильевичу. Старик уже не мог жить один. Я была против перевозки к черствому и недоброму младшему сыну, и будущее показало, что я была права, — он отвратительно относился к старику. Но тогда он настаивал, и это было самым легким выходом. Оставалось только перетащить барахло.

Я разбирала сундуки старика. Между грудами рухляди, обесцененных и аннулированных денег, керенок и царских рублей, заплесневевших корок хлеба, ржавых ножей, тюлевых занавесок и обрывков пыльных бархатных скатертей я нашла кучку бумаг, исписанных знакомым почерком. Там были стихи раннего периода, записанные, вероятно, когда собирался «Камень», еще кое-что и разрозненные страницы статьи о Скрябине. Мандельштам обрадовался, просмотрел все странички, сказал, что это приблизительно половина того, что находилось у Каблукова, и попросил меня сохранить. Больше он к статье не возвращался, потому что напечатать ее было абсолютно невозможно. Рукопись и сейчас у меня, но кто-то (увы! я знаю кто) стащил первый лист. Их было два — совершенно одинаковых, но с различными заглавиями. На одном листке стоит «Пушкин и Скрябин», на другом — «Скрябин и христианство». Исчез первый, но после моей смерти он найдется: это уже работа коллекционеров...

Два слова о сундуках деда: вдовцы, у которых не было дочерей, все оказались беспризорными, с точно таким барахлом, как у деда. В тяжкие дни выявилась организующая роль женщины, которая притворялась дамой и птичкой, а на самом деле была домостроительницей и главным стержнем семьи. Богатые женщины, как и крестьянские бабы, строили дом. Чем богаче, тем энергичнее. Правда, именно обеспеченные в прошлом оказались более слабыми в борьбе с голодом и разрухой, но все же и они держались крепче мужчин. Сейчас это ясно всем: «Кто ему портки постирает, если он останется один?» Это общая формула для всех слоев населения.

Я не слишком аккуратно обшарила сундуки, и после смерти старика там еще нашлась кучка бумаг, попавшая в руки младшего брата Мандельштама, того самого, которому в письмах Мандельштам запретил называть себя братом (посылая эти письма, Мандельштам сам снял с них копии, зная, что Евгений Эмильевич их уничтожит). Сейчас, когда стало безопасно поминать Мандельштама, а Евгений Эмильевич заметил, что некоторые ученые, узнав, что он брат поэта, охотно дают ему консультации для его научно-популярных фильмов, он завел специальный «альбом» для «семейных бумаг». Я надеюсь, что «семейные бумаги» попадут в конце концов в архив. Их немного, только то, что старик отец трогательно подобрал за своим блудным сыном.

Статья на смерть Скрябина, даже в том виде, как она сохранилась, настоящий спутник «Тристий», начиная с Федры и кончая стихами о закромах, где сохранилось «зерно глубокой, полной веры». Самое существенное в статье — в ней сказано, как понимал Мандельштам основной грех эпохи, за который все мы несем расплату: вся новейшая история «со страшной силой повернула от христианства к буддизму и теософии». Петербург, где прошли детство и молодость Мандельштама, всеми течениями десятых годов демонстрировал различные виды отпадения от христианства, а сам город своею судьбой показал, что именно ему первому суждено расплатиться за ход истории. В этой же статье четко названо, как Мандельштам понимал христианское искусство. Оно не жертва и не искупление, потому что искупление уже совершилось, а радостное Богообщение, игра Отца с детьми. Быть может, именно таким сознанием объясняется легкая радость, которая никогда не покидала Мандельштама. Впрочем, это неточно: в нечеловеческих условиях человек теряет сам себя, а в таких случаях радость иссякает. Поэту ее не сохранить — он раним и слишком открыт для внешних впечатлений. Я слышала, что те испытания выдерживали только глубоко религиозные люди среди священников и сектантов. Они радовались мученической смерти, потому что были готовы к ней.

Мандельштам, человек предельной эмоциональности, всегда остро чувствовал смерть — она как бы всегда присутствовала в его жизни. И это неудивительно — поэзия в еще большей степени, чем философия, есть подготовка к смерти. Только так понятая смерть вмещает в себе всю полноту жизни, ее сущность и реальную насыщенность. Смерть — венец жизни. Стоя на пороге дней своих, я поняла, что в смерти есть торжество, как сказал мне когда-то Мандельштам. Раньше я понимала ее только как освобождение. Не заглушает ли физическое страдание смысл нашего последнего акта на земле? Я думаю о себе, но в тысячу раз больше о Мандельштаме, потому что на опыте доказано, что люди научились создавать такие условия, когда человек перестает быть человеком. На кострах инквизиции сжигаемая жертва имела немало шансов, что хоть кто-нибудь в толпе, пришедшей полюбоваться языками пламени и зрелищем страшной смерти, услышит ее брань и проклятия мучителям. Костры потому и потухли, что крики так называемых ведьм дошли до ушей тех, кто согласился их услышать. В огромных одичалых толпах, обреченных на медленную гибель от непосильного труда, когда из каждого выжималась последняя унция «общественной пользы», никто друг друга не видел и не слышал. При медленном вымирании всех и каждого люди теряют способность контакта и замыкаются каждый в себе. Не случайно из миллионов нашлись единицы, заговорившие о лагерях. И то один из них прошел лагерные сроки после войны и не знал лагерей конца тридцатых годов, а женщина могла сохранить память, потому что, как все свидетельствуют, прошла через женский лагерь, где было чудовищно, но все же легче, чем в мужских. Как там умирают? Есть ли в той смерти хоть что-нибудь, кроме боли раздавленного зверя и, быть может, радости освобождения?

Лагеря, где из обреченных выжимали «последнюю унцию пользы», наверное, разорительны для страны, потому что для превращения человека в палача, тюремщика, истязателя, лагерного начальника или опера надо закармливать его до полного одурения, да еще строить систему запугивания и обыдиочивания, что обходится, конечно, немало, а производительность труда, как в лагерях, так и на воле, неизбежно падает. На что способна тварь дрожащая? Меньше всего меня беспокоит производительность труда, о которой кричат в течение полувека организаторы нашей жизни, или экономические основы каторжного труда, но и в этом наши хозяева безнадежно просчитались.

В мире осталось слишком мало людей, способных понять мысль о торжестве смерти. Все охвачены таким яростным страхом конца, что теряют даже жизнелюбие и верят только в медицину и геронтологов. Они «подготовляют себя лечением к переходу в потусторонний мир», в который давно уже утратили веру. Я предпочитаю, чтобы берегли стариков, как повелось с недавних пор после длительного периода вымаривания бесполезных членов общества, но сама не стремлюсь ни к заботе, ни к уничтожению. Хочу только остаться человеком и в минуту последнего страдания.

Мне кажется, что только напряженное отношение к смерти заставило Мандельштама придать особое значение несвоевременной и почти случайной смерти Скрябина, а главное — ее вселенскому характеру и отношению к ней народа. Вряд ли в менее приподнятом состоянии он бы поставил в один ряд Пушкина и Скрябина. Смерть Пушкина все же была осознана людьми, а Федра-Россия и не подумала полюбить Скрябина по той простой причине, что ни греховной, ни чистой любовью еще не снизошла ни к одному из своих сыновей. Для этой Федры существуют пока одни только пасынки, которых, как заправская мачеха, она умеет только мордовать. Народ у нас любит начальство, а начальство — только себя. Высшая честь, которую могут оказать художнику, — это выкрасть его тело, как поступили с Пушкиным, или бросить его в яму. Народ, рубивший на щепки иконы, чтобы растапливать ими печь, сам подтвердил свою невероятную безлюбость. А ведь свое великое искусство — иконопись — он любил, не переставал любить и любит и сейчас. Многострадальная страна пасынков, добрых и незлобивых, полна ненависти и злобы, а потому никого не любит и просыпается только по призыву мачехи, чтобы растерзать кого-нибудь из избранников. Откуда только берутся эти избранники и почему они продолжают возникать с метками своего времени и неизгладимой святой чистотой и наивностью?.. А я не могу забыть одного: крестьяне, жившие поблизости к лагерям, подрабатывали ловлей беглых, так как за голову полагалась какая-то часть мешка муки. Мука — дело доброе.

Статья о смерти Скрябина разъясняет первое стихотворение, открывающее вторую книгу Мандельштама («Тристии» или «Вторую книгу»). Федра — мать, родина, она же мачеха, полюбившая пасынка грешной любовью. Художник всегда пасынок. Несмотря на эмоциональный подъем, вызванный смертью, на этот раз Скрябина, Мандельштам увидел его вину перед эпохой: отпадение от христианского искусства. Скрябин — соблазнитель, соединивший дионисийское начало с безумием русских сектантов, сжигавших себя в гробах. Мандельштам говорит о Скрябине как о безумствующем эллине, соблазнявшем людей «сиреной пианизма», в то время как организующее начало музыки в голосе, в хоре. (Здесь, несомненно, есть полемика с Вячеславом Ивановым-Ницше с его дионисийским пониманием искусства.) Голос и хор в какой-то степени отождествляли для Мандельштама соборное начало в музыке: «Все причащаются, играют и поют» и «хрусталь высоких нот» и безмерная радость, когда он слушал одноголосые хоры в Армении. Он мне рассказывал и про одноголосые католические хоры, которые когда-то потрясли его. Где он их слышал, не знаю. Скорее всего, за границей, может, даже в любительском исполнении, потому что, как мне кажется, в начале века мало кто их ценил. Не используются ли они хоть иногда в католическом богослужении? Что же касается до «пианизма», то он как-то сочетался у Мандельштама с Шопеном, в котором он чувствовал остро индивидуалистическое начало — «и пламенный поляк, ревнивец фортепьянный»... Впоследствии, уже в Воронеже, я присутствовала при разговоре Мандельштама с одним скрипачом[5], очень известным, но не слишком интеллектуальным, в котором речь шла о Скрябине. Мандельштам отказывался от симфоний Скрябина, но гораздо мягче говорил о фортепьянных вещах. В двадцатых годах ему часто играла Скрябина Иза Ханцын, жена Маргулиса, и он убедился, что в них гораздо меньше, а может, и совсем нет разрушительного и безумствующего начала.

В стихотворении о Федре впервые говорится о черном солнце, то есть о солнце вины и гибели. В статье о Скрябине Мандельштам говорит, что ночное солнце — «образ поздней греческой трагедии, созданный Еврипидом, — видение несчастной Федры». Я не помню, есть ли у Еврипида ночное или черное солнце, существующее в греческой мифологии (Никтелиос орфиков), и не собираюсь ходить в библиотеку за справками — это сделают без меня. Мне помнится, что о черном солнце как о видении Федры говорится в одной из статей Анненского, и Мандельштам мог принять слова учителя на веру. О черном солнце говорил, между прочим, и Розанов. В периоды, когда кончается эпоха, солнце становится черным: «Это солнце ночное хоронит возбужденная играми чернь...»

---

[5] С Ойстрахом. – *Примеч. Н. Я. Мандельштам.*

В третьем томе Мандельштама я нашла в комментариях перечень упоминаний черного солнца у Мандельштама и в мировой литературе. Он сделан внимательно и любовно, но комментатору следовало сразу отделить ночное и черное солнце вины и гибели от слов о «солнечном теле поэта» (Пушкин) в статье о Скрябине, а также строчку: «И вчерашнее солнце на черных носилках несут». Два последних примера восходят к словам Гоголя, что вчера еще Пушкин, как солнце, был центром притяжения и притягивал к себе людей, а сегодня — мертв и лежит в гробу. Ахматова, чересчур быстрая в своих решениях, поспешила всякое солнце сделать Пушкиным, а для Мандельштама любой человек — центр притяжения, пока он жив, умерший — он мертвое или вчерашнее солнце. «Вчерашнее солнце» не Пушкин, а просто любой человек, и черный траурный цвет — носилки, а не солнце.

Ночное солнце, солнце Эреба, солнце вины и гибели принадлежат к другому ряду — греха, преступления и возмездия. У Нерваля — черное солнце меланхолии, идущее, как мне думается, от Дюрера. Нерваля любила Ахматова и часто его поминала. Особого отношения к Нервалю у Мандельштама я не заметила, а меланхолия была ему предельно чужда, так что и Лурье и Иваск не правы, возводя черное солнце, которым бредили в десятые годы, к Нервалю. В комментарии приводятся другие источники «черного солнца», несравненно более близкие Мандельштаму, чем Нерваль. Это «Слово о полку» и Аввакум (книга-спутник). Но как можно забывать основной образ тьмы, которая настала в шестом часу «и продолжалась до часа девятого», «и померкло солнце» — ведь именно под этим солнцем родился еврейский мальчик: «...я проснулся в колыбели, черным солнцем осиян». Судьба еврейства после начала новой эры была для Мандельштама жизнью под тем черным солнцем. Я еще посоветовала бы посмотреть значение слова «черный» у Мандельштама, вероятно, вполне следующее традиции и всегда означающее мрак, тьму, гибель, небытие: хлопья черных роз — о смерти матери, черный парус, черный бархат всемирной пустоты, черный лед стигийского воспоминания, черная Нева и черные сугробы революционного Петербурга... Солнце — свет, жизнь, человек, мужественность (по Платону)... Когда солнце сочетается с чернотой, как в строчке о черни, хоронящей ночное солнце, или солнца не видно («Не видно солнца, и земля плывет») — жизнь идет на убыль, к концу, к сумеркам свободы...

У Мандельштама была довольно большая «упоминательная клавиатура», как он выразился в «Разговоре о Данте», но мне смешно, когда его делают то знатоком всех хтонических божеств, то дурачком, который даже слово «весна» узнал от Вячеслава Иванова. В России даже сниженное образование начала века было довольно пристойным. Не только Мандельштам, но и я, когда он впервые прочел мне стихи про «выпуклый девичий лоб», знала диалог Платона, где он уподобляет поэта пчеле, собирающей мед. Это диалог «Ион», откуда прямо взяты из закромов памяти «мед и молоко», которые черпаются прямо из рек, и мед, собираемый поэтами — «слепыми лирниками». Почему знаток Вячеслава Иванова, написавший про пчел у Мандельштама, не заметил, что в переводах Алкея и Сафо ничего не говорится о Гомере, слепом лирнике, а именно о нем идет речь в диалоге «Ион». Автор «вячеславо-ивановской» версии советует читать то, что читал Мандельштам. Совет хороший, но не следует ограничивать круг Мандельштама одними мэтрами десятых годов, а тщательно пересмотреть поэтов, в первую очередь русских, запомнить цитатку: «Счастлив золотой кузнечик, что в лесу куешь один» (Мандельштам не сомневался, что цикада кузнечик) — и собрать хотя бы минимальные сведения о кругозоре молодого человека десятых годов и об обстоятельствах жизни самого Мандельштама. Ведь этот ученый запросил одного московского исследователя о том, когда венчался Мандельштам. Прошу прощения, но такого с нами никогда не было, если не считать, что нас благословил в греческой кофейне мой смешной приятель Маккавейский, и мы считали это вполне достаточным, поскольку он был из семьи священника. Тот же Маккавейский в той же кофейне в тот же день, когда мы отдыхали после хорошо проведенной ночи, подсказал Мандельштаму слово «колесо» для наших брачных стихов. В этом частичная правда показаний Терапиано, приведенных в комментариях к первому тому. Остальное беллетристика. Особенно речь Мандельштама о том, как он пишет стихи. Что же касается до скрипучего труда, который омрачает небо, то это предельно его высказывание. Даже то, что я размалевываю какие-то холсты по народным рисункам в Купеческом саду, казалось ему чрезмерным и насильственным трудом, а на самом деле это было забавой моего табунка художников. Так начался наш брак или грех, и никому из нас не пришло в голову, что он будет длиться всю жизнь. Тогда была юность без мыслей о черном солнце, но юность не успела кончиться, когда снова нахлынули эсхатологические предчувствия.

В стихотворении о молодом левите гибель предрекается только городу. Я думаю, что под левитом Мандельштам имел в виду себя, а не деятеля «последнего собора» Карташева. Мне смутно помнится, что Карташев в разговоре с Каблуковым назвал Мандельштама молодым левитом, но за точность не ручаюсь. Старцы, которых молодой левит призывает бежать из обреченного города, считали зловещую черно-желтую окраску ритуальными цветами: «Се черно-желтый цвет, се радость Иудеи». Те же черно-желтые цвета, как правильно заметили комментаторы, Мандельштам видел в обреченном Петербурге — вплоть до стихотворения тридцатого года: «...к зловещему дегтю подмешан желток». Испуганное издательство, которое еще сто лет будет обсасывать куцую и уродливую книжку стихов Мандельштама, обратилось с запросом к знатоку Кумрана и Библии Амусину с вопросом, кого пеленают, при чем здесь ручей и что за таинственные иудейские штучки имеет в виду автор. Они не знали, что молитвенные дома строились обычно на берегу ручья... Они даже не подозревали, Кого обвили пеленами и где эти пелены были потом найдены. Они никогда не слышали про Того, Кого называли «Наша Пасха», и не прочли слов: «Та суббота была день великий». Они свободны от всех воспоминаний, преданий и мира мыслей, на которых строилась европейская культура. Это про них сказано: «Вам чужд и странен Вифлеем, и яслей вы не увидали» (строчки из стихотворения, которое считалось пропавшим, но было найдено записанным в книгу «Стихотворения» в Ростове, где, вероятно, погиб его хранитель — Леня Ландсберг). Такое невежество и есть мерзость запустения и чад небытия, когда люди знают о своем прошлом меньше, чем животные, у которых хоть полностью сохраняется инстинкт — память тела. Но и мы еще пока ходим на двух ногах и умеем стоя сохранять равновесие. Пока люди есть и живы, еще не все потеряно. Еще могут они заговорить друг с другом, прочесть книги и узнать, где сказано: «Солнце превратится в тьму...»

Чего гадать, откуда пришло черное солнце, — оно есть даже в Эдде, как мне сказал Мелетинский, и всюду и всегда связано с концом мира.

После стихов и статьи о гибнущем городе у Мандельштама впервые появились чисто эсхатологические слова о земле без людей. Случилось это в Петербурге 1922 года — в статье «Слово и культура». Мандельштам называет Петербург самым передовым городом, потому что в нем в первом появились симптомы конца: «Трава на петербургских улицах — первые побеги девственного леса, который покроет место современных городов... Наша кровь, наша музыка, наша государственность — все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы...» Как мог наивнейший Иваск принять эти слова за утопию о будущем братстве? Чье братство — камней, деревьев, слоев земли? Ведь в этой статье — тут же — говорится о земле без людей. Мандельштам увидел будущее как царство духа без людей. «Слово и культура» в значительной степени продолжение статьи о Скрябине. В статье о Скрябине называется грех эпохи, а в статье «Слово и культура» сказано о том, к чему приведет этот грех, то есть к гибели рода людского.

Осознав неизбежность конца, Мандельштам говорит о тщетности всех попыток предотвратить его: «Остановить? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжи в отчий дом, обуянное жаждой возвращения?» Здесь солнце уподобляется всему человечеству (вспомните стихи Блока, где солнце-сын возвращается к матери), и Мандельштам предлагает подарить его дифирамбом вместо того, чтобы «вымаливать у него подачки». В двадцать первом году Мандельштаму стало ясно, что человечество, отказавшись от дара жизни, идет — предначертанным ли путем? — в небытие, откуда было некогда вызвано.

После первого приступа эсхатологических предчувствий, касавшихся на первых порах только Петербурга и петербургского периода русской истории (стихотворение о левите), Мандельштам уехал в Москву, где было написано стихотворение о корабле истории: «Мы будем помнить и в летейской стуже, что десяти небес нам стоила земля». Сознание, что из-за неуклюжего поворота руля мы потеряем не только небеса, но и землю, пришло через два года в том же Петербурге. Это чувство до конца жизни не оставляло Мандельштама и время от времени пробивалось в стихах, особенно в последние годы его жизни.

Теперь стало ясно, что гибель человечества осуществится как дело рук человеческих, то есть будет самоубийством, а не предуготованным концом. Того конца люди, пожалуй, не дождутся и сами себя загубят. Наша единственная надежда — благоразумие начальников, холеных и раскормленных, которым не хочется погибать вместе со всеми. Это и только это отдаляет момент самоубийства. Остальное не во власти простых людей, а поэтов, пророков и Кассандр, как известно, никто никогда не слушает. Ведь старцы не обратили ни малейшего внимания на предостережения молодого левита.

Жилплощадь в надстройке

Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те годы (начало двадцатых годов), когда мы жили «в похабном особняке» в Доме Герцена с видом на «двенадцать освещенных иудиных окон». Сдвиг в стихах произошел еще в Тифлисе. Я услышала новый голос в стихотворении «Умывался ночью на дворе...». Москва же была периодом клятв: обет нищеты, но совсем не ради самой нищеты как испытания духа, дан в «Алексее», и он дополняется тем, что сказано в «Алискансе». Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как «Сыновья Аймона». В этих вещах — в «фигурной композиции», как сказали бы художники, — Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем. Он хотел напечатать все три вещи в одной из книг 22 года (в госиздатном «Камне» или во «Второй книге»), но воспротивился редактор — или цензура, что одно и то же. У нас ведь не цензура выхолащивает книгу — ей принадлежат лишь последние штрихи, — а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку. Некоторые крохотные сдвиги произошли лишь в последние годы, но особого значения они не имеют... В «Сыновьях Аймона» личный элемент в жалобе матери: «Дети, вы обнищали, до рубища дошли», в «Алискансе» — боль при виде толпы пленников, щемящее чувство, которое мучит меня уже больше полувека, но ни я, ни «наши дамы» не требовали от мужчин ничего, кроме осторожности. И я еще меньше других, по той простой причине, что к Мандельштаму с советами лезть не стоило — не слушал.

Переводы из Барбье тоже не случайность. В них попытка осмыслить настоящее по аналогии с прошлым: обузданная кобыла, пьянство, а главное дележ добычи победителями и кость, брошенная к ногам жадной суки. Последнее стихотворение почему-то не попало в трехтомник, хотя редакторы не поленились напечатать всякую поденщину и дрянь, спасавшую от голода, и даже переводы старательного Исайи Мандельштама. Когда-нибудь соберут и переводы Ахматовой, где не больше десяти строчек, переведенных ею самою, а все остальное сделано с кем попало на половинных началах. Иначе говоря, она получала переводы, что в наших условиях вроде премии или подарка, кто-то переводил, а гонорар делили пополам. Поступала она умно и спасала бедствующих людей, получавших за негритянскую работу не так уж мало — ведь ей платили по высшим расценкам. Глупо, что она уничтожала черновики, по которым можно было бы определить авторов. Многие знают об ее способе переводить, в том числе и Лева, немало сделавший за мать, но вряд ли кто-нибудь об этом скажет, и в сочинениях Ахматовой будет печататься вся переводная мура. Надо пощадить поэтов — переводная кабала страшное дело, и нечего всю дрянь, которую они наперли, печатать в книгах. У Мандельштама серьезная переводная работа только «Гоготур и Апшина» и Барбье. Он с опозданием выполнил совет Анненского и на этих переводах чему-то учился. Сознательно выбраны и тексты Барбье — особенно «Собачья склока». В ней отношение к народной революции и отвращение к победителям, которые пользуются плодами народной победы. Тема для нас актуальная.

Меня же не перестает огорчать, с каким аппетитом Мандельштам поносит в некоторых переводах жен. Кобелек с добычей спешит домой, «где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью, гордячка-сука муженька», а Гоготур говорит жене: «Что ты мелешь, баба глупая, без понятья, необдуманно... Ты не суй свой нос, безродная, в дело честное, булатное, твое дело веретенное, веретенное, чулочное...» Чуть доходило до ругани с «безродной сукой», язык перевода приобретал свежесть и глубоко личный звук. Ругался он, правда, только в переводах. В стихах на ту же тему о бедняжке Европе, которой хочется удрать от безвесельного гребца хоть на дно морское — «и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч», — есть жалость к девочке-женщине, и он понимает, насколько ей «милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт овец», словом, мирная жизнь с обыкновенным хозяйственным мужем-добытчиком, а не с быком-похитителем, беспутным бродягой, который тащит ее неизвестно куда. И внешне, Мандельштам сказал, я была чем-то похожа на Европу со слабой картинки Серова — скорее всего, удлиненным лицом и диким испугом.

Во мне, конечно, была и девочка-Европа, и потенциально «гордячка-сука», и Мандельштам не щадил сил, обуздывая жажду домостроительства и мечту, чтобы и у нас было, как у всех. По правде сказать, он держал меня в ежовых рукавицах, а я побаивалась его, но виду не показывала и все пыталась не то чтобы соскользнуть, но ускользнуть хоть на часок. Но ничего не выходило даже на минутку... Он понимал меня насквозь и свободно читал в моих мыслях. Да это и несложно: какие мысли у двадцатилетней дурехи!

Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения: домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев — хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, — все мы бредили чулками. Непрочные — из настоящего шелка, чуть прогнившего, — они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага — из особняка в карету... Ведь и в той прежней, устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались как хотели...

Дурень Булгаков — нашел над чем смеяться: бедные нэповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело, и нищета надоела, а сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни. На гонорар за «Вторую книгу» Мандельштам купил мне голубую лисичку, и все подруги умерли от зависти, но оказалось, что это не шкурка, а клочки шерсти, ловко нашитые на бумазейную тряпку. Нищета была всеобщей, и только дочери победителей и «гордячки-суки» планомерно из нее выбивались. Число их умножалось с годами, но я уже знала, что мы принадлежим к разным классам.

Единственное, что вызывало улыбку Мандельштама, — это городские воробьи и бедные девочки, которые в дождь босиком шлепали по лужам, чтобы не испортить с таким трудом добытые лодочки. О них он с теплотой, вызвавшей у меня приступ ревности, рассказал в «Холодном лете». Зато «дам» он не переносил до ужаса и отвращения. Несколько «дам», салонодержательниц, еще цвели в Москве и в Ленинграде. Они таинственно прижились в новых условиях и доверия не вызывали. Если мы случайно сталкивались с ними, Мандельштам становился непроницаемым, и я дрожала, что он вдруг нахамит по первому классу. Кое-кто из жен и сестер победителей благоволил «культуре». Вокруг них увивались дельцы типа Эфроса, устраивая дела свои и своего круга. Этих ни я, ни Мандельштам не видели никогда, и сейчас уже иссякают кретинские выдумки, что он наслаждался богатством, которого был лишен в юности, и прямо противоположные истории — будто он съел все печенье или всю икру у Каменевой... Рекомендую прочесть мемуары художницы Ходасевич, чтобы понять, чем пахло благополучие в те годы. Там вкраплена лживая история про Бабеля, вызволившего ее мужа из Чека, столь же достоверная, как рассказ о том, что ей показали в символистическом московском салоне среди прочих «модернистов» и Мандельштама в годы, когда он еще ходил с ранцем в школу и в Москве не бывал.

В суровом человеке, с которым я очутилась с глазу на глаз на Тверском бульваре, я не узнавала беззаботного участника киевского карнавала. В Грузии на эмигрантских хлебах мы успели привыкнуть друг к другу, но еще не сблизились. В Москве я не успела оглянуться, как он заарканил и взнуздал меня, и поначалу я еще пробовала брыкаться. Меня тянуло к людям, к остаткам карнавала, который еще кое-где переплескивался. Меня звала приятельница, хозяйка шумного однокомнатного дома, куда захаживал сам Агранов и его будущие жертвы. Днем Мандельштам иногда соглашался зайти на минутку в этот дом, но вечером ни под каким видом. Одну меня он не отпускал никуда, и я так и не увидела московского салона времен становления империи. За мной заходили, чтобы вместе пойти в ночной подвал, открытый Прониным на манер «Собаки». Мандельштам не пустил. «Но ведь ты же сам бывал в «Собаке»«, говорила я. Он отвечал: «Очень жаль» или «Время теперь другое»... Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в Доме Герцена, — это собирался Союз писателей или Союз поэтов, раздельно существовавшие тогда под одной крышей. По приезде Мандельштам зашел туда на какие-то заседания, а потом больше не заявлялся. К нашему окну непрерывно подходили люди по дороге в писательские канцелярии, и Мандельштам вежливо с ними разговаривал, но в личные отношения не вступал ни с кем. Официальная изоляция еще не началась, но он сумел изолироваться сам. Он знал, что тех, кого он мог бы назвать «мы», уже не существует, а случайных встреч и связей избегал. Да и с кем было якшаться: с Асеевым, усачами или попутчиками? С кем из них был возможен разговор или шутка? К нам приходил Лопатинский, заглядывал Якулов, остроумный, острый и легкий человек, появлялся Аксенов, желчный и умный. Однажды Якулов потащил нас к Краснушкину, где пили до одурения, но больше соблазнить Мандельштама бесплатной водкой не удалось. Якулов говорил, что русская революция не жестокая, потому что всю жестокость отсосала Чека. Сам он потом узнал, что это за птица. На его похороны Луначарский отвалил кучу денег, и Мандельштам возмущался: при жизни морят и лишают жены (ее посадили), а на мертвого не жаль и расщедриться. Мы жили рядом с Камерным театром, и туда нас зазывали художники, ходили и на постановки Мейерхольда, иногда с отвращением, иногда с интересом смотря одну за другой невероятно разные постановки. Театралами мы не стали. И театр был внутренне пуст и страшен, несмотря на внешний блеск. Все твердили одно слово: «биомеханика». Это было модно и пышно.

В двадцать втором году на Мандельштама был еще спрос. Кроме Нарбута с новым акмеизмом без Ахматовой, но с Бабелем и Багрицким, были кучи других предложений деловых литературных союзов. Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос — я была с ним — и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев да еще два-три человека, которых я не запомнила.

Эфрос разливался соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, — «вы нам нужны»... Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил). Я и тогда прекрасно понимала, что подобное объединение было бы полной нелепостью, но Мандельштам обладал способностью наживать врагов резкостью и прямотой, совершенно необязательными в подобных ситуациях. Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно — тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды.

Сходная ситуация была и в Ленинграде, где в первый наш приезд нам пришлось побывать у Анны Радловой, потому что Мандельштам был с ней в свойстве и мы приехали после смерти ее сестры, на которой был женат брат Осипа Евгений. Мать Радловой, Марья Николаевна Дармолатова, осталась жить с осиротевшей внучкой Татькой и ненавистным зятем. Из-за нее мы и пошли с «родственным» визитом к Радловой. Там собрались Кузмин с Юркуном и, кажется, с Оленькой Арбениной, художник Лебедев, муж второй сестры — Сарры Дармолатовой или Сарры Лебедевой, будущего скульптора, и еще несколько человек, и я опять услышала, как Мандельштама заманивают в объединение или союз — на этот раз синтеза всех искусств — поэзии, театра, живописи... Сергей Радлов, режиссер, с полной откровенностью объяснил Мандельштаму, что все лучшее в искусстве собрано за его чайным столом. Вот лучшие поэты, художники, режиссеры... Был ли там композитор? Не помню. А вот Юркун шел за прозаика. Материальная база — театр, который обеспечит и Мандельштама, как и других членов объединения. Имя Мандельштама необходимо для укрепления художественной ценности союза, он же получит поддержку группы во всех смыслах и во всех отношениях... Кузмин молчал, хитрил и ел бычки, лучшие по тому времени консервы. За него говорил Юркун, и даже чересчур энергично. «Низок» — как говорила Ахматова. И еще: «Срамотища»...

На этот раз Мандельштам вел себя гораздо приличнее, чем у Эфроса: он просто мычал и делал вид, что ничего не понимает. Наконец Радловы, оба — и муж, и жена, задали вопрос напрямик: согласен ли Мандельштам позабыть устаревший и смешной акмеизм и присоединиться к ним, активным деятелям современного искусства, чтобы действовать сообща и согласованно? Мандельштам сказал, что попрежнему считает себя акмеистом, а если это кажется комунибудь смешным, то ничего не поделаешь... Все дружно набросились на акмеистов, а Кузмин продолжал помалкивать и лишь изредка вставлял слово, чтобы похвалить стихи Радловой. У меня создалось ощущение, что он-то и является душой этой заварухи, но втайне издевается над всеми, в частности над Радловой. Скорее всего, ему было наплевать на что бы то ни было, но из дружеской связи с Сергеем Радловым он умел извлекать пользу, а для этого полагалось хвалить Анну Радлову. Больше других шумел Юркун, и я впервые услышала, как поносят Ахматову.

Впоследствии мне случалось встречать всю троицу у Бенедикта Лившица, и Олечка Арбенина спросила меня, за которую я из двух Анн: за Радлову или за Ахматову. Мы с ней были за разных Анн, а в доме Радловых, где собирались лучшие представители всех искусств, полагалось поносить Ахматову. Так повелось с самых первых дней, и не случайно друзья Ахматовой перестали бывать у Радловой. Один-единственный раз Мандельштам нарушил старый сговор и еле унес ноги. Иногда я встречала Радлову у ее матери, и она всегда, увидав меня, старалась покрепче ругнуть Ахматову, но больше по женской линии: запущенна, не умеет одеваться, не способна как следует причесаться, словом — халда халдой... Это была маниакальная ненависть, на которую способны только люди. Иногда — за преданность Ахматовой — доставалось и мне, но в замаскированной форме: некто, кажется Миклашевский, женился на одесситке, и все друзья готовы провалиться со стыда, когда она открывает рот... «А вы из Киева? Там говор вроде одесского?» Иногда же через меня она пыталась сойтись с Мандельштамом: отчего бы не завести обычай гулять по утрам? Мы бы прошлись вдвоем и вернулись позавтракать к нам, и Мандельштам бы за вами зашел...

Все это вскоре кончилось. В 22 году еще казалось, что возможны литературные объединения и какая-то литературная жизнь. Последней группой были «обэриуты». Остатки «серапионов» и «опоязовцев» и сейчас с наслаждением вспоминают двадцатые годы как пору расцвета и яркой литературной жизни. На самом деле это была жалкая инерция десятых годов, как у Эфроса и Радловых, или содружество обреченных, как у «обэриутов», которые примостились около Маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками. Изоляция, которую выбрали Мандельштам и Ахматова, была единственным выходом. Началась эпоха одиночек, противостоявших огромному организованному миру. Она продолжается и сейчас, хотя одиночек уже тоже нет.

В 23 году произошло нечто, резко изменившее положение Мандельштама, какое-то совещание или постановление, кто его знает, но он вдруг был снят со счетов. Имя его исчезло из списков сотрудников всех журналов, всюду стали писать, что он бросил поэзию и занялся переводами, за границей это доверчиво повторяли глубокомысленные газеты вроде «Накануне», словом, началась официальная изоляция, длящаяся по нынешний день. «Общество» сразу отшатнулось, и уже никто не предлагал ему вступать в литературные союзы. Идеология набирала силы. Пока шла война, государство улыбалось всем, кто предлагал сотрудничать. Отсюда краткий роман с «левым искусством». К концу войны предложение стало превышать спрос, и левых быстро оттеснили. Возник Авербах, и будущее оказалось за ним. Он победитель, так как литература идет проложенным им путем. Его не вспоминают и не восхваляют, потому что его успели расстрелять. Расстреливали и своих и чужих без разбору.

Добывая деньги на содержание своей Европы, Мандельштам вынужден был ходить по редакциям. Его наперебой старались просветить, чтобы он не так чудовищно отставал от жизни. Однажды он сообщил мне свежую новость: «Оказывается, мы живем в надстройке!..» Кто-то позаботился, чтобы Мандельштам узнал о соотношении базиса и надстройки. В надстройке жилось омерзительно грязно и постыдно, и мы оба видели, как ослабевают связи между людьми. Они даже не ослабели, а рухнули, и прежде всего исчезло искусство разговора. Внезапно появились рассказчики, потому что разговаривать было не о чем. Кому скажешь, что базис и надстройка — нелепая схема? Самое удивительное — как долго держалась эта схема, и люди порядочные — не подлецы и не карьеристы — совершенно серьезно обсуждали, каким образом «классическое наследство переходит из одной надстройки в другую». «В чемоданчиках переносят», — сказала я одному человеку, которому вполне доверяла. «Это уже слишком, — ахнул он, — ведь литература уж наверное надстройка...» Какой путь должны пройти дети, выросшие в таких домах, чтобы научиться думать, отвечать и говорить? До сих пор ведущее место занимают рассказчики, чаще всего безудержные хвастуны. Старшие поколения держат под кроватью чемоданчики с «Двенадцатью стульями», Олешей и Багрицким на случай, если придется переселиться в новую надстройку.

В двадцатых годах начисто исчезла шутка и в течение полувека использовалась только как хорошо оплачиваемый агитационный прием. Такая шуточка гнездилась в лефовских кругах, и ее родоначальником был Петенька Верховенский, первый русский футурист. Она предназначалась для того, чтобы огорошить и ошеломить, как Петенька ошеломил своего чувствительного папашу. «Леф» и «На посту» — два ведущих журнала начала новой эры, но лучше их не перелистывать, чтобы не задохнуться. Они казались противопоставленными, а на самом деле это близнецы. Шутка Мыльникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева. Получив идеологическую обработку Ильфа и Петрова, она приблизилась к идеалу Верховенского.

В Москве двадцатых годов шутить было не с кем. Шутки Петеньки и одесситов стояли поперек горла. Единственное здоровое в нашей жизни анекдоты. Они начались с первых дней и не иссякали ни на миг. Анекдот единственный отклик на общественную жизнь. Кто их сочиняет? Одно время их приписывали Радеку, но мы в его авторство не верили. И действительно — он погиб, а анекдоты не иссякли. Начальство активно боролось с этим незаконным жанром. В самом начале двадцатых годов сослали неосторожного коллекционера, собравшего и пробовавшего классифицировать анекдоты. Он исчез навсегда. За ним последовали другие, пойманные на рассказе очередного анекдота другу, конечно, а не врагу. Несмотря на все меры, анекдота не победили. Этот летучий жанр непобедим. Есть анекдоты столичные, провинциальные, городские, деревенские. Анекдоты быстрее Самиздата облетают всю страну. Я заметила, что в хрущевское время появились анекдоты не только за «нас» (здесь «мы» очень широкое и включает все виды интеллигенции, технократов, школьников и даже самых человечных таксистов), но и против «нас». Мы подметили их еще с Ахматовой. Они маскировались под обычный жанр, но были активно антихрущевские и часто антисемитские. Обслуживают они толпу, стоящую в очереди за пивом, и дружные компании, щелкающие костяшками домино во дворах. Зато «наш» анекдот расширил тематику и неотразим. В самое последнее время в нем сильней, чем когда-либо, пробилась гуманная тема и жесткое разоблачение принципиальных сторонников убийства «ради пользы дела»...

Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда: он любил анекдоты, смеялся, недоумевал, откуда они берутся, но его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот, — острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям — к Маргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стишок-импровизация «на случай» или игра вроде тех, в которые он играл с моим братом, например совместное заявление в Комакадемию о том, что «жизнь прекрасна». В шутке Мандельштама всегда есть элемент «блаженного бессмысленного слова».

Партнерами по шуткам Мандельштама были еще Кузин и Яхонтов. В шутках Кузина всегда было нечто буршевское, чуждое Мандельштаму. Кузин обожал всякие буриме, а это не свойственно спонтанной и свободной шутке Мандельштама. Яхонтов в сочинении шуток не участвовал, но был их верным и точным исполнителем. В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце двадцатых годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В тридцатых — приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога: «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович — аж на Покровку она худого пустила жильца. — Бабушка, шубе не быть! — вскричал запыхавшийся внучек. — Как на духу Мандельштам плюет на нашу доху...» Мы прожили два месяца в наемной комнате на Покровке — в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь, но — увы! — за комнату не заплатили. Кормилицей была я — Мандельштам подвергся уже полному остракизму, — но не выдержала, заболела и попала в Боткинскую больницу.

Зарабатывала я службой в газете «ЗКП» («За коммунистическое просвещение»). Сманил меня туда Маргулис: «Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну. Такую причинить обиду за небольшие барыши! Так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души...» Лучшие «маргулеты» пропали. Их законом было — начинаться со слов «Старик Маргулис» и получать одобрение самого «старика»... Вот еще «зекапинная маргулета»: «У старика Маргулиса глаза преследуют мое воображенье, и с ужасом я в них читаю «За коммунистическое просвещенье»«. Старик Маргулис с трудом примирился со следующей «маргулетой»: «Я видел сон, мне бес его внушил: Маргулис смокинг Бубнову пошил, но тут виденья вдруг перевернулись, и в смокинге Бубнова шел Маргулис», но зато любил песенку, как он на бульваре высвистывает с Мандельштамом Бетховена. Эту мне не вспомнить... Идиотское толкование невиннейшей шутке дал некто Осипов, ну его к черту... «Старик Маргулис из Наркомпроса, он не географ и не естественник, к истокам Тигра и Эфроса он знаменитый путешественник...» «Тигр и Эфрос» — перелицовка «Тигра и Евфрата». Речь идет об Абраме Эфросе, великом дельце, соблаговолившем устроить Маргулису переводик...

Мы почти никогда не записывали стихотворных шуток. В Воронеже мне подарили твердый и чудный листок японской бумаги, и я записала все, что удалось вспомнить. Листок пропал у Рудаковой. Небольшая кучка шуток сохранилась в архиве. Одни записаны моим братом, другие Мандельштамом — в Воронеже. Я не знаю, чего стоит этот озорной жанр, — Шкловский и Харджиев презирают его, а нам он доставлял много веселья. Кое-что из шуток вошло в основной текст («Это какая улица? Улица Мандельштама...», «У нашей святой молодежи...» и др.). Нет дома, на котором можно было бы прибить доску, что «здесь жил Мандельштам», нет могилы, чтобы на ней поставить крест, и в этой стране, которую мы называем своей, давно уже стараются растоптать все, что сделал Мандельштам. Так было, и так будет. Поэтому хорошо, что он успел переименовать целую улицу в свою честь: «Вот почему эта улица или, верней, эта яма так и зовется по имени этого Мандельштама...»

Маргулис умер в лагере почти одновременно с Мандельштамом, Яхонтов выбросился из окна в припадке страха, что идут его арестовывать. Как могли мы жить и смеяться, хотя всегда знали, какой нас ждет конец?

В преддверье

Мы жили на Тверском бульваре, и нам почему-то пришлось пойти в милицию, вероятно, для прописки. Прописки у нас никогда не отменяли, но в двадцатых годах процедура проходила довольно просто и страха не вызывала. В милиции всегда очередь. От скуки я разговорилась с крестьянской бабенкой, моей ровесницей, с отличным сосунком на руках. «Ты чего за такого старого пошла? — спросила она, разглядывая Мандельштама. — Выдали, что ли? А я себе сама взяла...» Мандельштаму было тридцать один или два, а девчонкин мужик, совершенный сопляк, казался лет на пять моложе жены. Такие браки в деревне не редкость — взяли примака, и бойкая жена потащила его в город на заработки. Очень она была бойкая — ей одна дорога: либо потом ее раскулачили, либо она сама раскулачивала соседей.

Дурацкий разговор врезался мне в память, потому что я тогда остро чувствовала, что Мандельштам не только по внешнему виду — он всегда выглядел старше своих лет, — но и всем своим существом достиг ранней, но настоящей зрелости. По-моему, основные мысли и представления — те, на которых строится личность, — сформировались у него очень рано, еще до двадцати лет. Об этом свидетельствуют ранние статьи, особенно «О собеседнике», которую он написал в двадцать один год. Мне смешно, что Лурье называет его «Божьим младенцем», а Никита Струве говорит о «божественном лепете» писем. В тех немногих письмах, которые написаны не мне, никакого лепета нет, а эти, случайно вырвавшиеся из-под моего контроля (я переписала их для Ахматовой, а она, не спросясь, пустила по рукам), глубоко личные и показывают его отношение ко мне, совсем молодой, удивительно незрелой да еще больной девочке. Для него я всегда была младшей, которую нужно утешать, беречь да еще держать в руках, чтобы не наделала глупостей. Даже в письмах из Воронежа, когда мы оба отлично понимали, что нас ждет, а девчонская дурь давно исчезла, иногда мелькает фраза о безнадежности («Кто его знает, что еще будет», «Если будем жить», «Ничему хорошему не верю»), но тут же он обрывает себя, меняет тон и говорит, что мы сильные и «нам отчаиваться стыдно»... Он потому и болтает со мной в письмах, чтобы я улыбнулась и поборола отчаянье, сопротивляться которому было почти невозможно. Надо зачеркнуть «почти» — просто «невозможно».

Никита Струве думает, что Мандельштам не понимал «трагической изнанки благой вести», жил мечтой о золотом веке и обладал своеобразным хилиазмом. Так ли это? Хилиасты верят в царство гармонии на земле, а Мандельштам сохраняет духовное веселие при полном сознании трагического разворота истории и собственной судьбы. Накануне гибели он наслаждается «величием равнин» и тут же спрашивает, «не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, — народов будущих Иуда?» Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь вот сокровища, которыми он располагает. Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи, но свой «воздух прожиточный» ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек.

Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама, и я тоже, потому что трехкопеечного благоразумия во мне сколько угодно. Они удивлялись его жизнелюбию, и я тоже, потому что любить эту жизнь, да еще в наше столетие, —

слишком трудно. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком – вечно смеется, денег зарабатывать не умеет (про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин: добывать не умел), словом — солидности никакой... Секреты добывания денег и раньше, и в наше время слишком просты. Мандельштам их знал, но использовать не желал. И меня продавать не хотел даже в газету...

Основная черта Мандельштама — он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел. Он не обольщал людей — «душеловцами» были все поэты и писатели, особенно в десятые годы. Мандельштам вполне сознательно на это не шел и жил в любых условиях — лишь бы я не пришла в полное отчаяние. Я была единственной собственностью Мандельштама, и он положил немало трудов, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть меня к себе приспособить, внушить мне хоть каплю своего миропонимания. Эту капельку я восприняла и потому знаю, в чем истоки его веселья и, радостного восприятия мира, которые были загадкой для мелких жизнелюбцев, ставивших то на одну, то на другую лошадку и скрежетавших зубами, когда не она прибегала к финишу.

Даже Ахматова не до конца понимала Мандельштама. В лучшую пору жизни в ней были сильная аскетическая струя и пафос отречения. Не находя ни того, ни другого в Мандельштаме, она терялась, потому что всех, особенно ее, настоящую женщину, тянуло к суждению по аналогии. По аналогии она пыталась судить и обо мне, и о наших отношениях с Мандельштамом и во многом, если не во всем, попадала впросак. Ближе Ахматовой у нас никого не было, и раз она не видела основных формообразующих сил Мандельштама, то от других ждать этого нельзя. Мне кажется, что время раскроет его сущность. Ведь его еще не прочли: трехтомник только вышел и мало кому доступен. Для меня это огромное счастье. Я не надеялась, что увижу изданного Мандельштама, буду держать в руках книги, делать заметки на полях, исправлять ошибки текстов и радоваться, что дело моей жизни сделано: книги есть, что-то пропало, но основное сохранено и существует. Кто мог на это надеяться?

Мандельштам упорно добивался, чтобы, сойдясь с ним, я стала соучастницей его судьбы и тревоги, особенно сильной не в конце жизни, когда все стало ясно, а в двадцатых годах (до «Четвертой прозы», написанной зимой 1929 года), потому что будущее еще смутно маячило, и он то обретал, то терял надежду, что люди опомнятся, очнутся, наладят жизнь, остановят братоубийство и кровопролитие. Иногда он начинал сомневаться в собственном зрении: уж не его ли ошибка, что он все видит не так, как огромные толпы? Но чаще он сознавал — и об этом есть в стихах, — что только потоки крови принесут исцеление и кто-то «своею кровью склеит двух столетий позвонки»... «На пороге новых дней» он чувствовал себя «захребетником», который трепещет и не может примириться с действительностью.

Мы были настолько оторваны от мира, что не отдавали себе отчета, насколько сходны процессы, проходящие в разных странах и в разной форме. Та форма, в которой они протекали у нас, была так наглядна, что поглощала все наше внимание. Жизнь как будто налаживалась, многим казалось, что она бьет ключом, но каждый день мы узнавали что-нибудь новое, наводившее ужас и уничтожавшее всякую надежду на исцеление. Должно быть, будущее отбрасывало тень на этот самый идиллический период нашей жизни: революционный террор кончился, на улицах не стреляли, ходили трамваи, открылись магазины и рынки. Прошел слух о больших арестах среди интеллигенции, но к нам забежал проститься Кузьмин-Караваев, участник первого «Цеха» (помнится, это был он), и в восторге рассказал, что всех арестованных выпустили на второй день и отсылают за границу.

Он был католиком и решил ехать в Рим — поцеловать туфлю Папе Римскому. Кое-кто не захотел уезжать и сумел отбиться. В такой акции ничего жестокого не было — остракизм самая мягкая мера против инакомыслящих. Большинство утверждало, что совершился перелом и эпоха расстрелов кончилась — немного ссылают в Соловки, но молодое, неокрепшее государство должно обороняться, не то опять пойдет анархия и разруха... «Бросьте свои интеллигентские штучки»...

Нам рассказывали, что в Соловках ссыльные благоденствуют, работают, исправляются, издают газету... Показывали какие-то издания, поднесенные почетным гостем из главного учреждения. Хозяева гордились таким гостем и распространяли «доверительные сведенья», которые он сообщал за чайным столом. Мандельштам, когда я повторила нечто подобное, сказал, что еще ни разу не видел ссыльного, вернувшегося из Соловков, и пока не увидит, казенным слухам верить не будет. За всю жизнь я не видела ни одного человека, побывавшего в Соловках и уцелевшего. Чем это объяснить?

Ссылали в Соловки втихаря, прямо с Лубянки. Тех, кого высылали, иногда отпускали на день-другой для устройства дел. Они рассказывали о режиме во внутренней тюрьме, о методах допроса и о технических приемах следователей, набиравших силы для больших дел. Забежав на десять минут, они спешили уйти, чтобы справиться с ворохом неотложных забот. Я запомнила высокого синеглазого человека, знавшего Мандельштама по дому Синани. По иронии судьбы, он очутился в камере с белобородым дедушкой, известным работником охранки (не Дубровиным ли?). Тот сидел с первых дней октября, и обычно в одиночке. Ему придавали сокамерника, когда не хватало тюремной «жилплощади», и он радовался возможности поговорить. Он был смертником, но его использовали как консультанта. Своим опытом он охотно делился с работниками Чека — рад был послужить России...

Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги — изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита — именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище: умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком: голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачиванья и голод войны плюс вечное недоеданье. Одну из таких женщин я запомнила с ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекшим сизым лицом, ногами как кувалды и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим — рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди — местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали «скорую помощь». Развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям — они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами и, белокурые и голубоглазые, сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли, а приволжские дети в стране, истощенной гражданской войной, погибали на всех дорогах и еще чаще на печи у себя в избе — рядом с матерью. Уходить было некуда — каждая корка хлеба была на счету.

О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке — недалеко от нашего дома — стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет «изъятие». Происходило оно совершенно открыто — не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом.

Мы вечно повторяем, что с революцией открылась древнерусская живопись, прежде запрятанная под тяжелыми ризами, но как она открывалась, мы помалкиваем. И мы не вспоминаем, что несчетное количество икон было уничтожено и разрублено на щепки, масса церквей в Москве и по всей стране разрушена до фундамента. Хорошо, если церковь превращена в склад, — у нее есть шансы уцелеть. В Пскове я как-то стояла возле прелестной церковки — они там маленькие и замечательно гармоничные. Проходивший мимо человек рабочего вида остановился и спросил, знаю ли я, что церкви использовались как тюремные камеры, куда впритык набивали заключенных, когда в огромной старинной тюрьме не хватало места. Разговор начала шестидесятых годов. Он еще это помнил, скоро все забудется. Свидетели вымирают... Метод у меня анахронический, и я вспоминаю старуху, которую мы посетили с Фридой Вигдоровой, собирая материалы для «Тарусских страниц». Нищая койка, покрытая тряпьем, протекающий потолок, плесень, черепки, грязь. Старуху использовали для всех приезжающих журналистов — у нее был ловко подвешенный язык. Активная колхозница, она работала безотказно, куда бы ее ни послали. Она балясничала как хотела, и Фрида вдруг спросила: «А икон у вас нет?» «Я не верю в иконы, — ответила старуха, — я верю в Советскую власть»... Нас ждала машина, мы удрали от старухи, и Фрида сказала: «Много ей дала советская власть. Вы видели, как она живет?» Старухе уже тогда было вроде как семьдесят, и года через три ей выдали, если она дожила, пенсию. Милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом — деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в тридцатку, а когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом.

Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. (Я помнила с детства: «заложим жен и детей»). Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев: загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, а не будут истрачены на «мировую революцию»... Недавно в одном из журналов, самом «прогрессивном», печатались мемуары женщины, с иных позиций наблюдавшей «изъятие». Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевной материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина — настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. Ей не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район, а если б она задумалась, то обвинила бы жадных церковников. Кто помнит голодные толпы в городах и крестьян, молча умирающих на печи, холодной и облупленной? В России умирают молча.

Мы случайно зашли в церковь и услышали улюлюканье и вой старух. Перед нами мелькали разрозненные картины действительности, не складываясь в целое. Все, что до нас доходило, было случайностью, деталью, моментом. Противоречивые слухи освещали жизнь с самых разных позиций. Двадцатые годы до сих пор считаются периодом законности и общего процветания. Процветал театр Мейерхольда, начиналось кино, гремел Маяковский, и шевелили ластами попутчики. Меня нередко обвиняют в субъективизме, потому что я помню не только тридцать седьмой год, но и более ранние события, когда велась борьба с «чуждыми элементами» — церковниками, масонами, идеалистами, мужиками, инженерами, обыкновенными людьми, из которых в боксах выжимали золото, собирателями анекдотов и с подозрительными интеллигентами. Я помню толпы нищих, наводнявших города до и во время раскулачиванья. Я смотрела на все глазами Мандельштама и потому видела то, чего не видели другие. Брик был прав — он был «чуждым элементом», не ходил в салоны к правительственным дамам и так и не познакомился с Аграновым. Вокруг шумел веселый город, и казалось, что скоро начнется настоящая жизнь и мы стоим в преддверье. Так и произошло: люди получили то, чего хотели и чему сами способствовали, развивая в себе слепоту, жестокость и тупость.

Первые ссоры

Аскетизма в Мандельштаме не было ни на грош, а желаний — сколько угодно. Его всегда тянуло на юг, он любил светлые большие комнаты, бутылку сухого вина к обеду, хорошо сшитый костюм, а не стряпню из Москвошвея, а главное — румяную булочку, предмет наших вожделений после первого, еще непривычного голода. Он любил порядок и упорно клал на место вещи, которые я разбрасывала по всей комнате. Я замечала у мужчин шизофреническую страсть к порядку, но у Мандельштама было нормальное отношение к комнате, а я богемничала. Зато пыль я вытирала — даже на шкафу...

В начале двадцатых годов мы как бы притирались друг к другу, а это не простое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по блату меня покружили на учебной машине и я узнала, что такое «мертвая петля». Домой я вернулась полная впечатлений, но рассказать о воздушной прогулке мне не пришлось. В «Путешествии в Армению» есть несколько слов о «мертвых петлях», но я здесь ни при чем. Он выслушал не меня, а Борю Лапина, которому устроил полет тот же человек, что и мне, вскоре разбившийся где-то над Кавказским хребтом. Человек этот был странный, с чрезмерными связями, и Мандельштама возмущало, что я его пускаю в дом. Я пускала всех и ничего не понимала ни в людях, ни во времени.

«Мертвые петли», о которых я сейчас ничего не слышу, тогда были модной новинкой, а я не могла не соблазниться модой. Мандельштам решительно не понимал, откуда у меня берутся желания, которых у него нет. Ему хотелось, чтобы я всегда ждала его, и только его одного, как невеста Алексея: «А я думала, ты вернешься, приласкаешь меня немножко...» И ему не хватало во мне «важной замужней прелести», как он выразился потом про армянских крестьянок. Но я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением, и мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать — не навсегда, а немножко, и вдалбливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила — всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока не находили и для себя какой-нибудь забавы. Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас. Я знаю только, что у Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, несвойственная людям ни его поколения, ни последующим. У него существовало понятие «жена», и он утверждал, что жена должна быть одна. Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало. Мы готовы были в любой момент оборвать брак, который был для нас лишь случайно затянувшейся связью, и не задумываясь шли на развод, вернее, на разрыв, потому что браком-то, в сущности, не пахло. Удивительно, что из этих подчеркнуто непрочных связей сплошь и рядом возникали устойчивые союзы, гораздо более прочные, чем основанные на лжи и обмане приличные браки старших поколений. Мы сходились, не заглядывая вперед, а потом выяснялось, что расставаться не хотим и не можем. Еще хорошо, что, нищие до ужаса, мы не знали денежных расчетов и они совсем не участвовали в наших любовных коллизиях. Любой мальчишка раздобыл бы булочку для своей подруги.

Так было и у нас с Мандельштамом. В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись на первый день, и я упорно твердила, что с нас хватит и двух недель, лишь бы «без переживаний»... Когда он привез меня в Москву — перед Грузией, — я смертельно обиделась на Экстер, которая сказала

Таирову: «Вы помните мою ученицу — она вышла замуж за Мандельштама». Я сочла это сплетней и вмешательством в мои личные дела: какое кому дело, с кем я живу!.. Постепенно я убедилась, что, как ни верти, меня все равно считают женой Мандельштама, и постепенно свыклась с этой мыслью. Мандельштам смеялся над моей дурью, ругал за нигилизм и медленно, но твердо брал меня в руки.

Сам же Мандельштам, несмотря на твердую основу, тоже был человеком своего поколения, и в его голове скопилось немало дури в причудливом сочетании с основой. Его возмущала моя готовность к разрыву, а я восставала против петербургской накипи, пахнущей «жоржиками» и «Собакой». Он сильно влиял на меня, делал меня для себя, но и я чем-то меняла его своей нетерпимостью и готовностью расстаться в любой момент.

Однажды Мандельштам потребовал, чтобы я говорила ему «ты». В первые годы дневным словом у меня было «вы», как у большинства моих современниц. Скорее всего, оно само собой перешло бы в «ты», но Мандельштам был нетерпелив и сообщил мне об этом согласно правилам, усвоенным в «Собаке»: «Девчонок, которым я говорю «ты», а они мне «вы», будет сколько угодно, а ты — мое «ты»«... Сейчас я думаю, что «мое ты» появилось не без Флоренского, которого тогда еще не удосужилась прочесть, но тогда все внимание обратила на «собачьи» прелиминарии. Я ответила, что меня вполне устраивает роль девчонки «ты-вы», а если ему нужна другая — ими и не пахло, — пусть уходит, а не то я уйду к кому-нибудь из мальчишек... Мандельштам искренно удивился: у всех его петербургских друзей водились «девчонки», и они нисколько не мешали существованию приятных жен. Он знал еще, что с виду непреклонные дамы «в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев». Этого он для себя не хотел и с меня не спускал глаз. Мне он упорно внушал, что вся мировая литература занималась изменой женщины, не придавая ни малейшего значения мужской измене. Я перевела это на бабью мудрость: мужчина несет из дому, а женщина в дом, но так как у нас дома не было, обещала в случае чего «отнести в другой дом»...

Ссоры вспыхивали зря, на пустом месте, и прошло немало времени, пока мы на опыте убедились, что измена, будь то со стороны мужчины или женщины, не радость, не веселое порхание бабочек, а настоящая беда. Но всю жизнь он стремился, чтобы я устроила ему сцену, поборолась за него, расшумелась, раскричалась. По неписаным законам моего поколения нам этого делать не полагалось, и единственный раз, когда я разбила тарелку и произнесла сакраментальное: «Я или она», он пришел в неистовый восторг: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Случилось это гораздо позже, и вообще эти проблемы прошли в нашей жизни боком, никакой роли не сыграв, и были случайным и минутным хмелем, как с моей, так и с его стороны. Не будь «собачьих» правил, их бы и совсем не было. Ведь в таких вещах важна мода, обычай, общая настроенность, а мы вопреки моде, видимо, боялись потерять друг друга и потому не решались устраивать пляску веселых мотыльков.

Для сегодняшнего дня все мои концепции устарели — женщина упала в цене и отчаянно строит дом, насильно удерживая капризного, сопротивляющегося мужа. В иных случаях она бешено самоутверждается, чтобы повысить себе цену, и жалуется равнодушному мужу, как ей не дают прохода ни на улице, ни на службе... Самое противное смотреть, как они предлагаются или отчаянно утаскивают к себе бедных героев — лестью, угрозами самоубийства и тысячами дешевых трюков. Это началось уже в дни моей молодости, а сейчас расцвело во всю силу. Я слышала о старике, который бросил жену, прожив с ней лет сорок. Он оставил записку, что все прошлое было ошибкой. Я за разводы в молодости, чтобы не случалось затяжных ошибок.

А для моего поколения безнадежно устаревшим казался культ «дамы», душевных переживаний, возникших от случайной встречи, «друга первый взгляд» и те полуотношения, которые культивировались женщинами на десяток лет постарше меня наравне с разрушающейся, построенной на взаимном обмане семьей со знаменитым «одиночеством вдвоем»... Честно говоря, я не верю в любовь без постели и не раз шокировала Ахматову прямым вопросом: «А он вас просил переспать с ним?» Есть еще один измеритель, вызывавший всеобщее возмущение: «Сколько он на вас истратил?» Возмущались и «дамы», иначе говоря, ободранные кошки, и энергичные девицы новых поколений. Значит, я попадала в цель...

Для нас с Мандельштамом все обстояло иначе. В дни сначала добровольной, а потом вынужденной изоляции, которая продолжается и по сегодняшний день, человек ищет свое «ты», и Мандельштам из меня, случайной девчонки, упорно делал жену. Роль «жены» мне не подходила, да и время не способствовало образованию жен. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а ее не было в нашей жизни, а может, никогда больше не будет. Все мы жили и живем на вулкане. Жена организует дом и быт, у нее есть права и обязанности — помимо любви и страсти. В наши дни подружка была сподручнее жены. Подруга разделяет судьбу, а прав у нее нет никаких. Прав мне не нужно было никаких — в любви на «праве» далеко не уедешь. Домом не пахло — земля всегда тряслась под ногами. Вот почему я яростно отбивалась от устаревшей и нелепой роли жены и вместо этого стала веселой и бесправной подружкой. По-моему, Мандельштам только от этого выиграл: ведь подружка — это и есть «мое ты»...

А наши антагонисты, те, которые убивали наших близких, уже укрепляли семью и величали своих жен «супругами». Им казалось, что они прочно стоят на ногах, а на самом деле они погибали с такой же легкостью, как мы, вместе со своими супругами. Мне всегда было любопытно, что думает женщина, живущая с убийцей. Скорее всего, она не думает ничего и только умиляется тому, что ее муж — прекрасный семьянин.

Мне пришлось столкнуться с брачными идеями десятых годов в несколько ином разрезе. В Москве один за другим мелькнули Георгий Иванов и Ходасевич. Они оба устраивали себе отъезд за границу. В начале нашей эры и мы, и фашисты легко отпускали людей на волю. Потом все мы стали носителями государственной тайны, поскольку знали, что у нас делается совсем не то, что пишется. Тогда-то нас пригвоздили к земле и каждый разговор с иностранцем стал квалифицироваться как шпионаж. От нас выпускали за границу самых отборных, зернышко к зернышку, и впускали тоже отборных — вроде Арагона с супругой. Строя свою карьеру на любви к нам, они отлично вели пропаганду у себя дома. Говорят, он сейчас обиделся на людоедство и подписывает какие-то протесты. Почему же он забыл, что кормился с людоедского стола?[6] Пусть только не притворяется, что ничего не подозревал.

---

[6] *Далее следовало*: Не сравнивайте его с Эренбургом, который разделил нашу жизнь – а она постоянно висела на волоске – и первым заговорил о погибших, отчаянно пробивая каждое слово, каждую строчку и каждое упоминание о мертвых. Ему не пришлось говорить полным голосом, потому что, заговори он так, ничего не попало бы в печать. Особенность Эренбурга в том, что он умел стоять на грани дозволенного и тем не менее открывать истину среднему читателю. Инженер, средний технократ, сотрудник научных институтов – вот читатель Эренбурга, чьи нравы и взгляды он постарался смягчить. В начале шестидесятых годов была особая мерка для среднего интеллигента читал он уже Эренбурга или нет. С человеком в «доэренбурговском состоянии» разговаривать не следовало, прочитавшие Эренбурга доносов не писали. Смягчал нравы и Паустовский,

Он все знал и слышал в родственных домах немало людоедских разговоров... Не знали только те, кто знать не хотел, а это не оправдание.

Мне кажется, что в начале эры у наших хозяев была еще вера в свою правоту и поэтому они так легко выпускали желающих. Первым приехал Георгий Иванов. Он оставил у нас чемоданчик, убежал по делам, вернулся к вечеру и сразу отправился на вокзал. Он показался мне чем-то вроде мелкого эстрадника или парикмахера, и я удивилась, зачем они с такими водились. На этот раз Мандельштам не мог свалить на Гумилева, как в случае с Городецким. Из его невразумительных объяснений я поняла, что он ценил в Георгии Иванове любовь к стихотворной шутке и вообще к стихам. В воспоминаниях Одоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была — синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам, и у меня там несколько раз спрашивали: «Это у вас в Москве так ходят?..» Эта пара — Иванов и Одоевцева — чудовищные вруны. Какая мерзкая ложь — рассказ о последней встрече с Гумилевым или об откровенностях Анд-

---

но в несколько ином плане: он открывал мелким служащим – бухгалтерам, счетоводам, учителям, что есть простая жизнь, речка, солнце, цветы, деревья и можно проявить чуточку доброты – накормить кошку, улыбнуться соседу, не напакостить сослуживцу... И Паустовский, и Эренбург подготовили читателей Самиздата в едва очнувшейся от террора стране. Роль Эренбурга значительнее, чем Паустовского, потому что он затронул политическую тему, но отношение к нему хуже. Прочтя Эренбурга, читатель начинал что-то соображать и шел дальше, обижаясь, что получил неполную правду от первого просветителя. Со свойственной людям неблагодарностью он собирал факты, о которых умолчал Эренбург, делал выводы, не сделанные Эренбургом, и пожимал плечами: знаем мы этих осторожных чиновников и писателей... Он забывал, кому обязан своим пробуждением от гипнотического сна, а забывать такие вещи не следует...

рея Белого, встретившего Одоевцеву в Летнем саду. Запад, впрочем, все переварит.

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас. Нынешняя молодежь знает и стихи, и желчную прозу Ходасевича, но в Самиздат он не прорвался, зато книги идут по высокой цене. Многим близка и растерянность, и боль этого поэта, но его поэзия не дает просветления. В нем горькая ущербность, потому что он жил отрицанием и неприятием жизни. Только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис.

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: «Иначе она такое устроит!» В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он смывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так надо... Он сказал мне, что Ходасевич человек больной и Анна Ивановна ходила за ним, как за ребенком. Жили они трудно, и, по словам Мандельштама, без жены Ходасевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека... К тяжелому труду она его не допускала. Вскоре я с нею познакомилась. Она щебетала как птичка, жалела Владека, объясняла, какие у них были отношения («Владек такой больной — ему все вредно»), огорчалась, что он скрыл от нее свой отъезд, и всем показывала новые, полученные из-за границы стихи. Дурного слова о Владеке она не сказала и уверяла, что любит только его. В трудную минуту моей жизни она уговаривала меня бросить Мандельштама, а он, узнав об этом, взбесился и больше меня к ней не пускал. А она так боялась, что «он бросит вас, как Владек меня»... У нее была голова итальянского мальчика и вечные несчастья с теми, кого она любила. Пастернак пробовал спасти какого-то юнца[7], ее почти последнюю любовь, но ничего не вышло, и Анна Ивановна пролила много слез. Однажды я уже в очень поздние годы встретила ее в трамвае, и она показала мне тетрадочку со стихами Ходасевича. Бедное, легкомысленное и до ужаса преданное существо... Ходасевич и Георгий Иванов, не сговариваясь, сообщили Мандельштаму, что я для него абсолютно не подходящая жена: слишком молода и беспомощна. Думаю, они тоже считали Мандельштама «Божьим младенцем», который нуждается в опеке. В молодости Мандельштам наслушался, как все его приятели — типа «жоржиков» — ищут богатых жен. После всеобщего разорения появился новый идеал: энергичная жена, устраивающая дела расслабленного мужа. Мандельштам, не подумав, сообщил мне отзывы своих опытных друзей. Я только ахнула от несоответствия двух желаний: «мое ты» и энергичная жена-опекунша. К счастью, к тому времени я уже заметила, что Мандельштам не переносит энергичных и волевых женщин. Будь я такой породы, он бы сбежал от меня с любой беспомощной девчонкой. И по духовной структуре, и по физиологическим свойствам он принадлежал к тем, кто не терпит опекунов и к женщине относится как к подопечному и не совсем полноценному существу: испуганный глаз, недотрога, врушка и еще лучше — дурочка... Женщину нужно обязательно увезти из дому — идеал: умыкание. Она должна быть гораздо моложе и всецело зависеть от мужа. В очень ранней молодости он еще не вполне сознавал свои вкусы и поддался культу «красавиц», который отчаянно поддерживала Ахматова. Наверное, настоящие красавицы успели удрать и я видела только ошметки, но они были до ужаса смешны. Я запомнила одну, навещавшую Ахматову в Ташкенте. Она иногда оставалась ночевать у нас — по городу ночью было страшно ходить. Раздеваясь, она поглаживала желтые, как пергамент, ноги и говорила: «Мое тело!» Они вспоминали с Ахматовой прошлое и хвалили дочку пергаментной красавицы, милую и скромную, но носившую по прихоти матери древнегреческое имя — остаток старого культа, перенесенного на новое поколение.

---

[7] *Далее следовало*: которого посадили в начале тридцатых годов.

Уже в «Египетской марке» Мандельштам отрекся от «красавиц», и с годами его основные черты стали проявляться все резче. Он немедленно прекращал всякую попытку с моей стороны шевельнуться, начать работать, а тем более зарабатывать. Его сердило малейшее проявление самостоятельности, и он бы много отдал, чтобы сделать меня не такой насмешливой и брыкливой. А сам-то он так здорово насмешничал и дразнил меня, что это могла вынести только я, приученная двумя старшими братьями согласно правилам высшей школы верховой езды...

В годы воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-либо степени от жены казалось ему невыносимым. Так я и просидела возле него всю нашу совместную жизнь и нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась. Вся моя активность была вынужденной — иначе я бы утонула в первой луже с той кучкой бумаг, которую взялась сохранить.

О мудрой теории Георгия Иванова и Ходасевича насчет деловых и энергичных жен я при Мандельштаме рассказала Сусанне Мар (Чулхушьян), озорной «ничевочке» с классически прекрасной головой и чуть короткими, как бывает у армянок, ногами. Сусанна непрерывно молола чушь, но ее трепотня таинственным образом не разрушала, а укрепляла человеческие связи. Она издевалась надо мной, что Оська меня держит взаперти и никуда не пускает, и сама же — неизвестно каким трюком — убеждала не брыкаться и слушаться старших. Услыхав рассказ про Жоржика, она рассмеялась и пропела песенку, развеселившую нас обоих: «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет, молочко он попивает и молочницу...» Как только энергичная жена превратилась в молочницу, «собачье» наваждение рассыпалось, и хитроумного Жоржика мы вспомнили лишь после того, как он стал промышлять мемуарами о своих знакомых, которые сидели с кляпом во рту и не могли даже отрыгнуться.

А Сусанна взяла себе самого нищего мужа, Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного человека, знатока кубизма и Шекспира. Она никогда его ничем не обидела, а жили они в комнате с потолком, подпертым балками, чтобы он не обрушился на голову. Яркая и болтливая Сусанна была одной из редкостных женщин, равнодушных к домостроительству и благополучию. Мы надолго потеряли ее из виду и вдруг встретили в период наших блужданий по Москве тридцать седьмого года. Она посмотрела на меня и сказала: «Надька на ногах не держится... Ну, ничего: у Антигон выходных дней не бывает...»

Я всегда завидовала Антигоне — не той, что была поводырем слепого отца, а более поздней, которая отдала жизнь за право похоронить брата. Право на последнюю дань мертвым, право прощаться с ними и предавать их земле — один из основных связующих обычаев всех племен и всех народов. За это право боролась тихая Антигона и в защиту его восстала на дурного правителя своей маленькой страны. Хорошо жить в маленькой стране, где можно громко заявить о своем праве и выкрасть запретное мертвое тело, а не бродить, как Пушкин, а потом мы вдвоем с Ахматовой, по острову Голодаю и странным рощам под Петербургом, куда молва посылала нас в поисках могилы расстрелянного поэта.

В могущественных державах двадцатого века, прославляемых некоторыми поэтами и многими трибунами как единственная надежда человечества, властители и цари находились на такой головокружительной высоте и в такой ослепительной изоляции, что никакие человеческие голоса не достигали их слуха. Миллионы неосуществившихся Антигон прятались по углам, заполняли анкеты, ходили на службу и не смели не то что похоронить, но даже оплакать своих мертвецов. Плачущая женщина немедленно потеряла бы службу и сдохла с голоду. Медленно подыхать с голоду гораздо труднее, чем быть казненной. И на службах-то мы голодали, а без нее пусть уж вам расскажут арагоны, каково нам жилось...

Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные — да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше тридцать седьмого года, — посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей — в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет. И никто не узнает места захоронения своих близких. Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. Быть может, когда-нибудь перекопают «зоны» лагерей, чтобы сжечь кости или сбросить их в океан. Для того чтобы скрыть прошлое, призовут старых «работников» или их верных сыновей и отвалят изрядную сумму. Прошлое скрыть нельзя, даже если статистики нет. Каждый уничтоженный человек еще скажет свое слово.

Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его — без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению. Каждую минуту я жду, что ко мне явятся и отнимут мои записки. Добровольно их я не отдам. Забрать их можно только со мной. Если это случится, я перестану завидовать Антигоне.

Встреча в редакции

Антихронологический метод тем хорош, что я могу сейчас, вспомнив Сусанну Мар, рассказать о нашей последней встрече, которая произошла перед Двадцатым съездом, когда стоявшие на высших ступеньках начальники уже знали о предстоящем докладе и у всех кружилась голова у иных от радости, у других со страху... Уже под сурдинку шли реабилитации, и я по настоянию Ахматовой побывала у Суркова. О разговорах с Сурковым и чем они кончились, я расскажу потом, а сейчас только о сцене в приемной Котова, директора Гослитиздата, куда меня направил Сурков.

Я пришла к Котову за работой. Мне много лет мешали защитить диссертацию, что давало хоть каплю денег за каторжный труд, который на меня наваливали в институтах за то, что разрешали мне, подозрительной жене подозрительного мужа, работать наравне с настоящими советскими гражданами. Проталкивал диссертацию Жирмунский в Институте языкознания, где директором сидел В. В. Виноградов. Виноградов только морщился и отворачивался, а не пропускали диссертацию две дамы-кандидатши, Ахманова и Любарская, энергично проводившие антисемитскую политику конца сороковых и начала пятидесятых годов. Жирмунский сказал про них: «Они все время пишут...» Сейчас они, вероятно, работают в том же ведомстве, куда раньше писали, совмещая сие с научными трудами. Ахманова объясняла, что меня нельзя допускать к защите, потому что я была «замужем за проходимцем». Жирмунского поддерживала целая толпа докторов наук (Стеблин-Каменский, Адмони и др.) и академик Шишмарев, но Ахманова с Любарской имели несравненно больше весу и побеждали на всех этапах. Не имея степени, я работала за гроши, то и дело теряя работу во имя бдительности, и ухватилась за предложение взять перевод.

Сурков при мне поговорил по телефону с Котовым. Тот радостно откликнулся и назначил время, когда мне прийти к нему.

Котову доложили о моем приходе. Он выскочил из кабинета с улыбкой — я не привыкла к улыбкам, на меня смотрели, как на змею или парию, потому что я была именно парией, да еще такой, о которых даже не слышали в Индии. Он попросил меня подождать, пока не кончится заседание. Сейчас, сказал он, обсуждается издание полного собрания Достоевского. Котов сказал это с торжеством. Я только ахнула: раз зашел разговор о полном Достоевском, значит, действительно наступила новая эра. Я не сочту, сколько лет он находился под запретом. Исключение делалось для «Преступления и наказания», а «Бесы» вызывали скрежет зубов. У меня всегда в ушах жалоба Достоевского в письме к жене накануне пушкинской речи: «Они пришли руководить меня...» Передовые молодые люди пришли наставить Достоевского на путь истины, он почему-то не внял, за что и расплачивался вплоть до того дня, когда я пришла к Котову.

Мне понравился Котов — он не скрывал радости, что наступили новые времена, признаками которых было и заседание, идущее в его кабинете, и мой приход. Я слышала, что его пытались свалить, припутав к нашумевшему делу Александрова, когда целый ряд крупных чиновников обвинялся в распутном посещении злачных мест. То были представители философии и культуры высокого ранга. В печать попало чуть-чуть или ничего, а слухи передавались веселым шепотом. Я не сомневаюсь, что это была придворная интрига, а к увеселительным домам прикрепляли по рангам, не допуская уравниловки и обезлички. На самотек такое дело бы не пустили. В середине тридцатых годов один приятель рассказал мне, как Фадеев возил его «туда». Шофер, друг и соглядатай начальника, услыхав приказ: «туда», привез их на комфортабельную дачу с полной обслугой и высоким забором. Впрочем, повторяя чужие слова, можно нечаянно оклеветать честных работников: ведь почти непредставимо, чтобы у философов великой эпохи сохранялись обыкновенные человеческие инстинкты.

В приемной Котова постепенно скапливался народ. Уже не хватало стульев. Я стояла справа от входа у стены. Чтобы пойти на прием в московскую редакцию, я долго обдумывала, как бы запрятать прорехи. В результате на голове у меня оказалось нечто вроде шляпы, «шлычка», сказал бы хохол, дай Бог ему здоровья, а на шее кашне, и я остро ощущала их непристойность. Прихорошившаяся нищета комична. Когда сильно перевалит за пятьдесят, пора завести юбку и вязаную кофту, но выкроить такую роскошь на зарплату я не могла. В Чите, где я проработала до этого два года, стояли очереди за хлебом, мыло привозилось из Москвы, а на базаре торговали кониной и верблюжатиной. В столовой в подвале института мне втихаря, чтобы не оскорблять студентов, давали кулечек сахару за пятьдесят чеков на сто стаканов чаю. Деньги уходили на еду и поездки в Москву. Тут уж не до одежды, которая продавалась с рук за невероятные цены. Через несколько лет меня допустили к защите, и я настолько обнаглела, что явилась в неприкрыто нищенском виде и потому чувствовала себя совершенно свободно. А в приемной Котова я выглядела, как «сундучные» ленинградки с кокетливыми детальками туалета и легким запахом нафталина. Кругом топтался по приемной народ не то чтобы сытый, но с нормальной кожей, без синевато-зеленых оттенков, которые я привыкла видеть у своих сослуживцев.

В дверях появилась крошечная, сморщенная Шагинян. Увидав меня, она обомлела: как ей удалось узнать меня, хотя мы не встречались двадцать лет?.. Лет ей тогда было не больше, чем мне сейчас, но деятельная любовь к начальству и забота о народе отложили отпечаток на лице и на всем облике. Ей уступили стул. Она села лицом ко мне и громко спросила: «А вы здесь зачем? Что, вы Мандельштама надеетесь напечатать?» Все головы обернулись в мою сторону, и я не заметила ни одного сочувственного взгляда. На меня смотрели настороженно и с недоумением. Шагинян настойчиво спрашивала, зачем я пришла. Я собралась с духом и сказала, что сейчас пришла по своим делам, но Мандельштама, пусть она не сомневается, обязательно напечатают... Шагинян вдруг всю перекосило: «Откуда это у вас такая уверенность?..»

Должно быть, страшно убедиться в неустойчивости мира, где сумел занять то, что называется положением. Соня Вишневецкая, вдова Вишневского, ныне уже покойная, встретила меня на лестнице писательского дома в Лаврушинском переулке в дни, когда поставили в план «Библиотеки поэта» сборник Мандельштама. Она хорошо ко мне относилась, но у нее буквально подкосились ноги и она чуть не упала, когда я показала ей проспект «Библиотеки». Не растерялся один Федин. Мы столкнулись с ним на той же лестнице на следующий день после заседания в Союзе писателей, где утвердили издание сборника и даже заведомые прохвосты выступали в его защиту. Я спускалась вниз по лестнице и увидела старика, похожего на гриб. Старик обернулся, и вдруг я услыхала: «Здравствуйте, Надежда Яковлевна». По белесым рыбьим глазам я узнала Федина. До этого он четверть века не здоровался со мной, хотя мы часто попадали вместе в лифт, а один раз он остановил Ахматову, когда мы с ней шли вместе по переулку, выходившему в Лаврушинский, и долго с ней разговаривал. Ахматова не назвала меня, чтобы не смущать благородного деятеля литературы, и мне пришлось отойти в сторону и ждать, пока они не кончат разговор. Тогда я поверила, что он попросту не узнал меня. Время было еще сталинское — после войны. И вдруг он узнал меня, когда я стала совершенно неузнаваемой, потому что, занимая высокий пост, научился дипломатическому обхождению и не так остро чувствовал колебания почвы, как прямодушная и темпераментная Шагинян, набросившаяся на меня в приемной Котова...

Я стояла у стены в дурацкой шляпе и кашне и чувствовала, как меня прокалывают взглядами советские писатели и литературоведы, переводчики и критики, пришедшие в свое родное издательство по закономерным и нормальным литературным делам — кто зачем: кто по поводу крохотной редактуры, кто сговориться насчет предисловия к той или иной книге, а кто и предложить собрание своих почтенных сочинений. Среди них, людей с плотью и кровью, я была тенью, призраком, смутным отголоском того, что давно истлело и предано полному забвению. «Был когда-то такой поэт», — как сказала мне ревизорша, присланная некогда из Москвы в Ульяновск со специальным заданием присмотреться к подозрительным лицам на моем факультете и получившая кое-какую информацию от соответствующих товарищей. Инструктируя ревизоршу, ей даже сообщили о «таком поэте», но она, душечка, может, и не знала, что «поэты» пишут стихи. В приемной Котова в особом инструктаже не нуждались, потому что все до единого знали послание Жданова и прекрасное постановление, один из основных литературных документов эпохи. Шагинян отлично изучила этот документ и приезжала разъяснять его в Ташкент, где я тогда работала. На заре нашей жизни у нее была похабная манера целовать руку Ахматовой при встрече. Это приводило Ахматову в исступление, и, завидев за версту Шагинян, она удирала или пряталась в любую подворотню. Сменив поклонение Ахматовой на презрение к «декадентской поэтессе», Шагинян, естественно, не хотела в третий раз поворачиваться на полный оборот и улыбаться акмеистам... Вот почему она так настойчиво допрашивала меня, и я не знала, куда деваться, когда внезапно пришла неожиданная помощь.

В приемной появилась новая посетительница, и я услыхала веселый, наглый голос бывшей «ничевочки»: «Ты не смотри на них, Надя... Осю обязательно напечатают. Не сегодня, так завтра, но он есть и будет... он никуда не денется, и вы, Мариэтта Сергеевна, еще прочитаете его... Вы его, видно, подзабыли, а я помню... Не поддавайся, Надя...»

Это была моя последняя встреча с Сусанной Мар, легкомысленной и дикой, которая не заняла никакого положения в советской литературе и не боялась сотрясения основ вроде напечатания Мандельштама. Она рано умерла и, говорят, писала живые и настоящие стихи. Мне не пришлось сказать ей, как сладко услышать человеческий голос и добрые слова в идеологической передней, где еще висел портрет страшного человека. (Господи, неужели и они люди! Это, наверное, смертный грех так отворачиваться от этих людей, как отворачиваюсь я, и не верить, абсолютно не верить, что они тоже люди.)

События в приемной Котова продолжали разворачиваться. Заседание о Достоевском кончилось, и в кабинет первая по праву почтенной старости вошла Шагинян. Прошло несколько минут, и Котов с хохотом выскочил из кабинета. Он подбежал ко мне и обнял меня. За ним на пороге кабинета появилась Шагинян. Котов громко объяснил: «Мариэтта Сергеевна тоже считает, что вам нужно дать работу. Она говорит, что вы культурнейший человек — вдова Осипа Эмильевича Мандельштама...» Мариэтта, стоя на пороге, повторяла: «Культурнейший человек... Культурнейший человек...» И снова голос Сусанны: «Мариэтта Сергеевна, вы думали, что Надя переменила фамилию и никто не знает, что она вдова Оси?.. Все знают и все помнят Осю...» И Котов весело и громко подтвердил, что все помнят Мандельштама и я пришла, не скрываясь, как его вдова. Он втащил меня в кабинет, усадил в кресло, и целый час я слушала, как он торгуется с Шагинян. Делал он это со вкусом, и мне казалось, что он сознательно пакостит ей за ее мелкий донос, облеченный в форму рекомендации: культура такая прекрасная вещь! Старуха стервенела на глазах — можно ли издеваться над старухами, выторговывая у них большой кусок полистной платы? Мои симпатии были на стороне веселого и красивого Котова, тем более что Шагинян когда-то числилась интеллигенткой и размышляла, как совместить Ленина с христианской душой и гетеанскими устремлениями. Сейчас она козыряла не Гёте, а тем, что ее всегда по первому звонку принимают в Цека и Котова заставят заплатить ей по высшей или сверхвысшей ставке за все сто томов ее партийных книжек. Она перечисляла свои заслуги и почему-то не вспомнила поездки по стране с разъяснением знаменитого постановления. В тот год ей было столько же лет, сколько мне сейчас. Она была полна энергии и с проклятиями выбежала из кабинета, чтобы добиться правды на Старой площади. Я не сомневаюсь, что Котов, торгуясь, не сомневался в том, что Мариэтта добьется своего. Он просто хотел на секунду ущемить ей хвост. Чуть-чуть, немножко свинство, а все-таки мило и смешно...

Котов с большим трудом вырвал для меня перевод. Отдел сопротивлялся изо всех сил, не желая отдавать посторонней, неизвестно откуда возникшей претендентке хороший куш. Когда я сдавала перевод, Котова уже не было в живых. Люди, пережившие великую эпоху и сохранившие человеческие черты, пачками умирали от инсультов и инфарктов. Я лишилась защитника, и с меня потребовали, чтобы я отдала половину гонорара редакторше. Взятки я не дала и сообщила о вымогательстве новому директору. На этом моя переводческая деятельность кончилась.

Шагинян оказалась права, и Мандельштама не напечатали. Ее реакция на мое появление в кабинете Котова служит отличным объяснением, почему в этой стране не печатают Мандельштама.

Шагинян и сейчас продолжает плодотворную деятельность. При разборе дел всяких «подписантов» она сует слуховую трубку им в лицо, чтобы не упустить ни слова. Пусть живет хоть до ста лет вместе с Фединым и присными. Мне от этого не холодно и не жарко. А Котова и Сусанну Мар я вспоминаю с благодарностью и любовью. Первые ласточки, которые только взмахнули крыльями, как их охватил могильный холод и они замерзли. За Сусанну, Ивана Аксенова и Котова «я в ночи советской помолюсь». Мне никто не давал права судить людей, но у меня нет слов, чтобы молиться о тех, других, убивших в себе человека. Мой грех, я знаю...

Память

Я читала у Сергея Трубецкого, что чудеса убеждают только тех, кто уже верует. Человек, лишенный веры, не обретет ее, увидев чудо. Я не знаю, к кому причислить себя, потому что, принадлежа к пустому веку, то обретаю, то теряю веру. Я видела, Боже, чудеса, но нужны глаза, чтобы их увидеть, а зрение у меня слабое, и то и дело свет меркнет в моих глазах. А может, мне чудеса не нужны по другой причине: зачем мне частное чудо — исцеление, например, — когда все, что меня окружает, само по себе является непостижимым чудом, — этот мир, все живое, а главное, человек и его сознание. Мне кажется, нет большего чуда, чем время с его необратимостью и производное от времени — память. Они нам даны, и вопрос не в том, кем даны, а зачем мы получили этот таинственный дар. Ведь память превращает необратимое время в наш внутренний мир. Вспоминая, мы снова переживаем события, но уже не способны внести никаких изменений в их неотвратимый ход. В этом наше счастье. Юность сильна беспечной слепотой. Как исказили бы мы нормальный ход событий, если б в зрелые годы или в старости стали исправлять свои юношеские поступки... Так поэты в старости часто исправляют юношеские стихи. С новых позиций, одаренные иным зрением и чувствами, они кромсают ощущения молодости, и в результате получаются не целостные стихи, а гибриды, курьезы, сращения из несовместимых материалов... Этим грешил в старости Пастернак, а иногда такой перестройкой занимаются и не старики. Мандельштам рассказывал, как однажды застал Блока за нелепым занятием: он перекраивал одно из лучших стихотворений: «О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе...»

Стихи — куда ни шло. Будущий издатель, если он не полный идиот, что все-таки иногда случается, волен выбрать любой вариант. А что произошло бы, если б мы могли возвращать события и по-новому их перекраивать... Мне страшно думать, как я растоптала бы свою жизнь, если б с грозной логикой зрелости или старческим ясновиденьем, все уже понимая и зная, снова очутилась с глазу на глаз с Мандельштамом во время наших нелепых ссор и бурных объяснений... Какое счастье, что память возвращает нам прошлое не для того, чтобы переделать его, а лишь затем, чтобы осмыслить, оплакать и понять. Мы в ответе за все — за каждый поступок и за каждое слово, и память предлагает нам обдумать, зачем мы жили, что мы сделали со своей жизнью, было ли у нас назначение и выполнили ли мы его, есть ли целостный смысл в нашей жизни или она состоит из нагромождения случайностей и нелепостей.

Мы в ответе за все, но есть много способов уклониться от ответа. Первый — не вспоминать: «Между помнить и вспомнить, други, расстояние, как от Луги до страны атласных баут...» Сама Ахматова в двух стихотворениях «Подвал памяти» и «Три эпохи воспоминаний» — хотела говорить о памяти, но дала анализ забвения. Она рассказала о том, что «в прошлое давно пути закрыты, и на что мне прошлое теперь? Что там? Окровавленные плиты или замурованная дверь, или эхо, что еще не может замолчать, хотя я так прошу?» Здесь мольба о забвении, которому еще мешает эхо, а во втором стихотворении — рассказ о том, как блекнет, исчезая, воспоминание, а это не что иное, как анализ забвения. Эхо сохранилось от жестоких и кровавых событий нашей жизни, от которых на старости она пыталась отдышаться и отдохнуть. Гаснущее воспоминание остается оттого, что почти случайно мелькнуло на нашем пути, неизвестно почему вторглось в нашу жизнь. Если перевести это на знакомый язык любовных переживаний, забвение поглощает то, что принято называть «романом», а к главным линиям жизни оно, забвение, подступиться не может. Они никогда не канут в пропасть забвения. «Так всегда бывает с романом, — сказала по какому-то случаю Ахматова. — Пока он идет, кажется, без него нельзя жить, а потом ничего не остается — одна пыль...» Пыль и не надо ворошить, но люди любят в ней копаться, чтобы найти случайные блестки. Гораздо приятнее выискивать случайные блестки, чем разматывать основной клубок событий, в котором никакой фольги и случайных блесток нет. Мишура и мираж служат, чтобы маскировать живую жизнь и боль и — не дай Бог! — не взглянуть правде в глаза. Пересматривая свою жизнь, я постараюсь отказаться от всех случайных блесток, потому что «чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа». Я хочу говорить правду, только правду, но всю правду не скажу. Последняя правда останется со мной — никому, кроме меня, она не нужна. Думаю, что даже на исповеди до этой последней правды не доходит никто.

Первый способ уклониться от ответа — не вспоминать. Второй и наиболее распространенный способ заглушать голос памяти состоит в том, чтобы придавать воспоминаниям красивую обтекаемую форму. Иначе говоря, обманывать себя, подменяя действительное желаемым, а это, конечно, легче делать с прошлым, чем с текущей жизнью. Такова одна из самых характерных человеческих слабостей, лучший способ самоутешения — подрисовать прошлое, чтобы оно выглядело умилительным и нежным. Эту операцию производят с каждой отдельной жизнью и с общенародным прошлым. История, как известно, фальсифицируется на глазах, и старшие поколения, пользуясь равнодушием младших, ловко втирают им очки. Одно и то же событие, поднесенное с разных точек зрения, выглядит совсем по-иному. Примером может служить приведенное мной воспоминание о погроме, учиненном в церкви, и рассказ о тех же событиях, напечатанный в одном из толстых журналов. Мемуаристка — активный участник событий, я — случайная свидетельница. Мы, быть может, стояли в одной церкви, но увидели разное. Как лицо заинтересованное, она не хочет подумать о том, куда девались деньги, вырученные за награбленные сокровища, а понятие «святотатство» у нее начисто отсутствует. Она не хочет видеть прошлого, как Шагинян после своих докладов не захотела видеть меня в издательстве. Эти активистки, но есть толпы добродушных пенкоснимателей, которым обидным показалось то, что я сказала в первой книге про двадцатые и начало тридцатых годов. По их мнению, я проявила бы объективность, рассказав про Папанина, Мейерхольда, футбольные матчи, цветные майки, парады, великий подъем литературы — кому Шолохов, кому Олеша и Маршак и еще невесть что рабфаки, вузы, легкую кавалерию и глубоко демократические игры счастливого народа... Взглянуть правде в глаза трудно, а тем более участникам событий и добродушным свидетелям, которым тоже перепадают крохи с господского стола. Я выяснила одно — надо беречься любителей «искусств» и «культуры». Это страшные источники обмана, если нет острого глаза, который видит, на какой идее строятся искусство и культура, и этим определяет свое к ним отношение. Все виды авангардизма, прославляющие гимнастический шаг, оплеуху, кулак, «красивого» и молодого, силу, быстроту, толпы, вопящие по указке вождя, гряду гордых голов и барабан, будь он сердцем или просто пионерской игрушкой, классовый и национальный подход, могучую Италию, Германию, родину с грибами и обрядами, — все это тоже кажется современникам «искусством» и «культурой», хотя мы уже знаем, к чему они приводят. Люди медленно и упорно фальсифицируют деталь за деталью, частность за частностью, а собранные вместе, они составляют ткань истории. Пройдет еще полстолетия, и разобраться в этих авгиевых конюшнях не сможет никто.

Иногда фальсификация бывает сознательной, иногда к ней приводит другая точка отсчета. Вот крохотный пример: при мне восхваляли доблести Лебедева-Полянского, главного цензора двадцатых годов. Я рассказала, как Мандельштам со мной ходил к нему, пробуя отстоять снятое цензурой стихотворение. Их было много, и я не помню, о котором шла речь. Цензора переубедить не удалось, а речь шла о «Второй книге» или о госиздатном «Камне». Разговор был очень неприятный, а когда мы выходили, в спину нам Лебедев-Полянский произнес несколько угрожающих слов. Он как будто обращался к другому чиновнику, сидевшему за соседним столом, но говорил громко и отчетливо, чтобы услышал Мандельштам. Текстуально его слов я не помню, но смысл врезался мне в память: этот тип (то есть Мандельштам) чуждый и подозрительный, ведет себя вызывающе, надо его проверить... Таков был способ «предупреждения», то есть запугивания, в те благословенные годы... Мои собеседники возмутились и стали убеждать меня, что я все перепутала: Лебедев-Полянский — деликатнейший человек, тончайший человек, ценитель и любитель литературы, искусства, всего прекрасного и «культурного», он бы себе никогда ничего подобного не позволил... Для моих собеседников двадцатые годы — эпоха расцвета. Женщина — то были муж и жена — дочь победителей и никогда не забудет радости победы. В тридцать седьмом году ее круг был разгромлен, и она кое-что поняла. Муж промышлял в кино и в печати и не заметил даже тридцать седьмого года. Он очнулся только во время кампании против космополитов, когда получил легкий щелчок по носу. Для них Лебедев-Полянский милейший человек, а не цензор, уничтожавший остатки литературы и гражданственности. Им и мне он виден с разных ракурсов, как и все наше прошлое. Сейчас эти двое занимают то, что у нас называется «либеральной позицией», но в потоке их речей есть прожилки и вкрапины других геологических эпох. Особенно сверкают сомнительные блестки двадцатых годов, когда так здорово умели отбрить хилых и сомневающихся. Своего прошлого они не удосужились пересмотреть, а услужливая память подтачивает углы и окрашивает всякое воспоминание в нужные эмоциональные тона.

Однажды ко мне зашел старик, который добрых двадцать лет проваландался по лагерям и ссылкам, но всегда хранил верность победителям и свой партийный билет прятал в душе, поскольку книжечку у него отобрали при аресте. Шло дело Синявского, и я спросила, что он об этом думает. Старик вскипел свеженьким и булькающим негодованием: Синявский «спрятался под псевдонимом»... «То ли дело мы, большевики, — сказал он, — мы смело выходили на трибуну и говорили все, что думаем...» Я посмеялась над ним: а вы, часом, не врали? Я, например, всегда врала. На трибуну я, разумеется, не вылезала, но врала и скрывала свои мысли каждый день и каждый час в классе, в аудитории, дома, на кухне... Как могла я не врать? Одно правдивое слово — и тогда и сейчас — десять лет каторги... А ведь старик действительно не врал: с трибуны он «клеймил врагов народа» и отрекался от арестованных друзей, но делал это вполне искренно. Он ненавидел всех, кому не повезло, а когда сам попал в число отверженных, утешал себя тем, что это ошибка. Свой арест он считал чем-то вроде издержек производства. Он действовал вполне искренно — вот она, цена искренности. Старик не просто идиот, но продукт времени: те основные идеи, которые легли в основу его существа (чтобы не сказать — личности), исказили его представления, и соответственно — память дает искаженный продукт и ложную оценку событиям и поступкам.

Мне пришлось прочесть честные мемуары активного деятеля двадцатых годов, на секунду поддержавшего «левый уклон», а потом раскаявшегося и все же прошедшего через все ссылки и лагеря. «Помни, что ты ленинградский комсомолец», — сказала ему жена. Он это помнил всегда. Я бы издала эту книгу миллионным тиражом, чтобы идиоты поняли сущность времени. Обида комсомольца в том, что чекисты, его братья по духу, не смели говорить с ним по душам и употребили несколько штучек, предназначенных не для друзей, а для врагов. В ссылке он смело топчет тех, кто не раскаялся. Специалист по «учебе», он в одну ночь постигает неизвестную ему инженерную область (он успел кончить политехнический в ускоренно-комсомольском порядке), а наутро руководит инженерами и мастерами, оглушая их своими знаниями. Раскулаченные девки умильно работают у него на производстве, потому что он создан, чтобы руководить и возглавлять. Ветхий котел не смеет взорваться, а лучшая из девок обслуживает его постельные потребности, пока не возвращается любимая жена. Именно она, не читая, подписала нечто, из-за чего его увезут из ссылки в лагерь. Она остается любимой и высокочтимой, потому что поставила свою подпись неспроста: ей сказали, что это нужно партии. Реабилитированный, он живет в Москве, пишет мемуары и верит в высокие идеи двадцатых годов. Он читал Жарова, Кирсанова и Маяковского, чтил культуру и новую жизнь. Я слышу стук костяшек во дворе — это он играет в домино и рассказывает повесть своей жизни и верности жене, идеям и генеральной линии...

Мне пришлось еще прочесть потаенную прозу одной умнейшей женщины, где она со свойственной ей нудной последовательностью доказывает, что любой негодяй, делая подлость, считает, что поступает правильно, и основывает свое поведение на высоких принципах. Он с глубоким удовлетворением вспоминает, как писал доносы, и вздыхает по прошлой эпохе. Историк получит груду материалов и постарается на их основе создать «объективную картину времени», причем в отборе материалов и в их трактовке решающую роль будет играть та идея, которую он будет отстаивать. Я предчувствую, например, исторический экскурс о том, какую роль сыграли события на нашей земле для рабочего движения Франции, Италии и еще какой-нибудь прогрессивной страны вроде Парагвая, Уругвая или озера Чад... Я недавно похвасталась, что не вмешивалась в мужские разговоры. Это так, но раз я вмешалась. Такое случалось редко, поэтому мне запомнилось. На Морской в Ленинграде ранней осенью, вскоре после нашего переезда, у нас появился Пастернак. Он разговаривал с Мандельштамом, стоя у окна в маленькой комнате, а я сидела тут же на диване. Это было время «Спекторского», отрывок которого он вскоре прислал Мандельштаму, успеха «Высокой болезни» (какое начало!), «1905» и даже «Лейтенанта Шмидта». Пастернак, со свойственной ему прикрытостью мысли за иллюстрацией и образом, говорил о вещах простых, но для жизни существенных: то, что пришло, будет всегда, народ с этим, мы в этом — и другого нет, потому что каждый рабочий... Я вдруг подняла голову и сказала: «Единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением». Откуда это у меня взялось и как сформировалось, я не знаю, но вдруг я что-то поняла, когда в речах Пастернака начал мелькать «рабочий». Пастернак вздрогнул, как мне показалось от отвращения, и спросил Мандельштама: «Что она там говорит?» Я точно помню, что он сказал обо мне в третьем лице. Мандельштам усмехнулся — довольно добродушно — и объяснил: она сказала, как настоящая меньшевичка... Я не была меньшевичкой, никогда с ними не общалась, газет не читала и свой выпад ничем поддержать бы не могла. Я только помню жест Пастернака, местоимение третьего лица, и мне кажется, именно с тех пор он всегда настороженно и с неприязнью относился ко мне, хотя больше я ничего на людях не изрекала...

Сглаживающие, приукрашающие, искажающие свойства памяти, коллективной, то есть исторической, и личной, особенно бросаются в глаза в эпохи, когда рушатся устои, на которых держалось общество. Основные болезни памяти самооправдание, украшательство и забвение «лишнего» — напоминают о том, что нельзя доверяться чувству собственной правоты, которое зависит от критерия, сплошь и рядом ложного, и вся задача в том, как найти истинный критерий. Память искажает наши воспоминания, не дает нам осознать исторический и личный опыт, но вместе с тем она-то и делает человека человеком. Как пробиться сквозь все трудности к чистому источнику, чтобы перестать обманывать себя и людей и сделать нужные выводы из горького опыта? Мы все участники разрушительной работы, и если она будет доведена до логического конца, то и впрямь...

Я тоже участвовала в разрушительной работе, ломала устои, на которых держалась жизнь, и по мере сил способствовала, чтобы наступил распад и то, что происходит сегодня и чего все так испугались. Мое участие в разрушении и распаде не так уж велико, но я несу за него полную ответственность, может, большую, чем те, кто разрушал бессознательно и потому не подбирал самооправданий. Взять хотя бы частный вопрос: мне претила ложь и скука старой семьи, и я участвовала в ее разрушении. Выход я нашла в свободном союзе. Случайно мой опыт удался, но все всегда висело на волоске. Возможно, удача объясняется тем, что наш союз длился один миг — каких-то десятка два лет, а скорее тем, что Мандельштам, систематически взрывавший всякую тень устойчивости и благополучия, не допускавший домостроительства, сознательно пошедший на нищету и гибель, берег нашу связь и не давал ей развалиться. Он был сильнее меня и всегда брал верх, но все же не что иное, как случайность связала наши судьбы и не позволила нам убить друг друга. Теперь я знаю, как называют эту случайность и как она сочетается с безмерной свободой, данной человеку. Но пока мы были вдвоем, у нас не было секунды, чтобы остановиться и подумать, что мы делаем и каковы будут последствия нашего идиотизма. Все мы — дети своей эпохи и несем на себе ее клеймо. Опыт нигилистической эпохи особенно важен, и его необходимо осознать, потому что нигилизм ведет к разрушению жизни. Он проявлялся в каждой отдельной судьбе и в жизни народов и человечества в целом. Мы уничтожили институты, которые создавались веками и скрепляли общность людей, и ничего не дали взамен. Единственное, в чем наша заслуга, это в опытном доказательстве того, что все наши выдумки и изобретенья — мусор и тлен, если угасла память и забыт светоч, «завещанный от предков».

Утрата памяти, честной, неискаженной, равносильна потере реальности. Настоящее теряет значение, раз факты поддаются обработке и могут быть поднесены себе и другим в любом виде (вроде «правды», которую мой большевик говорил с трибуны). Века просвещения исподволь раскачали веру и с ней, как неизбежное следствие, чувство ответственности человека за свои поступки. Пока существовал институт исповеди и каждый, исповедуясь, отвечал перед Высшим Судьей за все совершенное им, он не смел забывать того, что было вчера, и неделю, и год назад. Исповедь пробуждала память и заставляла человека пересматривать свои поступки «в свете совести», как сказала бы Марина Цветаева. Для этого, конечно, надо иметь совесть, но у подавляющего большинства она сохранялась даже в самые черные дни, хотя и приглушенная «ревом событий». Она существовала в сморщенном и жалком виде, потому что человек никому не доверял, старался держаться в стороне от всех и быть одиночкой. Совесть и чувство греховности ослабевают, когда человек остается один — без слова «мы». Не всякий обладает силой, чтобы сказать: «И с отвращением читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю». Ради самоутешения мой современник обязательно сотрет или причешет свои «печальные строки»... А скорее всего, он даже не догадается, что в них заключена печаль.

Это относится к обыкновенному человеку, а не к развратителю и не к преступнику, ко мне, грешной и мерзкой, как все мои современники, а не к проповедникам «научного мировоззрения», допускающего «ради пользы дела» любые действия и любые поступки, лишь бы достигнуть сегодняшней цели. (Мы уже знаем, что многократно достигавшаяся «сегодняшняя цель» уничтожает страну и превращает людей в мертвые тени.) Они, развратники, живут по особым законам, которые сами для себя придумали. Я и мне подобные, то есть развращенные, все же нуждаемся в самооправдании, потому что не совсем утратили совесть, хотя и глушим голос памяти. Много ли среди нас настоящих людей, способных на покаяние? Много ли среди нас людей, способных назвать подлинный грех эпохи, истинный критерий добра и зла, заставить память заговорить во весь голос и призвать себя и всех к покаянию? Мы, хилые и стыдливые, прячемся по углам и вполголоса что-то бормочем.

Нужно «побороть забвение хотя бы ценой смерти», иначе жизнь превратится в пляску фосфорических букашек, о которой в Сухуме задумался Мандельштам. Только букашки не способны на преступление, чтобы обеспечить себе пространство для пляски, и не завели «научного мировоззрения», позволяющего им уничтожать себе подобных.

Перебирая прошлое, человек остается наедине с собою, словно готовится к исповеди. Трудно понять свой собственный опыт, найти в нем смысл, ошибки и отклонения от прямого пути. Чужой опыт тоже вряд ли научит кого-нибудь находить путь в жизни: «и каждый совершит душою, как ласточка перед грозою, неописуемый полет...» Литература, казалось бы, отражает опыт писателя, его поиски пути и правды, но, к несчастью, подлинные книги единичны, а весь мутный поток не что иное, как фальсификат, сработанный в угоду читателю или начальству. В самых подлинных книгах отпечатались облик автора и безумные теории, которыми он себя утешал и лелеял. Очевидно, читать надо, как Мандельштам: брать лучшее и забывать провалы и лжеучения. Я не говорю о советской литературе, «запроданной рябому черту на три поколения вперед», а о том, что «писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и, в особенности, в России», претендующее на учительскую роль, ведет либо на край бездны, либо просто в помойную яму. Чиста только поэзия, пока в нее не прорывается литература, чтобы прокричать о человеконенавистничестве и самоутверждении.

Страшно думать, что история, становясь книгой, соприкасается с литературой и болеет теми же пороками. И еще страшнее сознавать, что коллективная память народов, та же история, никогда не служит потомкам предостережением, чтобы они заново не совершили ошибок и преступлений предков, осовременив их, покрыв новой фольгой и свежей аргументацией. Казалось бы, надо только научиться читать историю и делать из нее выводы, но это суровое мистериальное действие нелегко поддается раскрытию, не говоря уж о сознательных и невольных искажениях. Между тем в истории заложено то, что называется знамением, и, будь мы зрячими, мы бы его увидали. Не пора ли задуматься, почему девятнадцатый век, прославивший гуманизм, свободу и права человека, перешел в двадцатый, который не только превзошел преступлениями против человека все предыдущие эпохи, но успел заготовить средства для уничтожения жизни на земле.

В наш век поборники и яростные защитники разума оказались распространителями массового гипноза и в своих действиях меньше всего руководились разумом. Люди, которые славили реализм и требовали борьбы с предрассудками, с необычайной быстротой потеряли чувство реальности и смертельно боятся фактов. У нас убивали за знание одного-двух фактиков и уничтожали людей за то, что они не отказались от чувства реальности.

Проливая кровь, мы твердили, что это делается для счастья людей. В счастье поверил даже наивный Пастернак, но он не полностью утратил чувство реальности, и потому ему захотелось счастья не только сотням тысяч, но и просто человеку. Зато нашелся умник, который изрек: «Человек создан для счастья, как птица для полета...» Одурманенные толпы на все лады твердили слово «счастье» и до сих пор не могут опомниться от неисчислимых несчастий. Великая эпоха кончилась, и сейчас мотылек среднего калибра с докторской или кандидатской зарплатой уже стесняется произносить слово «счастье». Он заменил его более скромным: «удовольствие»... В нашей темной и страшной жизни всегда стоит очередь за каплей забвения, и во всем мире гоняются за удовольствиями. Насытившись мельчайшими удовольствиями, человек обижается, когда подходит смерть, и не успевает оглянуться ни на свою жизнь, ни на судьбу поколения.

Мало кто хочет прочесть опыт собственной жизни, но еще меньше людей готовы подумать о том отрезке времени, в котором они жили, действовали и гонялись за удовольствиями. Большинство только отмахивается и покрывает молчаливым согласием все преступления эпохи, другие торопятся оправдать прошлое. Уже кто-то в стишках оповестил мир о том, что его поколение оплакало свои ошибки и заплатило по всем счетам. Журнальный поэт отпустил себе и прямым убийцам все грехи, хотя убийцы и не думали каяться, а счета еще не предъявлены и приняты меры, чтобы никто их не смел предъявить. В лагерях хватит места для любых крикунов. Я слежу за судьбой человека, который осмелился довольно громко заговорить. Его пока не убили, даже машина не переехала его. Видно, стало труднее расправляться с ослушниками, а раньше была лафа. Действовали втихаря под молчаливое одобрение огромных масс. Когда уничтожили Мандельштама, ни один арагончик даже не пискнул, а приезжие из Москвы смело с трибуны говорили, что перед отъездом разговаривали с Иваном, Петром или Абрамом, которого, как они великолепно знали, только что «пустили в расход» в казематах столицы. Похоже, что люди усомнились в праве сильного уничтожать беззащитных, и это единственный добрый знак, который я заметила. Цена человеческой жизни чуть-чуть поднялась. Тайное стало явным, хотя большинство закрывает глаза. Все же память не полностью стерта. Единицы на миллионы очнулись и спрашивают, что же в действительности происходило и как мы допустили кровавую баню. Быть может, начался новый день, но еще неизвестно, сколько он будет длиться.

Мандельштам точно сказал: «Мы живем, под собою не чуя страны». Так продолжается и по нынешний день. Мы совершенно не знаем друг друга, разобщены, больны, усталы... Среди нас есть поборники старого — убийцы, искатели мелких удовольствий, сторонники «сильной власти», которая уничтожает все, что ей мешает. И еще есть огромные, мрачные толпы сонных и неизвестно о чем думающих людей. Что они помнят, что они знают, на что их можно толкнуть? Успеют ли они очнуться или, погрузившись в полную спячку, позволят уничтожить все живые ростки, которые пробились за последние несколько лет?

Страна, в которой истребляли друг друга в течение полувека, боится вспоминать прошлое. Что ждет страну с больной памятью? Чего стоит человек, если у него нет памяти?

Страх

Кто мы такие, чтобы с нас спрашивать? Мы просто щепки, и нас несет бурный, почти бешеный поток истории... Среди щепок есть удачливые, которые умеют лавировать — то ли найти причал, то ли вырваться в главное течение, избежав водоворотов. Как кому повезет... А что поток уносит нас черт знает куда, в этом мы неповинны: разве мы полезли в него по своей воле?

Все это так, и все это не так... У человеческой щепки, даже самой заурядной, есть таинственная способность направлять поток. Щепка сама захотела плыть по течению и лишь слегка обижалась, когда попадала в водоворот. Каждый из нас в какой-то степени участвовал в том, что произошло, и открещиваться от ответственности не стоит. Мы были абсолютно бессильны, но при этом легко сдавались, потому что не знали, что нужно защищать. Роковыми были двадцатые годы, когда люди не только осознали свою беспомощность, но еще превознесли ее и объявили устаревшим, смешным, нелепым всякое интеллектуальное, нравственное, духовное сопротивление. Оно стало признаком отсталости — нельзя сопротивляться неизбежному: исторический процесс детерминирован, как и состояние общества. Всякий член общества представляет собой единицу, щепку, каплю в бесконечном множестве таких же капель, создающих коллективное сознание. В двадцатом веке открыли коллективное сознание, снабдили его чем-то вроде кристалликов, нейтральных к добру и злу, и предложили куче клеток, организованных в человеческое общество, плыть в общем потоке, вслед за победителем. Победителем является тот, кто уловил общие тенденции истории и сумел их использовать. Как известно, наши хозяева умели предсказывать будущее, пользуясь не кофейной гущей, а научными методами, а также действительно действенным методом устрашения и расправы не над виновными или сопротивляющимися, а над кем попало, чтобы другим было неповадно. Для этого надо было воспитать толпу, чтобы она покорно шла за победителем и верила, что он-то знает, куда движется исторический поток, и умеет им управлять. Толпа шла и верила, валила валом, а если кто кобенился, его клеймили за анархизм, жалкий индивидуализм и невежество, которое мешало ему понять законы исторического развития. Нам, жителям надстройки, полагалось не слишком топать ногами, чтобы не мешать шумом правильному развитию базиса. Лучшие из жителей надстройки приглашались к строителям базиса для агитации и пропаганды.

Поколения, возмужавшие перед войнами, мировыми и гражданскими, были психологически подготовлены к пониманию истории как целеустремленного потока человеческих масс, которые управляются теми, кто знает, где цель. Базис интересовал их только потому, что им всегда не хватало еды и вещей кроватей, кастрюль, ситца и шелка, производимых на фабриках и заводах. Сравнивая исторический процесс с рекой, несущей плавучий мусор, я подчеркиваю чувство стихийности и полной беспомощности, которое возникало у каждого человека, втянутого в события. В бурные периоды уклониться от участия в событиях очень трудно, почти невозможно. Люди с военным опытом принесли в мирную жизнь двадцатых и тридцатых годов теорию не реки, а управляемого движения — она напоминала им строевую службу и скорее маневры, чем военные действия, поскольку никакой враг не стрелял по их рядам, а сами они по приглашению водителей и по собственной инициативе систематически уничтожали тех, кто, по их мнению, мог выбиться из строя и нарушить порядок. В целесообразности этого занятия они не сомневались. Лишь в конце тридцатых годов кое-кто почуял, что количество жертв слишком велико. Огромное большинство не поделилось своими наблюдениями даже с женой, а детей, как правило, держали в полном неведении. Испугавшись, они стали еще старательнее и писали в газеты статьи и заявления с поношением погибших, чтобы потом погибнуть самим. Страшно перелистывать газеты, где перед гибелью человек изо всех сил проклинает тех, кто уже успел погибнуть. В том, что перед арестом им давали возможность опозориться, восхвалив террор, был какой-то изощренно дьявольский замысел.

Приняв строевую аналогию, действующее поколение отказалось от таинственного дара щепки направлять поток, а вся европейская культура строилась именно на этом сознании. Его источник — христианское учение о самоценности личности. Человек в строю не личность, а единица. Мысли строевой единицы никакой роли не играют, ее мировоззрение не интересует никого — кто заглядывает в душу «пушечному мясу»? Отличиться в строю можно только походкой и повадкой. Мы когда-то с Мандельштамом увидели на Красной площади милиционера, который палочкой регулировал движение. Он так выкидывал руку, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, что казалось, он выполняет соло в каком-то механизированном балете. «Он сошел с ума», сказал Мандельштам, и мы несколько минут стояли, в ужасе наблюдая за вдохновенной точностью его движений. Это была строевая единица, которая, очутившись на индивидуальном посту, решила продемонстрировать блеск своих движений, их непереносимую отработанность.

Во всех областях внимание перенеслось с мысли на стиль и приемы. Когда-нибудь подсчитают, сколько статей написано о стиле руководства, не говоря уже о стиле писателей, о литературных приемах и о языке. Писатели мечтали выучить наизусть словарь Даля, а, кстати, издать специальные словари по всем отраслям жизни, чтобы пишущий мог черпать оттуда золотой запас, щеголяя литературной походкой и повадкой. В литературе и в живописи попискивали о праве художника на эксперимент, о мысли не заикнулся никто. Добровольный отказ от мысли датируется двадцатыми годами. Что, собственно, было отстаивать? Мысль зашла в тупик еще в десятых годах. Мыслители, охваченные ужасом в предчувствии катастрофы, искали выхода и предлагали тысячи негодных рецептов — от культа женщины до культа семьи, до превращения людей с высшим образованием в язычников, буддистов, теософов или козлов с позолоченными рожками... Зачахнувшая мысль могла возродиться только после кризиса тяжкой болезни, диагноз которой еще не поставлен. Чтобы поставить диагноз, надо подвести итоги полувекового опыта. В этом состоит основная и первая задача. Если она будет правильно решена и жизнь на земле сохранится, есть надежда на возрождение мысли. Пока не осмыслено прошлое, никаких надежд питать не следует. Они не оправдаются.

На подступах к тридцать седьмому году Мандельштам написал стихотворение: «неначатой стены мерещатся зубцы, а с пенных лестниц падают солдаты султанов мнительных, разбрызганы, разъяты, и яд разносят хладные скопцы...» «Неначатая стена» свидетельствует, что он сознавал эфемерность всяких целей. В самом начале тридцатых годов он как-то сказал: «Почему мы должны умиляться пятилеткам? Если б кто-нибудь из знакомых вдруг взбесился и стал отказывать себе во всем, украшая квартиру, скупая пишущие машинки и унитазы, мы бы на него наплевали... Целый народ не живет, а только выполняет планы. В этом есть что-то подозрительное...» Чем лучше выполнялись планы, тем хуже жилось: зубцы уже виднелись, а стены-то не было. Слово «солдаты» в этих стихах показывает, что именно строевая, псевдовоенная аналогия навязла в те годы в зубах. Это подтверждается словарем наших газет и постановлений, так как в них пестрят военностроевые понятия. Внимание Мандельштама сосредоточено на жертвах «мнительных султанов» и на их невыносимой разобщенности. Они уподоблены каплям, на которые разбивается вал: «разбрызганы, разъяты»...

Капли, щепки, солдаты или единицы — мы были действительно «разбрызганы и разъяты» и мучительно переживали свою отьединенность, оторванность от себе подобных. Мы вступали только в механические соединения: жильцы коммунальной квартиры, «последний» или «крайний» в очереди, член профсоюза, который существовал для дополнительного надзора и воспитания, единица в штатном расписании. У меня был приятель в Ташкенте — языковед, которого тошнило от Марра и Мещанинова, как биологов от Лысенки. (Какие-то болваны хотят воскресить Марра — пусть прочтут его обращение чуть ли не восемнадцатого года к ученым, в котором он предлагает немедленно заняться подлинной наукой, основанной на переходе количества в качество и на настоящем материализме.) Языковед был вполне хорошим и даже чуточку думающим человеком. Пересидев войну в Ташкенте, он решил вернуться в родные края и договорился для себя и жены о работе в одном из областных институтов. Семья уехала, а его не отпускали, потому что искали, кем заменить. Соглашались при этом только на доцента или кандидата, чтобы не портить штатного расписания. У нас, как во всяком милитаризованном обществе, превыше всего ценят звания. Несчастных рядовых преподавателей, которые изнемогают от диких нагрузок, непрерывно понукают, чтобы они не просто учились и расширяли свои скудные знания, но обязательно «защищали», то есть зарабатывали официальные звания.

Мой языковед добивался освобождения у дипломированной деканши, эдакой сучьей Венеры лет под пятьдесят. Женщины на приличных административных должностях еще гнуснее мужчин. Она продержала его весь первый семестр, а в конце декабря он в полном бешенстве предупредил, что на второй семестр не останется, и перечислил несколько человек, которые могли бы дочитать его курсы. «Что вы мне рассказываете про людей, — возмутилась деканша, — мне нужна подходящая единица...»

Он с негодованием рассказал про идиотизм деканши на встрече Нового, сорок седьмого года. Встречал он Новый год у нашей общей приятельницы Алисы Усовой. Алиса, великий знаток простонародного московского говора, покрыла деканшу как следует и послала ее куда следует. Я долго потом мучилась мыслью, что, не поленись я пойти на встречу, мне бы открылось, что он задумал, и я бы смогла его остановить. Мы ведь всегда укоряем себя, когда необратимое уже совершилось.

Под утро все разошлись по домам. Днем к нему несколько раз стучались, но он не откликался. Наконец взломали дверь — он висел на крюке. На столе лежала записка, что он не желает быть единицей. Когда жена приехала на похороны, записка неизвестно куда исчезла, а деканша или парторг сообщили рыдающей женщине, что муж в ее отсутствие путался с кем попало и заразился сифилисом. Жена сначала взвыла от гнева на покойника, но быстро сообразила, в чем дело: это была обычная официальная ложь, прикрывающая самоубийство. Самоубийца приравнивался к дезертиру. Допустить, чтобы в прекрасной армии строителей социализма бывали случаи дезертирства, мы не могли. Сифилис родимое пятно капитализма, и на него списывались дезертиры. Иначе кому-нибудь могло бы прийти в голову, что человека довели до самоубийства ошибками в стиле руководства. За такую мысль, то есть клевету, можно было угодить в лагерь.

Самоубийца-языковед — единственная взбунтовавшаяся единица на моей памяти. «Он из крестьян, — сказала Усова, — крестьяне не выдерживают». Дико подумать, что только сто с лишним лет назад они еще были крепостными. Теперь, когда я знаю, что полстолетия — это просто один растянутый и страшный миг, мне ясно, что воля длилась слишком мало, чтобы крестьянин окреп и стал выносливым. Но я верю Пушкину, что крестьянин даже при крепостном праве сохранял достоинство и личность. Развращены были, вероятно, дворовые, и не следует путать эти две формы крепостной зависимости. Мне хочется думать, что негодяи, убийцы и чиновники ведут начало от дворовых, а не от настоящих крестьян. Но это моя блажь: дворовых было слишком мало, чтобы породить всю нынешнюю нечисть.

Единицы не бунтовали — они служили. Я, например, утешалась мыслью, что можно покончить с собой, если меня окончательно выкинут из единиц и мне придется есть хлеб из чьих-нибудь милостивых рук. Страх остаться без работы всегда трясет людей самого лучшего происхождения, а о тех, у кого есть изъяны в биографии, и говорить нечего. Недавно меня навестила бывшая сослуживица, вдова несчастного скрипача, который спасся от повторного ареста, переезжая из города в город (все городишки были районными — и по возможности не центрами), и перед смертью в начале новой эры получил чистенький паспорт. Милиционер пришел к нему домой, вручил драгоценную книжку и поздравил счастливца. «Слишком поздно», — сказал умирающий скрипач. Вдова скрипача с детства получала все горести полной мерой. Она дочь священника, и в ее комнате и сейчас стоит киот, из которого давным-давно выбросили все иконы. Отцу повезло — он умер дома от рака, кажется, не успев расстричься или перейти в живую церковь. Детей разбросало по всей стране — каждый стремился уехать подальше от дома, чтобы никто не знал об их происхождении. Моей сослуживице пришлось вернуться в родной город после первой беды — она вышла замуж, и мужа, мелкого журналиста, тут же посадили. Она метнулась из Ленинграда в родной город и там доживает дни, похоронив второго мужа — скрипача.

Носит она имя первого мужа, потому что побоялась регистрироваться со вторым, и сына он перед смертью усыновил. Эта женщина дрожала всю жизнь и продолжает дрожать и сейчас, а я не могу по совести сказать, что для дрожи нет оснований. Я, например, не дрожу только потому, что у меня нет сына, стихи напечатаны и я себе сказала: «Хватит — надрожалась...» Сейчас, конечно, в миллион раз меньше оснований для дрожи, чем в дни царствования друга детей и народов и даже чем при авторе знаменитого доклада о культе личности. Но нормальному человеку и сейчас есть чего бояться: сегодня вроде ничего, но кто знает, что будет завтра. Дрожащая мать слишком молодого для ее возраста сына — она родила его сильно за сорок, и сейчас он только учится — мучительно боится за него, тоже скрипача, а ей уже кажется, что все скрипачи подвергаются гонениям, как некогда ее муж Ее надоумили, что сыну может повредить фамилия его матери, поскольку ее первый муж не реабилитирован. Чтобы не ворошить прошлого, она долго не подавала на реабилитацию и раскачалась уже после падения Хрущева, когда заниматься реабилитациями перестали. Она получила бумажку, что прокуратура оснований для реабилитации не нашла. К тому же ее первый муж сел еще в конце двадцатых годов, а этих дел никто никогда не ворошил. Точно такую бумажку из прокуратуры получила и я в дни венгерских событий. Добрая прокурорша, листавшая крохотное дело тридцать восьмого года, уговорила меня подать заявление о пересмотре дела тридцать четвертого года. «Никакого преступления нет, — сказала она, — ведь это только стихи, и он даже нигде публично их не читал. Так и напишите». Я подумала, что действительно началась новая жизнь, и написала именно такое заявление, как мне посоветовала прокурорша. Не прошло и двух месяцев, как стихи снова стали преступлением, как и мысль. Я храню отказ как святыню и постоянное напоминание о том, что все и всегда легко может повернуться на любое количество градусов. Жаль, что я не запомнила фамилии прокурорши. Было бы любопытно послушать, что она говорит сейчас. На запросы издательств прокуратура скромно отвечала, что дело, в сущности, одно и двух бумажек не требуется. Что бы ответили сейчас, я не знаю. Игра в посмертные реабилитации кончилась, а Мандельштама никто не хочет печатать, — ну их к ляду...

У меня речь идет о покойнике, который больше тридцати лет лежит в яме, в Гутенберге не нуждается и до сих пор портит кровь настоящим советским писателям. У моей поповны, вдовы и матери скрипачей, сердце болит за живого — за сына, у которого все впереди. Ей страшно, что отказ в реабилитации повредит ему. Она боится, что ее куда-то вызовут и спросят, зачем она столько лет лгала в анкетах, называя себя не вдовой, а разведенной. «Куда вас вызовут? — спросила я. — Ведь вы уже пенсионерка...» — «А в собесе тоже ведь есть отдел кадров», — сказала она. Она боится всего — управдома, начальника кадров, бывших сослуживцев, соседей по дому, всех учителей и администраторов школы, где учится сын, милиционеров, людей, а главное, того места, куда увозят по ночам и где задают груды вопросов... Если вас спросят, почему вы лгали в анкетах, скажите, что вы боялись потерять работу, посоветовала я и напомнила ей про женщину, служившую, кажется, лаборанткой в нашем институте. Она приехала из Москвы с тремя детьми и всем жаловалась, что муж увлекся другой, потерял голову и бросил семью. Зарабатывала она гроши и голодала вместе со всем выводком. Ей советовали подать на алименты и ругали негодяя, народившего столько детей. Она гордо отвечала: ни я, ни мои дети у него ничего не возьмем... Семья была поразительно дружная, но дети сторонились посторонних, держались кучкой и старшие всеми силами помогали матери. В один прекрасный день вернулся муж, и по всему институту разнеслась весть, что коменданту для прописки он дал справку из лагерного управления. Он, оказывается, сидел, а она разыгрывала комедию, чтобы сохранить работу... Только он сидел не по пятьдесят восьмой, напомнила мне вдова и мать скрипачей, просто проворовался по службе, иначе ведь он бы не вернулся...

Все жены лагерников, получивших срок по пятьдесят восьмой, твердо знали, что принадлежат к самой жалкой и ничтожной категории граждан, которая ни в какое сравнение не идет со счастливыми супругами служебных мошенников и воров. Моя гостья мучительно обдумывала, что ей сказать, если ее вызовут и потребуют объяснения многолетней лжи. Признаться, как я ей советовала, что лгала со страху, она не смела: вузовский работник, воспитатель молодежи, как вы смели бояться!.. Эта женщина до сих пор дрожит как осиновый лист, как тростинка... Я свидетельствую, что для страха у нее были все основания, и не могу поручиться, что впредь нас всех не охватит безумная, но имеющая самые реальные основания дрожь. А ведь этой женщине еще здорово повезло в жизни: отец и один из мужей умерли дома, а сын не оказался ни тунеядцем, ни подписантом...

Дрожь — естественное состояние всякой единицы, приближающейся или находящейся в пенсионном возрасте. Тридцатилетние побаиваются, но не дрожат. Единицы среди единиц потеряли страх. Таких очень мало, меньше, чем пенсионеров, которые перестали дрожать или раскаялись в том, что писали доносы. Раскаявшихся я не видела ни разу, слышала только об одном, но речь о нем впереди. Переставших дрожать знаю нескольких и удивляюсь их спокойствию. Многие временно не дрожат, но проявляют неусыпную и бдительную осторожность. Ведь всю нашу жизнь нас обучали бдительности, вот мы и продолжаем бдеть...

Люди редко пересматривают свое жизнепонимание. Складывается оно в юности и так и живет с человеком. Я спросила вдову скрипача: «Ваш отец научил вас верить в Бога?» Она растерялась. Когда-то семейное благополучие зависело от службы в церкви и ее водили ребенком на все главные службы. Потом ей пришлось выучить закон про переход количества в качество и про скачки, и она узнала, что религия — опиум для народа, хотя про опиум она знает только то, что он входит в состав некоторых болеутоляющих. Твердо усвоено только одно: религиозность — признак отсталости. Она выкинула иконы, ни о чем не подумав, и жила только мучительной жалостью к мужу и страхом за сына. У нее музыкальный голос — семьи священников всегда музыкальны, — и он льется, как ручеек. Она знает, как труден для исполнения скрипичный концерт Брамса, и мечтает об одном — жить с сыном. Любовь и жалость — ее вера, и она в жизни никого не обидела. Где-то в ее роду среди священников, верующих или чиновников церкви был, наверное, хоть один чистый духом и помыслами, от которого она, случайно утратив веру, унаследовала способность к любви, к жалости и к печали, а еще дивную чистоту помыслов и музыкальную структуру духа. К ней подступает слепота, и неизвестно, куда пошлют сына и сможет ли она к нему поехать. Неужели он тоже будет метаться из одного города в другой, и снова куда-то, и опять куда-то, так что она за ним не угонится?.. Сын вырос дикий и тоже всего боится. Страх передается по наследству, даже если это благоприобретенное свойство...

Я тоже вдова, но второй волны страха — за сына — я избежала, потому что вовремя сообразила, что детей иметь нельзя. Кроме того, мне помогали стихи. Сознавая свое рабское положение, я повторяла: «Зане свободен раб, преодолевший страх». Преодолеть страх я, конечно, не могла, но стихи давали внутреннюю свободу, наглядное подтверждение того, что в человеке заложено нечто высшее и лучшее: любовь, жалость, чувство музыки и поэзии, мысль, скорбь, печаль и боль, а еще таинственная радость, которая иногда сходит на нас в минуты тишины и печали. Не пора ли остановиться и подумать, кто мы, что мы сделали с собой, где мы живем и как мы живем...

Хорошо, если человек способен отстоять свою внутреннюю свободу. Труднее всего это было не в период страшной расплаты, а пораньше, когда еще казалось, что все может наладиться и очеловечиться. Я говорю о поразительной глухоте и немоте двадцатых годов — после окончания гражданской войны до раскулачивания. Сужу я не по себе — молодость, особенно у женщины, глупа и бессмысленна. Все кругом меня было лишено мысли и сердца. Мандельштам, сильный человек, молчал, как и Ахматова. Хорошие люди, вроде Тынянова, занимались мелким изобретательством. Пастернак сочинял поэмы. Все самоутверждались и, как актеры, играли придуманную для себя роль. Внутренний голос был заглушен победой «нового» и настоящим духовным кризисом. Такого кризиса не представить себе, если не вспомнить, что те немногие, к кому вернулась свобода, исцелились благодаря страху. Это относится к таким, как я, слабым людям. Мандельштам обрел себя другим путем. Он страха не знал, хотя мог испугаться любой чепухи — человека в папахе, который пришел к моим родителям спрашивать, что за тип появился у них в квартире, косого взгляда сукиных сыновей, соприкосновения с мерзостью и мертвечиной и еще разного и, по существу, не страшного. Он пугался тени зла, но страха не знал. Объяснить этого я не могу, но видела собственными глазами, что он прожил без страха. Его свобода заключалась в радости. Он на время потерял радость, и она вернулась к нему в самом начале тридцатых годов, когда сразу рухнули все иллюзии и рассеялся дурман. Таков его индивидуальный и неповторимый путь. Мой был иным, как у других моих современников.

В такие эпохи, как пережитая, но еще далеко не изжитая нами, страх имеет положительную функцию. Мы когда-то признались друг другу с Ахматовой, что самое сильное чувство, которое мы испытали, сильнее любви и ревности, сильнее всего человеческого, это страх и его производные — мерзкое сознание позора, связанности и полной беспомощности. Страх тоже бывает разным — пока существует ощущение позора, ты еще человек, а не раб. В сознании позора целительная сила страха и залог обретения внутренней свободы. Пока был жив Мандельштам, я боялась только за него и больше ничего не чувствовала. После его смерти все бессонные ночи, все дни, все часы были заполнены горечью и стыдом — целебным чувством нашего позора.

Настоящие рабы — это те, кто не сознавал и не сознает позора и твердо верит, что его, преданного и исполнительного, никто не тронет, если, разумеется, не произойдет ошибки. В прошлую эпоху таких было сравнительно мало — они сидели в парниках и с обыкновенными людьми не общались. Они не знали сомнений, и, когда уводили ночью их соседа по парнику, они вздыхали, что измена прокралась и в их райский уголок. Большинство городских жителей с приличным положением, зарплатой, пакетом или авторским гонораром заклинало страх, закрывая на все глаза и повторяя, что надо лишь быть благоразумным — тогда ничего не случится. Этот вид страха переходит в жалкую трусость и действует растлевающе на несколько поколений вперед. Уцелевшие из этих растленных заклинателей страха продолжают деятельность и сейчас и с упоением рассказывают о величии и красоте двадцатых годов, когда цвели и шумели все искусства.

У людей, заклинавших страх, обычно росли непуганые дети. Мы с Ахматовой придумали поговорку: «За пуганого двух непуганых дают». Родители, охраняя детей, растили их в полном неведении, потом садились родители, и непуганый оставался один — его ничего не стоило завербовать, и бедный мальчик — сын за отца не отвечает — аккуратно писал донос. Иногда забирали самого непуганого, и он, милый человек с открытой душой, добродушно или испугавшись кулака снабжал вопрошателя любыми показаниями о родных, знакомых или совсем посторонних людях. Наконец, могло повезти: вся семья уцелела, и непуганый ходил по улицам и домам, писал письма и дневники или просто болтал, а расплачиваться за его идиотизм приходилось другим. Для нас непуганый был хуже провокатора — с провокатором хитришь, а непуганый смотрит голубыми глазами, и его не заткнешь.

Были еще представители грязной игры в непуганых. Однажды мы опоздали на последний поезд в Калинин или почему-то нам необходимо было переночевать в Москве, чтобы утром куда-то пойти. В поисках ночлега мы зашли к Аделине Адалис — я до сих пор не могу простить Мандельштаму, что он где-то похвалил ее стихи. По-моему, это предел падения и слепоты. Когда я служила в газете, Адалис приходила ко мне подкормиться авансом или статейкой. Она таскала за собой разноглазого сына и, мудрая воспитательница, непрерывно дралась с ним. Где-то в детском доме у нее жил другой — нелюбимый ребенок. Когда у Адалис забрали не то мужа, не то любовника, она так активно отреклась от него, что смутила даже вызвавшего ее следователя. Мандельштам, видно, верил в то, что она поэт, раз он зашел к ней проситься переночевать. Адалис спросила, почему мы не идем домой — ведь у вас есть квартира. Мы объяснили, что Костырев, бывший квартирант, а теперь хозяин, при нашем появлении тут же вызывает милицию. И тут Адалис завопила: «Я пойду с вами и, если придет милиция, сама все им объясню. Я не позволю им вас тронуть...» Адалис, второй сорт Шагинян, демонстрировала демоническую веру в правопорядок и силу слова. Перед войной кто-то спросил ее, что она знает о моей судьбе. Она набросилась на вопрошателя с криком: как он смел допустить, что я где-то живу и работаю, а не устроил меня на лечение в лучший санаторий. Адалис кое-чему научилась у Брюсова, с которым сблизилась, приехав из Одессы. Разноглазый сын вырос достойным преемником матери. Он переводчик и в своей секции Союза писателей, как говорят, открыто несет две нагрузки. Он-то уж наверное не просто непуганый, а высоко принципиальный человек, который не боится ничего и, подобно матери, может уговорить представителей власти в чем угодно...

В настоящее блаженное время развелось много чистых и наивных непуганых, и в любой момент из них смогут выжать что угодно. Есть и немного преодолевших страх, которые пробуют думать и говорить. Пока к людям не вернется память, их не услышат. Люди спят, потому что их искусственно лишили памяти. Им надо узнать, что было с нами — с поколениями их отцов и дедов, иначе они непугаными войдут в новый круг бедствий и окажутся совершенно беспомощными. А бедствия могут повториться: непуганые среди правителей не прочь поднажать. Молодые, они не испытали страха и не знают, что мнительные султаны гибнут в таком же темпе, как солдаты. Надо вернуть людям память и страх.

С самых первых дней, когда мы были еще храбрыми, страх заглушал в нас все, чем живут люди. В 1938 году мы узнали, что «там» перешли на «упрощенный допрос», то есть просто пытают и бьют. На одну минуту нам показалось, что если «без психологии» — под психологией подразумевалось все, что не оставляет рубцов на теле, — бояться нечего. Ахматова сказала: «Теперь ясно — шапочку-ушаночку и — фьють — за проволоку». Вскоре мы опомнились: как не бояться? Бояться надо — вдруг нас сломают и мы наговорим, что с нас потребуют, и по нашим спискам будут брать, и брать, и брать... Такое бывало сплошь и рядом с самыми обыкновенными людьми. Ведь мы просто люди — откуда нам знать, как мы будем себя вести в нечеловеческих условиях... И мы повторяли: «Господи, помоги, ведь я и за себя поручиться не могу...» Никто ни за что поручиться не может. Я и сейчас боюсь — хотя бы шприца с мерзостью, которая лишит меня воли и разума. Как я могу не бояться? Только сознавая свою беспомощность и общий позор, мы не лишимся страха и не станем непугаными. Страх — организующее начало и свидетельствует о понимании реальности. На укрепляющий и поддерживающий страх способен не всякий раб, а только тот, кто преодолел страх и не поддался трусости. Преодолевший страх знает, как было и как будет страшно на этой земле, и смотрит страху прямо в глаза.

Я повторю слова Мандельштама: с таким страхом не страшно. Но и расслабляющий страх, как у вдовы скрипача, безгрешен. Настоящую опасность таят в себе непуганые, наверху еще больше, чем внизу, а еще — потерявшие память. Из таких вербуются низкие трусы и мнительные султаны.

Человек, обладающий внутренней свободой, памятью и страхом, и есть та былинка и щепка, которая меняет течение несущегося потока. К тому ужасу, который мы пережили, привела трусость. Она может вернуть нас в старое русло. Я уже не увижу будущего, но меня мучит страх, что оно может в чуть обновленной форме повторить прошлое. Тогда люди заснут и уже не проснутся. Ведь они и сейчас еще не проснулись, а нового погружения в сон выдержать нельзя. Мне страшно, и для страха есть все основания. Ведь я боюсь не за себя, а за людей. Двадцатые годы оставили нам такое наследство, справиться с которым почти невозможно. Надо преодолеть беспамятство. Это первая задача. Надо расплатиться по всем счетам — иначе пути не будет.

Обрывки воспоминаний

У Мандельштама есть запись: «Действительность носит сплошной характер, проза — прерывистый знак непрерывного». Воспоминания тоже прерывистые знаки, и нельзя их растягивать в сплошную линию. Этой записью Мандельштам показал, что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывностью, которая захватила всех в первой половине нашего века. Мне думается, что к поискам непрерывности, к воспроизведению процессов в их течении, к погоне за длительностью привела какая-то особая — почти физиологическая — жажда, желание ощутить и всеми пальцами ощупать текущее время, жизнь, движение, процессы... Эта потребность, столь сильная в литературе, проявилась, вероятно, во всех областях мысли, искусства, науки. Остановленное мгновение, замедленная съемка, разложение на мельчайшие частицы вещества — явления одного ряда и вызваны потребностью снова пережить уже прожитое, воспроизвести в движении уже происходившее, неслыханно растянуть каждый миг, чтобы он из мига стал длительностью.

По мере того как нарастали темпы, нарастала ценность мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движений, и футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандельштам отказался от попыток воссоздать непрерывность, но его любовь к замедленному — медленный вол, медлительные движения армянских женщин, тягучая и долгая струя меду, когда он льется из горлышка бутылки, — все это вызвано тем же желанием ощутить ход времени: «Но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера...» Длительность для Мандельштама не самоцель, а, может быть, поиски Духа, жажда благодати: «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианства пью холодный горный воздух... И с христианских гор в пространстве изумленном, как Палестрины песнь, нисходит благодать». Иногда это попытки ощутить вечность: единственный остановленный миг — Евхаристия: «Евхаристия как вечный полдень длится», потому что соучастники таинства через него приобщаются к вечности: «Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит». Ощущение мига как вечности, мечта «о луговине той» заглушаются «шумом времени», который есть «ход воспаленных тяжб людских».

Мандельштам остро сознавал единство жизни и личности и поэтому никогда не стремился к воссозданию моментов прошлого. Жизнелюбивый, он полностью до дна — изживал текущее время и не искал повторения. «Все было встарь, все повторится снова» — констатация единства людей, общности их жизнеощущения, а не утверждение, что миги единой жизни повторяют друг друга. В частности, переживание длительности и непрерывности Мандельштам всегда черпает в объекте, а не воссоздает свои собственные переживания. Сосредоточенность не на себе, а на объекте лишала смысла всякое повторение моментов прошлого. Именно поэтому он мог сказать про себя, что память его враждебна всему личному. В «Листках из дневника» (дневника, кстати, никакого не было) Ахматова правильно отметила, что Мандельштам не любил вспоминать. Я прибавлю, что характер его воспоминаний всегда был фрагментарным и никогда не был личным. Иногда — довольно редко — он рассказывал о том, что видел или с чем столкнулся, и всегда его рассказ был знаком прошлого, неизбежно чем-то связанным с настоящим. Он запомнил, например, как столкнулся в коридоре «Метрополя» с группой меньшевиков, только что выгнанных из Совета. Они шли навстречу ему и громко негодовали, перебирая слова ораторов, которые требовали их изгнания. Мандельштам посторонился, пропуская их, и услышал: почему лакей?.. Мандельштам рассказал эту сцену, потому что к воспоминанию толкнул его вывод: «Они всегда, с первых дней, употребляли не слова, а крапленые карты...»

Я думаю, что Мандельштам умел так полно изживать время, потому что был наделен даром игры и радости. Ни в ком и никогда я не видела такой игры и такой радости. Когда он ушел из моей жизни, я, мертвая, жила брызгами радости в стихах и бесповоротным запретом самоубийства. Именно потому, что Мандельштам жил «пространством и временем полный», у него не было потребности возвращаться назад, и жизнь его отчетливо делится на периоды. Труд и жизнь у него связаны и неразделимы, и периоды жизни полностью совпадают с периодизацией поэтического труда. В стихах всегда отпечатываются события жизни. Они совпадают во времени. Проза всегда запаздывает: знаки должны осмыслиться и отстояться. Для этого нужен срок. Оставаясь самим собой, сохраняя полное единство личности, Мандельштам чем-то менялся в каждый период. Это был рост, а не перемены в человеке. События внешней жизни подстрекали внутреннюю жизнь, но не являлись ее причиной. Внутренняя жизнь, пожалуй, в большей степени определяет внешние события, чем наоборот. Что же касается до катастрофичности большинства биографий нашей эпохи, то они уж, во всяком случае, не формировали личность, а скорее расплющивали ее. Нужна была огромная сила, чтобы, несмотря на гнет и удушье, сохранить способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Все, что нам завещал девятнадцатый век, — наука, знание, гуманизм, анализ, не говоря уж о таких понятиях, как прогресс, культура, отвлеченные формы деизма, теософия, рационализм и позитивизм, не помогли никому сохранить себя. Все это только содействовало тлению и распаду. Мы видели этот распад и со стыдом отворачивались. Наибольшая опасность для Мандельштама заключалась в гуманизме — в русском понимании этого слова. Отсюда доверие к поискам социальной справедливости и ужас при виде нарастания жестокости и обмана. И я не перестаю удивляться силе Мандельштама и богатству внутренних ресурсов, которые дали ему возможность прожить полную жизнь и, не расплющившись, дойти до конца дороги. Таким он был до той последней минуты, когда я его видела, — до ночи с первого на второе мая 1938 года. Это и был конец дороги, потому что то, что было на Лубянке и за колючей проволокой, гораздо страшнее газовых камер.

Я не могу назвать того, что строило личность Мандельштама, потому что его основная идея не поддается простой формулировке. Скорее всего, это отношение к поэзии как к дару свыше, как к назначению, а также вера в священный характер поэзии («игра Отца с детьми»). Второго человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди сохраняли человеческие черты только в стороне от событий, но вряд ли они могли углубляться и расти. К тому же люди, способные к духовному росту и труду, принадлежали к старшим поколениям и были уничтожены почти сразу. Я недавно прочла, что Флоренский был арестован в тридцатом году, но мне кажется, что до этого он — в середине двадцатых — уже побывал в ссылке. В нашей невероятной разобщенности возможны любые ошибки, но я помню, что приступ отчаянья Мандельштама в связи с несчастьем Флоренского происходил в двадцатых годах, а в тридцатых мы уже не слышали ничего. Люди поколения Мандельштама и Ахматовой сдавались без борьбы или жили затаившись. Те, которые не сдались, люди твердой религиозной мысли, погибали мученической смертью.

Ахматова черпала силу в противостоянии. Ее поэтический труд не поддается отчетливой периодизации и больше связан с внешними условиями, чем с внутренним ростом. Когда ее оставляли в покое, она возвращалась на безмятежные и чистые пути. Ей помогали сохраняться отдаленность и изоляция, но удары, как известно, падали на нее и в ее уединении. К счастью, ей досталась спокойная старость — десятилетие почти мирной, хотя и неустроенной жизни. Она сохранила способность работать и в последние годы жизни, и в этом ее удача. Удивительно, что всякая передышка пробуждала в Ахматовой не черты зрелости с ее аскетизмом и самоотречением, а молодой эгоизм, страсть к успеху и легкомысленную веселость. Я смеялась над ней, но была рада этим чертам старости. Она иногда на минуту обижалась, а потом смеялась вместе со мной.

Когда я с порога, на котором стою сейчас, оглядываюсь на свою жизнь, в ней я отчетливо вижу одновременно и единство, и отчетливую и резкую периодизацию, но у меня она вызвана исключительно внешними обстоятельствами. Детство для меня — подготовительный период и больше ничего. Я вообще не понимаю чрезмерного внимания к собственному детству. Мне кажется, что расцвет интереса к детству имеет что-то общее с потребностью восстанавливать непрерывность и вторично переживать уже пережитое. Это черта эпохи, связанная, быть может, с ростом индивидуализма, который мешает правильному созреванию и росту личности. В нашей стране этому способствовало искусственное ограничение личности, невозможность возмужания, затаенность испуганных и неполноценных людей. Но спасение в собственное детство — всегда признак неполноценности. Как ни странно, но я прощаю только любимому мной Набокову его сомнамбулический экскурс в собственное детство. Разлученный с родной страной, со стихией языка и исторической жизни, потерявший отца так, как он его потерял, Набоков воспроизводит идиллию детства как единственное, что корнями связывало его с землей отцов. Он был лишен возмужания, потому что прожил жизнь в изгнании.

Возмужание происходит лишь в тот период, когда человек начинает сознавать свою ответственность за все происходящее в мире, но в нашей стране это исключалось. Взамен у взрослого человека появлялся гипертрофированный инстинкт самосохранения. Этот инстинкт препятствовал какому-либо возмужанию — вот и умиление детством, когда ребенок ни за что не отвечает, а просто радуется жизни. Мы были стадом и ради сохранения жизни позволяли себя пасти. К несчастью, это не спасало: овец не только стригут, но и режут.

Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью и именно так ее ощущаю, но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела пятнадцать лет (1938—1953), а в целом — двадцать лет непрерывного ожидания (1938—1958). Ничего, кроме ожидания, в эти годы не было, хотя происходили какие-то события, я изъездила невероятные пространства, что-то делала, куда-то спешила. Ни на одну минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной. Все эти двадцать лет, особенно первые пятнадцать, остались в моем сознании как сплошной ком, сгусток мертвой материи, в котором время не текло, а только утекало. Меня мучительно преследовало ощущение разрыва между первым и вторым периодом два не связанных между собой куска, один — полный смысла и событий, второй — лишенный всего, даже продолженности, длительности. Не только у меня, а у всех моих современников было острое чувство, что время взбесилось и безумно мчится вперед, не оставляя в памяти никаких следов. В памяти, конечно, остались и переезды, и занятия, и работа, и груда всяких пакостей, но это разрозненные картинки, а не знаки, потому что знак всегда что-то означает. Основные чувства — боль, раздвоенность жизни и необъяснимость происходящего. Мне рассказал некто, пробывший несколько лет в лагере при Хрущеве, что там бродил безумный еврей из Польши, запрятанный на какой-то невероятный срок и потому не подлежавший реабилитации. Он говорил: «В России нет пространства — только километры...» Должно быть, я тоже была таким безумным евреем — без времени и пространства. И еще вот на что было похоже мое ощущение себя и жизни в те годы: я заболела в 34 году сыпным тифом, и меня ввели в сыпнотифозный барак. Моему горячечному воображению почудилось, что меня кладут в мужскую палату, потому что мне навстречу с подушек поднялись бритые головы... Вот такое же удивление преследовало меня все эти годы: куда я попала? Что со мной?.. Единственной реальностью в эти годы были встречи с Ахматовой, но только наедине, с глазу на глаз.

Третий период — с конца пятидесятых годов, когда я получила право называть свое имя, объяснять, кто я и о чем думаю. Почти сразу обе части моей жизни — первая и третья — воссоединились, зажав между собой второй период и так сплющив его, что он превратился в простую лепешку, не из муки, конечно, а из чего-то мерзкого. Жизнь снова стала целостной и единой. Еще большую целостность она приобрела, когда я написала в первой книге о том, что с нами было. В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи: сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга это и есть такое письмо, которое мне удалось написать довольно подробно. На такое счастье я даже надеяться не могла: ведь где я оставляла бы листки рукописи, когда без меня заходили в мою комнату и перерывали все мое барахло?.. Быть может, мне удастся сохранить и вторую, ту, которую я сейчас пишу, но об этом я не загадываю — такие мелочи меня не смущают. Главное сделано.

Что мне делать с разрозненными картинками? То же, что с взбесившимся и умчавшимся временем. Лишенное полновесного содержания и смысла, оно, очевидно, всегда бесится. Время кануло в прорву, не оставив никаких следов и ничем меня не изменив. Картинки побледнели и выцвели. Все они случайны и не объединены внутренним смыслом. Их наличие только свидетельствует о бесплодно прожитых годах. В эти годы я успела накопить силу и ярость, другие — огромное большинство — просто увяли, не успев ничего сказать Им было труднее, чем мне, потому что я знала, чего жду, они же только метались, спасая детей, облегчая жизнь близким, падая от усталости. Я тоже падала от усталости, но упасть не смела, поэтому сохранила силу. У меня есть свойство, присущее русским, — стойкость. Оно развилось у меня в период ожидания. У моих соотечественников оно переходит в слабость, — они жили одной только стойкостью полстолетия. Стойкость оправданна, когда она чему-то служит. Бесцельная и чересчур длительная стойкость переходит в сон.

Я говорила, что в жизни нужно искать смысл, а не ставить цели, а себя оправдываю тем, что поставила себе цель и ради нее жила. Противоречие здесь только внешнее. Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом. Меня тоже лишили жизни, потому что вынули из нее то, что составляло смысл. Мне насильственно навязали цель, искалечив жизнь. Я не жила, а только ждала воссоединения двух разорванных частей жизни. В период ожидания цель заменяет смысл. От этого мы не становимся богаче, но хотя бы сохраняем тлеющую душу... На большее я способна не была, да ни на что и не претендовала: на цель ушло все. Мне повезло — могло бы быть гораздо хуже: я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или были бы брошены в огонь. Слава Богу, этого не случилось. В этом я вижу Его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности.

Медовый месяц и кухарки

Мои современники твердо верили, что поэт пробавляется стихами, пока не созреет до прозы. Начав писать прозу, он сразу переходит в более высокий ранг. Примеры они приводили роскошные: проза Пушкина и Гоголь с его ранним поэтическим опытом. Об этом постоянно говорили, а может, даже писали Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский. Все они, вероятно, начали со стихов, и при этом слабых, и на своем опыте и на суждении по аналогии пришли к выводу, что стихи только преддверие прозы. Всем им, как и Пастернаку, втайне хотелось написать роман: слава и деньги, а не то еще в классики угодишь. Насчет классиков я обучена Мандельштамом хмыкать на сие обозначение, а вот насчет денег я им сочувствую. Я за то, чтобы у людей были деньги даже за обыкновенную работу, но зачем придумывать теории о соотношении стихов и прозы?.. Мандельштам, слушая ученые соображения наших лучших литературоведов, только вздыхал и говорил: «Они просто не любят стихов...» Это был период, когда слишком часто приходилось говорить про нелюбовь к стихам. Не любили стихи, не любили станковую живопись, зато любили все новое, все броское и особенно оригинальные научные теории. Даже люди, которые втайне любили стихи, как Тынянов, начинали заикаться и увиливать, говоря о них (пример — статья «Промежуток»). Я заметила, что наука тоже задыхается, когда ее носители имеют в своем распоряжении только рационалистические ошметки (рационализм так создан, что производит только ошметки). Те, которых я упомянула, включая Гуковского и Томашевского, были лучшими из лучших, цветом литературоведенья, который начал осыпаться, не успев расцвести. Спешу оговориться, что в этом не их вина, а времени и режима. Они прониклись пеной времени, его рационалистическим и псевдонаучным бредом и страстью к обязательному новаторству, и не успели они созреть, как их прикрыли: только и вспоминать умилительные картинки детства — своего или чужого.

По моему глубокому убеждению, проза и стихи черпаются из разных источников и выполняют различные функции. Стихи идут из более глубинных недр и кристаллизуются, как сказал бы Мандельштам, под большим давлением, но оба вида отнимают все силы художника и, как я видела у Мандельштама, несовместимы во времени. Когда Мандельштам писал прозу, стихи могли появляться только на уровне «бродячих строчек», то есть чистых заготовок. Целое, которое существует до написания стихотворения, не может возникнуть, когда человек как бы полностью «нагружен» целостной, хотя бы еще не написанной прозой. Мандельштам писал «Шум времени» с перерывом больше чем в полтора года, в течение которых появлялись стихи, но главки, возникшие после перерыва («Барственная шуба» и главки о Феодосии), сделаны из другого материала. Они действительно прибавлены к книжечке о детстве, к счастью, лишенной умилительного любования собой, как у всех, кто вспоминает детство.

«Египетская марка», по-моему, питается смешанными источниками. Она писалась в период глубокой поэтической немоты, и в нее ворвался материал из поэтических заготовок, перемежаясь с чистыми прозаическими источниками. Я, вероятно, именно поэтому не люблю «Египетскую марку». Она кажется мне гибридной, кроме того, фабульная сетка не что иное, как проявление внутренней слабости, уступка всеобщему восторгу перед «большой литературой» — повестью или романом с их постылой фабулой и сюжетом. И наконец, главная причина моего недоверия к «Египетской марке»: импульс или «порыв» к написанию этой вещи — попытка перенесения в десятые годы той сумятицы, которая охватила Мандельштама в двадцатые, а это признак растерянности и потери критериев. (Это вовсе не значит, что я апологет десятых годов. Мне смешно, когда их называют «серебряным веком», но в них была тревога и предчувствие конца. Все последующие преступления коренятся не в десятых и не в двадцатых годах — их корни гораздо глубже.)

Мрачный Мандельштам начала двадцатых годов чувствует себя «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов», но ни на один миг не забывает о своей несовместимости с текущей действительностью и о том, что «хлеба» были и существовали во всей своей полновесности. В стихах того периода его не покидает ощущение трагизма эпохи, в статьях он говорит об утрате светоча, завещанного от предков, призывает сохранить хоть каплю разума («Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться... Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи... отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум энциклопедистов — священный огонь Прометея»), он в ужасе от «социальной архитектуры», предназначенной для того, чтобы сокрушить и раздавить личность. В начале двадцатых годов у него еще были иллюзии, что можно смягчить нравы или, как мы шутили, «дать большевикам добрый совет», чтобы прекратить озверение. Во второй половине десятилетия жизнь как будто стабилизировалась: на прилавках появились продукты и тряпье, люди начали отъедаться и с лиц исчезли синеватые тени, пошли поезда и трамваи. Всем мучительно захотелось покоя, и в результате всех поразила слепота, неизлечимая и всегда сопровождающаяся нравственным склерозом. Расплатились за потребность в самоуспокоении все, больше всех не жулики, а честные и глубокие люди, как Зощенко. Он до конца жизни верил в возможность «дать совет» и, остро чувствуя ужас происходящего, когда единственный выход — завыть зверем, все пробовал остановить, предупредить, напомнить:

милиционер в белой перчатке, почтительно поднявший руку к козырьку, сводит с ума мужика, загнанного, замученного, заплеванного; женщина тащит тяжелый чемодан, граждане возмущаются мужчиной, который идет, поплевывая, налегке, потому что принимают старуху за домработницу; узнав, что это мамаша, они извиняются: суверенитет семьи — мамашу можно превратить во вьючное животное. Бедный Зощенко, чистый духом и сердцем, которого принимали за хохмача и ржали, слушая про мамашу!.. Расплатились все «Египетская марка» еще небольшая расплата, но все же она принадлежит к этой категории, хоть в ней есть два-три прекрасных места (самосуд, например, и смерть Бозио — петь в этой стране не рекомендуется) Характерно, что проза всегда расчищала дорогу стихам, а «Египетская марка» этой функции не выполнила. Она не дала высокого равновесия духовных сил, которое нужно для возникновения стихов.

В самом начале тридцатых годов Мандельштам сказал — на улице, где мы вдвоем ждали трамвая: «Нам кажется, что все благополучно, только потому, что ходят трамваи». Он снова почувствовал ужас эпохи и глубокую внутреннюю тревогу и сорвал отнюдь не блистательный «покров, накинутый над бездной»... Он освободился из плена общего мнения и стал свободным. Это привело его к гибели, но разве можно было жить на даче в Переделкине в наши преступные дни?

Статейная проза всегда писалась по заказу — для журнала или газеты — в несколько часов. Исключение, разумеется, «Разговор о Данте». Текущие статьи всегда строятся на уже раньше отработанной мысли. Очерковая проза началась в Харькове в 22 году. Очерк «Шуба» был напечатан в местной газете, а затем расширен и продан сестре Раковского. Он пропал, как и номер газеты, где был напечатан первоначальный вариант. Хорошо, что сохранилась статья «О природе слова». У нее было много шансов пропасть, гораздо больше, чем сохраниться. Пусть это знают наши дальние друзья: у каждого из нас и у каждой вещи, у каждой статьи, бумажки, рукописи — было в тысячу раз больше шансов пропасть, чем сохраниться. Все, что сохранилось, — результат чуда. Я остро чувствую, что в иных условиях сохраниться тяжелее, чем погибнуть, но мы, как известно, не гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия...

От второй попытки писать прозу тоже не осталось никаких следов. Эта попытка связана с милым и очень мирным приключением. Однажды, шатаясь по Смоленскому рынку — мы всегда любили базары, центр живой и подлинной городской жизни, — мы разговорились с восточными людьми, торговавшими коврами. У Мандельштама была отличная способность болтать с мужиками и бабами, со всеми, кроме начальников, писателей и челяди. Чернявые повели нас к себе в лачугу за Киевским вокзалом. Она стояла среди целого моря развалюх, и мы увидели в облупленной и грязной горнице нечто чудесное и невообразимое: огромный фигурный ковер с изображением охоты. Центральная фигура — мальчик с луком, а вокруг всадники, крошечные, и всякое зверье собаки, лисицы, птицы... Это было сокровище невообразимой ценности, но ввиду переоценки всех ценностей такие вещи стоили тогда сравнительные гроши. Чернявцы соблазняли нас рассрочкой, и мы тянулись к ковру, хотя не знали, не украден ли он из какого-нибудь музея или дворца. Мы ушли, дав свой адрес, и восточные люди повадились ходить к нам на Тверской бульвар... Они принесли однажды ковер, и он наполнил нашу жалкую комнату восхитительным сиянием.

Мандельштам влюбился в ковер, как в женщину (я, рационалистическая дура, не приревновала даже к ковру — скольких наслаждений я себя лишила: боли, тоски, отчаянья, бессонной ночи, слез и примирений). Я почувствовала, что он видит в ковре пленницу, которую нужно вырвать из рук похитителей, но он меня улещивал, говоря, что при таком свидетеле, как ковровый царевич, нам еще лучше будет вместе. Я понимала, что мне предстоит роль служанки при царевиче, но он был мальчиком, а я еще такого не видала. Первым опомнился Мандельштам — он попросил скатать ковер, поднял его, фыркнул, отряхнулся, как пес, перевел дыхание и сказал: «Не для нас...» Тоненький ковер был так велик, что мы бы оба задохнулись, вытряхивая и выбивая его во дворе. Ковер прожил у нас несколько дней. Мандельштам убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра, и я, поплакав, согласилась, чтобы чернявые унесли его в свою трущобу. Ковер исчез из нашей жизни, а Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской трущобе. Он быстро оборвался, листочки канули в сундук и пропали в тот час, когда им было положено. Чуть-чуть слышен отзвук этих переживаний в нескольких строчках о персидской миниатюре в «Путешествии в Армению». Только испуганный косящий глаз был не у царевича, а у меня, молодой.

Третий подступ к прозе — очерки в «Огоньке» — «Сухаревка» и «Холодное лето». В «Сухаревке» по моральным соображениям вычеркнули два слова: «только на сухой срединной земле, к которой привыкли, которую топчут, как мать, которую ни с чем не сравнить, возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю». «Советский человек, — сказали ему, свою мать уважает. Вспомните «Мать» Горького...» Мандельштам вообще не матюгался, но тут сказал нечто неповторимое. Объяснение это происходило после того, как очерк был напечатан... А лето действительно было холодное, и в преддверье холодной зимы надо было погреться. Ужас Мандельштама перед холодом, его жадность к теплу и солнцу — следствие голодных лет и систематического недоедания. В сравнительно сытые годы он любил мороз и не страдал от него, а к концу и вовсе примирился с ним, чтобы получить перед смертью полную порцию холода и голода, которой хватило бы на целую человеческую жизнь. И я знаю, как холодно, когда голодаешь, но ведь мой голод не лагерный, а просто вольный советский. Лагерный голод — непредставим. Сообщите, пожалуйста, об этом сукиным детям, которые затыкают уши и закрывают глаза.

Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг: санатории Цекубу. Мы все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру — бесплатно, а деньги с очерков пошли на билеты, которые купило то же Цекубу. Курортников отправляли оптом, и мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью — это еще шестиместные отделения с боковыми местами. Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. Я бы внесла предложение, чтобы будущим светилам с момента восхода — чуть прорежется первый луч предоставляли отдельные салоны-вагоны: нечего им тереться об обыкновенных людей. Вышинский был тогда начальником Главнауки, и я не помню, успел ли он провести свое первое дело: процесс эсеров, в котором уже обнаружился разработанный им процессуальный метод. Мандельштам читал все отчеты процессов. Как бы они ни были причесаны, в них всегда оставались огрехи (для нас, умеющих читать между строчками), по которым можно восстановить суть дела. Прошло около пятидесяти лет, но я помню момент, который он мне показал: в ответе подсудимого прокурору на вопрос о подготовке ярославского восстания: вы об этом знаете больше, чем я... Восстание было первым лучом в карьере Вышинского — он готовил восстание, а в нужный момент предал. Процесс был поворотным пунктом, после которого жена и дочь уже не лежали на жестких полках. Профессора в Гаспре относились к Вышинскому почтительно, потому что он был начальством. Российская привычка. Это он потом проехался по всему великому сибирскому пути и не увидел ни одной лагерной вышки. Чистая правда: из вагонного окна их не увидать...

Чтобы забыть о нем, приведу сказку, рассказанную мне директором Псковского педагогического института. Старший брат директора был арестован еще первокурсником-комсомольцем в каком-то году. Он умудрился бежать и в Москве пришел с младшим рассказчиком на прием к Вышинскому. Его приняли немедленно. Вышинский был исключительно внимателен и делал пометки, слушая рассказ о побоях и вынужденных показаниях. Братья поверили в лучшую жизнь, но тут раскрылась дверь, вошли люди в форме и увели правдивого комсомольца. Он исчез с лица земли, а младший, еще школьник, да к тому же носящий другую фамилию, долго скрывался в нетях, пока не убедился, что его не ищут. Директор знал, что мне можно рассказать историю двух братьев, но тут дверь кабинета отворилась и в кабинет вошел секретарь парторганизации, дипломированный и освобожденный. Я заметила, что кандидаты некоторых наук чем-то похожи на незабвенного Смердякова — любят крепкий кофе, культуру и играют носочком хорошо начищенной ботинки. Только они не вешаются, потому что даже у Смердякова было нечто вроде христианского сознания, чего они полностью лишены. Я увидела, что директор так смертельно испугался, словно рассказ застрял у него в глотке. Пришлось встать, проститься и уйти. Это была моя последняя работа. Директор в начале разговора уговаривал меня остаться на кафедре общего языкознания и читать там курс по новой программе. Я ответила ему, что мне надоело врать студентам. С этого и начался разговор. Для самооправдания бедный директор умудрился чего-то мне недоплатить — чуть-чуть, сотни две. Сейчас если он жив, то уже отставлен и на пенсии. Мой рассказ ему не повредит. А у Вышинского в кабинете, наверное, был звоночек, которым он вызвал тех, кто увел на смерть доверчивого правдолюбца.

Перед домом в Гаспре стояла лежанка, а на ней — старик. Про него говорили, что он цекист-меньшевик, любимец Ленина, который его спас. Старик ни с кем не разговаривал и был мрачен как ночь. Нас посадили за стол с добрейшим химиком Каблуковым. Он носил в кармане жестянку с монпансье и, встретив ребенка, угощал его со старомодной приветливостью: не угодно ли?.. Я была еще девчонкой, и мне перепало немало каблуковских леденцов. Он иногда заходил потом к нам, вернее — ко мне, и я таяла от его удивительной, нежнейшей доброты. Почему люди, писавшие о Каблукове, рассказывали только анекдоты о перескакивающих в его речи буквах, а не заметили сияния благословенной доброты? Он ходил по Москве с заплечным мешком для таскания пайков, все терял, все забывал и всем улыбался.

За нашим же столом посадили Чулкова, бывшего мистического анархиста. Однажды он заметил, что я надписываю адрес на конверте по новой орфографии — без твердых знаков. Он счел это предательством русской культуры, устроил легкий скандал и тотчас отсел за другой стол. Есть фотография Мандельштам, Ахматова, Чулков и Петровых. Снята она у нас в квартире на Фурмановом переулке — Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая семейной — там есть и я, и дед, и Александр Эмильевич. Чулков ходил не к нам, а к ней. Он прожил мирную жизнь и удивительно ладил с начальством, а Ахматову развлекал рассказами про Любовь Дмитриевну Блок. Все, что он рассказывал, легкое видоизменение ее дневника.

Среди отдыхающих в Гаспре все время возникали споры, правильно ли выдают путевки. Многие возмущались, что путевки выдают посторонним, например нам. Я даже кому-то объясняла, что Мандельштам тоже член Цекубу и получает паек. Это работали старинные местнические инстинкты, и они вспыхивали с особой яростью, когда речь шла о непочтенных людях вроде Мандельштама. Еще омерзительны были скандалы при распределении комнат. Каждый кричал о своем ученом праве на большую и лучшую. Не они ли подготовляли знаменитое постановление о борьбе с уравниловкой? Мы плохо переносили местнический уклад и сняли комнату в татарском доме, чтобы не вызывать зависти и быть подальше от толчеи.

Толчея, впрочем, тяготила только Мандельштама, а не меня. Мне она даже нравилась. В Гаспре жили люди вдвое, а чаще втрое старше меня. Моложе были только двое отпрысков из семейств победителей. «Как быстро они становятся великими князьями или наследниками миллионеров», — сказал про них Мандельштам. Как подобает князьям, они держались поодаль и вполне скромно. Из настоящих князей Мандельштам видел только мальчика Палея — он писал стихи и ходил к Гумилеву. Не он ли погиб, брошенный в колодец? Говорят, что это был прелестный и трогательный юноша. Мы читали с Ахматовой мемуары его сестры и удивлялись, что в тех семьях разорение шло тем же путем, что в наших. Про сестру говорили не очень хорошо, но про кого у нас говорили хорошо?

Я льнула к старикам, играла в шахматы с Чаплыгиным и Гольденвейзером и с ним же в теннис, и он сердился, что я плохо подаю и часто мажу. На террасе главного дома, куда вывозили в кресле тяжелобольного Кустодиева, я вдруг поняла, что любовь не только радость и развлечение, которому мешает скудость, вернее, нищета нашей жизни, а нечто несравненно большее. С Кустодиевым была жена, моложавая, измученная женщина. Она ухаживала за ним спокойно и ласково, не делая при этом вида, что приносит жертву, и совсем не сердилась на его раздражительность. Я с удивлением рассказала про свое открытие Мандельштаму, а он только ахнул, до чего я еще дикая... Кустодиев рисовал меня — это были милые акварельки девчонки в глупой пестрой кофте. Он удивлялся, что я не прошу их у него, но я была авангардистка, футуристка, бубнововалетчица и презирала все прочее...

Мандельштам ходил купаться и отводил меня на террасу, чтобы я там ждала его. Гулять он обычно ходил один, чтобы я не уставала. Я была самой худой во всей толпе, таких худых вообще не бывает. В домах отдыха и в санаториях всех взвешивают, и я привыкла, что всегда удивляются, записывая мой вес. Мандельштам откармливал меня молоком и виноградом и требовал, чтобы я лежала в мертвый час, как велели врачи. Если он оставлял меня одну, я норовила удрать, и мне здорово за это попадало.

Мне запомнилась такая сцена: я сижу перед домом со своими «дяденьками» («твоя офицерня», — говорил Мандельштам) — моряком и художником. Моряк был бывший, он уже пребывал в профессорах — не знаю, какой науки, — но любил вспоминать прошлое. Он раздобыл кофе и приготовил его по малайскому или другому способу: залил водой в глиняном кувшине и продержал трое суток зарытым в землю. Кофе ушло страшно много, а результат получился средний, но мне понравилось, что он «фигуряет» передо мной. Я спрашивала его и художника, почему они так балуют меня, а художник за обоих отвечал: «Потому что вы у нас самая младшая...» О нем я помню, что у него была итальянская фамилия и он первый мне объяснил, что анархисты вовсе не сторонники беспорядка и безобразий, а серьезная партия с глубокой антицентралистской программой.

В тот же день, который мне запомнился, я сидела с «дяденьками», а из дому вышел Мандельштам и сердито меня окликнул. «Он обращается с вами, как с собачонкой», — возмутился художник. Мне было приятно, что он за меня обиделся, но я не успела объяснить, что к такому обращению привыкла и не собираюсь превращаться в даму. Я вскочила и побежала на зов вслед за Мандельштамом, а он, злодей, даже не подумал остановиться, чтобы подождать меня. Почему-то я вижу, как бегу за ним по большой солнечной площадке перед домом, а затем рядом — по крутой улочке к нашему татарскому дому. Туфли у меня были на высоких каблуках, а подошвы стерлись, и я подшила их куском шелка из порвавшейся юбки. Мандельштам ходил быстро и большими шагами, я только бегала и подпрыгивала на ходу. В городе он этого не терпел, но на воле позволял...

На террасе татарского дома, где мы спали на положенном на пол тюфяке, он долго заедал меня, что ему пришлось целый час искать меня, что я своей глупостью срываю ему работу, что со мной нет сладу и что я никогда не поумнею... Я защищалась, как бешеная кошка, говорила: все ты врешь, никакого часа не потерял, а только пять минут, и нельзя обращаться со мной, как с собачонкой, — все это видят и смеются... И я уже взрослая, и почему он так избаловался, что не желает без меня работать?..

На террасе он диктовал мне «Шум времени», точнее, то, что стало потом «Шумом времени». Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять — на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. Он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного раза целого предложения, а я тогда же поймала его на том, что он иногда забывает произнести слово, а то и несколько слов, но уверен, что я их услышала и без звука. «Ты что, не слышишь, что без этого не держится?» — упрекал он меня. Я отругивалась: «Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю... Дурак, дурак, дурак...» На дурака он сердился, а мне подносил «идиотку». Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. Дурак, дурак, дурак — да еще древнегреческий...

Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух: «Только без выражения...» Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее «со слезой» поднимать и опускать голос. Каждую фразу он проверял на слух — в сущности, ему нужна была не жена-секретарша, а диктофон, но с диктофона он не мог бы требовать еще вдобавок понимания, как с меня. Если что-нибудь из записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь, но если я бунтовала и не хотела что-нибудь записать, он говорил: «Цыц! Не вмешивайся... Ничего не понимаешь, так молчи».

Впоследствии, когда он диктовал «Разговор о Данте», я уперлась и не хотела записывать кусок про то, как Дант ластится к авторитету. Мне показалось, что Мандельштам умиляется авторитету вождей и согласен, чтобы они его пасли. Других авторитетов у нас не было, и, насытившись этими, я знать не хотела никаких. «Мало тебе авторитетов! Хочешь еще?» — твердила я, сидя перед белым (по цвету он был серым) листом бумаги и положив руки на колени.

Мандельштам бесился, что я стала чересчур умна и лезу не в свое дело. Я советовала ему переменить жену: «Найди еще такую дуру, — или возьми, как все приличные люди, стенографистку: она запишет что угодно и не моргнет...»

Сцена была бурная, и Мандельштаму стоило немало трудов вдолбить в меня, что авторитеты бывают подлинные и мнимые. Я успокоилась, когда услышала про опасность, таящуюся в ложных авторитетах, и в уме отождествила их с кумирами. Но до сих пор не знаю, как быть с авторитетами. Сам Мандельштам приучил меня чураться авторитарности, и я ненавижу железные нотки в чужих голосах. Мне милее понятный ход доказательства или страстный призыв убежденности.

Это был единственный случай неистового вмешательства в его работу. Обычно я только посмеивалась и спрашивала: «А ты часом не врешь?» или «Куда это тебя понесло?» (а жаль: была бы я поумнее, я бы не дала записать акмеистической дребедени про биологические методы в поэзии). Услыхав мои сомнения, Мандельштам обычно поминал валаамову ослицу — я сама подсказала ему эту аналогию, — чем не идиотка? А иногда Елену Ивановну, баптистку, служившую у нас в Детском Селе кухаркой. Она была не кухаркой, а знаменитой поварихой, отдыхавшей зиму на наших харчах. Целый день она сидела в кресле и читала Библию. Обед из трех блюд с пирожками приготовлялся за полчаса. В доме был полный порядок. Елена Ивановна подавала счет с базара и брала себе десять процентов «законных», и мы никогда так дешево не жили. Раз в неделю нам полагалось убираться из дому, потому что Елена Ивановна принимала гостей: пожилого плотника и две-три семейные пары, только баптистов.

Неприятности произошли именно из-за плотника. Он надоумил Елену Ивановну, что служить у нас опасно, потому что Мандельштам пишет стихи и говорят, что он и есть антирелигиозник Демьян Бедный. Она изложила нам эту версию за завтраком, чуть не плача, что придется расстаться. Мандельштам попросил ничего сгоряча не делать, собрал все свои книги и дал ей — судите сами. Она отложила Библию, прочла все от строчки до строчки, посоветовалась со своими и сказала, что все хорошо: слух про Демьяна Бедного оказался ложным, и она остается. Из книг она отдала предпочтение «Тристиям». Мандельштам был доволен.

Целый год мы жили как у Христа за пазухой. Елена Ивановна изредка напоминала нам, что не надо бездельничать, а то не будет денег. Только один-единственный раз у нас вышел конфликт: она не пустила Костю Вагинова, потому что «хозяин спит». Мы встретили Костю в парке, когда вышли погулять, и узнали, как он был изгнан с порога. Мандельштам пробовал втолковать Елене Ивановне, что он не хозяин и его можно и потревожить, если кто придет. Она не соглашалась: у графа Кочубея, где она раньше служила, барина никто не беспокоил. Еще она обижалась, если к обеду без предупреждения появлялся гость: она «теряла марку», если не подавала что-нибудь неожиданное и невообразимое. Люди искусства — она и Мандельштам — понимали друг друга, и он был польщен, когда армянский поэт (Акопьян? Мы прозвали его «красный старец»), приехавший «переводиться», принял Елену Ивановну за «супругу» и целый час любезничал с ней, пока мы не вернулись с прогулки. Тут он растерялся и со мной любезности не проявил... Елена Ивановна ушла от нас в частный пансион, чтобы заработать побольше денег для общины. Одну-единственную зиму мы прожили под доброй опекой, и Мандельштам, сравнивая мои суждения с ее рецензией на его стихи, говорил, что она понимала куда больше, потому что знала, на чем стоит, а я «поразительно лишена представлений» и «сплошные белые пятна на карте»... Может, он и был прав.

Последний этап работы над прозой: груды листов раскладываются на полу или на столе, если он большой. Вечное недоразумение, что каждый день я сызнова начинала нумерацию, листочки перемешивались, и нужно было подбирать, за которой пятой страницей следует данная шестая, а это притом, что успело накопиться немало и пятых и шестых... Мое счастье, что Мандельштам был малолистным автором — «ни листажа, ни строкажа»... Будь он как все, я бы никогда не разобралась ни в пятых, ни в шестых... А его больше всего интересовало, до какой цифры я умею считать, но этого он так и не узнал. Порядок глав Мандельштам тоже проверял по слуху и иногда ножницами вырезывал куски, которые потом выкидывал или переставлял. Его искренно огорчало, что приходится возиться с такой ерундой и я не могу сделать за него такую простую работу. Его тошнило от кучи исписанной бумаги и тянуло из комнаты на волю: кому это нужно? Идем гулять... Мы, разумеется, бросали работу, положив на каждую кучку бумаг по большому камню, чтобы они не разлетелись. Я не слишком была привержена работе и несравненно больше бы мешала ему, если бы ему можно было помешать...

Усталая, заплаканная, измученная, я засыпала на его плече, а ночью, проснувшись, видела, что он стоит у стола, что-то чиркает и записывает. Заметив, что я проснулась, он показывал новый кусочек, утешал, смешил, и мы снова засыпали. Я поняла, как он относится ко мне, еще в первый приезд в Грузию. Мы попали в Батум и первую ночь провели на террасе в квартире инженера, фамилию которого я забыла, члена первого или второго «Цеха». Его самого не было в городе, а жена, пустившая нас на террасу, предупредила, что там полно москитов. Всю ночь, просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле, рядом с кроватью, и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов[8]. Боже, как хорошо нам было вместе — почему нам не дали дожить нашу жизнь...

Под конец срока в Гаспре — мы прожили там два месяца — приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: «Мы вам вынесли выговор» (Эфрос был активным членом Союза писателей). Мандельштам спросил, какой выговор и как могли вынести какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив объяснений: «Вы ведь все же общественная организация...» Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а вынесен он по жалобе Свирского, потому что Мандельштам «набросился на его жену», требуя, чтобы она не шумела на кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы не подавал. Все это было выдумкой Эфроса, знаменитого интригана союзписательского типа. (Впоследствии он был организатором фельетона Заславского, который был принесен в ночную редакцию во время дежурства Эфроса.)

---

[8] *Далее следовало*: «Мы дураки, нам хорошо вместе».

Наша комната на Тверском бульваре была рядом с кухней, где постоянно шумели две-три женщины под водительством «генеральши», единственным остатком прежних жильцов дома. Она служила кухаркой у инвалида военного, который под конец женился на ней. За прежнюю кухарочью деятельность ее признали трудовым элементом и не выселили. Добродушная «генеральша» пекла для всех пироги и сдобу, в частности для передач в тюрьму, когда сидел Евгений Эмильевич. Она говорила: «Против меня никто мясо не стушит» — и старалась научить меня жарить жирное украинское жаркое и печь кружевные пироги с капустой и яйцами: «Перенимайте, а то никогда не научитесь...» Свирские, добродушные, как «генеральша», наслаждались едой после голодовки. Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь. Помогало не больше чем на двадцать минут.

Таков был первый конфликт Мандельштама с писательскими организациями еще на кухонном уровне. Он сказал Эфросу, что отказывается от комнаты в Союзе писателей, который позволяет себе выносить заочные выговоры писателям, не запросив у них объяснений: для вынесения выговора необходимо заслушать стороны. Эфрос считал это мелкой формальностью и не советовал лишаться комнаты —

жилищный кризис!.. Заявление с отказом было послано из Гаспры, и мы вернулись в Москву на пустое место.

Мы были рады, что избавились от писательской трущобы, но от власти писательских организаций не ускользнул еще никто. Мандельштам был только первым опытом неоперившегося союза. Писательские организации постепенно набирали силу и вскоре стали самым могучим творческим союзом в мире. Прожить без них нельзя, а жить с ними невозможно. Они держат в руках все и всех и непосредственно сносятся с мощными инстанциями. Не думайте, что они превратились в свою противоположность по приказу сверху. В их внутренней структуре изначально было заложено то, что сейчас бросается в глаза, и заложено оно было не в советской, а в русской литературе.

Меня могут обвинить, что я посягаю на священные яблоки: говоря о русской литературе, обычно имеют в виду ряд священных имен, честь и гордость страны. Но текущая литература состоит не из них. В писательских организациях состояли бы и Пушкин, и Греч с Булгариным. Кто из них оказался бы «руководящим кадром» и ратовал за исключение Зощенко, Ахматовой, Солженицына, Пастернака или подписывал согласие на уничтожение Клюева, Клычкова, Мандельштама и многих еще? Греч и Булгарин всегда были деятелями и ныне состоят в президиуме правления союза. Их поддерживают те, кто приходил «руководить меня», то есть Достоевского, прививал нигилизм, писаревщину, сновидческие бредни и представление о высшей духовной деятельности по знаменитой диссертации, где говорится о живой женщине и о ее изображении на картине. Вспомним формулу одного философа, которому еще не исполнилось ста лет: выпьем за науку, но не за ту, которая, а за ту, которая... Это было произнесено в последний год жизни Мандельштама, и он любил повторять дивную формулу, приучая себя к мысли о неизбежной гибели.

Русская литература — не та, которая, а та, которая, — всегда все разлагала. Так действует, наверное, любая литература, но русская оказалась самой могущественной. Это рассуждение не случайно возникло по поводу кухонного инцидента — во всем, что случается в литературе, пахнет зловещей кухней. Для Мандельштама литература и поэзия — несовместимые понятия. Поэт — лицо частное и «работает для себя», а к литературе не имеет ни малейшего отношения. В Союзе писателей он случайный и пришлый элемент и подлежит исключению, как Пастернак и Солженицын. Нечего поднимать бузу, когда их исключают. И я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек.

Промежуток

Зиму 23/24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся, трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями — не вишни, а люди.

Новый, двадцать четвертый год мы встретили в Киеве у моих родителей, и там Мандельштам написал, что никогда не был ничьим современником. Он мог бы прибавить, что его тоже никто современником не считает, но тогда он еще не понял, что время принадлежит ему, а не им. В тот год родилась идеология – одержав победу на всех фронтах, властители перешли на мирное строительство. Только в центральных областях еще не заглохли крестьянские восстания, и каждый вагон, когда мы ехали в Киев, провожали двое пулеметчиков. Зато поезд состоял не из теплушек, милейших дач на колесах, где беснуются демобилизованные или командировочные, а из обыкновенных вагонов — верный признак того, что началась мирная жизнь. А мир у нас всегда сопровождается чудовищными вспышками самоистребления. Передайте от меня итальянскому писателю, который, надеюсь, меня читать не станет, что, когда вырывают «сто цветов», земля насыщается кровью и больше на ней никогда ничего не растет. Сколько нужно съесть пекинских уток, чтобы умилиться особым формам «борьбы с бюрократизмом». Остерегайтесь литературы. Самая невинная форма литературы — полицейские романы.

В ту зиму появилось выражение «литературный фронт» и кто-то уже стоял «на посту». Критики пропечатали, что Мандельштам бросил поэзию, а сменовеховская газетка «Накануне» подхватила этот изящный слух. Можно бросить женщину, жену или любовницу, а в мое время женщины бросали мужей и любовников. А нельзя ли разобраться, как это «бросают поэзию»? Какая техника? Такое понятно только специалистам по смене вех — вырвали одни и понатыкали другие, чтобы обозы двинулись новым путем.

Бухарин открыл Мандельштаму, что не может печатать его стихи — только переводы. Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции: ни один современник не заглянул к нам на Якиманку. Все были заняты настоящими делами, к которым Мандельштам не имел никакого отношения: шла борьба за то, кому управлять литературой. Одни дрались за власть, другие пристраивались к дерущимся в качестве подхалимов. «Леф» еще верил в победу, усачи и попутчики занимали стойкие позиции, а мальчишка Авербах, будущий победитель, сидел пока в маленькой редакции на Никитском бульваре на подступах к Дому Герцена.

Мы познакомились с Авербахом, когда жили еще на Тверском бульваре, а произошло знакомство ради папиросного мальчишки, который носил нам на дом папиросы и поразил Мандельштама своим законченным урбанизмом. Мальчишка презирал Москву с ее убогим автомобильным движением и рассказывал, что в Америке машины идут одна за другой, впритык — конца краю не видно — и своим количеством замедляют движение. Мандельштам решил пристроить урбаниста комсомольскому Авербаху. Мальчишку Авербах взял рассыльным, а Мандельштама попросил перевести — услуга за услугу — стишок какого-то революционного венгра.

Получив перевод, Авербах пробежал его глазами, встал, пожал руку переводчику и сказал: «Поздравляю, Мандельштам, вы сделали большое дело». Мандельштам ответил резко — несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии, и его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло: он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную жадность, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать, но узнал, что в дни обострившейся классовой борьбы нечего тратить силы на недостойных имени пролетария. Авербах уже в пеленках выучил все слова, и Мандельштам понял, что он далеко пойдет.

В нашем уединении на Якиманке мы замечали обострение классовой борьбы только по тому, как трудно становилось добывать деньги, вернее переводы. Мандельштам еще не вполне осознал, что мы вошли в эпоху организованной литературы — и не только литературы, но и мысли. Летом — на даче Госиздата в Апрелевке — он пожалуется, что «они» допускают его только к переводам. В языке у него появится новое слово «они». Оно существует у всех. Говорят, Никита жаловался, что «они» не дают ему развернуться и заедают за «Ивана Денисовича». Бесконечная лестница, на которой стоящие на верхних ступенях ощущаются как «они» и на них взирают снизу те, кто для нижних тоже «они». При хозяине все завершалось человеком, чье имя и отчество полагалось произносить с соответствующим выражением лица. На человека, забывшего о священном трепете при произнесении имени, писался донос. Неопределенные подозрения излагались устно в отделе кадров или по начальству. «Они» есть и будут, а вот с доносами обстоит хуже. Говорят, что поток ослабевает. Огромное значение имело бы исследование количества доносов по периодам и распределение доносителей по возрасту. Существенны также качество и стиль доноса. К сожалению, социологические исследования у нас не в почете.

Сейчас я в отставке и перестала интересоваться, как идет «ход воспаленных тяжб людских», а тогда — на Якиманке — мы только удивлялись новым веяньям и не верили в их прочность. Мы еще не научились ловить слухи и по косвенным признакам угадывать реальные соотношения. Все, что происходит наверху, всегда тайна, а мы, наивные, не заметили, что на горизонте уже сияет зловещая звезда! Портрет хозяина появился в первый раз на обложке того самого номера «Огонька», в котором впервые была напечатана проза Мандельштама и его отличная фотография в свитере. Такая славная фотография, где он вышел поразительно похожим, была напечатана в самом страшном номере мерзопакостного журнала.

Выбирать, впрочем, не приходится: все номера всех журналов омерзительны, и в каждом есть что-нибудь, от чего хочется бежать на край света, только бежать-то нельзя. А вышел Мандельштам так хорошо, потому что фоторепортеры знают свое дело — если бы не пакостный журнал, у меня бы не было отличной карточки Мандельштама. Фоторепортер снял и меня, потому что иначе Мандельштам отказывался сидеть. Эти фотографии гораздо живее, чем те, которые года через три сделал Наппельбаум, знаменитый фотограф, специализировавшийся на портретах вождей. На портретах Наппельбаума я — приличная дама с застывшим лицом, чего никогда не было, а Мандельштам — утонченный молодой человек, чем даже не пахло. Он отлично выходил на фотографиях, сделанных любым уличным фотографом — «лопаткой из ведерка», — но только не на наппельбаумовских портретах, столь же слащавых, как зарисовки Эренбурга: хилый еврей с могучим голосом.

Гораздо легче сделать портрет вождя, чем поэта. Вождя следует приукрасить, а поэта дать таким, как он есть. Эпоха соцреализма отучила людей смотреть внимательно и непредвзято на предмет изображения. Поэты тем и вредны, что смотрят на мир открытыми глазами. Все прочие находятся во власти готовых представлений и «улучшают» объект, как Наппельбаум.

Зима на Якиманке была единственной в моей жизни безрадостной порой. От стен, что ли, шел мертвящий дух или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду. Зато я запомнила, как, возвращаясь поздно вечером от Нарбута в пустом трамвае — пустыми они бывали только к ночи, — мы вдруг заметили, что вагоновожатый остановил вагон в неурочном месте и выскочил на мостовую. Он вернулся с газетой: экстренный выпуск — смерть Ленина. Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные многоверстовые очереди к Колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят, — это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. «Они пришли жаловаться Ленину на большевиков, — сказал Мандельштам и прибавил: — Напрасная надежда: бесполезно».

Горели костры, и мы подходили греться — на мне было драповое пальто, лучшее в моей жизни, одно на все сезоны. Мандельштам уже хотел вести меня домой, чтобы я не превратилась в сосульку, как произошел неожиданный случай: по площади прошел Калинин. Вожди еще не разучились ходить пешком. К нему бросились какие-то комсомольцы, требуя, чтобы их провели поскорее. «Требуют себе привилегий», — сказал кто-то из моих спутников. Калинин отогнал комсомольцев обыкновенным здоровым матом. Реакция Калинина нас не удивила — мы еще считали вождей обыкновенными людьми, способными на обыкновенные слова. Нас скорее поразило то, в каком темпе они стали терять человеческие черты.

С Калининым было несколько спутников. Один из них заметил нас — мы стояли в нескольких шагах — и подозвал. Без блата не обошлось — мы прошли с Калининым, нас пристроили в движущуюся очередь, и мы продефилировали мимо гроба. Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве: какая она древняя, будто хоронят московского царя. Похороны Ленина были последним всплеском народной революции, и я видела, что его популярность создавалась не страхом, как впоследствии обожание и обожествление Сталина, а надеждами, которые возлагал на него народ. Единственный раз за всю мою жизнь Москва добровольно вышла на улицы и построилась в очереди. Люди стояли терпеливо, молча, мрачно. Нигде не было давки, ни малейшей тени Ходынки. Комсомольцы, которых покрыл Калинин, стояли на подступах — в особой короткой очереди для делегаций. Они требовали для себя не просто привилегий, но особых. Начиналась новая жизнь, и такие организованные группы, вероятно, и создали катастрофу на похоронах Сталина: все хотели обскакать соседа хоть на полноздри, хоть на целое ухо... Этого я уже не видела, потому что была далеко от Москвы.

С Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним — он несколько раз приезжал в Москву по своим кожевенным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре, а мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Эмильевича. В то время переводческий центр переместился в Ленинград и хозяином переводов стал Горлин, сидевший в Доме книги против Казанского собора. В Москве мы доедали последние остатки Барбюса, нудные рассказы которого буквально отравляли нам жизнь, да еще Барбье. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу приезжие родственники. Так подготовлялся наш переезд в Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался «чистым корабельным линиям города». Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись, Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж, но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестных комнаты на Морской, нечто вроде гарсоньерки, перевезли мебель из Москвы — палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева, что-то докупили в Ленинграде — город был завален брика-браком — и зажили среди красного дерева, корня карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая «удачи»...

Одна беда: в нашей гарсоньерке не было двери. Она, вероятно, отделялась от передней ковром, а может, дверь стопили в голодные годы — в железной печке-«буржуйке». Мы нанимали одного плотника (или это столяры?) за другим, но они исчезали, пропив аванс, пока какой-то чудак не соорудил нам нечто из некрашеных досок такой невероятной грубости, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчалось и не лезло в глаза. Петербургский мастеровой разучился работать и презирал нового заказчика.

Так начиналась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка в гости к Бенедикту Лившицу, где процветал Кузмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождали Юркун и по-старомодному жеманная, но миленькая Арбенина. Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом, и я убедилась в его неправдоподобной правдивости. Приближался Новый год. К нам пришли встречать Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Синани, случайно приехавшие из Москвы. В общем мы жили одиноко, ни с кем не сходились, а Мандельштам радовался, что у меня наконец есть милый дом и серые боты, которые ходят по Гостиному двору. Мандельштам писал стихи, не предвещавшие беды, шел новый январь, и вдруг все перевернулось.

Пограничная ситуация

В середине января 25 года Мандельштам встретил на улице и привел ко мне Ольгу Ваксель, которую знал еще девочкой по Коктебелю и когда-то по просьбе матери навестил в институте. Ольга стала ежедневно приходить к нам, все время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня — институтские замашки, думала я, — и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чем, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал. В начале этой заварухи я растерялась. Избалованная, я не верила своим глазам. Обычная ошибка женщины — ведь вчера еще он минуты не мог обойтись без меня, что же произошло?.. Ольга прилагала все усилия, чтобы я скорее все поняла и встала на дыбы. Она при мне устраивала сцены Мандельштаму, громко рыдала, чего-то требовала, обвиняла его в нерешительности и трусости, настаивала на решении: пора решать — долго ли еще так будет?.. Все это началось почти сразу, Мандельштам был по-настоящему увлечен и ничего вокруг себя не видел. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь, но я тогда узнала, что такое разрыв. Ольга добивалась разрыва, и жизнь повисла на волоске.

В Ольге было много прелести, которую даже я, обиженная, не могла не замечать, — девочка, заблудившаяся в страшном, одичалом городе, красивая, беспомощная, беззащитная... Ее бросил муж, и она с сыном целиком зависела от матери и отчима, который, видимо, тяготился создавшейся ситуацией. Его я никогда не видела, и Ольга про него почти ничего не говорила. Всем заправляла мать, властная и энергичная женщина, и делами дочери занималась тоже она. Она вызывала к себе Мандельштама и являлась к нам для объяснений, при мне уточняя и формулируя требования дочери.

Она настаивала, чтобы Мандельштам «спас Ольгу» и для этого немедленно увез ее в Крым — «там она к вам привыкнет, и все будет хорошо»... Это говорилось при мне, и Мандельштам клялся, что сделает все, как требует Ольга. Он ждал большой получки из Госиздата и к весне собирался отправить меня в Крым. Об этом Ольга узнала в первый же свой приход и сказала, что тоже хочет на юг, и я ей тогда предложила ехать вместе. Поэтому однажды, когда мать говорила о «спасении» Ольги, я вмешалась в разговор и сказала, что еду весной в Ялту и предлагаю Ольге ехать со мной. (Мать называла ее Лютиком, простым желтым цветочком.) Вот тут-то мать Ольги огрела меня по всем правилам. Искоса взглянув на меня, она заявила, что я для нее чужой человек, а она разговаривает о своих семейных делах со старым другом — Мандельштамом. Это была холодная петербургская наглость, произнесенная сквозь зубы. Я не представляла себе, что настоящие светские дамы (она была фрейлиной при дворе) так открыто устраивают дела своих дочерей. Для матери после катастрофического падения ее круга Мандельштам представлялся, вероятно, выходом, если не постоянным, то хоть временным. По нашей кукольной гарсоньерке она, я думаю, считала Мандельштама лучшим добытчиком, чем он был на самом деле. Ольга рвалась на юг именно с Мандельштамом. Я им мешала, и они с матерью торопили меня, иначе все эти разговоры не велись бы в моем присутствии. Я до сих пор не понимаю, почему в ту минуту я не встала и не ушла. Мне и сейчас жаль, что я этого не сделала, хотя именно такой поступок был бы на руку бывшей фрейлине. Я помнила, что я хозяйка, а она сидит у меня за столом и пьет чай. Скандалов я не переносила, но забыть этой минуты не могу и сейчас. Я взглянула на Мандельштама. У него был рассеянный и странный вид, словно он все пропустил мимо ушей, а ведь обычно он остро реагировал на всякую небрежность по отношению ко мне. Когда мать Ольги ушла, я упрекнула его, что он позволяет так обращаться со мной. Реакция была нулевая. Встреча с матерью произошла днем. В тот же вечер пришла Ольга, спросила, как мы «провели время с мамой», рассмеялась и увела Мандельштама. На прощанье она поцеловала меня и почему-то всплакнула...

Я поняла, что надо искать пристанища. Больше я матери Ольги не видела: узнав по телефону, что она придет, я уходила. Иногда у меня бывала высокая температура, я клала градусник в футляр, не спустив его, надеясь, что Мандельштам, всегда смертельно боявшийся за меня, проверит и посмотрит. Этого не случилось. Больше того — мне иногда приходилось лежать. Вспышка туберкулеза была настолько острой, что меня валило с ног. Мандельштам, уходя с Ольгой, напоминал мне, чтобы я не забыла измерить температуру и ни в коем случае не вставала. Однажды отец Мандельштама зашел навестить меня. Он с одобрением посмотрел на Ольгу и, когда они ушли (они всегда уходили), сказал: «Вот хорошо: если Надя умрет, у Оси будет Лютик...» Я не обидела старика, но вдруг вспомнила, что мать Мандельштама умерла, узнав, что ее муж завел себе любовницу. Мне стало страшно — я вдруг почувствовала, что в сыне есть что-то отцовское. Точно так меня охватывал ужас, когда я видела брата Мандельштама Евгения. Но я знаю, что была несправедлива к своему Оське: это был совсем иной человек, и если в нем были родовые черты, он сумел их победить. Во всяком случае, трудно себе представить более противоположные натуры, чем два брата — Осип и Евгений.

В те годы развод или разрыв был осложнен тысячами препятствий бытового характера: жилищный кризис. Разведенные и переженившиеся годами ютились в одной комнате. Я на это идти не собиралась, и почти сразу нашелся человек, который позвал меня к себе. Он не стал бы отбивать жену у

Мандельштама, но для него ситуация была не менее ясной, чем для меня. Заходя ко мне, этот человек, по имени Т., не раз видел, как Мандельштам уходит с Ольгой и какой у нее при этом торжествующий вид. (На языке того времени это называлось, что Мандельштам «завел себе девочку».) Более опытный и наблюдательный, чем я, Т. сразу понял, что Ольга принадлежит к породе женщин, которые «самоутверждаются», унижая противницу. Он уговаривал меня поспешить с уходом и рвался поговорить с Мандельштамом, а я почему-то медлила, сидела у камина, глядела на тлеющие угольки и думала, не лучше ли совсем уйти из жизни, чем связываться с Т. и начинать все сначала... Мысль о смерти была мне свойственна. Я смотрела на смерть как на освобождение. Толчком к этим мыслям была не любовь к Мандельштаму. Любить я еще тогда никого не умела. Т. в каких-то отношениях был мне близок, но ничего похожего на любовь к нему я не испытывала. Больше всего я тогда хотела остаться одна, и прошло бы немало времени, пока я выбрала бы себе нового мужа...

Однажды Мандельштам при мне сговорился, что приедет к Ольге после Госиздата. Ольга потребовала, чтобы он передал мне трубку, и сказала, что «вечером мы с Осей зайдем навестить вас». Я запомнила противную деталь: Мандельштам спросил, принесла ли прачка белье, рассердился, узнав, что нет еще, послал домработницу за бельем, переоделся и ушел. Это и послужило окончательным толчком — я позвонила Т., чтобы он пришел за мной, сложила чемодан — пригодилось, что прачка принесла белье, — и приготовилась к отъезду. На столе лежала прощальная записка о том, что ухожу к Т. и никогда «к тебе не вернусь».

Я сидела у вечного камина и ждала Т., но совершенно случайно Мандельштам забежал домой — то ли забыл дома кошелек, то ли Горлин дал ему много книг на рецензию и ему не захотелось таскать за собой тяжелый портфель. Во всяком случае, его приход был совершенно непредвиденным обстоятельством, вторгшимся в нашу судьбу. Он сразу увидел чемодан и взбесился. Пришел Т., Мандельштам выпроводил его: «Надя останется со мной». Я сказала, что еще ничего не решила, но прошу его пока уйти. Т. печально ушел, а в передней пожаловался Мандельштаму, что ему уже сорок лет, а у него нет жены... Этот бедняга так обращался со своими женами, что они неизбежно бросали его. Я это знала, но готова была бежать куда глаза глядят.

Моя записка насчет ухода к Т. была в руках Мандельштама — он прочел ее и бросил в камин. Затем он заставил меня соединить его с Ольгой. Он хотел порвать с ней при мне, чтобы у меня не осталось сомнений, хотя я бы поверила ему без примитивных доказательств. Простился он с Ольгой грубо и резко: я не приду, я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда... И дикая фраза, врезавшаяся мне в память: «Мне не нравится ваше отношение к людям...» Я не знаю, на что были ответом эти слова, но я вырвала у него из рук трубку, услышала плач, но он нажал рычаг, и нас разъединили. Мне и сейчас странно, что Мандельштам только во время объяснения насчет чемодана — еще до прихода Т., который явился, может, через четверть часа после него, — сообразил, каким издевательством были все визиты Ольги ко мне, ее поцелуи и слезы и скандалы и сведение счетов с Мандельштамом в моем присутствии... Я сказала ему: «Хватит Ольге издеваться надо мной» — и потом, когда он схватил записку, я повторила написанные мной слова — ухожу и не вернусь... История с Ольгой подарила меня новым знанием: страшной и слепой власти над человеком любви, потому что с Ольгой было нечто большее, чем страсть. Через много лет он мне сказал, что в жизни он только дважды знал настоящую любовь-страсть — со мной и с Ольгой.

Как несколько часов назад Мандельштам не слышал и не видел меня, так теперь он не замечал Ольгу и не обратил ни малейшего внимания на ее плач. Он выбежал в гостиницу — почти рядом с нашим домом, где накануне был с Ольгой и откуда она собиралась вечером прийти ко мне. Там лежал его паспорт, который ему нужно было забрать, потому что он решил немедленно меня увезти. Вернувшись, он сунул принесенное от прачки белье в свой чемодан, схватил мой, сложенный совсем с другой целью, и увез меня в Царское. Меня и сейчас удивляет его жесткий выбор и решительность в этой истории. В те годы к разводам относились легко. Развестись было гораздо легче, чем остаться вместе. Откуда у него хватило сил и желания так круто все оборвать? Быть может, ревность при виде Т. — он был до ужаса ревнив победила в нем любовь к Ольге? Какую-то роль сыграло, вероятно, и то, что в роли требующей, плачущей и упрекающей стороны очутилась не я, а Ольга, хотя такая роль достается обычно не любовнице, а жене. Мы с ней как бы поменялись ролями, а я молчала, скорее всего, потому, что понимала всю безнадежность разговоров. Он попросту меня не слышал, и все мои упреки пропали бы даром. Я только подозреваю одно: если бы в тот момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи еще не были бы написаны, он, возможно, дал бы мне уйти к Т. Это один из вопросов, которые я ему не успела задать. Зато он мне признался, что у него с самого начала сложился совершенно мальчишеский план, как меня вернуть, если я обижусь и не захочу с ним жить. Он решил достать пистолет, впрочем, тогда были револьверы, и стрельнуть в себя, но не всерьез, а только оттянув кожу на боку. Рана бы выглядела страшно — столько крови! — опасности же никакой — просто порванная кожа... Но я бы, конечно, не выдержала, пожалела самоубийцу и вернулась... (В этом он, пожалуй, ошибается.) Такого идиотизма даже я от него не ждала, а то, как он задумчиво и серьезно поведал мне свой план, до сих пор вызывает у меня смех — откуда только берутся такие хитрецы!..

Прошло несколько лет, Ольге все же удалось съездить на юг, но не с Мандельштамом, а с его братом Евгением. Видно, женщины уже тогда упали в цене, если такая красотка не сразу нашла заместителя. После поездки она снова явилась к нам — мы жили тогда в Царском Селе в лицее. Она снова плакала, упрекала Мандельштама и звала его с собой. Как и раньше, это происходило при мне. Я сидела в кресле у стола и, когда она неожиданно вошла, отодвинула кресло от стола, так что очутилась сидящей среди комнаты — лицом к двери, в которую она вошла, незваная и негаданная... Это была нелепейшая позиция. Мандельштам, расхаживающий по комнате, при виде Ольги застыл на месте возле моего кресла. Он молча слушал ее слова, и я заметила напряженно-застылое выражение на его лице. Это было то выражение, которое я не раз замечала на Морской в дни нашей драмы или мелодрамы... Оно кольнуло меня, а Ольга, показывая на меня пальцем, спросила: «Что, вы навсегда связались с ней? На что она вам?» Я резко встала, чтобы уйти. Мандельштам положил мне руки на плечи и силой заставил меня опять опуститься в кресло. Он был силен и по-свински злоупотреблял тем, что я «не вытягивала»... Лицо его приняло нормальное выражение, и он холодно и вежливо сказал: «Мое место с Надей». Он протянул руку Ольге и простился с ней. Она вынуждена была уйти и впервые ушла от нас одна... После ухода Ольги я закатила Мандельштаму сцену по всем правилам женского искусства, хотя он вел себя безупречно и моей истерики не заслужил. Должно быть, этой сценой я компенсировала себя за молчание на Морской. Она вырвалась помимо моей воли, и непривычный к сценам Мандельштам от удивления не знал, что делать. Впрочем, примирение наступило очень быстро.

Примирению способствовало и то, что из слов Ольги я поняла, что они впервые видятся после разрыва. Мандельштам не преминул, утешая меня, когда я бушевала, швыряла в него, что попадалось под руку, и ревела во весь голос, напомнить мне об этом: «Ты не верила, а слышала, что она сказала...» Я ему действительно не верила: он подолгу жил один в Петербурге, когда я болела в Ялте (туда написано большинство писем ко мне). Как мог он после гадкого прощания по телефону так решительно поставить точку и ни разу не встретиться с ней? Я была совершенно равнодушна к Т., но все же нашла случай повидаться с ним и сказать несколько утешительных слов. Мы оба действовали по собственным концепциям романа. Решительный выбор и острый разрыв — романтическая концепция Мандельштама, а моя — попытка очеловечить эти отношения. Через несколько лет Мандельштам еще больше удивил меня диким поведением с М. П., которая на минутку втерлась в нашу жизнь благодаря Ахматовой[9]. (Он даже просил меня не ссориться из-за этого с Анной Андреевной, чего я не собиралась делать.) Две-три недели он, потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он бы ушел и жил только новой любовью... Ахматова уехала, М. П. продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них «литературные разговоры». Раз или два он ушел из дому, и я встретила его классическим жестом: разбила тарелку и сказала: «Она или я...» Он глупо обрадовался: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Позвонил М. П., которую я пригласила раньше к обеду, сказал, чтобы она не приходила, и произнес ту самую фразу: «Мне не нравится ваше отношение к людям...» На следующее утро М. П. явилась к нам.

---

[9] *Первоначально было*: В нашей жизни на минуту промелькнула Мария Петровых, которую очень любила Ахматова. В какой-то степени Мандельштам глядел на нее глазами Ахматовой.

(Ахматова пишет о том, что Мандельштам «был бурно и безответно влюблен»... Все, что он делал, было бурно, а М. П. была из «охотниц» и пробовала свои силы, как все женщины, достаточно энергично.) Он не нашел ничего лучше, как привести ее к себе в комнату, где я, успев примириться с ним, спала в его постели... Состоялся какой-то предельно нелепый общий разговор. М. П. ушла, а я набросилась на Мандельштама, что он так безобразно поступил. (На М. П. у меня не было никаких оснований сердиться — девчонка, пробующая свою власть над чужим мужем и не рыдающая при его жене.) А он ликовал, что дал ей понять, где он и с кем он... Я всегда удивлялась странному устройству мужской психики в страшных делах любви и пола, но у Мандельштама была такая дикая и спонтанная непредвиденность поступков, что его любви ко мне, его глубокому увлечению Ольгой и случайному головокружению от М. П. я не перестаю удивляться и сейчас. (М. П. было написано два стихотворения, одно из которых потеряно, и три письма — «о любви и смерти», как сказал Мандельштам. По ее словам, письма она уничтожила. Честно говоря, мне жалко этих писем — они были, наверное, прекрасны.) Мы мало прожили вместе и потому мало в чем могли упрекнуть друг друга. Если бы Мандельштам был богат или хоть благополучен, возможно, искушений возникло бы гораздо больше и он, соблазнившись под старость цветами жизни, ушел бы, оставив мне на столе записку, что все было ошибкой. Чего бы только я не отдала за этот вариант катастрофы. И я отлично представляю себе, как текут мои жалобы на горестную измену и я перечисляю все принесенные мною жертвы, которые были забыты, не учтены и поруганы... Поразившись количеством стариков, бежавших от старых жен, я спросила как-то Ахматову: неужели и меня бы бросил Оська?.. Конечно, твердо сказала она. Женя Пастернак тоже считала себя незаменимой, а ведь Борис бросил ее... По ее теории, мужчина, прожив семь лет с женщиной, оскудевает и бежит. Я не уверена, что закон, найденный ею, непоколебим, но мне обидно, что период цветения и способности бежать у женщин кончается гораздо раньше, чем у их партнеров. Вероятно, все же надо иметь детей, чтобы на старости не остаться одной, но я заметила, что и дети далеко не всегда соглашаются возиться с нудными старухами. Мне иногда приходит в голову, что мое поколение напрасно разрушало брак, но все же я предпочла бы остаться одной, чем жить в лживой атмосфере старой семьи. Твердо уверена я только в одном: нельзя жить вместе, если потеряна внутренняя связь, и нет ничего страшнее, чем то, как насильственно отрывают людей друг от друга, чтобы превратить их в лагерную пыль или удушить в газовой камере. Все остальное — нормальные горести несовершенных созданий, именуемых людьми. Мне рассказывали, что однажды к Эренбургу явилась сумасшедшая старуха, которая, стоя на пороге, вопила: «Отдайте мне мою семейную жизнь...» Ее еле спровадили. Я чувствую себя этой старухой, но вместо ее формулы употребляю просто имя того, кто был моим «ты».

Ольга Ваксель покончила с собой в Осло. Она вышла замуж за норвежца, с которым встретилась в «Астории», где работала подавальщицей, когда у нее ничего не вышло с кино (она училась в Фэксе у Козинцева). В стихах в память Ольги говорится про стокгольмскую могилу. Мандельштаму неправильно сказали, что она умерла в Стокгольме. Сообщил ему об этом на улице — мы шли вместе странный человечек, петербургский чудак, которого Ольга часто упоминала как своего поклонника. Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикие эротические мемуары. Страничка, посвященная нашей драме, полна ненависти и ко мне, и к Мандельштаму. Тон, которым написана эта страничка, скорее вызывает в памяти голос ее матери, чем ту девочку, которая приходила ко мне плакать и отбирать Мандельштама. В своих мемуарах она сводит счеты, и только одна фраза Мандельштама про извозчиков («извозчик — друг человека») показывает, что она все-таки что-то заметила и запомнила о смешном человеке, который жаловался в стихах, что «жизнь упала, как зарница, как в стакан воды ресница, изолгавшись на корню»... Она обвиняет Мандельштама в лживости, а это неправда. Он действительно обманывал и ее и меня в те дни, но иначе в таких положениях и не бывает. Не понимаю я и злобы Ольги по отношению ко мне. Мне кажется, что я не стала бы ее ненавидеть, если б Мандельштам ушел к ней навсегда. При чем она здесь? К нему я могла бы еще предъявить какие-то претензии — любил и разлюбил... Но кто за это судит? И все же я никогда не забуду диких недель, когда Мандельштам вдруг перестал замечать меня и, не умея ничего скрывать и лгать, убегал с Ольгой и в то же время умолял всех знакомых не выдавать его и не говорить мне про его увлечение, про встречи с Ольгой и про стихи... Эти разговоры с посторонними людьми были, конечно, и глупостью и свинством, но кто не делает глупостей и свинства в таких ситуациях? Пустой взгляд и пустые слова, которыми мы тогда обменивались, и сейчас ранят меня. Ведь я тогда впервые узнала, что любовь не радость и не игра, а непрерывающаяся жизненная трагедия, извечное проклятие этой жизни и могучее ее содержание.

В своих мемуарах Ольга ничего не пишет, с кем она поехала на юг. Евгений Эмильевич, брат и заместитель Мандельштама, видно, ей не понравился. В этом я вполне ей сочувствую. Мне еще обидно, что она называет Мандельштама переводчиком, а не поэтом. Глупая девочка, она горела местью и поступила, как советская литература, переименовав его в переводчики...

Мне все же хочется понять, что связывало нас с Мандельштамом. Быть может, это называется не любовью, а судьбой? Но какая же это судьба, если все могло разорваться в один миг? Если б я тогда ушла к Т., Ольга, несомненно, тут же переехала бы в мою гарсоньерку, Мандельштам не стал бы доставать револьвер, чтобы стрельнуть себя в оттянутую на боку кожу, а я бы ни за что к нему не вернулась. Все решилось из-за чистой случайности возвращения домой Мандельштама, когда я его не ждала или, точнее, ждала не его. И встреча наша была случайной, а связь до ужаса неразрывной[10]. В дни, когда мы вместе уехали из Киева, я не представляла себе, во что все это обернется. Пока мы жили вместе, я думала, что все же наступит конец, потому что у любви есть начало и конец. Когда его увели, я поняла, что конца не будет, но еще не представляла себе, что пройдет полстолетия с нашей встречи, а наша связь не оборвется, хотя в какой-то момент все висело на ниточке. Я мучительно верю, что конца вообще не будет, но боюсь верить, пытаюсь разубедить себя, но вера не покидает меня. С ней я доживаю жизнь и никогда не узнаю, оправдались ли мои надежды и моя вера, потому что здесь об этом не дано знать, а можно только верить, а там, когда все станет ясно, все будет иначе — не так, как здесь...

У меня есть еще один вопрос, на который нет ответа: почему в тот миг Мандельштам выбрал меня, а не Ольгу, которая была несравненно лучше меня? Ведь у меня есть только руки, сказала я ему, а у нее есть всё... Мы оба в ту минуту забыли про «нежные руки Европы — берите всё», и он спросил меня, откуда я знаю про руки, и, конечно, прибавил, что без них жить не может. А я отлично видела, как он обходился и без моих рук, и без меня.

---

[10] *Далее следовало*: Мы изредка против нее бунтовали, но ничего поделать не могли. Я как будто знаю, что нас связывало, и вместе с тем не понимаю. Одно ясно: расстаться нам было не дано.

У меня есть одно совсем не лестное объяснение, почему выбор пал на меня. Человек свободен и строит не только свою судьбу, но и себя. Именно строит, а не выбирает. Мандельштам был активным строителем, и я не мешала ему строить себя и быть самим собой. Он строил себя, а заодно и меня. Вернее, вместе с собой и меня и потому нуждался в деле своих рук, а не в моих руках. Хорошо, что ибсеновские проблемы казались тогда уже никчемными и смешными, не то я внезапно обиделась бы на неуважение к моей личности и ушла от Мандельштама, как какая-нибудь провинциальная Нора, про которую я, кстати, не удосужилась прочесть. Интересно, как распухает от важности женщина, когда вдруг почувствует себя достойной уважения. Такой прыти за мной не числилось, и очень хорошо: не тем люди живы. Они живы совсем другим — за это я ручаюсь головой, пока она у меня на плечах.

Нищий

В марте 25 года, насильно увезенная из своей милой, но опоганенной квартирки, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском Селе. Петербуржцы, заявил Мандельштам, ездили объясняться в Финляндию, теперь Финляндии нет, приходится довольствоваться Царским... Первую ночь я металась и умоляла отпустить меня на волю: зачем я тебе?.. Зачем ты держишь меня?.. Зачем так жить — как в клетке?.. Отпусти... Я не раз молила его отпустить меня на волю, но в ту ночь особенно настойчиво. Бегство к Т. сулило свободу и, может, возвращение к живописи, хотя я уже понимала, что в ней я случайный гость (почти все, кто занимается поэзией и живописью, делают это из самоуслады и принадлежат к категории случайных гостей). Мало того, неудача давала мне право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется, а Мандельштам это право начисто отрицал. Ему в Москве донесли, что я раздобыла пузырек с морфием и держу его на случай жизненной неудачи. Он силой отобрал его у меня, хотя я царапалась, как кошка, и вырвал обещание нового не заводить. Будь у меня мой пузырек, я бы использовала его на Морской вместо того, чтобы сидеть у камина. Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит.

Для меня все же остается один вопрос: не оправданно ли самоубийство, если оно дает возможность избежать не только мерзости наших лагерей и тюрем, но и пыток, под которыми люди оговаривали кого попало? К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства. Мне кажется, что, умри я первая, Мандельштам бы без меня долго не прожил; в нем было что-то от зверька, который так мечется в клетке, что разбивается насмерть. Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него? Чтобы оказаться такой стойкой, надо было вместе пройти весь путь и видеть, как травят моего зверя. В 25 году ни близости, ни стойкости еще не образовалось, и я рвалась на волю. Он же только молил: не губи нашей жизни...

В моей тяге на волю живопись была только предлогом. Мандельштам успел мне внушить: если человек не работает, значит, ему нечего сказать, внешние помехи только отговорка пустопорожних болтунов. От него я впервые услышала, что нужно иметь, «что сказать». Остальные говорили только потому, что им хотелось говорить. Я понимала, что он прав, но пыталась заткнуть уши. Во всем, чего он требовал от меня, была мысль, был внутренний стержень, а у всего моего поколения только тяга к легкой жизни и к легковесной свободе. В наших ссорах и спорах я никогда открыто не сдавалась, но не могла не чувствовать его внутреннюю правоту. Однажды в Москве я сидела на Тверском бульваре и плакала от какой-то очередной обиды. Со мной был Клима Редько, художничек из моего киевского табунка. Он жил с богатой дамой-покровительницей и тут же придумал выход, как избавить меня от Мандельштама: «Идем со мной, — сказал он, — я заставлю ее взять и вас...» «Она выгонит нас обоих», — возразила я. Климочка знал себе цену: «Попробует только! Идем...» — «А ведь Оська прав», — неожиданно сказала я и, оставив ошарашенного Климочку посреди бульвара, ушла в свое логово, где меня ждал разъяренный Мандельштам. В Москве речь шла о чем-нибудь вроде «ты» и «вы», но в Царском была права я. Мандельштам соглашался, что он кругом виноват, и только повторял, что наша жизнь дороже и важней всех метаний и ошибок: «Пойми это...» — «Как смел ты допустить, чтобы Ольга приходила издеваться надо мной? Чего еще от тебя ждать?.. Отпусти...»

Наутро в нашу комнату вошла Мариэтта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться. Выяснилось, что она наша соседка и живет в соседней комнате за тоненькой переборкой. Не будь она глуха как тетерев, ей поневоле пришлось бы узнать уйму вещей, которых я не открываю и в этих откровенных записках. Нам здорово повезло, что рядом очутилась именно она, глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гёте и находившая прямую связь между штейгерским молотком и полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны. Хоть и глухая, Мариэтта почуяла что-то неладное и надавала кучу советов. Основной совет: пореже принимать ванны, потому что современная медицина против ванн. Второй совет: довериться ее другу, замечательному врачу, и влюбиться в него. Между прочим вопрос, знакома ли я с ее мужем (армянки ревнивы). Через час она привела врача, у которого был вид факельщика. Он цедил многозначительные слова, а я так нафыркала на него, что Мандельштам дал мне по голове, и мы опять рассмеялись. Вскоре Мариэтта уехала со своим замогильным спутником, и мы окончательно развеселились.

В тот же день произошло еще одно событие: приехал Пунин, искавший, куда бы пристроить Ахматову, — у нее началось обострение туберкулеза, предвестник петербургской весны. Он обрадовался, встретив нас, и обещал на следующий день привезти Ахматову. Мандельштам не поверил — она не приедет. У Ахматовой был дар ускользать от друзей. Я это знаю и по себе: как будто мы были очень нужны друг другу, с трудом расстаемся, а потом — ни слова, ни звука, ничего... А Мандельштаму в давние годы она вдруг сказала, чтобы он пореже бывал у нее, и он взбесился, потому что никаких оснований не было. Она же объясняла этот поступок — приличием («Что скажут люди?») и заботой о мальчике («А что, если бы он в меня влюбился?»)... Мандельштам называл это «ахматовскими фокусами» и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Для меня «фокусы» назывались «старомодными петербургскими штучками». Я находила их и у Мандельштама. В начале нашей дружбы, проведя весь день со мной, примелькавшись всем прохожим, знакомым и незнакомым, он подходил ко мне в «Хламе» и церемонно здоровался. Так полагалось у них в «Собаке», но в моем вольном поколении казалось смешным и глупым. Что, собственно, скрывать? Я могла бы пощадить родителей, но они старательно ничего не замечали, лишь бы я от них не ушла. Игра в тайну быстро провалилась.

А в Царское Ахматова все-таки приехала, и ее приезд таинственным образом снял наши раздоры. Она тут же собрала всю информацию: кое-что ей рассказал Мандельштам, конечно, я, да еще Т., который так и не сообразил, что был втянут в эту историю только из-за жилищного кризиса. Она всем посочувствовала, повздыхала, но никаких советов не дала. Умница, она знала, что советов давать не надо. Я очень ценю последнюю формулу Ахматовой: «Пускай сами разбираются со своими бабами».

До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, о чем я расскажу попозже, да еще раз она приходила к нам на Морскую — осенью 24 года, когда мы только переехали из Москвы. Она застала меня одну — Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдруг хватилась, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее: «Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай...» Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась: «И я побежала, как послушная тёлка...» Ей надоел «большой сюсюк» женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами. Хорошо, что я погнала ее, а не Радлову. Та бы повествовала о наглых одесситках, которых привозят в священный город незадачливые поэты.

Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Хозяин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к фининспектору, спасая свое частное предприятие от полного разорения, и мы часами ждали, чтобы он вернулся и накормил нас. Частный сектор в нашей стране изничтожался как в литературе, так и в поварском деле, а казенная пища, как и литература, вызывает несварение желудка. В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его. Дольше всех держался пансион, хозяева которого были родственниками Урицкого. (Туда-то и ушла наша баптистка-повариха.) Для того чтобы держать крошечный пансиончик, требовались связи с правительственными кругами. В 37 году все рухнуло — родственников Урицкого пересажали, как и вообще всех... Одну из них, жену поэта Спасского, обвинили в том, что она хотела взорвать памятник своему дяде, а такого памятника вообще не было. Следователи, конечно, с разрешения высоких инстанций «забавлялись» зловещими шутками. Особенно страшно это проявлялось в Ленинграде. Сам Спасский тоже «уехал», как член террористической группы, возглавляемой ни более ни менее как Фадеевым и еще кем-то — не то Алексеем Толстым, не то Тихоновым. Ассоциативные ходы советской женщины всегда ведут к одной и той же теме...

Прогоравший повар по возвращении жарил на крошечных сковородках удивительные котлеты, блинчики или телячьи отбивные, и мы наслаждались его искусством. Возродиться ему не суждено. Говорят, оно на ущербе во всем мире, но нигде оно не падало так стремительно, как у нас. С поэзией тоже обстоит плоховато, но последние поэты держались до последнего издыхания.

Терраса еще была завалена сугробами подтаявшего снега, но солнце уже чуть грело сквозь грязные стекла, на которых накапливалась пыль с семнадцатого года. Мы с Ахматовой непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. В те годы Ахматова не знала страха смерти, и он охватил ее в последнее — такое мирное! — десятилетие жизни. Я и сейчас не знаю этого страха и не верю, что он когда-нибудь проймет и меня. Неужели все подвластны ему?.. На царскосельской террасе жизнь в нас еле теплилась. Мы обе были такие слабые, что еле передвигали легкие шезлонги, когда к нам подбиралось солнце. Нам велели сидеть только в тени и остерегаться даже мартовского солнца. Все было под запретом для нас, таких молодых, слабых и веселых... Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас. Мы отдразнивались. «Все они хороши, когда женихи», — вспоминала об этой поре Ахматова, подыгрывая под бойкую бабенку. Роман с Пуниным был в самом цвету. Ее вещи еще находились в Мраморном дворце в комнатах Шилейко, переехавшего в Москву. Пунин собирался перевезти барахло на Фонтанку, где жила его жена с дочерью. Ахматова была в смуте. Она как-то напугала Мандельштама, когда, идя к себе в комнату, вдруг остановила его и сказала: «Не уходите — с вами все-таки легче...» Он рассказал мне про это, удивляясь (мы всегда удивлялись друг другу): «Чего она дурит? С Пуниным у нее все в порядке, а она изображает раненую птицу...» Ему всегда казалось, что все в порядке, а на самом деле в нашей жизни ничего похожего на порядок не было.

Однажды к нашей террасе пробрался совершенно изнеможенный нищий. Он шел с трудом, проваливаясь в чуть подтаявший снег. Это произошло в первые недели или даже дни нашей царскосельской жизни, потому что потом наши шезлонги выносились на сухой асфальт перед домом — во дворик. Мы высыпали нищему все, что было у нас в сумочках, стыдясь скудости подаяния, а он ушел, пораженный нашей щедростью. Эпизод с нищим оказался началом настоящей, а не календарной дружбы между нами, потому что я призналась, как щемит у меня сердце при виде нищих — долго ли моему отцу, матери, братьям и сестре до того, чтобы пойти с протянутой рукой?.. На эти слова она откликнулась сразу: ее мать и сестра погибали где-то на юге, а братья, Виктор и Андрей, исчезли. Не помню, дошла ли до нее уже весть о самоубийстве Андрея, но мы часто говорили с ней о нем. Я как-то жила с отцом в Севастополе, а он повадился ходить к нам и мне, еще подростку, рассказывал про сестру, про ее брак и развод с Гумилевым. С его слов я знала, что в семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи... Про второго брата, Виктора, ей сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой; тела сбросили с мола в море, а наутро море было спокойное и прозрачное и на дне лежали еще не всплывшие трупы. Подобных рассказов ходило множество — кто их проверит? Но к двадцати годам я уже видела столько трупов и убийств, что не хотела глядеть на Божий мир.

Надо прожить нашу жизнь, чтобы узнать одну истину пока трупы валяются на улицах и на больших дорогах, еще можно жить. Самое страшное наступает, когда уже не видишь трупов. Пока «по улицам Киева-Вия ищет мужа не знаю чья жинка», в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда «чья-то жинка», подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя.

К приходу нищего мы уже испытали немало: потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком Шилейко, а я — бродяжничая по стране. Мандельштам писал про себя: «Я, оборванец каторжного вида с разорванной штаниной...» Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну, потом все беженцы второй мировой войны, а про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово «доходяга» — смерть на ходу. Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленой печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья — депортированные и бежавшие из деревни в конце двадцатых годов — вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели и за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб?

«Дети, вы обнищали, до рубища дошли» — понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы, отец же умирал в 38 году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате — где и как он погиб? — и о насмерть испуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность — иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным, — горькую долю сестры и матери, разлуку с сыном, а также бедствия страны, людей, братьев. Моя мысль про нищего оригинальностью не отличается, но чувство принадлежит далеко не всему разворошенному муравейнику. Люди нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади. Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей, — считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди — в будущем — цветут розы. Только этим ощущеньем люди живы. Те немногие, которые чувствуют будущее, часто теряют способность жить настоящим, таким страшным видится им то, что предстоит. Ахматова, Кассандра, как ее назвал Мандельштам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя испытания и горести, хотя 25 год был еще сравнительно тихим. Мандельштам, а следовательно, и я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. (Я не могла.) Тревога чуть-чуть смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском (1924—1927). Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне: «это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий...» Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн...

Не из этого ли свойства человека происходят все миражи — хилиазм, культ Софии, теория прогресса и прочие оптимистические идеи? Сколько раз мы попадались на эту удочку, но и сейчас — в грозной тишине семидесятого года — люди тушат вспышки тревоги и надеются на будущее. А что сулит нам это будущее, которого я, слава Богу, не увижу?

Самой высшей точки вера в будущее достигла в середине двадцатых годов. Все, включая деревню, были поглощены одной мыслью: как бы наверстать потерянное и стать на ноги. Крестьяне, вставшие на ноги в двадцатые годы, были раскулачены и уничтожены на подступах к тридцатым. Раскулачиванье коснулось именно их, поднявшихся в нэп. Ведь прежних «богатеев» успели убрать еще до нэпа. Город не замечал деревни, хотя его порой наводняли толпы голодных — уже не крестьян, а нищих. Город хотел хлеба с маслом и неслыханно долго соблюдал благодушие. Верхушка новой интеллигенции, ставшая «кадрами», задалась одной целью: пробиться к неугасаемому государственному пайку, спрятаться за ограду, куда пускают не всех, а только избранных, где всегда сытно, пожалуй, сытнее, чем раньше. Спрятавшись за оградой, они переставали упоминать тех, кого уводили ночью из дому. Перенесенный всеми голод научил людей ценить сытость, а тем более — довольство. С первого дня у нас людей кормили выборочно — по категориям, согласно пользе, приносимой государству. Трогательные рассказы о правителях, живущих, как рабочие, сентиментальный блеф. В годы гражданской войны они жили скромно, но разница в уровнях соблюдалась всегда. Чем дальше, тем она больше, и уже к середине тридцатых годов их жизнь стала тайной. Они были вельможами, но не смели в этом признаться. А в нэп выделили группу ИТР, инженерно-технических работников, а писатели рыли землю, чтобы стать «инженерами человеческих душ» и получить свою долю. Что нужно было делать, чтобы добиться цели, ясно каждому. Они делали свое дело от всей души, и звание «инженеров» получено ими не зря. Об этом свидетельствуют груды книг и подмосковные дачи.

Каждому — свое. Мы свою нищету избрали сами. К тому же совершенно добровольно. По мере того как из испуганной девочки-Европы я превращалась в нищенку-подругу, крепли наши отношения с Ахматовой. Ведь отречение от внешних благ, от всего, что вызывает вожделение людей, было ей свойственно с ранней юности. Мандельштам отметил эту черту еще до революции: «В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед жены. Помните: «смиренная, одетая убого, но видом величавая жена»? Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России...»

Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она поэт отречения, а не любви? Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую руку (или наоборот — попробуй надень!), а главного не увидели. «В этой жизни я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для вас?» Это слова двадцатилетней женщины, и в них — мера, по которой следует расценивать ее поэзию.

Вот основной путь жизни. Все остальное по сравнению с этим — лишь второстепенные детали и дань человеческой слабости. Ведь все мы люди. Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами. Это упростило наши отношения и проложило путь к дружбе. Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь. С чужими-то и вообще ни курить, ни пить не следует.

А вот насчет Мандельштама — я сомневаюсь, что поступила правильно. Надо было уйти от него: как он смел любить кого-то, кроме меня? Дура я была, что не умела по-настоящему ревновать и скандалить. Скольких наслаждений я себя лишила...

Наш союз

В Царском Селе на террасе частного пансиончика без слов и объяснений был заключен наш тройственный союз и с тех пор никогда не нарушался. Я не могу сказать, что ничто его не омрачало. Правильнее выразиться так: что бы его ни омрачало, мы — все трое — оставались ему верны. Весь наш жизненный путь мы прошли вместе, сначала втроем, после смерти Мандельштама вдвоем, теперь я одна. «Зачем я тебе нужна?» — спрашивала я Мандельштама. Один ответ: «Я с тобой свободен», другой: «Ты в меня веришь». Через много лет после его смерти, сидя на скамейке в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров, которые боялись вести в квартире Ардовых, я услышала от нее те же слова: «Вы, Надя, ведь всегда в меня верили». Этим людям, твердо и смолоду знавшим свое назначение, нужна была дружба женщины, которую они сами научили с голосу схватывать стихи. Таково одиночество поэта, даже если он окружен людьми: один близкий и растворившийся в нем человек бывает ему нужнее, чем целая толпа почитателей, — у Ахматовой их всегда хватало, как и хулителей, — один настоящий читатель, вернее, слушатель дороже всех хвалителей.

Как случилось, что трое невероятно легкомысленных людей сохранили и через всю жизнь пронесли нерушимую дружбу и союз на все времена? Многие думают, что жизненная ставка Ахматовой — любовь, но эти связи рушились у нее, как карточные домики (она умела ревновать больше, может, чем любить), а напряженно личное, яростное отношение к Мандельштаму выдержало все испытания. Мандельштам легко завязывал дружбу и с мужчинами и с женщинами, но быстро терял интерес к своим временным друзьям. Меня даже пугало, как он охладевает на глазах к людям, с которыми только что ждал встречи, вел разговоры, жил общей жизнью. Он признавался, что в отношениях с людьми он — хищник, берет, что может, а затем отворачивается. (Так было и с его единственной влюбленностью — с Ольгой Ваксель, весь роман с которой уложился в два приблизительно месяца.) Одно время он любил поболтать с Эммой Герштейн, а потом я вдруг услышала: «Как быстро Эмма превратилась в тетку». С ней-то был не роман, а просто приятельство. Он выслушал все, что она могла сказать про марксизм, что заняло с месяц, а потом начал убегать от разговоров. Точно так было и с Кузиным, хотя тот исчерпывал свой золотой запас около года. Дольше держались шутливые дружбы — вроде Маргулиса — без разговоров, с одной болтовней, а также устоявшиеся, но к концу совсем пустые отношения с Нарбутом и Зенкевичем.

В оправдание Мандельштама я могу сказать только одно: люди не разговаривали, а только рассказывали, рассказов же хватало на короткий срок. Думать никто не хотел. Как в моем поколении, так и в поколении Мандельштама мысль иссякла слишком рано. Пунин говорил: «Я не вытягиваю за Мандельштамом». Он был умный человек, но резко остановленный. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведенья двадцатых годов, — о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали. Большинство людей, с которыми мы сталкивались, бурно самоутверждались. В просторечье это называется хвастаться. Такого разлива хвастовства, как в наших поколениях, представить себе нельзя. Те, которые дожили до нынешнего дня, продолжают заниматься тем же: несчастные старики, слишком мало сделавшие в жизни, раздуваются, как индюки, рассказывая о своих успехах и достижениях... Недавно я услышала, что Бобров, умный человек, к концу жизни затосковал, сообразив, что ничего не сделал.

Насколько это достойнее, чем идти на непрерывный самообман, как делают другие. В молодости они метили в гении, но слишком рано иссякли. Униженные и замученные люди, запутавшиеся, утратившие способность мыслить, непрерывно делали открытия и держали хвост трубой, чтобы не увидеть собственную пустоту. Ошметки рационализма, которыми они питались, страсть к новаторству и фейерверк двадцатых, а в значительной степени и десятых годов, плохая пища для мысли. Бедный Рудаков, когда мы познакомились с ним в Воронеже, твердил, что пишет книгу о поэзии, от которой у людей наконец-то откроются глаза, и при этом нес такую звонкую чушь, что я тихонько спросила Мандельштама: «Что ты думаешь про эту книгу?» Мандельштам ответил: «Пусть утешается, не обижай его».

Мандельштам с надеждой слушал рассказчиков и хвастунов, потом отступал и передавал их на мое попечение. Он все надеялся найти полновесную мысль, но это исключалось. Быть может, она где-то таилась и нам просто не везло. Я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой. Она называла Энгельгардта и уважала Томашевского. Их я не знала, но видела статью Энгельгардта о Достоевском и подумала, что здесь что-то было. Несомненно, многие затаились, а другие увяли от отсутствия воздуха.

Пришлось Мандельштаму довольствоваться легкими дружбами с легкими людьми, но, как бы ни складывалась жизнь, он всегда берег наши отношения и ценил дружбу Ахматовой. С ней были разговор, шутка, смех, вино и главное общий путь, одинаковое понимание самых существенных вещей и взаимная поддержка в труде и во всех бедах. Они были союзниками в самом настоящем смысле слова. Их было только двое, и они стояли на одном. Если перелистать книги, вышедшие за полвека, можно убедиться, что между ними и всеми действующими силами лежала пропасть. Оба они любили Пастернака, и с ним у них было много общего, но в ту пору он недвусмысленно тянулся к другим, личной дружбы с Мандельштамом не хотел, но временами между ними завязывался разговор — ненадолго. Он тут же обрывался: путь был слишком разный, у каждого свой. Временами вспыхивала дружба между Ахматовой и Пастернаком, но она тоже обрывалась, потому что он отходил. Возможно, что Пастернак не искал отношений с равными и даже не подозревал, что существует равенство. Он всегда чувствовал себя отдельным и особенным. К тому же он очень ценил внешний успех. Интересно, что в конце пути скрестились, но Пастернак этого не узнал. Мандельштам и Ахматова всегда знали, что идут вместе и дорога их близка пастернаковской: даже в пору «Второго рождения», хотя для них главное было в «Сестре моей жизни». В поздних стихах Ахматова выделяла «Больницу». Для меня это стихотворение звучит чересчур программно.

Из людей, близких нам, надо назвать Наташу Штемпель, женщину чудной духовной красоты. Она поздно вошла в нашу жизнь, но навсегда осталась в ней. О Василисе Шкловской я уже говорила. Это отношения глубокие, но совсем другого рода, чем с Ахматовой, потому что пути были разные. Все-таки нас было трое, и только трое. После смерти Мандельштама Ахматова сказала: «Теперь вы всё, что осталось у нас от Оси». В нашу дружбу вошла новая черта — я связывала ее с ушедшим Мандельштамом. Она часто говорила, что я своим появлением способствовала возобновлению ее дружбы с Мандельштамом. Возможно, что это так. Он был на перепутье, терял себя и мог не найти свою естественную союзницу. Нигде, по-моему, шум жизни, трескотня сегодняшних исканий и требований не оглушали в такой степени людей, как у нас. Трескотня была такой, что заглушала все на свете. Один за другим поэты замолкали, потому что переставали слышать собственный голос. Трескотня заглушила мысль, а у миллионов людей — совесть. Петенька Верховенский говорлив, и безумная логика его слов соблазнительна для людей и отравляет сознание.

Я как-то спросила случайного спутника, с которым ехала в эвакуацию на пароходе по Амударье: «Вы странно говорите о своей семье. Что, она вам чужда? Вы ее не любите?» Это был поляк, только что выпущенный из лагеря. Он рассмеялся и ответил: «Я потерял не только семью, но и себя. Если я найду себя, я буду знать, как отношусь к семье...» Такое случилось с ним за два года лагерного бреда. В нашей бредовой жизни мы все теряли себя, не слышали собственного голоса, не видели своего пути. Хорошо, если кому-нибудь из нас удавалось вовремя спохватиться, а это было предельно трудно. Всех нас путало еще и то, что мы все время преследовали то одну цель, то другую и совсем не думали о смысле. Соблазненные мнимой свободой, мы щедро позволяли себе все, не думая, что за каждый поступок надо расплачиваться. Ахматова едва не потеряла дружбу Мандельштама, когда в угоду приличиям, а скорее не приличиям, а двум подругам, которые подумали, что появился еще один влюбленный у ее ног, прогнала Мандельштама. Он же из-за мальчишеской обиды едва не отказался от преданного друга и спутника. К ее чести могу сказать, что она надолго сумела обуздать себя и в зрелые годы начисто оставила привычку сводить все отношения к влюбленности в нее. В его защиту напомню, что он отказывался от всех союзов и остался верен юношеской дружбе и первому «мы», то есть акмеизму.

И мы с ним тоже едва не лишились друг друга из-за его увлечения и моих жестоких «правил». Он вовремя спохватился, а я из-за обиды, из-за женского самолюбия и миража так называемой свободы[11] чуть не загубила и свою, и его жизнь. Если в моей жизни был какой-то смысл, то только один — пройти через все испытания с Ахматовой и Мандельштамом и обрести себя в близости с ним. При его жизни я, кстати, не думала о том, чтобы «обрести себя». Мы слишком интенсивно и неразделимо жили, чтобы «искать себя». У Мандельштама есть странное стихотворение, написанное в Крыму, когда он думал обо мне. Смысл этих стихов он открыл мне не сразу: в юности я бы взбунтовалась, узнав, какую участь он мне предрек. Это стихи про женщину, которая будет наречена Лией, а не Еленой «за то, что солнцу Илиона ты желтый сумрак предпочла». Вероятно, наша связь остро пробудила в нем сознание своей принадлежности к еврейству, родовой момент, чувство связи с родом: я была единственной еврейкой в его жизни. Евреев же он ощущал как одну семью — отсюда тема кровосмесительства: «Иди, никто тебя не тронет, на грудь отца в глухую ночь пускай главу свою уронит кровосмесительница дочь...» Дочери, полюбившей иудея, предстояло отказаться от себя и раствориться в нем: «Нет, ты полюбишь иудея, исчезнешь в нем и Бог с тобой...»

---

[11] *Далее следовало*: и собственной деятельности – я говорю о живописи, в которой была совершенно случайным гостем, но которую едва не стала культивировать ради самоутверждения.

Это жестокие и странные стихи для человека, который скучает по женщине, оторванной от него фронтами гражданской войны, но Мандельштам всегда знал, как сложатся его отношения с женщинами — в том числе и со мной. В сущности, он не только знал, как они сложатся, но сам занимался активной формовкой, извлекал из любых отношений — с мужчинами и женщинами то, что считал нужным. От меня он хотел одного — чтобы я отдала ему свою жизнь, осталась не собой, а частью его существа. Именно поэтому он так упорно внушал мне свои мысли, свое понимание вещей. «Мое ты» для него неотделимая часть «я». Однажды, когда он доказывал мне, что я не только принадлежу ему, но являюсь частью его существа, я вспомнила стихи про Лию. Библейская Лия — нелюбимая жена. И я сказала: «Я теперь знаю, о ком эти стихи...» Он, как оказалось, окрестил Лией дочь Лота. Тогда-то он мне признался, что, написав эти стихи, он сам не сразу понял, о ком они. Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что это я должна прийти к нему, как дочери к Лоту. Так бывает, что смысл стихов, заложенная в них поэтическая мысль не сразу доходит до того, кто их сочинил. Я часто слышала и от Мандельштама, и от Ахматовой, что они «догадались», о ком и о чем говорится в том или ином стихотворении. Оно вырвалось, и они сами не знают, как оно возникло. Проходит какое-то время, и вдруг все проясняется... И меня изумляет, что были поэты, заранее писавшие в прозе «план» будущего стихотворения. Или другие, излагавшие в стихах втолкованную им мысль... Мне кажется, такое возможно только в период ученичества (середина «Камня» у Мандельштама, стихи о спорте, «Египтянин» и тому подобное). Это первичное овладение мыслью и словом, а затем они становятся неразделимыми и слово только выявляет мысль. И я остро различаю у любого поэта стихотворение, возникшее из глубин сознания, и стихи, излагающие мысль. Ахматова рассказывала, что она слышала от Пастернака о том, как его привезли в больницу и что он при этом думал. Стихи воплотили уже оформившийся рассказ. И у Ахматовой есть стихи, написанные сознательным способом. В них исчезает чудо стихотворчества, но они нравятся неискушенному читателю, потому что в них наличествует элемент пересказа готовой мысли. Мне такие стихи не нужны. Каждому — свое.

Стихи о Лии, полюбившей еврея, возникли из самых недр сознания, были неожиданностью для самого Мандельштама, который как будто искал во мне только нежности, и он просто не хотел их понять, но они предопределили мою судьбу. Он всегда до мелочей ждал от меня того же, что от себя, и не мог отделить мою судьбу от своей: если меня пропишут в Москве, то и тебя, с тобой будет то же, что со мной, ты прочтешь эту книгу, если я буду ее читать... Он твердо верил, что я умру тогда же, когда он, а если случайно раньше, то он поспешит за мной. Его ранило, если я знала что-то, чем он не интересовался, или ленилась читать с ним итальянцев или испанцев. В последние годы я много читала Шекспира, и он ревновал, а под конец написал мне, чтобы я научила его «своим англичанам». Мою любовь к живописи, очевидно неискоренимую, он сразу забрал себе и так же решил поступить с Шекспиром. Ведь любить врозь означает отделиться друг от друга — это было ему не под силу. С моими друзьями он поступал точно так: либо сам завязывал с ними дружбу, либо — и чаще — искоренял. Он хотел, чтобы я не спала, когда он не спит, и вместе с ним засыпала. Мой брат говорил ему: «Нади нет, она ваш подголосок». Он ухмылялся: «Нам так нравится...» Зато он верил, что я читаю его мысли и слышу те же слова, что он. У него и у Ахматовой было своеобразное свойство: отвечать на вопрос, только мелькнувший в голове собеседника, но еще не произнесенный. «Ведьмовские штучки», — говорила я Ахматовой, ахнув, что она перехватила мысль, едва оформившуюся в моем сознании... Мои-то мысли Мандельштам действительно читал и поражался, что я не знаю, о чем он подумал в эту секунду. Может, я просто не утруждалась вникать в его мысли, и он был прав, обижаясь, что я «не сижу у него в голове»...

Иногда, отдаляясь и уходя в себя или в дружбу с кем-нибудь, он выпускал меня на свободу. Я любила эти минуты передышки (особенно если это была дружба с мужчиной или с Ахматовой, словом, с женщиной, с которой не было «вы»-«ты» отношений) и ухитрялась быстро улизнуть из-под его власти. Не тут-то было — он моментально замечал мое освобождение и круто возвращал меня к себе. Отдельной Лии не было и быть не могло. С ним было трудно жить и легко. Трудно, потому что он жил с невероятной интенсивностью и я всегда бежала за ним, как тогда по солнечной площадке перед центральной усадьбой в Гаспре. Я скрывала, что еле поспеваю за ним, за его мыслью и ритмом. Мне не хотелось, чтобы он остановился из-за меня, но меня огорчало, что он не видит, как я задыхаюсь... А легко, потому что это был он и мне ни разу в жизни не стало с ним скучно. Вероятно, и потому, что я его любила. Наверное не скажу.

Теперь я понимаю, что лучшей участи у меня и быть не могло, и не могу понять тупиц, которые терлись около нас и не замечали его блеска. Для Эммы Герштейн, например, наш дом был площадкой, где она ловила «интересных людей» и неудачно влюблялась в Леву, в Нарбута, в кого попало и так и не заметила самого Мандельштама и не поняла его стихов. Время, конечно, было не для Мандельштама: его мысли, блеск его разговоров, его шутки — все это требовало воспринимающую аппаратуру совсем иного класса, чем та, которая производилась в первой половине века. Кругом роились люди, которые все понимали иначе, чем Мандельштам, и подстрекали меня против него, прельщая благополучием, благоразумием и прочими благами: здравым смыслом, марксизмом, новаторством, легкой жизнью, театрами и кабаками, домостроительством и свеженькой современностью. Мне противно вспоминать о бурных вспышках самоутверждения, которое я, к счастью, никогда не доводила до логической развязки. Все художники с итальянскими и русскими фамилиями, все марксисты с остроумием Петеньки Верховенского, все авангардисты и молодые ученые с марксистскими и антимарксистскими концепциями в разных науках, все циники и жизнелюбцы, все меланхолики и отщепенцы, прошедшие через мою жизнь, занимали меня ровно минуту, чтобы сделать «мертвую петлю» над Москвой, а потом оказывались горестными пустышками, рассказчиками и хвастунами. Если б я связала свою судьбу с кем-нибудь из них или стала самостоятельной «единицей», художницей, как собиралась в молодости, или языковедом, как мне поневоле пришлось быть в поздние годы, мой жизненный заряд пропал бы впустую и я действительно превратилась бы в единицу в штатном расписании какого-нибудь гнусного института. Скорее всего, эта единица недолго бы ходила павой, как полагается выступать нашим деятельницам науки и искусства, а быстро взбунтовалась бы, как мой ташкентский приятель, оставивший после себя удивившую начальников записку.

Ахматова потому и была моей союзницей, что смотрела на Мандельштама, как я. Она с удовольствием слушала целую армию обожателей, которые венчали ее с безмерно любимым и почитаемым ею Пушкиным, но твердо знала, что ее место с Мандельштамом. Больше всего она боялась, чтобы какие-нибудь авангардисты не оторвали их друг от друга, зачислив его посмертно в футуристы, в братья Хлебникову или, чего доброго, в «Леф». Она бушевала от злости, если его зачисляли в ученики не к Анненскому, а к величавому старцу, славившемуся «ядовитой приятностью». Мандельштама соединяют с футуристами, потому что не разобрались ни в нем, ни в них. Ахматова же знала, что сближает ее с Мандельштамом. Она говорила: «Не надо нас делать близнецами, но разлучать нас нельзя — мы вместе». А Мандельштам, нисколько не заботившийся о том, как его расценивают, дразнил меня: «Наденька, не зазнавайся, нас признали только две женщины — Анна Андреевна и Вера Яковлевна...» Вторая — моя мать, «нелегальная теща», как называл ее Мандельштам, когда, не смея войти к себе в квартиру, мы встречались с ней на бульваре... Они всегда смешно пикировались. Если она подавала что-нибудь невкусное к обеду, он говорил: «Вера Яковлевна, вы понимаете только в стихах». И она тоже не отставала...

Пусть только никто не думает, что у нас был культ стихов и работы. Ничего подобного и в помине не было: мы интенсивно и горячо жили, шумели, играли, забавлялись, пили водку и вино, гуляли, дружили с людьми, ссорились, издевались друг над другом, ловили один другого на глупостях, неоднократно пробовали разбежаться в разные стороны и почему-то не могли расстаться ни на один день. Как это произошло, я сама не знаю.

Это настоящая загадка: каким образом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни слепой юности, могла увидеть «свет, невидимый для вас» и спокойно пойти навстречу страшной судьбе. В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошел такой разговор: я сказала, что люблю деньги, Ольга возмутилась — какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между ее благородством и моей пошлостью... А я и сейчас люблю деньги, комфорт, запах удачи. И Мандельштам любил все радости, которые дают деньги. Мы вовсе по природе не аскеты, и нам обоим отречение никогда свойственно не было. Просто сложилось так, что пришлось отказаться от всего. У нас требовали слишком большую расплату за увеличение пайка. Мы не хотели нищеты, как Мандельштам не хотел умирать в лагере. (Я и сейчас смертельно боюсь, что мне предоставят на старости лет путевку в сумасшедший дом или в лагерь.)

Мы хотели жить, а не погибать, но с самого начала всем было ясно, что ничего хорошего нас не ждет. Это понимали даже совсем чужие люди, если в них сохранилось человеческое чутье. Таких было мало, но все же одичали далеко не все — даже среди интеллигентов. В тридцать втором году мы жили в Болшеве, одном из санаториев Цекубу. Среди оголтело-аспирантской толпы и гладких ученых, читавших Сельвинского и Кирсанова вперемежку с Багрицким, жила высокая и худая осетинка, чем-то похожая на Ахматову в ее зрелости ростом, худобой, монашеским видом, легкой походкой, одухотворенной скромностью. Она была из крестьянской семьи, но сыновья у нее вышли в люди и отправили мать отдохнуть в ученый санаторий. Мы с ней дружили и убегали на прогулки по снежным дорожкам парка — подальше от споров марксистской толпы и хитрых профессоров. Именно она, не знавшая литературной свары тридцатых годов, почувствовала неблагополучие Мандельштама и его отчужденность от академической среды, где водились и философы и литературоведы, пристававшие с изъявлением интереса к Мандельштаму. «Ося, как-то сказала она (ее смешило его имя, значившее по-осетински нечто совсем неподходящее, кажется, девушка или женщина), — Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю... Ты лучше иди, не то пропадешь, видит Бог, пропадешь...»

Я слышала одноголосые погребальные песни осетинов. Люди, поющие такие песни, могут прозреть судьбу не в пример лучше всезнающих посетителей академических санаториев, организованных по милости Горького. И лучше, чем вся литературная накипь, производившая печатные памятники эпохи.

В литературных кругах про Мандельштама говорили: «Неужели он до сих пор ничего не понял?» Это высказывание «кадров», разделявших и даже сбивавших «платформу». Другие удивлялись: «Почему мы можем, а он не может?» Так говорили исполнители заказа, хитроумные господа, сознательно перелицевавшие себя и свою одежонку. Они как должное приняли гибель Мандельштама и гибель миллионов. Тридцатые и сороковые годы — эпоха полного торжества идеологии, когда уничтожение тех, кто отказался принять ее тезисы, а главное — фразеологию, считалось нормальной охранительной мерой. Сейчас — задним числом — многие называют это время и эти меры «уничтожением пятой колонны».

Толпа в те годы дружно приветствовала все «мероприятия», лишь бы ей разрешили подбирать крохи с господского стола. Чем беднее люди, тем легче ими управлять. Они рады и крохам с господского стола. Голод отличный организатор единомыслия.

Мы отказались от фразеологии, не приняли тезисов и отвернулись от пира, от костей и от крох. В колхоз не пошли. Осетинка правильно поняла положение и вовремя нам посочувствовала. Я хотела бы знать, что значит по-осетински «Ося». Ведь это индоевропейский язык, моя бывшая специальность. Как хорошо, что я в молодости не самоопределилась и не приобрела приличной самостоятельной профессии. Меня и так ждало тридцать с лишком лет чрезмерной самостоятельности и одиночества. Я ими сыта по горло, как и крохами с господского стола. Даю согласие на смерть в тюрьме или в лагере за право отвернуться от этой жизни и сказать, что я о ней думаю.

Скрытые автопризнания

В толпе хвастунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвастануть, что я при нем придерживала язык — чтобы не осрамил. К посторонним хвастунам он относился снисходительно: «А тебе что? Пусть, если ему это помогает жить...» Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его, и искренно хотел быть как все: у всех все гладко, а у него — нет, все умеют промолчать, а он — нет... И, наконец: «Посмотри, как он ловко рубит дрова, приятно смотреть...» Если я случайно говорила ему что-нибудь лестное (у нас это не было принято), он искренно удивлялся, и я часто слышала от него фразу: «По-моему, я хуже всех...»

Признание это было совершенно искренним, сомнений нет никаких, но меня забавляло, что, несмотря на такое самоощущение, он совершенно не хотел меняться и самоусовершенствованием не занимался. Он знал, что он хуже всех, но его это ничуть не смущало: такой, как есть, ничего не поделаешь... Один-единственный раз в жизни он обещал мне «исправиться», но это случилось в самую последнюю ночь нашей жизни — за полчаса, может, перед тем, как за ним пришли, — в минуту нашего примирения. Мне больно, что в эту ночь я грызла его за какой-то пустяк, абсолютную чушь, в сущности — за неосторожность. Как будто осторожность могла спасти...

Единственное мое оправдание, что я грызла его очень редко. Я-то не считала, что он хуже других, и миролюбиво относилась к его курению, деспотизму — он вечно вырывал у меня изо рта папиросы, — озорству, любви к «пирам», состоящим из баночки консервов, и волшебной способности радоваться жизни, когда я погибала от страху. С годами у него усиливалась страсть к наслаждению, а наслаждался он всем, чего люди и не замечают: струей холодной воды из-под крана, чистой простыней, книгой, шершавым полотенцем. Смерть стояла у порога, а он в Савелове (1937) тащил меня в чайную «Эхо инвалидов» — выпить чаю, посмотреть на людей, почитать газету и поболтать с буфетчиком. У него была редкая способность видеть мир перед глазами, и, полный любопытства, он на все смотрел и все замечал.

Ирина Семенко заметила, что в переводах из Петрарки у него своеобразный сдвиг против подлинника: он перенес внимание с переживания субъекта на объект. Для него такой сдвиг очень характерен: даже в повседневной жизни он редко говорил о себе или о своих чувствах и ощущениях. Он предпочитал говорить о том, что вызвало эти чувства. В его восприятии текущего момента главную роль играл не личный момент, а события и предметы внешнего мира. Это отражалось даже на том, как он говорил о мелкобытовых вещах: не спина болит, оттого что плохой матрац, а «кажется, лопнула пружина, надо бы починить»...

В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе с большой осторожностью, прикрывая признание какой-нибудь внешне объективной оболочкой. Я вижу здесь своеобразное противоречие: с одной стороны, — это невероятно прямой и открытый человек, не способный ни на какую маскировку, с другой — внутренняя стыдливость запрещает ему прямые автовысказывания. Записывая под диктовку «Разговор о Данте», я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного, и говорила: «Это ты уже свои счеты сводишь». Он отвечал: «Так и надо. Не мешай...» Свои автопризнания он запрятывал в самые неожиданные места, так что рассеянный взгляд равнодушного читателя их не обнаружит. Автопризнания рассеяны главным образом в прозе. Самораскрытие в стихах не является признанием в точном смысле слова. Стихи раскрывают поэта в его глубинных пластах, а автопризнания касаются жизненных установок, взглядов, вкусов, тяготений. Они служат биографическим ключом, а не исповеданием веры, как стихи.

В Воронеже мы вместе делали радиопередачу о юности Гёте, положив в основу автобиографическую повесть Гёте. Нейтральные куски и скрепы, которые делала я, выброшены, и в напечатанном только текст Мандельштама. Я заметила, что он подбирает эпизоды из жизни Гёте, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное. Гёте, например, попал в компанию жуликов и еле выбрался да и то по совету девушки. «А ты, что ли, тоже?» — спросила я. «А Георгий Иванов», — ответил Мандельштам и прибавил, что в своем роде и Волошин: душемутитель, болтун, соблазнитель, проповедующий хитроумную чушь... Гёте пережил юношескую неврастению, преодолевая которую ходил в анатомический театр и поднимался на колокольню Кёльнского собора (этот кусок, кажется, пропал). Мандельштам испытал юношескую тоску и неврастению в те два года, что учился в Париже и в Гейдельберге, а особенно — в Италии, где был даже не на положении студента, а туриста[12]. Больше в Италии ему не пришлось побывать, и он жалел, что в свою единственную поездку он успел так мало повидать. (До этого он из Швейцарии на день или на два ездил, кажется, в Турин.) У Гёте рассказано про встречу с Клопфштоком. Молодые люди, пришедшие навестить мэтра, были и почтительны и насмешливы. Так относились к старшим и Ахматова с Мандельштамом. Только Белый вызывал у Мандельштама иное отношение. Он был так трагичен, что вызывал только сочувствие и уважение.

---

[12] *Далее следовало*: Он вообще плохо переносил одиночество, а тем более в возрасте семнадцати-восемнадцати лет.

Впрочем, ко времени встречи с Белым Мандельштам и сам не был молод.

В той же передаче есть место, не имеющее никаких соответствий в текстах Гёте, и, хотя Мандельштам говорит о Гёте, оно явно относится к нему самому: «...нужно также помнить, что его дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой...» Работа над «Молодостью Гёте» продолжалась больше двух месяцев — с конца апреля, когда мы переехали в центр города от «обиженного хозяина» в русских сапогах, до конца июня. Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гёте. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель, хоть в ней как будто была литовская, а не немецкая кровь. Это, вероятно, и послужило толчком к стихам о мертвой женщине. Недаром в этой группе стихов есть прямое упоминание о Гёте: «Юношу Гёте манившее лоно» — и реминисценции: «Мельниц колёса», рожок почтальона, Шуберт (связь с Гёте через «Лесного царя»), Я недавно вспомнила: «Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких на саночках за Шубертом летит». Здесь это певица, Бозио, какая-то черненькая девочка, певшая в его молодости (до встречи со мной) Шуберта. Я думаю, что через нее и Миньону в стихах об Ольге Ваксель появилась тема Италии («смеясь, итальянясь, русея») и Шуберта («И Шуберта в шубе застыл талисман»). Мать Ольги была пианистка, но сама Ольга пела и играла, как десятилетняя школьница. Музыка была в ней самой, как ни трудно мне в этом признаться. Но не в ее мемуарах.

В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки — антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом. В Москве в конце учебного года он никакой работы не нашел и ухватился за предложение Воронежского университета прочесть коротенький курс и провести несколько семинаров. (В Воронеже на биологическом факультете был очень хороший человек, кажется, Козополянский, который старался пристроить там порядочных людей. Я его не знала, но слышала про это от многих биологов.) Я использовала приезд Рогинского, чтобы съездить в Москву. С ним, я знала, Мандельштам не будет чувствовать себя одиноко. Одного Рудакова для этого было недостаточно. Мальчишка — на него положиться я не могла. Во время моего короткого отсутствия Мандельштам написал стихи в память Ваксель. Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 году (стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице: не свинство ли?)... У него было острое чувство измены, и он мучился, когда появлялось «изменническое», как он говорил, стихотворение. (Даже стихи Наташе Штемпель он относил к этой категории.) Он хотел уничтожить к моему приезду стихи к Ольге, но я уже знала о них от вернувшегося в Москву Рогинского. Вместе с Рудаковым я уговорила Мандельштама надиктовать стихотворение — тем более что мы нашли в помойном ведре разорванный листок. Лучшего места, чтобы утаить стихи, он не нашел.

Печатать «изменнические стихи» при жизни он не хотел: «Мы не трубадуры...» В 31 году, когда предполагалось издать двухтомник, я, зная, что есть еще одно стихотворение Ольге Ваксель («Как поила чаем сына»), уговаривала Мандельштама закончить ими раздел после «Тристий». Он наотрез отказался. Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он «под великой тайной» надиктовал их Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, самый факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические стихи». И вместе с тем он отстаивал свое право на них: «У меня есть только стихи. Оставь их. Забудь про них». Мне больно, что они есть, но, уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам, но для этого надо ему было остаться в живых.

Не менее острое чувство измены он переживал, читая нерусских поэтов. «И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических губ...» Гордыня — смертный грех для антииндивидуалистического сознания Мандельштама, и ее-то он видит в наслаждении чужой речью, которой предается «звуколюб», пробуя на язык «звуков стакнутых прелестные двойчатки». Чтение Ариосто и Тассо, а также немецких романтиков («К немецкой речи») было для него изменой, но это чувство не пробуждалось, когда он читал Данта. Читая «великого европейца» (сходное понимание Данта я нашла у Элиота), он не звуками наслаждался, не «прелестными двойчатками», но входил в самую суть европейской культуры и поэзии. Ведь всю европейскую поэзию он считал лишь «вольноотпущенницей Данта», и в чтении «Комедии» было поклонение и приобщение, а не изменническая сладость чужих звуков. Отсюда бунт против Тассо и Ариосто, прорвавшийся в стихи: «Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» (морской климат Италии порождает русалочьего поэта!), и запись о печальной судьбе Батюшкова, который «погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки». Пушкин, сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который «стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта, потому что ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса».

Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви, и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии, и в любви. Это «иное» не поддается определению и, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира. В замечательной опере Шёнберга Моисей и Аарон противопоставлены друг другу как два полюса — чувственного и надчувственного — сознания. (Как жаль, что Мандельштам не знал Шёнберга мы были отрезаны от всего мира.) Мандельштам предостерегает (самого себя, я думаю) от только физиологического наслаждения. Эти строки не вошли в основной текст «Разговора о Данте», но остались в черновых записях, потому что Мандельштам чурался открывать свои потаенные мысли.

Поэзия, как всякое искусство (и любая, как мне думается, познавательная деятельность, то есть наука), тесно связана с чувственной природой человека, с физиологией в целом, но нигде — ни в живописи, ни в музыке — нет такой тесной связи с любовью во всех ее проявлениях, как в поэзии. Единственное, чего я не могу себе представить и ни в каких видах не наблюдала, это сублимация. Какой унылый немец, засидевшийся в своем кабинете, выдумал ее! Поэтический труд действительно нарушает заунывный ритм физиологических проявлений любви, но он нарушает ритм чего угодно еды, питья, сна, движения и отдыха, подчиняя все внутренней музыке, усиливая и укрупняя все человеческие потребности. Только при чем здесь сублимация, то есть преобразование полового влечения в духовную деятельность?.. Кабинетные ученые, ушедшие корнями в девятнадцатый век, отличались до ужаса ослабленной чувственностью (далеко не только в любви) и нашли благородное объяснение своей вялости и графомании. На самом деле поэтический труд сопровождается обострением всех видов чувственности, полным накалом и физиологических, и духовных свойств. Другое дело, как накал проявляется: есть стихи воздержания и стихи полного удовлетворения всех страстей, когда исступленный аскетизм сменяется совсем другим исступлением. Есть стихи такой невероятной сопряженности с полом, что про них ничего не скажешь, это стихи ночи. И в подготовке стихов, и в созревании стихотворного порыва участвует плотское начало — от аскетизма, свойственного, вероятно, ранней юности («И камнем прикинулась плоть», как я прочла в юношеских стихах Мандельштама), до полного разгула.

Любовная лирика только частный случай переплетения стихотворного порыва с физиологией пола. Как это ни странно, но она почти всегда относится к аскетическому варианту поэзии. Лауры и Беатриче, прекрасные дамы менестрелей, недоступные и далекие, блоковские незнакомки, проходящие мимо поэта, не мода и не выдумка своего времени, а нечто более глубокое, укорененное в самой природе поэзии. Самый распространенный тип любовной лирики — порыв к женщине, а если страсть удовлетворена, порыв сразу иссякает, как стихотворный, так и любовный. Знаменитый случай стихотворение Пушкина («Я помню чудное мгновенье...») и письмо на ту же тему мне вполне ясны. Порыв связан со стихотворением, после разрядки Пушкин мог заговорить на языке своего времени и своего товарищеского круга — таким представляется мне письмо. Именно в письме нет свободы, и язык в нем использован готовый. Когда недоступных женщин нет, а в наше время недоступности, кажется, не существовало, поэт сам создает ее, чтобы продлить порыв. Ни Ахматова, ни

Пастернак не писали стихов тем, с которыми жили, пока не наступало кризиса. Упоминание в стихах женщины не равнозначно любовной лирике, поскольку целое вызвано иным порывом.

Любовная лирика занимает в стихах Мандельштама ограниченное место, и у него преобладали более сложные связи поэзии и пола, в частности та связь, которая порождается удовлетворением всех страстей. Он это сознавал и даже говорил мне про такую связь. Может, именно поэтому он мог писать стихи и мне. Записав стихотворение «Твой зрачок в небесной корке», он удивленно сказал, что только Баратынский и он писали стихи женам. В своей личной жизни Мандельштам был полной противоположностью Блока, я сказала бы, что он принадлежал к антиблоковской породе. Высшая сторона любви была у него отнюдь не служением прекрасной даме, а чем-то совсем иным, что он выразил словами «мое ты». Антиблоковская порода выразилась и в выборе жены: не «прекрасная дама» и даже не просто «дама», а девчонка, сниженный вариант женщины, с которой все смешно, просто и глупо, но постепенно развивается предельная близость, когда можно сказать: «Я с тобой свободен». Мы оба при первой же встрече почувствовали себя такими свободными друг с другом, что приняли ее за знак судьбы. Другое дело, что оба мы пробовали бунтовать против судьбы — кто против нее не бунтовал? — но наш бунт длился миг, неделю, два месяца и не разрывал связи. Мне всегда казалось обидным и горьким, что в неразрывности нашей связи большую роль сыграла чисто физиологическая удача, и я плакалась на это Мандельштаму, но для него такое не было снижением любви, скорее даже наоборот. Он смеялся надо мной, и я не отдавала себе отчета, что он сам сделал из меня то, что ему было нужно, потому что сразу почувствовал таинственную свободу-судьбу. Я об этом молчала, потому что была идиоткой, а он открыто говорил.

С первой встречи с людьми, особенно с женщинами, Мандельштам знал, какое место этот человек займет в его жизни. Разве не странно, что буквально после первой встречи со мной он назвал свадьбу («И холодком повеяло высоким от выпукло девического лба»), хотя обстоятельства были совсем неподходящими? В стихах Ольге Ваксель выдумана «заресничная страна», где она будет ему женой, и мучительное сознание лжи — жизнь изолгалась на корню. Он не переносил двойной жизни, двойственности, разлада, совмещения несовместимого и всегда чувствовал себя «в ответе» (чувство виновности и греховности), как сказано в группе поминальных стихов. Ольгу он помнил всегда, хотя, узнав про ее смерть, он вспомнил: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я». Кстати, уста были далеко не равнодушные, и первично равнодушное приятие вести я объясняю неподготовленностью к ней, уличной суетой, шумом... В стихотворении «Всё лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой» мне, как я думаю (мы об этом никогда не говорили), предоставлена роль ангела Мэри (случайная женщина, легкая утеха!), а Ольга — Елена, которую сбондили греки. Оно написано на людях, когда я весело пила с толпой приятелей кислое кавказское вино, а он расхаживал и бормотал, искоса поглядывая на нас... Я никогда не спрашивала Мандельштама (почему я щадила его? Не сознательно, а скорее инстинктивно), но мне кажется, что переводы Петрарки не случайность, а как-то связаны с Ольгой. Возможна и обратная связь — работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу. В пользу второго предположения говорит то, что «изменнических стихов» мне Мандельштам в руки никогда не давал: «Это не тебе — оставь их...» Переводы Петрарки он часто давал мне переписывать, показывал все варианты. Во всяком случае, их следует печатать не среди переводов (как и «Алисканс» и «Алексея»), а в основном корпусе (о «Сыновьях Аймона» я и не говорю —

они уже напечатаны в третьем «Камне»). Он так и собирался сделать, но ни ему, ни мне не придется увидеть его книгу, напечатанную в России.

Стихи Саломее Андрониковой — юношеское поклонение красоте, обычная для мальчика влюбленность в чужую и старшую женщину. Даже если они были ровесниками, замужняя женщина всегда старше юноши. В романе с Мариной Цветаевой нечто совсем другое — прекрасный порыв высокой женской души — «в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту». По всему, что Марина сказала о себе, видно, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных, и управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавшими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота, только почему-то всегда случается так, что в минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают его ран. Недаром Мандельштам почувствовал, что «с такой монашкою туманной остаться, — значит, быть беде»... Все стихи Марине, кроме первого, в котором она «дарила ему Москву», овеяны предчувствием беды: «...связанные руки затекли. Царевича везут, немеет страшно тело и рыжую солому подожгли...» Бедный мой царевич — он помнил, что его кровь отягощена «наследством овцеводов, патриархов и царей»... Во многих стихах предчувствие насильного увоза и страшной смерти, но нигде не сказано, что это будет массовая депортация в набитых до отказа теплушках, созданных для перевозки животных, а не людей.

Стихи к Ахматовой — их пять, и все они написаны в 17 году — нельзя причислить к любовным. Это стихи высокой дружбы и несчастья. В них ощущение общего жребия и катастрофы. Тон задан в «Кассандре», и даже в таком сравнительно спокойном стихотворении, как «Твое чудесное произношенье», говорится, что смерть окрыленнее любви и «наши губы к ней летят». Я понимаю обиду Мандельштама, когда после таких стихов Ахматова вдруг упростила отношения в стиле «мальчика очень жаль» и профилактически отстранила его. В дружбе Ахматова отличалась от всех людей на свете, и в ней было настоящее величие, но, окруженная женщинами, которых называла «красавицами», она поддавалась их лести и начинала изображать из себя даму. В глубокой старости она начала горевать, что у Мандельштама слишком мало стихов о любви, — в сущности, она упрекала меня в этом. Я поняла: «красавицы» ценили любовную лирику и плевали на Мандельштама. Нам было не до любви в нашей страшной жизни. Моя Ахматова — неистовая и дикая женщина, друг, с железной твердостью стоявший рядом с Мандельштамом, союзник в противостоянии дикому миру, в котором мы прожили жизнь, суровая и беспощадная игуменья, готовая за веру взойти на костер. Все «дамское» в ней наносное. Если оно прорывалось в стихи (а это, конечно, бывало, и часто), то оно самое слабое в ее поэзии, и я уступаю это «красавицам». Себе я беру струю отречения и гнева.

Группа стихов Арбениной посвящена конкуренции «мужей» и ревности, естественной в этой ситуации[13]. Арбенина нашла свое точное место — в период дружбы с Гумилевым она его искала — при Кузмине: фарфор, кавалеры, изящество... Однажды в Москве Мандельштам показал мне женщину, переходившую мелкими шагами Красную площадь: «Посмотри, как обдуманно она одета...» На ней все было подкрахмалено и в чем-то вроде складочек. Это петербургский стиль женщин, не имеющих денег на дорогого портного. Оленька была из них, а Ольга Ваксель ходила в нелепой шубе, которую сама называла шинелью. Именно в этой «шинели» она цвела красотой, которой я не могла не завидовать.

---

[13] *Далее следовало*: Весь быстро промелькнувший роман строился именно с этой установкой.

Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать — воскресшего[14]. И даже в стихах Наташе мелькнуло чувство вины — они гуляли в парке, и зелень показалась Мандельштаму «клятвопреступной». Клятв-то, по совести говоря, никаких не было — кто давал клятвы в нашем поколении и кто им верил? У Мандельштама было глубокое чувство поэтической правоты, но в текущей жизни он всегда готов был считать себя виновным[15]. Ахматова ощущала поэтическую правоту в гораздо меньшей степени, чем Мандельштам, зато в житейских делах, особенно в изменах и разводах, всегда настаивала на своей «несравненной правоте». «Поток доказательств» отличался грозной стремительностью, но я не понимала, зачем ей нужна была такая правота. Вероятно, она действительно бывала права, во всяком случае в истории с Пуниным, которую я наблюдала от начала до самого конца... Но в этом ли дело? Любовь, а тем более физическое влечение, как известно, правотой не регулируются. То, что происходит между участниками любви, разрыва или даже гибели, никакому суду не подлежит. Правота Ахматовой, как и правота Мандельштама, принадлежала к высшему разряду, и женские счеты — кто кого бросил — здесь ни при чем. Им принадлежит правота внутренне свободных людей, которые стояли на том, на чем должны были стоять. В этом их жизненный подвиг. В остальном они были такими же людьми, как все, и это нисколько не умаляет их подвига и не омрачает прекрасной жизни, которую они прожили. За свою свободу они заплатили огромную плату: он — смертью в лагере, она — многолетней изоляцией и таким одиночеством, которое и представить себе нельзя. А я-то отлично себе его представляю, потому что была им награждена, только не за внутреннюю свободу, а за «бестолковую жизнь» с носителем свободы. Обидно расплачиваться по чужим счетам, но так уж у нас принято...

---

[14] *Далее следовало*: Я приехала из Москвы в Воронеж, и он на извозчике рассказал мне про это стихотворение (остальные прислал в письме в Москву) и просил до его смерти не читать. Я эту просьбу выполнила.

[15] *Первоначально было*: ...он всегда помнил, что он «в ответе».

У Ахматовой, как я уже говорила, в конце жизни была передышка. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в сто раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей, как лучшего друга. Все сделано, и я к ней готова.

Этапы

Я произнесла слово «этапы» и поразилась совпадению: каторжные этапы и этапы поэтического труда. Нас преследуют лагерные ассоциации (это не фрейдовские ассоциации, которые всегда ведут к одному и тому же, а сама жизнь). Мандельштам — поэт с резко выраженными этапами — умер на этапе. Говоря об одних этапах, нельзя забывать о других — они взаимосвязаны. Один мой заокеанский друг однажды сказал: «Любой наш поэт согласился бы стать вашим поэтом». Я спросила: «Со всеми последствиями?» Он ответил: «Да. У вас это серьезное дело» По-моему, он недооценил последствий.

В годы передышки, когда состоялся этот разговор, даже Ахматова начала забывать, что такое «последствия» и каковы они в реальности. В этот период Ахматова, удивляясь, как за рубежом — особенно русские эмигранты — ничего в нашей жизни не понимают, часто повторяла фразу, которая приводила меня в ярость: «Они завидуют нашему страданию». Причина непонимания вовсе не зависть, а непредставимость нашего опыта и потоки лжи, искажавшей действительность до полной неузнаваемости. Надо еще прибавить — полное нежелание вдуматься. Предположить у ленивых и равнодушных людей не только зависть, но даже простое сочувствие, каплю жалости я не могу. Они просто плевали и отворачивались. Главное же, что завидовать было нечему. В нашем страдании ничего просветляющего и в помине не было. Никакой благодати в нем не ищите: только животный страх и боль. Я не завидую собаке, которую переехал грузовик, или кошке, выброшенной хулиганом с десятого этажа на улицу. Я не завидую людям, в число которых вхожу и я, за то, что в каждом они подозревали предателя, провокатора или стукача и даже наедине с собой не смели ни о чем подумать, чтобы ночью криком во сне не выдать себя соседям за тонкой перегородкой. Завидовать, прямо скажу, нечему. Кто позавидует Ахматовой, которая не смела слова произнести у себя в комнате и только пальцем показывала на дырочку в потолке, откуда осыпалась на пол кучка штукатурки? Был там установлен подслушиватель или нет, роли не играет. Важно, что палец указывал на потолок, а рот был зажат. После этого говорить о зависти нелепо.

Мандельштам выбил из меня мысль, что я должна быть счастливой, но напрашиваться на страдания или кичиться ими я не советую никому. Отсюда один шаг до «радость-страданье» и «боль неизведанных ран». Как нужно любить себя, чтобы искать на своем теле несуществующую рану или огорчаться, что ты уже не кудрявый ребенок, которого ласкала мама. Такая самовлюбленность наследство десятых годов, инстинктивное требование особого отношения к так называемой элите, которой не пристала даже старость и собачья смерть. Мы не были достойны страданий, которые свалились на нас, и ничего им противопоставить не могли, кроме мысли, что людей нельзя мучить и убивать. В этой мысли заключалось наше единственное богатство. И при этом мы были еще богаче тех, кто считал, что других убивать можно, а вот их-то не надо... Единицы среди художников и поэтов, а может, и ученых, но я их не замечала, отстаивали свое право на труд. Среди них была и Ахматова, и сила ее в непреклонности, а не в страдании. Наши страдания не обогатили никого. Они не очеловечивали, но лишали людей человеческого облика. В каком-то смысле вся страна состояла из «доходяг» — от чиновника в персональной машине до лагерного доходяги. Первый боится мысли и слова, второй думает только о пайке. В лагерях, мне говорили, лучше всех держались «религиозники», то есть сосланные за веру, но далеко не все. Нельзя переносить непереносимое, невероятное и непредставимое. Сможет ли оправиться народ, растоптавший и уничтоживший столько поколений и добившийся этим отказа от мысли и потери памяти, которые передаются по наследству? У Платонова, замечательного человека и писателя, есть рассказ о народе, погибавшем с голоду. Когда его накормили, он перестал быть народом. А голод еще не самое страшное испытание. Я это знаю.

Одно время я думала, что Запад болен хронической, а мы острой формой одной и той же болезни, и потому надеялась, что наше выздоровление наступит раньше и будет полным. Теперь я знаю, что острая болезнь перешла у нас в хроническую с еще неизжитыми осложнениями, так что нет никаких оснований для оптимистического прогноза. На какой-то миг меня обольстила надежда, а она всегда обманывает. В этот миг Ахматова, совсем обольщенная, уговаривала меня «перестать думать о политике». То, о чем я думаю, вовсе не политика и к ней никакого отношения не имеет.

Легко понять, что нас лишили памяти, мысли и слова, но я попробую объяснить, что нас лишили и времени. Когда живешь в постоянном ужасе, прислушиваясь к машинам и звонкам, начинает ощущаться каждая секунда, каждая минута. Они растягиваются, обретают вес и давят на грудь, как свинец. Это не психическое, а физическое состояние, особенно острое ночью. Минуты растягиваются, а годы мчатся с дикой быстротой, но от них не остается ничего, кроме зияющей пустоты. Двадцать лет со смерти Мандельштама, с тридцать восьмого по конец пятидесятых годов, представляются мне комом, бесформенным и лишенным смысла, в котором время не текло, а слиплось, а затем разложилось в небытие. Я спрашиваю: есть ли чему завидовать?

Ахматова впервые заговорила о зависти во время войны, потому что для многих тогда тоже была своеобразная передышка: нас на время забыли, вернее, оставили в покое, а на войне люди знали, зачем умирают. Я ненавижу войну, но вижу смысл в защите родины, какой бы она ни была, от нашествия врагов. Я даже хотела пойти сестрой, но меня не взяли — побоялись и не поверили. Когда после войны начали заполнять лагеря недавними защитниками родины, люди закрывали глаза, чтобы продлить передышку. В конце сороковых годов мы шли с Ахматовой по улице — я запомнила, что это была Пушкинская (Большая Дмитровка), — и она сказала: «Подумать, что лучшее время нашей жизни война, когда стольких убивали, мы голодали, а сын был на каторге...» В военную «передышку» (поймите, как мы жили, если война принесла психическое облегчение!) Ахматова написала стихотворение: «Меня как реку суровая эпоха повернула, и я своих не знаю берегов», где перечисляет, чего лишилась, попав в насильственное русло: «О, сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала... И сколько очертаний городов из глаз моих могли бы вызвать слезы...» Из неосуществленной жизни глядит женщина и завидует осуществившейся. Стихотворений на эту тему у Ахматовой по крайней мере три, и всюду та женщина — малодостойное существо, вроде «деловитой парижанки». Для меня же существенно, что в нашей жизни время смято, мысли недодуманы и стихи не написаны. Как признается Ахматова: «тайный хор их бродит вкруг меня и, может быть, еще когда-нибудь меня задушит...» Недоделанная, искаженная работа не уравновешивается тем неопределенно-положительным, что, по словам Ахматовой, ей дала эпоха: «начала и концы», которые ей стали «ведомы», как и «жизнь после конца», и нечто, о чем она не хочет говорить. Ахматова, видимо, считала, что приятие несчастья, беды — вывод из христианского миропонимания. Я думаю, что только сознательный подвиг во имя веры, готовность на все ради своих убеждений, смерть с именем Христа на устах есть то, на что она намекает. Нам в категорию мучеников за веру проситься нельзя. Жалкое поколение, растерявшее все, что нам досталось от предков, мы пухли с голоду, еле волочили ноги и проклинали жизнь. Не подвиг, а стойкость наше единственное достоинство. Я тоже знаю «жизнь после конца» и никому ее не пожелаю.

Кем бы стал Мандельштам, если бы его не загнали в чужое русло? Он был сильнее меня и Ахматовой, и поэтому никакое русло ему не казалось чужим. Но страдания не обогатили, а только уничтожили его. Его травили и душили всеми способами, а лагерь только логическое завершение того, что длилось все годы. Ему, в сущности, не дали созреть — он принадлежал к медленным людям, — и он созревал на ходу. Голос пробивался не благодаря удушью, а вопреки ему. Не будь «другого русла», из него, скорее всего, получился бы поэт философического склада. Освободившись на миг от насильственных тем, куда я отношу и «кремлевского горца», он написал восьмистишия. В них, я думаю, тот поэт, которому не дали осуществиться. О том, как он представляет себе свою поэтическую судьбу, Мандельштам говорил со мной один-единственный раз — еще в карнавальном Киеве. Он не сомневался, что останется как поэт, но не знал, сохранится ли как человек (с нашими «воспоминателями» это не так просто), то есть, произойдет ли слияние плодов поэтического труда и судьбы. Судя по динамической силе, которая была заложена в Мандельштаме, он не нуждался в тюрьмах, ссылках и лагерях, чтобы заработать себе биографию. Она могла оказаться гораздо более содержательной, чем та, которой его удостоили, и при этом совершенно благополучной, во всяком случае — внешне. С людьми он давал скорее положительный, чем отрицательный контакт, не ладил только с челядью и прихлебателями, с писателями, которые пишут «заранее разрешенные вещи» и «помогают судьям вершить расправу над обреченными». Такие бывают везде и всюду, но у нас они получили право распределять воздух и хлеб. Если не поклониться в ноги уполномоченному в твоей области, подохнешь сразу, так что избежать контакта с убийцами у нас нельзя. Следовательно, гибель Мандельштама была предначертана.

Мандельштам легко жил среди обыкновенных людей и дал несколько формул своего отношения к ним. Ему хотелось «еще побыть и поиграть с людьми», и он всегда был готов «тянуться с нежностью бессмысленно к чужому». Это говорит о притяжении, а не об отталкиванье. Цветаева, например, при любых условиях вошла бы в конфликт с окружающим. Это было заложено в ее природе. Мандельштам без людей непредставим, и отношения облегчались тем, что в нем начисто отсутствовала учительская жилка и себя он считал хуже других. Глубокие религиозно-нравственные и историософские конфликты, поиски социальной справедливости и осмысление гуманистических тенденций, проверка наследства отцов и предков — все это может быть лучшей основой биографии, чем примитивные конфликты с государством и обществом, которые в нормальных условиях не принимают форму погони специально выдрессированной своры за ошалевшим зайцем.

Цветаева предсказала Мандельштаму в стихах «гибель от женщины». По-моему, такой исход исключается. Он бы использовал женщин как «твердые мосты», и больше ничего[16]. Я спрашивала Ахматову, почему Георгий Иванов кричит, что Мандельштам всегда влюблен. Она отвечала: это потому, что он не знал женатого Мандельштама. Я же сомневаюсь, что и в юности Мандельштама трясла любовная лихорадка: не тот человек. Тяга к людям, свойственная Мандельштаму, повышенный интерес к ним, как к мужчинам, так и к женщинам, любопытство ко всякому встречному — все это легко могло трактоваться пошляком Ивановым как перманентная влюбленность, что-то вроде завивки-перманент, популярной в моей юности. У Ахматовой с ее культом влюбленности показания тоже не совсем достоверны. Строчка Мандельштама: «Я каждому тайно завидую и в каждого тайно влюблен» — свидетельствует не о влюбчивости и зависти, а о восхищении людьми, и это на него очень похоже. Сам он говорил о себе, что часто восхищался женщинами, но действительно влюблен был в юности только дважды — в Саломею Андроникову и в Зельманову. По его словам, влюбленность была из тех, когда бродят стихи, то есть не таящая в себе никаких опасностей — без тяги к обладанию. У меня есть глубокая уверенность, что интеллектуальные кризисы, борьба веры и безверия, сомнения, которые Мандельштам называл адом (по Флоренскому?), таили в себе больше опасности для Мандельштама, чем жизненные коллизии. Для него могли быть трагичны поиски «мы», соборности, глубины и контакта в отношениях с людьми, своего «ты», соучастников в игре и радости, потому что люди везде и всюду равнодушны к игре и не знают радости, но он, умевший отказаться от «только вокальной, физиологической прелести стиха», не разбил бы себе голову из-за женщины. Все знают по письмам, что он любил меня, но он был бесконечно требователен (и в то же время снисходителен) к своему «ты», и, если б я не сумела или не захотела стать его тенью и соучастником в радости, он бы сумел отказаться и от меня. В нем было нечто, чего я не замечала ни в ком, и пора сказать, что не легкомыслие отличало его от приличных людей, окружавших нас, вроде Фадеева и Федина, а бесконечная радость. Она совершенно бескорыстна, эта радость, он не нуждался ни в чем, потому что она была всегда с ним. Все к чему-то стремились, а он ни к чему. Он жил и радовался. Накануне последнего дня нашей общей жизни он жил и радовался, и только тюрьма и лагерь раздавили его и уничтожили и радость и жизнь.

---

[16] *Далее следовало:* Они играли в его жизни незначительную роль, меньше, чем у других людей.

Все внутренние потрясения Мандельштама, его рост и переходы из одного периода в другой связаны с углублением и созреванием мысли. В результате внутреннего сдвига происходило и становление поэтического труда. Сдвиги вызывались прямым контактом с действительностью, и сюда входит все отношения с людьми, разговоры, книги, путешествия и события внешнего мира. Он жил напряженной, почти лихорадочной жизнью. Как я вижу, основная причина непрерывного волнения и роста коренится в оценке внешних событий с точки зрения ведущей идеи, на которой строился его внутренний мир. Он так интенсивно жил, что почти не отдал дани страху. Из всех, кого я знала, меньше всего поддавался страху Мандельштам, хотя он мог нелепо струсить (случай с человеком в папахе), потому что не переносил прямого контакта с насильниками. Гораздо меньше шансов погибнуть от случайно встреченного насильника, чем от организованного террора, но Мандельштам забывал про статистику и не мог совладать с чисто физиологическим отталкиванием от насильников и убийц. Мы жили в эпоху, когда избежать прямого контакта с убийцами и апологетами насилия было почти невозможно, и это задерживало, а не способствовало росту Мандельштама. Тот воздух, в котором мы жили, весь воздух двадцатого столетия, останавливал рост людей, душил мысль. Что приобретал Мандельштам, когда спорил с марксистами? Он делал это для забавы, и только потому споры не отравляли его. Его спасала способность к игре, иначе он разделил бы участь тех, кто растратил все силы, доказывая, что малиновка не могла снести яйцо кукушки, потому что оно слишком велико для нее.

Я сознательно употребляю слово «рост», а не «развитие». Мандельштам приходил в ярость, когда слышал слово «развитие». («Скучное, бородатое развитие», как сказано в «Путешествии в Армению», что вызвало гнев начальства.) Развитие как будто переход от низших форм к высшим и стоит в одном ряду с понятием «прогресс». Мандельштам отлично понимал, что всякое приобретение неизбежно сопровождается утратой, и рассказывал, будто впервые услыхал слово «прогресс» пятилетним мальчиком и горько расплакался, почуяв недоброе. Я что-то здорово боюсь и «перехода количества в качество». Подозрительная штука, породившая скачки — и наши, и китайские... Ненавистному «развитию» Мандельштам противопоставлял «рост» как процесс, при котором человек, меняясь, сохраняет единство личности и лишь переходит из одного этапа (или возраста) в другой, причем путь остается единым. Этапы поэтической работы Мандельштама показательны для внутреннего роста, а не развития. Отношение к любому вопросу, хотя бы к смерти, изменяется на различных этапах жизни Мандельштама, но в то же время едино и целостно на всем пути. Мальчик не верит, что он «настоящий и действительно смерть придет», но понимает, что «когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу». Юноша на пороге ранней зрелости осознает, что смерть художника — последний творческий акт. Зрелый человек, привыкший к мысли о смерти, все же «дичится умиранья» и, приучаясь к нему, служит себе отходную. Чувствуя приближение смерти и давно зная, что «простая песенка о глиняных обидах» будет насильно оборвана, Мандельштам подводит итоги земной жизни («...И когда я умру, отслуживши, всех живущих прижизненный друг»), жалеет меня («Как по улицам Киева-Вия ищет мужа не знаю чья жинка, и на щеки ее восковые ни одна не скатилась слезинка»), а затем — в стихах к Наташе Штемпель — готовится к будущей жизни. Всюду единое понимание жизни как временного дара (именно «дара») и вечности после конца земного пути.

Мне сейчас семьдесят лет, и я знаю, что только пустопорожние люди боятся старости и устраивают нелепый культ юности. У каждого возраста есть свое неповторимое содержание, и мне мучительно больно, что жизнь Мандельштама была искусственно спрессована и он не испытал последнего этапа — постепенного приближения к концу. Впрочем, трудно представить себе постепенность для человека, который с таким «нетерпением жил и менял кожу»... Мандельштам столь же редко говорил о будущем, как и о прошлом, но в 37—38 годах, когда стало совершенно ясно, что дни наши сочтены (не только его, но и мои — ведь я уцелела только чудом или по недосмотру, что одно и то же[17]), Мандельштам вдруг заговорил о старости. Каждый раз, когда я это слышала, меня охватывала холодная дрожь. После его гибели я раскаивалась в своем ужасе и явной дрожи. Мне все казалось, что во всем виновата я и он бы уцелел, если бы я больше верила в спасение. И сейчас это чувство не изжито, но надо ли ему было жить? Ведь в конце концов и он бы поддался страху, заразился бы им от меня и от всех окружающих и тоже превратился в тень. Для такого человека, как он, смерть была единственным исходом: он не умел быть дрожащей тварью, которая боится не Бога, а людей. Я думаю, что разговоры о будущих стихах, а речь шла именно о них, помогали Мандельштаму отгонять страх и предотвращать упадок. Упорно, вопреки всему, он думал о жизни, а не о насильственной смерти. Если так случится, он умрет, но заранее готовиться к насилию он не желал.

Он говорил тогда, что как поэт он развивался очень медленно и постепенно обретал свободу. Из этого он делал вывод, что будет писать и в старости и тогда-то обретет настоящую свободу. Он не позволит стихам верховодить (об этом он мне писал в письме и в последнее время часто говорил) и не допустит насильственных тем. В те дни у него вырвались стихи о смертной казни. Он мне сказал, что в какой-то степени это навязанные извне стихи: толчком к ним было постановление об отмене смертной казни, кроме как за измену родине и что-то еще вроде этого. Мы прочли это постановление в газете, стоя на платформе в Савелове в ожидании поезда. Он сказал: как они, наверное, расстреливают всех подряд, раз издали такое постановление... Стихи о смертной казни были результатом страшного времени, нечеловеческих условий, в которых мы жили. С этой точки зрения они были «насильственной» темой. С другой стороны, «ведь это о людях, мы же не можем отделиться от людей»... Эти стихи слышали только два человека — Наташа Штемпель и я.

---

[17] *Далее следовало*: – в России всегда спасала только плохая работа.

Он думал, что в старости будет дышать другим — неотравленным воздухом и насильственных тем больше не будет. Кроме того, он надеялся овладеть стиховым потоком и научиться, как им сознательно управлять. Заметив мой остекленевший взгляд, когда он заговаривал о будущем, Мандельштам смеялся и утешал меня: «Не торопись. Что будет, то будет. Мы еще живы — не поддавайся. Дыши, пока есть воздух. Ты еще никогда не сидела. В камере воздуха действительно нет. А пока еще есть. Надо ценить то, что есть». Я собрала в горсть то, что он мне говорил, хотя это говорилось разновременно и по разным случаям, а не в форме речи и поучения.

В тот новый этап после Воронежа было около десяти стихотворений. Они были отобраны при последнем обыске. Я была в таком состоянии, что не могла их ни запомнить, ни вспомнить. Поэтому они погибли — по моей вине. Мне жаль их, но еще больше жалко тех, которые не были написаны, потому что не стало воздуха.

Этапы моей жизни

Меня не перестает мучить не дожитая нами жизнь. Я все не перестаю гадать, как бы она сложилась, если бы ее не оборвали. Прямым и аккуратным продолжением прошлого она бы не стала, потому что ничего механического в нашей жизни не было. В ней отразились те же этапы, которые так отчетливо и ясно видны в стихах и в росте самого Мандельштама. Мы стояли на пороге нового этапа, но не узнали, что за порогом, потому что его увели. В ночь, когда его увели, он мне пытался объяснить, что в нем что-то проясняется и он видит то, чего не видел раньше. «Знаешь, я как будто бы понял, может, это чепуха, но мы с тобой...» Мы не договорили последнего разговора, потому что я заснула, мне снился страшный сон, я закричала, проснулась, и мы не спали, когда раздался стук Мы даже не простились как следует, потому что я совершенно окаменела. Я собирала вещи, двигалась, но женщина, когда у нее уводят мужа, вдруг превращается в автомат, в камень, я не знаю во что, только на лицах тех, у кого увели мужей, я узнавала это застывшее выражение, которое у меня было на лице в последние минуты... Так все оборвалось, и я не узнала, что видится Мандельштаму за порогом нового этапа, где мы остановились на один миг.

Когда живешь вслепую, день за днем, часто не замечаешь, как меняются отношения между двумя, но Мандельштам был настолько отчетлив, что даже повседневность не затмевала происходивших в нем перемен роста и созревания. На ходу — в спешке, в суете — я видела их и удивлялась.

Мы пробыли вместе один короткий миг, но наши отношения менялись, по крайней мере, трижды, то есть мы прошли, по крайней мере, через три этапа и, может, потому не успели надоесть друг другу. Мандельштама кто-то может, это была я — сравнил с птицей-фениксом. Она сгорает в огне, а наутро оказывается, что она снова жива и поет. Во всех смыслах он был фениксом: пройдя через кризис, он воскресал и снова говорил, причем голос его приобретал новую силу. И наша близость, воскресая, возникала с новой силой, но всегда несколько видоизмененная. Неженатый Мандельштам, по мнению Ахматовой, сильно отличался от того, кем он был со мной. Неженатого и только чуть-чуть связанного со мной Мандельштама я знала только в Киеве во время карнавала. В нем была юношеская неврастеничность и необузданная веселость. Меня смешило, что он никогда не пишет за столом, как все люди, но кладет листок бумаги на стул и присаживается на корточки. Он обожал кофейни и был страшно легок и подвижен. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично, без усилий, грести, только всегда спрашивал: «А где Старик?» Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы.

Чувствовалось, что Мандельштам, как всякий незрелый человек, может наделать много бед, но его особенность в том, что с годами это свойство не уменьшалось, а увеличивалось: «Другие сны, другие гнезда, но не разбойничать нельзя...» В нем было внутреннее буйство, интеллектуальное, но оно захватывало и повседневную жизнь, сказывалось на каждом поступке и в каждом слове. Несколько карнавальных месяцев я не считаю началом совместной жизни. Это прелюдия нашего брака, если это можно назвать браком. А датой брака мы считали все же первое мая девятнадцатого года. Отменили комендантский час, и мы большой гурьбой гуляли по Владимирской горке («твоя горка», как это потом называлось). Сошлись мы накануне, уйдя из Купеческого сада, где мой табунок делал выставку народного искусства и почему-то проводил целые ночи, жаря на кострах картошку. Мандельштам запомнил Владимирскую горку, потому что там он мне объяснил, что наша встреча не случайность. Я этого еще не подозревала и очень смеялась его словам. Путешествие в чужую страну, в Грузию, не изменило наших отношений, а может, я не поняла перемен: ведь в стихах прорезался новый голос, а такое зря не случается. Новый голос я слышу в стихотворении «Умывался ночью на дворе».

В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины двадцатых годов, когда он искал свое место в мире. В то время он обращался со мной, как с добычей, которую насильно приволок в свою конуру. Все его усилия сводились к тому, чтобы изолировать меня от людей, завладеть мной и взять меня в руки и приспособить к себе. В те годы он упорно делал из меня не читательницу, а слушательницу стихов, учил воспринимать их с голоса. Мне в руки он книг не давал, а сам листал их со мной, показывая мне удачи и провалы поэтов начала двадцатого века. Я чувствовала себя лошадкой в руках дрессировщика, и дело действительно сводилось к этому, хотя дрессировкой он вряд ли занимался сознательно. В одном ему повезло: я охотно поддавалась и была сговорчивой и легкой добычей — мирно ела сено из его рук. Единственное, с чем я с трудом мирилась, это отказ от общения с людьми, которого он требовал и от меня не словами, а просто не отпуская меня из дому. И в свою жизнь он меня тогда не пускал, и я могла только догадываться, о чем он думает. Несколько легче стало на Якиманке, когда мы попали в изоляцию и он перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать.

Второй период начался после ленинградского кризиса, когда, отказавшись от Ольги Ваксель, он увез меня в Царское. Розанов где-то написал, что измена скрепляет семейную жизнь, и мы попали под общее правило, хотя семьей не были и не семейное связывало нас. Я с горечью подумала сейчас об этом, как и о другой особенности нашей жизни: в любой паре приспособляются двое, Мандельштам ни к чему приспособляться не умел и не хотел, и я, в которую он вложил большой труд, приспособляя меня к себе, была ему нужна больше, чем любая новая женщина, потому что с новой пришлось бы начинать все с самого начала, да еще неизвестно, что бы получилось. Я это сказала ему в Царском. Он очень рассердился, но мне думается, что это сыграло немалую роль в его привязанности ко мне.

Второй период ознаменовался тем, что я перестала быть добычей, украденной Европой, девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Нас стало двое. Быть может, это произошло оттого, что мы впервые заговорили о наших отношениях и коекак в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет, и ревновать он стал меня меньше, чем раньше, хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был «няней» и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в тысячу раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить, даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. С какой стати иметь жену и жить одному! Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После Царского Села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту — к этому периоду относится большинство писем. Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа за лист платили рублей тридцать. Гонорары были попросту нищенские, как на Апраксином рынке, и, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в

Киев к родителям — Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями! Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врет, как хорошо складываются дела и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический, перевод насильственных книг заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно, а кроме них — груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась.

Поздней весной мы уехали в Киев (на Горку сходили), а потом в Царское Село, где прожили два года. Зимой 27/28 года Мандельштам написал «Египетскую марку». Я научилась кропать за него какие-то обработки для «Зи-Фа», и он получил передышку. Ленинград уже не кормил: жизнь у нас лишена стабильности. Как в басне Крылова, все время пересаживаются и улучшают организацию. Потом, работая в вузах, я увидела, что каждый год преподают по временным программам в ожидании стабильной, которая, просуществовав год, в свою очередь, отменяется. Точно так обстояло и с издательствами, которые непрерывно реорганизовывались, а литераторы в поисках заработка метались из одного города в другой. Всегда не хватало и не хватает бумаги, и книги снимаются с плана. Сейчас это уже почти не играет роли: в печать лишь изредка попадает то, что хочется прочесть.

В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую, роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы, когда ничего подобного еще не было, но потом добились своего — рот ему заткнули. Лишь после истории с Уленшпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать «новое» как будущее тысячелетие. Тогда-то на обратном пути из Армении — в Тифлисе — к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. «Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов» страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. (Это, кажется, Маяковский сбрасывал непослушных «с корабля современности»? Бедняга!) Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемонии предсказывал будущее. С начала тридцатых годов Мандельштам уже не обращал внимания на предсказателей — он снова обрел полную внутреннюю свободу.

Перед самым отъездом в Армению произошел любопытный казус. Мандельштам был в тяжелом состоянии, пошел к врачам, а те погнали его — тут же в поликлинике — к психиатру. Когда я приехала из Киева, куда ездила на похороны отца, Мандельштам попросил меня сходить поговорить с психиатром. Он оказался примитивным и очень решительным врачом. Его концепция болезни была такая: больной вообразил себя поэтом, выдумал, будто пишет стихи и его знают как поэта, а на самом деле он мелкий служащий, даже не заведует отделом, и носится с какими-то обидами, плохо говорит про писательские организации. Психоз известный — мания преследования на почве идеи о том, что ты что-то значишь. В больницах полным-полно больных, воображающих себя Наполеонами (он не решился сказать: «членами политбюро»). И к тому же совершенно неинтересный больной с однообразным и скучным бредом. Бывают интересные больные, а бывают неинтересные. Бред в чем-то отражает степень развития. К тому же бред глубокий — больного нельзя переубедить в том, что он поэт. Мне врач рекомендовал не заражаться психозом (я пробовала объяснить, что у Мандельштама были кое-какие основания говорить про стихи) и решительно останавливать все разговоры про стихи. Я пришла домой в бешенстве: ну и идиот — вроде как в милиции или в любимом учреждении. Мандельштам неожиданно сказал, что врач не так глуп. «Ведь я тебе писал, что не хочу фигурять Мандельштамом. Я эту сволочь заметил, когда они на меня бросились, да еще возмутился. Они только и делают, что бросаются. Чем я лучше других?» Это был вывод из визита к врачу, которого я бы не сделала. Думаю, что причина легкости, с которой он сделал вывод, в том, что «Четвертая проза» уже была написана.

В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось «мы», но с некоторым вариантом: «мы с тобой». Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих — не мираж, как думала Ахматова[18]. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое — основная форма человеческой жизни. Я допускаю, что в старости — будь Мандельштам богат и благополучен он мог бы дать увести себя от старой жены, но это не меняет дела. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может — даже то, что его увели и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях и периодизация коснулась бы только стихов.

---

[18] *Первоначально было*: Она перед смертью тоже пересматривала свою жизнь и пришла к выводу, что связь двоих – мираж. По ее расчетам, связь эта держится не больше семи лет, «а потом – фьюить!» Наши отношения с Мандельштамом казались ей аномалией, и она пыталась их разгадать, засыпая меня вопросами, на которые я отвечала шутками. Во всяком случае, вариант с «фьюить!» несравненно человечней и приемлемей, чем то, что произошло с нами. В нашу жизнь ворвалась посторонняя сила и разбила ее.

В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что «есть в близости людей заветная черта». Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны, весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный.

Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, не «прекрасную даму», и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В тридцатых годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить «старея», раз ему не дали дожить даже до сорока восьми лет?.. А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой, я не смею верить, но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера.

Отступление в сторону

I. Гибельная свобода

Свобода выбора предполагает два пути — один ведет к дальнему огоньку, то есть делает существование осмысленным, другой уводит «в ночь и чад небытия». Второй путь назван: «безумство гибельной свободы». После Достоевского мы называем своеволием то, что приводит человека на второй путь. У Пушкина «гибельная свобода» почти что юношеское легкомыслие, дань молодости, о которой с легкой горечью вспоминают в зрелые годы. Достоевский раскрывает крайние проявления своеволия, приводящие к гибели и распаду. Суть явлений остается тождественной, хотя в душе все мы сочувствуем юношескому легкомыслию и даже безумию. Пушкина «гибельная свобода» погубить не могла, потому что он был Пушкиным. В некотором смысле она пошла ему на пользу, раз появились мощные стихи о раскаянье. (Для Пушкина несомненно полное совпадение душевных состояний и стихов — он не баловался, сочиняя себе роли и ситуации.) Таков путь великого поэта: он проходит через жизнь, и все пережитое закаляет его, углубляя мысли и чувства. Он делит грех мира, но способен к раскаянью. Самооправдание и снисходительность к себе для него исключаются. Чувство греховности — основное богатство человека. Грех всегда конкретен, а покаяние обретает неповторимые и мощные слова, свой точный язык. Он язык данной минуты и длится всегда.

Лишь бы поэту, как и любому человеку, не вздумалось, отказавшись от свободы, стать как все, слиться с окружением и заговорить на языке сегодняшнего дня. Он тогда становится соблазнителем, но губит только себя, потому что, заговорив на языке сегодняшнего дня, поэт теряет способность «глаголом жечь сердца людей». Язык и суждения сегодняшнего дня длятся только один день, и его приветствует только тот, кто сам активно формировал и этот язык, и эти суждения. Он-то и был настоящим соблазнителем и через поэта пробовал соблазнить толпу именно толпу, а не людей, — но толпа поревет и забудет. На этом все кончится, а расплачиваться будет поэт и, как всегда, заплатит втридорога. Поэт всегда за все платит втридорога. «Лихая плата стережет» его за всякое беззаконие, за каждый поступок, за любую оплошность, и в этом, мне кажется, оправдание поэта. Я читала у одного американского журналиста, как он спросил своего отца, ученого ребе: «Что такое еврей?» Отец ответил: «Просто человек». А потом подумал и прибавил: «Может, даже чуточку больше человек, чем другие люди...» Вот и поэт как будто чуточку больше человек, чем другие люди, и отсюда — чувство вины, раскаянье и лихая плата. Не потому ли «в нашем христианнейшем из миров поэты — жиды»?

Своеволие, исследованное Достоевским, губит не только своевольца, но растлевает все вокруг, выжигает почву, несет всеобщее уничтожение. Каждый из нас читал, как Достоевский, надрываясь, клеймит своеволие и пытается предостеречь от него людей. Мы, пережившие эпоху великого своеволия, знаем, что его не услышали. Особенность людей, вступивших на путь своеволия, в том, что они абсолютно глухи и ничего не слышат. Соблазнители, они уводят людей с прямого пути, и никто ни их, ни уведенных ими людей предостеречь не в силах. Достоевский отлично это знал. Самое горькое свое признание он сделал не от себя, а вложил в уста невзрачному человечку, прыщавому Ипполиту. Юнец мечтает открыть окно и двадцать минут говорить с народом. Ипполиту, конечно, не о чем говорить с народом, а все, что делал Достоевский, это и есть трагические и страстные «двадцать минут» у открытого окна. Ипполит только подводит за Достоевского итоги: народ постоял, послушал и разошелся по домам как ни в чем не бывало. Достоевский, я думаю, не случайно дал такой образ общения с народом — «открыть окно». Свое окно он мог распахнуть — это было в его воле, но сделать так, чтобы люди навстречу открыли окна и услыхали его слова, ему не удалось. Он это сознавал. Народ, как и отдельный человек, — монада, вернее, «монада без окна» — таков пессимистический вывод Достоевского. У них нет ушей, и они не слышат.

Достоевский, конечно, прав. Если продолжить тему «открытого окна», я ведь тоже стояла в толпе и слушала не Ипполита, конечно, а самого Достоевского. Мне запомнилось, что своеволие к добру не ведет и ни в коем случае нельзя сказать себе: «все дозволено». Однако на свой счет я этих слов не приняла, потому что старуху убивать не собиралась, а собственное мелкое своеволие не только не осуждала, но культивировала. Правда, я, как и многие люди моего поколения, заменила содержательное «все дозволено» ничтожным «мне так хочется», но по сути это одно и то же. Сдерживал меня в моем «хотении» не Достоевский, а Мандельштам. Он не позволял мне плыть по течению и следовать последней моде жестокого и ничтожного века. В моем случае это относится только к личной, а не к общественной жизни. Ахматова в своей «несравненной правоте» в личной жизни отдала большую дань своеволию, хотя прекрасно понимала, что «омский каторжанин все понял и на всем поставил крест». Мы вместе перечитывали Достоевского в Ташкенте и поражались силе его прозрений и невероятным провалам Достоевского-публициста с его ненавистью к католицизму, с убогим почвенничеством и мужиком Мареем. «Оба они ересиархи», — говорила Ахматова про Достоевского и Толстого. Она сравнивала двух величайших русских мыслителей с двумя башнями одной постройки: оба искали спасения от надвигающейся катастрофы. Суть катастрофы понял Достоевский, а не

Толстой, но в рецептах спасения каждый из них оказался глубочайшим своевольцем. Впрочем, и первоклассные рецепты не в силах были бы остановить столь далеко продвинувшийся распад.

Достоевский-художник несравненно прозорливее публициста. В подготовительных записях к романам он еще публицист. Обдумывая «Бесов», Достоевский в «тетрадях» подробно мотивировал Ставрогина социальной принадлежностью (до чего знакомая мотивировка!) — дворянин, богатый человек, оторвавшийся от народа и потерявший поэтому веру. Ставрогин в подготовительных записках — простая иллюстрация к мысли Достоевского, что человек, утративший народную веру, теряет и национальность. В тексте «Бесов» из всего этого осталось лишь беглое упоминание о беседах, которые Ставрогин вел за границей с Кирилловым и Шатовым. Зато Ставрогин стал центром урагана: мертвой точкой, где нет ветра, но откуда идет весь разгул, а Шатов превратился в одного из бесов. С. Булгаков заметил, что Шатов в чем-то перекликается с самим Достоевским. Я думаю, что бесы — прежде всего искушения и соблазны, мучившие Достоевского. Все они содержались в его душе, в нем самом, как и в народе — в любом его слое.

Из всех бесов для Достоевского опаснее всех Шатов, боровшийся против отрыва интеллигенции от народа и призывавший вернуться к народной вере. Сергей Трубецкой, один из благороднейших мыслителей, меньше всех терзаемый бесами, удивляется, откуда взялось твердое убеждение об отрыве интеллигенции от народа. Он говорит, что всякий народ выделяет свою интеллигенцию — это нормальное распределение функций в сложном целом. Интеллигенция — плоть от плоти своего народа и сохраняет все его основные черты. Не интеллигенция заразила народ бесами, а весь народ в целом, включая интеллигенцию, болел одними болезнями, искушался одинаковыми бесами. Умный и трезвый Лесков, отнюдь не ослепленный своей болью за народ, прямо сказал, что христианство на Руси еще не было проповедано. События нашей эпохи подтвердили его слова.

Воспитывать мужика Марея, как предлагали западники, или учиться у него, как настаивал Достоевский, в равной степени безумно. Неизвестно, чему научит Марей, хоть он бывает иногда удивительно добрым, а еще чаще — просто ласковым. Пока Марей не выйдет из себя, он отличается невыносимым терпением, и мне кажется, что терпение и страдание — а народ этот многострадальный — запутавшиеся люди отождествили с верой. После войны я с ужасом прочла в официальной речи-инструкции, обязательной для каждого гражданина нашей счастливой страны, похвалу пресловутому терпению русского народа. Мне почудилась дьявольская усмешка в этих словах. Оратор, наделенный неслыханной властью и провозглашенный гением, умел пользоваться проклятым терпением для своих целей. Кое-какое утешение я получила в тот же день, когда стояла в очереди за зарплатой к университетскому кассиру. Мы вежливо приглашали немногочисленных докторов наук получить деньги без очереди, как им полагалось по инструкции (мы когда-то получали паек в магазине, где висела надпись: «Народовольцам без очереди» — высшая форма уважения и признания в нашей стране). Доктора наук мило отнекивались и настаивали на полной демократии, то есть становились в хвост. Мы столь же мило пропихивали их вперед (почет и уважение науке и степеням!), и благородная игра продолжалась бы до бесконечности, но вдруг всю очередь оттеснила и смяла толпа уборщиц и рабочих университета. Они пришли с тряпками, ведрами, топорами и всяким инструментом и грубо отбросили нас от кассы. Мы завизжали: куда они лезут?.. Из нахальной толпы послышались голоса: вы терпеливые, вы и стойте, а нам некогда... Толпа баб и мужиков ругалась и посылала куда следует терпение, сидевшее у них в печенках. Похвалы за терпение они не приняли и тоже почуяли в ней издевательство. Им надоело получать два даже не ломаных, а бумажных гроша за свой труд и благодарить начальство за попечение и заботу. Терпение иссякло, но обрадовалась этому только я. Вся терпеливая толпа во главе с докторами наук отправилась к ректору требовать (такое мы даже можем потребовать), чтобы рабочим выплачивали в другой кассе, потому что они не хотят терпеливо стоять в очереди и протискиваются вперед, нарушая табель о рангах, то есть сословные права профессорско-преподавательского состава. Просьбу удовлетворили, потому что ненавидели уравниловку. В рабочем государстве нельзя терять терпение. Оно продукт не веры, а исконной разобщенности народа.

Одна из русских цариц писала своей немецкой матушке, что в удивительной стране, где ей пришлось сидеть на троне, власти обращаются с народом, как победители с побежденными. Я спрашиваю: кто из них своевольцы? У мужика Марея можно учиться не вере, а терпению, которым он отвечает на все издевательства, пока, потеряв терпение, не начинает буйствовать. Буйства он не выдерживает и падает в корчах на землю. Тогда его можно связать.

Если есть разрыв и пропасть, то она проходит не между интеллигенцией и народом, а между народом в целом и правящими кругами. Наверху у нас никогда не слышат о том, что говорят внизу, и даже стукачи направлены только для приемки определенных сигналов — не отзывается ли кто непочтительно о начальстве... Верх и низ — две разорванные части того, чему следовало бы быть единым целым. Правители — единственная элита в башне из слоновой кости, и это случилось не в нашем веке, а было у нас всегда. Промежуточное звено опричнина, пополняемая из всех слоев народа.

Почвенничество никогда не давало плодов. Ставка на национальную обособленность всегда подхватывается опричниками и своевольцами: дешевая идейка, которая ведет к отъединению и отрыву — «я» без «мы». Идейка общедоступная, и ею легко соблазнить огромные толпы. Мы уже испытали полный отрыв от всего мира и знаем, к чему он приводит, и нам же он, вероятно, предстоит в будущем. В закрытом мире всегда вспыхивает ненависть к мысли и катастрофически падает образование. Отъединение — праздник полуобразования, недоверия, испуга и проклятого терпения. Оно никогда не приводило ни к чему доброму, и это легко обнаружить на примере фарисеев: ведь именно они были борцами за национальную независимость и суверенитет. В их случае еще можно найти оправдание, потому что страна была под римским владычеством, но и они оказались полными банкротами. Достоевский, ища спасения в почвенничестве, не мог не знать о роли фарисеев в Древней Иудее, а знал бы, все равно не изменил бы позиции. В нем слишком сильна была ненависть к католицизму, и он холодными глазами, скучая, смотрел на «священные камни» Европы. Он стремился выделить Россию из христианского мира, оградить ее плотной стеной, чтобы не было соблазну. Уж не сестре ли капитана Лебядкина надлежало спасти мир?

Почвенничество такая же попытка остановить ход истории, как идеи Льва Толстого. Все, что ведет к разделению, результат своеволия. Оно дает распыление, разрыв, разлом, разбивает целое на несоединимые части. Это окончательно выяснилось в двадцатом веке. Мы были свидетелями разрыва. Что он нам дал, кроме обнищания физического и духовного? Достоевский, великий провидец, высшая точка девятнадцатого века, сам не мог освободиться от бесов, которые толкнули его прочь от вселенской идеи к национальному отъединению. Наш опыт показал, что мужик Марей, если он не стал «аппаратчиком», отлично поймет интеллигента, которого выслали в его деревню. Мне случалось пить с ним чай и распивать четвертинку, а разговаривали мы шепотом, чтобы нас не подслушивали стукачи. Мне было легко и с бабами, у которых мужей угнали по той же дороге, что и Мандельштама. Сейчас они рядом лежат в одной яме с одинаковыми бирками на ноге. Никто не отшатнулся от меня, оттого что я еврейка. Антисемитизм спускается сверху и созревает в том котле, который называется «аппаратом». Между мужиками и мной не было ни трещины, ни разрыва. Нас воссоединила общая судьба, если когда-нибудь разрыв был. И мы до смерти боялись начальства, опричников, аппаратчиков, хозяев, стукачей, подхалимов и разной челяди. У моего друга Поли, что живет в Тарусе, никого не забрали, но она с отвращением показала мне бабу по прозвищу Бухонка, еле передвигавшую толстые, распухшие ноги. Бухонка раскулачивала во всю силу и девчонкой выла от радости, когда господ сбрасывали с моста в воду. Дочь Бухонки устроилась продавщицей в магазине — так заплатили матери за былые подвиги. Дочка приносит из лавчонки что ей вздумается, а мать ест из рук дочери и смотрит телевизор, вспоминая дни былой славы. Пенсию ей получать не за что, потому что она была слишком занята общественной деятельностью, чтобы работать. Рассказывать соседям о своих прошлых подвигах она не смеет и притворяется нищей колхозницей, которую забрала в город хорошо устроенная дочь. Дочку все уважают, потому что она может «подкинуть» дефицитный товар. Внуки на Бухонку плюют.

По Чаадаеву, Россия, быть может, существует лишь для того, чтобы дать миру урок. Я думаю, этот урок уже дан Бухонкой и присными. Путь глубоко национальный и своеобычный. Несчастье в том, что люди отворачиваются от уроков истории. Если им захочется, они пойдут по тому же пути.

Мужика Марея уже нет, а в деревне одни бабы, а среди них куча Бухонок.

II. Свобода и своеволие

Я бы не знала, что противопоставить своеволию, если б не случайный разговор с Ахматовой, который для меня все повернул по-новому. Я принесла от Любы Эренбург томик Элюара. Люба надеялась, что Ахматова соблазнится и что-нибудь переведет. Эренбурги дружили с Элюаром, а вдова плакалась, что у нас его не переводят. Где же его переводить, как не у нас! Ахматова полистала, посмотрела и с досадой отложила в сторону. «Это уже не свобода, — сказала она, — а своеволие...» Для меня такое противопоставление было новым, и я не знала, что им часто пользовались в десятых годах. В частности, я потом нашла его и у Сергея Булгакова, и у Бердяева. Мы были отрезаны не только от всего мира, но и от своего прошлого — от книг, от мыслей, от всего... Каждый из нас, когда полегчало, стал первооткрывателем и с удивлением добрался до самых простых вещей, известных всем на свете. И сейчас один за другим люди открывают у нас азбуку христианства, которую в свое время спрятали и за полвека успели забыть.

Не сразу, но постепенно я поняла, что у человека есть выбор между путем свободы и путем своеволия. Язык понятий беден, и мы употребляем слово «свобода» в двух значениях — в полновесном смысле и в сочетании «свобода выбора». Есть явное различие между этими двумя понятиями. Говоря о «свободе выбора», мы имеем в виду волевой акт. Человек действительно хозяин своей судьбы, как и народы и все человечество в целом: он имеет свободу выбора. Иное дело понятие «свобода». Это ценностное понятие. Человек идет путем свободы или, лучше сказать, обретает свободу, если ему удается избавиться от темных побуждений своего «я» и времени, в котором он живет. Одержав победу, человек получает свободу от себя и от эпохи, как гражданин Англии «свободу от города», freedom of town, и перестает платить налоги. Это ни в коем случае не освобождение от греха, хотя подобное чувство, наверное, знакомо тем, кто всей душой участвует в Евхаристии, когда «все причащаются, играют и поют». Свобода духа для религиозного сознания есть ликование и благодать. Этим отличается и благодатное страдание от нашего, темного и страшного, но все же на каких-то ступенях более высокого, чем подлое равнодушие: все существующее разумно и оправдано нуждами времени, пока не касается моего драгоценного «я»... Благодаря жизни с Мандельштамом я постепенно дошла до мысли, что лучше, чтобы грузовик переехал меня, чем чтобы я, сидя за рулем, давила людей.

Люди, обретшие свободу, не очищаются, как я уже сказала, от греха. Человек всегда греховен и участвует в общем грехе наравне со всеми. Но труд художника — дар свободы. Он приносит просветление, хотя и не избавляет от греха, и счастлив тот, кто сохранил сознание греховности. (Быть может, это сознание и способствует той свободе, без которой нет полноценного труда — в науке и в искусстве, во всяком случае.) Художник человек или чуточку больше человек, чем другие люди, и в грехах своих человечен. Есть большие грехи, чем обычные и свойственные всем людям, и они-то губительно влияют на дар художника и сводят его дар на нет. Для художника опасны гордыня, самоутверждение, соблазнение людей на ложный путь, соучастие в преступлениях века, которые как дурман и от которых так трудно освободиться. Не только художник, но все мы подвластны этим искушениям, и я мучительно знаю, где я преступала и преступаю запретный порог... Путь свободы труден, особенно в такие эпохи, как наша, но если бы люди всегда избирали путь своеволия, человечество давно перестало бы существовать. Оно существует, значит, созидательное начало было сильнее разрушительного. Сказать, как будет дальше, я не берусь. Страшно думать, но человечество, кажется, уже подошло к рубежу, когда ему придется выбирать между человекобожием, то есть путем Кириллова, который ведет к самоубийству, или путем свободы и возвращения к «светочу, завещанному нам от предков».

Действительно ли есть только два начала — созидательное и разрушительное? Может, есть и третье — пассивное или охранительное, нейтральное к добру и злу, всегда враждебное всему новому, будь то крест, который всегда сохраняет новизну, или поэтический голос... Охранители равнодушно охраняют привычное, куда бы оно ни вело — к жизни или к гибели. В любом движении действует инерция. Охранители живут по инерции, и в странах, переживающих тяжкие кризисы, они особенно заметны. Грубый пример блаженные старички, просидевшие полжизни в лагерях и продолжающие говорить старыми словами и орудовать прежними понятиями, которые им же искалечили жизнь. Они прибавили к своему словарю одно лишь словечко — «ошибка», но свято убеждены, что «ошибка» была допущена только по отношению к ним и им подобным. Каинов грех в расчет не принимается, поскольку они сами — в минуту подъема и высшей активности — отстаивали свое право на уничтожение всех, кто является помехой в высоких замыслах, которые они поставили себе. Ведь они хором — все они только хористы, увлеченные опытным хормейстером, обещали осчастливить человечество, а ради этого имеет смысл отказаться от древних заветов — для них это не заветы, а предрассудки прошлого, — а кстати убрать носителей этих заветов. Они не знали, что преступление не может быть остановлено, а когда дошла очередь до них, заплакали: ошибка!.. Но это не ошибка и даже не миллионы ошибок, а естественный ход вещей, цепная реакция, которую остановить нельзя, если не добраться до первопричины. Этого, к несчастью, никто не собирается делать, потому что охранители представляют собой огромную тупую силу, не различающую свободу от своеволия.

Что же такое свобода и своеволие? Свобода основана на нравственном законе, своеволие — результат игры страстей. Свобода говорит: «Так надо, значит, я могу». Своеволие говорит: «Я хочу, значит, я могу». (Понукая исполнителей, своеволец обычно использует первую формулу, чтобы добиться выполнения своих желаний.) Частный вариант своеволие маскируется под научное знание. Оно говорит: «Я точно знаю, что нужно, значит, я могу и заставлю всех делать то, что считаю нужным». Наука в этом не виновата, даже если просчиталась в своих выводах. Не Ницше создал сверхчеловека. Он только довел до воплощения идею своего времени. Он дал воплощение тем течениям европейской мысли, которые неправильно поняли, что такое *личность*, стали на путь индивидуализма и прямым путем пришли к человекобожию. В наш век кроме науки существует еще наукообразие. Быть может, почти вся философия пошла по этому пути, а вместе с ней и дилетанты философии. Наукообразие прорывается повсюду, с особой настойчивостью в те области, которые касаются человеческого общества. Девятнадцатый век фетишизировал науку, и наукообразные теории легко доходят до человеческих сердец. Наукообразие — своевольная болезнь науки.

Свобода ищет смысла, своеволие ставит цели. Свобода — торжество *личности*, своеволие — порождение индивидуализма. Обожествление народа, национализм, — особый случай индивидуалистического культа, своего рода индивидуализм. Леонтьев, рассказывающий соблазнительные байки про народы, которые, подобно деревьям, имеют особые корни и дают неповторимые листья, принадлежит к ясно выраженным своевольцам. Он ратует за разделение, забывая заветы христианства и то, что род человеческий един и неразделим. Говоря об единстве и неразделимости, я вовсе не думаю, что во всем мире должна быть единая и стандартная культура, являющаяся смешением всех культур. Дом, в котором живет человек, вырос из земли и слился с пейзажем. Он сделан из дерева или из глины, которые породила эта, а не другая земля. Даже сменившись современной архитектурой, дом сохранит свою связь с ландшафтом, тоже значительно измененным людьми, которые в нем жили. Дом — начало культуры, первая веха, и дело, в сущности, не в нем, и он взят только как пример характера отдельности. Не больше.

Нет и не было человека вне религиозного сознания, то есть отношения к миру, и культура племени, народа, орды вырастает из этого сознания. Религия соединяет людей, и культура возникает от этого объединения людей. Она не бывает совершенно изолированной и отдельной — абсолютно вне связи с человечеством. Каждая культура входит в группу других культур, выросших на той же религиозной мысли. То, что Бергсон называет «закрытым обществом», всегда объединяется основополагающей и строящей мыслью с другими «закрытыми обществами» и в конце концов вырывается в «открытое общество». Культура, сознающая себя частью более широкого целого, видоизменяется вместе с другими и может сохраниться в полном цвету, потому что изменение или рост есть свойство исторического процесса. Обособление есть остановка истории, усыхание и, как мы видели, приводит или сопровождается выкорчевыванием корней. Обособление равно эгоцентризму, а он губителен как для отдельной личности, так и для народа в целом. Это сужение, а не расширение личности. Не случайно эгоцентризм вернейший признак душевных заболеваний, а психическим болезням подвержены не только отдельные люди, но и целые народы. Эгоцентризм тесно связан со своеволием, с потерей памяти и усыханием корней.

Я знаю, что есть объединения людей, не основанные на религиозной мысли. Самый явный пример — блатари, которые чтят своего пахана и собираются на толковище для установления временно действующих законов, постановлений и приговоров над отдельными членами блатного мира. Все это произносится паханом, но демократия соблюдена — толковище... Вот единственный пример настоящего закрытого общества, и оно действительно основано не на религиозной идее. Это общество живет паразитической жизнью, поражено роковым эгоцентризмом — в своем целом, которое составляется из отдельных эгоцентриков. Блатари, говорят, не знают любви, а только роковые страсти, и убивают подруг, если те плохо чесали им пятки. Шаламов говорит, что у них есть культ матери, от которой они отрываются с первых шагов на блатном поприще. Всегда легко любить далекое — на этом основана вся сентиментальная и фальшивая концепция жизни.

Блатари узнают друг друга по походке, вернее, походочке, потому что каждый из них не живет, а играет взятую на себя роль, чтобы выделиться из человеческого общества и не смешаться с толпой. Блатари очень похожи на мнимых поэтов, художников и псевдоученых. Это болезнь общества, раковая опухоль с разбухшими и потерявшими структуру клетками. Внешне объединенные между собой блатари держатся вместе лишь потому, что противопоставляют себя людям и тому обществу, которое паразитически сосут. И друг с другом связь у них неустойчивая и хрупкая: спор, минутная ссора, и начинается поножовщина. Эгоцентрик идет на эгоцентрика. Пахан казнит и милует. Все непрерывно рассыпается в пыль и прах. Объединения блатарей ненамного устойчивее той связи, которая существует среди душевнобольных, запертых в одной больнице. Это два типа устойчивых эгоцентриков, которыми управляет крайнее своеволие. Своеволие ужасно по своим последствиям, потому что приводит к быстрому разрушению отдельного человека и созданных своевольцами общественных объединений. Но называть это трагедией нельзя. Это обезьяна трагедии, кривое зеркало, мерзость запустения, тлен и прах.

По-настоящему трагична свобода. Перед свободным человеком стоят тысячи вопросов, и основной из них — прав ли он, что стоит на своем, не считаясь с общим мнением, нет ли в его поведении гордыни. Ведь ему нередко приходится идти наперекор обществу, всегда до известной степени зараженному своеволием. Трагичность свободного человека особенно заметна в эпохи вроде нашей, когда болезнь своеволия охватывает целые народы. Свободному человеку приходится знать, видеть и понимать, чтобы не сбиться с пути. Он всегда в напряженном внимании и никогда не теряет связи с действительностью, хотя толпе охранителей кажется, что он витает в облаках. Он вынужден подавлять в себе инстинкт самосохранения, чтобы сохранить свободу. Она не дается готовенькой в руки, за нее нужно дорого платить. Есть великая правда в житиях святых, всегда боровшихся с искушениями. В наше время святых нет, но искушений сколько угодно. Дело свободного человека ясно, потому что он не ставит цели, но ищет смысл. Искание смысла трудно, потому что непрерывно возникают миражи и не так-то просто рассеиваются. Свободный человек стоит на своем, потому что не может отречься от истины, но ведь и миражи прикидываются истиной. Я не назову свободным человеком Хлебникова — он замкнулся в себе и жил в отдельном, выдуманном им мире. Действительность лишь изредка прорывалась в его мир, и в результате прорыва возникали отдельные блистательные кусочки в стихах. Я не назову свободным человеком Ахматову, потому что слишком часто она попадала под власть общих концепций — хотя бы в вопросе о наших страданиях, которые ей хотелось приравнять к мученичеству. Готовые концепции в стихах Ахматовой, выдумка, сочинительство — все это свидетельствует не о свободе, а, с одной стороны, о принадлежности к охранительскому слою, а с другой — об известной доле своеволия. Мандельштам всегда искал свободного решения и сохранял связь с действительностью, но и он не вполне свободный человек: шум времени и шум жизни постоянно заглушали в нем внутренний голос, он забывал про идею, на которой строилась его личность, не верил себе и своим выводам, потому что они шли наперекор тенденциям времени, и в своем порыве к людям терзался тревогой и массой сомнений: «...не может быть, чтобы я был прав, раз все думают иначе». Свобода в руки не идет, она достигается внутренней борьбой, преодолением себя и мира, постоянным вниманием и болью. И все же даже неполная доля свободы резко выделяет свободного человека из толпы. У него прямая походка и глубокое сознание греховности, почти полностью утраченное сегодняшней толпой. Свободный человек не идет к пахану и не прельщается толковищем. Он не играет роли, а живет. Жить ему трудно, но зато он свободен.

Несчастье своевольца (и своевольного общества) в разрыве между «хочу» (цель) и «могу». Когда своеволец не может добиться цели, он, как мы видели, впадает в неистовство. Цель у своевольца бывает любая — женщина, богатство, перестройка общества по задуманному плану, что угодно... Женщина может сказать «нет» (сейчас случается больно редко), богатство не так-то легко добывается, а с перестройкой общества дело обстоит совсем туго, потому что, исторически развивавшееся, оно имеет тенденцию жить по собственным законам и с трудом поддается насильственному реформированью. В самом начале нашей эпохи Мандельштам заметил «огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля», но первый поворот был сделан на огромном подъеме, в дни народной революции, когда человеческие толпы действительно верили в рулевого и помогали ему изо всех сил. Руль хоть и скрипел, но все же поворачивал корпус корабля, который был переведен на неизведанный курс и дальше поплыл по инерции. Куда ведет этот наш путь? Кто знает... Дело, во всяком случае, далеко не только в экономическом переустройстве, хотя это было и продолжает быть скрипучим делом. Гораздо существеннее, по-моему, отношения между людьми внутри страны и позиция целого по отношению ко всему миру. Страна выпала из того мира, к которому она принадлежала и с которым совершила весь исторический путь. Оставшись в изоляции, она потеряла связь с прошлым, движется к неизвестному будущему и непрерывно отдаляется от цели, поставленной по воле людей, поверивших в свою способность провидеть будущее. Достигла ли наука об обществе той ступени, когда она может провидеть будущее? Возможна ли вообще такая ступень? Знает ли наука, каковы последствия изоляции, отказа от прошлого и разрушения всех ценностных понятий? Есть ли наука, способная расценить убытки от расшатывания, вернее, уничтожения представлений о добре и зле у миллионов людей? Мандельштам подозревал в самом начале плаванья, что «десяти небес нам стоила земля». Знал ли он, что мы потеряем не только небеса, но и землю? Может, и предчувствовал нечто подобное. Ведь не случайно сказано в этом стихотворении: «В ком сердце есть, тот должен слышать, время, как твой корабль ко дну идет...»

Своеволец, услыхав от женщины «нет», способен пустить себе пулю в лоб, человек, стремящийся к богатству, пускает по ветру все, что у него есть, надеясь выиграть в карточной или биржевой игре. Иногда он становится блатарем и вскрывает банковский сейф, расплачиваясь за это тюрьмой. Своеволец уничтожает все и всех, кто ему мешает, и прежде всего самого себя. Разрушение и самоуничтожение — неизбежные следствия своеволия. Самоубийство Гитлера и его костер — блистательный пример самоуничтожения своевольца, который верил, что вокруг его костра соберется вся Германия. Я читала, что Гитлер в последние дни непрерывно давал приказы уже не существующим и рассыпавшимся армиям. Он негодовал, что они, несуществующие, не выполняют его приказов. Его действия отлично иллюстрируют наблюдение Сергея Булгакова о том, что своеволец начисто теряет ощущение реальности. Булгаков понял это в дни, когда своеволие еще не приняло таких отчетливых форм, как в нашу эпоху.

Своевольный человек и своевольное общество не только не желают считаться с реальностью, но действительно не видят ее. В уме они переделывают ее на свой лад и не способны поверить, что она иная. Я запомнила своеобразный сдвиг значения слова «оппортунизм». В тридцатых годах все газеты пестрили этим словечком. Оппортунизм оказался способностью замечать не только наши удачи, но и беды, а оппортунистами были люди, которые говорили, что настала тяжкая пора и следует призадуматься... Большинство из них вышли из лагеря своевольцев и попросту боролись за власть, пользуясь тем, что еще не полностью потеряли чувство реальности. Есть огромная разница между отказом молчать свободного человека — «Здесь я стою, я не могу иначе» — и своевольца, который упорствует, предлагая перестроить мир по собственному плану, а не по чужому. Так называемые оппортунисты тоже перестраивали мир, но по иному плану. Они прогорели и попали в лагеря, где скоро погибли.

Обыкновенные люди к этому времени уже давно научились молчать в тряпочку, и шумели только старухи в очередях. Их было так много, что, скорее всего, им дали умереть своей смертью. Им на смену пришли новые «кадры» старух, в молодости занимавшихся раскулачиванием и изъятием ценностей. Стояние в очереди стало опасным, потому что старухи второй половины сороковых и начала пятидесятых годов громили продавцов и покупателей за недостатки в идеологической работе. Одной из них я попалась на язык, потому что завернула покупку в газету с портретом хозяина (кульков в уличных ларьках да и в магазинах не было, а в каждой газете красовался этот портрет). Она подняла крик и вырвала у меня газету. Покупка — яблоки или морковь, я уж не помню, — рассыпалась по тротуару. Я не стала ничего собирать и была рада, что удалось унести ноги. Время было напряженное и погромное — охранители действовали везде и всюду по указке своевольцев. Подобные сцены вспыхивали везде и всюду — на улицах, в очередях и в автобусах...

История первой половины двадцатого века, прочтенная как разгул своеволия, отказавшегося, как ему положено, от всех ценностей, накопленных человечеством, является прямым следствием гуманизма, потерявшего религиозную основу. Таков процесс, длившийся веками и пришедший к логическому завершению в нашу эпоху. Своевольцы объявили культ человека и в результате растоптали его. Они ухватились за человекобожие, против которого нас предупреждал Достоевский, и мы узнали, что такое человекобожец (или сверхчеловек) в действии. Мне очень важно было бы знать, почему Мандельштам чурался Достоевского. В стихах и в прозе есть реминисценции из Достоевского, но он никогда не писал и не говорил о нем. Боялся ли он его выводов, или его отталкивали теории Достоевского-публициста? Мне кажется, что он ощущал Достоевского как вместилище всех бесов и в своих поисках более светлых отношений с людьми закрывал глаза на пророческие прозрения великого каторжанина. Люди наших поколений делились на приверженцев Толстого и Достоевского. Мандельштам тяготел скорее к Толстому, чем к

Достоевскому, но в общем был свободен от обоих, потому что чувствовал в них ересиархов.

Мне думается, что в каждом человеке и в каждом обществе всегда есть элементы и свободы, и своеволия. Вопрос только в пропорциях. Если исторический опыт нашей эпохи не поможет людям положить конец воинствующему своеволию, останется только совершить последний и логический шаг самоуничтожение. Я долго не понимала, почему Кириллов должен покончить самоубийством. Мне казалось, что человек, осознавший себя человеком, расцветает для жизни, а не накладывает на себя руки. В молодости этого понять нельзя. Только зрелое сознание видит разницу между тем, кто ощутил себя человеком, потому что открыл себя — созданного по образу и подобию Бога, и тем, кто возвеличил себя и свою волю, отказавшись и даже вытравив из своей души высшее начало. Для второго неизбежно самоуничтожение, и мы это видели своими глазами. Когда он приступит к окончательному уничтожению мира, ему будут способствовать тупые охранительные силы, которые оберегают сейчас чудовищные сооружения, воздвигнутые своеволием.

Человек — символическое животное. Разве прожитая нами эпоха не является символом, а может, и последним предупреждением, которое мы поленились понять? Нам было явлено то, что происходит в результате человекобожия и своеволия, но мы закрыли глаза, чтобы не огорчаться и не делать выводов. Люди берегут здоровье и благодетельный оптимизм огорчаться вредно и неприятно.

Я допускаю, что Мандельштам чувствовал чуждость Достоевского, потому что, не будучи ни на йоту охранителем, он был полон эсхатологических предчувствий и спокойно ждал конца.

III. Мужики

Кириллов — самый опасный из всех бесов Достоевского. Он не случайно поселился в одном доме с Шатовым. Они заключат союз, и тогда можно будет на всем поставить крест. Видно, и Сергей Булгаков больше всех боялся Кириллова. Основные выводы относительно своеволия он делает, разбирая самоубийство Кириллова.

Статья Сергея Булгакова написана в начале века, когда устойчивый быт еще мешал увидеть, что интеллигенция, элита и революционное подполье, также и нейтральный слой, тяготеющий к одному из двух полюсов, в равной мере заражены своеволием и оно должно неизбежно выплеснуться наружу. Бердяев не понял, насколько более опасные формы своеволие приняло в революционном подполье. В автобиографии, одной из своих последних книг, он писал, что жертвенная интеллигенция боролась за народ, а победивший народ ее уничтожил. Это чистый стереотип, Бердяев поленился подумать и посмотреть вниз на то, что происходит в реальности. Интеллигентская верхушка революционного лагеря использовала народ для победы, а захватив власть, тотчас прибрала его к рукам. Народ был лишь орудием и, как всегда и всюду, остался ни с чем. Он воевал, бурлил, стрелял в воздух и в людей, а настоящее уничтожение проводилось после бурного периода и не народом, а специально воспитанными под руководством победителей железными кадрами. Своеволие народа — стрельба в воздух. Настоящее губительное своеволие идет другими путями.

Сергей Булгаков называет своевольца «дьяволом» и говорит: «Он несовместим с миром, он может хотеть мир лишь как вещь, как игрушку, а человечество — как рабов, которыми он может помыкать...» Такова и была участь народа — всех его слоев, включая интеллигенцию, — в период разгула своеволия. Ведь своеволие есть осуществление своей воли и, следовательно, зажим воли других. Оно связано с волей к власти, с желанием диктовать и навязывать всем свои взгляды и мысли. Своеволец ставит себе цели, и это усугубляет волю к власти: чтобы достигнуть цели, надо заставить всех действовать согласованно и двигаться в одном направлении. Для продвижения рекомендуется солдатский шаг. В семье ли, среди друзей или в политике своеволец всегда стремится верховодить. На первых порах верховодить стремились огромные толпы, шедшие за победителем и добывавшие ему победу. Каждый дом, квартира, учреждение, деревня, не говоря уж о городах и областях, получили своего верховода (сначала их было по нескольку, потом один брал верх), который распоряжался, инструктировал, отдавал приказания и обязательно грозил стереть сопротивляющегося в порошок. Для тех лет он представляется мне управдомом, когда он врывается в квартиру, требует выселения, переселения, уплотнения, ремонта и черт знает чего, приправляя свои требования потоком угроз и шантажных формул насчет буржуазии, которой пора свернуть шею. Крикуны бушевали повсюду, и кое-кого жизнь подбросила на верха, откуда давались распоряжения. В них нуждались, потому что они поставляли полезную информацию: где прячутся офицеры, куда мужик ссыпал зерно, у кого есть золото и где пахнет жареным.

Однажды в Киеве в одну ночь провели обыск во всем городе, чтобы «изъять излишки», и я отчетливо увидала разницу между крикунами и обыкновенными людьми. Ночью к нам ворвалась группа людей во главе с чекистом. Среди них был крикливый управдом — он знал расположение комнат и мечтал разыскать тайники, — а еще несколько солдат, сумрачных, исполнительных, готовых по первому приказу разнести весь дом, и двое рабочих на ролях экспертов. Они-то и решали, что является излишками и подлежит изъятию. У матери в спальне стоял большой гардероб. Туда запихивали меня в детстве братья, чтобы я визжала, как поросенок, требуя освобождения... Управдом рванул дверцу, но рабочий остановил его: зачем ломать, когда ключ торчит в замке... В шкафу висели обычные для того времени платья, сшитые портными с больным воображением. Управдома прельстила шитая стеклярусом кофта. Она блестела и показалась ему пределом буржуазного счастья. Рабочий отнял кофту, повесил на место и запер шкаф. Из всей семьи я одна была в спальне, остальные сидели в столовой и пили ночной чай, делая вид, что ничего не происходит, а за ними приглядывал солдат. «Нашим женам не нужны ваши тряпки», — сказал мне рабочий и предложил обыскивающим «сворачиваться». Рабочие были «мобилизованы» для массового предприятия, и оно вызывало у них не меньшее отвращение, чем у нас. Чекист «работал» — и он и солдаты уже стали орудиями уничтожения и действовали по инструкции. Наслаждался один управдом. Так это выглядело на заре наших дней — в случаях не экстренных и в общем безобидных, то есть в повседневности.

Крикуны и своевольцы продержались до начала тридцатых годов. Их использовали для проведения коллективизации, но власть, централизуясь, все меньше нуждалась в них. Ей требовались «на местах» точные и механизированные исполнители приказов, а не мелкие своевольцы. Их час пробил. Частное и мелкое своеволие поглощалось единым и великим, перед лицом которого все люди рабы. Централизация и сосредоточение власти в руках немногих или одного — неизбежный результат своеволия в действии, потому что сильный не может не закрепостить слабого и, только маневрируя, заключает союзы, временные, разумеется, то с одним, то с другим, чтобы потом уничтожить своих бывших союзников. Прежде всего заткнули глотки мелким своевольцам типа управдомов. В городах их не стало к середине двадцатых годов. Разве что у себя в кабинете какой-нибудь начальник похорохорится перед подчиненным или робким просителем. В деревне шел тот же процесс, только медленнее.

Летом 35 года Мандельштаму удалось поездить по Воронежской области: газета отправила его в командировку и получила разрешенье на выезд в органах. Мы провели около двух недель в Воробьевском районе, переезжая из деревни в деревню на попутных машинах. Под конец чуть ли не в один день нам довелось встретиться с человеком недавнего прошлого, мелким своевольцем, отеческой рукой управлявшим колхозом, и с одним из граждан нового стиля директором совхоза, настоящим роботом, равнодушным исполнителем повелений, которые сыпались на него в бесчисленном количестве в виде инструкций на папиросной бумаге. Они, наверное, все загубили себе зрение, расшифровывая эти неудобочитаемые инструкции.

Своевольца, который пробовал собственноручно переделать мир, то есть родную деревню, звали Дорохов. История Дорохова проста и типична. Он вернулся домой с фронтов мировой и гражданской войн и по типу своему принадлежал не к тем, кто бился в припадках падучей, а к тем, кто держал припадочного. В деревне он сразу начал строить новую и счастливую жизнь. Стартовал он с комбеда и рыскал по кулацким амбарам, отбирая зерно для города, потом оказался в волостном Совете и организовал первую коммуну. Она была распущена, как все подобного рода «товарищества по совместной обработке земли» и добровольные коммуны. Они все же представляли собой некое «мы», целью которого было не только служить государству, но и прокормить детей. Подошло время коллективизации, и Дорохов стал председателем маленького, а затем укрупненного колхоза. Он жаждал власти, потому что точно знал, как идти к счастью. Очутившись первым в своей деревне, он развил неслыханную активность. Незадолго до нашего приезда его сняли с председательского поста за самоуправство — он что-то передернул с поставками и нанес ущерб государству. В самой деревне с ее жителями он мог творить что угодно — это самоуправством не считалось. Лишенный власти, Дорохов не растерялся и сохранил престиж — он взял мешок и пошел побираться. Подавали ему охотно, потому что в каждой избе он повествовал о своем величии и падении. К нашему приезду его вернули на председательский пост по настоянию односельчан. Тогда им еще разрешалось слегка бузить. Взывая к начальству, они перечислили все заслуги Дорохова. Из них главная — он провел самое глубокое раскулачивание в самый короткий срок, не затребовав помощников из города.

Дорохов имел в деревне собственную каталажку, куда сажал ослушников, не считаясь с их происхождением, то есть бедняков наравне с кулаками. Это не оттолкнуло от него односельчан. Его ценили за то, что он расправлялся собственноручно и в Сибирь никого, кроме «настоящих кулаков», не загнал. Дома «настоящих кулаков» он решил использовать под ясли, клуб, избу-читальню и прочие социалистические учреждения, а пока в маленькой деревне стоял с десяток пустых и заколоченных хат в ожидании книг, библиотекарей и другого оборудования. Дорохов жаждал просвещения. Зуб на него имели только комсомольцы — они стремились к власти, потому что чувствовали себя «сменой». Подкапываясь под Дорохова, они строчили доносы и посылали их в город. Темой доносов могло быть что угодно. Комсомольцы главным образом негодовали, что Дорохов поставил подкулачников сторожить яблоневый сад, конфискованный у одного из раскулаченных. Испуганные подкулачники сторожили не за страх, а за совесть и даже падалку берегли для свиней. (Запуганный всегда лезет вон из кожи, служа начальству и подслуживаясь.) Дорохов говорил о комсомольцах, кипя негодованием: «Только бы им яблоки жрать — чисто, скажу, «яблонный комсомол»...» У него была выразительная речь — он бурно «рванулся к культуре» и вывез из армии много замечательных выражений. «Не выходите вечером, — сказал он мне, — здесь малярийные испарения климатуры...»

За три дня до нашего приезда Дорохов издал приказ поставить на каждое окно в каждой избе по два цветочных горшка. Приказы Дорохова сыпались как горох и были написаны на языке первых лет революции. Он с нами вместе обошел с десяток домов, проверяя, как выполнен цветочный приказ. Значение ему он придавал огромное: цветы выпивают влагу и служат «против ревматизмы». Бабы объясняли Дорохову, что ничего против цветов не имеют, но горшков нигде не достать и три дня слишком малый срок, чтобы вырастить даже лопух или крапиву. Дорохов негодовал, и только наше присутствие задержало суд и расправу. Нам говорили, что Дорохов как отец родной и бьет кулаком прямо в рыло. Особенно от него доставалось тем, кто направлял доносы в город, а не ему «самолично». Деревня любила его, потому что он был свой и в ответ на оскорбление или отеческое поучение можно было взбунтоваться и оскорбить его. При нем бабы сидели дома «для приготовления пищи и детских надобностей», а женщины в России хозяйки, и то, что они скажут, закон для мужей, исподтишка строптивых, но все же в те времена еще законопослушных. Скоро бабам пришлось туго — их выгнали на работы в поле, потому что Дорохова, как мы узнали, окончательно сняли и он снова пошел побираться. Не пришлось ему добиться счастья ни для себя, ни для своего села. А оно было так близко...

Дорохов для тридцатых годов был осколком прошлого. Его уничтожили, как и всех участников народного бунта, вернувшихся в деревни и городки, чтобы воспитывать народ и приобщать его к культуре. Дорохова использовали вовсю: он воевал, бунтовал, раскулачивал, а потом раскулачили и его. Во второй половине тридцатых годов его дом стоял заколоченный, как дома тех, кого он сам угрохал в Сибирь. Не Дорохов ли, по мнению Бердяева, расправился с «жертвенной интеллигенцией»? Могу дать справку: в период призрачной власти Дорохова «жертвенная интеллигенция», загнав остатки разгромленных партий на каторгу, еще пользовалась плодами победы. Ее час пробил в конце тридцатых годов, почти через десять лет после проведенной с ее одобрения стопроцентной коллективизации.

Мандельштам распил с Дороховым бутылку водки и сочувственно слушал его речи, зная, что он обречен. Он подсчитал, сколько человек Дорохов вымел из родной деревни, но цифры я не запомнила. Она была не малой и не большой, обычной, то есть невероятной. То, что для нас обычно, для нормальных людей невероятно, непостижимо и чудовищно. Жертвенная интеллигенция не моргнула глазом, иноземные красноперки, которых у нас выращивали в колбах, чтобы потом послать в родные деревни или страны для буквального повторения пройденного, чистили клювиком перышки и никуда не глядели, а иноземные писатели ездили восхищаться нашим опытом, покупать в комиссионках меховые шубы триолешного покроя и возвращались домой, чтобы рекомендовать в родной деревне наши методы насаждения культуры и справедливого распределения. Их бы хоть один годик продержать на пайке, который доставался деревенским бабам после раскулачивания. Дорохов, отец родной, все же жулил на поставках, чтобы у баб и ребятишек не пухли ноги и животы.

Представитель нового стиля управления (я уже говорила о нашем увлечении проблемами стиля), директор совхоза, возил нас на полугрузовичке по полевым станам. Приезжая на стан, он требовал, чтобы ему дали попробовать квасу и щей. «Забота о людях», — объяснял он Мандельштаму, представителю прессы, и иногда разносил стряпуху за качество щей, то есть воды, в которой плавала капуста. Следующий вопрос директора был, согласно последней инструкции, относительно газет: организовано ли чтение газет разумеется, вслух, глазами можно скользить по газете, не читая — во время перерывов. Кто читает? Рекомендовалось читать грамотно и выразительно. Изредка директор выражал свой хозяйственный восторг тем, что бросался на кучу зерна — шла уборка, готовились к молотьбе — и со стоном разгребал ее ручками и ножками, словно плавая в море зернового крестьянского богатства. Мандельштам глядел, проезжая, на неубранные поля и сказал мне, что на месте директора он бы перестал надуваться квасом и слегка побеспокоился — поля желтели от сорняков, которые стояли выше, чем чахлая пшеница. Директор этого не замечал, потому что еще не спустили приказа о борьбе с сорняками. Он боролся с тем, что было названо в инструкциях. Предметов для борьбы хватало.

Под вечер мы выехали на поляну, где торчала еле заметная землянка. Впервые за день директор проявил прыть: вместе с шофером и тремя рабочими, ехавшими с нами в кузове, он выскочил из машины, бросился к землянке, залез на крышу и поднял пляс. Рабочие в шесть рук принялись разносить землянку ломами, а директор с шофером долбили крышу ногами. Иерархия соблюдалась и в таком черном деле: начальник и его подхалим, шофер, не могли разносить землянку наравне с простыми рабочими. Им полагался отдельный участок работы, на этот раз — крыша. Никто не знает, сколько у нас классов чиновников, кроме самих чиновников, но они-то отлично разбираются в тонкой структуре и не возьмутся за лом, если такое им по штату не положено. Шофер вне классов. Он символ власти вместе с машиной, которую он водит, и любой чин садится с ним рядом. Поэтому шофер тоже не схватился за лом, а плясал рядом с директором на крыше. Любопытно, что в армию эти тонкие градации пришли позже, чем на гражданскую службу. В 38 году я преподавала немецкий язык в казарме (меня допустили по инструкции о женах, которых не сочли нужным сослать, и это происходило в том самом городе, где за мной приходили с ордером). Мои ученики были лейтенантами, и я слышала, как они растерянно обсуждают приказ, запрещавший им играть в шашки и шахматы с солдатами, носить на улицах тяжелые пакеты (а кому носить — мамашам или женам?) и якшаться с подавальщицами в столовых. На каждый брак, согласно приказу, требовалось разрешение командира, чтобы офицеры не заводили себе фифок из низших рангов. В институтах и университетах всегда стоял острый вопрос о степенях, рангах и о студенте — может ли он продать на базаре, стоя за прилавком, привезенный им из деревни от родителей мед или окорок. В Чите мне жаловалась освобожденная секретарша, высокий чин в институте, что студентки, крестьянские девки, путаются с рядовыми, а не с лейтенантами. Девочки выросли с этими парнями, говорила я, но секретарша, сама родом из деревни, качала головой и сокрушалась: как можно!

Убогую землянку разносили дюжие мужики, строго соблюдавшие табель о рангах. Первой поддалась крыша, что-то грохнуло, и из землянки начали гуськом выползать люди с вещами. Одна из женщин вынесла прялку, другая — швейную машину. Мандельштам поразился, сколько народу помещалось в крохотной землянке, — уж не вырыты ли там подземные ходы? Мы еще не прочли Кафку, но знали, что у крота всегда есть запасной выход, а людям приходилось выходить прямо на своих обидчиков. «Какие они все чистые», — сказал Мандельштам. Последней из землянки вышла женщина — там ютились старики, женщины и дети — в таком же ослепительно-белом сарафане, как другие, а на руках у нее сидел заморыш, живой трупик, безволосый, морщинистый, с зеленоватыми отростками вместо рук (Он всегда стоит у меня в глазах как символ — чего? Жизни, действительности, реальности и всеобщей, в том числе и моей, жестокости.)

Женщинам нечего было терять, и они крыли директора густым южнорусским матом (я люблю мат, в нем проявление жизни, как и в анекдотах), но он не успокоился, пока не сровнял с землей и не засыпал их жалкое логово. Вот судьба тех, кто по совету Зощенко вырыл в земле логово и завыл зверем. Вся земля — поле, лес, луг — принадлежит кому-то, она не бесхозна. Закончив работу, директор сел в кузов рядом с нами и пустился в объяснения: мужья либо сосланы, либо разбрелись по городам в поисках работы, а бабы «отсиживаются» на совхозной земле. Совхоз — государственное предприятие, а он, директор, ответственное лицо, не может терпеть на вверенном ему участке классового врага, кулацкое зелье... Любая комиссия, а они вечно ездят и все проверяют, может напороться на кулацкое гнездо и обвинить его, директора, в укрывательстве. Он, директор, считает, что раскулачивание еще недоделано. Надо прямо сказать, что у нас мало прислушиваются еще к периферийным работникам. Они бы в один голос сказали, что надо было «пристроить в Сибирь» всех баб, как «пристроили» мужиков, а то с ними нет сладу. Можно и не в лагерь — есть же спецпоселения. Нечистая работа — недочистили. Закон есть закон. Приказ есть приказ. Он, директор, действует по закону и по приказу — иначе с него спросится.

Мы молчали — возражать было бесполезно: он знал, что делает. В бесполезный спор мы бы, пожалуй, ввязались, но спор с директором, исполнителем и законником, был не только бесполезен, но и опасен. Директор в совхозе не только власть, а еще и прямой сотрудник высшей власти, представитель которой живет рядом с ним и ежедневно проверяет выполнение законов. На женщин и стариков, ютившихся в землянке, не выписали ордеров — скорее всего, потому, что план (по числу ссылаемых голов) оказался выполненным, а не то (и чаще) перевыполненным. Им дали расползтись по земле — лишь бы подальше от родного гнезда, где устроен «дом культуры» на крови. Бабам в чистых сарафанах с детьми и прялками неслыханно повезло, как мне, например, после второго ареста Мандельштама. А руки у них были золотые — не то что у меня! — и они пристроятся в городах и на стройках уборщицами и чернорабочими. В нашей стране для всех найдется работа, как нашлась для меня. Мы, бабы без мужиков, потянем свою лямку. Через несколько лет, когда я буду уже без Мандельштама, мы все услышим великие слова, что сын за отца не отвечает. Если заморыш выживет, его возьмут в солдаты, на завод или он пойдет руководить в партийный аппарат... Приспособят заморыша, как приспособили меня.

Директор пригласил нас к обеду, но мы собрали вещи и с попутной машиной укатили в райцентр. Там мы зашли проститься с секретарем райкома («Воробьевского райкома не забуду никогда»). По его лицу было видно, что он скатился в захолустный городок откуда-то сверху. Ему мы решились рассказать про землянку и спросили, нельзя ли что сделать. Он развел руками... Не отвечая на вопрос, он спросил, много ли бродит нищих по Воронежу. Их было уже меньше, чем в тридцать четвертом, когда мы туда приехали. Обозы же с раскулаченными как будто исчезли к тридцать третьему. «Значит, идет на убыль», — сказал секретарь и прибавил, что нищие, бродячие и те, что в землянках, еще легко отделались («Лес рубят — щепки летят»). С его стороны такие слова были неслыханной смелостью. При незнакомых людях он произнес крамольную фразу, за которую можно было угодить на десять лет. Секретарь, конечно, приложил руку к «великой аграрной революции сверху», но нам показалось, что он делал это без энтузиазма. Допускаю, что мы приписывали ему свои чувства, потому что у него было интеллигентное лицо. У директора морда была хамская — животное, пляшущее на крыше. Мы простились и укатили на грузовике, с которым нас сосватал секретарь.

Дела прошлые, но как отражаются на потомках преступления отцов и дедов?.. Нас возмутил поганец директор, весь день упивавшийся квасом, и порадовал секретарь, обронивший случайную, хотя и крамольную фразу, а по существу, все, включая нас, умыли руки. Пытался оправдаться только директор — после пляски на крыше шевельнулся червячок, в который превратилась совесть. Я и не оправдываюсь — видела и проглотила. И не то еще видела и взвыла, да так, чтобы никто не слышал, только когда забрали Мандельштама. Свиное рыло, директор, оказался лучшим из всех — в течение полувека делаются худшие дела без малейшей попытки самооправдания, а свидетели молчат. Как только не отсох язык от молчания! Впрочем, он и не думал отсохнуть даже у тех, кто не молчал, а восхвалял все преступления. Нам предстоят еще полвека молчания и бесстыдных восхвалений, потому что говорить не только опасно, но и бессмысленно: «...наши речи за десять шагов не слышны». Через сто лет язык, наверное, отсохнет. Научились молчать, научатся обходиться без языка. У нас ценятся и нужны «рабы, чтобы молчать».

Как начались бредовая ложь и молчание? Все произошло по Сергею Булгакову, который написал, что своеволец, теряя чувство реальности, непрерывно взвинчивает себя мыслью, что ему все доступно и он все может. Красивые ведь мы себе задачи ставили: переделать природу, общество, сознание и физический облик людей, победить смерть, чтобы вознаградить достойных долголетием, и карать оппортунистов, то есть сомневающихся, свинцом. Ради таких целей стоило пожертвовать и заморышем на руках у белосарафанной бабы, и мной, и Мандельштамом. У тех, кого приносили в жертву, осталась одна возможность — матюгнуться в последнюю минуту. Вот почему я ценю мат.

Все мы молчали из низкой трусости, из-за сковавшего нас страха. Меня несколько утешает, что не только «мы», но и они были трусами и ходили мокрые от страха. В тридцатом году в каком-то городишке на Кавказе мы остановились в гостинице, я вышла на террасу и в поисках уборной дернула не ту дверь, запертую на замок. Вдруг щелкнул замок, дверь распахнулась, появился человек в форме и набросился на меня, как зверь. Это был недавно прибывший работник органов, которого, не подыскав сразу квартиры, поселили в гостинице за запертой дверью. Он, испугавшись, что на него будет совершено покушение, орал и грозился меня арестовать. Сбежалась вся гостиница, все орали, размахивали руками и кое-как отстояли меня и успокоили его. Ему же тоже страшно, объяснили мне, — сама знаешь: всем страшно... Меньше всего боялись те, кого готовили в философы, которые подстрекали людей на выполнение великих задач. Я видела крошечную философку, для которой уже была заготовлена кафедра в областном вузе. Ей предстояло быть бдительным оком и давать советы партийным и советским организациям. Мы сидели с ней за одним столом в санатории Цекубу в Болшеве. Все ворчали на жидкий чай цвета младенческой мочи. Слово взяла аспирантка: чай — импортный продукт, валютный, пора избавиться от иностранной зависимости и выращивать чай в колхозах, поскольку уже проведена стопроцентная коллективизация (1932). Сусальный дедушка, ботаник, сказал, что чайный куст требует особых климатических и почвенных условий, а у нас только небольшие полосы краснозема на Кавказе. У аспирантки ответ был готовый: «рожденный ползать летать не может» и «буржуазное неверие в могущество людей и науки». Не дала ли она совет в своем обкоме прививать чайные черенки к морозоустойчивым деревьям? С нее бы сталось.

Своевольцы отвечали дикими репрессиями на всякую неудачу. Весной и осенью, в честь сельскохозяйственного цикла, всегда толпами сажали людей, имевших и не имевших отношения к сельскому хозяйству. В девятнадцатом веке усиленно пытались реабилитировать Каина. Кто-то даже объяснил, что Каин новатор, земледелец, не мог не убить отсталого пастуха Авеля. Мы же попросту забыли про библейских братьев, а для воспитания детей выдумали своеобразную смесь из обоих: Павлика Морозова. Он бежал из дому, чтобы убить отца — чужими руками, посредством доноса, — а его убили, как Авеля. Дети в младших классах выучили назубок поучительную историю про Павлика и всегда были готовы донести даже на собственного отца. Лучшие воспитатели молодежи прошли Каинов путь. Я знала специалиста по Спинозе, который носил на груди орден за раскулачиванье. Директор Читинского пединститута отличился при выселении из Крыма татар. Он был славный малый и, удирая днем в кино, брал портфель и говорил секретаршам, что идет в обком. Как быть, чтобы славные малые перестали выполнять преступные задания? Прошлого не вернешь, но как быть, чтобы эти любители кинофильмов, ничего не слыхавшие про Каина, не натворили новых бед?

Стихи и люди

I. Читатель

Мандельштам никогда не сделал ни одного шага навстречу читателю. Он нуждался в собеседнике, в первом слушателе (их бывало всегда несколько), но не в читателе. Воспитанием читателя, как символисты, он не занимался и не вербовал читателей, как футуристы, ставшие потом лефовцами. Мне думается, он уважал своего потенциального читателя, а если его уважаешь, нет места ни воспитанию, ни вербовке. Мандельштам обращался к читателю как к равному или даже к лучшему и ждал от него только «сочувственного исполнения». В сущности, он даже не произносил слово «читатель». Вопль тридцать седьмого года: «Читателя, советчика, врача» — вызван искусственной изоляцией, когда нельзя было не только напечатать стихов, но даже прочесть их на улице знакомому человеку, потому что большинство старалось нас не узнавать. В более нормальной обстановке (о просто «нормальной» я не говорю — мы такого не видели) он говорил не про читателей, а про людей — «люди сохранят», «если людям нужно, они сами найдут — они всегда находят то, что им нужно»... Один раз — незадолго до ареста 34 года — он сказал, что ему бы хотелось «сделать что-нибудь для людей», а то он много живет и как-то не позаботился об этом. Он словно искал человеческую боль («то, что мучит их») и средство, чтобы ее исцелить, то, что нужно «для их сердец живых». Разговор этот происходил в те дни, когда он уже понял, что все «считали пульс толпы и верили толпе», но связь с людьми, с толпой вовсе не означает приспособления к ней. В шуме толпы, в «шуме времени» множество составных элементов — глубинных, поверхностных, преходящих и случайных, вечных и незыблемых, так что нужно заранее настраивать слух для улавливания тех или иных компонентов. К тому же и в случайном бывает отпечаток незыблемого нужно только его услышать и понять. То, что улавливает художник, зависит от его духовного строя, от внутренней цельности и структуры, от той основной идеи, на которой строится его личность. Со стороны Мандельштама не противоречие, когда наряду с обещанием считать «пульс толпы» он говорит, что будет работать, «не слушаясь, сам-друг». Я думаю, что оба эти заявления относятся к различным пластам шума толпы. Одиночество художника и его свобода «от города» не противоречат связи с миром, без которой он не может осуществиться, хотя такая двойственность часто ощущается им как внутреннее противоречие. Художник всегда живет в своем времени, затерянный и растворившийся в толпе сегодняшнего дня, но, будучи мощным уловителем шума толпы, он в то же время уединен от нее и, в сущности, никогда не бывает ничьим современником.

Толпа легко теряет связь с прошлым и не видит будущего, а художник по своей природе анахроничен и живет не только в текущем времени, но устремлен в будущее и тесно связан с прошлым, потому что ощущает своих предшественников, поэтов как собеседников, учителей и друзей. Они всегда остаются его истинными современниками, и с этой точки зрения сомнительна всякая установка на чистый футуризм — она нигилистична по своей сути. Основная идея художника, подлинного, разумеется, формируется в «открытом», как сказал бы Бергсон, обществе, а питается она шумом толпы и теми источниками, откуда черпало, поднимаясь, «закрытое» общество, толпа, на чьем языке он говорит. Если вдуматься, общество, толпа, никогда не бывает вполне «закрытым». Даже полувековая изоляция не могла у нас полностью вытравить идей и представлений, пусть искаженных, расплющенных и деформированных, но все же хранящих следы того, на чем строилась наша культура и что принадлежит «открытому» обществу. Толпа забывчива, но в ней сохраняется нечто человеческое, и она мучится, когда вожаки науськивают ее на самосуд. Озверелые массы начала нашей эры были страшны, когда бились в припадках или рвали людей на части, но они не так омерзительны, как усмиренные толпы на собраниях, голосовавшие за уничтожение себе подобных. (В 38 году, когда я работала на фабрике под Москвой, меня утешало зрелище, как работницы бегут с собраний, куда их насильно загоняли. Я наблюдала такие сцены в проходных, где куча баб смела и свалила с ног дежурных кадровиков, которые не выпускали их на волю. Но бабы эти были простые, а не кадровые «бухонки».)

Толпа, собранная на площади или в зале в одно компактное целое, не равна людским толпам, рассеянным в пространстве — на улицах и проселках, в городах и деревнях, в домах и квартирах. Рассеянные толпы и составляют общество, в нашей стране ничем не объединенное, потому что все исторически сложившиеся союзы рухнули, а ревущие и компактные толпы и массы не имеют собственного пульса и слова: ими управляет вожак, по-старинному — демагог. Рев этих толп и страх перед ними побудили многих интеллигентов на «смену вех». Воспитанные на уважении к народоправству, они приняли рев за мнение толпы и не учли роли вожаков. Стихийное движение никогда не бывает стойким, если нет вожаков.

Слова Мандельштама о том, что он будет работать, «не слушаясь, сам-друг», могли быть сказаны в любую эпоху, потому что они вытекают из двойственного положения художника — внутренне свободного и связанного с толпой. В наши дни проблема «художник и толпа» решалась на самом примитивном уровне: литература, по-нашему «надстройка», обязалась служить «базису», то есть повиноваться указаниям специально выделенных для руководства чиновников. Сначала литература, как и все искусства и науки, обещала быть «классовой», а когда это слово стерлось, что произошло довольно быстро, его заменили другим — «народным искусством». Нам объяснили, что значит «народность искусства». Она оказалась синонимом «партийности». Идеологические манипуляции производились откровенно и с полной легкостью, оспаривать же их было совершенно бессмысленно. Никто не пытался этого делать, но полемический жар не давал Мандельштаму покоя. Я не уверена, что полемичность была в природе Мандельштама. Она развилась, по-моему, потому, что он жил в безумную эпоху, когда под корень вырубали все основы социальной жизни, на которой строилась европейская, а следовательно, и русская культура: христианское понимание времени, истории и личности.

В ранних статьях Мандельштама, напечатанных в «Аполлоне», полемичности нет и следа. В них он определяет свою позицию по сравнению с символистами, не полемизируя, а только отгораживаясь. В этом-то смысле Вячеслав Иванов и повлиял на акмеизм — он был теоретиком символизма, как и Андрей Белый. Акмеисты определяли свою позицию, отгораживаясь от символистов, главным образом от Вячеслава Иванова.

В «Аполлоне» напечатаны три статьи — о собеседнике, Чаадаеве и Виллоне. В первой Мандельштам говорит, что поэт обращается не к близкому, а далекому читателю. Далекого читателя ни воспитывать, ни третировать нельзя. В этой статье Мандельштам отвергает жреческую и учительскую позицию символистов, сознававших себя элитой, живущей в «серебряном веке». В статье о Чаадаеве иная и не менее актуальная тема: русский мыслитель, испытав влияние западной мысли, все же возвращается на русскую почву и только при этом условии обретает внутреннюю свободу — «лучший дар русской земли». (А ведь действительно у русских мыслителей была внутренняя свобода, которой не могла помешать никакая деспотическая власть. Я, разумеется, говорю не о нигилистических умах, находившихся в рабстве у толпы и в то же время бывших ее вожаками.) Осознав в юности значение внутренней свободы, Мандельштам не мог отказаться от нее с такой легкостью, с какой это сделали толпы «попутчиков». Ранняя интеллектуальная зрелость Мандельштама закрыла ему возможность мирного сожительства с новой идеологией. Для десятых годов актуальность статьи была несколько иная: символизм как течение оторвался от традиций русской поэзии и мысли. Он был предельным западничеством, и его не спасали славизмы некоторых поэтов и обращение к языческой Руси... «Левые» течения, несмотря на поверхностный, скорее националистический, чем национальный, слой, вполне сливались с западным, так сказать, «авангардизмом». Таково было положение и в поэзии и в живописи (не так ли обстояло дело и в музыке?).

Третья статья — о Виллоне — тоже выявляет антисимволистскую позицию Мандельштама. Наперекор символистам он считает, что художник разделяет грех мира. Он не избранный гость, которому все позволено, а такой же грешник, как все. Русская проза была по традиции учительской (чему она только не учила!): «Поучение — нерв литературы», как пишет Мандельштам. «Поэтому для литератора необходим пьедестал. Другое дело поэзия... Быть выше своей эпохи, лучше своего общества для него (поэта) необязательно...» В трех этих статьях Мандельштам обвиняет символистов в самовлюбленности и, рассказывая о Виллоне, неожиданно вставляет несколько автопризнаний или слов о том, в чем он чувствует свою родственность Виллону: «Он любил город и праздность», «жил в Париже, как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой...» Именно таким сухопарым и потрепанным зверьком ощущал себя сам Мандельштам и действительно был на него удивительно похож Я ведь тоже любила в нем неугомонного зверька и не уставала глядеть, как он вертится белкой в колесе.

В статью вкраплены и замечания о рабочем методе, близком самому Мандельштаму и противопоставленном символистам, и еще о других чаяньях, которые разделял Мандельштам: «Луна и прочие нейтральные «предметы» бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Зато он сразу оживляется, когда речь заходит о жареных под соусом утках или о вечном блаженстве, присвоить себе которое он никогда не теряет окончательной надежды». О жареных утках в наше время не могло быть и речи. Для Мандельштама их нужно заменить бифштексом для лучших периодов, а в прочие времена — яичницей и банкой консервов, служивших восхитительной основой для пира.

О вечном блаженстве Мандельштам в стихах не говорит, но только вздыхает «о луговине той, где время не бежит». Надежда, однако, никогда не покидала его и сопровождалась своеобразным беспокойством: сохранится ли в будущей жизни чувство поэтической правоты, лучший дар его самоощущения на этой земле. Что там будет музыка, он знал, потому что верил Данту. Поэтическая правота связана с мыслью о сохранности поэтического наследства. В статье о Виллоне высказана еще одна из основных мыслей Мандельштама, относящихся и к его пониманию времени и поэзии. Я говорю о соотношении текущего мгновения, запечатленного в поэзии, и будущего как на земле, так и в вечности. «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и остаться тем же «сейчас»«... С одной стороны, это относится к вечности, которую он понимал как вечное «сейчас», как Евхаристию, как гармонию («Гармония — это кристаллизовавшаяся вечность»). Ему было не по дороге с мистиками, которые отрицали «вечность во времени», потому что вечное «сейчас» он понимает тоже как время. Не от него ли у меня вера, что сделанное на земле, найденная здесь гармония есть форма духа, живущего в вечности? Иначе говоря, ни стихи, ни музыка не могут пропасть, даже если они уничтожены на этой земле, потому что они запечатлеваются в носителе гармонии для вечной жизни. «Игра и духовное веселие» — вот чем живет художник, который «крови горячей не пролил», даже если он просто сухопарый зверек.

Слова о текущем моменте направлены против символистов, которые стремились выйти из времени, чтобы здесь, на земле ощутить вечность. Для Мандельштама текущее время, «сейчас», — великий дар, от которого он не собирается отказываться, и даже вечность он познает через радость этого «сейчас». Вероятно, в этом причина его особой способности жить настоящим, безоглядно радоваться мгновению, не будучи озабоченным «мгновенным», то есть чисто земными заботами, куда входит и страх за собственную потрепанную шкурку. Если бы не эта способность жить настоящим, он не мог бы писать стихов в тридцать седьмом году, когда прекрасно понимал, что гибель не за горами, а у самого порога. Мы умели пировать, потому что он и меня заражал своей радостью, не позволяя будущей катастрофе бросать тень на свое прекрасное настоящее мгновение. Кому-то показалось, что Мандельштаму жилось в тридцать седьмом году получше, чем раньше, раз он мог писать такие просветленные стихи. Это был ужас, которого себе представить нельзя, и я не свалилась в яму только потому, что рядом со мной жил невероятный зверек, человек, полный духовного веселия и гармонии, который знал, что «ткани нашего мира обновляются смертью», и потому не боялся гибели и понимал «деятельность духа в искусстве как свободное самоутверждение в основной стихии искупления». Такое самоутверждение не имеет ничего общего с индивидуализмом, а страх парализует именно индивидуалистов.

В ранних статьях Мандельштам не отстаивает свое право на внутреннюю свободу. Он уже обладает ею. Он не полемизирует с господствующим течением символизмом, а только отгораживается от него. Статьи эти были нужны молодому поэту, потому что он изложил в них свои основные мысли, от которых никогда не отказывался. Удивительно, что они написаны в возрасте двадцати двух — двадцати четырех лет. Откуда такая зрелость?

Литературная тема у Мандельштама всегда тесно связана с мировоззренческой и историософской. Связь эта неразрывна. Поэзия для него плуг, поднимающий глубинные пласты времени, и тем самым — победа над временем. Она носит священный характер, и потому поэт несет особую ответственность перед людьми, потенциальными читателями, за каждое свое слово. Люди ничего не должны поэту, а для него существуют запреты. Он может играть с людьми, он грешит, как все люди, и в этом нет смертного греха. Но поэт не смеет быть соблазнителем. Поэт просто человек и знает так же мало, как другие люди, поэтому соблазном являются всякая авторитарность и учительская позиция. Нельзя вести за собою людей, когда сам блуждаешь в мире, не зная дороги: «Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран, замусолил». Поэт сам нуждается в авторитете, ищет его, ластится к нему. Поэзия священна, но поэт — грешный человек. Поэзия никогда не равна откровению — этого Мандельштам не забывал никогда. Для чего ему был нужен читатель? Чтобы проверить на его слух стихи, а потом выпить вместе бутылочку вина и пойти погулять. В бестолковой жизни приятно иметь друзей...

Поэтические течения были для Мандельштама мировоззренческими, а не чисто литературными событиями. Он удивлялся интеллектуальной нищете футуризма и пышным, но пустым поползновениям символизма с их мостами в вечность. В живописи он понимал значение школы, как и в музыке, но к поэтическим школам относился скептически. Любой поэтический голос он считал неповторимым, как личность, а потому не поддающимся повторению. Особенно резко он отвергал стихи, написанные «под акмеистов», а таких в двадцатых годах было множество. Снисходительно он, пожалуй, относился только к учительству Гумилева, и, скорее всего — по дружескому пристрастию, но учеников Гумилева в счет не принимал. Никакой проблемы «стиля» для него не существовало, так как «стиль» — явление функциональное и зависит от общей направленности поэта. Слова «форма» и «стиль» в его словаре отсутствовали так же, как «творчество». Я никогда этих слов от него не слышала. По правде сказать, они и мне кажутся неудобопроизносимыми.

Такое отношение к поэзии само по себе было источником полного разногласия с современниками. Наша эпоха предложила готовое мировоззрение, а от писателей ждала хорошей формы, богатого языка и стиля, а формальная школа изучала «приемы», «стилевое слово» и влияние литературных школ, скажем, борьбу между «архаистами» (почвенники) и новаторами, то есть шла по тому же пути, что официальная литература. Разница с ведущим, официально признанным течением была не по сути, а по уровню. Те были просто дикарями. Изучать поэзию можно, конечно, любыми способами, лишь бы заметить что-нибудь существенное, но разбору механическими щипчиками поддаются только мнимые явления. Не случайно формалисты так много говорили о Сенковском и Бенедиктове. Самый симпатичный из их любимцев — Кюхельбекер, друг Пушкина, воспетый Тыняновым...

С двадцать второго года статьи Мандельштама приняли резко полемический характер, и каждый разговор превращался в отчаянный спор. Он поневоле стал в оппозицию к эпохе и к своим современникам, которых сначала еще воспринимал, как весь мир, как новый век. В стихах об этом сказано с полной отчетливостью: «Против шерсти мира поем, лиру строим, словно спешим обрасти косматым руном...» Не потому ли Мандельштам так любил Зощенко, что у него в сентиментальных повестях человек обрастает шерстью и роет нору в лесу, чтобы завыть зверем, и только потому, что пытался «построить» не лиру даже, а самую простую человеческую жизнь.

Двадцатые и тридцатые годы — апогей «нового», когда оно находило всеобщее сочувствие и поддержку, а Мандельштама воспринимали как сплошной анахронизм. Вот тогда-то находились толпы доброхотов, которые искренно и дружески старались помочь Мандельштаму «перестроиться» (как в Китае), преодолеть себя и стать человеком. Этим занимались интеллигентные мальчики, сообразившие, что будущее за марксизмом, прилефовские деятели, Шкловский, Бобров, удивленный собой, что почему-то прельщается такой рухлядью, как стихи во «Второй книге», Кирсанов, известный под именем Сема, Эйхенбаум и даже Тынянов, не говоря уж о сотнях припролетарских юнцов и личных друзей вроде Яхонтова и его жены Лили Поповой. В советах различались два типа: один — как найти тему, созвучную эпохе (Кирсанов, Лиля Попова и толпы мальчиков), другой — как заговорить языком, понятным читателю.

Под эту музыку прошла вся жизнь Мандельштама. В двадцатых годах она все же действовала на нервы, потому что и ему верилось, что «новое» обосновалось надолго и имеет под собой основание. В тридцатых годах он охотно заговорил на языке, «добровольно и охотно забытом» всеми окружающими, и на советы доброхотов отвечал шутками. Лишь изредка — на минуты — он поддавался дурману и спрашивал себя, не ослеп ли тот, кто идет один против всех и не видит того, что видят все.

Я могу по пальцам перечислить людей, которые сохраняли трезвую голову, да еще при этом упоминали Мандельштама. В первую очередь это Стенич, Маргулис и Олейников, человек сложной судьбы, раньше других сообразивший, в каком мы очутились мире, и не случайно в собственной своей работе продолживший капитана Лебядкина. Все трое погибли — двое в застенках, один в лагере. Ахматова подразумевается сама собой как союзница и друг жизни. Читателей было, разумеется, гораздо больше, чем советчиков, и книги раскупались в одну минуту, но кто из купивших книгу понимал, что читает, и не считал Багрицкого более сильным вариантом Мандельштама, который не видит жизни и не сумел перестроиться? Сейчас любимая тема младших современников — маленький рост Мандельштама (журналистская пошлость Эренбурга), его надменность, обидчивость и комическое поведение. Что им еще вспоминать, когда они подбегали, чтобы дать добрый совет, а в ответ получали ослепительную, а часто и оскорбительную шутку? Понять друг друга они не могли, потому что Мандельштам жил и пользовался понятиями, которые были вытравлены из сознания современников и объявлены поповщиной. Случилось то, что со строителями Вавилонской башни, которые вдруг заговорили на разных языках. Мандельштам башни не строил, и строители не могли его понять.

Строители башни вольно или невольно потворствовали всем преступлениям эпохи. Чтобы совершать преступления, надо иметь твердый и сочувственно настроенный тыл. Кое-кто из строителей опомнился, единицы, да и то — я их не видала, а множество погибло в тридцать седьмом году. Среди толп строителей первого призыва погиб и Мандельштам, и другие люди, ничего не строившие и всегда гонимые. Гибель

Мандельштама была воспринята в свое время как совершенно закономерное явление. Она не произвела ни малейшего впечатления ни на людей искусства и литературы, ни на читателей. Разве такой анахронизм имел право существовать в «дни великого совета»? За право на жизнь надо было платить в сокровищницу идеологии и стиля. Пугались, когда уничтожали хороших плательщиков, по поводу Мандельштама усом не повели. Неплательщикам жилплощади в надстройке не полагалось. Они могли претендовать только на лагерную койку, но в наших лагерях, как и в немецких, были не койки, а нары.

Для себя я предпочла бы лагерный барак, чем писательскую дачу, но для Мандельштама что угодно, лишь бы не проклятый барак на краю света. Удушье и вонь, грязь и вши с сыпным тифом, голод и позор, страх и часовые, вышки и колючая проволока... Бирка на ноге в яме была спасением и отдыхом. Можно ли жить, когда все это всегда при мне?

II. Несовместимость

В статьях Мандельштама сохранилась его живая интонация, но разговор был насыщен шутками, блистательными выпадами, резким и грубоватым порой остроумием. Про его публичные выступления я только слышала от тех, кто на них присутствовал. Ни меня, ни Ахматову на вечера стихов и на публичные выступления он не пускал. Наше присутствие в зале стесняло бы его. Выступал он очень редко — ведь все с самого начала покрылось густым слоем официальщины и не располагало к свободному разговору. При мне он лишь однажды ввязался в спор на литературном собрании в ГИХЛе, посвященном, как я уже говорила, «научной поэзии». Мандельштам выступал очень резко и оспаривал самое понятие «научная поэзия». Нарбут ликовал: настоящее литературное собрание. Санников, второй адепт этого вида поэзии, чернел от гнева. Он принадлежал к кругу Андрея Белого, и его шокировало то, что там называлось «полное отсутствие духовности у Мандельштама». Вообще резкость суждений у нас осуждалась всеми кругами без исключения. На смену базаровщине двадцатых годов пришло «изысканное» обращение, полутона, воркование. Самый доходчивый тон нашел Маршак, который, задыхаясь, говорил о любви к искусству, о Поэзии с большой буквы. На эту удочку клевали все. Называть вещи своими именами считалось неприличным, жесткая логика воспринималась как излишняя грубость.

Выступление Мандельштама испугало меня — в нем было много такого, что могло взбесить начальников. В зале, конечно, находились стукачи, но они были настолько невежественными, что не смогли бы ничего изложить. Я боялась стенограммы, но, к счастью, стенографистки уже разучились записывать живую речь. В ней была сплошная галиматья. Мандельштам огорчился и хотел сам записать то, что говорил, и я еле убедила его этого не делать. Мы и так были окружены стукачами, регистрировавшими каждое слово, но, по невежеству, слова утрачивали всякий смысл в их изложении. Вся эта банда была совершенно дикой.

Стенографистки и сейчас не научились записывать — ведь они точно усвоили, что факты у нас никакого значения не имеют. Мне случилось выступать свидетельницей по иску Льва Гумилева к Ирине Пуниной, укравшей архив Ахматовой, а потом получившей санкцию суда на свое воровство. Мои показания были так записаны, что их не удалось приобщить к делу. В деле Левы они не сыграли роли, зато решающую роль сыграло письмо Ардова, который изложил для сведения суда судьбу Гумилева-отца — расстрел за непримиримость и сына — лагерь за следование по стопам отца. Ардов рекомендовал считать Пунину дочерью Ахматовой, поскольку она настоящий советский человек, не то что лагерник-сын. Этот документ — важнейшая справка для биографии Ахматовой. Она иллюстрирует стихотворные строчки: «Окружили невидимым тыном крепко слаженной слежки своей». Мы не случайно воздерживались в квартире Ардова от всяких разговоров — этот умел записывать и улавливать с голоса все, что требовалось. Ни одного неосторожного слова мы при нем не сказали. Говорить вообще не следовало, и я не спала несколько ночей после выступления Мандельштама о «научной поэзии»...

Я только один раз в жизни слышала, как Мандельштам публично читает стихи. Это было еще в Киеве в девятнадцатом году. В самые первые дни нашей дружбы. Какие-то умники решили устроить вечер стихов в том самом театре, где шел «Овечий источник», и с той самой аудиторией, что поднимала радостный вой и устраивала овацию, попавшись на примитивный режиссерско-переводческий трюк. Поэты уже осваивали новую профессию эстрадников. Я говорю не о вечерах стихов, а именно об эстрадном жанре, в котором в десятых годах подвизались преимущественно «вербовщики» аудиторий и читателей — футуристы, а также Северянин, причислявший себя к каким-то особенным футуристам. То были вечера для истерических курсисток и прилитературного слоя любителей нового и эффектного. В двадцатые годы на эстраде царил Маяковский, и, если в провинции не хватало публики, Лавут, организатор вечеров, вызывал пожарных — без касок. Собирал толпу и Есенин. В середине двадцатых годов один раз разрешили выпустить Ахматову, и милиция еле сдерживала обезумевшую толпу, рвавшуюся в зал. Это высшие точки популярности.

В девятнадцатом году — да еще в Киеве вечеров не знали. В театр пришла небольшая кучка посетителей «Хлама» — из тех, что ходили туда из любопытства, — посмотреть, что же такое художники и литераторы. Более солидные посетители предпочитали актерский клуб на той же улице с отличным рестораном. Эти в театр на вечер стихов не пришли, но зато туда нагнали огромную толпу красноармейцев для просвещения и агитации. На огромную сцену выходили один за другим поэты — откуда их столько взялось? — и читали подходящие к случаю стихи с вкрапленными в них лозунгами, шумные, броские и вполне эстрадные. Трудно себе представить, когда они успели обзавестись такой хреновиной, но факт, что большинство вышло во всеоружии, остальные просто с пышными номерами. Выяснилось, что существенно лишь одно — в стихах должно было мелькнуть знакомое слово из нового арсенала, — тогда поэта считали своим, как крестьян Лопе де Вега, боровшихся за советскую власть. Зал взревел от счастья, когда выступил Валя Стенич со стихами о заседании Совнаркома. Этот человек, слишком рано все понявший, сочинил острые стихи, запечатлевшие один исторический миг разрез времени, его подоплеку, а толпа реагировала не на смысл прочитанного, а на отдельные слова, на их звук, на слово «Совнарком», как на красный лоскут. Ее уже успели натренировать на такую реакцию. Делается это невероятно быстро.

В театр я обычно ходила не в зал, а в декоративные мастерские и в бутафорскую. Сцену вместе с табунком художников я видела почти исключительно с колосников. Оттуда — с высоты четвертого или пятого этажа отлично смотрелось, как актер прячется за дрожащей кулисой, ожидая знака к выходу, настораживается, крестится и бодро вылетает на авансцену, чтобы немедленно стать в позу. С такого ракурса, когда центром фигуры становится макушка парика и выставленная вперед ступня, как-то приятно воспринимается вся театральщина, куда входит и голова взволнованного суфлера, — их, кажется, отменили, какая жалость! — и форма сцены, и колыхание тоже навсегда исчезнувших кулис... Но вечер поэзии мы сочли серьезным делом и собрались где-то в первом иди во втором ярусе, откуда я увидела Мандельштама, когда он вдруг вышел на сцену.

Он был до ужаса нетеатрален, противопоказан театру и широкой сцене, по которой прошел совершенно один, не спеша, словно по улице. Походка у него была ритмически точная, держался он прямо, а в руке не хватало палочки, чтобы ею слегка размахивать. Подойдя к рампе, он прочел, не надрывая голоса, но достаточно громко и четко, чтобы не пропало ни одно слово, видно, что он давно привык к публичным выступлениям, — коротенькое стихотворение из «Камня»: «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди...» Зал выслушал и даже похлопал — не слишком, конечно, но вполне пристойно, — а у меня захватило дыхание от неуместности этого человека на сцене и от несовместимости прочитанного стихотворения с общим состоянием умов.

Как было условлено, после его выступления я прошла служебным ходом за кулисы, и, получив деньги у доброго администратора прямо из рук в руки, как в добрые старые времена, мы вдвоем выскочили на улицу. У нас была излюбленная поговорка — не помню, когда она прилепилась к нам: «На улице всегда лучше...» На улице действительно было лучше, и я спросила Мандельштама: «Почему вы выбрали это стихотворение?» Он ответил, что стихотворение хорошее, он любит его и не собирается от него отказываться... Больше ничего он не сказал, и мы пошли в «Хлам» проедать полученный гонорар. Ставки определялись Москвой, а цены еще оставались украинские, так что ужин, вероятно, был хорошим. Я еще не знала настоящего голода, а только внезапное разорение семьи (я помню острое изумление, когда отец мне как-то сказал, что денег больше нет: упали, исчезли, провалились в щель), а Мандельштам уже успел наголодаться в голодной Москве восемнадцатого года. Ему помог уехать на Украину большевистский деятель по фамилии Малкин. (Он погиб в 37 году, и Поволоцкая, соседка Шкловских, толстая стукачка из генеральских дочек эти особенно омерзительны, хотя я понимаю, что они от испуга пошли на эти роли, — после XX съезда вызывалась в прокуратуру, чтобы брать обратно свои показания. Эренбург защищал Поволоцкую — с ней кто-то дружил из его знакомых: «Откуда ты знаешь, что она стукачка?» Я действительно не видала документов, нам их не показывали. Но эта женщина, абсолютная идиотка, приезжая из прокуратуры, бежала к Василисе Шкловской и жаловалась ей на обиды. Вскоре ее разбил паралич. Мы знали своих стукачей — «страна должна знать своих героев», — хотя нас не знакомили с документацией.) Малкин добыл для Мандельштама ордер на заказной костюм, что тогда было очень трудно, а потом просто невозможно — заказные были сохранены только для верхов и дипломатов. Еще он отвалил ему кучу бумажных денег, резко выросших в стоимости на Украине. В Киев Мандельштам привез только остатки богатства, растратив почти все в Харькове. Я его даже упрекала: что это вы не сообразили, что я вас жду... Но и остатка бумажного золота хватило на множество пирожков с вишнями и телячьих отбивных. Мы были молоды, и больше ничего нам не хотелось. Мандельштам уже успел за месяц жизни в Харькове отъесться после московской голодовки. Первый голод трудно переносим, но не оставляет непоправимых следов. Ахматова говорила, что она трижды «клинически голодала». Третий голод был в сытом Ташкенте во время войны, потому что ставки были московские, а цены ташкентские, то есть высокие. Она забыла, что третий голод продолжался с небольшими перерывами и в послевоенном Ленинграде. А мне не разобрать, сколько раз я голодала и как часто жила впроголодь. Провинция только в хрущевское время начала подкармливаться. До этого в магазинах продавался главным образом ячменный кофе да время от времени что-нибудь «выбрасывали», и возникала убийственная очередь, в которую я и не пыталась влезть. Вероятно, полезно подголадывать, потому что недоедание задерживает склероз.

Возвращаюсь к стихам, прочитанным Мандельштамом в театре. Они прозвучали резким диссонансом, и зал не устроил дебоша только потому, что основная масса публики — красноармейцы, пригнанные из казарм, еще не освоила политграмоту. Это были крестьянские парни и мужики, и у каждого бабушка зажигала лампадку перед иконой и молились Богу. Политруков всегда меньше, чем простых парней, а парни помнили бабушек, и потому скандала не произошло. Но слово «Бог» уже к тому времени стало предметом глумления. Людей, помнивших это слово, топтали и презирали со всей искренностью и жаром первооткрывателей великих истин. Прошло бы еще полгода гражданской войны, и те самые парни, которые, недовоспитавшись, похлопали в ладошки на стишок Мандельштама, уже знали бы, как реагировать на то, что называлось «религиозной пропагандой», «мракобесием» и «опиумом для народа». Политруки успели бы объяснить им точно, аккуратно и вразумительно, что Бога нет и не будет, а парни верили политрукам больше, чем бабушкам. Да и в те дни — на заре нового и вполне научного века, который решил покончить со всякими культами, — Мандельштама, будь публика хоть немного почище, проводили бы хоть улюлюканьем и аховым свистом. Чистая публика отзывчива на пропаганду и всегда шагает «впереди прогресса». Век был новаторский и бешено реагировал на всякое старье: не только Бог, но и поэзия, мысль, страсть, сочувствие и жалость были поспешно сданы в архив. Начиналась жизнь «без дураков». Только ли у нас? Не мы изобретатели новой эры, но у нас нашлись хорошие политруки и отзывчивая публика, и они сумели использовать историческую обстановку и общее состояние умов.

Мандельштам вел себя так, будто никаких политруков и даже публики не существовало. Были люди, а среди них он, один из них, человек как человек. Никакой публики, перед которой что-то разыгрывается, он знать не желал. Он жил и действовал независимо, писал то, что рвалось без удержу, а если мог удержать, то не писал, говорил, что думал, и «работал речь, не слушаясь, сам-друг». Он никогда не смотрел на себя со стороны. Ему было безразлично, как он выгладит... Когда я впивалась ему в икру, требуя, чтобы он стал поприятнее, он забывал про женскую непогрешимость и мертвую хватку и спокойно, лягнув ногой, сбрасывал меня в сторону и говорил: «Какой есть». Хорошо, что я не принадлежала к числу прирожденных воспитательниц собственных мужей, а именно этим занимается большинство женщин, и только потому сравнительно редко кидалась на него. Он решительно не поддавался воспитанию — женскому, политручьему, какому угодно. Он всегда думал и реагировал. У него было особое лицо, когда он думал, похожее на то, что на фотографии в свитере. И странно отчужденный и жесткий вид, когда он заявлял о своем кредо, как в разговоре о терроре с Ивановым-Разумником. В первой половине двадцатых годов это было самое частое выражение на его лице. Он то и дело принимал решения и что-то отвергал. О чем он тогда думал, я еще не знала, но то и дело слышала, какие он сделал выводы. Они проскальзывали в разговорах с адептами «нового», вызывая их смех. Им казалось, что Мандельштам страдает негативизмом или болезненной отсталостью. Иногда я начинала думать, что в самом деле здесь пахнет негативизмом: как можно все отрицать, от Лубянки до нэповского трактира с Прониным, бывшим хозяином «Собаки»?

Я не видела связи между нэповским салоном с Аграновым и Лубянкой. Мне хотелось бывать в салонах, но от жизни я отворачивалась — в этом ужасе жить нельзя, скорее бы все кончилось, какая мерзость... Иначе говоря, именно я утешалась негативизмом, а Мандельштам себе даже такого утешения не позволял, а может, даже не нуждался в утешениях. Он говорил мне: чего прятать голову? Какая есть жизнь, в такой и надо жить. Не нам выбирать... Отголоски этих разговоров мелькнули в стихах, но тогда я их не заметила: юность реагирует на ритм, на целое, но не на мысль. В стихотворении, в котором Мандельштам отказывается считать себя чьим-либо современником, он говорит: «Ну что же, если нам не выковать другого, давайте с веком вековать...» Значит, у него тоже был соблазн негативизма, но он преодолел его и не позволил себе отвернуться от жизни, какая бы она ни была.

Он «вековал с веком», не ища утешения даже в негативизме, что все-таки подбадривает, как всякая поза. Из всех, кого я знала, Мандельштам был единственным человеком, до ужаса лишенным всяких претензий, абсолютно лишенным позы, беспредельно такой, как есть. Однажды (уже в тридцатых годах) он не без смущения сказал мне, что женщины все-таки что-то из себя изображают, не совсем естественны (попросту кривляки): «Даже ты и Анна Андреевна...» Я только ахнула: наконец-то он догадался! Обо мне и говорить нечего — выдрющивалась, как хотела, а у Ахматовой негативизм был не только прирожденным свойством, но и позицией, которую она тщательно разрабатывала, да еще ряд моделей, приготовленных еще Недоброво по образу собственной жены, «настоящей дамы», для сознательного выравнивания интонаций, поступков, манер. Спасали только неистовый жест, смущавший, но очевидно забавлявший Недоброво, и прирожденная неукротимость. Иначе бы она не стала перворазрядным поэтом. Они всегда неистовы и неукротимы. Без этого нет поэзии.

Мандельштам не знал, что такое «позиция», потому что всегда был в действии и согласовывал свои слова и поступки только с чувством и мыслью. Отсюда спонтанность, резкие реакции на всякую фальшь и глупость, особенно же на гнусность, с которой мы сталкивались на каждом шагу. Иногда я сочувствовала его реакциям, но чаще мне хотелось привить ему немножко хитрости, маршаковской вкрадчивости, чуточку игры в ласкового медведя, озабоченного тем, чтобы обворожить собеседника.

Полное отсутствие позы, головокружительная естественность, твердость в стоянии на том, где надо стоять (это нравственная, а не социальная позиция), невыгодны для человека, обезоруживают его, подвергают лишним испытаниям. Это своего рода изъян, как и привычка говорить то, что думаешь. Люди богатые и независимые могут себе такое позволить, если они не попали под власть своего круга. Вероятно, только среди русских бар мог найтись Безухов, чтобы поскорее запрятаться в деревню и забыть про господ. В годы нищеты, полной зависимости от начальничков, всеобщего одичания и сначала добровольного, а потом вынужденного рабства такие свойства были губительными, в начале двадцатых годов Мандельштам защищался от людей нужно помнить, кем мы были окружены, — своеобразной петербургской вежливостью, что в своем роде является защитной маской. Но и она отпала, когда наступила настоящая зрелость. Слова: «тебе, старику и неряхе, пора сапогами стучать», обращенные к собственному стиху, относятся и к человеку, который их сказал. В те годы мы получили сотню на Торгсин на страховой полис моего отца, и у Мандельштама появился отличный костюм, шитый первоклассным московским портным. В таком костюме еще легче «стучать сапогами», потому что ничто не стесняет движении. И можно набивать карманы всякой дрянью, так как они, как их ни набивай, все равно не оттопыриваются. Есть ли еще в мире такие портные? Мандельштам сознательно надел этот костюм, когда его в мае 34 года увели на Лубянку, но там не помогало ничего, даже шинель советского дипломата.

Когда он покинул Киев, а я не выехала, как было сговорено, в Крым с Эренбургами, он изредка вспоминался мне, и всякий раз таким, как я его увидела на сцене театра перед таинственной и дикой толпой. Мне все казалось, что толпа разорвет его, но не в ней таилась опасность. Толпа оказалась несравненно менее опасной, чем организованная жизнь с усмиренными масссами.

III. Два полюса

Однажды Мандельштам назвал профессию, которую считал противоположной своей. Дело происходило в Ялте. Мы пошли погулять в Ореанду, и нам встретился случайный московский знакомый, некий Р., большевик из поповичей, про которого говорили, что он живет антирелигиозными статейками, но, чем он жил, неизвестно. Был он страстным коллекционером на любой брик-а-брак и синей бородой. Р. говорил загадками и непрерывно менял жен. Встретив нас, он потащил меня и Мандельштама к себе знакомить с очередной женой, которая, насколько я понимаю, стала последней. В один из роковых годов она с треском выгнала его из дому и захватила себе все коллекции, и он исчез. Специалистка по Индии, она твердо знала, что Ганди предал рабочий класс, а к нам изредка приходила, как я думаю, стукачить. Скрутить такого человека, как Р., она могла только шантажом. Он слишком любил накопленные им старинные безделки, чтобы добровольно отказаться от них и от жилплощади. Видно, и он, таинственный человек, говоривший загадками, не выдержал и в минуту тоски проболтался любимой женщине, что не верит газетам. Этого было бы достаточно, чтобы загубить человека в самые, как говорила Ахматова, «вегетарианские времена». Изгнание произошло в самом начале тридцатых годов. Дальнейшей судьбы Р. я не знаю. Уцелеть он мог только чудом: интеллигент и остроумец, ловко сдерживавший шутки, он принадлежал первому набору революционных кадров и не мог не погибнуть в предвоенные годы, когда произошла полная смена аппарата.

В день нашей встречи в Ореанде мы только смутно предчувствовали будущее и надеялись (как все надеются сегодня — в 1970 году), что вершина жестокости и гнусности уже достигнута и должно пойти на смягчение. Дураки всегда надеются. Р., пожалуй, ни на что не надеялся. Он лучше нас знал, с кем имеет дело, и спасался, как многие, легкой иронией. Мы стояли вчетвером перед домом на сухой земле Ореанды. Она напоминала Мандельштаму восточный берег, подлинный Крым без кипарисов и дешевой южной декорации. Р. с удовольствием рассказывал — он любил пакостные рассказы, — как случилось, что в Ореанде не разбили пышного парка: какие-то великокняжеские трюки со страховыми обществами, поджогами и премиями... Вранье или правда, мне все равно... Разговор совершенно безопасный даже при специалистке по Индии, поводившей бедрами и улыбавшейся, потому что бросал тень на правящий слой дореволюционной России. Я завидовала «индианке», что она не стесняется поводить бедрами, Мандельштам равнодушно слушал трепню Р., но тут мы услышали нечто, заинтересовавшее нас обоих. Р. сказал, что прошлую ночь провел в Ялте с человеком противоположной Мандельштаму профессии. Мандельштам по своей привычке кивнул и ничего не спросил. На обратном пути я полюбопытствовала, что это за противоположная профессия. «Актер, вероятно», — сказал Мандельштам. Я бы, скорее, подумала, что Р. имел в виду чекиста, но Мандельштам усомнился, что принадлежность к органам можно считать профессией. Для Р. было бы слишком примитивно противопоставлять тюремщика и потенциального арестанта. Что бы ни думал Р., для меня неважно, а существенно то, что Мандельштам считал актера антиподом поэта.

Я думаю, что, противопоставляя актерский и поэтический труд, Мандельштам прежде всего имел в виду отношение к слову, к поэзии, к стихам. Актерское чтение стихов Мандельштам назвал «свиным рылом декламации». Когда мы познакомились с Яхонтовым, который оказался нашим соседом через стенку в лицее (Царское Село), Мандельштам сразу приступил к делу и стал искоренять актерские интонации в его композициях в прозе, а главным образом в стихах. С Маяковским Яхонтов более или менее справлялся, потому что слышал на вечерах авторское чтение, но Пушкина читал по Малому или Художественному театрам. Мандельштаму понравились Гоголь и Достоевский в голосе Яхонтова, а сам Яхонтов показался не актером, а «домочадцем литературы», который так проникся Акакием Акакиевичем и Макаром Девушкиным, что стал их живым представителем в новой жизни. С тех пор пошла дружба и непрерывная работа над чтением стихов. Пока Мандельштам был жив, Яхонтов действительно перестал читать стихи по-актерски, но потом возмечтал о Ленинской (или она тогда была еще Сталинской?) премии и, чтобы не перечить начальству, стал усваивать интонации Качалова. Премии он получить не успел — еще одно доказательство, что подобные усилия всегда пропадают даром.

Качаловское чтение было глубоко враждебно Мандельштаму. Однажды мы очутились на концерте Качалова. Как это произошло, не помню. Скорее всего, мы пошли по приглашению, иначе бы не выбрались на такое чуждое дело. Едва Качалов начал читать стихи, как Мандельштам встал и, выходя из зала, помахал рукой чтецу. Зал был маленький, публики мало, и это было очень заметно. Я запомнила удивленный и обиженный взгляд Качалова, которым он нас проводил. Мандельштама я упрекнула за грубость: «Не мог дождаться антракта!» — но он, как всегда, не обратил ни малейшего внимания на мои слова («Наденька у нас умная — все знает» или: «Очень умная — даю советы» — вечные формулы дразнения). Зачем заводить жену, если не прислушиваться к голосу женского разума? Он советовал мне дать телеграмму в Шанхай: «Очень умная. Даю советы. Согласна приехать. В Китай. Китайцам». Я выбивалась из сил, доказывая, что бедный Качалов обиделся, и приводила рассказ Ахматовой, как Качалов пришел к ней потрясенный смертью Есенина и весь вечер чудно, совсем не по-актерски читал стихи. Но Мандельштам еще пуще смеялся — уже над Ахматовой: умная женщина, согласна слушать качаловское чтение, лишь бы не испортить отношений с Художественным театром. Там такое деликатное обращение: дамы и господа... Свинство заключается только в одном: советов я не давала и лишь изредка грызла его, особенно когда он обижал таких милых людей, как Качалов, принц датский. Более того, я чутьем понимала, что он нашел правильное решение в каком-нибудь деле, если собирался сделать нечто, что мне в жизни не пришло бы в голову. Бросить, например, только что наладившиеся заработки, чтобы уехать в Крым, купить на последние деньги милое платье для меня, архитектурный альбом или пять бутылок вина, а потом сидеть без гроша. Он жил не по разумной женской логике, и я не сопротивлялась — так было даже веселее. Иногда, очень редко, он даже водил меня в театр.

В театре мы бывали редко, но я не скажу, что Мандельштам не любил театра. Впечатлительный, он легко попадал под обаяние зрелищных моментов и театральных эффектов. Ему понравились длинный стол и немая сцена в «Ревизоре» у

Мейерхольда и палуба баржи, наклоненная, словно от качки, в сторону зрительного зала — только чуть косяком, в опере Шостаковича «Леди Макбет». Я могу легко перечислить, сколько раз мы были в театре, — и чаще всего в Воронеже, когда приезжали москвичи. Там мы сходили даже на «Сверчка на печи», а в Москве на такой подвиг никогда бы не отважились. Михоэльса, которым Мандельштам по-настоящему увлекался, мы увидели впервые в Киеве на гастролях, а затем в Ленинграде. Мы были на нескольких спектаклях с Ахматовой, она толпилась, что понимает текст, и хвалила Михоэльса, но все же упорно козыряла против него Чеховым. Не тогда ли Мандельштам впервые воскликнул: «Как оторвать Ахматову от Художественного театра?» Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми. Я соглашалась, когда речь шла о Раневской, действительно хорошей актрисе, но хвалы, расточаемые киноактеру Баталову, сердили меня. Впрочем, Ахматова напирала не на игру, а на то, что Баталов самый знаменитый актер в мире. Сомневаюсь, но допускаю. Только какое нам дело, кто и почему знаменит? Внешний успех трогает меня, как прошлогодний снег, и меня огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась этой слабости. Рассмешила меня и неумеренная оценка Райкина, которого Ахматова на сцене никогда не видела, разве что в телевизоре. Культ Баталова и Райкина пришел из дома Ардовых (Баталов — пасынок, а Райкин — божество Ардова), и прекрасная черта Ахматовой — пристрастие — была использована понапрасну.

Театр для всех нас — явление чуждое, не нам о театре судить. В нашей жизни театр почти никакой роли не играл, но он вошел в городской быт, и Мандельштам, «горожанин и друг горожан», оставил даже несколько статей о театре, в том числе и про Михоэльса. В увлечении Михоэльсом, который действительно был поразительным, ни на кого не похожим актером, сыграл, должно быть, большую роль интерес Мандельштама к еврейству, да и то, что, слушая речь актера на незнакомом языке, нельзя уловить актерскую интонацию. Не знаю, была ли она у Михоэльса. Как будто нет...

Мне думается, что поэт и актер противопоставлены не только потому, что совершенно по-разному относятся к слову, но и в других отношениях. Поэт живет словом, он его ищет и находит, потеря слова для него катастрофа, слово и мысль для него неотделимы. Для актера существует не слово, а текст и роль. Текст состоит из слов, но в нем оно имеет лишь служебную функцию. Сами интонации актера и поэта совершенно различны, как и звук их голосов. Но этим, по-моему, различие не ограничивается. Во всем — важном и второстепенном — в поэте нет ничего того, что составляет специфику актерского труда. Пастернак в одном из стихотворений сравнил себя с актером, и Ахматова прибегла к такому сравнению: у поэта «рампа торчит под ногами», «лаймлайта холодное пламя его заклеймило чело». Мандельштам резче чувствовал противопоставленность актера и поэта, и я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не к близко от него находящемуся слушателю. Именно поэтому он не мог ощутить рампы под ногами, а тем более своей освещенности лайм-лайтом. Поэт знает только непосредственный круг «первых слушателей», то есть друзей. Он имеет сведенья о тиражах книг, и этим ограничивается его общение с публикой. Ведь не по рецензиям на книги может он судить о своем читателе и не по письмам, которые он получает от разных беспокойных графоманов?.. То, что Ахматова вдруг ощутила себя как освещенную фигуру в темном зале, полном людей, я объясняю только поверхностной и эффектной аналогией, а не живым опытом. Даже на вечерах стихов нет актерского противопоставления поэта публике — зал и чтец одинаково освещены, находятся в одном измерении и в одной жизни.

Они разговаривают друг с другом, и единственное отличие в том, что собеседник не один, а многоликий. Этой многоликости актер не чувствует: погруженный в темноту зал для него единое целое — публика.

Я плохо знаю театр, но кое-какие различия между актером и поэтом сразу бросаются в глаза, и в первую очередь отношения между актером и публикой и между поэтом и читателем. Актер играет для зрительного зала. Он должен увлечь его за собой, заразить его чувствами — не своими, а того, кого он играет. Сергей Булгаков говорит, что актер «провоцирует» чувства зрителей. Поэт, как писал Мандельштам в письме к отцу, работает «для себя», а читатель принимает или отвергает его труд. Поэт, работающий на читателя, принадлежит к разряду «журнальной поэзии», как писал Мандельштам, то есть литературы, лишь имитирующей стихотворный размер. Поэт, конечно, связан со своими современниками, как всякий человек, но эта связь совсем иная, чем у актера, увлекающего за собой публику. Поэт не ведет за собой современников, но всегда знает, что сам является их отражением. Об этом сказано у Ахматовой: «Я голос ваш, жар вашего дыханья, я отраженье вашего лица». Поэт зависит от современников в гораздо большей степени, чем актер, «провоцирующий» чувства. Он сам заражается от людей мыслями и чувствами, борется с ними или поддается им. В театре драматург, а не актер находится в таких отношениях с современниками, хотя в угоду «рампе» он подвержен большим соблазнам, чем поэт. Свобода поэта в способности расценить чувства современников, их поведение, идеи и мысли с точки зрения той идеи, на которой строится его личность, чтобы одни принять, а другие отвергнуть. В чем состоит свобода актера, я не знаю.

Работа поэта — самопознание, он всегда ищет «разгадку жизни своей». Я боюсь дебрей философии, но мне кажется, что где-то работа философа и поэта имеет нечто общее. И тот и другой пытаются понять тайну своего «я» в мире вещей, а это возможно лишь путем взаимопроникновения субъекта и объекта. Внешний опыт поэта претворяется в частицу его духа, что-то меняя и обновляя в структуре личности, и тем самым становится предметом поэзии. Мне кажется, что возможно и обратное соотношение во времени: опыт, становясь предметом поэзии, вносит изменение в структуру личности. Иначе говоря, стихотворение, рождаясь и воплощаясь в слова, раскрывает поэту глубинный смысл опыта. Наконец, бывают случаи, когда поэт готовится к опыту и предвосхищает его, тем самым постигая его сущность. Таков поэт, когда он «упражняется в смерти», заранее умирает и останавливает время, чтобы тут же ощутить длящийся миг и вернуться к жизни. (Не потому ли Мандельштам понимал вечность как длящийся миг?) В маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами четырех сонетов Петрарки, сказано: «Тысячу раз на дню, себе на диво, я должен умереть на самом деле и воскресаю так же сверхобычно». Мандельштам слов на ветер не кидал. Все, о чем он говорит, было пережито им. И мне приходит в голову, что его незыблемая вера в воскресение, в будущую жизнь, основана на опыте, на действительно пережитой смерти и воскресении. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь, реальную и радостную в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания, и прекрасную, когда дело жизни сделано и ждешь конца.

В пределах работы одного поэта есть разные уровни самопознания — от поэтического прозрения до игры. Слово «откровение» относится к области богопознания, но в каком-то смысле все, что познает человек всеми видами восприятия физического («Глаз — орудие мышления») и духовного, мышлением интеллектуальным и поэтическим, является особым даром человека и некоторого рода откровением. Мало того: поэтическая мысль проникает на большие глубины, чем философская и научная, потому что есть области, закрытые для чистого разума. Я говорю не только о потустороннем или о вещи в себе, но и о более простых вещах. Чистый разум абстрагируется, а потому не вмещает или даже игнорирует опыт текущей жизни, не вмещает его в себя, а поэт сохраняет целостность духовного и физического существования и претворяет внешний опыт во всей его конкретности во внутренний и духовный. В научном познании, возможно, тоже есть элемент игры, но далеко не в той степени, как в поэзии, которая по сути своей есть игра и духовное веселье, как сказано у Мандельштама. Именно игрой — игрой Отца с детьми — обусловлена целостность восприятия в поэзии и достигается полное единство внутреннего, духовного и внешнего опыта — слияние вечности и мгновения. Игра порождает радость, которая обозначается словом «легкомыслие». Без известной доли этого «легкомыслия» поэт неосуществим, и поэтому поэты всегда навлекают на себя неудовольствие тяжеловесных блюстителей порядка, особенно охранителей достоинства литературы, самых яростных ненавистников поэзии.

В глубинах и в игре — поэт всегда отличается спонтанностью и равен самому себе. Этим он и опасен для общественного порядка — его нельзя заставить произносить «заведомо разрешенные вещи», и трудно предугадать, что он скажет. В этом опять существенное отличие от актера. Спонтанность актера ограничена ролью и общим ходом представления. Личное начало выявляется у актера только в комбинации с тем персонажем, которого он играет и чьи слова он произносит. В актере соединены двое. Он не играет, а представляет некоторое лицо, которое не есть он сам. Актер не отвечает за слова, которые он выучил наизусть, потому что они принадлежат не ему, а персонажу, с которым он соединился. А поэт всегда отвечает за все. Он говорит только за себя и от себя. В объективированных жанрах поэзии, в поэме, скажем, или в балладе, которые являются сплавом поэзии и литературы, поэт все же сохраняет свой голос и лицо. Об этом есть любопытное замечание у Мандельштама по поводу Виллона: «Лирический поэт по природе своей двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога». Это свойство, названное им «лирическим гермафродитизмом», Мандельштам обнаружил у Виллона, но сам не имел его и говорил только за себя. Пастернак же в «Детстве Люверс» несомненно соединился со своей героиней, девочкой-подростком, и пережил с ней все события, свойственные ее возрасту. Соединение в ранней повести гораздо глубже, чем в романе, где в диалогах Ларисы с доктором Живаго оба варьируют слова самого Пастернака (мне роман тем и мил, я его ценю гораздо больше аккуратно построенных романов, в которых действуют куклы или манекены). У Пастернака, в лучших вещах бывшего поэтом ощущений, вероятно, была сильная потребность в объективизации (он хотел увидеть себя как объект) и в расщеплении (выделении из себя иных граней и составов). Это и толкало его на объективированные жанры. В чистой лирике внутренний диалог можно чаще всего приписать раздвоенности духа, который ищет единства.

Иным способом достигает актер единства себя и персонажа, которого он играет. Актер как бы жертвует собой ради роли, потому что может привнести в нее лишь отдельные черты своего «я». Михоэльс требовал от художника, чтобы грим не искажал, а только подчеркивал черты его лица. Он избегал явной личины или маски, но все равно она у него была, хотя в ней сохранялись черты его лица. Без личины актера не существует, иначе один человек не мог бы вместить всех, кого ему приходится играть в течение сценической жизни. Недавно один молодой актер написал в газете, что его задача не вживание в роль, но находка себя в каждой роли, потому что всякий раз он играет самого себя. Это замечание о соединении двоих любопытно, но все же в исполнительском процессе участвуют те же двое: «я», поставленное в особую ситуацию и принявшее черты другого «я», и соединившийся с ним «он» — привносят каждый от себя в разных пропорциях, чтобы возник актер в данной роли.

Игра актера, конечно, и не чистое исполнительство, как у чтеца или музыканта, потому что театр создает сценическое время и пространство, то есть иллюзию жизни, именно этим вызывая эмоции зрителей. (В одной дивной книге я читала про самообольщение зрителя в театре: «...театр сделался любимым местом моих удовольствий, а обольщение — мнимой потребностью души и сердца. Что это значит, что человек любит сочувствовать представляемым на театре печальным и трагическим событиям, тогда как сам не желал бы терпеть их? И при всем том зритель выражает свое участие в этой скорби, и самая скорбь доставляет ему удовольствие... Но скажите, пожалуйста, какое же может быть сострадание по отношению к действиям вымышленным сценическим?» И дальше о друге, зараженном коллективными чувствами театрального зала: «Он стал непохож на себя, непохож на того, каким пришел сюда; он смешался с толпой, в которую попал, сделавшись одним из множества зрителей... Смотрел наравне с другими зрителями, рукоплескал, кричал, выходил из себя...») В описании действия театра, сделанном на заре нашей эры, что-то напоминает мне толпы народной революции, в которых терялась личность и которая потом превратится в обезличенные массы на собраниях, где каждый выполняет то, что приказано. Театр научился обезличивать зрителей, превращая их в публику, в зал, еще до того, как нашлись режиссеры, управлявшие целыми народами.

Поэзия — подготовка к смерти. Актер, умирая на сцене, не воскресает, а снова становится самим собой, отбросив вместе с личиной чужую судьбу. Актер в известной степени соизмерим с писателем, с литературой, которая, в сущности, тоже уничтожает личность, вводя ее в иллюзорный и мнимый мир. Никто не отождествляет актера с лицом, которое он играет, а поэта справедливо заставляют отвечать за каждое сказанное им слово, поэтому поэзия всегда есть «песнь судьбы». Впрочем, в наше дикое время возможно все. Эренбург передал мне рассказ Хрущева о том, как Сталин смотрел в телевизоре актера Бучму (мне помнится, что это рассказ именно про замечательного украинского актера Бучму) в роли предателя. Его поразила игра актера, игравшего роль предателя. Сталин заявил, что так играть предателя может только тот, кто является предателем в жизни, и поэтому потребовал, чтобы были приняты надлежащие меры. Он отдал это распоряжение Хрущеву и Маленкову, и они не сговариваясь — сговариваться всегда опасно — в течение некоторого времени морочили хозяина, говоря, что за Бучмой учреждена слежка, чтобы выловить всех предателей сразу. Крутились они недолго, потому что спасла смерть. Не знаю, кто первый умер — Сталин или Бучма, но, во всяком случае, Бучма уцелел и умер естественной смертью. Такие удачи бывают только с актерами. Я рада, что ему повезло. Это случилось только потому, что младшие вожди посещали театр и растворялись в публике, приветствующей актера. За поэта они бы не вступились. Поэзия им противопоказана. «Сочувственное исполнение» стихов пробуждает личность читателя, углубляет ее, делает читателя сопричастным делу поэзии, а это невозможно для людей, распоряжающихся судьбами людей и народов. Одно из двух — либо то, либо другое.

IV. Литературоведенье

Сравнивая поэта с актером, я имела в виду отдаленную цель, а именно известную в свое время да и сейчас популярную теорию литературоведенья, которая приписывает поэтам свойства, близкие актерским. Эта теория была и будет большим соблазном для всех, кто занимается исследованием поэзии, так как дает возможность игнорировать автора, его рост, мысли, чувства, колебания и тяги. Теория эта зародилась в двадцатые годы, когда царила полная путаница и смятение умов, и шел быстрый процесс умаления и уничтожения личности. Придумал эту теорию Тынянов, и она пошла бродить и расширяться с его легкой руки. Она состоит в том, что поэт говорит не от себя, но пользуется рупором, как бы посредником между собой и читателем. Посредника назвали «лирическим героем» и выяснили, что поэт по мере надобности может менять своего героя. Сегодня поэт новатор, завтра он архаист (архаисты же и есть самые главные новаторы, но они не западники, но вроде как почвенники), а послезавтра еще кто-то — в зависимости от литературных школ, читательского спроса и общего состояния умов. Главная же причина отказа от прежнего рупора и замены его новым — переход поэта из одного течения в другое. (Опоязовцы очень любили объяснять Мандельштаму, что он давно уже одной ногой ступил в футуризм. Откуда такое берется? Ведь они читали манифесты всех футуристов — от Маринетти до Бурлюков и Бриков, издания футуристов и статьи и стихи Мандельштама. Что между ними общего?)

Тынянов придавал огромное значение литературным школам и, строя теорию «развития» литературы, видел причину его в смене литературных течений. Возможно, он просто не знал, что понятие «развитие» связано с идеей прогресса, но и сама теория сменяющихся школ в его изображении страшно разрастается и почти вытесняет нормальный рост личности поэта, его «возрасты», созревание и накопление опыта. Связь поэта с литературными единомышленниками несомненна, но не в той степени и не в тех формах, которые предполагал Тынянов.

Иллюстрируя свою теорию, Тынянов берет для примера Пушкина. Он регистрирует отказ Пушкина от своего «лирического героя» юных, еще лицейских лет, а затем — новая смена, и Пушкин переходит из лагеря новаторов (карамзинисты, «Арзамас») на сторону архаистов (Катенин, Кюхельбекер), которые-то и были истинными новаторами. По случаю второй смены «лирического героя» Тынянов рассказывает, как Пушкин пришел к Катенину, подал ему свою палку и попросил, чтобы тот побил, но выучил... Поэт, конечно, учится у всех своих современников и у поэтов прошлого, но каждому ли из них он дает палку и только ли палочным способом осуществляется его связь с другими поэтами? Опоязовцы слишком любили и доверялись анекдотам.

Поэт не только меняет своего «лирического героя», но в связи со сменой может по-новому направить свою биографию. К этому выводу Тынянов приходит, изучая биографии романтиков и классиков. Романтик, по его мнению, заводит себе иную биографию, чем классик. Следовательно, классик, перешедший на позиции романтизма, тут же перестраивает и свою биографию. По Тынянову, поэт, переходя из одной школы в другую, ведет себя как актер, берущийся за новую роль. Слова из актерского обихода не случайно прорвались в статьи Тынянова. Он прямо говорит о лицейском «гриме» Пушкина, который тот смыл, потому что сменил школу. Однажды в разговоре со мной Тынянов совершенно серьезно советовал такие-то события в жизни Мандельштама «сделать литературными фактами», а другие игнорировать.

На теории «лирического героя» явно отразилась эпоха, то есть двадцатые годы с их массовой «сменой вех» или сдачей на милость победителя ради хоть кое-какого благополучия. Люди сознательно меняли свои «биографии» и старались жить новой жизнью, пока не вмешивалась судьба, мойра, подписывавшая ордер и обрывавшая нить. Талантливость выражалась в том, чтобы избежать рока. Сам Тынянов приспособлялся хуже других и подвергался непрерывным погромам, пока не стал писать романов, которые пришлись ко двору. Его громили «вульгарные социологи» за то, что он ищет особых способов развития литературы, игнорируя классовую борьбу. На деле его следовало бы разоблачать за то, что он выдал крохотную долю реальных отношений в нашу эпоху и назвал «маску». Правда, маску не снимали, а только надевали, потому что в предшествующие годы в ней не нуждались. Зачем нужна маска, если существует частная жизнь и общество не располагает средствами пресекать инакомыслящих, если они не ввязываются в открытую борьбу? В двадцатые годы люди действительно надели на себя маски, и у масок было удивительное свойство прилипать к лицу. Сейчас эти маски еще заменяют собой лица многим писателям старших поколений.

Тынянов, поверив в теорию «лирического героя» и в маски, тщательно подобрал для себя свою — по вкусам и влечениям. Мы встретили его на улице, когда он еще владел движениями, и Мандельштам шепнул мне: «Он себя вообразил Грибоедовым...» Кюхельбекером он стать не решился — опасно. Грибоедовым тоже не очень сладко быть, но он все же имел минуту передышки и погиб не от своих, а от чужих, что всегда легче. Сам же Тынянов умер от страшной библейской болезни, от которой нет исцеления. Его-то карать было не за что. Он принадлежал к лучшим и самым чистым людям из наших современников. Последняя с ним встреча никак не изгладится из моей памяти. Он сидел в кресле, высохший, резко уменьшившийся, с большой и умной головой, и бодро рассуждал о поэзии, мысля большими временными отрезками и строя фантастические линии преемственности: мелодическая линия, идущая от Жуковского, и смысловая — Пушкинская. Когда он встал, чтобы проводить нас, я заметила, что ноги у него превратились в тоненькие палочки. Он еле-еле шел, опираясь на палку, и рухнул в длинном коридоре петербургской квартиры. На звук падения выскочила жена, показавшаяся мне настоящей ведьмой, и с руганью подняла его. Он попытался проститься, но ведьма уволокла беспомощного и не способного к сопротивлению мужа. Нового Грибоедова растерзала не восточная толпа в чужом погромном городе, а собственная жена и болезнь.

Хотя Тынянова травили за литературоведческие теории, обвиняя его, как всех, в отсталости, но их связь с эпохой несравненно глубже, чем у кого-либо из литературоведов. «Маска» и меняющаяся по собственному желанию биография — лишь детали в теории «лирического героя». В основе лежит глубокая уверенность в зыбкости всяких убеждений, в отсутствии какой-либо веры и в неспособности человека расти, углубляться и отстаивать то, к чему он пришел. Все это почерпнуто Тыняновым в жизни, которую он видел. Эта теория могла возникнуть только в годы распада личности, когда несравненно легче обнаружить изломы и швы, чем поверить в единство человека на протяжении всей его жизни. Тынянов сравнивает литературную биографию с ломаной кривой, и линию эту «изламывает и направляет литературная эпоха». Изломы соответствуют, по Тынянову, перемене литературных позиций и переходам из одной школы в другую. Он видел изломы во всех становящихся при нем биографиях, но объяснил их не тем, чем они были вызваны. Не знаю, решился ли он признаться самому себе в том, как он и его друзья ломали свои биографии из чувства самого примитивного самосохранения. Им облегчало ломку то, что к началу катастрофы все они были молоды и не обладали сколько-нибудь устоявшимся мировоззрением. Большинство из них выросло в семьях, живших неопределенно-гуманистическими, расплывчатыми тенденциями. Им не пришлось ничего искать или укреплять, потому что эпоха не способствовала исканиям.

Для Тынянова поэт не личность. Его интересует только место поэта в «эволюционном ряду». Он свободно пользуется словом «эволюция» в применении к поэзии и литературе. «Эволюция», «прогресс», «развитие» — понятия одного ряда. Что с ними делать в истории поэзии, литературы и общества в целом?

Тынянов — сын рационалистической эпохи с ее верой, что можно все сознательно и хорошо построить: историческую формацию, социальный строй, литературу, собственную биографию. Он был одним из немногих, кто со всей искренностью искал в биографиях Кюхельбекера, Грибоедова, Пушкина, героев его романов, те черты, которые он обнаружил в своих современниках. Он верил в незыблемость своих теорий, потому что они проверялись, как советовали марксисты, практикой. Характерно, что для него основным в писателе было не его миропонимание, а стиль и приемы, которыми он пользовался.

Я могу только пожалеть, что вовремя не послушалась Тынянова и не заставила Мандельштама (его заставишь!) сменить маску, биографию и лирического героя. Еще лучше бы, надев маску и купив колоду и колодки, стать сапожником: муж при деле и жена обута. Говорят, Зощенко после постановления о нем и об Ахматовой попытался сделать такой излом в своей биографии и стать сапожником. Мечты у советских людей иногда совпадают, но действительность упряма и не дает им осуществиться. Наиболее частый излом наших биографий — превращение в каторжника, то есть лагерника. Мы с Мандельштамом пробовали быть нищими. От этого ни он, ни стихи ничуть не менялись. Причиной перемены биографий была отнюдь не смена «лирического героя», потому что никаких героев у Мандельштама не было и в помине.

Теория «лирического героя» оказалась живучей и долго пользовалась тайным признанием, потому что только она одна противостояла «классовому подходу» с его статьями-доносами. Иногда даже удавалось отвести удар от автора, возложив ответственность за какой-нибудь неподходящий оттенок мысли на «лирического героя». Люди, подобно актерам, жили двойной жизнью, но у актеров двойственность и маска, в которую превращается лицо, являются условием их искусства, а у современников Тынянова они были защитным сооружением. «Лирический герой» равносилен роли, которую взял бы на себя поэт, но из этого ничего бы не вышло, потому что у поэта нет ничего общего с актером. Актеру тоже не пошло бы впрок, если б он попробовал уподобиться поэту. Это разные виды деятельности — в маске и без маски.

V. Признанный поэт

На этой земле слишком многое не поддается определению, в том числе и поэзия. Как ни ломают голову, определения поэзии нет и не будет. Нет также критериев, чтобы отличить подлинную поэзию от мнимой, суррогатной. Любители поэзии играют как на скачках, ставя то на ту, то на другую лошадь, но, в отличие от игроков, они так и не узнают, которая из них доскакала. Говорят, что время покажет, но и оно часто ошибается, сохраняя предрассудки и кривотолки современников. Неизвестно и какой нужен срок, чтобы все устоялось. Сейчас вышла вперед четверка, четыре поэта — Ахматова, Пастернак, Цветаева, Мандельштам. Навсегда ли?.. Никто не знает. Между прочим, сейчас почти не читают Пушкина. Невольно возникает вопрос, как укладываются в сознании стихи четырех поэтов, которых сейчас называют вместе, если читатели настолько оторвались от поэзии, что забыли Пушкина. Возникает предположение, что вообще никто ничего не читает, а на поверхность выплыло четыре имени, четыре смутные легенды, которые в случае удачи могут оформиться, но они постепенно растают и исчезнут. Ничего предсказать нельзя: может, люди вообще разучатся читать и книги рассыпятся в прах. Может, они перестанут говорить друг с другом, а станут обмениваться лишь призывными или угрожающими воплями. Иногда мне кажется, что к этому идет. Научились ведь мы говорить на условном и лживом языке, который только прятал наши мысли. За такое расплачиваются потомки, которые вообще лишатся языка и будут только вопить, как болельщики на футбольном состязании. Хватит ли у них на это сил? Ведь сил становится все меньше.

К числу доблестей Ахматовой относится то, что она не придавала ни малейшего значения своему успеху десятых и двадцатых годов. Она говорила: «Так бывает, но это еще ничего не значит». Мандельштам ни на секунду не задумался о своем посмертном будущем. Он просто занимался делом. Мне кажется, что такой была и Цветаева. Так, очевидно, и следует поступать, раз никаких объективных измерителей не найти. Пастернак пробовал нащупать какие-то измерители. Он однажды сказал мне, что «Ахматова и Мандельштам лучше выразили себя», чем он. Это было еще при жизни Мандельштама, и я передала ему слова Пастернака. Он рассмеялся: «Пастернак этого не думает, он это так сказал — чтобы приятно было...» Ахматова же произнесла свою любимую формулу: «Тоже красиво...» Больше мы об этом не говорили.

У Пастернака есть прелестное определение поэзии, которое отнюдь не является измерителем: «Это — круто налившийся свист. Это — щелканье сдавленных льдинок. Это — ночь, леденящая лист. Это — двух соловьев поединок». И цель есть у поэзии: «...звезду донести до садка на трепещущих мокрых ладонях...» В этом весь Пастернак, удивленный отблеском неба на мокрой после ночного купания ладони. Его рассуждение о том, кто лучше выразил себя в стихах, связано с другой строчкой, которая на мой слух звучит как официальный отчет: «Цель творчества — самоотдача». Я помню, что «творчество» — запретное слово. Хорош был бы художник, который бы под вечер сказал: «Я сегодня много сотворил...» Или: «Хорошо после творчества отдохнуть...» Самоотдача или самовыражение как будто целью не могут быть. В них есть скрытое — да какое там скрытое, самое что ни на есть явное! — самоутверждение. Не лучше ли раз навсегда отказаться от измерителей, целей, определений, а главное, от разбухания самости. Удивление, что ты живешь в этом мире и получил таинственный дар речи, лучшее, что есть у человека, в этом как будто зерно поэзии и ее основа. Не этим ли поражает «Сестра моя — жизнь», книга миропознания, благодарности и радости...

Даже великие поэты не знали, как назвать отличительную черту поэзии. Гётевское «чуть-чуть» содержит в себе очень много, но столь же неуловимо, как сама поэзия. В поэзию и в того или иного поэта остается только верить. Я никогда не теряла веры, хотя знала, что женщины, в особенности жены, ошибаются чаще всех. Впрочем, присяжные судьи литературы ошибаются чаще женщин и жен, и их ошибки гораздо вреднее. Сколько на моей памяти было мнимых величин, раздутых общественным мнением и знатоками. От них остался только пепел и прах. Что по сравнению с знатоками бедные женщины, которые иногда верят в дар своего мужа, друга или любовника...

Вместо того чтобы думать о своей литературной судьбе, Мандельштам и Ахматова искали людей, которые в стихах хоть как-то приблизились к поэзии, потому что им не хотелось оставаться в пустоте. Увлекающийся Мандельштам то и дело «открывал» поэтов среди тех, кто не подражал акмеистам и не употреблял «мнимо акмеистических слов». Вместе с Ахматовой он выдумал игру: у каждого из них есть кучка талонов на признание поэтов, но она — жмот, сквалыга — свои талоны бережет, а он истратил последний на старика Звенигородского и просит взаймы хоть один, хоть половинку... Она действительно свои талоны берегла, а в старости стала раздавать их без оглядки — направо и налево. Боюсь, что среди розданных ею за последние годы талонов есть много липовых. Настоящих хватить бы не могло. Пусть уж люди разбираются, у кого талон — настоящий, у кого — нет. Мне это все равно, да и существуют ли талоны?..

В одном я уверена — последний талон Мандельштама не пропал впустую. Быть может, именно он спас старика Звенигородского. Он пришел к нам в начале тридцатых годов и прочел милые, старомодные и очень чистые стихи. Мандельштам почуял, что старику живется очень туго, и бурно признал его. Затем он побежал ко всем, кто мог и не мог помочь бедняге, и заварил хлопоты о пенсии, а пока суд да дело, раздобыл ему пропуск в писательскую столовую, где кормили по казенным ценам и довольно сносно — по нашим убогим требованиям. Время было голодное, и все кормились по столовым. Пенсию старик получил, когда мы уже были в Воронеже. Доделал это дело, кажется, Пастернак, то есть человек без власти и вполне беспомощный. У нас помогали друг другу, и довольно эффективно, только вполне беспомощные люди.

Так или иначе, Звенигородский стал полноправным членом общества и даже заседал в каких-то комиссиях, вроде пушкинских, в Союзе писателей и очень этим гордился. С его голубой кровью он даже надеяться не смел на такой благополучный исход. Кровь у него действительно была голубая — он подробно объяснил нам, что Звенигородские несравненно старше Романовых и род такой древний, что у него, последнего потомка, сердце не с левой, как у людей, а с правой стороны. От длительного голода кожа у него тоже просвечивала синевой, и она не прошла даже после получения пропуска в столовую и пенсии.

Князь Андрей, хотя какой-то самодур лишил, кажется, титула его ветвь, а потом князей и вовсе отменили, приходил к нам иногда с внучатым племянником, хорошеньким цыганенком. Мальчишка не носил фамилию Звенигородских — он был потомком по женской линии, внуком сестры князя Андрея, с которой он вместе жил. Зато сердце цыганенка было отличное и с подобающей стороны. Звенигородского не смущало, что его кровь смешалась с цыганской, — чего только не случалось с князьями за последние триста-четыреста лет!.. Беда была в другом — мать-цыганка сбежала из погибающей семьи, а отца увели после многочасового обыска. Князь Андрей подкармливал цыганенка половиной писательского обеда и дрожа — он всегда дрожал — рассказывал подробности обыска: как выворачивали половицы и сломали печку в поисках оружия, которого, как и всегда, не нашли. Если бы племянник Звенигородского оказался уголовником, у него имелись бы шансы выжить, но пришли за ним с Лубянки, и я не знаю, как сложилась его судьба. А сам князь Андрей дожил до глубокой старости и даже, похоронив сестру, женился на женщине «из хорошей семьи», как он мне сказал после войны. Он пришел к Шкловским, где я останавливалась, приезжая из разных углов страны, куда меня загоняли министерство и судьба. Мы угощали его овощами, потому что ничего, кроме овощей, он уже не ел. Он специально пришел, чтобы перед смертью отдать мне его рукой записанный ранний вариант «К немецкой речи». Мандельштам както надиктовал ему этот вариант и сказал: «Пусть будет только у Андрея Владимировича». Он словно чувствовал, что старик переживет его. Звенигородский сохранил бумажку, хотя в тот жестокий период люди только и делали, что жгли архивы, а если не было печки, спускали бумагу в уборную. Я радовалась долголетию старика и тому, что последний талон Мандельштама не пропал зря. Старик ведь своей пенсией кормился не только сам, но кормил и жену «из хорошей семьи». У таких старух ничего, кроме жестокой нищеты, быть не могло.

Талоны — милая игра, но я обнаружила, что Мандельштам верит во что-то вроде талонов и вполне идентичное по замыслу. Он не любил одного довольно известного поэта, младшего по поколению и совсем иной формации, хотя тот числился в «романтиках» и продолжателях акмеистов — по каким-то абсолютно сомнительным основаниям. Думаю, что в нелюбви была отчасти виновата я, потому что передала Мандельштаму рассказ родственницы поэта, который приводил в восторг весь их круг, а у меня вызвал приступ бешенства. Однажды, когда «романтик» жил еще в родной провинции, к нему зашла соседка, старуха генеральша, потерявшая мужа, как теряли их все женщины в этой обреченной среде, и обнищавшая — тоже как все. Она принесла брелок погибшего генерала — золотой медведь с трубой — и предложила «романтику» купить его. Тот долго играл брелочком и расспрашивал женщину о семье, генерале и всех бедствиях и несчастьях. Он сочувственно вздыхал, и генеральша, отвыкшая от сочувствия и запуганная, расцвела в дружеской обстановке. Она поверила, что добрый поэт сжалится и купит нелепую безделку: ведь он даже поторговался, и она уступила. Они, бедные, всегда запрашивали втридорога за свой мусор, на котором зиждились их последние надежды. Но вдруг романтический поэт изменил тон и сказал, чтобы она уходила. Генеральша спросила, как же брелок. Он отдал ей медведя и дал совет: вставьте в зад пусть он там трубит. Друзья и родственники поэта с восторгом запомнили и всем рассказывали этот эпизод, считая его образцом изящного остроумия. Это была компания циничных остроумцев, и они забавлялись, как могли. После этого рассказа Мандельштам не мог слышать имени «романтика» и решительно отказывался считать его поэтом... Но мотивировал он свой отказ не медведем и не качеством стихов и их постыдным содержанием (этот настоящий или мнимый поэт насочинял много мерзости, обеспечившей ему сравнительное благополучие и официальное признание), а тем, что никто из старших поэтов его не признал: «Я ведь его не признал, Ахматова его не признала — он не смеет называть себя поэтом...»

Поэтов ходили толпы. Одни употребляли «акмеистические слова», другие нет, но Мандельштаму было безразлично, как они себя величают, а про медвежатника он и слышать не хотел. «А тебя кто признал?» — спрашивала я. «Гумилев признал», — отвечал Мандельштам (они мальчишками признали друг друга — чем не талоны?). «А Гумилева кто признал?» — допытывалась я. «Гумилева признал Брюсов», — смело заявил Мандельштам. Зная отношение Мандельштама к Брюсову и как он не мог найти у него ни одного стихотворения для антологии, я издевалась над построенной им линией преемственности и говорила, что он выдумал нечто вроде рукоположения или, скорее, посвящения в рыцари, о котором мы все читали в детских исторических романах. Он стоял на своем, и я поражалась, что во взрослых мужчинах есть что-то наивное и мальчишеское. Не потому ли они сохраняют «свежесть чувств и зренья остроту» и способны что-то сделать в жизни, а также видеть и слышать гораздо больше, чем женщины, которые еще девочками становятся взрослыми и с подлой трезвостью смотрят на мир?..

А самому Мандельштаму явно не хватало признания символистов, которые, как писала Ахматова и видела я, никогда его не признавали и относились к нему резко враждебно. (Один Блок чуть-чуть поколебался, но все же записал в дневнике про жида и артиста.) Не признавали его и авангардисты. Асеев до конца жизни был неколебим и проклинал всех, кто смел упомянуть при нем Мандельштама. В 32 году в редакции «Литературной газеты» был вечер стихов Мандельштама, после которого газета напечатала наиболее распространенные в списках стихи — уже тогда существовал Самиздат, но в значительно более узком кругу, чем сейчас. На этом вечере дрогнул Шкловский, но его тут же одернул Кирсанов, напомнив, что принадлежность к группе обязывает к дисциплине и к единству оценок. Шкловский отступил... К группе, о которой заботился Кирсанов Сема, принадлежит и Якобсон Роман, и семья писателя Арагона. Сейчас они вроде как дрогнули, но это маневр и хитрость. Мне хотелось бы вернуть их в естественное состояние нормальной враждебности к Мандельштаму.

Под конец жизни Мандельштам не выдержал и сам признал себя в письме к Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию; но вскоре стихи мои с ней сольются, кое-что изменив в ее строении и составе...» Я не знаю, сохранилось ли это письмо в архиве Тынянова. Скорее — нет. Если не он сам со страху, то его жена или дочь уничтожили бедный листочек с самопризнанием. В свое время, прежде чем опустить его в ящик, Наташа Штемпель сняла с него копию. В таком виде оно и осталось у меня в бумагах. Тынянов на письмо не отозвался. Винить его за это не надо — время было страшное. На письма не отвечал никто. Издатели Мандельштама удивляются, что почти все письма адресованы мне. Мандельштаму было свойственно говорить со мной — хотя бы в письмах, но в нормальных условиях он вряд ли бы этим ограничился. Люди кое о чем догадываются, но все же не представляют себе, как и где мы жили. Даже немцы этого не знают, а, пожалуй, только евреи в зоне немецкой оккупации. И не одни мы с Мандельштамом знали, где мы живем, а вся огромная и обезумевшая страна.

В письме к Тынянову слышится то, что Мандельштам называл чувством поэтической правоты. Об этом чувстве Мандельштам догадался еще в ранней юности. Обладатель чувства поэтической правоты не нуждается в признании и посвящении в рыцари, а поэзия для него — простое и домашнее дело. Он работает «для себя», не навязывает своей работы людям и предоставляет им последний суд: «Если людям нужно, они сохранят».

Поэт не бывает непризнанным, потому что нуждается только в «первых читателях», а они всегда есть у каждого, кто пишет стихи. Спор о месте поэта ведется не поэтами, а читателями.

Большая форма

I. Трагедия

В двадцатых годах Мандельштам пробовал жить литературным трудом. Все статьи и «Шум времени» написаны по заказу, по предварительному сговору, что, впрочем, вовсе не означало, что вещь действительно будет напечатана. Страшная канитель была с «Шумом времени». Заказал книгу Лежнев для журнала «Россия», но, прочитав, почувствовал самое горькое разочарование: он ждал рассказа о другом детстве — своем собственном или Шагала, и поэтому история петербургского мальчика показалась ему пресной. Потом был разговор с Тихоновым (приятелем Горького, ведавшим «Всемирной литературой» и издававшим какой-то частный журнал) и Эфросом. Они вернули рукопись Мандельштаму и сказали, что ждали от него большего. Хорошо, что мы не потеряли рукописи — с нас могло статься. Мы еще не понимали, что существуют архивы и Мандельштаму полагается хранить рукописи. Мы не сохранили, например, рукописей статей. Они шли в типографию написанные от руки, а черновики бросались в печку. Редакции корежили их по своей воле (текстов все же не меняли, а только сокращали), а черновиков у нас не оставалось. С «Шумом времени» нам повезло. У меня случайно оказался большой конверт, я сунула в него листочки, и они пролежали несколько лет. Второй — чистовой экземпляр кочевал по редакциям, и все отказывались печатать эту штуку, лишенную фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения. Заинтересовался Георгий Блок, двоюродный брат поэта, работавший в дышавшем на ладан частном издательстве. К тому времени Мандельштам уже успел махнуть рукой на все это дело. Книга вышла, а рукопись все же пропала, скорее всего, у самого Блока, когда его арестовали. Взяли его как бывшего лицеиста. Люди и рукописи были обречены на мытарства и гибель. Удивительно, что хоть что-то сохранилось, но возможен оборот судьбы, когда исчезнет и то, что случайно уцелело.

С каждым годом все труднее становилось и со статьями. К середине двадцатых годов для Мандельштама, поскольку он «не перестроился» (мы это выдумали, а не китайцы, у нас приоритет, нечего его уступать), начисто закрылась вся центральная печать. В перестроившемся мире человек, который не сумел и, страшно сказать, не пожелал перестроиться, оказывался у разбитого корыта (какое там корыто! Откуда такая роскошь — ведь мы не выловили золотой рыбки). Неперестроившихся делили на две группы: одним следовало помочь, других выбросить за борт как безнадежных. В двадцатых годах Мандельштам еще числился в дурачках, нуждающихся в помощи, в тридцатых перешел в категорию, подлежащую уничтожению. Среди неперестроившихся безумцев он числился тогда одним из первых номеров. Самые безумные — «религиозники» — в счет не принимались и подлежали искоренению с первых дней. Границы категорий были зыбкими. Они определялись, вероятно, специальными советчиками, часть которых получала зарплату и паек, а другая часть, значительно более многочисленная, работала даром. Менялись границы в соответствии с курсом, а гайки, как известно, завинчивались намертво. Изобретатель гаек тоже бы завинчивал, но до такой степени, пожалуй, не решился бы. Если бы гайки завинчивались в тысячу раз слабее, результат был бы тот же: терпение, молчание, омертвение...

Как ни ясен был исход, Мандельштам жил посвистывая и поплевывая и закрывал глаза на будущее. В Киеве нашелся дурковатый редактор газеты. Он служил кем-то в поезде главного хозяина в годы гражданской войны (тогда еще главный хозяин не был главным) и потому получил целую газету.

Ему заморочили голову молодые сотрудники, и он тиснул несколько статеек Мандельштама. Должно быть, у него был за это нагоняй, потому что он запомнил статейки. Мне довелось с ним встретиться уже в новое время — он жил в квартире Шкловских, впущенный туда Аркадием Васильевым. Шкловский, уходя из семьи, выделил для себя одну комнату, которую отдал председателю жилищного кооператива Васильеву. Это тот самый писатель, который выступал общественным обвинителем по делу Синявского, бывший чекист, спланировавший в литературу. Бывший киевский редактор жил на его площади на положении временного жильца, имел какое-то отношение к кооперативу и смеялся надо мной, что я до сих пор помню «мандельштамчика». Я так шуганула его (время-то было не хозяйское, а передышка), что он отлетел в свою комнату и больше не хамил. На прощание, переезжая в писательский кооперативный курятник, он подарил Василисе большую синюю чашку — на память о приятной встрече. Василиса с удовольствием пила из нее чай, но я не выдержала и разбила ее. Теперь Василиса пьет чай из моей синей чашки.

Я напрасно злилась на ничтожного идиота — их существование все-таки скрашивало жизнь. Не будь он идиотом, Мандельштам не напечатал бы — и не написал — кучки своих газетных статей, а они очень славные. Настоящие, клинические, идиоты — положительное явление. Какой-нибудь умный Щербаков, Фадеев или Сурков, в головах у которых не меньше мусору, чем у киевского редактора, никогда бы не допустили Мандельштама на страницы советской печати. Умные закрыли страницы журналов начисто. В тридцатых годах Мандельштам окончательно понял, что ни о каких регулярных заработках не может быть и речи, и мы научились жить как придется, на бутылки, например, но это случилось не сразу. К такому способу существования сразу привыкнуть нельзя, и человек долго барахтается, пока не решит сложить ручки и покориться судьбе.

Среди писателей, объявленных вне закона, — не открыто, а под сурдинку, как у нас было принято, — находился и Шкловский. Он укрылся на кинофабрике, как евреи в оккупированной Венгрии — в католических монастырях. Шкловский усиленно рекомендовал Мандельштаму свой способ спасения и уговаривал что-нибудь написать для кино. На то, что сценарий пройдет и будет напечатан, надеяться нельзя, объяснял Шкловский, но фабрика платит за все, начиная с заявки и либретто на нескольких страничках. Всем, к кому Шкловский хорошо относился, он давал именно этот совет и предлагал вместе написать сценарий. Такое предложение было у него чем-то вроде объяснения в любви и дружбе. Реального же способа существования при кинофабрике он не открывал, и, как я теперь знаю, он был другой. Там подкармливали людей, давая им «внутренние рецензии», то есть отзывы на поступающие со всех сторон либретто и сценарии. Кормушка береглась для своих — кинодеятели тяготели к лефовцам. Мандельштама к кормушке бы не допустили. Однажды в Киеве работники кинофабрики попробовали втиснуть в нее Мандельштама в качестве консультанта или редактора, но крепость оказалась неприступной. В кино не было идиотов. Там сидели только умные и деловые люди. А Шкловский, соблазняя Мандельштама, придумал даже сюжет для либретто: дворцовый лакей и его дочь, она уходит в революцию, а он сейчас служит в Екатерининском дворце, который стал музеем. «Вы же живете в Царском, — сказал Шкловский, — обыграйте его. Пойдите в музей и придумайте...» Он вел себя как сирена-соблазнительница.

Такой сюжет назывался «историческим», хотя историей в нем и не пахло. Он был доступнее, чем «современная тема» с кознями заговорщиков и вредителей против революционных рабочих. «Современная» оплачивалась несравненно лучше, но интеллигентов спасала «история», выполнявшая функции того же католического монастыря. (А ведь нам и католический монастырь бы не помог: не могли ведь они припрятать двух неразлучных разнополых.) Рецепт «обыгрывания» был заранее известен: жандармы, тюрьма, а потом ликующие толпы со знаменами. Главное же — психология папаши, у которого два пути. Один — проклясть дочь, а потом горько раскаяться, другой — перейти на ее сторону и оказать ряд услуг будущим победителям и за это получить награду, то есть очутиться рядом с воскресшей дочкой в толпе счастливых демонстрантов. Есть еще вариант: папаша в гневе рушит дворцы, падают камни, бревна и прочие архитектурно-бутафорские предметы, а потом они собираются вместе, воскресает не дочь, а дворец, но в виде «памятника старины», подлежащего охране, или музея. Все это служило предлогом для показа красот, а что еще прекраснее царскосельских дворцов и парков.

Мы послушались Шкловского и решили идти «на дворцы и морцы», а для начала отправились в музей. Вернувшись домой, Мандельштам заявил, что в три дня напишет либретто, и тут же надиктовал одну или две странички. Выяснилось, что он придумал один-единственный момент: у входа посетителям дают веревочные туфли, чтобы они своей грубой обувью не поцарапали драгоценный паркет. Кадры оказались роскошными. Мандельштам заметил несколько образцов нищенской обуви и рваных брюк и собирался построить начало на игре веревочных сеток, паркетин и ветоши. Мысль работала явно в ложном направлении: хвастаться нищетой у нас не собирались. В фильме Шпиковского «Шпигун», на который Мандельштам написал рецензию, заставили переснять огромные куски, потому что красноармейцы в гражданскую войну были сначала показаны такими, как были, то есть оборванцами. По требованию идеологов их пришлось приодеть и привести в почти элегантный вид. Мандельштам прочел надиктованную страничку и вздохнул — богатство упорно ускользало из наших рук. Я предложила свой вариант: выбросить обувь и сохранить только паркетины и сетки из веревок, но Мандельштам заявил: «Мы разорены» — и отказался от мысли о кино. А чем плохи были паркетины и веревки? Разнофактурно и красиво. Наши режиссеры охотно отыгрывались на деталях: рябь на воде, колыхающиеся травинки или колосья, перья нахохлившейся птицы, рыбачья сеть и тому подобное... Для моих современников, последних уцелевших стариков, кино двадцатых годов, как и театр, остается знаком великого расцвета искусств. О литературе и живописи говорят несколько сдержаннее, но кино связано со знаменитой одесской лестницей, по которой катится детская коляска с младенцем, засухой, овцами, высунувшими от жажды воспаленные языки, оладьями, падающими в рот счастливому хохлу, бесславным концом Санкт-Петербурга, червями, копошащимися в говядине... Будущие поколения удивятся холодной роскоши деталей и нищете мысли в этих фильмах. В кино, может, и не нужно мысли, но пропагандистские фильмы претендовали на нее, и это оттеняет их жестокую сущность. Особенно мне запомнилась садистская коляска на лестнице и шикарный крестный ход во время засухи.

Исторический сюжет, казалось бы, требует исторической концепции, но в литературе все было стандартизировано, как и в кино. Так получалось далеко не только из-за запрета сверху. Если бы действовал один запрет, где-нибудь бы сохранились припрятанные в столах листочки, но этого добра дошло слишком мало, и все, что добралось до наших дней, было в свое время нам известно. Больших неожиданностей и находок как будто не предвидится, и никто еще не задумался, откуда такое оскудение. Ахматова перечислила то, чего она лишилась, когда эпоха загнала реку в другое русло, но она забыла упомянуть про мысль. Мы все, включая Мандельштама и Пастернака, недодумали множества мыслей, вернее, эти мысли даже не приходили нам в голову, а потому не воплотились в слово. Земля действительно стоила нам десяти небес, но земли-то мы получили не больше, чем раскулаченные и раскулачиватели. Горизонт сузился до неузнаваемости. Даже те немногие, кто сохранил внутреннюю свободу, думали лишь о текущем, подсунутом нам эпохой. Мысль попала в плен. В какой-то степени она всегда в плену у своего времени, но само время расширяет или ограничивает размах мысли, а наше ограничило ее до нищенских пределов. Жестокая действительность и ходячая мудрость наших дней давили на нас с такой силой, что мы не думали, только рассуждали... Эпоха помогла тем людям, у которых начисто ничего не было за душой. Она подсунула им похвалу времени или жалобу на его жестокость. Три поэта, которые имели что сказать, заплатили дань времени тем, что на какой-то период каждый из них был поражен немотой. Это еще не самая страшная дань. Прозаики — проза ведь мысль, мысль и мысль — заплатили куда больше.

Вокруг нас копошились писатели. Мы встречали их только в редакциях, но знали, чем они живут. Тынянов объявил, что настало время прозы, потому что эпоха поэзии кончена, а Мандельштам сказал, что тюремщики больше всех нуждаются в романах. На писателей был спрос, и они после первого подъема, когда им довелось рассказать несколько случаев из гражданской войны и народной революции, ломали голову, что бы изобрести, чтобы подняться наверх и выбиться из нищеты. Деньги оказались отличным стимулом для изобретательства, и все мечтали написать многолистный роман или пьесу. Особенный соблазн представляла собой пьеса: человек, удостоившийся «поспектакльных», расцветал на глазах. Катаев рассказывал басни про счастливых драматургов. Про одного он выдумал, будто тот зафрахтовал машину и она следует за ним в черепашьем темпе, не отставая и не перегоняя. Драматург идет по бульвару, а машина ползет рядом с ним по мостовой на случай, если ему вздумается куда-нибудь поехать. Это было пределом величия, потому что о собственных машинах до конца тридцатых годов никто не мечтал. Счастливец, у которого пьеса пошла в Художественном, немедленно менял жену. На него набрасывались красотки, бедные девочки, еще не научившиеся зарабатывать свой черствый кусок. Они обычно числились киноактрисами и раз в год участвовали в массовых съемках, а на самом деле искали хоть временных мужей, чтобы подкормиться и купить лодочки. Драматурги ценились не меньше, чем правители. Во втором ранге стояли писатели с уже напечатанным романом, а переводчики, даже энергичные и работающие, как машина — по сто строчек в день (Шенгели доводил до полутораста и очень этим гордился), — числились самым последним сортом. Бедные золушки — сами они были обесцененным товаром...

Мечты о пьесе и романе не целиком объяснялись здоровой жаждой благополучия и денег. В воздухе носилось стремление к «большой форме». Люди повторяли поговорку о корабле, которому подобает большое плаванье. Мера «большого» исчислялась чисто количественно. Для писателя это многолистность, для поэта — количество строк. Действовала своеобразная гигантомания, и даже такие люди, как Пастернак, заразились общим поветрием. Он начал говорить о романе с середины двадцатых годов, а разговор о пьесе завел чуточку позже. Гладков в своих страничках о Пастернаке не врет и не хвастается, когда рассказывает о неслыханном внимании к нему Пастернака. Я узнаю в его рассказе Бориса Леонидовича, который мучительно думал, как бы сочинить пьесу, и присматривался к драматургам, которым повезло... Что же до романа, то он написал в письме Мандельштаму: раз вышел «Шум времени», значит, есть все данные для романа, пора приступать... В Москве, когда мы жили на Фурмановом переулке, Пастернак довольно часто заходил к нам, особенно если гостила Ахматова. Он часто говорил о романе, и это по его поводу Мандельштам сказал: «Для того чтобы написать роман, нужны по крайней мере десятины Толстого или каторга Достоевского...» Ахматова пугает, говоря, что это было сказано по поводу Коли Чуковского. На него Мандельштам не отпустил бы такой славной шутки. Для романа Коли Чуковского ничего не нужно, кроме пишущей машинки или автоматического пера. Что еще делать Коле Чуковскому, как не писать солидные романы? А при жизни Мандельштама он и вовсе еще не подавал заявки на роман, а кормился детской литературой и переводами. Впрочем, про Колю я ничего не знаю. Он был у нас один раз в жизни и выдумал, будто я лежала в сундуке. Почему все врут про Мандельштама?

Я страшно удивлялась разговорам Пастернака о романе. У меня слово «роман» отождествлялось с чтивом, а «Войну и мир» или «Идиота» я романами не называла и не называю. Сейчас романом я называю только «Доктора». Но я и сейчас думаю, что мысль, концепция, виденье мира побуждают человека к писанию, к труду, а форма приходит сама — непрошеная, незваная. Пастернак же говорил о литературном жанре, и мне казалось, что не мысль толкает его на какую-то форму, а вожделенная форма подстрекает мысль. Его вроде как не удовлетворяло лучшее, что было ему дано, то есть лирическое дарование и трепещущие мокрые ладони. Он стремился преодолеть прекрасное косноязычие поэта и заговорить на всеобщем языке понятий и слов. Впоследствии он назвал это «простотой»... Теперь я лучше понимаю Пастернака — у него была тяга к объективации, необходимость рассмотреть и понять объект. В лирике он весь был во власти ощущений, она по сути своей сливалась с его повседневностью и в этом его обаяние. Из повседневности он лишь изредка видел объект историю, страну, и то главным образом с ракурса сегодняшнего дня. Пастернака мучила потребность в анализе, в отдалении, в перспективе, потому что субъект, живущий ощущениями, не сливался у него с объектом. Роман Пастернака — погоня за утраченным временем, чтобы найти свое место в движущемся потоке дней и понять смысл движения.

Достоевский писал в кризисный период, но структура общества еще не рухнула. Это значит, что общественная, философская, религиозная мысль могла еще сгущаться в различных слоях общества, в умах отдельных его представителей. Пастернак задумался о романе, когда движение идей прекратилось и было заменено вопросом о цели и о способах и средствах к ее достижению. Так называемое единомыслие означало распад связи между молекулами, потому что общество сложная структура, и превратить его в двуплановую — народ, толпа, копошащиеся человечки и вожди, гиганты, гении можно лишь искусственным способом, тщательно уничтожая все внутренние связи. У нас последовательно проводился принцип депортации, и не только по отношению к целым народам, или к крестьянству в период раскулачивания, или к самым различным слоям населения при массовых ссылках в лагеря и на поселение, но и в ежедневной практике без явного насилия. Как правило, человека отправляли на работу — партийную или профессиональную, после окончания учебных заведений, — подальше от родных мест, где он никого не знал и не смел открыть рта, потому что очутился один среди чужих. Шла непрерывная вербовка на работу за тридевять земель, причем рабочих и крестьян соблазняли куском хлеба. Все вместе было механической болтанкой с беспрерывным подрубанием корней и ускоряло процесс распада и потери личности. Пастернак жил в центре распада и болел, как все (в той или иной форме), всеми болезнями времени, а поэтому собрать мысль и приступить к анализу ему было бесконечно трудно.

Война на миг сплотила людей, и этот общий порыв подготовил события середины пятидесятых годов и последовавшее за ними брожение умов у новых поколений. Именно поэтому роман Пастернака мог осуществиться только после войны. Мне кажется знаменательным, что центром романа Пастернак сделал поэта с биографией, как бы параллельной его собственной, но в неблагополучном ключе. Он проверил, как бы сложилась его жизнь, если бы река потекла по другому руслу. Ахматова, разглядывая себя в другом русле, всегда видит благополучную женщину, которой могла бы стать. Пастернак увидел себя скитальцем и трагическим странником, которым стал бы, если б сразу расценил эпоху, как через несколько лет после войны. У Мандельштама параллельной судьбы быть не могло: он на ходу платил дань времени и сразу ощутил себя тем, кто противостоянием борется со всеобщим распадом. Эпоха не поворачивала его в другое русло — он сам пробивал свой путь, и труд был так велик, что многое из того, что он мог сказать, осталось неосуществленным.

Мандельштам писал не рассказы, повести, очерки или романы, а прозу или стихи. Других определений он не употреблял. Он твердо знал, что всякий жанр непрерывно исчерпывает себя и тот, кто берется за него, начинает с полной перестройки. «Война и мир» для него не просто роман, а эпическое и хроникальное целое, а Достоевский разворачивает действие наподобие трагедии. Как случилось, что подлинная трагедийность воплотилась у нас в форме повествования, а не театрального действия? Мандельштам часто говорил о трагедии, но не как о литературном жанре, а об ее сути. Он рано осознал, что трагедия на театре невозможна, и сказал: «Я не увижу знаменитой Федры». Ему не суждено было услышать, как «расплавленный страданьем крепнет голос и достигает скорбного накала негодованьем раскаленный слог». Причина конца трагедии в несовместимости трагедийности с теми, к кому обращаются с подмостков, то есть «зрителями-шакалами», которые готовы растерзать музу. В статье 1922 года Мандельштам пробовал объяснить, почему в наши дни невозможна трагедия. Сказано это по поводу Анненского, который «с достоинством нес свой жребий отказа, отречения». «Дух отказа» в поэзии Анненского «питается сознанием невозможности трагедии в современном русском искусстве благодаря отсутствию синтетического народного сознания непререкаемого и абсолютного — необходимой предпосылки трагедии; и поэт, рожденный быть русским Еврипидом, бросает в водопад куклу, потому что «сердцу обида куклы обиды своей жалчей»«...

Синтетическое сознание возможно только в те эпохи и у такого народа, который хранит «светоч, унаследованный от предков», то есть когда народ имеет твердые ценностные понятия и трагедия говорит об их осквернении и защите. Не ведет ли к катарсису, духовному очищению и просветлению, именно победа ценностей, утверждение их непререкаемой мощи? Европейский мир строился на величайшем катарсисе, доступном только религиозному сознанию, — на победе над смертью и искуплении.

Во всем европейско-христианском мире ценности расшатывались в течение многих десятилетий, вернее столетий, но та степень глумления, которой они подверглись у нас, неведома нигде и никому. Если б собрать наших зрителей-шакалов и показать им осквернение ценностей, его приветствовали бы радостным ревом. На протяжении десятилетий их приучали именно к такой реакции, когда они наблюдали, как оскверняют алтари, домашние очаги и священные права народа. Одни поддерживали осквернителей, другие, лучшие из лучших, равнодушно отворачивались и шли домой сводить концы с концами. Мы заслужили мелодраму вместо трагедии и получили ее со всеми экспрессионистскими и псевдореалистическими штучками, а главное, с вывороченной наизнанку темой и героем — осквернителем ценностей и неправедным судьей, который отстаивает свое право на власть и руководство человеческими толпами. В театр пришла литература, которая «везде и всюду... помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными»...

В Воронеже в 1935 году Мандельштам с несколько иной стороны подошел к трагическому. Редакция местной газеты поручила ему статью о Серафимовиче, и он написал несколько страничек и тут-то понял, что никуда с ними соваться нельзя. Серафимович был объявлен у нас чем-то вроде божка, и посягать на него не полагалось. Мандельштам произнес обычное: «Мы разорены» — почему это, что бы он ни написал, мы всегда бывали «разорены»? — и бросил листочки в чемодан, потому что сундук для рукописей остался в Москве. Листочки случайно сохранились. Это автограф, потому что я, понимая безнадежность всей затеи, отказалась писать под диктовку. В них несколько слов о том, что «трагическое, на каком бы маленьком участке оно ни возникало, неизбежно складывается в общую картину мира».

Мне думается, что в общую картину мира может складываться только то, что так или иначе связано с ценностями «открытого», а не «закрытого» общества в точном бергсоновском смысле слова, то есть с Духом, который почиет, где хочет. Самый факт смерти, например, входит в картину мира, поскольку человек смертен, но никакая смерть не даст картины мира, кроме той, с которой началась наша эра и возникло «открытое» общество. Мандельштам удивлялся наивно-эгоистическому отношению к смерти благодушных тетушек, выросших в девятнадцатом веке. Одна из них при нем сказала мне: «Твой дядя Миша трагически погиб под ножом хирурга...» Я заметила иное, но тоже не удовлетворяющее меня отношение к трагическому у Ахматовой. Я пришла к ней с хорошеньким мальчиком Перепелкиным, внучатым племянником Василисы Шкловской. Ахматовой очень понравился трехлетний красавчик, и она сказала мне при следующей встрече: «Вот трагедия, если умрет такой Перепелкин». «Горе, а не трагедия, — сказала я, — ужасно жалко детей, когда они больны или страдают». Ахматова настаивала, что именно в гибели или, точнее, в смерти нерасцветшего заключается сущность трагедии. Я вспомнила стихи: «И ранней смерти так ужасен вид, что не могу на Божий мир глядеть я», — но в стихах печаль и горечь, а не раскрытие трагического. Мне легче понять торжество смерти, которое ощущал Мандельштам, чем ее трагичность.

Передо мной встает еще один вопрос в связи со словами Мандельштама о трагическом, складывающемся в картину мира: почему у нас «отдельное», единичное, никогда не воспринимается как знамение или символ целостной картины мира? Причину я вижу только одну, и притом чисто психологическую: количественный подход ко всему на свете, свойственный позитивистам. Первоначально проблема имела следующий вид: можно ли убрать одного человека, который стоит на пути к счастью миллионов? А если это не один человек, а несколько? В 37 году Шагинян, изнывавшая от любви к людям и к Гёте, возмущалась интеллигентами: «Посадили несколько человек, а они подняли крик...» (Чего я поминаю эту старуху, от которой останется один прах? Она была характерна для эпохи и выбалтывала то, о чем другие молчали.) Как только появилось неопределенное множество «несколько», дело было сделано: можно говорить, например, о нескольких миллионах, которые составляют ничтожную часть человечества, особенно если учесть длинный ряд будущих поколений, счастливых и беззаботных... Первая массовая операция — раскулачивание крестьян, поднявшихся в нэп, — прошла незамеченной, потому что говорили: в такой-то деревне раскулачили одно, а в такой-то несколько хозяйств. Складывать единицы в конкретную сумму не полагалось. Мы всегда предпочитали конкретным суммам процентные отношения и неопределенные множества: ведь любой миллион состоит из некоторого количества групп по нескольку человек. Кстати, о людях речи не шло, говорили о раскулаченном хозяйстве или дворе, что тоже является неопределенным множеством.

На всех службах люди, числившиеся единицами, вели учет и подсчитывали, сколько человеко-часов ушло на выполнение каждой работы и каково отношение человеко-часов к любой несоизмеримой с ними величине. В результате перебирания больших и малых чисел развилось абсолютное равнодушие к каплям» составляющим мировой океан. Весь народ обучился диалектике и умело избегал перехода количества в качество. Этим законом не пользовались даже в тех случаях, когда он мог пригодиться: «несколько» или процент ведь еще не количество, чтобы подумать о качестве. От процентных отношений рябило в глазах, и мы начисто забывали, что каждая ничтожная (может ли она быть ничтожной, если в ней есть внутреннее единство и целостность?) единица есть неповторимая катастрофа и может предстательствовать за все миллионы. Александр Гладков все собирается написать о равнодушии, с которым в литературных и театральных кругах тридцать восьмого года приняли известие об аресте и гибели Мандельштама. Гибель единиц покрывается повышением рождаемости и нарастанием темпов, как твердо знал всякий деятель великой эпохи.

В 1937 году Мандельштам снова вернулся к вопросу о трагедии, на этот раз в стихах. Он уже твердо знал, что трагедийное действие разворачивается не на подмостках, а в повседневной жизни. Он сказал: «Тому не быть трагедий не вернуть, но эти наступающие губы, но эти губы вводят прямо в суть Эсхила-грузчика, Софокла-лесоруба»...

Европейский мир построил свою культуру на символе креста, напоминающем об одном распятом на этом кресте. В основе этой культуры лежало отношение к личности как к высшей ценности. Нам нужно снова научиться понимать, что каждая отдельная судьба — символ исторического дня, и тогда «отдельное», на каком бы малом участке оно ни разворачивалось, сложится в нашем уме в общую картину мира. Только случится ли это? Не поздно ли? Не упустили ли мы момента, когда можно было опомниться и остановить процесс ворочанья неопределенных множеств и процентных отношений? Не знаю и знать не могу. Скорее всего, зашло слишком далеко, и процесс распада необратим.

II. «Пролог»

Пастернак собирался написать пьесу и оставил какие-то странные фрагменты, Цветаева непрерывно сочиняла замысловатые сценки (о, девчоночья любовь к Ростану!), Ахматова ни о чем таком не помышляла, но вдруг в Ташкенте появился «Пролог», который она бросила в печь в конце сороковых годов в ночь после ареста и увода Левы. Пьеса попала в печку вместе с тетрадями, где были записаны стихи. Всю жизнь она помнила, как вторично пришли на Фурманов переулок добирать недобранное. Это называлось повторный обыск. Слово «повторный» вошло в наш быт — всякая кара могла повториться без всякого предупреждения: обыски, ссылки, аресты. Леве, взятому заложником за мать, пришлось бы еще труднее, если бы на столе у следователя очутилась пьеса «Пролог» и все стихи. Прочитав эту пьесу, начальники, пожалуй, не удержались бы от искушения и схватили бы и Ахматову. Ведь это высочайшая милость, что ей разрешили гулять на воле, да еще по улицам столичных городов. Милостью злоупотреблять, сочиняя пьески, не положено. Оказали тебе милость — сиди и молчи. Логика ясная и непреложная. Ахматова прекрасно сознавала, что живет как помилованная: «И до самого края доведши, почему-то оставили там. Буду я городской сумасшедшей по притихшим бродить площадям...» Каждый из нас знал, что он помилованный, пока имел право ходить на службу и есть купленную в магазине селедку. Мы, единицы, входящие в понятие «несколько миллионов», благодарили за милость и сидели проглотив язык.

Если б не случайная милость, эта женщина очутилась бы в кабинете с фальшивыми дверями. Я представляю себе, как она стоит перед следователем и говорит «нет». В Ленинграде у них была привычка плевать в лицо своим жертвам. Это мелочь, ни в какое сравнение с настоящими пытками не идущая, но недаром сказано: «Сему месту быть пусту...»

Ахматова прочла мне «Пролог» в Ташкенте летом 42 года, когда на выпускниках военных училищ вдруг появились погоны. Мы возвращались из ботанического сада и вдруг увидели стайку юнцов в форме с погонами. «Они стали похожи на декабристов», — сказала Ахматова. Они действительно были похожи на декабристов, и в каждом из этих серьезных мальчиков сидел идеальный юноша со станции Кречетовка и где-то среди них — еще не в Ташкенте, а в другом городе или в деревне — думал о России (один Бог ведает, что он тогда мог думать) молодой артиллерист, по которому скучали каторга и литература. Мы не встретились с ним в Ташкенте, куда он приехал после нас в больницу. Если б мы еще жили в Ташкенте, он бы нас все равно не нашел, потому что не слышал наших имен ни в школе, ни в двух вузах, ни в артиллерийском училище, ни на каторге, ни в ссылке, ни в больнице. А пришел бы он к нам, мы бы с подозрением отнеслись к неизвестному человеку и не помогли бы ему додумать свои мысли. Я не знаю, о чем он думал в те годы, но ему пришлось разделить судьбу огромных толп русских мальчиков с погонами: декабристов, петрашевцев, тех, кто погиб после первой мировой войны или попал в лагеря после второй...

В «Прологе» я услышала живой голос Ахматовой. Она не претендовала, разумеется, на всенародную трагедию, но для меня тот частный случай, о котором идет речь, складывается в картину мира, потому что исповеданье веры и свободное слово являются основным правом человека, так что именно ими надо мерить эпоху. Не знаю, верно ли это для всех исторических периодов, но я читала, что в период становления догматов торговцы и торговки на базарах Византии так яростно их обсуждали, что нанесли существенный вред торговле. Вот это, по-моему, и есть свобода мысли. Лишенный такой свободы человек дичает и начинает выть, как шакал. Слово и общественная мысль отмирают. Общество погружается в гипнотический сон. «Пролог» Ахматовой был в некотором роде сном во сне.

Первые слушатели сравнивали «Пролог» с Гоголем, Кафкой, Сухово-Кобылиным и еще невесть с чем. В нем, несомненно, были элементы Сухово-Кобылина, потому что речь шла о чиновничестве, а сама мысль о чиновничестве располагает к некоторому абстрагированью, к действию, по слаженности напоминающему балет, к почти механической точности движений. У Ахматовой речь шла не о департаментском, а о писательском чиновничестве: героиню судят писательским судом и тут же упрятывают в каталажку. Тема проста и ясна как день, а писательское чиновничество гораздо страшнее департаментского, потому что именно оно сознательно предает свободу мысли.

Ташкентский «Пролог» был острым и хищным, хорошо утрамбованным целым. Ахматова перетащила на сцену лестницу балаханы, где мы вместе с ней потом жили. Это была единственная дань сценической площадке и формальному изобретательству. По этой шаткой лестнице спускается героиня — ее разбудили среди ночи, и она идет судиться в ночной рубахе. Ночь в нашей жизни была отдана страху. Часы любви и покоя прерывались ночными звонками. Второй арест Мандельштама сочетается не со звонком, а с проклятым стуком среди ночи, совсем особым стуком, как и звонки были особыми, совсем непохожими на обыкновенные — человеческие... Напряженный слух никогда не отдыхал. Мы ловили шум машин — проедет или остановится у дома? — шарканье шагов по лестнице — нет ли военного каблука? — шум лифта — у меня до сих пор болит сердце, когда я слышу шипение старых лифтов, звонки и стук... Но, ложась в постель, мы почему-то раздевались. Не пойму, как мы не приучились спать одетыми несравненно рациональнее. И героине «Пролога», то есть Ахматовой, не пришлось бы идти на суд в ночной рубашке.

Внизу, на сцене, стоит большой стол, покрытый казенным сукном. За столом сидят судьи, а со всех сторон сбегаются писатели, чтобы поддержать праведный суд. У одного из писателей в руках пакет, из которого торчит рыбья голова, у другого такой же пакет, но с рыбьим хвостом. В пайковые периоды — а таких у нас было несколько — главной литературной сенсацией служили выдачи в почти правительственных магазинах, куда прикрепляли лучших. В Ташкент по правительственному проводу звонил сам Жданов (!) и просил позаботиться об Ахматовой. Он, наверное, объяснил, кто она («наш лучший» или «наш старейший поэт»), и в результате приличный писатель из эвакуированных спроворил ей два пайка в двух магазинах, а жена писателя, женщина с милицейским стажем, приносила домой выдачи и кормила Ахматову. Когда они уехали, второй паек отсох, так как каждые три месяца требовалась новая доза хлопот и улещиваний. Это делали все, но мы с ней не умели делать то, что все, и однажды очень обрадовались, услыхав о том же от скромнейшей академической дамы по фамилии Миклухо-Маклай. Она плакалась, что не умеет делать то, что делают все, то есть получать паек бубликами, менять их с приплатой на хлеб, лишнюю часть хлеба снова обменивать, а на приплату выгадывать горсточку риса... У нас закружилась голова от множества тонких операций, на которые способны все, а нам решительно не везло, потому что я иногда промаргивала самые основные предметы обмена. Ведь в последнюю зиму мы жили вместе и за пайком ходила я. Однажды я шла из магазина и несла кучу селедок, завернутых в газету, из которой торчали хвосты и головы. По тротуару мимо меня пробежала шеренга мальчишек, гуськом, держа интервал в несколько метров. Каждый был чуть выше меня ростом, и каждый, пробегая, хлопал ладонью по пакету с селедкой, так что одна или две рыбины выскальзывали из бумаги и хлопались на тротуар. Следующий на бегу поднимал добычу, а следующий за ним уже наносил новый удар. Из всей выдачи я донесла до дому не больше полдюжины рыбок Ахматова пришла в полное отчаянье и сетовала на мою нерасторопность. Она не оценила победоносную технику ташкентских парней, отлично натренировавшихся на писателях с рыбьими хвостами и головами. Они были непобедимы, и я в душе сочувствовала им, а не пайкодержателям. Девочек в шеренге не было. Их принимали на равных правах только в бандитские шайки. Одной из детских шаек, судившихся за убийства и грабежи — они выкалывали жертве глаза, чтобы в них не отпечаталась сцена убийства, — руководила ангелоподобная девочка в накрахмаленных платьицах. Родители, крупные работники, пользовались самыми лучшими распределителями, где покупки заворачивались в бумагу или доставлялись на дом. Рыбьи хвосты и головы из пакетов не торчали. В начале нашей эры на академические пайки шли свиные головы, Ташкент спасал литературу рыбьими хвостами и головами. Тушки шли по более высокому назначению.

Писатели с пайковыми пакетами и рукописями мечутся по сцене, наводя справки относительно судебного заседания. Они размахивают свернутыми в трубку рукописями («Не люблю свернутых рукописей. Иные из них тяжелы и промаслены временем, как труба архангела»). Они пристают с вопросами, где будет суд, кого собираются судить и кто назначен общественным обвинителем. Они обращаются друг к другу и к «секретарше нечеловеческой красоты», которая сидит на авансцене за маленьким столиком с десятком телефонных аппаратов. Писатели демонстрируют секретарше свою готовность идти на суд и приветствовать все несомненно справедливые решения судей. Все распределение благ всегда проходит через секретаршу, следовательно, она лицо важное. В ее руках квартиры, пайки, дачи, рыбьи хвосты и головы. «Секретарша нечеловеческой красоты» отмахивается от пайковых писателей и на все вопросы отвечает стандартной, но ставшей знаменитой фразой: «Не все сразу — вас много, а я одна». У Ахматовой был отличный слух на бытующую на улицах и в учреждениях фразу. Она их подхватывала и бодро употребляла: «Сейчас, сейчас, не отходя от кассы...»

Открывается заседание. Весь смысл происходящего в том, что героиня не понимает, в чем ее обвиняют. Судьи и писатели возмущены, почему она отвечает невпопад. На суде встретились два мира, говорящих как будто на одном, а на самом деле на разных языках. «Пролог» был написан в прозе, и каждая реплика резала как нож. Это были донельзя отточенные и сгущенные формулы официальной литературы и идеологии. Ими шугают героиню, когда она лепечет стихи, оборванные и жалобные строчки о том, что в мире есть воздух и вода, земля и небо, листья и трава, — словом, «блаженное где-то» из ахматовских стихов. Едва она начинает говорить, как поднимается шум, и ей объясняют, что никто не дал ей права бормотать стихи и пора задуматься, на чью мельницу она льет воду рифмованными строчками, а кроме того, нельзя забывать, что она подсудимая и отвечает перед народом — вот он, народ, с рыбьими головами и промасленными рукописями, — за все, что проносится в ее голове... Ее освещают прожекторами, и луч скользит по голове, перебирая волосы.

Страха героиня не испытывает. То, что она чувствует, совсем не страх, а глубокое сознание, что человеку нет места на земле — в мире писательской и чиновничьей нечисти. Здесь на суде человек может только поражаться и недоумевать. Нежить неспособна лишить ее жизни, потому что суд происходит вне жизни. Она попадает в тюрьму и там впервые чувствует себя свободной. Из камеры слышен ее голос, читающий стихи, а на лестнице и сцене топчутся писатели, и у них как лейтмотив звучит жалоба: «Писатели не читают друг друга...» Они требуют постановления, которое обяжет писателей читать все, что пишут их собратья по перу и союзу... Голос героини крепнет. Идет своеобразный диалог или перекличка писателей и заключенной. Смысл ее слов нечто вроде позднее записанного: «Из-под каких развалин говорю, из-под какого я кричу обвала?.. Как в негашеной извести горю под сводами зловонного подвала... Я притворюсь беззвучною зимой и вечные навек захлопну двери, и все-таки узнают голос мой, и все-таки ему опять поверят...»

Это не единственная тема заключенной. В ее словах тот острый бред, который передает наши чувства тех лет. Героиня в ночной рубашке — одна из многих женщин, просыпавшихся ночью в холодном поту и не веривших тому, что с ними произошло. Это Ахматова, которой приснился до ужаса реальный сон: в широком коридоре пунинской квартиры, где стоял обеденный стол и в самом конце за занавеской — кровать (там случалось ночевать Леве и мне с Мандельштамом), слышны солдатские шаги. Ахматова выскакивает в коридор. Пришли за Гумилевым. Она знает, что Николай Степанович прячется у нее в комнате — последняя дверь по коридору, если идти от парадной двери, то налево, как и другие двери. За занавеской спит Лева. Она бросается за занавеску, выводит Леву и отдает его солдатам: «Вот Гумилев». Только женщина, которую мучил такой сон, могла написать «Пролог».

III. Постановление

«Пролог» был написан задолго до постановления об Ахматовой и Зощенко. (В постановлении упоминался еще Хазин, но к моему брату никакого отношения он не имеет — случайный однофамилец.) Многие из читавших, вернее, слышавших «Пролог» ахали, что Ахматова все предвидела и предсказала: заседания, речи, газетные статьи, выступления писателей, вузовские и школьные собрания в годовщины постановления, когда служились не черные, а серовато-лапотные мессы с плевками в лица двух подсудимых и плевком в сторону потерянной могилы третьего... «Что они выдумали, что я старица-пророчица? — удивлялась Ахматова. — Только так и было. Ничего другого не было...» Она вспоминала статьи Лелевича, разговоры и высказыванья с кафедры и в печати рапповцев, лефовцев и всех на свете, кто заживо хоронил и ее и Мандельштама да еще вбивал осиновый кол в спину, чтобы уничтоженный ненароком не выскочил, — ведь всякому хочется хоть тенью погулять по запретной земле. Память Ахматовой зарегистрировала всю многолетнюю анафему, и она приняла постановление как и следовало, то есть без всяких эмоций, но с естественным страхом последствий. Она боялась за близких, да и за себя — невозможно избавиться от дрожи, когда вплотную подступает тупая мертвая сила, чтобы вытащить тебя из постели и увлечь в небытие.

Бедный Зощенко оказался совершенно неподготовленным к удару. Это сказалось в разговоре с оксфордскими студентами, которые приехали, чтобы попытаться помочь жертвам. Говорят, их снарядил Берлин, оксфордский «гость из будущего», побывавший у Ахматовой незадолго до всей драмы. Поняли ли оксфордцы, под какой удар они поставили Зощенко? На него обрушилась вторая волна травли, и он уж больше никогда не поднял головы. Чистый и прекрасный человек, он искал связи с эпохой, верил широковещательным программам, сулившим всеобщее счастье, считал, что когда-нибудь все войдет в норму, так как проявления жестокости и дикости лишь случайность, рябь на воде, а не сущность, как его учили на политзанятиях. О жестокости там, разумеется, не говорили, а только про рябь. Многие не увидели перехода от народной революции, жестокой и дикой, к плановой работе машины. Склонные оправдывать первую фазу перенесли свое отношение на вторую. Таков был и Зощенко, один из прапорщиков революции (по чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически он принадлежал именно к этой категории).

Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми, а читатели принимали все за юмористику и ржали как лошади. Зощенко сохранял иллюзии, начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову набок, и жестоко за это расплатился. Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны — псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничаньем, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования.

Поняли ли оксфордские студенты поведение Ахматовой? Она рассказывала, что сидела, как идол, никуда не глядя, и наизусть произносила казенные формулы с полным равнодушием и великолепной отчужденностью. Милые английские мальчики, которых с детства учили говорить правду и отстаивать свои убеждения, наверное, растерялись, услыхав слова Ахматовой, что постановление принесло ей большую пользу. Сопоставив это со стихами в «Огоньке», они не иначе как объявили всех русских продажным народом, который можно купить за полушку. А может, им померещилась русская душа, таинственная и восточная, с ее любовью к постановлениям, нищете, лагерям и расстрелам... Они понимают нас, как мы — китайцев. Когда глядишь на Восток, все сливается в одно бурое пятно: Ахматова может показаться смирной овцой, а Зощенко — неистовым бунтарем. Не все же мы — овцы...

Ташкентский «Пролог» сгорел вместе с тетрадью стихов. Ахматова помянула это событие в стихотворении «Сожженная тетрадь». Когда составлялась книга, Сурков поморщился: что это за намеки, будто приходилось сжигать стихи... Он предложил заменить слово «сожженная» более пристойным «сгоревшая»... «Пусть думают, что у меня был пожар», — сказала Ахматова и собственной рукой заменила эпитет. Будущий редактор-буквоед, болван по природе, узаконит эту поправку, поскольку она нанесена на текст. Он увидит в ней авторскую волю.

После Двадцатого съезда Ахматова принялась восстанавливать сожженные стихи. Память уже начала сдавать, и многое она позабыла. Кое-что помнили друзья, и ей дарили ее собственные стихи. Потеряно сравнительно немного: первая строфа «Боярыни Морозовой» (рукопись была отдана на хранение литературоведу Макогоненко, но он это начисто отрицает), кусок «Поэмы», где она, прилетев в Москву, говорит несколько жестких слов про вдовствующую столицу, точный текст «Какая есть, желаю вам другую» (в сохранившемся есть путаница с рифмами, неизвестно как возникшая), строфа в стихотворении о «деловитой парижанке»... Вряд ли это все потери, но других мы вроде не помнили.

Стихи восстанавливаются легче прозы. Еще при жизни Мандельштама я уничтожила первую главку «Четвертой прозы», не догадавшись выучить ее наизусть («Разговор о Данте» я весь помнила наизусть). Теперь ее не восстановить. Я помню только две фразы: «Кому нужен этот социализм, залапанный...» Дальше шли эпитеты. И вторую: «Если бы граждане задумали построить Ренессанс, что бы у них вышло? В лучшем случае кафе «Ренессанс»«. Жалко было уничтожать главку, но за такую скоморошину нас бы уничтожили вместе со всеми, кто хоть когда-либо кивнул нам головой. И Мандельштам огорчился, но признал, что нельзя рисковать.

И Мандельштам, и Ахматова мало заботились о сохранности рукописей, но по разным причинам. Он верил в людей, которые сохраняют то, что им нужно, она боялась упоминания о смерти: «Чего вы меня торопите — я еще жива». По сути своей она была язычницей, и ее прекрасная языческая порода бунтовала против смерти. В последнюю нашу встречу, за два-три дня до ее смерти, она со вздохом сказала: «Живут же люди до девяноста лет, а мне, видно, не придется...» Но приближения смерти она все же не чувствовала: только что она вышла из смертельной опасности и, вернувшись к жизни, не хотела ее покидать. Если б Ольшевская, жена Ардова, не потащила ее в дальний санаторий (для инсультников, куда нужно было ехать Ольшевской, а не Ахматовой) с тяжелой дорогой: испортилось такси, и они долго простояли на шоссе, перелавливая машину, — она бы несомненно еще пожила. Да еще перед отъездом она провела утомительный день: Аня Каминская, дочь Ирины Пуниной, заставила ее пойти в сберкассу, чтобы взять денег «для мамы». Свою сотню, полученную от Ахматовой, она «маме» дать отказалась — маленькая хищница клевала по зернышку. Меня в последний вечер она не пустила к Ахматовой: «Они говорят о Леве, и Акума огорчается...» (Пунин привез из Японии слово «акума»; по его словам, оно значило «ведьма», и оно стало прозвищем Ахматовой в семье). Аня участвовала в похищении архива наравне с матерью. У обеих была присказка: «Акума ела наш хлеб». Это означало, что, живя с Пуниным, Ахматова кормилась за общим столом. Мораль проста: нельзя идти на дикие сочетания — живя с чужим мужем, не следует селиться в одной квартире с брошенной женой. Против чужих мужей я не имею ничего — такое случается на каждом шагу, следовательно, это в порядке вещей. Ведь Ахматова отлично сказала про себя: «Чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Худо, что они очутились вместе «под крышей Фонтанного Дома». Идиллия была придумана Пуниным, чтобы Ахматовой не пришлось хозяйничать, а ему не надрываться, добывая деньги на два дома. К тому же жилищный кризис осложнял все разводы и любовные дела. Идиллия не состоялась — разводиться надо до конца. Вероятно, и отношения с Луниным сложились бы гораздо лучше и проще, если бы не общая квартира. Главное в жизни советского гражданина — кусочек жилплощади. Недаром за жилплощадь совершалось столько преступлений. Хоть бы мне умереть на собственной — кооперативной и любимой —

жилплощади! Такова моя последняя мечта, и я боюсь, что она не осуществится...

IV. Сон во сне

Восстановить «Пролог» Ахматовой не удалось. Она принялась за это дело по возвращении Левы из лагеря, но никто не мог ей помочь. Слушатели позабыли не только острые реплики, но даже содержание, и она напрасно умоляла хоть что-нибудь припомнить, чтобы дать толчок ее памяти. Ахматова осталась ни с чем, но успокоиться на этом не могла. Ей захотелось заново написать нечто подобное, но к этому времени она вошла в период примиренной старости и трагическим для нее оказались не наши земные дела преследование за мысль и слово, двуязычие, разделенность людей и взаимное непонимание, — а «бег времени», естественный ход вещей, наш путь от рождения к смерти. Тогда же возникло четверостишие: «Что войны, что чума? Конец им виден скорый. Их приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен...» Я была бы рада умереть с верой, что с войнами покончено, но такого оптимизма у меня нет. Второму «Прологу» я не сочувствовала: для меня искажение жизни гораздо страшнее смерти. Видно, вместе с Мандельштамом я привыкала к мысли о смерти и с улыбкой повторяю строчки из почти детских стихов: «Когда б не смерть, так никогда бы мне не узнать, что я живу...» Смерть — структурное начало («Ткани нашего мира обновляются смертью»). Жизнь, как и история, не вечный круговорот, а путь. Сама тема второго «Пролога» или «Сна во сне» для меня неприемлема.

Быть может, я была несправедлива, но я с самого начала только мотала головой, как Ахматова ни уговаривала меня подумать и еще посмотреть. «Сон во сне» остался незаконченным. От всей затеи — крошечный остаток: несколько стихотворных отрывков и роскошная планировка сцены. Пастернак задумал в старости написать традиционную мелодраму, чтобы быть как все, Ахматова прельстилась модной драматургией с небольшой, примитивно мистической приправой. Оба они всегда были чужды театру, и внезапная тяга к подмосткам кажется мне данью старческой слабости. Я убеждена, что ни Пастернак, ни Ахматова не видели маленького ящичка, где ходят смешные человечки (по-моему, рассказ об ящичке — лучшее, что сказал Булгаков). Видеть сцену и слышать голоса актеров — необходимая предпосылка для сочинения театрализованных вещей. Маленький ташкентский «Пролог» по форме напоминал интермедию, и в ней Ахматова видела каждую деталь: писателей, судей, секретаршу, рыбьи головы и хвосты, телефонные аппараты разного назначения. Она сама играла в «Прологе», и ночная рубашка из дерюги лежала у нее в чемодане. Я не уверена, что автор должен сам играть в пьесе, но для Ахматовой — по свойствам ее психики — это обязательно.

Чтобы восстановить старый «Пролог», потребовалось бы многое: изоляция и нищета довоенной эпохи и военные пайки вместе с голодом и лестницей балаханы. Второй «Пролог» сочинялся в тот краткий момент, когда жизнь успела улыбнуться, и Ахматова, вспоминая прошлое, подсчитывала, чего она лишилась и недобрала за свой век, потому что жестокая эпоха повернула реку в другое русло. Лейтмотив нового «Пролога» — «сколько я друзей своих ни разу в жизни не встречала». Подведение итогов и предъявление счета эпохе само по себе вполне оправданно, но оно подано в оболочке туманных разговоров и страстей душ, которые не встретились на этой земле. В печать попал один коротенький диалог «Он — Она», и к нему Ахматова пристегнула несколько отдельно существовавших стихотворений: «Третий голос», «Слышно издалека...» и «Песенка слепого». Названия даны по случаю присоединения к «трагедии».

Впервые тема «невстречи» появилась в стихах, связанных со случайной встречей и круто оборванной дружбой с иноземцем. В «Чинкве», пяти стихотворениях о встрече, написанных почти сразу после разлуки, острое чувство торжества и катастрофы: Ахматовой привелось встретиться с одним из тех, с кем ей было не суждено увидеться. Это была запретная радость и «нашей встречи горчайший день». Иноземец, говорят, советовался, не повредит ли он своим визитом Ахматовой. Решили, что вреда не будет, — ведь она не инженер. Никаких технических тайн выдать не может (они не знали, что у нас тайна все — даже как мы дышим). Как будто встреча с иностранцем была одним из козырных доводов в пользу постановления. Отдаленным следствием явился и новый арест, и лагерный срок сына. Ахматова имела право сказать: «Но мы с ним такое заслужим, что смутится двадцатый век...» В Москве через несколько лет Ахматова отказалась от новой встречи, предложенной через Пастернака, и в стихах появилась тема «несостоявшейся встречи», «невстречи»: «Мне с тобой на свете встречи нет» и «...таинственной невстречи пустынны торжества, несказанные речи, безмолвные слова». Под конец жизни встреча все же состоялась, но слишком поздно — за несколько месяцев до смерти с усталой женщиной в чужой стране.

Причина «невстречи» была осязательно реальна: искусственная преграда, воздвигнутая между двумя мирами, глухая стена, непроходимый ров... Люди, которые имели что сказать друг другу, оказались абсолютно разъединенными в пространстве. Слова действительно не воплотились. Во втором «Прологе» причина «невстречи» — время: души потенциальных возлюбленных разобщены во времени, не могут сойтись и найти друг друга. Это не горестные поиски возлюбленной, основанные на вере в бессмертие и на невозможности представить себе будущую жизнь, как у Жуковского: «...и надеждой обольщенный, их блаженства пролетая, кличет там он: Изолина! И спокойно раздается: Изолина! Изолина! Там, в блаженствах безответных...» Это дивные строчки и чувство, глубоко коренящееся в человеческой душе. У Ахматовой же романтизованная, но вполне земная страсть «гостя из будущего», который не смог пасть перед ней на колени. В напечатанном отрывке «он» и «она» вроде как на земле не встретились: «он» пришел в ее сон, а «она» за порогом жизни томит его страстью, спастись от которой можно, только убив ее. Было еще несколько отрывков, в которых «он» успел в какой-то прошлой жизни поднести ей чашу с ядом, и за это они осуждены порознь приходить на землю, не встречаясь, но томясь и тоскуя друг по другу. Все вместе с чашей и обещанием: «Я убью тебя моею песней, кровь твою на землю не пролив» — романтическая канитель с подозрительной вечностью в виде круговоротов и бесцельных возвращений на эту землю для страстей и тоски.

Сила Ахматовой в точности деталей и скупости слов. Строчки у нее часто звучат как жестко отточенные формулы. Такова из последних вещей «Родная земля». В «Полночных стихах» и во втором «Прологе» эти свойства изменили Ахматовой, и задание, с моей точки зрения, было ложным: нам ли — прожившим такую страшную жизнь — тешить себя «невстречей» во времени, тосковать по любовникам, с которыми мы не жили, искать возлюбленных среди потомков и предков, когда на наших глазах уничтожили наших современников? «Невстреча» в пространстве настолько ощутимее «невстречи» во времени и выдуманных трагедий, причиной которых является «бег времени», что я с горечью слушала эти стихи и напоминала Ахматовой, как она в зрелые годы скептически относилась к поздним страстям и смеялась над женщинами, не умевшими вовремя поставить точку. Мне жалко только «желтой звезды» из напечатанного отрывка — она могла развиться в биографически обоснованную тему, а не быть украшением героини, внушающей страсть не читателю, найденному в потомстве, а влюбленному, томящемуся по женщине, некогда гостившей на этой земле. Мандельштам резко отрицательно относился ко всякой выдумке и фантазии и считал их болезнью и гибелью поэзии. Я и в этом следую за ним.

Мне думается, что кое-какая реальная почва все же у Ахматовой имелась — в старости мы внезапно очутились не среди детей, но внуков. «Друзья последнего призыва» пришли слишком поздно, а не в годы ужаса, когда мы, отверженные с желтой повязкой, так нуждались в «дружеском рукопожатии в минуту опасности»... Ахматовой казалось, что произошла нелепая неувязка и новые друзья просто опоздали родиться. Ахматова думала, что, родись они на полстолетия раньше, мы не испытали бы того одиночества и непонимания, в котором прожили жизнь. К теории «опоздания» я относилась скептически, и это вызывало бурные споры. По-моему, если бы люди, окружавшие Ахматову в старости, были взрослыми в двадцатые, тридцатые и сороковые годы, им бы в голову не пришло навестить опальных поэтов. В лучшем случае они отсиживались бы на скромных инженерских службах, но больше шансов, что они выступали бы с докладами об искоренении порочных тенденций в советской литературе. Они могли погибнуть в лагере или сгнить в канцеляриях великодержавных учреждений Союза писателей или издательств. В наших поколениях мы знали людей покрепче «друзей последнего призыва», но эпоха заглушила в них мысли, и одни скурвились, а другие отправились этапом на Колыму. Лучше ли наши молодые современники, чем те — наши ровесники? Когда-то Ахматова сказала: «За меня не будете в ответе — можете, друзья, спокойно спать. Сила — право, только ваши дети за меня вас будут проклинать». Дети были заодно с отцами, они и не подумали укорять их в чем-либо. Время изменилось, и внуки вроде как недовольны папашами и дедушками. Самым главным я считаю, что эпоха стала мягче и не уничтожает поголовно всех «рано проснувшихся». Внуки же принадлежат к «непуганым», и я им не очень-то верю. Кто их знает, как они поведут себя в настоящих испытаниях.

Более существенным я считаю, что сейчас не так-то легко стало вербовать «человека с ружьем». Я убедилась в этом почти случайно. На загородной даче у моих приятелей служила домработница, у которой не все были дома, а при ней жил сын, полуидиот с застывшим и страшным лицом. Домработница жаловалась, что в деревне у нее развалился дом, советовалась, как бы ей получше устроиться, но наотрез отказывалась от всех служб в городке, где мы жили, а ей предлагали хорошие — с квартирой и с возможностью пополнять бюджет воровством. Но она отмахивалась: имея молодого сына, надо устраиваться в Москве. Мы наивно смеялись: кому нужен дурень, который оживляется только от шкалика. Права оказалась она — сынка взяли в военизированную охрану, отвели площадь и прописали вместе с матерью в самом запретном городе мира. Видно, есть острый дефицит на тех, кто хочет стрелять в себе подобных, раз на такую должность пришлось взять кретина. Но страна огромна, и кретинов в ней хватит, чтобы стрелять и расстреливать, если понадобится. Весь вопрос в том, исчерпана ли жажда крови и не вспыхнет ли она опять.

Мы с Ахматовой поменялись ролями. Во второй половине пятидесятых годов я отличалась оптимизмом: «Раз началось, уже не остановить...» Ахматова же твердила про цезарей, из которых один был добрым, другой — злым. В этой формуле заключена важная мысль: в распадающемся обществе жизнь неустойчива, и ничего предвидеть нельзя. При медленном разложении обнаруживаются то рыхлые слои, грозящие обвалом, то более твердые. Если слой рыхлый, репрессии увеличиваются, потому что зажим характерен для периодов, когда общественное сознание в упадке, в бреду, в агонии. Любители железобетонных режимов не понимают, что устойчивость и дееспособность общества находятся не в прямой, а в обратной пропорции к усилению диктаторских тенденций власти, а единомыслие — признак омертвения, а не жизни. Поэт Тихонов, говорят, плачется, что при Сталине было больше порядка, а сегодняшние националисты, мнящие себя потомками славянофилов, мечтают о недавнем прошлом (маршировка, постановления, единомыслие) плюс националистическая идейка. Это показывает, что они и не нюхали Хомякова и славянофилов, которые отлично знали, что движущая сила — общество, а не государство, которому следует только осторожно поддерживать порядок и не душить общество. Государство, по Хомякову, только обод бочки, а не железный ободок, которым проломили череп Тициану Табидзе. Я боюсь руситов, которые вытащат железный ободок, чтобы покрепче закрутить его на голове внуков.

Доживая жизнь при добром цезаре, Ахматова воспрянула духом. Она обрадовалась взрыву интереса к поэзии и сочла его особым качеством «внуков»... Вот тут-то она пожалела, что они не родились раньше и не утешили ее в годы бедствий. Отсюда появился новый «Пролог» с жалобами о «невстрече» во времени. Она прельстилась наивно-формальными вещами и много занималась разработкой сценической площадки, где надлежало бродить тоскующим душам (сцена на сцене, оркестр над сценой, площадки на разных уровнях и даже вынесенные в зал). Но она недолго блуждала по своим театрально-небесным мирам. Зоркая и на старости, она просмотрела две-три западные пьесы и сообразила, что все ее выдумки уже давно придуманы другими. Я знала, что их уже изобрели в двадцатые годы. Тут-то она и бросила свою пьесу и сказала мне, что уничтожила все куски. Я этому не очень верю — в бумагах у нее царил такой беспорядок, что многое, конечно, сохранится. Там, может, обнаружатся интересные стихотворные отрывки. На большее я не надеюсь.

Первый «Пролог» — невозвратимая утрата, второй — дань самоуспокоенной старости в эпоху доброго цезаря, когда Ахматова искала внепространственных бед и страстей, хотя нам вполне хватало посюсторонних несчастий. Я ими сыта по горло. И мне не хочется смотреть, как обезумеют со страха внуки, когда завинтят очередные гайки.

V. Бытовые детали

Я прочла постановление о «Звезде» и «Ленинграде» в Москве, только что вернувшись из Ленинграда, где я с недельку гостила у Ахматовой. Значит, пока мы были вместе и радовались встрече, оно сочинялось, обрабатывалось и обсуждалось. Писатели-невидимки поработали на славу... Перед нами в те дни отчетливо мерцали знаки немилости, но мы, привычные, встречали их с полным равнодушием, хотя по спине у нас пробегал непроизвольный холодок. Мы скрывали и этот холодок, и приступы тошноты. Пожав плечами или переглянувшись, мы делали вид, что «никакой неловкости не произошло», и продолжали разговаривать о своем. Когда-то старый параличный актер, к которому Ахматова зашла с чьим-то поручением, кивнул ей головой и, поморщившись, сказал: «Совершенно неинтересное знакомство...» Ахматова пожаловалась на такую встречу Мандельштаму, а он откомментировал: «И никакой неловкости не произошло». Мы запомнили это «мо» и часто употребляли в самых неподходящих случаях. Подходило ли это элегантное выражение к нашей прелестной повседневности?

Первый знак немилости: два мордатых парня или один парень с мордатой девкой выросли у ворот шереметевского дома на Фонтанке. На Фонтанку выходит широкий двор, обнесенный отличной решеткой. Особняк стоит в глубине двора. Фасадом он обращен на Фонтанку, а с тылу разбит сад, с трех сторон обнесенный трехэтажными домами. В сад попадают через особняк — прямо против парадного пробита дверь. Когда выйдешь в сад, то дом, в котором жила Ахматова, находится с правой стороны. По внутреннему двору или саду Ахматова когда-то гуляла с Тапом, большим сенбернаром, подкинутым ей Шилейкой. Петербург в начале революции был полон бродячих собак самых чудных кровей. Хозяева, удирая за границу, поручали собак преданным слугам, но в голод те повыгоняли их прочь. Шилейко подобрал сенбернара больного, голодного и несчастного, а в Москву с собой не взял, так что Тапка, безукоризненно воспитанный и благородный, остался в сложном семействе Пуниных, где ему жилось, пожалуй, лучше, чем всем остальным. Когда его не стало, а он был стар и это случилось скоро, Ахматова больше в саду не гуляла. Ее тянуло на улицу. Про сад мне запомнилась милая, не имеющая никакого отношения к повествованию сценка. Мы стояли втроем плюс Тап, как вдруг Мандельштам обомлел от восторга: мимо нас пробежало несколько девочек, гуськом, друг за другом; они вообразили себя лошадьми, и передовая «лошадка» остановилась и сердито спросила: «Где предыдущий лошаденок?» «Предыдущему лошаденку» с косичками надоело бить копытами, и он сбежал... Я схватила за руку Мандельштама, чтобы он не запросился в вожаки и передовики к малышкам. Ахматова тоже почуяла опасность и сказала Мандельштаму: «Не убегайте от нас — вы наш предыдущий лошаденок», и мы пошли пить чай к Пуниным. Было это тысячу лет назад, задолго до того, как мы потеряли предыдущего лошаденка.

В 46 году мы с Ахматовой были еще сильными и крепкими и много ходили по городу, без Тапа и лошаденка. Каждая прогулка начиналась с того, что, завидев нас, парочка, топтавшаяся у ворот, начинала прощаться. Однополые мордатые ограничивались рукопожатием, а в случае разнополости они целовали друг друга в толстые морды, пока мы, выйдя из особняка, пересекали двор. Долгое рукопожатие или поцелуй кончались в тот момент, когда мы выходили из ворот и ступали на Фонтанку. Тогда-то один из парней, отцепившись от своего мужского или женского двойника, направлялся вслед за нами. У этих людей не было лиц, а морды, хари или блины, запомнить которые мы неоднократно пробовали, но всегда безуспешно. Нас интересовало, нет ли в этом деле обезлички, то есть прикрепляют к нам случайных мордатых или постоянных, уже специализировавшихся на нас и изучивших наши маршруты, как машинистов или шоферов к паровозам и машинам. Мы считали, что топтунов следует закреплять за объектами. Мы звали их не топтунами, а Васями, хотя жалко тратить на них такое славное имя. Одевались они вполне прилично, и пальто носили одинаковые, но отнюдь не гороховые и не коверкотовые, как ответственные люди, приезжающие по ночам, а грубоватые — наподобие молодых рабочих. Я рвалась поговорить с каким-нибудь из «Васей», но Ахматова мне не давала. По ее теории, надо было делать вид, будто не замечаешь спутника, иначе высокое учреждение обидится и уничтожит нас — мы не смели проникать в его тайны, то есть в явный и грубый надзор...

Избавиться от охраны мы не пытались и шли куда придется в своем неторопливом темпе, а мордатый лениво топал за нами. Такому типу, раскормленному на госхарчах, больше подошла бы должность легендарного скорохода, чтобы не приноравливать походку к нашей, но по долгу службы и согласно инструкции они нас никогда не перегоняли. Мы заходили в магазины, а за нами наш топтун, мы стояли в очереди и что-то покупали, они же никогда не приближались ни к прилавкам, ни к кассам. Они кормились пайками, а продукты в благородных пайках несравненно лучше, чем в магазинах. Недавно одна моя знакомая лежала в больнице в одной палате с приличной дамой, обеспеченной «кульком». В такую палату моя знакомая попала по блату, а «кулечницы» — по заслугам. Одна из них жаловалась, что заболела, потому что поела «городской колбасы». Топтуны тоже не нуждались в «городской колбасе», от которой у них мог заболеть живот. Они поджидали нас у входа иногда даже на улице, потому что знали, что у нас нет привычки удирать через служебный ход. Случалось, что мы заглядывали в гости, а топтун ждал нас на улице. Иногда он сменялся парным, совершенно неотличимым и столь же преданным. Нас никогда не покидали на полпути и всегда доставляли домой в целости и сохранности. «Нас берегут, — говорила Ахматова, — ни один хулиган к нам не прицепится. Полная гарантия...» Под конец жизни ей иногда тоже мерещились топтуны, но они исчезли. Кто-то, вероятно Ардов или его посетители, пробовал внушить Ахматовой, что топтуны ей мерещатся, а если они действительно есть, то ее просто охраняют, чтобы чужие и страшные разведки не похитили дароносительницу. Это, конечно, лестно, но она не клюнула: «Вы подумайте, что они говорят...»

Мы так привыкли к мордатым, что успешно учились искусству не замечать их преданной походки. Я гостила у Ахматовой больше двух недель, а гулять мы ходили часто — два-три раза в день. Срок достаточный, чтобы освоиться с провожатым. Ахматова привыкала к ним подольше — на этот раз они торчали к моему приезду около полутора месяцев, а в прежние годы то возникали, то пропадали. Проводы были повышением в ранге. До этого не провожали, а только стояли у ворот и отмечали выходы и возвращения. Таких даже трудно приписать себе — кто его знает, кого они стерегут...

Однажды вечером мы возвращались домой, и в вестибюле особняка вышла заминка: дверь во внутренний двор оказалась запертой. Дверь эту никогда ни днем, ни ночью — не запирали, и только ворота стояли ночью на замке. Вся усадьба принадлежала «Североморпути» и была обеспечена охраной. У выхода во двор всегда сидел дежурный за маленьким столиком. На вопрос, что случилось, он брякнул какую-то несусветную чушь. Мы с трудом выудили признание, что ключ потерян. Еще несколько минут препирательств, и дежурный отправился «искать ключ». Мы стоя ждали и кипели от бешенства. Я и сейчас помню прилив злости от этой бессмысленной задержки — такое кипение дает не простое бешенство, а холодное, от которого пересыхает в глотке и бледнеет лицо, а у Ахматовой еще меняется голос. У слабых людей голос от раздражения принимает более высокую тональность, у сильных — Ахматова принадлежала к их числу тон снижается и звук получается великолепный.

Дежурный вернулся: «Ищут», потом опять исчез и наконец, продержав нас минут пятнадцать под паром, вынул из кармана ключ и распахнул дверь. Мы пошли по узенькому тротуару вдоль особняка — направо от выхода, как нам и полагалось. Как мы не догадались повернуть налево, чтобы доставить хоть каплю неприятностей поганым халтурщикам! На каком-то шагу нам навстречу из окна первого этажа вспыхнул такой белый и яркий свет, что я невольно закрыла глаза. Мы шли не останавливаясь, а Ахматова спокойно прокомментировала: «Магний». Я по природе медлительна и недогадлива, и мой мозг сработал с непристойным опозданием. Услыхав знакомое слово «магний», я спросила: «Зачем?» — и Ахматова долго надо мной издевалась. Очевидно, оболтусам приказали сфотографировать нас, чтобы узнать, кто приехал к Ахматовой — будущей государственной преступнице, потому что литература — дело государственной важности. Исполнители велели продержать нас, но, заболтавшись, не успели подготовиться к съемке. Может, они были разнополые и упражнялись в казенных поцелуях. Так разъяснилась история с «потерянным» ключом и нелепым ожиданием в вестибюле. Карточек нам не прислали, а техникой, по-моему, пользовались допотопной: неужели во второй половине сороковых годов еще надо было снимать с магнием?

В период перед постановлением Ахматова научилась не разговаривать в своей комнате. Подвела та же допотопная техника: не умели аккуратно просверливать дырочки в стенах и в потолках. Подслушивающие аппараты демонтировали, говорят, в Германии, а вместо изящных и точных дырочек, какие делают сейчас, просверливали неуклюжие пробоины, причем на пол осыпалась кучка штукатурки. Ахматова берегла эту кучку и показывала всем приходящим. Не впустую ли шли эти траты? Зачем государству знать, что думает, о чем говорит и куда ходит одинокая старая женщина? Ее запугивали, ей грозили, за ней посылали топтунов, откормленных бездельников, окончательно разучившихся работать, а свои стихи она все же написала. Все расходы пошли в прорву, но мы так богаты, что можем себе позволить некоторые «излишества»... Другой вопрос, кому это нужно и как согласуется с «режимом экономии», о котором нам прожужжали уши?

В Москве постановление о ленинградских журналах произвело довольно большое впечатление. На него реагировали сильнее, чем на какие-либо зажимы в прежние годы. Люди после войны чуточку изменились — не очень, но все-таки... Я жила в ту пору в комнате брата — он с невесткой был на даче вместе с их друзьями, мужем и женой, мыкавшимися без площади. Жена принадлежала к интеллигентным москвичам-евреям — из того же круга, что Пастернак. Постановление она приняла точно так, как я, только без личного оттенка, так как с Ахматовой знакома не была. Муж ее был другой породы деревенский паренек, кончивший гимназию, прапорщик первой мировой войны, молниеносно перешедший на сторону красных. Для революции это очень типичная фигура. Он провел двадцатые годы на Кавказе и быстро поднимался по служебной лестнице вплоть до наркома одной из республик. Со своей женой он встретился на курорте и увел ее от вполне академического мужа. И брак был характерным для той эпохи — про женщин говорили, что они увлекались «хождением в народ». Почти сразу после женитьбы карьера моего приятеля круто оборвалась — его посадили, выгнали из партии и из служебного кабинета. Время было, по терминологии Ахматовой, вегетарианским, и, продержав с полгода в тюрьме, его выпустили на все четыре стороны. Обвинялся он в служебных преступлениях, которые нигде в мире преступлениями не считаются, — попросту завалил план и ничего в хозяйственных делах не понимал, как и все прочие. Скорее всего, его убрали, потому что он был помехой для ловкачей и мошенников. Люди его биографии всюду послетали со своих постов. Они отличались девственной наивностью и скрупулезной честностью, несли несусветную чушь и казались белыми воронами на фоне хищной и ловкой бюрократии нового типа. Этому прапорщику повезло: жена осталась с ним, он переменил профессию и поселился в Москве. Его забыли, как многих павших на заре дней, и жизнь потекла трудно, но благополучно.

Мы вместе прочли постановление о «Звезде» и «Ленинграде», и он не знал, что думать и говорить. Полгода в тюрьме его образумили, но жена и я были так взбешены очередной мерзостью, что он невольно заколебался и у него впервые закралось сомнение в непререкаемой правоте вышестоящих органов, но присоединиться к нам он все-таки не мог. Как мог он отказаться от авторитетов и тех идей, что сформировали его жизнь!.. (Свой арест он, вероятно, объяснял «ошибками на местах» или тем, что он действительно завалил план.) Ему оставалось только отшучиваться. Он говорил: «Я бюрократ. Я требую порядка — они порядок нарушали...» Или: «Все люди у нас заменимы — только один человек незаменим...» Это означало: уничтожат одного поэта, появится другой — раз есть свободная единица, всегда находится, кем ее заполнить. У него все строилось по аналогии с собственной судьбой — был шишкой, стал никем, а жизнь идет своим чередом. Я спокойно относилась к словам бюрократа, потому что всегда жалела прапорщиков революции. Они влипли в нечто совершенно для них непредставимое, соблазнившись пропагандой, которая велась на уровне прапорщиков. Это была трагедия полуобразования, а мой прапорщик-нарком отличался наивностью подростка, Коли Красоткина двадцатого века. Впоследствии я узнала, как он утратил детскую веру: это у него болел зуб, а Бог не исцелил его, хоть он и молился... Он не обиделся на начальников, которые не дали ему счастья: он знал, что счастье полагается завоевывать «своею собственной рукой», а она, как он неоднократно убеждался, была у него неловкая и неумелая. Он так и не сообразил, что все же в его жизни произошло настоящее чудо: ему не пришлось участвовать в событиях конца двадцатых и тридцатых годов — Бог спас.

Я смертельно боялась за судьбу Ахматовой: возьмут или не возьмут? Чуточку меня утешало только одно — кое-кто ходил хмурый и огорченный. Мне позвонил пьяный Олеша и долго плакался по телефону, что все до черта надоело. По дороге к Шкловским я встретила Пастернака. Мы юркнули в подворотню, чтобы прохожие не опознали нас. Ему не полагалось в такой момент разговаривать со мной, а район возле писательского дома был опасный — писатели там ходят кучками и поодиночке. В подворотне мы долго стояли на ветру и разговаривали. Пастернак спрашивал, можно ли жить, если они убьют и Ахматову. Второй вопрос: что для нее сделать?.. Я советовала съездить в Ленинград и зайти к ней: вам, вероятно, за это ничего не сделают, а она сейчас совершенно одна, хорошо бы с ней повидаться — только не звоните по телефону... Он сказал, что поедет, но не собрался, зато когда она появилась в Москве, он пришел и сунул ей под подушку тысячу, то есть нынешнюю сотню. Психологически та тысяча была дороже сотни — денег у людей не водилось и, хотя цены стояли высокие, потребности были еще ниже, чем сейчас.

Зощенко рассказывал, будто постановление появилось в результате доклада Жданова самому хозяину. Упор делался на вечер в Политехническом, где весь зал встал, когда на эстраду вышла Ахматова. Хозяин будто спросил: «Кто организовал вставание?» По-моему, это «цитатно», как говаривал Пастернак, то есть фраза из лексикона человека, которому ее приписывают. Разве хозяин мог представить себе, что кто-то завоевал популярность без помощи аппарата, специализировавшегося на «продвижении в массы» очередных идолов?.. Уничтожая главного конкурента, ему напоминали, что популярностью он обязан аппарату и потому не смеет самостоятельно ею пользоваться. Докладчик использовал казус Ахматовой, чтобы подсидеть своего конкурента, который дал разрешение на выпуск книги Ахматовой. Это была борьба наследников, а пострадали люди и книга Ахматовой, которая пошла под нож. Из всего тиража, уже сложенного в пачки, уцелело несколько экземпляров, украденных рабочими. Можно считать, что книга вышла в количестве двадцати экземпляров. Мы живем в стране неслыханно больших и неслыханно малых тиражей.

Про иноземного гостя Ахматовой распространили слух, что он-то и есть главный шпион, а ее обвиняли, что она ничего не поняла и распустила язык.

Ахматова рассказывала, как она похолодела от страшного предчувствия, когда началась овация... Зал утих, она долго искала очки, напялила их на нос и стала читать по бумажке глухо и небрежно, не глядя на аудиторию, чтобы не вызвать нового взрыва. Она не хотела заигрывать с толпой, которая забыла, в каком мире мы живем. На вечере был мой брат. По его словам, Ахматова выглядела совершенно спокойной, на овацию не обратила внимания и, торопливо прочтя стихи, ушла, не оглядываясь. Она притворилась не игуменьей, а рядовой монахиней, строго выполняющей устав монастыря. А на самом деле она была игуменьей, крутой и самовластной, в чересчур строгом монастыре, где каются во всех грехах, а иногда, вспомнив прошлое, предаются необузданному веселью. Мы создали такой монастырь для нас двоих, когда вместе жили на балахане в Ташкенте. Одна из комнат называлась трапезной. В ней не стояло ничего, кроме моей койки, некрашеного стола с двумя скамейками и глиняного таза для умывания на треугольной доске, прибитой в углу. Днем, как всякая игуменья, она занималась светскими делами, а ночь была отдана стихам, печали и смеху, когда мы вспоминали шутки ушедшего. Он жил с нами и никогда нас не покидал.

VI. Судилище

Мы ничего в жизни, кроме судилищ, не знали. Героиня «Пролога», которая стоит в одной рубашке перед столом судей и несет чушь, может служить эмблемой нашей эпохи. Судилище явное и судилище тайное — вот альфа и омега нашей жизни. За явным стояло тайное и бросало на него зловещую тень. Неужели мы никуда не уйдем от судилищ и эта форма дана нам навеки?

Что удивительного, что от тайных судилищ люди сходили с ума, если явные — демократические, на наш высокий лад, — так действовали на подсудимых, что они неделями ходили огорошенными и на все вопросы отвечали невпопад?.. В открытом судилище участвовали толпы, народные массы, призванные принять посильное участие в уничтожении подсудимого, который заранее был осужденным и только гадал, какой приговор для него заготовлен, согласован и уже лежит в кармане главного судьи. Приговор сочиняют в тайных дебрях, но оглашают за столом, покрытым зеленым сукном, выслушав предварительно «глас народа», словно собралось вече и начальники только оформляют «народную волю». Затем приговор передается в машинное бюро, и вывешивают его на доске приказов. Подсудимый, то есть осужденный, мечется, чтобы получить копию, а пока что списывает, стоя у доски, все грозные слова в свою записную книжку.

В прежние годы подсудимый только жалобно попискивал, прерываемый возгласами возмущенного народа, теперь ему дают слово и он иногда умудряется походя растоптать обвинителей и судей, но пользы — как с кота молока, потому что все предначертано. Оксман ведь парировал со свойственным ему блеском все обвинения, но от судьбы не ушел. Фрида Вигдорова открыла новую эру, записав судоговорение. Первый подлинный протокол произвел ошеломляющее впечатление. Даже дикая судьиха на процессе Бродского сообразила, что нельзя допускать протоколов, и запретила Фриде записывать, но слишком поздно — к концу заседания. Она не виновата, что не сразу приняла должные меры — ей не пришло в голову, что советский журналист, оплот начальников и судей, посмеет потащить свои записи без предварительной самоцензуры и цензуры по редакциям газет, а в редакциях, где так тщательно подбирают кадры, кто-то стащит листочки и пустит их в Самиздат, откуда они проскочат через границу — на страницы враждебной прессы. В течение десятков лет ничего подобного не случалось.

Фрида, седая девочка с большими серьезными глазами, верила в правду и входила в кабинеты начальников, чтобы объяснить им, ловкачам и циникам, что нельзя рубить сплеча и разыгрывать в зале суда комедии. Дело разбиралось не в столице, Бродского обвиняли не в политическом преступлении, а в тунеядстве, поэтому его продержали несколько лет на глухом болоте, а потом пустили обратно. Это была единственная победа общества над начальниками. Вторая победа — Жорес Медведев, вытащенный из сумасшедшего дома академиками. Бродский не представляет себе, как ему повезло. Он баловень судьбы, он не понимает этого и иногда тоскует. Пора понять, что человек, который ходит по улицам и запирает за собой двери, является помилованным и отпущенным на волю. Я, например, это понимаю: меня не убили, значит, я выиграла в лотерее кусок жизни и надо его получше использовать. Если в конце концов меня все же прикончат, я все же останусь в выигрыше, потому что получила «один добавочный день». Это и есть единственное счастье, доступное людям. Я не ждала счастья, но оказалась в счастливых.

Я служила почти двадцать лет, но с необычайной ловкостью, с сорока лет притворяясь старухой, избегала ходить на судилища. Ни разу в жизни я не слушала, как отмечают годовщину постановления о Зощенко и Ахматовой, и не сидела на собраниях, когда разоблачали еретиков и жидовствующих. В тридцать восьмом, когда я пошла служить, было сравнительное затишье, потом война и единенье народа, а то, что началось в Москве в конце сороковых, а в провинции в начале пятидесятых, я не видела, потому что первой в моем институте судили и выгнали меня. Мне случалось только наблюдать, как поносят студенток за половые недосмотры. При мне раз чистили двоих. Одна была обыкновенной проституткой, которая время от времени рожала (эпоха запрещения абортов), но потом не кормила, и ребенок умирал. Другая обыкновенная девочка, она сошлась со студентом, забеременела, родители поплакали и отделили молодым угол комнаты, огородив его занавеской. Обеих поносили одними словами, но с проституткой обращались мягче, считая ее страдающей матерью. В другом институте учили нравственности преподавателей, и всегда выступала девушка лет сорока пяти, преподававшая английскую грамматику. Она заканчивала каждую речь словами: «Я называю это развратом». В Чебоксарах по всем факультетам прошли экстренные собрания: студент не пожелал жениться на забеременевшей студентке. Он сомневался в том, что он виновник, но она на этом настаивала и грозила самоубийством. По этому поводу девочки публично разоблачали своих подруг и напоминали, что нельзя предаваться любви, не сходив до этого в загс. Они смело мазали друг другу ворота дегтем. В своих выступлениях они ссылались на комсорга, который все успел заранее с каждой проработать. Еще до меня доходили слухи о бесчисленных жалобах жен на мужей за то, что они с ними не спят. По слухам, один муж, вызванный в парторганизацию, оправдывался полной утратой потенции. Кое-где происходили драмы: суд не давал развода, а парторганизация вынуждала мужа прекратить незаконное сожительство и вернуться к опостылевшей жене. Пока в центре внимания стояли эти похабные бури, я знала, что могу спокойно спать. Они бушевали в промежутке между политическими кампаниями и означали в некотором роде передышку. Потом наступала тишина перед грозой — парторганизация готовила кампанию, шлифовала речи и выступления с мест. Шла тщательная режиссура предстоящего спектакля, в котором участвовал народ. Он не смел и не хотел безмолвствовать и радостно бежал на игрища. Они происходили в закрытых помещениях, а сборища иногда бывали многолюдными, а чаще — небольшими. Большое собрание чаще всего подводило итоги малых мистерий, разыгранных в отделах или на кафедрах. Вмешательство органов порядка было возможно, но необязательно. В конце сороковых и в начале пятидесятых годов все шло демократически — то есть снизу вверх. Я хочу вспомнить, как однажды народ восстал против меня и, разоблачив, выгнал к чертям собачьим. Все прошло как по маслу — под руководством философа, специалиста по Спинозе, носившего орден за раскулачивание.

Дело происходило в самом конце февраля или в начале марта 1953 года. В провинциальных городах был подан знак к облаве. Считалось, что она будет решающей и последней. К апрелю предлагалось «очистить» все учреждения, чтобы больше никогда не чистить. У нас нередко говорили, что народ принес «последнюю жертву», но жить после этого становилось не легче, а вот что чистка будет последней, заявили впервые. Это означало, что она примет огромные масштабы — ее планировали во всесоюзном масштабе. Шла обычная жизнь с обычными ночными обысками и арестами, ловлей «повторников» и прочими радостями. Люди трудились, затаив дыхание, и молчали как рыбы. Никто не знал, кого огреет обухом по голове, и поэтому я каждый вечер раздевалась и ложилась спать как ни в чем не бывало. Однажды меня вытащили из постели и ударили обухом по голове. Обушок, которым меня били, был легонький, и на такие удары жаловаться не следует. Я и не жалуюсь, а просто собираю фольклор.

Поздно вечером — я уже легла — ко мне постучались. Я не испугалась, потому что стук был обыкновенный, а не тот — особенный. Пришла ночная дежурная по студенческому общежитию, попросту — сторожиха, и сказала, что меня вызывают на экстренное заседание кафедры: звонили по телефону и прислали двух студентов, чтобы проводить меня. Я сказала, что обойдусь без провожатых — до института было рукой подать. Они все же дождались меня, когда я, преодолев искушение сказаться больной, оделась и вышла. Вечерняя смена давно кончила занятия, и раздевалки не работали. Я вошла в шубе в указанную моими провожатыми комнату —

это был кабинет иностранных языков, где хранились методические пособия, картинки и пластинки, но полностью отсутствовали книги, кроме самых наиновейших учебников. В старых обнаруживались идеологические ошибки, их «изымали», а иногда и сжигали. В кабинете в полном сборе сидели члены всех трех кафедр. Собравшиеся выглядели нарядно и празднично — сплошной крепдешин, как тогда полагалось советской женщине — от доярки до профессора. Видно, моих коллег предупредили о заседании, иначе они бы не успели сбегать домой и прихорошиться. Я удивилась, что собрание еще не началось, словно ждали только меня. Спросить, в чем дело, я не успела, потому что директор, никогда на заседания кафедр не приходивший, а теперь почему-то сидевший среди преподавателей, предложил начинать. Я так и не сняла шубу, когда услышала, что будет разбираться мое дело, и, почувствовав, что у меня слегка подкосились ноги, тяжело опустилась на услужливо подставленный мне стул. Его поставили поодаль — против всей массы преподавателей, сидевших вкупе на стульях и скамейках.

За председательским столиком очутился Глухов, секретарь парторганизации, он же — Спиноза. Я вспомнила ночную рубашку из «Пролога», но решила, что и шуба сойдет. Накинутая на плечо, она выделяла меня из крепдешиновой толпы. Ритуальные действия вызывают озноб, и шуба оказалась кстати.

Спиноза — в ордене по случаю торжества — открыл заседание. Первой он предоставил слово белозубой комсомолке, только что оставленной при кафедре. Мне приходилось гонять ее с экзаменов, но я не возражала, когда прошлой весной Спиноза предложил выдвинуть ее в преподаватели. Охранять кадры от стукачек у нас не полагалось. Белозубая говорила трогательно и задушевно. Первым делом она обвинила меня в сочинении закона Гримма и Раска, который я навязывала студентам. Преподаватели подтвердили, что ни о чем подобном они никогда не слышали, хотя кончили центральные вузы (он числился в программе, но его действительно никто не знал — марристы его отвергли). «Такого закона не преподавали даже в Сорбонне», — заявила заведующая кафедрой. Она была из институток и кончила курсы иностранных языков при Сорбонне. С начальством и органами порядка бывшая барынька ладила отлично.

Второе обвинение белозубой заключалось в том, что я преследую молодежь — на лекции по теоретической грамматике я сказала, что молодой английский джерунд вытесняет старый инфинитив. В этой фразе усмотрели намек на борьбу отцов и детей, немыслимую в стране социализма. Белозубая робко улыбалась и несмело оглядывала собрание. Скромность и робкие взгляды заменили нахальство и грубые выпады двадцатых годов. Кто-то, наверное, сказал, что девушке надо быть скромной и женственной.

Начались выступления с мест — подготовленные и спонтанные. Лаборантка с шестимесячной завивкой «перманент» сообщила, что я как-то села на подоконник, хотя все видели в фильмах, что люди сидят на стульях или в креслах. Они изучали «хорошие манеры» по фильмам, так же как любовь и честь. Только смех разрабатывался по примеру радиодикторш: заливистый с колокольчиками. Несколько поколений смеются этим подлым смехом и говорят с интонациями дикторш, фальшивее которых нет. Радиодикторши за рубежом повторяют эти интонации, считая, что это и есть русский язык. Когда-то была дискуссия, как вещать — по-яхонтовски или «с чувством». Победила актерская школа, и в голосе у дикторши звучит слеза, гнев и радость, как у ее ученицы — перманентной лаборантки.

Одна из кафедральных дамочек, кончивших наш институт, вздумала за меня заступиться. Она сказала, что я все же дала ей некоторые знания. На нее накинулись толпой с обвинением, что она оторвалась от масс. Ей пришлось отступиться. Она тоже изучала поведение киноактрис и носила чернобурку на одном плече. От нее я узнала, что все ждут выхода книги, уже подписанной к печати, о хороших манерах.

Директор института носил пенсне на черном шнурке и был удивительно похож на Чехова. Он гладил бородку и кивал головой, когда выступавшие наносили меткий удар. Для моего изгнания понадобились мощные силы — Чехов и Спиноза. Оба они переводили девичьи речи на государственный язык: пренебреженье гениальным учением Сталина о языке, протаскиванье марризма (закон Гримма и Раска), преследование прогрессивных молодых кадров и завышение оценок. Кафедра постановила снять меня с работы и дать неделю или две сроку, чтобы я «закруглилась», то есть быстро закончила лекционные курсы, главное, истории языков, которых они все боялись как огня.

Вся эта операция заняла несколько часов и проводилась с абсолютной серьезностью. Никто не улыбнулся, я не встретила ни одного сочувственного взгляда. Лица окаменели и выглядели тяжелыми и мрачными. Единственный человек, чувствовавший омерзительный комизм происходившего, была я сама, сидевшая в шубе, как Меншиков в ссылке. Клянусь, что меня выгоняли именно так и с такими обвинениями. Террор приводит к одичанию, и подобные сцены разыгрывались по всей стране.

Хорошо то, что хорошо кончается. Изгнание из вуза было первой ступенью. За ним должны были последовать другие мероприятия, запланированные в высших сферах. Они не осуществились, потому что умер один человек. Говорят, его могли спасти, если б взломали дверь в комнату, где он сидел запершись. Он внушал такой страх, что дверь взломали слишком поздно. О его смерти ходит много версий, но никто ими не интересуется, кроме последовательных сторонников террора. Я их не вижу и молю Бога послать мне избавление прежде, чем они войдут в мою комнату.

Я собирала и упаковывала вещи, когда ко мне ворвалась женщина с моей кафедры, сходившая с ума в ожидании такого же заседания в свою честь. Когда выгоняли меня, она лежала в больнице. Выросла она в Галиции, жадно читала советских писателей и верила каждому слову. Приехав в Ульяновск, она долго несла зарубежно-комсомольскую чушь, хотя уже испытала репрессии-минимум из первого вуза, где она работала, ее выгнали по пятому пункту. Она сочла это местной ошибкой, но, когда выяснилось, что пятый пункт стал центром внимания и на идиллию соцреализма полагаться нельзя, у нее вдруг открылись глаза. И сейчас — с порога — она крикнула: «Сталин умер!» Я похолодела и втащила ее в комнату. Пока диктатор жив, он бессмертен. Я подумала, что моя сослуживица окончательно сбрендила, а за такие слова нас могли обвинить в покушении на вождя и сгноить в лагере. Я включила радио и почувствовала неслыханную радость: это правда — бессмертный умер! Мне стало весело собирать шмотки, и впервые за много лет я по-новому увидела мир. На следующий день, когда я «закруглялась» со студентами (то есть просто несла какую-то канитель, лишь бы отбарабанить часы), нас сняли с занятий и отвели в конференц-зал, заполненный огромной рыдающей толпой. Дамочка в черно-бурой лисице сказала мне, что словно потеряла отца — такое у нее состояние. Спиноза сохранял бодрость и заявил, что Сталин умер, но дело его живет. Вскоре его хватил инсульт, он ослеп и помер. Две дочери, несомненно, продолжают его дело. Готова ли огромная страна, рыдавшая в марте 1953 года, продолжать дело хозяина? Старшие и руситы, по-моему, в любой день восстановят лагеря и пошлют туда теплушечные поезда с работниками, будущими доходягами. Молодые жаждут приятной жизни и равнодушно относятся ко всему, что не служит им на потребу.

Заседания кафедр наподобие описанного продолжались вплоть до снятия Берии. В институте, из которого выгнали меня, последним пал профессор Любищев, биолог, спрятавшийся в глушь от лысенковцев. Выгоняли не только тех, у кого был подозрительный пятый пункт, но заодно и всех, от кого хотелось освободиться. Образованные и знающие ощущались как бельмо на глазу, и на них бросались всей сворой. С Любищевым мы случайно встретились в одном институте, но слышали друг про друга давно. Тем не менее до смерти Сталина мы не решались открыто разговаривать на запретные темы. Максимум, что допускалось, это несколько фраз о значении в русской истории Иоанна Грозного. В марте 1953 года мы вдруг заговорили полным голосом, и жена Любищева в удивлении воскликнула: «Подумать только, как вы долго молчали!..» Кроме Любищева я разговорилась с дешевой швейкой, которая шила мне чудовищные платья. «А вы чего ревете? Вам он что?» Она объяснила, что при нем люди кое-как приспособились, а дальше — почем знать? — может, будет еще хуже... В этом был свой резон.

В последние дни я обращала внимание на то, кто здоровается со мной, а кто проходит мимо, не замечая. Поздоровался со мной — да еще на улице возле самого института — тот самый русачок, которого парторганизация вынуждала к выполнению «супружеских обязанностей». Ему удалось удрать от своей стервы в другой город, потому что при Хрущеве стало мягче и с «укреплением семьи». Ко мне заглянула сотрудница кафедры, кончавшая аспирантуру в Ленинграде. Муж у нее был с пятым пунктом и не мог устроиться даже в школе. Женщины, вышедшие замуж за евреев, тяжело переживали всю эту драму, но в остальном они были такими же дикарками, как все. Эта самая аспирантка успела чуть ли не после реабилитации врачей выгнать со скандалом врачиху из поликлиники, обвинив ее в покушении на жизнь сына. Подобные сцены разыгрывались на каждом шагу. Все бредили вредителями и врачами-убийцами.

В день, когда я уезжала и мои вещи грузили на машину, я заметила во дворе кучку народа. Оказалось, что двое с кафедры математики — муж с женой, — коротконогие евреи с кучей детей, только что горько оплакивавшие вождя, накануне ночью были сняты с работы на экстренном заседании кафедры. Оба они свято верили, чему их учили, и спокойно рожали детей, не сомневаясь, что их ждала счастливая жизнь... Не выдержав чистки, оба сошли с ума и, взявшись за руки, плясали и громко голосили во дворе. Студентам они доставили истинное удовольствие... Их увезли, как мне потом рассказал Любищев, в психиатрическую, они поправились, а осенью обоих вернули на работу. Оба они были выдвиженцами и впервые столкнулись с реальностью. Она, говорят, понимала математику, а муж, методист, был невежественным, как все методисты.

В Москве я узнала, что две ученые дамы, Ахманова и Левковская, закрыли в Институте языкознания ход моей диссертации. Они выступили на специально созванном заседании парторганизации, обвиняя меня одновременно в марризме и в потебнизме. Действовали они как Чехов и Спиноза. У Ахмановой был веский довод против меня — она сообщила, что я была замужем за проходимцем. Обе дамы принадлежали к активисткам всех политических кампаний: Жирмунский жаловался, что они непрерывно «пишут», и академик Виноградов покровительствовал обеим, особенно Ахмановой. Докторскую она защищала по русскому языку, потому что нигде, кроме секции, где царствовал Виноградов, ее бы не пропустили. Мне неясно, что такое Виноградов, — страх, что ли, превратил его в то, чем он стал, или мерзость коренилась в его природе. Он, по слухам, производил экспертизу по делу Синявского под условием, что его имя не будет оглашено.

Москву лихорадило. Я никогда не видела таких мрачных и безумных лиц, как в ту весну, что ознаменовалась ходынкой на похоронах вождя. На каждом шагу вспыхивали скандалы — в очередях, в автобусах, в учреждениях. В Институте языкознания, куда я зашла за отвергнутой диссертацией, секретарша директора, с виду приличная женщина, закатила истерику на весь коридор. Она кричала, что вредители отравили воду в графинах и все, кто пьет, заболевают. Меня задержали однажды на почте, потому что я отправляла с десяток заказных писем в институты, объявившие конкурс по моей специальности. Бдительная почтовая чиновница заподозрила меня в рассылке антисоветских материалов и потащила меня к начальнику почты. Приняла письма только после того, как я их распечатала и начальник убедился в невинности вложений. Всего я отправила около сотни заявлений и на все получила отказы.

К концу лета — после снятия Берии — коридоры Министерства просвещения заполнились толпой преподавателей, снятых с работы и добивавшихся нового назначения. Стульев и скамеек не хватало, и вся толпа переминалась с ноги на ногу. Время от времени кого-то вызывали в кабинет, и вызванный выходил с назначением. Отправляли на восток — в Восточную Сибирь и на Сахалин. Я получила назначение одной из последних, когда из моего бывшего института вернулась ревизорша, снявшая Чехова и сообщившая мне, что никак не могут разобраться с кучей доносов, но она постарается ускорить назначение. После этого в министерстве появились Любищев и Амусин, специалист по Кумрану. Они от профсоюза проверяли мою кафедру и были у меня на лекциях. Их заявление и усилия ревизорши подарили меня путевкой в Читу. Там мне сначала выдали подъемные, а потом отобрали:

министерство испугалось, что разорится, если оплатит проезд всем снятым с работы. Мы тоже были «перемещенными лицами».

В коридорах министерства я познакомилась с девицей по фамилии Благонадежная. Она чем-то походила на белозубую комсомолку, но вместо разоблачительной деятельности ей пришлось самой добиваться назначения в министерстве. Она показывала всем трудовую книжку, где ей непрерывно выражали благодарность, а потом вдруг сняли за полной непригодностью. С горя Благонадежная разбила очки, и осколок попал ей в глаз. Он снял с глаза катаракту, и она увидела, что творится на этой земле. Благонадежная заверила меня, что никогда не забудет толпу в министерстве. Как поведет она себя при следующей кампании против, скажем, читателей Самиздата? Предвидеть ничего нельзя, так как поступки Благонадежной, так же как и наша политика, отличаются полной непредсказуемостью.

VII. Единство потока

Мандельштам говорил, что Есенина сгубили, требуя с него поэму, «большую форму», и этим вызвали перенапряжение, неудовлетворенность, потому что он, лирик, не мог дать полноценной поэмы. Мандельштам проявил абсолютную устойчивость против всех видов современной ему гигантомании. Причину устойчивости я вижу в том, что он на собственном опыте познал подлинную «большую форму» в лирике, то есть книгу, являющую целостность и единство стихов, появившихся в один период. Взаимосцепление стихов, их разворот, единая лирическая мысль и единство мироощущения делают книгу особой формой, обладающей собственным сюжетом и своими закономерностями. Можно сознательно делать композицию книги, располагая стихи по плану, как поступали Анненский и Ахматова. Она даже объединяла группы стихов, разновременных, но связанных общей темой, под одним названием. Но я говорю не о привнесенной в книгу композиции, а об органическом единстве, которое дается общностью поэтического потока и его целостностью.

Настоящая книга разворачивается, как жизнь, во времени. Книга — это рост человека, углубление его связи с миром, но только на одном этапе, пока связующие нити остаются те же, что в начале. Каждое стихотворение раскрывает новую сторону или новый момент роста, и случайности в их последовательности быть не может, потому что рост не произвол, но органическое явление. Смены книг означают разные периоды в жизни поэта — в них обнажается структура его биографии и мышления. Это внутренняя динамика жизни — у одних сопряженная с внешними событиями, у других, например у Баратынского, обнажающая духовный рост. Есть темы, проходящие через всю жизнь поэта, но в разных книгах или на разных этапах они обернутся разными сторонами, потому что личность, единая и обладающая единой структурой, претерпевает на протяжении жизни ряд метаморфоз. Есть общее для всех движение от детства к старости, но каждый человек по-своему переживает эти этапы. Умение сохранить единство личности на всех этапах является своего рода победой над смертью, но хорошо, если при этом отдается должное всем возрастам и юное будет юным, а старое — старым.

В любом моменте роста есть свой одухотворенный смысл, и личность только в том случае обладает полнотой существования, когда расширяется на каждом этапе, исчерпывая все возможности, которые дает возраст. Великое счастье, если художник прошел все ступени, сохранив единство личности и не помешав ее росту, но такое дано не всем, вернее, почти никому. Иногда мешают внешние обстоятельства (Мандельштам утверждал, что это отговорка слабых, но «внешним обстоятельством» может быть и насильственная смерть), но чаще у художника не хватает внутренних сил, потому что они растрачиваются в пути. Хорошо, если поэт успевает выявиться в юности и в зрелые годы — ведь и это дано далеко не всем.

В газетной статье 22-го года, почти никому не известной, куски которой использованы в других статьях, Мандельштам приравнял отношение символистов к Западу к юношеской влюбленности и обмолвился несколькими словами о росте поэтической личности: «Вместо спокойного обладания сокровищами западной мысли... — юношеское увлечение, влюбленность, а главное — неизбежный спутник влюбленности — перерождение чувства личности, гипертрофия творческого «я», которое смешало свои границы с границами вновь открытого увлекательного мира, потеряло твердые очертания и уже не ощущает ни одной клетки как своей, пораженное водянкой мировых тем. При таком положении нарушается самый интересный процесс — рост поэтической личности: сразу взяли самую высокую напряженную ноту, оглушили сами себя, а не использовали голоса как органическую способность развития». (В 22 году Мандельштам, очевидно, еще не полностью осознал разницу между понятиями «рост» и «развитие».) Близкая мысль в стихах: «Не волноваться. Нетерпенье — роскошь, я постепенно скорость разовью...»

В «Камне» Мандельштам напечатал далеко не все стихи первого потока. Кое-что из них сохранилось в архиве. «Камень» — книга ранней юности, первого удивления и осмысления: «Неужели я настоящий и действительно смерть придет?» — вплоть до находки твердого ядра жизни и культуры. Принято было говорить, что молодой Мандельштам не эмоционален (судили люди, испорченные распущенностью и открытыми излияниями десятых годов), холоден, «классичен», что бы ни означало это нелепое слово. Мне думается, его просто плохо прочли (а кого хорошо прочли?) и не заметили юношеской тоски ранних стихов и особого звука в стихах последней трети, начиная с Иосифа, проданного в Египет. В «Камне» жизнь для Мандельштама еще случайность, боль, и он чужой между чужими — постепенно доискивается до ее смысла, который впервые открывается ему в смерти. В «Камне» уже появляется историософская тема как поиск твердого ядра в жизни общества. Для того периода основное начало церковь, причем католическая. Отсюда постоянное возвращение к Риму, которое он пронес через всю жизнь, сказав в одном из последних стихотворений: «Медленный Рим-человек». В зрелые годы ядром становится христианство и выросшая на христианских идеях европейская культура, жесточайший кризис которой мы так мучительно переживали. Архитектурная тема во всех книгах связана с задачей человека на земле — строить, оставить осязаемые следы своего существования, то есть побороть время и смерть.

Все книги, кроме двух первых изданий «Камня», собирались при мне, и я видела, как Мандельштам вынимал «из кладовой памяти» стихи, по тем или иным причинам не вошедшие в ранние книги. «Тристии» издавались без Мандельштама, и в них напечатана в произвольном порядке кучка стихов разного времени, которые должны занять свое место в настоящих книгах, как и все снятое цензурой. В третий «Камень» Мандельштам вернул несколько стихотворений, которые раньше оставались за бортом, например два стихотворения из римского цикла — «Пусть имена цветущих городов...» и «Природа тот же Рим...». Под одним он поставил дату, другое имеет внутреннюю датировку: строчка «Священники оправдывают войны» могла быть написана только в начале первой мировой войны. Вероятно, между этими двумя стихотворениями есть небольшой промежуток — они были начаты вместе, но закончены в разное время, когда Мандельштам уже начал отходить от римско-католической концепции и склоняться к православию. Сдвиг произошел под влиянием Каблукова, но намечался еще до встречи с ним. Впоследствии он будет говорить о христианстве в целом: «Я христианства пью холодный горный воздух».

Не знаю, не подвергались ли стихи, долго хранившиеся в памяти, каким-либо изменениям. Вспоминая стихи тридцатых годов, Мандельштам в Воронеже иногда нечаянно, иногда сознательно что-то менял, но память у него слегка ослабела и в ней не стало былой цепкости и точности. Память поэта всегда невероятно загружена — даже в тех случаях, когда он сразу записывает стихи и сохраняет черновики. До черновика, то есть до начала работы над уже становящимся, а может, почти ставшим стихотворением, есть длительный период накопления и подготовки, всегда происходящий только в уме и на бумагу не попадающий. Это накапливанье слов, словосочетаний, бродячих строчек и даже строф, в которых мысли еще нет, а есть только ядро мысли, а чаще — ее зачаток. Строки и строфы иногда входят во вновь возникающее стихотворение, иногда же они служат стимулом к появлению стихов. Сами по себе это только заготовки, и они могут жить годами, чтобы потом внезапно вынырнуть и соединиться с новым материалом. Поэт даже в периоды молчания и отдыха продолжает работать, потому что заготовки тоже работа.

Использование заготовок связано с их осмыслением. Они подвергаются воздействию как бы пучка лучей, который и есть поэтическая мысль. Пока то, что я сравниваю с пучком лучей, не вспыхнет, стихи не возникают и материал, то есть заготовки, погружен во тьму. Иногда они случайно попадают на бумагу, и можно проследить, как поэтическая мысль потом вырывает их из мрака, встряхивает и наделяет жизнью. В 1932 году я лежала в Боткинской больнице, и Мандельштам, навещая меня, почуял запах карболки. Это повлекло обострение обонятельных ощущений, и в записной книжке появились строчки о запахах. Записная книжка лежала в Москве в сундучке с черновиками «Путешествия в Армению», а Мандельштам жил в Воронеже, когда в 1936 году использовал заготовку с запахом карболки в стихотворении о собственной смерти в «бесполом пространстве». «Бесполый» для Мандельштама бесстрастный, равнодушный, не способный к нравственному суждению и выбору, лишенный жизни и смерти, а только пассивно существующий и самоуничтожающийся. В мире людей, «мужей», верных в дружбе и готовых «на рукопожатие в минуту опасности», и «жен», гадальщиц, плакальщиц, собирающих «легкий пепел» после гибели мужей, доброе и созидающее начало обладает полом, а мертвое, губительное оказывается бесполым («бесполая владеет вами злоба»). У Мандельштама была уверенность, что в близости двоих и в дружбе «мужей» (после Гумилева уже не было настоящего друга) — основа жизни, истоки добра и высшей просветляющей любви. Я думаю, что в двадцатых годах заглохла вера в церковное начало — после «Исаакия» он не возвращался к церкви, но успел сказать: «Сюда влачится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след» и назвал соборы: «Зернохранилища вселенского добра и риги Нового Завета» (1921). Отход от церкви, по-моему, объясняется не только общей глухотой тех лет, но и событиями в самой церкви, диспутами Луначарского и Введенского, пропагандой так называемой «живой церкви». Мы видели много тяжелого, и хотя Мандельштам знал, что священника не выбирают, как не выбирают отца, а то, что делается внутри ограды, не умаляет значения церкви, и, наконец, до нас доходили слухи о священниках в лагерях, об их мученичестве и героизме, — все же он не мог не заметить, как ослабела связующая сила церкви, тоже переживавшей тяжкий кризис наравне со всей страной. Все связи рухнули, и люди, «разбрызганы, разъяты», хватались за руки, по двое, по трое, крошечными объединениями, чтобы было на кого посмотреть в последнюю минуту. Но в эту самую последнюю минуту человек, погибавший от истощения в лагере, оставался безнадежно один, доходяга, уже не волочивший ног. Разве что врач из заключенных мог поймать последний осмысленный взгляд. Мне говорили, что врачи иногда сохраняли человечность и в том аду.

Миру людей у Мандельштама противостоит равнодушное, слепое небо, «сетка птичья» — «Кровь-строительница хлещет горлом из земных вещей... И с высокой сетки птичьей, от лазурных влажных глыб, льется, льется безразличье на смертельный твой ушиб». Безразличье — свойство мертвой, а потому бесполой природы.

Импульсом к стихотворению о гибели в «бесполом пространстве» («Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый...»), в котором осмыслился запах болезни и смерти — карболка, послужили похороны летчиков. Два стихотворения, связанных с похоронами, были первым подступом к «Стихам о неизвестном солдате», где речь идет уже не о соумирании, то есть об упражнении в смерти, о подготовке к ней, а о гибели «с гурьбой и гуртом», о том, что названо «оптовыми смертями», косившими людей в лагерях и на войнах двадцатого века.

Сопереживание смерти предшествует этой фазе «оптовых смертей» и характерно для зрелого Мандельштама. На сопереживании построен весь цикл Андрею Белому, в центре которого стоит стихотворение «10 января 1934 года», куда вошли элементы (заплачка) из давным-давно потерянного и забытого плача по святому Алексею. Даже забытые, эти строчки сохранялись в темной памяти и выплыли, когда на них попал луч поэтической мысли. Работа над циклом А. Белому продолжалась до лета 35 года, когда сочинялось стихотворение о летчиках и «Нет, не мигрень...». Только тогда Мандельштаму стала совершенно ясна тема соумирания, сочувствия смерти другого как подготовки к собственному концу. Вот тогда-то я и говорила ему: «Чего ты себя сам хоронишь?» — а он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит.

В стихотворении «10 января» никак не мог отстояться конец. От него сначала отслоились маленькое стихотворение об умирании («Он, кажется, дичился умиранья...») и три восьмистишия. Одно из них («Преодолев затверженность природы...») сразу было перенесено в восьмистишия, единственную группу стихов, где нарушен хронологический принцип, и не столько осколком из цикла Белому, который писался одновременно с восьмистишиями (неразумные редакторы не подозревают, сколько вещей может одновременно находиться в работе, не попадая на бумагу), сколько стишком «Шестого чувства крошечный придаток...», связанным с Ламарком. В Воронеже Мандельштам окончательно утвердил конец «10 января» с соучастием в смерти: «Как будто я повис на собственных ресницах и созревающий и тянущийся весь, доколе не сорвусь, разыгрываю в лицах единственное, что мы знаем днесь». До этого он подумывал о почти декоративной концовке о мастере, художнике и гравировальщике. Тогда-то возник вопрос, что делать с восьмистишиями и другими стихами, возникшими вокруг основного стихотворения. Они ни в коей мере не были вариантами, хотя и обладали общими строчками. Скорее, их следует назвать вариациями, а тема с вариациями такая же законная форма для поэзии, как для музыки, и недаром Пастернак так назвал одну из своих книг. Тем самым он обнажил характер поэтического труда, но никто не пожелал в это вникать. Композиторы сделали это гораздо раньше, но у музыки есть теория и контрапункт, поэтому в ней все происходит легче.

Мандельштам, обдумывая, что сделать с «темой и вариациями», попросил меня записать все как одно стихотворение (листок сохранился), но вскоре прервал запись — куски не срастались. Он сам разложил листочки — на каждом был записан один стишок — и вдруг сказал: «Да ведь это опять, как «Армения», — смотри...» Это значило, что семь стихотворений составляют цикл наподобие двенадцати, входящих в «Армению»... Последнее стихотворение «Откуда привезли? Кого? Который умер?..» не имеет конца. После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн — он, не замеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в Чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свечке. Прошло несколько лет, и она написала книгу, где учит современников Лермонтова, как следовало с ним обращаться, но почему-то про свой опыт со свечкой не упоминает. Ни я, ни Мандельштам не могли полностью припомнить сожженное лермонтоведкой стихотворение. Мандельштам все же определил ему место — оно последнее в цикле — и сказал: «Будем печатать, доделаю». Ему не пришлось ни доделывать, ни печатать.

Все стихи Белому — семь штук — я записала по порядку в «ватиканский список», как мы шутя называли тетрадочку, куда я записывала стихи 30—34 годов. Нам пришлось их восстанавливать, потому что после потрясений (обыск, арест, ссылка, болезни) многое выпало из памяти. Я привезла из Москвы спасенные рукописи — они во время обыска лежали в кастрюле на кухне и в серых ботиках. Как надо мной все смеялись, что я все прячу и раздаю на хранение! Не все хранители оказались грязными трусами и жуликами. Большинство честно хранило и спасло кучку рукописей.

В «ватиканский список» попала и «первая воронежская тетрадь»... Записывая цикл Белому, я спросила у Мандельштама, как быть с двумя восьмистишиями, у которых полностью совпадала вторая строфа. Он велел записать оба: это и есть вариации, а раз первые строфы имеют различия, значит, это два стихотворения. Точно так он отнесся к циклу «Кама», где решил печатать цензурный вариант на третьем месте — наравне с основными двумя, хотя они различались только последними строчками, а несколько позже, и, пожалуй, с большими основаниями, он применил тот же принцип к двум стихотворениям с одинаковым началом («Заблудился я в небе...»): «Надо печатать рядом, как два стихотворения — одна тема и два развития...» В цикле Белому два восьмистишия слишком близки друг к другу, и я боюсь, что Мандельштам не хотел расставаться со своим любимым числом семь и потому сохранил двух близнецов. Неизвестно, как бы он поступил, если бы дело дошло до печатания, но книги ни при его, ни при моей жизни не будет, и дело решат текстологи.

Справка для будущих текстологов: в «ватиканском списке» нет цикла Белому, потому что его вырезал и уничтожил Харджиев, первый «старатель», занимавшийся Мандельштамом. Мне пришлось дать ему рукописи, так как меня в Москву не пускали, а он делал книжку для «Библиотеки поэта», которая так и не вышла. Он использовал мое бесправное положение — я была чем-то вроде ссыльной, а ссыльных всегда грабят (только ли в России?), отнимают оставленные на хранение вещи, перехватывают наследства, выдают научные работы лагерников за свои, что у нас случалось особенно часто, особенно с диссертациями, когда за звания и степени стали много платить и защиты вошли в моду... Политические притеснения развращают всех, кто дышит отравленным воздухом. Харджиев к тому же человек больной, с большими физическими и психическими дефектами, но я поверила, что любовь к Мандельштаму и дружба со мной, а также трагичность этих чудом спасенных бумажек будут сдерживать его, но этого не случилось. Все же большую часть рукописей он вернул, кое-что придержал для «коллекции» и уничтожал то, где хотел изменить дату или навсегда утвердить не тот текст, который Мандельштам считал окончательным, как в случае «10 января». Он даже объяснял мне, что поэт часто не понимает, что у него хорошо, что плохо, и также, что надо будет «почистить архив», убрав записи с неугодными ему вариантами: «чтобы навсегда осталось, как я сделал...»

Виновата, конечно, я сама, раз доверила бумаги душевнобольному, но кто, кроме безумцев, занимается запрещенными поэтами? К тому же от Харджиева я пострадала меньше, чем от Рудакова, вдова которого не вернула ничего. Больше всего я пострадала от тех, кто убил Мандельштама, больше тридцати лет держит его под запретом, сорок лет (уже больше сорока) не допускает выхода книг и все эти годы гоняет меня из города в город. Лишь четыре года назад мне разрешили — по недосмотру, разумеется, — осесть в Москве и обрести кров. С них-то и надо спрашивать. Если б не они, и Харджиев, и Рудаков были бы чисты и благородны, а архив лежал бы нетронутым у меня в шкафу вместе с книгами, фотографиями, корректурами, копиями, записями голоса и всем, что причитается поэту в обыкновенном государстве, где правительство не покровительствует литературе.

Подобно тому как Мандельштам тщательно делал порядок в циклах, точно так он всегда сам составлял книги, точно определял место каждого стихотворения. Если он не помнил года (особенно в зимних стихах часто путается, до или после января написаны стихи), то всегда помнил, в какой последовательности появлялись стихи — одно за другим. В этой последовательности есть логика и закономерность, которую иногда, трудно выразить словами, но она существует вполне объективно. Я только видела, как возникают стихи, но точно помню порядок возникновения и понимаю их взаимосвязь. Забыть этого нельзя и свидетелю, тем более поэту, как немыслимо переставить одну из частей симфонии или сонаты.

Иногда стихотворение долго дозревало в уме, не записанное на бумагу. Мандельштам, когда я ставила нумерацию, порой говорил, чтобы я в определенном месте пропустила номер: «Там будет, но я прочту потом...» В иных случаях он не предупреждал меня, а просто вставлял «доспевшее» стихотворение на нужное место, так что мне приходилось менять нумерацию. Так было с «нищенкой», которую он почему-то долго прятал от меня. Может, его огорчало, что я нищенка? Все же нищенкой быть естественнее, чем богачкой, особенно в нашей стране, где благополучие почти всегда пахло кровью или предательством. К тому же нищие у нас все, кроме правителей и челяди, а я предпочитаю быть со всеми, чем ловить крохи с барского стола.

Я знаю лишь один случай, когда стихотворение, доделавшись и переосмыслившись, стало не на прежнее место, а в новый ряд. Я бы и не подозревала, что стихотворение «О, как мы любим лицемерить и забываем без труда то, что мы в детстве ближе к смерти, чем в наши зрелые года» выросло на основе старых стихов, не попавших при отборе в «Камень», если бы об этом не сказала Ахматова. У нее на стихи Мандельштама память была не хуже, чем на свои. Она сразу опознала источник и напомнила его Мандельштаму. Рукописи первоначального стихотворения нет — оно хранилось в памяти больше четверти века и в нужную минуту выплыло. Я не знаю первого стихотворения, но ясно, что тема зрелости, отдаляющей смерть, принадлежит тридцатым годам. В этих словах есть вызов тем, кто рыл яму Мандельштаму, — ведь он уже знал, что над ним нависла смертельная опасность и гибель не за горами. Она могла прийти в любой момент, и я вспоминаю дружеское предупреждение представителя «Известий» в Ленинграде. Мандельштам прочел ему «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...» и в ответ услышал: «Осторожнее, не то к вам ночью придут и натопают сапогами...»

Смысл стихотворения о смерти в детстве и в зрелые годы в том, что Мандельштам должен жить, игнорируя убийц, и довести свое дело до конца — увы, до конца ничего довести нельзя, потому что неизвестно, где он, — и он «один на всех путях». Этим стихотворением он открыл вторую тетрадь «Новых стихов». В ней политическая тема прикрыта, как в «Ламарке», например. Она прорвется во всей прямоте лишь после поездки в Крым, где мы насмотрелись на голодных беглецов с Украины и с Кубани.

В каждой книге — «Камень», «Тристии», «21—25 годы», «Новые стихи», «Воронежские тетради» — есть своя ведущая мысль, свой поэтический луч. Ранние стихи («Камень») — юношеская тревога и поиски места в жизни; «Тристии» — возмужание, предчувствие катастрофы, погибающая культура (Петербург) и поиски спасения («Исаакий»); оборванная и задушенная книга 21—25 годов — в чужом мире, усыхающий довесок; «Новые стихи» — утверждение самоценности жизни, отщепенство в мире, где отказались от прошлого и от всех ценностей, накопленных веками, новое понимание своего одиночества как противостояния злым силам; «Воронежские стихи» — жизнь принимается, как она есть, во всей ее суете и прелести, потому что это порог, конец, эпоха «оптовых смертей», «начало грозных дел». Уже назван «народов будущих Иуда». В последний год жизни были две стихотворные вспышки и кучка стихов, которые все пропали. В них иной взгляд на Россию, которая продолжает жить медлительной жизнью, вопреки всему и ничего не замечая. В погибших стихах страна противостоит губительным силам — своим молчанием и тишиной, своим пассивным сопротивлением, укладом, жертвенной готовностью к любым испытаниям. На него произвела впечатление «веером разложенная дранка непобедимых скатных крыш». Книга только начиналась, и, во что бы она развилась, гадать не приходится — она была круто оборвана. Это невероятно, что Мандельштам мог хоть немного работать в условиях проклятого последнего года. «Всегда успеем умереть», — утешал он меня. Я пережила тогда смерть и небытие, чтобы потом вступить в посмертное существование здесь — на той же самой земле.

Понимание «книги», периода, цикла как единого целого спасло Мандельштама от болезни времени, чего-то вроде кори или собачьей чумки, жажды «большой формы» в виде романа в прозе, а в поэзии — на худой конец поэмы, а в идеале — эпоса. «Большой формы» требовало государство, но не оно выдумало ее, а только приняло подсказку литературных кругов. Я знала выкормыша футуристов, толстое животное с подозрительными страстями, которое сейчас вещает в сферах Музея Маяковского. Выкормыш утверждает, что Хлебников выше Пушкина, потому что дал эпос, до которого Пушкину как до звезды небесной. Что он понимает под эпосом? Этого не понять, но ясно одно — эти несчастные теоретики не подозревают, что существует мысль, и не верят, что вся ценность поэзии именно в качестве поэтической мысли, в миропонимании поэта, а не во внешних признаках. Ведь гармония стихов лишь сконцентрированная сущность поэтической мысли, а то новое, что приносит поэт, вовсе не рваная строчка, не рифма, не «классицизм» или футуризм, а познание жизни и смерти, слияние жизненного пути и поэтического труда, игра Отца с детьми и поиски соотношения минуты с ходом исторического времени. Какова личность поэта, таков и поэтический труд. Какой дивный человек сказал, что творец всегда лучше творения?

Другой деятель футуристического толка, человек наивный и чистый, Сергеи Бобров, ругаясь, требовал Пушкина, непременно Пушкина, которого жаждал до слез. Что бы делал Пушкин в нашу эпоху? Что такое Пушкин после конца петербургского периода русской истории? Где место Пушкина в московском царстве советских вождей? Все же лучше тосковать по новому и несбыточному Пушкину, чем декретами отменять все виды искусства, как делал ЛЕФ, или распределять заказы на сочинение романов с заранее данным содержанием наподобие РАППа и Союза писателей.

В двадцатых годах все понемногу учили Мандельштама, в тридцатых на него показывали пальцами, а он жил, поплевывая, в окружении дикарей и делал свое дело. Его не влекла искусственная «большая форма». О ней он даже не задумывался, потому что знал, что есть «книга», «цикл», а иногда возникают цепочки с большим, чем в цикле, сцеплением частей и с общей темой. Про них он говорил: «Это вроде оратории», предпочитая музыкальную терминологию, как более конкретную, расплывчатым литературоведческим названиям. Ораториями он считал «Стихи о неизвестном солдате» и группу стихов на смерть Андрея Белого. Двенадцать стихотворений об Армении он к ораториям не причислял, и я думаю потому, что тематически оратория связывалась у него с основным моментом жизни отдельного человека и всего человечества — со смертью. Умирание, смерть, оптовые смерти и общая гибель — вот темы двух ораторий Мандельштама.

VIII. Фальшивые кредиторы

В самом начале двадцатых годов Мандельштам заметил, что все порываются учить поэтов и предъявляют к поэзии тысячи требований: «Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у нее все фальшивые». Речь шла еще не об официальных заказчиках, а об общественном мнении. Мандельштам приписывал разгул требований читателям, развращенным частой сменой поэтических школ, но дело не только в читателях. В двадцатых годах они действительно были на редкость развращены и разнузданны, но в своих требованиях они только поддерживали то одного, то другого из многочисленных претендентов на пост законодателя в литературе. Каждый из них предлагал свои методы и рецепты для быстрого наведения порядка и внедрения единообразия и единомыслия. Нечто подобное происходило во всех областях, но в поэзии, как самом личностном жанре, порядка навести не сумели, и каждый поэт по мере сил сделал то, что мог, и до самой смерти оставался сам собой. Большинство умерло преждевременно, но двое даже дожили до старости. Предположить, что Ахматовой дадут прожить до конца, было почти невозможно, потому что именно на нее начали сыпаться первые удары. К счастью, окончательного удара не нанесли. Она случайно вытянула выигрышный лотерейный билет на право дожить свою жизнь до конца.

Сейчас уже можно подвести итоги и задать вопрос: как случилось, что внедрение единомыслия возникло как «встречный план», то есть было выдвинуто не государством, а обществом? Именно оно предложило своих претендентов на роль диктаторов в искусстве, когда будущие победители еще не помышляли о подобных вещах и были по горло заняты подготовкой, а потом войной. Единомыслие появилось не в результате подкупа или террора. Террор возможен там, где идея террора импонирует людям, подкупить легко только тех, кто стоит с протянутой рукой, единомыслие осуществляется, если люди готовы отказаться от мысли, лишь бы ощутить себя среди единомышленников. В один день такие особи появиться не могут. Для этого нужна длительная подготовка.

Вопрос касается только интеллигенции, причем не революционной, осуществившей диктатуру, а той, которая потом поддержала диктатуру и сама боролась за единомыслие. Самый яркий из таких — Мейерхольд, и в искренности его сомневаться нельзя. Старатели отнюдь не состояли советчиками при князьях, как некогда монастыри, но энергично насаждали те формы искусства, на которые делали ставку, и яростно боролись за единомыслие, издавая «приказы по армии искусств». Сам Маяковский был исполнителем, а не изобретателем, а его «приказ» не единичен, а представляет стихотворный вариант сотен целеустремленных и деловых распоряжений, издаваемых во всех областях искусства ценителями единомыслия, сразу бросившимися на посты комиссаров искусств. Я уверена, что, порывшись, можно найти отличные образцы приказов, сочиненных Пуниным и, скажем, Штернбергом, которые потом так огорчались, когда их забили противоположными приказами. В последнее пятнадцатилетие, к несчастью, перестали довольствоваться приказами и прибегли к помощи государства и его карающих органов. По моим сведениям, Пунина уничтожили серые художники, которым не нравилось его понимание уже не текущего искусства, а истории живописи.

Мандельштам служил в Комиссариате просвещения у Луначарского, но по свойственному ему легкомыслию приказов по армии не издавал, а главным образом бегал от своей секретарши, сторонницы диктатуры, презиравшей своего начальника. Он в счет не идет и участия в борьбе за единомыслие не принимал, а только открыто говорил поэтам, что о них думает.

Идеи, приводящие к единомыслию и диктатуре, должны были зародиться до революции, чтобы сразу нашлось много сторонников диктатуры. Процесс шел во всех областях, но я беру один только разрез — проблемы искусства, в частности поэзии. В десятых годах большой известностью пользовалась статья Вячеслава Иванова «Веселое ремесло и умное деланье». Влияние Иванова в те годы было очень большим. Он принадлежал к законодателям, и девочкой я запомнила, как затихла аудитория, когда на кафедру взошел Вячеслав Иванов. Это отец повел меня на лекцию не то о Скрябине, не то о Метнере.

В статье о веселом ремесле и умном деланье (последнее выражение принадлежит Христианской философии, к которой статья Вячеслава Иванова никакого отношения не имеет) изложены мечты автора о будущем символизма и предлагается способ преодолеть мучивший русских интеллигентов разрыв между ними и народом. Вячеслав Иванов и сейчас остается для многих непревзойденным образцом теоретической мысли. Одна умнейшая женщина, литературовед с традициями Опояза, со вздохом сказала мне, что уровень мысли резко пал после статей Вячеслава Иванова. (Любопытно, догадалась ли она перечитать эти статьи или ее суждение зиждется на прежнем пиетете.) Современные националисты, руситы, тянутся к Вячеславу Иванову и в резко удешевленном виде — вместо рубля за копейку — время от времени излагают его идеи. Они их препарируют для нужд сегодняшнего дня, приправляя националистическим душком. На Западе вошло в обиход выражение «серебряный век». «Золотым веком» считается пушкинская эпоха, а «серебряным» — десятые годы с «башней» Вячеслава Иванова, то есть его квартирой, куда собирались поэты и философы послушать проповедь «реалистического символизма» неосуществленного течения, от которого ждали чуда.

Как у всех символистов, у Вячеслава Иванова было преувеличенное представление о художнике. Поэт для него — теург, пророк, носитель откровения. Во всяком случае, таким он должен стать, усвоив истины реалистического символизма: «Открытость духа делает художника носителем божественного откровения». (Не слишком ли смело сказано?) Цель символизма мифотворчество. Обычная триада символистов — метафора-символ — миф страдает серьезнейшим недостатком: в ней не раскрывается значение слова «миф». (Наследники символистов и сейчас мнут это понятие как хотят. Не пора ли определить его границы?) Вячеслав Иванов писал: «Символ естественно раскрывается как потенция и зародыш мифа» и «Органический ход развития превращает символизм в мифотворчество». Это широковещательно, но антиисторично. Человек всегда пользовался символами, и человечество знало немало великих художников, но разве можно назвать их труд мифотворчеством? Разве Беатриче или Лаура мифы? Разве блудный сын с картины Рембрандта миф, а не рассказ художника о своей тоске по Отцу? Рембрандт, живший в эпоху, когда христианское просвещение еще не пало, вряд ли счел бы замысел своей картины откровением. В ту эпоху человек сознавал свою падшесть и греховность, а словами злоупотреблять не полагалось. От злоупотребления выветривается смысл самых существенных слов.

Вячеслав Иванов призывает к познанию действительности, но его предсказания, на которые он не скупится, следует причислить к полетам фантазии, мечтам и желаниям, к счастью, неосуществимым. Он мечтал воссоединить интеллигенцию с народом и разработал для этого ряд рецептов. Художник, по мнению Вячеслава Иванова, всегда индивидуалист, но должен стать «сверхиндивидуалистом» (очевидно, отголосок «сверхчеловека»). Миф, изобретенный сверхиндивидуалистом, будет не индивидуальным, но общезначимым. «Когда из символов брызнут зачатки мифа», народ, «прирожденный мифотворец», тут же ухватится за них. Соприкоснувшись с мифом в индивидуальной поэзии, народ снова осознает себя мифотворцем и начнет творить новые мифы. «Рост мифа из символа есть возврат к стихии народной», — говорит Вячеслав Иванов, а в другом месте: «Мы возлагаем надежды на стихийно-творческую силу народной варварской души». Где и когда так называемый народ был варваром? Только ошметки столиц могли показаться варварами. Чего только не выдумывали про народ — то он богоносец, то у него какая-то особенная варварская душа...

Вячеслав Иванов надеялся, что «Дионис варварского возрождения вернет нам миф». Русский и германский народы в понимании Вячеслава Иванова принадлежат к варварской дионисийской стихии. (Эти народы показали высокую — неужели дионисийскую? — дисциплинированность в различных штурмовых отрядах и соответствующих учреждениях.) Приятно отметить, что Вячеслав Иванов все же боялся дионисийской стихии: «Дионис в России опасен: ему легко явиться у нас гибельною силой, неистовством только разрушительным». (Я не уверена, что народ, бушевавший в начале революции и требовавший себе земли, чтобы ее засеять, был воплощением разрушительной стихии.) Тем не менее Вячеслав Иванов боялся просвещения больше неистовства и призывал беречь «вещую слепоту» народа. (Почему все так боялись просвещения? К великому несчастью, современная обязательная школа служит чему угодно, только не просвещению. Она, видно, бережет пресловутую «вещую слепоту» и «дионисийскую варварскую душу», ругающуюся в очередях и скандалящую в автобусах и коммунальных квартирах.)

Когда художник встретится с народом, «страна покроется орхестрами и фимелами, где будет плясать хоровод». (Почему единство представляется фантастам в виде хоровода? Неужели они не видели другой, более глубокой сплоченности?) Тогда-то возродится трагедия и мистерия и «воскреснет истинное мифотворчество». Что подразумевает Вячеслав Иванов под мистерией, понять трудно, и еще менее ясен способ возрождения трагедии. Так ли это просто? Дионисийство же для него — некое психологическое состояние, «круг внутреннего опыта», независимый от исповедания. Таков ход, который дает Вячеславу Иванову возможность сочетать дионисийский восторг с христианством. Творчество должно, по Вячеславу Иванову, быть религиозным, но «как эстетик» он считает себя вправе оперировать «религиозно-психологическим феноменом дионисийства». Символисты все ницшеанцы (Ницше, по Вячеславу Иванову, — первый двигатель современной души), и оно-то толкало их на поиски синтеза между христианством и языческими религиями. Дионис оказался с руки еще и потому, что для эллинов он, как бог страдающий, был ни более ни менее как «ипостасью Сына». Это смешение понятий характерная для девятнадцатого века забава: искали внешнего сходства между религиями, не различая сущностных моментов. Чем обогатились они, соединяя религии природы с религией искупления и Духа? Вячеслав Иванов еще не прочь прибавить к христианству элементы «своеобразно преломленного в его среде пантеизма» («Предчувствия и предвестия»). Он искал «религиозного синкретизма», и так называемая элита десятых годов прислушивалась к каждому его слову.

Символисты всегда боролись с личностным началом в работе художника, поскольку они были индивидуалистами или, как предлагал Вячеслав Иванов, сверхиндивидуалистами. От них же и пошла тяга к «большой форме». В совете Гумилева молодой Ахматовой писать баллады я вижу отголосок этой моды десятых годов. Сам Гумилев за это сильно поплатился, особенно в ранних книгах с их зачатками фабульности. Отход от христианства расшатывал отношение к личности, и это остро сказалось на понимании роли художника в обществе. Общественное положение художника как частного лица, чью работу общество может принять или отвергнуть, уже не удовлетворяло символистов. Они искали новых способов укрепить положение художника, найти для него место в стране, покрытой «орхестрами и фимелами». Здесь-то и возникло слово «заказ», с такой охотой подхваченное в двадцатых годах «деятелями искусств» всех направлений, особенно символистами и их прямыми преемниками футуро-лефовцами. Все они помнили идеи Вячеслава Иванова насчет роли художника и его пропаганду заказа. Художник, он же «теург, пророк, носитель откровения», оказывается, «нуждается в заказе не только вещественно, но и морально, гордится заказом и, если провозглашает о себе подчас, что «царь» и, как таковой, «живет один», — то лишь потому, что сердится на... не идущих к нему заказчиков». Вячеслав Иванов считал, что эпоха, в которой он жил, — критическая, Каинова, но ждал приближения «органической эпохи» с расцветом мифотворчества. В десятые годы «органическое» было одним из самых ходовых слов и означало «связанное с народом, имеющее с ним общие корни, внедренное в его глубины». В удешевленном варианте советского искусства оно вернулось сначала как «искусство для народа», а потом «народное искусство», тождественное с партийным искусством, поскольку партия представляет собой народ. Двадцатые годы были отданы на поиски «стиля» народного искусства от лефовских плакатов до «призыва ударников в литературу», придуманного РАППом, а потом утвердился найденный стиль — социалистический реализм. Художник же стал, по предсказанию Вячеслава Иванова, «ремесленником веселого ремесла» — исполнителем «творческих заказов общины». Поскольку у общины денег нет, заказ получался у государства, но давался он, конечно, от имени народа.

Предвидя идиллическое будущее, Вячеслав Иванов мечтал об единомыслии. Зритель в эпоху дионисийского разгула трагедий и мистерий «затеривается в единомысленном множестве». Единомыслие действительно было достигнуто, но добилась его не элита с ее гордыми мечтами, а революционная интеллигенция, победители, сумевшие обуздать мысль и личность. «Орхестры и фимелы» обернулись самодеятельностью, которая особенно хорошо прививалась в лагерях, потому что освобождала от тяжкого труда. По свидетельству Марченко, сейчас положение изменилось: самодеятельностью и хоровым пением занимаются только «полицаи», остальные предпочитают тяжкий труд. Мы долго хвастались тиражами книг, считая большой тираж признаком народности, а сейчас книги вроде как перестали раскупаться. Один только Кочетов вызывает сенсацию не меньшую, чем хороший детектив на Западе. Может, ловкий сыщик из полицейского романа — это и есть современный миф?

Когда Мандельштам привел меня к Вячеславу Иванову в его скромную комнатку в Баку, где сидел мальчик и готовил уроки, а милая дочь угостила нас чем-то вроде чая, мы услышали жалобу хозяина, что ему не удалось договориться с победителями. Он пробовал это сделать через Каменеву, но ничего не вышло. «Я ведь всегда был за соборность, вы знаете», — сказал он, поясняя, почему хотел пойти на сотрудничество. По дороге домой, то есть в вагон, стоящий на запасных путях, Мандельштам вспомнил эти слова и удивился: что Вячеслав Иванов понимает под соборностью? Армию? Толпу? Митинг?.. Понятия «соборность» и «коллективизм» в статьях Вячеслава Иванова не разделяются. Между тем соборность — понятие церковно-религиозное, ничего общего с коллективизмом не имеющее и даже ему противопоставленное. Соборность — это братство лиц, входящих в собор и сознающих себя детьми единого Отца. Коллектив механическое объединение индивидуумов для самообороны и определения своего места в чуждом и страшном мире. В коллектив загоняет страх, потерянность, жажда пайка. В нем нет и тени братства, и хорошо, если человек человеку не всегда волк. Коллектив подчиняет человека, зато снимает с него сознание ответственности. Современное государство с его формами хозяйства и научного исследования способствует образованию коллективов. Это относится ко всем развитым государствам, а далеко не только к тоталитарным, хотя последние умело использовали коллективы для подчинения человека. Они делают это в более откровенной форме, чем государства, сохраняющие демократическую структуру. Сущность же остается одинаковой.

Человек, порабощенный коллективом, неизбежно становится индивидуалистом, а соборность немыслима без полной свободы личности. Вячеслав Иванов считает, что соборность предполагает «принцип круговой поруки» и «ответственность всех за всех». Таков принцип коллектива, а не соборности, где каждый отвечает за каждого и за всех. Для Вячеслава Иванова понятия соборности и коллективизма, личности и индивидуальности нерасчленимы. Умели ли различать их в десятых годах? Думаю, что для религиозных философов различие всегда было ясным, но символисты были сами индивидуалистами (со стремлением к сверхиндивидуализму) и, находясь под огромным влиянием Ницше и Шопенгауэра, прививали русской элите (я употребляю выражение Бердяева, чтобы определить присимволистические круги) теории и мысли, толкающие на переоценку ценностей, отказ от личности и соединение христианства с язычеством. Подобная смесь только содействовала распаду.

Характерно, что почти у всех символистов десятых годов, в том числе и у Вячеслава Иванова, можно найти апологию жестокости. Я нашла у Вячеслава Иванова: «Жестокости свойственно светлое выражение лица», а жертва «впивает... световую энергию мучителя». Элита учила благосклонно относиться к жестоким сверхиндивидуалистам. Не подготовила ли она русскую интеллигенцию, элиту, к приятию идей террора?

Во многих статьях Мандельштама есть скрытая полемика с Вячеславом Ивановым. Именно в отталкивании от его поучений и была та помощь, которую он оказал становящемуся акмеизму. И символисты, и знатоки коллективизма так и не признали Мандельштама. Они были правы. Он был не с ними.

IX. Функционер

Мечты Вячеслава Иванова, его прогнозы и предложения новой власти не что иное, как, употребляя его собственное определение, «молнийные изломы воображения» («Спорады»). Отвергнутый победителями, он печально сидел в своем последнем на родине убежище и руководил кафедрой, где приближенные навсегда сохранили в памяти «ядовитую приятность» его речей. Он заплатил жестокую дань времени тем, что дал разгуляться воображению. В своем одиночестве этот властолюбивый человек был почти трагичен, но трагичность коренилась в «беге времени» и в его суде над своевольным поколением. В ватиканском изгнании Вячеслав Иванов, наверное, тосковал по России и вспоминал «башню», где он законодательствовал, но великое счастье, что он уехал. У нас судьба его сложилась бы гораздо хуже — у него не хватило бы сил на то одиночество, которое подстерегало его на родной земле. Здесь ему не помогли бы ни ученость, ни лукавство. Здесь ничего не помогало. Здесь отлично знали, чего хотят, и умели добиваться цели и добивать тех, кто не содействовал достижению на ходу поставленных целей.

Никто не интересовался «прирожденным мифотворцем» и не ждал, чтобы он заговорил. Народ был объектом для воспитания, и миф для него надлежало отшлифовать в центре и спустить по особым каналам «в массы». Литература, может, единственная область, где дело сразу пошло как по маслу. Художник не исполнял заказы общины, которая вроде как была отменена. Заказ спускался с недосягаемых высот в форме пожеланий и самых общих указаний. Через армию редакторов он доходил до непосредственного исполнителя. Второй этап — редакторская обработка выполненного заказа, легкое низовое кипение вокруг изданной книги и новые указания высших инстанций, на этот раз более конкретные — с учетом ошибок и достижений.

Основное звено, соединявшее литературу с высоким заказчиком, было редакторским аппаратом. Редактор с его непомерно разросшимися функциями возник в тот момент, когда его нормальная роль — определять лицо и позицию издательства, газеты или журнала — была начисто упразднена. Все, что шло в типографскую машину, выполняло один заказ и преследовало одну цель: утверждение мифа о тысячелетнем царстве. Для этого следовало перечеркнуть и облить грязью прошлое, изобразить настоящее как путь к новому счастью и дать смутную картину будущего. Проводилась мысль об единственно возможном пути к единственно возможному будущему. Широко распространилась и завоевала умы вера в полную детерминированность событий и причинно-следственную связь. Единственная поблажка: допускалась возможность «ошибки». За «ошибку» полагалась кара, но только для аппарата, для среднего и нижнего звена. На самом верху находились те, кто владел научной истиной. Эти ошибаться не могли, пока не сваливались вниз. Стоящий наверху никогда не ошибался.

Редакторы были нижним звеном, но крайне важным, без которого нельзя проводить и оформлять идеи и тенденции вершины. Они возникли неизвестно откуда, во всяком случае не из самой литературы. Иногда редактор ходил в хорошем костюме. Это означало, что, сорвавшись на дипломатическом поприще, он перешел на издательскую работу. Остальные явились из тайных дебрей, «склубились из ничего», как говорила Ахматова. Мандельштам, познакомившись с новым редактором, только удивленно открывал глаза: откуда такое взялось? Он называл их «прекрасными незнакомцами» или «масками». Редакторы строго различались по своим функциям и соответственным званиям. Существовала тонко разработанная градация: младшие редакторы, старшие, главные и сверхглавные, то есть директора издательств. Таинственность возрастала в соответствии с рангом. Редактор, покорный проводник указаний, становился по отношению к писателю чем-то вроде учителя, судьи и верховного начальника. В двадцатых годах они щеголяли хамством, но постепенно овладевали вежливостью, пока их вежливость не стала невыносимо наглой и явно покровительственной. Они почти моментально присвоили себе запретительные функции и выставили встречный план запретов и поощрений, чтобы оградить себя от разноса в случае, если в изданной книге обнаружатся «идеологические ошибки». Поскольку теория развивалась непрерывно, а издание книги занимало довольно много времени, редактор научился учитывать будущее развитие и заранее расширял область запрещенного. После цепочки редакторов, трудившихся над книгой, цензору оставалось только вылавливать блох, чтобы оправдать свой кусок хлеба с маслом.

В конце двадцатых и в начале тридцатых годов еще водились редакторы, которые «что-то протаскивали». Так, Цезарь Вольпе не только напечатал в «Звезде» «Путешествие в Армению», но даже тиснул снятый цензурой отрывок про царя Аршака, которого ассириец запрятал в темницу, откуда нет выхода и просвета: «...ассириец держит мое сердце...» Вольпе сняли с работы, но его не посадили — ему повезло. Погиб он во время войны — никто не знает как, пробираясь из осажденного Ленинграда через Ладогу. Такие редакторы были абсолютным исключением, и сейчас — в наши вольные и счастливые времена таких можно счесть по пальцам. Разница только в том, что сейчас многие бы охотно повольничали, если б им гарантировали полную неприкосновенность: со службы не прогонят и начальство останется благосклонным. В прежние же годы любой редактор верил в свою миссию и абсолютную правоту. Он считал, что делает важное и прогрессивное дело, борясь с чуждой идеологией и вредными тенденциями. Единомыслие с небес не свалилось. К нему стремились толпы активных и энергичных людей, сторонников нового, поклонявшихся научному мышлению и осязаемым результатам своей деятельности. Они осязали переплеты книг и не знали сомнений, без которых не обходится ни один ученый и ни один мыслитель. Та наука, которой поклонялись они, была очень удобна для неученого сословия. В ней не оставалось ни малейшей щели для сомнений и все отличалось неслыханной научностью и вместе с тем помещалось в одном портфельчике и было удивительно портативно. На всякий вопрос и на всякое недоумение имелся готовый ответ, и представители «нового» всегда чувствовали себя в своей тарелке и сверху вниз смотрели на жалких людишек, не освоивших научные истины. Среди поклонников науки затесались и жулики, но они-то и пели слаще всех. Сладкие песни давались им легко, потому что они не верили решительно ни во что, кроме окошка в издательской кассе и конверта с таинственной выплатой за хорошее поведение и службу народу.

Редактор, чтобы не скучать за чисто запретительными занятиями, возомнил себя стилистом, блюстителем языка и вдохновителем новых жанров. Одним из первых на этих ролях стал подвизаться Маршак. Хрипловато-вдохновенным голосом он объяснял авторам (у него были не писатели, но авторы), как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому: все становилось поэтичным, и голос у него дрожал. За его спиной прятался Олейников, считалки для детей делал ему Хармс, но не в них была сила Маршака. Он хотел превращать в писателя всех и каждого, кому хотелось писать и у кого был хоть какой-нибудь опыт в любой области: инженер, моряк, охотник, метеоролог — всякий ведь обладает опытом, и он-то и есть материал литературы, если его изложить хорошим языком. Для этого он завел штат младших редакторов, постепенно продвигая их в старшие, которые точили, шлифовали и подпиливали каждую фразу, каждое слово, каждый оборот, приводя их к приличному среднему уровню. У них кружилась голова от мысли, что они собственными руками делают литературу. Редактор школы Маршака до конца своих дней будет помнить героическую эпоху созидания литературы на пустом месте и превращения агитки в чистенькую повестушку. Точно так, наверное, работают специалисты по детективам, но у них есть великое преимущество: они хорошо знают рынок и язык сегодняшнего дня, не понимают ни Шекспира, ни Мильтона и не рвутся в большую литературу. Изготовление чтива — неизбежное следствие литературной промышленности. Поганый век — поганые книги, лишь бы они не одевались в приличненькое обличье. Я предпочитаю коммерсантов, загребающих деньги на детективах, Маршакам.

Сейчас еще ходят по земле писатели, с которыми работал сам Маршак. Они с умилением вспоминают его советы: знать про героя решительно все — как он ходит, что он любит, какой на нем костюм и сколько метров в его комнате... Искать по газетам сюжеты для повести, чтобы по свежим следам воспроизводить опыт великой эпохи... Вникать, любить, помнить... Маршак исключительно умело избегал мысли и реальной действительности, которые были запрещены, предпочитая говорить обо всем «поэтическом». Он разводил турусы на колесах, излагал тусклым языком шекспировские сонеты и писал мерзкие политические стишонки для газет. Для души он завел целую коробку гладкой мудрости, вызывавшей умиление даже у начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил инкубаторов. Маршак — характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена, сглаживавший все шероховатости. Он нанес бы большой вред, если бы существовала неокрепшая мысль, которую можно было бы задушить, но мысль исчезла, и он ничего не уничтожил и не испортил, даже детей из кисло-сладкого университета. Дети эти принадлежали к обреченному поколению и погибли кто на войне, кто после войны.

Маршак разводил вальс со слезой, дубоносый учитель внушал школьникам отвращение к Пушкину, цензор черкал вульгарным красным карандашом, а толпы редакторов трудились над сырыми рукописями, нивелируя, подчищая, сглаживая. Так создавались книги — одна за другой, — и авторы входили в программы учебных заведений, наших и зарубежных, а редактор, главный герой, пребывал в тени, был невидимкой. А силу он набрал огромную. Выработались правила развития сюжета и особый языковой стиль. Плоский след редактора виден на каждой книге. Через советского редактора осуществлялся диктат в литературе, и он поэтому научился игнорировать рынок ведь его основная обязанность — воспитывать автора и читателя. Редактор построил барьеры, через которые не могла прорваться ни одна рукопись, хоть чем-нибудь отличающаяся от других и написанная не по установленным законам. Читатели, питавшиеся пойлом, вышли на пенсию, а редакторы продолжают свое дело и удивляются, почему книжки не раскупаются, а лежат штабелями на складах. Ходит анекдот про мать, перепечатавшую на машинке «Войну и мир», потому что сын читает только машинописный Самиздат.

С двадцатых годов весь аппарат заказной литературы ведет героическую борьбу с проявлением личности в литературе. Это он прославил «большие формы» и грудью защищает тухлятину, называющуюся романом. Новое поколение писателей романов не пишет, но оно стоит на распутье, потому что мысль не созревает, и единственное, что остается, это спасаться в оригинальность, в которой нет и не будет спасения. Тынянов, заявивший об окончании эпохи поэзии и о приближении торжествующей прозы, совершенно забыл, что проза это мысль. Неужели он принимал шебуршение двадцатых годов за мысль? Эпохи прозы не было. Была эпоха заказа. Она не кончилась.

Оказалось, что в столах почти ничего не хранилось — лишь ничтожное отклонение от заказа. Работали Платонов и Зощенко и несколько поэтов, сохранивших личность. Остальные ее потеряли и потому охотно шли на выучку к Маршаку и к прочим редакторам.

Главная удача нищего — найти потерянное, но найти свое «я» труднее, чем иголку в сене. Самиздат пока что живет антизаказом, что является вариантом заказа. Ценность главного автора Самиздата Солженицына в том, что он восстанавливает связь времен. Это первый шаг к осознанию себя человеком. Только пройдя через этот этап, люди поймут, что отдельное, единичное предстательствует за общее, является его символом. Литература существует там, где есть боль, а боль ощущает только человек, личность. Там, где существует боль, говорят не о малой или большой форме, не о стиле или сюжете, а только о боли, и она сама знает, во что воплотиться. Боль предупреждает человека о болезни и дает возможность исцелиться. Но есть болезни, которые кончаются смертью. Будущее покажет, чем мы больны и что нам предстоит — летальный исход или жизнь.

X. Вставка и деталь

Редактор Госиздата Чечановский, с которым я служила когда-то в газете «За коммунистическое просвещение», иногда заходил к нам в гости. Он был верующим марксистом не слишком агрессивного толка. Мандельштам развлекался, вступая с ним в споры, которые кончались ничем, и каждый оставался при своем. Начальство как будто никакой информации об этих спорах не получило, во всяком случае в деле они не фигурировали. Это говорит в пользу Чечановского. Меня раздражали эти споры. Чечановскому было совершенно ясно, что мировоззрение Мандельштама отжило свой век и он, бедный, не умеет перестроиться, а Мандельштам совершенно бесплодно тратил время: зачем оспаривать несложные диалектические построения — это не обогащает ни ума, ни сердца. Если бы марксизм не был официальной идеологией, обязательной для каждого, кто претендует на кусок хлеба, вряд ли Мандельштам стал бы всерьез обсуждать базис и надстройку или теорию скачков в историческом процессе, а тем более проблемы материи, которая, развиваясь, порождает такую оригинальную штуку, как мозг. Отрицатели марксизма в спорах с ним пользовались тем же языком, что марксисты. Сам предмет спора снижал уровень мысли. Но Мандельштам ощущал ярую потребность в собеседниках, и это и побуждало его на разговоры со случайным, но в общем безвредным Чечановским. Говорить ведь было не с кем — уровень собеседников планомерно снижался. Марксисты и немарксисты были серыми птичками.

Очередное собрание сочинений, проданное в Госиздат, попало в редакторские руки Чечановского. Мандельштаму было совершенно безразлично, кто будет снимать, резать и уничтожать книги, а в издание мы не верили. Договор и выплату денег устроил Бухарин, чтобы было хоть что-нибудь на жизнь. На эти деньги — их было совсем мало — мы поехали в Крым, а последняя выплата предстояла поздней осенью. Собрание предполагалось двухтомное, но авторские гонорары были такими нищенскими, что ничего похожего на бюджет дать не могли. (Своих обеспечивали неизвестно как, таинственным фиксом или конвертом.) К отсутствию бюджета мы привыкли и радовались хоть минутной передышке и, главное, Крыму, где мы провели два месяца.

В Москву мы вернулись в конце июля и сразу переехали на новую квартиру, откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку. В новой квартире сразу пошел оседлый сумбур, споры с Чечановским, болтовня Нарбута и Зенкевича, гости, еще не научившиеся пользоваться телефоном, нормальное количество стукачей, согласно профессии не предупреждавших о своем приходе, и частые приезды Ахматовой, которую Мандельштам научился вытаскивать из Ленинграда по междугородному телефону, — она приезжала после пяти вызовов. Гостил Лева, которого выпроводили из Ленинграда, где над ним сгущались очередные тучи: незадолго до приезда в Москву его впервые посадили и через несколько дней выпустили. Это было, так сказать, боевым крещением. Мать и сын, встречаясь, не могли оторваться друг от друга. Пунин Леву не переносил и при его виде сразу начинал «пунические войны». У нас же любили обоих, и никто не мешал им радоваться встрече. Ахматова жила на кухне, куда еще не провели газа, и туда к ней приходили гости — Чулков, какие-то люди из Художественного театра, вдова Есенина, еще неизвестные мне женщины... Зимой 34 года появилась Петровых. Денег не было. Остатки гонорара за собрание принес в портфеле Бублик, спившийся уголовник, учившийся когда-то в гимназии со вторым братом Мандельштама. Гостил «дед» и жаловался, что никто не слушает его «маленькую философию». Это было самое безалаберное время в моей жизни, настоящая болтанка, и мы как-то пропустили без внимания грозный симптом, предвещавший настоящую беду. Быть может, мы хорошо сделали, что почти что прозевали его, иначе нами бы завладело уныние, а наши мысли сосредоточились бы на будущем. В наших условиях жить будущим не рекомендуется. Будущее — всегда беда и бросает черную тень на настоящее. Оно отравляет настоящее, сжимает глотку приступами страха, выпивает из человека всю кровь и все силы. Пугаться заранее не следует. Умные люди, которые испугались заранее, сразу сообразив, что за цветочками последуют ягодки, ничего не посмели делать — ни думать, ни любить, ни писать, ни дышать, но участи своей все равно не миновали. Если бы я сейчас задумалась о будущем, я бы погрузилась в летаргию, хотя нынешние времена настоящий рай по сравнению с прошлым. Но на нашей большой земле райская жизнь — понятие относительное. Иные избалованные люди примут этот рай за самый обыкновенный ад. Все дело в том, с чем сравнивать и что принимать за точку отсчета. Оптимисты вроде меня принимают за точку отсчета эпоху до смерти хозяина и до Двадцатого съезда.

Мы въехали в квартиру в начале августа и постепенно обживались, привыкая к непрерывному пению воды из уборной и к виду с пятого этажа на огромную и еще низкорослую Москву. В эти дни мне пришлось одной пойти в Госиздат по поручению Мандельштама. Почему так случилось, я не помню. Обычно мы ходили вдвоем или он один. Может, он прихворнул и послал меня за деньгами, а не то позвонил Чечановский и вызвал именно меня... Так или иначе я одна очутилась там, и Чечановский отвел меня в коридор в тихий уголок для конфиденциального разговора. Мы ускользнули от младших литсотрудников, сидевших в одной комнате с Чечановским. У него, вероятно, старшего редактора, отдельного кабинета не было — только стол, как у почтеннейшего начальника или настоящего писателя, пишущего роман. Такие столы давались не зря.

Лицо, сидящее за столом, вызывало глубокое почтение. Это однажды хорошо сформулировал Пастернак. Брошенная жена, Женя, однажды захотела стоять на трибуне во время демонстрации (одно время была такая мода) и потребовала у Бориса, чтобы он достал ей пропуск. Он побежал в Союз писателей и упросил дать ему пропуск для утешения и развлечения Жени. Накануне праздника ему дали вожделенную бумажку, но оказалось, что пропуск выписан на его имя. Секретарша посочувствовала и посоветовала не смущаться — пусть Евгения Владимировна идет по этому пропуску, кто там станет разбираться... Женя пошла, но ее не пропустили, и начался скандал по поводу незаконной передачи пропуска. «Чего вы поверили девчонке-секретарше?» — спросила я Пастернака, выслушав его жалобы. «Как не поверить, — возразил Пастернак, — ведь она сидит за столом!» Нами овладело смертное почтение ко всем, кто сидит за столом. С тех пор повелось словечко — мы проверяли значимость человека, спрашивая: «А он сидит за столом?» Чечановский сидел за столом с ящиками. Это предвещало, что разговор в коридоре будет серьезным.

Чечановский посоветовал, чтобы Мандельштам сразу, не откладывая, «отказался» от «Путешествия в Армению». Я не спросила, в какой форме должен быть отказ, потому что подумала, что речь идет о собрании сочинений и Чечановский хочет, чтобы Мандельштам не включал рукопись во второй том. Впоследствии Чечановский сказал мне, что следовало выступить с покаянным письмом в прессе. Эпоха покаянных писем еще не закончилась. Ее расцвет выпал на мою работу с Чечановским в «ЗКП». К нему стояла очередь авторов покаянных писем, добивавшихся скорейшего напечатанья. Особенно много было психологов и педагогов-теоретиков, потому что какие-то течения только подверглись разгрому. Не задала я Чечановскому и другого вопроса: почему он обращается ко мне, а не к Мандельштаму? Ведь он бывал у нас и ему ничего не стоило поговорить с Мандельштамом. Этого вопроса я не задала, потому что знала об особом приеме — на мужей воздействовали через жен. Охранительницы домашнего очага, почуяв беду, с такой силой наседали на мужей, что они, слегка поскандалив в четырех стенах, являлись к начальству смирные как овечки и безропотно подписывали все, что им предлагали, меняли взгляды и вычеркивали куски из романов. Муж считал, что он приносит жертву ради семьи, и это сознание облегчало ему совесть. Жена ходила заплаканная и замордованная, но в душе радовалась, что спасла мужа. Приближались времена, когда уже ничего не спасало, кроме случая. В августе 1933 года своевременное покаяние еще могло спасти или хоть отсрочить гибель.

Я не прочь была бы воздействовать на Мандельштама, чтобы спасти его, но с ним все равно ничего бы не вышло: я бы добилась от него не покаяния, а града насмешек. Поэтому я сказала Чечановскому, что передам Мандельштаму его слова, и спросила, кому это так не понравилось «Путешествие в Армению». Он не обратил внимания на мой вопрос и осведомился, берусь ли я образумить Мандельштама и какие на это шансы. Услыхав от меня, что Мандельштам, скорее всего, ни от чего отказываться не будет, Чечановский преобразился. Обычной любезности как будто не бывало, и он вдруг заговорил как настоящий человек «за столом»: зачем Мандельштам лезет в области, в которых ничего не понимает? Что за странные рассуждения о Гёте, Ламарке и невесть о чем?.. «Мы ему не позволим поносить развитие и прогресс, пусть он это запомнит...» Чечановский усмотрел «скрытые намеки» (в чем, он отказался сказать) и совершенно извращенные взгляды. Напор был мощный, и разговор кончился словами: «Я вас предупредил, поступайте как знаете, только как бы вам не раскаяться...»

Что знал Чечановский? Возможно, ему поручили «нажать», но вполне допустимо, что он услышал какой-то разговор и сам решил предупредить Мандельштама. Товарищ он был неплохой. Я имела случай в этом убедиться. Однажды на меня донесли редактору газеты, что я не читала главной философской работы века и путаю эмпиризм с империализмом (я действительно не читала великого произведения и заменила где-то что-то чем-то). Чечановский вступился за меня как лев. Он растоптал доносчика, объявил меня философски образованным товарищем, который не мог не читать все сочинения четырех основоположных авторов... С него могло статься, что он испугался за Мандельштама и решился помочь ему. Говорил он как будто от своего имени, но в мелькавших «мы не позволим», «мы не допустим» было нечто иное. До каких высот простирались связи Чечановского? Не знаю и знать не могу...

Один вариант — Чечановский что-то подслушал и попробовал помочь. Другой — «предупреждение» Мандельштаму «спустили» через директора издательства или через партийное руководство, а Чечановский служил лишь передаточной инстанцией. «Наверху» рукопись «Путешествия в Армению» не понадобилась, потому что оно уже было напечатано и Вольпе понес кару. Одно исключается — Чечановский не сам добрался до «Путешествия» и предупреждение шло не от него. Он еще корпел над первым томом и выбрасывал все, что вызывало его сомнения, из ранних стихов. Редактор читает только то, что стоит у него на очереди. Если говорить всерьез, то весь Мандельштам, а не только «Путешествие в Армению», был «несозвучен» мрачной эпохе и подлежал изъятию. Так и произошло, потому что собрание никуда не продвинулось. Мальчишки, рывшиеся в последние годы в архиве издательства, рукописи не обнаружили. Она могла потеряться, но, скорее всего, ее уничтожили или передали в органы порядка через восемь месяцев. До ареста оставалось восемь с половиной месяцев, но мы о будущем не думали.

30 августа 1933 года в «Правде» появилась статья. Я убеждена, что видела номер газеты, где эта статья была напечатана без подписи, как редакционная. В других, сохранившихся в Библиотеке имени Ленина, она с подписью, как и в перепечатавшей ее «Звезде». Так иногда случалось: часть тиража выходила в одном оформлении, другая — в другом. Прочитав статью, Мандельштам обратился в Цека к Гусеву. Тот немедленно принял его, ожидая покаяния, но Мандельштам попросту заявил, что нельзя в центральных газетах печатать желтопрессные статейки. «Мандельштам, вы говорите о «Правде»!» воскликнул Гусев. «Я не виноват, что статья напечатана в «Правде»«, ответил Мандельштам. Кажется, разговор, что все растут, кроме Мандельштама, Павленко, например, и еще кто-то, с угрозами насчет «намеков» по поводу «Не втирайте в клавиши корень сладковатой груши земной» происходил раньше. Этот разговор, во всяком случае, был последним, и больше мы Гусева не видели и пройти к нему не пробовали. Я не знаю, уцелел ли он в 37 году, потому что по стилю (рубаха-парень в украинской вышитой рубашке) он казался представителем сталинского поколения, но среди них многие имели в прошлом «ошибки» и поплатились за это головой.

Во время разговора с Гусевым Мандельштам был спокоен и сдержан. Я заметила на его лице то же выражение, что во время разговора о терроре с Ивановым-Разумником. В таких случаях он бывал немногословен и абсолютно неколебим. Страха он, очевидно, не знал. Статья в «Правде» в общем произвела на него небольшое впечатление. Он отплюнулся и забыл про нее. Между тем это было первое грозное предупреждение. Статья была большая, но основная часть касалась Мандельштама:

«...Умереть успел Петербург салопниц, чиновников, духовенства, декадентов, мистиков, интеллигентов, «взыскующих бога» и теплого местечка под крылом российского дворянства и буржуазии...

А остатки петербургского периода литературы, остатки старых классов и литературных школ продолжают жить: В. Шкловский, О. Мандельштам, Вагинов, Заболоцкий.

...Неважно, что одни пришли прямо из прошлого, другие, более молодые, продолжают традиции прошлого.

...Осип Мандельштам совершил «путешествие в Армению» и в 1933 году рассказал о нем в журнале «Звезда». Можно набрать целый цветник «красот стиля»: «лист настурции имеет форму алебарды», «маяк вращал бриллиантом Тэта», луч «цвета биллиардного сукна», чайные розы похожи «на катышки сливочного мороженого», книги имеют «вкус мяса розовых фазанов»...

Какой бедный мир! Мир, где самое блестящее — фальшивый бриллиант Тэта и где луч похож на биллиардное сукно, а розы — на сливочное мороженое. «Я растягиваю зрение, как лайковую перчатку», — жеманничает Мандельштам.

Понятно, что поэт, носящий в себе такой бедный мирок, попав в Армению, «прожил месяц, *наслаждаясь стоянием воды* на высоте четырех тысяч футов и *приучая себя к созерцанию двух-трех десятков гробниц*».

...Весь «опус» Мандельштама наполнен рассуждениями. Рассуждениями, страдающими бедностью мысли, завуалированной пышной, но тем не менее анемичной декламацией...

Наблюдения, относящиеся собственно к Армении: «*...армяне — большеротые люди с глазами, просверленными прямо из черепа»; «язык абхазцев», вырывается из гортани, заросшей волосами*».

...От образов Мандельштама пахнет старым, прелым, великодержавным шовинизмом, который, расточая похвалы Армении, хвалит ее экзотику, ее рабское прошлое, ибо о настоящем не написал ни одной строчки Мандельштам.

Так «путешествовать» можно, сидя у себя в комнате и окружив себя гравюрами, старинными книгами и раритетами армянской старины...

Можно с брезгливостью пройти мимо острот Мандельштама о Безыменском. В них неуемная злоба человека, не понимающего пролетарской литературы.

...Так говорили и писали и «путешествовали» до революции поэты «Вены», кабака на Морской улице, поэты затхлых салонов, герои литературных «пятниц» и «сред».

Старый петербургский поэт-акмеист О.Мандельштам прошел мимо бурно цветущей и радостно строящей социализм Армении...»

Статья, что ни говорить, живая и свежая. Ахматова права, что «про нас никогда ничего другого не писали». В Армении отозвались на эту статью и печатно назвали Мандельштама дашнаком. Это значило, что путь в Армению закрыт, но Мандельштам знал, уезжая, что вернуться ему не суждено. Он успел проститься со «страной субботней, которую Арменией зовут». Странно устроены люди — сейчас в Армении Мандельштама читают и любят, его не случайно там напечатали... В тридцатые годы под статьей в «Правде» согласились бы подписаться не только «люди за столами», но толпы интеллигентов, вся интеллигентская гуща. Мне хотелось бы понять, как происходит смена сознания от поколения к поколению. Каким образом отцы и дети умудряются вызвать такое отвращение во внуках, что те не сохраняют ничего из их убеждений, вкусов, мыслей. Случай с Мандельштамом частность, но очень характерная для этой смены. Я пережила две резкие смены в своей жизни, и обе произошли неожиданно, и понять, как они происходили, невозможно.

Старики и пятидесятилетние сейчас тоскуют по статьям, подобным той, что я привела. Сыновья занимаются самыми разными вещами — от пьянства до чтения религиозных философов, но никто, кроме тех, кто сидит за первоклассными столами, не слушает ни дедов, ни отцов. Они отбились от рук, но еще неизвестно, какие беды принесут этой несчастной стране новые поколения. Что же касается Мандельштама, то господа, читающие Леонтьева и называющие Мандельштама «жидовским наростом на чистом теле поэзии Тютчева», напишут еще не такие статьи о его прозе и стихах. Это дело недалекого будущего.

XI. Тяга

Это было еще в незапамятные времена на Днепре в дни киевского карнавала, что Мандельштам рассказал мне про Ахматову: она печатает стихи не в хронологическом порядке, а нарочно перетасовывает, чтобы скрыть, к кому они обращены.

Мандельштама смущало вольное обращение со стихами. Он себе такого не дозволял и в значительной степени сам находился под властью стихов. Стихотворение само определяло свое место в книге, потому что было связано с предыдущим и последующим невидимыми, но точно ощущаемыми нитями. У Ахматовой взаимосцепление стихов значительно слабее, и они поддаются перестановке, потому что каждое представляет собой замкнутое целое, нечто вроде необычайно сгущенной новеллы, точно ограниченной своими пределами. Новеллистичность поэзии Ахматовой навела Мандельштама на мысль, что ее генезис нужно искать не в поэзии, а в русской психологической прозе. Сейчас какие-то мудрецы додумались до блестящего открытия, будто Ахматова идет прямым путем от Пушкина. Произнося такие вещи, доказательств не приводят. Это вроде комплимента, а в подоплеке несложное рассуждение: я понимаю Ахматову и понимаю Пушкина, значит, Ахматова связана с Пушкиным. Она принадлежит двадцатому веку, он — девятнадцатому, следовательно, связь преемственная. Если б мы умели анализировать стихи, выяснилось бы, что между Ахматовой и Пушкиным нет ничего общего, кроме бескорыстной любви младшего поэта к старшему. Постановка темы, подход к ней, система метафор, образность, ритм, словарь, отношение к слову у Ахматовой и у Пушкина совершенно разные. Да и вообще-то: разве можно сказать хоть про одного поэта, что он — «пушкинской школы» или «продолжает пушкинскую традицию». В каком-то смысле все русские поэты вышли из Пушкина, ухватившись за одну ниточку в его поэзии, за одну строчку, за одну интонацию, за что-то одно во всем пушкинском богатстве. Гораздо легче произвести поэта от Пушкина или от царя Соломона, чем найти реальную скромную ниточку, связывающую его с Пушкиным и с другими поэтами, — ниточек всегда много, иначе поэт улетит за облака и его никто не услышит.

Близость Ахматовой к новеллистической традиции позволяла ждать от нее поэмы, понятой как «большой стих-рассказ». Так определил поэму мальчик Вадик, сын воронежской театральной портнихи, у которой мы снимали комнату в последнюю зиму. Мальчик завладел пушкинским однотомником, который я привезла из Москвы, и объяснил товарищу, что такое поэма. Мы жили в тесноте, но не в обиде, и каждое слово, сказанное в одной комнате, было слышно в другой. Мандельштам услышал разговор Вадика с товарищем и поразился меткости определения. Он ценил читателей, а не литературоведов.

Ахматову действительно всегда тянуло к поэме, но только отрывок «У самого моря», первый подступ к большой форме, строится как «большой стих-рассказ». В последующих вещах новеллистичность, характерная для лирики Ахматовой, внезапно исчезает, и в «Китежанку», а затем в «Поэму без героя» врывается острый лирический голос. Обе поэмы — «Китежанка» если не поэма, то, во всяком случае, промежуточное звено между лирикой и поэмой — строятся именно на лирическом голосе. В больших стихотворных вещах, которые принято называть поэмами, развивается особая динамическая сила и неудержимо влечет читателя (а до него самого автора) по стиховому потоку, подхватывая как волна и отпуская только в самом конце — перед самой последней и окончательной паузой. В «Разговоре о Данте» Мандельштам говорит о непрерывной «формообразующей тяге», действующей в «Божественной комедии». Читатель, заражаясь от автора, воспроизводит движение формообразующей тяги, что Мандельштам и называл «понимающим исполнением». Слово «тяга» как будто применимо для любой подлинной поэмы, потому что она всегда обладает влекущей и завлекающей силой. Я заметила это впервые еще в детстве, когда читала «Мцыри» и меня увлек стиховой поток. Ощущение повторялось, когда я читала другие поэмы, но я не почувствовала насильственной тяги при чтении «Евгения Онегина». Не потому ли эта вещь называется не поэмой, а «романом в стихах»?! И в «Медном всаднике», несмотря на наводнение, я не чувствую себя пассивной жертвой стихового потока.

Мне думается, что «тяга» — основной структурный признак поэмы, то есть непрерывного стихового потока, обладающего водоворотами, порогами и дополнительными подводными течениями, как всякая быстрая и достаточно глубокая горная река. Только «тягу» «Мцыри» и других поэм девятнадцатого века никак нельзя сравнить с «формообразующей тягой», которую Мандельштам отметил в «Божественной комедии», особенно во второй и в третьей частях. В первом случае действует дурман и возникает ощущение насилия, а

«Божественная комедия» содержит в себе огромную очистительную силу. Она не дурманит, а просветляет (катарсис?).

Когда говоришь о поэзии, невольно прибегаешь к понятиям, не имеющим определения, но это не делает их субъективными. Необъяснимое, вернее, не поддающееся рациональному объяснению еще не есть субъективное, хотя какому-нибудь скоту вроде автора статьи о Мандельштаме слово «тяга», а кстати, и вся поэзия, включая «Божественную комедию», кажется чем-то подозрительным и определяемым словом «субъективный». (Если не более крепким бранным словом — ведь рационалистические скоты отказались от «Чистилища» и «Рая», согласившись почитывать один «Ад».) Современный скот промолчит про «Божественную комедию» (простив «средневековые предрассудки» ради первых проблесков ренессансного мироощущения), как и про Пушкина и Лермонтова (они ведь понятны!), потому что на шестимесячных курсах овладения культурой ему объяснили, что есть писатели, относящиеся к разряду «классиков», которых полагается уважать. Дело, впрочем, не в скотах, а в обыкновенных людях, которые часто не отличают «субъективного», то есть выражающего личные особенности субъекта, его индивидуальные вкусы и ощущения, от объективно существующего, но не поддающегося определению. Это совершенно различные разряды, и «тяга» не субъективна, хотя проявляется как субъективное ощущение того, кто попал под власть стихового потока, образующего поэму. Различие между «тягой» при чтении «Мцыри» и «Божественной комедии» тоже вполне объективно, хотя люди, читавшие «Комедию» в честном и умном переводе, могут мне не поверить. Читатель испытывает ту же «тягу», что «автор», хотя и в ослабленном виде, если, конечно, он поддается «заражению». У многих есть иммунитет. Они не заражаются поэзией, как толпы людей не чувствуют музыку. Неспособность воспринимать музыку узаконена. Про таких людей говорят он не понимает музыку или он не любит серьезную музыку, а чаще — у него нет слуха... Поэзия же всегда под подозрением: кто же не понимает слов?.. Есть только одна страна, где и музыка попадала под подозрение и подвергалась разгрому. Поэтому у нас и напечатали статью «Сумбур в музыке», и некто объяснял композиторам их ошибки, культурно играя на рояле. Говорят, Шостакович всю жизнь носит в кармане этот «сумбур».

Ахматова жаловалась, что «Поэма без героя» с первых минут втащила ее в водоворот, из которого она не могла выбраться. Она бросилась заниматься хозяйством, мыть кастрюли, стирать белье, подметать, убирать, делать все, от чего обычно увиливала, — так ей хотелось передохнуть и выбраться из течения, которое тащило ее неизвестно куда. Несколько лет подряд она находилась под властью поэмы.

Ахматова всегда интересовалась поэмой как особым жанром и часто о ней говорила, но не с Мандельштамом. Его она боялась. С ним был, пожалуй, только один разговор о поэме — по поводу «Спекторского», когда мы обнаружили сходство этого стиха-рассказа с поэмами Случевского и Полонского. Мандельштам сказал: «В самом деле...» Ахматова же, когда мы остались вдвоем, заметила, что «Евгений Онегин» надолго остановил развитие (она легко употребляла это слово и не имела против него принципиальных возражений) поэмы — все приступавшие к ней невольно подражали готовому образцу: «Большой поэт перегораживает течение поэзии, как плотина...» Первым вырвался из-под влияния «Евгения Онегина» Некрасов в «Кому на Руси жить хорошо». Про Маяковского она сказала, что он останется в русской поэзии, потому что дал новую форму поэмы. Она читала Китса и Браунинга и никак не могла найти ключа к Браунингу (это уже происходило позже, когда уже был первый вариант «Поэмы без героя»), хотя он очень ее беспокоил. Единственное, что приходило ей в голову, это разговоры о драматургическом характере дарования Браунинга. Она при этом приводила известный пример: несколько человек рассказывают об одном, и том же событии (убийство женщины, убежавшей от жестокого мужа), и каждый рассказ — монолог неосуществленной трагедии. К Браунингу у нее еще был особый интерес когда-то Гумилев сказал ей, что они двое будут как Браунинги, — при жизни слава досталась жене, после смерти внезапно вырос муж, а жена почти исчезла. Почему они все так интересовались славой? Вот уж о чем думать не стоит...

Мандельштам о специфике поэмы как жанра не обмолвился ни единым словом. Он помнил небольшие отрывки и строчки из «Кому на Руси жить хорошо» и поминал «Медного всадника». В самом начале нашей эры могло показаться, что у нас существует некоторая аналогия с Петровской эпохой. С известного отдаления стало ясно видно, что сходства нет: две эпохи разнонаправленны и ведут к разным результатам. Думаю, что ничего похожего на «петербургский период» наша жизнь не даст. Впрочем, кто знает, как все будет выглядеть через несколько сот лет. Может, даже найдутся любители архаических книг, написанных по методу социалистического реализма... Будут ли только эти столетия и люди, способные читать?

Лучшее определение социалистического реализма я услыхала в 1938 году от бойкого молодого фотографа. Я готовилась к аресту, и мне захотелось оставить близким на память свою фотографию. Фотограф требовал, чтобы я подняла голову, опустила голову, наклонила голову... Мне надоело, и я сказала с раздражением: «Не мудрите, снимайте, как есть». «Значит, вы против социалистического реализма», — заключил фотограф. Я заинтересовалась, что он под этим понимает. «Соцреализм, — пояснил он, — это немножко лучше, чем на самом деле...» Ошибка только в количественном определителе — не «немножко», а «множко»... Впрочем, книг, написанных этим методом, я не читала — в них нет ни «тяги», ни просветления. Они пахнут кульками и писательскими дачами.

Все проблемы жанров мне абсолютно чужды, и я знаю только одно лирические стихи никогда не замутняют сознания. От погружения в лирику, как бы трагична она ни была, сознание просветляется и очищается. Происходит нечто вроде катарсиса (тоже неопределимое, но вполне объективное понятие). В поэме же есть темное и опасное, порожденное, скорее всего, не глубиной и единством порыва, а чистой «тягой», внешним блеском и текучестью ритма ворожбой и колдовством, завлекающими и не дающими разряда. Л. Я. Гинзбург говорила Ахматовой, что в «Поэме без героя» она пользовалась «запрещенными приемами», хотя приемов этих никто не запрещал. К поэме приложимы слова Ахматовой, сказанные про самое себя: «Какая есть, желаю вам другую». Я далека от мысли считать, что все существующее разумно (тем более что бывает истинное, а бывает и мнимое существование), но поэму все же приходится принимать такой, как она исторически сложилась, — с ее текучестью, индивидуалистическим душком, капризами и неизбежной дымкой таинственности. «Тяга» проносит читателя от верховья к устью, но, оглянувшись на весь путь, он чувствует, что из-за быстроты движения ему не удалось разглядеть ни реки, ни берегов. Поэма в чем-то сходна с быстро бегущим временем, которое потом слипается в один ком. (Мандельштам, видно, это знал, потому что не преминул заметить, что «Божественная комедия» наращивает время.) От многих поэм у меня остался только «рассказ» да еще несколько разрозненных строк. Ахматова совсем иначе относилась к поэме, и ее отношение мне столь же чуждо, как культ «красавиц». Она назвала поэму «столетней чаровницей» и снабдила ее дамскими аксессуарами — брюлловское плечико, кружевной платочек «А столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела. Я ни при чем. Кружевной роняет платочек, томно жмурится из-за строчек и брюлловским манит плечом...» Она говорила о «колдовской силе» поэмы и, очевидно, считала ее порождением романтизма. Не отсюда ли ее поверхностный блеск и соблазн?

Мандельштам написал в рецензии на Поисманса, что романтики не знали жизни, а декаденты (Поисманс) знали. Поэма, порождение романтизма, скользит по жизни и потому не содержит жизнеутверждающего начала. В лирической поэзии, главная тема которой становление личности, всегда есть жизнеутверждающее начало. Обретая себя, личность познает себя и свое место в жизни. Для романтика смерть — незаслуженная обида. Для того, кто нашел свое место в жизни, исполненной смысла, смерть — последний творческий акт. Я думаю, что приятие жизни во всей ее сложности, со всей ее бедой и горем, в сознании, что через текущую жизнь познается иная, а через творение Творец, то есть в жизнеутверждении, заключается очистительная сила лирики. Для меня лирика — большая форма по сравнению с поэмой. Поэма — большая стихотворная форма только в количественном смысле: в ней много строчек.

XII. Черновик

«Поэма без героя» сопоставима с «Шумом времени». Обе вещи появились благодаря одинаковому психическому импульсу. И ту и другую можно определить как поиски утраченного времени, в котором находится ключ к настоящему. Для Ахматовой это еще и последний взгляд «на красные башни родного Содома», и от такого взгляда удержаться почти невозможно, хотя известно, какова расплата за нарушение запрета. Мандельштам утверждал, что память его работает «не над воспроизведением, а над отстранением прошлого». В какой-то степени это могла бы сказать и Ахматова, но, отстраняя прошлое, видишь его с непереносимой яркостью и выпуклостью. «Шум времени» — рассказ о прошлом. Оно уже не существует, но, воскресая в памяти, полно конкретности и до боли яркого виденья людей и вещей, чем-то символизировавших время: концертное безумие, репетитор, еврейская квартира с запахом кожи и кресло «тише едешь, дальше будешь», парады на Марсовом поле и эсеровская семья Синани... В «Шуме времени» Мандельштам искал ответа на мучившие его вопросы, в частности, первым встает вопрос: откуда взялась отчужденность от текущего времени? «Шум времени» стоит между стихотворениями «Век» и «1 января 1924» — книга в основном написана в 23 году в Гаспре, когда изоляция еще была добровольной. Подспудная тема в прозе скрыта, но она та же, что в стихах. Именно к прикрытости и затушеванности основной темы и личной в ней заинтересованности Мандельштама относится фраза о том, что память его враждебна всему личному. Там, где назад оглядываются любовно, все выглядит идиллично, но никакая идиллия Мандельштаму не свойственна. Ирония тоже ему чужда, а ведь она часто маскирует идиллию. У него жесткий и трезвый взгляд, который создает видимость бесстрастия, но тем не менее «Шум времени» глубоко личная книга, хотя автор не говорит о своей заинтересованности в каждой из выдвинутых тем.

Мандельштам формировался в двойственном мире еврейской квартиры и обреченного Петербурга, в городе, «знакомом до слез». В Тенишевском училище — первая литературная встреча и первое приобщение к поэзии. Там же революционный воздух и подготовка к будущему. Главное в детстве — мать и музыка, архитектура города. Богатство впечатлений и общий сумбур. В противоположность Ахматовой он не боялся показывать сумбур, в котором рос и жил. Ахматова никогда не возвращалась к своему детству и становлению. Она отрезала ранние годы, потому что в них ничего идиллического не было, а был ничуть не меньший сумбур, чем у Мандельштама. Однажды в Ташкенте мы говорили об этом сумбуре, и я сказала: «Значит, и у вас есть это чувство разночинства, что у Мандельштама». Она страшно огорчилась — ей ни за что не хотелось признать себя разночинцем. Ее тянуло в круг повыше, где сумбур скрыт благородными покровами. Свою жизнь она как будто начинала с возвращения в Царское Село женой Гумилева, а скорее, даже с разрыва с Гумилевым. У нее была тенденция сглаживать разрывы и сумбур прошлого, у Мандельштама, раскрывая, — изживать их. (Мне иногда кажется, что ее отношения с дочерью Пунина обусловлены именно этой потребностью — смягчить прошлое, облечь его в умилительную рамку: падчерица, к которой относятся как к дочери. Из этого ничего не вышло, кроме абсолютного безобразия, и оно вылезало из всех щелей еще при жизни Ахматовой, о чем нам приходилось нередко с ней говорить.)

«Шум времени» — взгляд на то, что безвозвратно прошло, и Мандельштам находит себя ребенком на улицах и концертах рухнувшей жизни. Итоги событий подведены в том же «Шуме времени», в главке о сомнамбулическом ландшафте полковника Цыгальского, где светлый и трогательный человек с глазами, «светившимися агатовой чернотой, женской добротой», противопоставлен сотникам, «пахнущим собакой и волком», из породы людей «с детскими и опасно пустыми глазами», на которых возможность безнаказанного убийства, развязанного гражданской войной, действует, «как свежая нарзанная ванна». Эта порода нашла себе прекрасное применение в нашей жизни — время работало ей на пользу. Не случайно во сне полковника Цыгальского тонет то, что он называл «бармами закона», а на месте России образовался провал, и Черное море надвинулось до самой Невы.

Это тот самый Цыгальский, который спас Мандельштама из врангелевской тюрьмы: там ничего не стоило повесить человека, даже не моргнув. Жестокость и одичание всегда сопутствуют гражданским войнам и отзываются на много поколений вперед.

В том же «Шуме времени» подведены итоги символистическому прошлому литературы, которое вызывало ассоциацию с «Пиром во время чумы». Литература ощущала себя родовитой и барственной. «За широко раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Стол облетала произносимая всегда, казалось, в последний раз просьба: «Спой, Мэри», мучительная просьба последнего пира...» С начала тридцатых годов, а вернее, с первых дней революции, с небольшим перерывом во второй половине двадцатых годов, вплоть до раскулачиванья, нас преследовало чувство, что все, что мы делаем, делается в последний раз и больше никогда не повторится. Каждая поездка на юг была последней, каждая пирушка была последней, каждое новое платье и каждый поцелуй. Особенно остро это чувство проявлялось по отношению к стихам. Художника всегда преследует ощущение, что любая вещь — последняя и другой уже не будет. Нормальное отношение художника удесятерялось тем, что мы всегда стояли на краю и ждали внезапного конца. В начале тридцатых годов Мандельштам разбудил меня ночью и сказал: «Теперь каждое стихотворение пишется так, будто завтра смерть». Иногда он напоминал мне об этой фразе: «Помнишь, как теперь со стихами...» Не потому ли нам было так хорошо вместе, что жизнь всегда шла на пороге смерти и конца. Личная смерть только предваряла общий конец. «По мере приближения конца Истории являются на маковках Святой Церкви новые, доселе почти невиданные, розовые лучи грядущего Дня Немеркнущего», — прочла я в одной прекрасной книге, посвященной одному из рано погибших, который сказал эти слова. В этой же книге я нашла молитву двоих, которую, к несчастью, мы не знали: «Господи Боже мой, Иисус Христос. Ты пречистыми устами Своими сказал: «Когда двое на земле согласятся просить о всяком деле, — дано будет им Отцом Моим Небесным, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Непреложны Твои слова, Господи, милосердие Твое бесприкладно и человеколюбию Твоему нет конца. Молим Тя, Боже наш, дари нам, Осипу и Надежде, согласившимся просить Тя о Встрече. Но обаче не так, как мы хотим, а как Ты, Господи. Да будет во всем воля Твоя. Аминь». Это теперь моя молитва, потому что я и сейчас не одна, а вдвоем с Мандельштамом. Он написал мне правду: «Любимого никто не отнимет».

В 1924 году, когда Мандельштам написал: «Еще немного — оборвут простую песенку о глиняных обидах и губы оловом зальют», — он давал еще себе какой-то срок, небольшой, «немного», но все же — промежуток, передышку, чуть-чуть времени, чтобы еще пожаловаться и погрустить. Смерть еще не надвинулась. Оставалось еще пятнадцать лет, чтобы завершить свое дело и потратить около двух лет на умирание. С начала тридцатых годов началась спешка, будто все случится в ту же ночь или наутро. И сейчас, когда я пишу эти страницы, к вечеру у меня начинается муть и горячка, но я жду не смерти — она не за горами, чего ж ее звать, сама придет, когда надо, — а молодых людей, от которых пахнет волком и собакой, что они позвонят и унесут все мои странички, а вместе с ними и мою память и, что еще хуже, отберут у меня книги Мандельштама, все три тома, которых я ждала столько лет. И я еще острее, чем раньше, понимаю Мандельштама: как ему было трудно выпутываться из стихов, приходивших циклами, одно за другим, с чувством приближающейся насильственной смерти, уже стоящей у порога, как трое с волчьим запахом. Их всегда трое. Я и тогда понимала и разделяла это чувство, но теперь оно вернулось, усилившись, и снова душит меня.

Мысль о последнем пире во время чумы не оставляла Мандельштама до последних дней. Если проследить по стихам и по прозе, постоянно заметна ниточка, тянущаяся от маленькой трагедии. Он любил председателя с хриплым голосом, иногда сливался с ним, иногда называл его: «Это чумный председатель заблудился с лошадьми». Здесь председатель пира уже не Вальсингам, а знаменитый тамада всесоюзного значения, скрывший под «кожевенною маскою» свои «ужасные черты». В 37/38 годах мы иногда заходили в разбогатевшие писательские дома, где шел убогий и похабный пир, а из квартир на лестничной клетке один за другим исчезали хозяева. И у нас вдвоем шел пир — мы всегда пировали, — и этот пир не был похабным, хоть и во время чумы. И хозяин исчез, только не из квартиры, а из клетки, куда его запрятал Союз писателей, из паршивого и последнего дома отдыха. Все исчезли — полковник Цыгальский был прав насчет потонувших «барм закона». Что такое «бармы»? Нечто столь же неопределенное, как закон.

XIII. «Поэма без героя» и моя обида

Под «первым посвящением» «Поэмы без героя» стоит дата — 27 декабря. Это годовщина смерти Мандельштама — по крайней мере, по официальным данным, а других у нас нет. Официальным доверять нельзя, но приходится. Ахматова сначала поставила 28 декабря, потому что кто-то дал ей это число, и она поверила. Мне же она не верила, считая, что я могу все перепутать, а она никогда. Мне пришлось принести ей бумажку из загса, она поспорила для виду («А может, есть другая бумажка — почем вы знаете?!»), но, как потом выяснилось, сдалась и дату переделала. Точно так она утверждала, что Мандельштам нигде никогда не был, никакой Италии не нюхал, никаких экзаменов никогда не сдавал, а я никаких языков не знаю, ни латыни, ни английского не нюхала и ничего не читала... Главный пункт — последний санаторий в Саматихе — был, по ее мнению, нервным, а не простым домом отдыха с врачом-директором на все руки. Переубедить ее было невозможно. Путала она все, как люди, но «несравненная правота» мешала ей поверить исправлениям. Я считаю большой победой, что она переменила дату под «первым посвящением», но предупреждаю, что найдутся экземпляры с 28 декабря. Она жаловалась, что никто даты не замечает, и перенесла ее в заглавие «первого посвящения», чтобы она стала на самом видном месте. Найдутся экземпляры с датой-заглавием.

В «посвящении» поминаются ресницы. У Мандельштама они были невероятной длины. Еще в Киеве в первые дни нашей близости одна довольно милая опереточная дива долго разглядывала Мандельштама, а потом сказала: «Он совсем не похож на поэта — только ресницы». Муж дивы тоже был поэтом и сочинял эстрадные номера в стихах. Дива, конечно, предпочитала своего поэта, но ресницам все-таки позавидовала. Сам Мандельштам ощущал их как нечто тяжелое и нередко поминал в стихах. Я дразнила его, что он принадлежит к ресничным и потому ими интересуется («мерцающих ресничек говорок»). Ахматова где-то раздобыла кучу стихов Ольги Ваксель Мандельштам даже не подозревал, что она пишет стихи. Среди них Ахматова облюбовала одно, где поминаются ресницы, и сказала: «Это, конечно, Осе». Я удивилась: «Разве у одного Оси были ресницы? Да и год не тот...» Стихи с ресницами были написаны после того, как Ольга приходила к нам в Царское. Мы тогда сразу уехали на юг и больше в Царское и в Ленинград не возвращались. Ахматова отвела вопрос о дате: стихи о любви часто появляются через много лет после окончания романа. А про ресницы: «Где вы еще такие видели!» Такие я видела только у детей на Кавказе — у взрослых они вылезают. Чьи же ресницы в «посвящении»?

В Ташкенте, в первый раз услыхав «Поэму», я спросила, кому адресовано «первое посвящение». Ахматова с досадой ответила: «На чьем черновике я могу писать!» Виленкину и еще кое-кому она прямо говорила, что «посвящение» написано Мандельштаму (Виленкин даже написал мне об этом письмо, и оно у меня в архиве). В «посвящении» есть снежинка, тающая на руке, и я сначала думала, что она где-нибудь поминается в стихах Ахматовой или Мандельштама. Ахматова меня успокоила: «Ося знает». Разговор происходил чуть ли не в шестидесятых годах, когда Ахматова с необычайной силой стала беречь от меня свои «заветные заметки». Наконец, в «Поэме» на секунду звучит голос Мандельштама и его подлинные слова: «Я к смерти готов...» Эти слова Ахматова приводит в «Листках из дневника». Кстати, дневника никакого не было: попробовали бы мы писать дневник! Ничего, кроме этих «листков»...

У меня есть два экземпляра «Поэмы». На одном есть инициалы Князева над «первым посвящением», но они зачеркнуты рукой Ахматовой. Она зачеркнула их при мне, сказав, что это опечатка. На другом экземпляре их нет. В печати «Поэма» появилась с именем Князева на «посвящении». На чьем же черновике она писала и чьи вспомнила ресницы? Если в «Поэме без героя» речь идет о двух погибших, из которых один отнял у себя жизнь перед началом нового века, а другой принял свой жребий и не попытался от него ускользнуть, поэма как-то углубляется. Внутренняя свобода привела Мандельштама к смерти «с гурьбой и гуртом», а «драгунский корнет со стихами и с бессмысленной смертью в груди» уклонился от судьбы и совершил величайший акт своеволия — самоубийство: «Сколько гибелей шло к поэту глупый мальчик, он выбрал эту — первых он не стерпел обид... Он не знал, на каком пороге он стоит и какой дороги перед ним откроется вид...» При таком понимании не случайной окажется реминисценция из «Бесов», воспроизводящая обстановку самоубийства величайшего своевольца Кириллова: «...кто-то снова между печкой и шкафом стоит».

В «Поэме без героя» Ахматова ведет всю линию на недосказанности и уклончивости, а ее сила как поэта в лобовой атаке и в прямоте. Статья о «Каменном госте» — самооправдание Ахматовой, хотевшей доказать, что биографические данные запрятаны в литературе, проходят своеобразную обработку: Пушкин обнаруживается и в Дон-Гуане, и в Командоре. Оба героя своеобразное воплощение самого Пушкина. Для фабульных вещей девятнадцатого века этот метод вполне оправдан. «Поэма без героя» — развернутое лирическое высказывание, поминальный плач по ушедшему времени, в котором таились зародыши страшного будущего. В такой вещи «облитературивание сюжета» не «объективизация», а ложная уклончивость. Шкатулка с тройным дном имеет смысл, если в ней действительно можно что-нибудь спрятать, но во время обыска или после смерти все три дощечки вынимаются в один миг: что же там лежит?

Ахматова, видимо, решила под конец слить Князева и Мандельштама, пропустив обоих через литературную мясорубку, вот и вышло, что она пишет на черновике Князева, а у гусарского корнета, может, и не было черновиков. Право на черновики надо еще заработать. Время покажет, было ли это право у Мандельштама. Во всяком случае, еще в 19 году он сомневался в нем, а потом никогда о черновиках не заговаривал.

Еще печальнее, если Ахматова пыталась сделать из Князева и Мандельштама нечто вроде двойников: два лика одного лица, один рано ушел, другой остался до конца. Эти два человека слиться не могут, и на слова «Я к смерти готов» тоже надо заработать право. Моя обида, что ради литературной игры Ахматова злоупотребляла словами Мандельштама и датой его смерти.

Двойничество не только литературная игра, но психологическое свойство Ахматовой, результат ее отношения к людям. В зеркалах и в людях Ахматова искала свое отражение. Она и в людей гляделась, как в зеркала, ища сходства с собой, и все оказывались ее двойниками. Ольга Судейкина, по словам Ахматовой, — «один из моих двойников», Марина Цветаева — «невидимка, двойник, пересмешник», надпись на книге мне: «Мое второе я»... Сколько у человека может быть «я» и почему они между собой такие несхожие? Познакомившись с Петровых, Ахматова спрашивала меня и Мандельштама, узнаем ли мы ее в новой знакомой. На старости Ахматова вдруг узнала себя в дочери Ирины Пуниной, Ане Каминской, и даже заставила ее отрастить себе челку. Аня показалась мне абсолютно нелепой в ахматовской челке, и Ахматова отчаянно на меня обиделась. В старости Ахматова начала и всех мужчин считать двойниками, не своими, конечно, а друг друга. Все, живые и мертвые, объединялись тем, что влюблены в нее, Ахматову, и пишут ей стихи. В зрелые годы Ахматова была другая, и подобное отношение к людям характеризует ее старость и, пожалуй, как я подозреваю со слов Мандельштама, раннюю, еще ничем не омраченную молодость. В старости и в юности мы все эгоцентрики, а в игре в двойничество действовал механизм эгоцентризма. Правда, в оправдание Ахматовой я могу сказать, что кроме эгоцентризма в этом проявлялось еще свойство, присущее ей в самой высокой степени: она увлекалась каждым человеком, и от этого у нее возникала потребность покрепче его связать с собой, слиться с ним. Особенно остро это свойство проявлялось по отношению к женщинам, которых Ахматова производила в «красавицы», а их было бесконечно много.

Культ красавиц — специфика десятых годов, скорее петербургского, чем московского происхождения. К годам моей молодости «красавицам» было за сорок. Они перенесли голод и сильно полиняли. Мандельштам показывал мне одну за другой, и я только ахала, откуда взялись такие претензии! Мое поколение дало «подружек», и самые красивые из них — Люба Эренбург, Сусанна Мар — красавиц не разыгрывали. В «Египетской марке» Мандельштам взбунтовался против нелепого культа: «Тоже, проклятые, завели Трианон... Иная лахудра, бабища, облезлая кошка...» К чести «красавиц», они отлично мыли полы, стирали, стояли в очередях новой жизни... Ахматова осталась верна культу красавиц, с которыми дружила, — их она превозносила до небес, зато умела здорово разоблачить всех принадлежавших к чужим кланам. Я любила ругающуюся Ахматову и ее грозные разоблачения «прекрасных дам» символистов. Живописность ее словесных портретов была головокружительной. Эта сила речи прорвалась в стихах, но все же недостаточно.

К десятым годам у Ахматовой двойственное отношение. С одной стороны: «До неистового цветенья оставалось лишь раз вздохнуть», с другой карнавальное беснование, разгул масок и личин, упивающихся своей безответственностью: «И ни в чем не повинен: ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи». В поэме Ахматова рассматривает деся-тые годы как порог, преддверье к будущему, где все понесут расплату. Многие из ее современников слышали в десятых годах гул будущего: «И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной и грозной, жил какой-то будущий гул». Ахматова отчетливо видит связь времен: «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет — страшный праздник мертвой листвы». Это ответ тем, кто по-прежнему считает десятые годы блаженным «серебряным веком», а все последующее — случайностью, неожиданным вывихом, потому что век оступился. Теория вывиха — the time is out of joint — самоутешение, потому что кости можно вправить. Эмиграция придерживалась теории вывиха и полвека прожила со сложенными чемоданами. Для Ахматовой вывод другой: колючая проволока лагерей и вторая мировая война (по мне — лишь бы не третья, но она в старческой самоуспокоенности об этом не думала). Карнавальное веселье, которое я видела в Киеве, — остаток десятых годов, как и некоторые явления двадцатых. Ими и сейчас козыряют легковесные старички, а они коренятся в десятых годах.

«Неистовое цветенье» и карнавал пустых масок, несущих смерть и разложение, может, не так противоречивы, как кажется на первый взгляд. Деревья не расцветают перед рубкой, а человеческое общество, наделенное мыслью и чувством, дает в истоме предчувствия пышное, хотя и ложное цветение. Все общество и каждый человек получили в дар от десятых годов крупицу своеволия, червоточину, которая взбаламутила его личную жизнь и определила общественную позицию. Я знаю эту крупицу в себе, в Ахматовой и даже в Мандельштаме. У него-то было противоядие, но он далеко не всегда умел вовремя его использовать. Дар десятых годов — снисходительность к себе, отсутствие критериев и не покидавшая никого жажда счастья. Мне кажется, ни одна эпоха не дала такого пафоса самоутверждения, как наша. Это болезнь времени, и она еще в полном разгаре.

Остается вопрос, права ли Ахматова, направляя удар на элиту. Каблучки козлоногой и гибель гусарского корнета, толпа лжеучителей, писавших законы, которым «Хаммураби, ликурги, солоны у тебя поучиться должны», — все это только тонкая пленка, верхний слой, в событиях как будто не принимавший никакого участия. Для меня главная беда в том, что этот слой осознал себя элитой. Таково было время, что элита создавалась повсюду, где собиралась кучка людей.

Элита — властолюбивая верхушка любой группы, самозваный «избранный сосуд», возникающий путем самоутверждения. Элита на каждом шагу и в каждом углу присваивала себе авторитет, потому что подлинные авторитеты были попраны, разбиты и уничтожены. В искусстве, как и повсюду, шла шумиха и возникали авторитеты на один час, на полвека, на минуту, и от них оставалась одна пыль. В десятых годах появлялись и всходы здоровых семян, но они были почти незаметны в общей шумихе, в визге самоутверждения отдельных групп, школ, демагогов и обольстителей, увлекавших людей неведомо куда. Москва двадцатых годов — осколки интеллигентской элиты, рвущиеся на службу к победителям, и элита победителей, сводящая друг с другом счеты.

Когда совершились события, люди, поднявшиеся в десятые годы, задумались, как это могло случиться. Поэты, каждый по-своему, пытались осознать, какова роль поэзии и поэта. Они уже знали, что поэт не пророк, не теург и не носитель откровения. Марина Цветаева решила, что в «свете совести» поэт приносит людям меньше пользы, чем любой врач или работник практической профессии. Экономисты измеряют человека по количеству продукции, моралисты — по числу нарушенных запретов. Цветаева пошла тем же путем — исчислением количества пользы, а это в корне неверно. Мандельштам уже в 1922 году сказал, что с акмеизмом в поэзию пришло нравственное начало, и о том, что человек должен быть тверже всего. Свершилось это или нет, не мне судить, но так он понимал поэзию. В поздних записях есть об отношении к труду и к людям: «Внимание — доблесть лирического поэта. Растрепанность и рассеянность — увертки лирической лени». И, наконец, в беглой записи периода работы над «Путешествием в Армению» он выразил свои сомнения в действенности искусства: «Художник по своей природе —

врач, целитель. Но если он никого не врачует, то кому и на что он нужен?»

Искусство немало морочило, гипнотизировало и путало людей, и не только в наши дни. Может, в том, насколько велика в нем настоящая целительная, а не гипнотизирующая сила, и есть одно из мерил искусства. Я убеждена, что у подлинной поэзии есть целебная сила, проистекающая от внутренней правоты и свободы художника. Такой поэт — художник, композитор, кто угодно — не может принадлежать ни к какой элите, потому что человек всегда равен человеку. Он глубоко социален, потому что не противопоставляет себя толпе, хотя никаких «заказов общины» не выполняет. Он не может быть направлен на зло, потому что простой человек, один из толпы, идет на путь зла только вслед за соблазнителем и гипнотизером. Место художника в самой гуще толпы, и он разделяет ее грехи, радости и печали. Ошибки художника, а они неизбежны, — это ошибки толпы, но вряд ли настоящий художник способен участвовать в преступлениях, которые столь часто совершают люди. Если художник видит огонек и светоч, он в отчаянии отступит от толпы, которую науськивают на преступления.

Художнику противопоказаны только власть и учительская позиция. Чему станет он учить, если он не сознает себя элитой, законодателем и вождем? В самой ранней статье Мандельштам, полемизируя с Вячеславом Ивановым или, вернее, определяя свою позицию в противовес символистам, говорил о ложности учительской позиции. Ссору Пушкина с чернью он объяснял как страх поэта перед близким слушателем, который говорит: «а мы послушаем тебя». Он доказывал, что Пушкин был настолько беспристрастным, что сделал свою «чернь» вовсе не дикой и не шалой. Дело не в «черни», пусть даже просвещенной и разумной, а в поэте, который не может быть учителем и ловцом душ. Именно поэтому он свободен от всякого «заказа», потому что «заказ» предполагает учительство, если «чернь» не дикая. Освобождение поэта от «заказа» в том, что он обращается не к близкому, а к далекому слушателю. Такого слушателя не соблазнишь, не обучишь, даже не развлечешь. Если он захочет или, вернее, почувствует потребность, он вспомнит поэта, но сам поэт ему не навязывается — ни со своими стихами, ни с поучениями...

Ахматова разделяла взгляды Мандельштама на нравственную природу поэзии. Может, именно поэтому в своих заметках о Пушкине она пыталась нащупать те нравственные проблемы, которые перед ним вставали, и даже наивно назвала его «моралистом». Поэт, конечно, не моралист (эти всегда рвутся учить), а человек, сохранивший чувство греховности (дивные покаянные стихи Пушкина!). Слово Ахматова употребила неудачное, но смысл ее розысков именно таков. В «Поэме без героя» речь идет о греховности в годы, когда это чувство было утрачено всеми, особенно теми, кто ощущал себя элитой. Надо было иметь смелость взглянуть на свою молодость, расценив ее по мерилам «долины Иосафата», ведь все так снисходительны к десятым и двадцатым годам... Ахматова сумела сказать козлоногой: «Не тебя, а себя казню». Это и есть скрытая тема поэмы, которую она старалась упрятать в шкатулку с тройным дном («Ну а вдруг как вырвется тема, кулаком в окно застучит?»). Поэма, прикрытая неистовым ритмом, говорит о возмездии за бездумную молодость среди людей, причислявших себя к элите, и твердит о «серебряном веке». В этом сила поэмы.

Культ красавиц, уклончивость, тройное дно, «зеркальное письмо» и даже музыкальные реминисценции и многие красоты принадлежат символистам — это их наследство — и ослабляют поэму. Там, где «столетняя чаровница» красуется брюлловским плечиком, Ахматова изменяет себе, поэзии отречения, жесткой строгости и лаконичности лучших стихов зрелости. Жирмунский сказал Ахматовой, что поэма написана так, как хотели бы писать символисты, но не сумели, и Ахматову это почему-то порадовало. Отрекаясь от ложного цветения десятых годов, надо было не соблазняться их призрачным богатством.

Ахматову никогда не покидало беспокойство относительно поэмы. Она считала, что поэма оправданна, только если она лучше всего остального. Кроме моей личной обиды — трех букв над «Первым посвящением», — я думаю, что поэма во многом связана с предрассудками и своеволием десятых годов, с чужими ритмами и мыслями, которые открыли дорогу звездным блужданиям последнего периода.

«Гость из будущего» в поэме совсем не таинственное создание, как говорят любители тройного дна. Это, во-первых, будущий читатель, во-вторых, вполне конкретный человек, чей приход в «Фонтанный дом» был одним из поводов к постановлению об Ахматовой и Зощенко. Он был прообразом будущего читателя, потому что в тот проклятый год в нашей стране еще никто не научился читать.

Многие ли научились читать в семидесятом году? Не знаю, не вижу, не слышу. Боюсь, что нет. Боюсь, что брожение умов принимает сейчас особо страшную форму, более страшную, чем в годы колючей проволоки и массовых смертей «с гурьбой и гуртом». Когда происходит брожение умов, только единицы, одинокие и грустные люди, пробуют читать и ищут спасения от общего развала. Такие, может, сейчас существуют. Сколько их? Этого никто представить себе не может, потому что люди безнадежно разъединены.

Первая встреча

Я собираюсь рассказать о своем споре с Ахматовой по совершенно незначительному поводу, никакого значения не имеющему. В старости она отказалась от «потока доказательств» и только взывала к своему непререкаемому авторитету: «Что вы мне рассказываете! Я ведь знаю!» При малейшем несогласии собеседника возникал неистовый шквал: сомнений в своей правоте она не допускала. «Ануш, вы бешеная кошка», — говорила я; она взрывалась с оглушительной силой, и спор кончался в ее пользу. Однажды в Ташкенте она мне призналась, что в молодости была очень трудной раздражительной, капризной, нетерпеливой, не знала удержу, спешила жить и ни с чем не считалась. Тогда ее слова показались мне неправдоподобными, а она сказала, что просто научилась обуздывать себя. В старости, когда прорвались основные черты характера, я поняла, как трудно было ей держать себя в узде. Люди, знавшие ее в молодости, хорошо понимали, что она с трудом справляется с собой, потому что это действительно трудная задача.

Однажды, когда она гостила у нас в Фурмановом переулке, Мандельштам уговаривал ее отложить отъезд. Сцена запечатлелась у меня в памяти, как моментальная фотография. Оба они у меня в комнате, узкой и длинной. Она стоит спиной к окну, он топчется рядом, зажигая папиросу. Ахматова говорит, что ехать надо, иначе Пунин (Николаша) «даст деру». «Вам дашь!» смеется Мандельштам... Ахматова склоняет смиренную шею и говорит: «Я кроткая...» Мандельштам хохочет и повторяет слово «кроткая» с таким раскатистым «р», словно ржет молодая, еще не объезженная кобылица. Ахматова вдруг взмолилась: «Не выдавайте! Вы меня раньше знали. Теперь я не такая». Мандельштам успокоил ее: «Точно такая, только вы «это» припрятали...» Через четверть века я убедилась, что «это» действительно было здорово припрятано, и я спрашивала, куда девалась ее пресловутая «тишина» и сдержанность. Их не стало. «Они исчезли, утопая», — говорила Ахматова.

Поверив в «кротость» зрелой Ахматовой, я попалась на мякину. Ведь в лучших стихах, внешне сдержанных, всегда слышится голос эдакой боярыни, то плакальщицы, постницы и молельщицы, то так проклинающей недругов и превозносящей друзей и единомышленников, что любому Никону следовало бы держаться подальше. Ахматова называла Цветаеву «поэтом силы», но сила, вероятно, женское свойство, потому что и в открытом буйстве Цветаевой, и в сдержанном бесновании Ахматовой поражает не что иное, как сила. У Ахматовой действует сначала сила отречения, потом отказа от текущей неправды. В том, как она произносила «нет!», был настоящий подвиг неприятия[19].

Несостоявшийся спор с Ахматовой по поводу, который не стоит выеденного яйца, мучит меня, потому что и во мне прорвалась на старости женщина, считающая себя непогрешимой. И поэтому я не могу не изложить доводов, которые Ахматова не пожелала выслушать, заткнув мне рот своей «несравненной правотой». Ахматова написала, что в 1924 году Мандельштам привел к ней свою молодую жену. Я считаю, что до нашего переезда в Ленинград мы были у нее дважды — в первый раз в 23-м, а во второй — в 24 году в двух разных квартирах, на Неве и, кажется, на Казанской, но и там она еще жила с Ольгой Судейкиной, которая потом уехала во Францию. На которой квартире состоялась первая встреча, я поручиться не могу — Ахматова постаралась меня запутать, чтобы я не узнала, где она жила раньше, где потом, а может, она и сама не помнила. Мне помнится, что сначала мы были на Казанской (или возле Казанского собора) и она вышла к нам в темноватую переднюю. В следующий раз — через год — мы заявились на Неву. Мандельштам узнал квартиру, которую мы смотрели в прошлый приезд, уже готовясь к переезду в Ленинград, но не решились снять из-за ремонта, который стоил бы кучу денег. Мандельштам думал, что расходы на ремонт взяла Ольга: «Откуда у Анны Андреевны деньги...» Впоследствии Ахматова сказала мне, что деньги были у нее — она продала книжку в частное издательство в Ленинграде и в «Петрополис». (На ремонт не хватило бы десяти книг.) У Ольги, по ее словам, не было ничего, и она спасалась при ней. Про Ольгу я точно не знаю, но вот я действительно спасалась при Ахматовой в Ташкенте. Пока мы жили врозь, она всегда мне припрятывала кусок хлеба или кучку макарон со своего обеда, а потом, поселившись вместе, мы жили на ее паек. Я служила, но моих заработков и выдач хватило бы только на голодную смерть. Спасали не деньги, а пайки, то есть выдачи нормированных продуктов по государственным, а не рыночным ценам.

---

[19] *Далее следовало*: Трудно поверить, но в юности и в старости все люди больше похожи на себя, чем в зрелые годы, когда по самым разным причинам ради приспособления, а иногда ради взятой на себя роли, что всегда очень противно, - они подвергают каждый свой поступок самоконтролю и не позволяют себе быть теми, кем они по сути своей являются.

Кто бы ни платил за ремонт, они поселились на Неве. По Ахматовой выходит, что мы были у нее весной и летом на двух разных квартирах, а осенью, переехав в Ленинград, узнали, что она переселилась и живет в пустых комнатах Шилейки в Мраморном дворце. Добывание квартир, даже в Ленинграде, дело очень трудное. Думаю, что Ольга продала квартиру на Неве на свой отъезд, но все это лишь предположения. Единственное реально — если бы мы были в одно лето у Ахматовой на двух квартирах, мы бы запомнили, что она только и делает, что скачет с одного места на другое...

Вторую встречу датировать легко. В Ленинград мы переехали ранней осенью или в конце лета 1924 года, и в самые первые дни Ахматова пришла ко мне на Морскую. Ольга Глебова-Судейкина уже отправилась во Францию, Ахматова же поселилась в Мраморном дворце. Она объяснила, что не решилась остаться одна без Ольги на Неве. Как я знаю, прислуг она боялась, подруги исчезли, а печек топить она не умела. (Трудно представить, как прожили Ахматова и Шилейко в голодные годы — оба абсолютно беспомощные.) В Мраморном дворце размещалось общежитие Цекубу и всегда можно было подцепить какую-нибудь уборщицу, чтобы прибрала и вытопила. К несчастью, Ахматова не умела с ними дружить и всегда нуждалась в посреднице — подруге или читательнице стихов, которая, живя с ней, брала на себя все хозяйственные заботы. Неспособность ладить с прислугой — верный признак того, что Ахматова выросла в растрепанном доме. Андрей Андреевич Горенко говорил, что ничего беспорядочнее и неуютнее их дома представить себе нельзя. Ахматова объясняла все добротой и растерянностью матери. Жесткие черты характера Ахматова унаследовала, вероятно, от отца. Он чуждался детей, Анну с ужасом называл «декадентской поэтессой» еще в дни, когда она была девочкой и о стихах не помышляла, сердился на беспорядок и порой изрекал сентенции, которые запомнились ей на всю жизнь. Вот его вечная присказка: «По вашим грехам и то хорошо...» Не застав дочь в Царском — она осталась ночевать у Вали Срезневской, — он на следующее утро позвонил по телефону и сказал: «Так вы, женщины, всегда попадаетесь...» Женщина, к которой он ушел, бросив семью, была Ахматовой непонятна — «чуть ли не горбунья» (слух о горбе я приписываю пристрастию). Дети относились к ней с подчеркнутой вежливостью — Ахматова всегда это вспоминала в связи с грубостью Иры Пуниной. Объясняла Ахматова выбор отца по-своему: «Она, наверное, умела слушать». Нетерпеливая молодая Ахматова, видимо, не дружила ни с матерью, ни с отцом, ни с братьями, а неспособность наладить быт унаследовала от матери. Она всегда была в зависимости от очередной подруги или от семьи, в которой раскинула палатку. Из Мраморного дворца Пунин перевез ее вещи на Фонтанку, когда она жила с нами в Царском. В Мраморном я раза два была, но не у нее, а у уже брошенного Шилейки.

Два летних месяца 1924 года мы провели в Апрелевке, доме отдыха Госиздата, расположенном в бывшей помещичьей усадьбе. Датировать эти месяцы легко — земляничный сезон. Я собирала землянику быстрее всех деревенских девок. В Ленинград мы ездили до Апрелевки. Поездку тоже можно датировать по мелким деталям. Мы отправились в Мраморный дворец к Шилейке и по дороге встретили его. Мы были легко одеты — скорее всего, без пальто, потому что единственное в моей жизни летнее пальто у меня появилось только в Воронеже и было сшито из материи, купленной в Торгсине (валютный магазин того времени, куда у меня была сотня за страховой полис отца). Шилейко, высокий, худой, диковатый, шел в шубе. Мандельштам спросил, почему он так тепло одет. Шилейко объяснил, что из-за проклятого туберкулеза его всегда знобит. У Шилейки были две смежные комнаты. Нас встретил Тапка, сенбернар. Шилейко сказал, что у него всегда найдется приют для бродячих собак, — «так было и с Аничкой», — прибавил он. Мы промолчали.

Шилейко долго дразнил собаку принесенной булкой. Пес страдал, становился на задние лапы во весь свой громадный рост и клал передние на плечи Шилейке, а тот показывал булку, но брать не позволял. Мандельштам возмутился: «Что вы мучите собаку? Отдайте Тапке булку — он ее давно заслужил... А с Аничкой вы тоже так обращались?» Шилейко ответил, что не отдаст булку: чем больше пес будет стараться из-за куска, тем кусок покажется сладостней. Нашим властям это хорошо известно. Они заставляют нас (или он сказал: вас?) долго скулить, пока не бросят кусок. (Я заметила, что булка была французская, крохотная — так же мало для сенбернара, как тех жалких получек, которые бросаются скулящим людям...) Изложив теорию воспитания граждан и собак, Шилейко без перехода спросил Мандельштама: «Я слышал, что вы написали стихи «низко кланяюсь». Правда ли?» По смутным признакам, приведенным Шилейкой, стало ясно, что доброжелатели так расценили «1 января 1924».

Тапка получил свой кусок, проглотил, улегся на полу и довольно улыбнулся. Мы сели за стол, и Мандельштам прочел «1 января» и спросил: «Ну что — низко кланяюсь?» «Нет, — ответил Шилейко, — но может, есть что другое, где «низко кланяюсь»...» Мандельштам подряд прочел все стихи после «Тристий» и каждый раз спрашивал: «Ну что — низко кланяюсь?» Шилейко отвечал «нет». Раз читалось «1 января», значит, встреча произошла в 1924 году — весной. Осенью мы уже жили в Ленинграде, а Шилейко — в Москве. Шуба на плечах Шилейки по контрасту с нашей одеждой указывает на весну.

Шилейко пожаловался, что Аничка совсем бросила его и даже не хочет носить его фамилию. «Если не Шилейко, как же она будет называться? Не Гумилевой же?» Мандельштам ответил, что Ахматова и есть Ахматова. Шилейко остался недоволен: разве это настоящая фамилия?.. Впоследствии я узнала, что Ахматова болезненно относилась к «кличке» («Татарское, дремучее, пришло из никуда, к любой беде липучее, само оно беда») и действительно оставила бы фамилию Шилейки, если бы они с Шилейкой были зарегистрированы. Но Шилейко в первый раз был женат церковным браком и не решился на развод. Поэтому он сводил Аничку просто в домоуправление. Никто не понимал тогда, как полагается жениться, и Ахматова считала брак зарегистрированным. Только расходясь с Шилейкой, она поняла разницу между загсом и домоуправлением. Смешно, что она обиделась на своего трусливого друга и жаловалась мне на кличку и обман еще в Ташкенте. Мы жили вместе, когда Гаршин овдовел и прислал ей письмо с официальным предложением. Он ставил условие, что она будет носить его фамилию. У меня письмо вызвало взрыв хохота, но она отнеслась иначе. Ей понравилась мысль о настоящей, «законной» фамилии: «Вы же носите Осину фамилию!» Я бы с удовольствием носила бы свою, но никто не хотел ее запоминать — я ведь не Ахматова... Ей надоела «кличка», и она хотела от нее укрыться. Как Мандельштаму, ей надоело «фигурять Ахматовой». Из этого ничего не вышло ей не удалось стать ни Гумилевой, ни Шилейко, ни Гаршиной. Пуниной она и не помышляла быть — ею была Анна Евгеньевна, в девичестве Арене. Документы на Ахматову ей оформил, кстати, Пунин, когда мы жили в царскосельском пансиончике. Куда она, бедная, могла укрыться от Ахматовой? Кличка прилипла так плотно, что разделить их было невозможно.

В хрущевские дни с ней был забавный казус, связанный с «кличкой». Она приехала в Москву на съезд писателей. (Зачем она это сделала? Чтобы ощутить свою реальность на этом нереальном съезде? Не пойму.) Ей отвели комнату в «Метрополе», где каждый вечер собиралась толпа друзей. Раз, когда я там была, пришла скромная женщина с Кавказа, тоже участница съезда и тоже Ахматова. Она специально явилась, чтобы извиниться: ей было совестно называться Ахматовой, да еще писать стихи (кажется, осетинские), но рука не поднялась отказаться от собственной фамилии. Ахматова весело разговаривала с Ахматовой и старательно «подавала первую помощь» (домашний синоним глагола «утешать»). Две Ахматовы остались довольны друг другом. А после ухода одной Ахматовой другая горестно заявила: «А все-таки она — настоящая Ахматова, а я — нет...» Кто из них настоящая? Может, обе... Я почти уверена, что Анна Андреевна выдумала бабушку-татарку по фамилии Ахматова, чтобы оправдать кличку. Была когда-то переводчица Ахматова, никакая не родственница, но скорее всего она, а не выдуманная бабушка подсказала псевдоним молоденькой Горенко-Гумилевой. Интересно, что ни разу в жизни Ахматова не подумала о том, чтобы вернуться к своей девичьей фамилии. И второй любопытный момент: хотя Ахматова так болезненно переносила приставшую к ней «кличку», она сокрушалась, что Мандельштам не взял псевдонима, и считала, что ему очень мешает еврейская фамилия. Об этом пускай судят руситы, питающие отвращение к еврейским нарывам на чистом теле русской поэзии, но могу засвидетельствовать, что Мандельштам никогда не помышлял о псевдониме. Он удивлялся Сологубу, сменившему настоящую и «похожую на него» фамилию Тетерников на нелепый и претенциозный псевдоним (Сологубы, кажется, еще и графы). С Ахматовой, по его мнению, обстояло иначе: она срослась с новым именем, и оно стало неотделимо от нее. Кажется, действительно так, и, будь он жив, он бы вместе со мной посмеялся над Ахматовой, когда она в Ташкенте возмечтала стать приличной профессоршей с вполне законной и традиционной в русской литературе фамилией, любимой интеллигентами средней руки. Господи, Гаршина Анна Андреевна с «красным цветком»...

Мандельштам кончил читать стихи, и Шилейко показывал гипсовые пластинки — копии археологических находок с египетскими, кажется, барельефами. В это время пришла Ахматова, уже не Гумилева и не Шилейко и еще не Гаршина — и совсем не Анюта Горенко... Она была совсем тоненькая и длинная, с чуть испуганным и прелестным лицом. Она не села, а присела на кончик стула, как будто вот-вот сорвется и убежит. Мы были уже знакомы, и она спросила, надолго ли мы приехали. Как будто мы тогда сговорились о дне, когда мы к ней зайдем, и она сообщила нам свой новый адрес. Впрочем, за это не могу поручиться: от желания что-нибудь доказать у людей часто возникают ложные воспоминания.

Наверное я знаю только одно: после того как мы побывали у нее на Неве, Мандельштам взял извозчика и долго катал меня по набережным, чтобы я узнала, как выглядит его город в белые ночи. Значит, стоял конец мая или июнь (по какому стилю?). В первый раз мы были у Ахматовой летом или осенью на другой квартире — без Невы в окнах. И тогда же мы смотрели еще пустую квартиру на Неве. Она долго стояла пустая, да и весь Ленинград был пустым и разоренным. Нам показывали десятки пустых барских квартир, нуждавшихся в ремонте. Мы вспоминали их, доживая последние дни на Якиманке, и я мечтала о ванне и сносном жилье. Вопрос о переезде в Ленинград обсуждался с весны 23 года — еще до Гаспры. Сначала Мандельштам мотал головой — ему не хотелось в Ленинград. А потом он сам о нем заговорил: долго ли нам еще мотаться по чужой, грязной и тесной Москве? Он постепенно привыкал к мысли о возвращении в Ленинград, мертвый город. Решились мы на переезд после белой ночи, когда извозчик прокатил нас по набережным и мостам. Первый из мостов был разведен, и переехать на Васильевский удалось лишь по следующему. Ванька получил груду денег, но в Доме книги уже сочились мелкие получки. Передовая идеологическая Москва почти не кормила.

Ольга Глебова-Судейкина

В первой квартире Ахматовой, где я была, стояло множество фарфоровых статуэток. Моя фаянсовая душа их не выносит. Они кажутся мне принадлежностью педерастивного уюта. Потом фигурок не стало — Ольга Глебова-Судейкина распродала их, чтобы раздобыть деньги на отъезд. У Ахматовой осталось лишь несколько увечных фаянсовых штук, и они прожили с ней всю жизнь в застекленной горке. На Неве вся стена была увешана иконами из собрания Судейкина. Они потом лежали в сундучке, и ими завладела Ира Пунина.

В первый раз мы шли к Ахматовой пешком. Мандельштам топорщился. Как я лелею обиду за путаницу с «первым посвящением», так он продолжал злиться на Ахматову за старое предложение пореже бывать у нее: «ахматовские штучки». Игра в уклончивость и с женщинами, и особенно с мужчинами, будто все потенциальные влюбленные, которых надо держать на расстоянии, действительно была нелепой и внезапно сменяла приветливость и прелестную дружбу, в которой Ахматова была непревзойденным мастером. Вторая причина, почему Мандельштам побаивался встречи, — два выступления в печати («Русское искусство»), где мельком говорилось об Ахматовой. Слова о столпничестве на паркетине — просто грубый выпад, в котором Мандельштам потом очень раскаивался. Третья причина тревоги — он боялся, как встретит меня Ахматова. Незадолго до этого он водил меня к Цветаевой и обиделся на то, что она огрела меня, как могла: «С этими дикими женщинами никогда не знаешь, чего ждать...»

Опасения оказались напрасными — Ахматова выбежала в переднюю, искренно обрадованная гостям. Я запомнила слова: «Покажите мне свою Надю. Я давно про нее слышала...» Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Они говорили о Гумилеве, и она рассказывала, будто нашли место, где его похоронили (вернее бы сказать — закопали). И еще про Оцупа, Горького и записку Гумилева, полученную женой. Оба называли Гумилева Колей и говорили про его гибель как об общем личном несчастье. По имени они называли друг друга только за глаза. Встретились они очень молодыми, но величали друг друга по отчеству. Еще в моем поколении люди рано обретали отчество, и это хорошо звучало. Сейчас отчество как будто отсыхает. Потом Ахматова спросила Мандельштама про стихи и сказала: «Читайте вы первый — я люблю ваши стихи больше, чем вы мои». Вот они — «ахматовские уколы»: чуть-чуть кольнуть, чтобы все стало на место. Это был единственный намек на статьи Мандельштама. Он долго читал стихи, и я почувствовала ее отношение к ним. Одним я могу похвастаться — я всегда умела спокойно молчать и не самоутверждаться, как многие жены, непрерывно влезая в разговор. Честно говоря, я считаю это большим достоинством. Почему мне не дали за это премии?

Во второй раз, на Неве, Мандельштам опять читал стихи, «отчитывался за истекший период», как они говорили. Тогда он прочел «1 января» и рассказал про «низко кланяюсь»... Это задело его больше, чем он показал Шилейке. «За истекший период» больше ничего не было, потому что «современника» он вытащил из небытия гораздо позже. Дважды они друг другу стихов не читали, так как запоминали их с первого чтения.

Мне было интереснее посмотреть на Ахматову, чем ей на «вашу Надю», и я запомнила наши первые встречи лучше, чем она. Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если так, но считаю, что случилось это благодаря ей — она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все — и первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля, и я это очень ценю. Возобновлению добрых отношений содействовала и Оленька Судейкина. Из всех двойников (не говорить же — двойничих, чтобы указать на женский пол) Ахматовой она была самой приветливой и доброжелательной, легкая и милая попрыгушка, уже испытавшая тяжкий голод и беды страшных революционных лет.

Ольгу я видела дважды под крышей — с Ахматовой — и много встречала на улицах. Как говорил Мандельштам, у нее был «высокий коэффициент встречаемости». Она бегала по городу, собирая бумаги и продавая вещи для отъезда, и жаловалась на чиновников и управдомов, а также на отмену буквы «ять». С исчезновением «ять» фамилия Глебова, по ее мнению, получала йотированную гласную и становилась Глёбовой. Мила она была дома, а не на улице: у нее в запасе имелась тысяча игривых штучек, чтобы отвлечь от мыслей, развеселить и утешить усталого петербуржца. Штучки носили резко выраженный петербургский характер, отличавшийся от фокусов ее московских современниц, но и московские, и петербургские куклы разработали свой жанр до ниточки. И те и другие были изрядными кривляками, но москвичка перчила свое кривлянье грубоватыми фокусами, а петербуржанка стилизовалась под «котенка у печки». Оленька была вся в движении. Она стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула ее за поясок микроскопического фартушка. Мне показалось, что Глебова-Судейкина вся в оборочках, рюшиках и воланах, но на самом деле оборочки исчезли вместе с молодостью и «кавалерами». Ольга была старше Ахматовой. Хоть она и вертелась как заводная, выглядела она поблекшей и усталой.

Голодные и холодные зимы даром пройти не могли. Гладкость кожи, бледность и отсутствие возраста — ей минуло тогда что-нибудь под сорок, а может, и «за» — у таких не разберешь, — безвозрастность характерна для женщин, которые умываются невской водой. Они всегда чуть блеклые — и на заре, и на склоне. Как все куклы этого города, Ольга казалась принаряженной, но совсем не хорошо одетой: все устарело, как воланчики и рюши, которые, может, мне просто приснились, чтобы стилизовать Ольгу.

Подав чай, Ольга исчезла, чтобы не мешать разговору. Характер своей подруги она изучила: Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью. В Ташкенте, когда мы жили вместе, большинство народу приходило к нам обеим, но дважды она выставляла и меня, потому что я задержалась на секунду при ее, а не при общих знакомых. В бродячие годы старости, когда она проводила зиму, странствуя по Москве — от одной подружки к другой, задерживаясь у каждой по две недели, — она хлопала дверью перед носом каждой приютившей ее хозяйки, пока та не приучалась к молниеносному отступлению. В последние годы Ахматова «наговаривала пластинку» каждому гостю, то есть рассказывала ему историю акмеизма и собственной жизни, чтобы он навеки запомнил их и повторял в единственно допустимом ахматовском варианте. В Москве наговоренные пластинки быстро стирались. В Ленинграде, говорят, Найман хорошо их записал. Интересно, есть ли в перечне влюбленных Мандельштам? Он попал туда через тридцать лет после своей смерти. В короткие поездки за границу кое-какие пластинки запечатлелись, как она мечтала. Если что-нибудь запишет Эмма Герштейн, она исказит все до неузнаваемости. У нее есть дар путать. Она не раз рассказывала мне истории из моей собственной жизни, от которых я открывала от изумления рот. Ахматова смертно боялась потенциальных мемуаров Эммы и заранее всячески ее ублажала. Вариант акмеизма Ахматовой, в общем, совпадает с моим, полученным от Мандельштама, хотя он и был немногословен. И о том, что Гумилев действительно был в нее сильно влюблен, свидетельствуют все друзья юности и Андрей Горенко, а настоящей причины разрыва все-таки не знал никто. Мне кажется, никогда нельзя узнать о настоящей причине разрыва. Это всегда остается тайной, не очень понятной и двоим, которые расстаются друг с другом. Ахматова говорила, что, не будь революции, она, скорее всего, не развелась бы с Гумилевым, но заняла бы флигель во дворе и там собирала у себя друзей и активно вела «литературную политику». Для меня, подруги неистовой, бродячей

Ахматовой, эта дама во флигеле гумилевского дома почти невообразима. Боюсь, что там бы заправлял Недоброво, который отучил бы ее от возмутительного жеста рукой о коленку... Кто бы сумел повторить этот жест?

В 23 году Ахматова еще не «наговаривала пластинок» и искренно хотела поговорить с гостем с глазу на глаз, не считая двух глаз жены друга. Поэтому-то Ольга сбежала, а потом то и дело появлялась в комнате, чтобы постучать каблучками и вызвать улыбку. Она возникла в комнате, когда Мандельштам читал стихи, и, стоя в сторонке, разыграла взволнованную слушательницу, а потом снова исчезла. Мандельштам обращался с Ольгой с шутливой нежностью, а с Ахматовой очень по-товарищески, открыто, прямо и серьезно. Она отвечала ему тем же.

Кто-то выдумал, что Ольга была выдающейся танцовщицей. Чепуха: «цветок театральных училищ» или «булавочно-маленькая актриса». Капля жеманства и чуть-чуть припахивает Кузминым. Герой «Поэмы без героя» ведь тоже от Кузмина. Я еще читала, что Кузмина считают на Западе единственным другом Ахматовой. Бред! Они относились друг к другу, как кошка с собакой, и Кузмин вполне закономерно примкнул к другой Анне — к Радловой. А вообще Ахматова дружила с миллионом людей, и со всеми у нее были глубоко личные отношения.

Толпы женщин и полки мужчин самых разных поколений могут рассказать о ее бессмертном даре дружбы, об озорстве, не покинувшем ее и на старости, о сидении за столом с закуской и водкой, когда «все попадали со стульев, так она их развеселила». Чего ей хотелось быть дамой, перед которой стоят на коленях (бывают ли такие?), когда она была чудной и шалой женщиной, поэтом и другом?

Ахматова считала Ольгу воплощением всех женских качеств и постоянно сообщала мне рецепты, как хозяйничать и обольщать людей согласно Ольге Афанасьевне Глебовой-Судейкиной, козлоногой героине «Поэмы», в которой нет героя. Тряпка должна быть из марли — вытереть пыль и сполоснуть... Чашки тонкие, а чай крепкий. Среди секретов красоты и молодости самый важный темные волосы должны быть гладкими, а светлые следует взбивать и завивать. И тайна женского успеха по Кшесинской — не сводить «с них» глаз, глядеть «им» в рот — «они» это любят... Это петербургские рецепты начала века. Я говорила: «Старина и роскошь», но Ахматову переубедить не могла, хотя сама она брала совсем не этим.

Еще я наслушалась про Оленькины куклы из тряпок и всякие безделки в стиле «Мира искусства». К тому времени уже изрядно надоел и «Бубновый валет», и все «Ослиные хвосты», а про «Мир искусства» я и слышать не хотела[20]. Так Оленька продолжала жить с нами в другой жизни, которую она, к своему счастью, отведала в меньшей дозе, чем мы. Ольга не раз играла в жизни Ахматовой умеренно роковую роль, отбивая у нее друзей. Так случалось несколько раз, в частности с самоубийцей из поэмы. Тем милее дружба этих поразительно не похожих друг на друга двойников, что они не позволили пробежать между собой никакой черной кошке. Возможно, я недооценила красоту Ольги. Может, она действительно была «белокурым чудом». Но нельзя забывать, что вкусы меняются, и в моем поколении ценилась женщина, что в моде и сейчас. Она совсем не кукла, и у нее нет правил для блондинок и брюнеток. Или правила у нее другие. Впрочем, я отстала, и «подружка» уже тоже не в моде. Сейчас, говорят, появились энергичные и деловые покровительницы расслабленных мальчишек. Глаза бы не видели...

---

[20] *Далее следовало*: В Оленьке я оценила непритворное и тем и очаровательное доброжелательство.

А теперь про женщину, переходившую Красную площадь[21]. Она семенила ножками, а в руках держала крошечную сумочку. Сложное светлое платьице-костюм было все в украшениях, а на голове шляпка, как грибок, с веночком из мелких цветов. Мандельштам тогда и написал про женщин, обдумывающих странные наряды (поздняя прибавка к стихам о Феодосии). «Она сумасшедшая, — сказала я, — какие у нее напряженные движения». «Это Оленьки», — сказал Мандельштам. Увидав «Оленек», я вспомнила про пешеходку, резко выделявшуюся на московской площади походкой, шляпкой, фестончиками и незаслуженным бедствием — отсутствием кареты. Оленьке Глебовой-Судейкиной была бы ни к чему карета. Попрыгушка, она бы выскочила из кареты, чтобы постучать по тротуару высокими каблуками. В Париже Ольга, наверное, приспособилась к входившим тогда в моду толстым резиновым подошвам. Каучук еще лучше — не скользит.

Старые друзья

Очень давно, еще в Киеве, мы с Мандельштамом зашли в книжный магазин Оглоблина, и я спросила: «Что это еще за Радлова?» Мандельштам сказал, что Радлова — ученица Зелинского, поэтесса, пытается конкурировать с Ахматовой и плохо о ней говорит. Из-за этого друзья Ахматовой перестали у нее бывать. Он прочел смешной стишок-пародию про архистратига, который входит в иконостас. Стишок кончался многозначительным: «И пахнет Валерьяном» намек на роман Радловой с Валерьяном Чудовским. Он был из тех, кто, здороваясь, не снимает перчатку. Году в тридцатом я видела его с женой в санатории Цекубу. К ним привозили чудного крошечного мальчика, и мне стало страшно, что в такие годы появляются дети — что с ними будет? Жена Чудовского сказала, что надо интеллигентам иметь детей в противовес всем пролетарским младенцам. Я не уверена, что у интеллигентов обязательно рождаются интеллигенты. Качества эти по наследству не передаются. Где они все? Вид у них был гибельный, особенно у брата жены, ходившего на лыжах, как архистратиг...

---

[21] *Первоначально было*: Мы шли с Мандельштамом по Москве в начале двадцатых годов. Вдруг он показал мне женщину, переходившую улицу где-то возле Красной площади.

Вакансию первого поэта-женщины я с ходу — у витрины книжного магазина — предоставила Ахматовой[22]. Мандельштам и Эренбург говорили при мне о Цветаевой, но я отмахивалась и от нее. Я допускала существование нескольких мужчин-поэтов, но для женщин мой критерий был жестче — одна вакансия, и хватит. И вакансия прочно занята. Остальных по шапке... В пору моей молодости у каждого читателя был первый поэт, и я разделяла моду своего времени. Роман Якобсон, как я по отношению к женщинам, всю жизнь вел борьбу за своего единственного ставленника — Маяковского. Он допускал любую дезинформацию по отношению к другим поэтам, лишь бы возвеличить своего «первого»... Впрочем, говорят, его «первым» был Хлебников.

С борьбой каждого читателя за своего «первого поэта» я столкнулась очень рано, еще гимназисткой. Мой учитель латыни и приятель Володя Отроковский уговорил меня, пятнадцатилетнюю девочку, отказаться от Блока, потому что существует Анненский. Он научил меня чувствовать прелесть Анненского, но загубил первое доверчивое чтение Блока. Борьба за первого поэта в ходу и сейчас. Когда в конце пятидесятых годов Мандельштам воскрес из небытия, читатели Пастернака примирились с существованием двоих (не все, конечно, но многие), но тот, кто выступил за Шенгели и в кровь избил жидолюба-мандельштамиста, вернул славные традиции прошлого. Я объяснила мандельштамисту, что появление крупного поэта всегда сопровождается подъемом поэзии и появлением многих хороших поэтов, а потому надо прекратить нелепую игру. Мандельштамист только закрывал лицо руками и стонал. Как им объяснить, что поэт не может существовать в одиночестве — и недаром сказано про «двух соловьев перекличку»... Сейчас уже утихают драки между сторонниками Ахматовой и Цветаевой. Борьба за женщину длилась дольше. Только руситы ищут себе ставленника без подозрительной крови в жилах. Они перебирают прошлое и почему-то не замечают Клюева. Боюсь, что их выдвиженец поразит всех неожиданностью и блеском. Чем не вождизм все эти поиски одного на одну первую вакансию?..

---

[22] *Далее следовало:* Кузмин ставил на Радлову.

Поэты в непристойном конкурсе не участвовали. Шалости Есенина в счет не идут. Он-то прекрасно знал, что это лишь озорство, игра, что угодно, но не борьба за первое место. Занимались этим не поэты, а прихлебатели, а для поэтов характерна дружеская тяга друг к другу. Когда Маяковский в начале десятых годов приехал в Петербург, он подружился с Мандельштамом, но их быстро растащили в разные стороны. Тогда-то Маяковский поведал Мандельштаму свою жизненную мудрость: «Я ем один раз в день, но зато хорошо...» В голодные годы Мандельштам часто советовал мне следовать этому примеру, но в том-то и дело, что в голод у людей не хватает на этот «один раз в день»... Катаев, рассказывая про встречу Маяковского и Мандельштама у Елисеева, конечно, что-то напутал и приврал (типичный маразматист-затейник). Маяковский крикнул через тогда еще узкую стойку с колбасами: «Как аттический солдат, в своего врага влюбленный...» Бедняге уже успели внушить, что у него есть враги — классовые и прочие... Хорошо, что он не потерял способности любить классово чуждых поэтов... Мандельштам же влюблялся в поэтов — в книгу, в одно стихотворение или даже в одну строчку.

В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган. Наиболее стойким оказалось ее увлечение Пастернаком, после того как вышла «Сестра моя — жизнь». Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. Ахматова говорила, что лишь Цветаева с честью вышла из этого испытания: Пастернак обогатил ее, и она не только сохранила, но, может, даже обрела благодаря ему настоящий голос. Я тоже думаю, что поэмы («Горы», «Лестницы» и др.) — самое сильное, что сделала Цветаева.

Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомства не получилось. Известную роль сыграло то, что я отдала вакансию Ахматовой и потому Цветаеву проглядела, но в основном инициатива «недружбы» шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей (еще меня обвиняла в ревности — с больной головы да на здоровую!), но самое главное — в ту пору и, пожалуй, до конца своих дней Цветаева с полным равнодушием относилась к стихам Мандельштама. Я прочла в письмах, изданных в Самиздате: Цветаева считала, что сама может писать, как Мандельштам, как бы владеет его секретом. Тайной для нее вскоре после нашей встречи стал Пастернак. Умные они все были люди, но судили о вещах, точнее, о собственном ремесле с полной наивностью: настоящий поэт никогда не может писать, как другой настоящий поэт. Стихи неповторимы, как личность. Даже крохотный подлинный поэт имеет свой неповторимый голос. Умеют писать под другого поэта только специалисты по пародиям и версификаторы. Они-то и есть «журнальная поэзия»...

В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров — никто из нас не сумел сказать ни одного человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали.

Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской — недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались — звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але, — сказала она. — Вы ведь помните Алю...» А потом, не глядя на меня, прибавила: «А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих...»

Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Как потом мне сказал Мандельштам, там была раньше столовая с верхним светом, но фонарь, не мытый со времен революции, не пропускал ни одного луча, а только сероватую дымку. Пыль, грязь и разорение царили во всех барских квартирах, но здесь прибавилось что-то ведьмовское — на стенах чучела каких-то зверьков, всюду игрушки старого образца, в которые играли, наверное, детьми еще сестры Цветаевы — все три по очереди. Еще — большая кровать с матрацем, ничем не прикрытая, и деревянный конь на качалке. Мне мерещились огромные пауки, которых в такой темноте я разглядеть не могла, танцующие мыши и всякая нечисть. Все это добавило мое злорадное воображение...

Визит к Але длился меньше малого — несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, вернее, из жилой комнаты (там, как оказалось, была еще одна жилая комната, куда Марина не соблаговолила меня пригласить), поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет... Сесть он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор, но Мандельштам отвечал односложно и холодно — самым что ни на есть петербургским голосом. (Дурень, выругал бы Цветаеву глупооткровенным голосом, как поступил бы в тридцатые годы, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею...) Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Еще она сняла со стены чучело не то кошки, не то обезьянки и спросила Мандельштама: «Помните?» Это была «заветная заметка», но покрытая пылью. Мандельштам с ужасом посмотрел на зверька, заверил Марину, что все помнит, и взглянул на меня, чтобы я встала. Я знака не приняла.

Разговора не вышло, знакомство не состоялось, и, воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня. Одно из самых нелепых ощущений «семейной жизни» — быть уводимой. Мандельштам взглядом говорил мне, что пора уходить. Я из упрямства ничего не замечала, тогда он говорил «идем» или без слов подходил и вроде как помогал мне встать. Получалось, будто он тащит меня за шкурку, как котенка. Вероятно, я царапалась, но уходить приходилось, когда ему заблагорассудится. Чаще всего так случалось со старыми знакомыми Мандельштама, «встреча» с которыми по той или иной причине не удалась. Однажды нас зазвал к себе Пронин, открывший в Москве поздний вариант «Бродячей собаки»[23]. На тахте у него развалились две девицы. Они тотчас пристали к Мандельштаму, но только я успела пристроиться на тахте рядом с ними, как была насильно уведена. Мандельштам почуял богемный дух и бежал, а рядом с нами семенил Пронин и просил остаться: сейчас будет кофе — еще одну минутку. Мне хотелось побыть еще, выпить кофе, поболтать с девицами, но ни один котенок, которого схватили за шкурку, не освобождается от своего обидчика.

Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату — большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, — въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет... Однажды Марина рассказала, как ходила за деньгами к Никитиной и, ничего не получив, разругалась с незадачливой издательницей. Аля, обидевшись за мать, стянула со стола книжку Цветаевой и выскочила на улицу. Она не хотела, чтобы в доме, где обижают мать, лежала ее книга. Я целиком на стороне Цветаевой и Али — тем более что устойчивость Никитиной кажется мне странной. Каким образом она по нынешний день сохранила свой архив, хотя за строчку дневника или тень архивных заметок людей годами гноили в лагерях. Просто ли ей повезло или что-нибудь способствовало удаче? И все же лучше, чтобы дети росли без подобных эмоций. Не знаю, можно ли их охранить в обреченной среде. Я бы не могла. Хорошо, что мы вовремя сообразили, что живем не в идиллическую эпоху, и не завели детей.

Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия. Я запомнила стриженую голову, легкую — просто мальчишескую — походку и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще и жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию, как Ахматова. Сейчас, прочтя стихи и письма Цветаевой, я поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Ей требовалось упоение не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей... В такой установке я вижу редкостное благородство, но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают «пиру чувств». Нечто подобное я заметила у ее сестры Аси, с которой сложились гораздо более человечные отношения, чем с Мариной. Да и не только у сестер Цветаевых видела я удивительное сочетание неистовства и равнодушия. Такова была мода времени — своеобразное мелкое своеволие, построенное на «хочу не хочу»... Оно культивировалось в десятые годы и дало нелепые варианты у менее талантливых представительниц двадцатых. У последышей роскоши чувств не было и в помине, но небрежность к тем, кто казался в эту минуту «малоинтересным», подчеркивалась всеми силами. То, что у сестер Цветаевых вырывалось с почти стихийной силой (в особенности у старшей), выглядело у москвички двадцатых годов, причастной к искусству, разумеется, обыкновенной невоспитанностью. (Я сама была б в их числе, но при Мандельштаме осуществить все «номера» не удалось бы никому — приходилось выбирать: либо он, либо элегантные трюки современности.) Я знала неудачливую художницу, которая ложилась спиной к гостям мужа, человека выдающегося, чтобы показать, что она живет отдельной жизнью и равнодушна ко всему, что не имеет отношения к ее искусству. Лечь спиной к гостям — характерный для двадцатых годов поступок. Эти женщины, мелкие «хочу — не хочу», были начисто лишены «приветливости, которая все-таки украшает жизнь». У женщин мелкое своеволие выражалось в домашнем свинстве, у мужчин внешние признаки не так бросались в глаза, но их общественное поведение — и это несравненно существеннее — сводилось к тому же «хочу — не хочу», в основе которого лежит «выгодно — невыгодно». Блестящее и талантливое своеволие десятых годов, вырождаясь, обнаруживало свои свойства. Не следует жаловаться на внешние обстоятельства — мы получили то, что заслужили. В каждом из нас был «мирок», в котором отражался весь внешний мир, и каждый своим «мирком» подготовлял события внешнего мира. Это относится к прошлому, но ведь и сейчас происходит тот же процесс: не пора ли подумать, как каждый из ныне действующих людей, как бы мало он ни соотносился с теми сферами, где делается будущее, влияет своим душевным строем, своими мыслями и желаниями на это складывающееся и, как кажется на первый взгляд, неотвратимое будущее. Оно складывается из духа времени, из расположения каждого человека, его вкусов, мыслей и желаний, его «хочу — не хочу».

---

[23] «Странствующий Энтузиаст» (Примеч. Н. Я. Мандельштам).

Цветаева уехала, и больше мы с ней не встречались. Когда она вернулась в Москву, я уже жила в провинции, и никому не пришло в голову сказать мне об ее возвращении. Действовал инстинкт сталинского времени, когда игнорировали вернувшихся с Запада и не замечали случайно уцелевших родичей погибших. Обо мне почти сразу Харджиев или Герштейн сообщили Ахматовой, что я «опровинциалилась» и стала «учительницей», чего и всегда следовало ожидать. (Провинциальные учительницы были гораздо больше похожи на людей, чем мои блестящие москвичи.) Ахматова не захотела выдавать «доносчика», да я и не настаивала, потому что случай типический. От семьи ссыльного отказываться неудобно — лучшие среди нас искали для своего отказа приличный предлог. Чаще всего они объясняли свое отступление тем, что им стало неинтересно с загнанным, потому что он поблек, стал другим... В роскошной империи нового стиля шел пир, и каждый день приносил новости. Обсуждали пьесы Светлова, стихи Сельвинского, базис и надстройку, фильм с псами-рыцарями и течение рек, которые собирались повернуть вспять. Какое было дело вдове какого-то Мандельштама до какой-то Цветаевой? Обе они «опровинциалились» — одна в Париже, другая в стоверстной зоне.

Я быстро научилась никому не звонить по телефону и никуда не заходить без упорного зова. (До войны никто и не звал, после войны — чуть-чуть, двое-трое. Одна Ахматова была тверда в своей дружбе, как никто.) Цветаева не выдержала еще одной изоляции, в которую попала в прикамском городке. Асеев и Тренев поучали ее смирению: в дни войны никого не интересуют отдельные судьбы и бывшие поэты... Отдельные судьбы не волновали никого ни в дни войны, ни в годы великих и малых достижений. На том стоим. Это совсем нетрудно — стоять на таком. Техника отлично разработана.

Я пожалела, что не видела Цветаеву, когда в Ташкенте Ахматова рассказала про встречу с ней — это была первая и единственная встреча за всю жизнь. Цветаева жаловалась на брехню Георгия Иванова, который переадресовал обращенные к ней стихи Мандельштама неизвестной докторше, содержанке богатого армянина. (Ну и воображение у этого холуя!) Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой («На розвальнях, уложенных соломой...», «В разноголосице девического хора...» и «Не веря воскресенья чуду...»). А может, лучше, что мы не встретились. Автор «Попытки ревности», она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму «посвятить» ей стихи. Где она видела посвящения над любовными стихами? Цветаева отлично знала разницу между посвящением и обращением. Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней, а посвящение — дело нейтральное, совсем иное, так что «недавняя и ревнивая жена», то есть я, в этом деле совершенно ни при чем. И Ахматова, и Цветаева — великие ревнивицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них как до звезды небесной. Ахматова справедливо считала отсутствие ревности женской бездарностью и с восторгом повторяла слова Г. К.[24], что, появись у нее соперница, она ее задушит собственными руками. Ахматова грозилась другу, что «из-за плеча твоей невесты глянут мои полузакрытые глаза» и «берегись твоей подруге страстной поведать мой неповторимый бред», но со своими соперницами дружила и даже жалела их: «Но скажи мне, на крестную муку ты другую посмеешь послать?..» Ее гнев и ревность были обращены против реальных виновников всех бед. Цветаева же здорово растоптала соперницу: «Как живется вам с простою женщиною? Без божеств?.. С пошлиной бессмертной пошлости... Как живется вам с товаром рыночным?.. Как живется вам с стотысячной — вам, познавшему *Лилит*...» Она бы мне, «рыночному товару», показала, что не следует соваться в чужие и запретные области... Я поражаюсь неистовой силе и самоотдаче Цветаевой. Такие женщины — чудо. Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только позавидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. (Меня наградили другой болью — никому не пожелаю.) Простым смертным это не дано.

В стихотворении о том, как Мандельштам гулял по кладбищу с Цветаевой и вдруг сообразил, что «с такой монашкою туманной остаться, значит — быть беде» (Цветаева выдумала, что монашенка — нянька и еще кое-что), поставлено отточие вместо двух строчек, напечатанных в «Аполлоне». Харджиев сначала просил меня подтвердить его предположение, что две строчки были сочинены Лозинским, потом решил, что безопаснее сослаться на разговор с мертвым: «В 1932 году Мандельштам сообщил редактору настоящего издания, что эти стихи были сочинены М. Л. Лозинским». В 32 году Харджиев действительно заходил к нам с Трениным, и Мандельштам читал им новые стихи, а я выходила из комнаты, потому что в коридоре готовился обед. Но я ручаюсь, что Мандельштам не мог сообщить того, чего не было. Стихотворение первоначально состояло из пяти строф. Выкинутую строфу Мандельштам никому не читал. В сокращении он оставил две строчки про «овиди степные», но в таком виде они нарушали синтаксис. Кроме того, слово «овиди» было ему чуждо — он услыхал его от Цветаевой. Я видела рукопись пятистрофного стихотворения. Она хранилась вместе с материнскими письмами и черновиками в рабочей корзинке матери. Брат Шура играл в отсутствие Мандельштама в карты с солдатами, они сбили висячий замок и разобрали рукописи на цигарки. Мандельштам помнил ненапечатанную строфу, но предпочитал, чтобы она нашлась в архиве у Цветаевой. Он верил в архивы и в стихолюбов, которым отточие укажет, где и что искать. Цветаева, должно быть, забыла эти строчки, а рукопись потеряла. Архивы в наш век оказались столь же ненадежными, как стихолюбы. Кое-что все же ко мне вернулось. В очерке «Сухаревка» Мандельштам привел строчку из стихотворения «Все чуждо нам в столице непотребной...» и сказал: «Пусть ищут после моей смерти». Я не искала, но стихотворение неожиданно пришло ко мне от Габричевского. Может, когда-нибудь найдется и строфа из стихотворения, обращенного к Цветаевой.

---

[24] Гали Козловской (*Примеч. Н. Я. Мандельштам*).

Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама (для него жизнь и работа равнозначны). Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Стихами Цветаевой открывается «Вторая книга», или «Тристии». Каблуков, опекавший в ту пору Мандельштама, сразу почуял новый голос и огорчился. Все хотят сохранить мальчика-с-пальчик. Каблукову хотелось вернуть Мандельштама к сдержанности и раздумьям первой юношеской книги («Камень»), но роста остановить нельзя. Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы, о которой говорится в статье о Чаадаеве. В «Камне» Мандельштам берет посох («Посох мой, моя свобода, сердцевина бытия»), чтобы пойти в Рим: «Посох взял, развеселился и в далекий Рим пошел», а в «Тристии», увидав Россию, он от Рима отказывается: «Рим далече, — и никогда он Рима не любил». Каблуков тщетно добивался отказа от Рима и не заметил, что его добилась Цветаева, подарив Мандельштаму Москву.

Я уверена, что наши отношения с Мандельштамом не сложились бы так легко и просто, если бы раньше на его пути не повстречалась дикая и яркая Марина. Она расковала в нем жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви, которая поразила меня с первой минуты. Я не сразу поняла, что этим я обязана именно ей, и мне жаль, что не сумела с ней подружиться. Может, она и меня научила бы безоглядности и самоотдаче, которыми владела в полную силу. У Ахматовой есть строчки: «Есть в близости людей заветная черта, ее не перейти влюбленности и страсти» и прочим высоким человеческим отношениям. Я теперь точно знаю, что неполная слиянность порождена далеко не только герметичностью человека, а в гораздо большей мере мелким индивидуализмом, жалким самолюбием и потребностью в самоутверждении, то есть пошлейшими чертами не великих ревнивиц, а мелких самолюбивых дур, принадлежащих к рыночному товару, стотысячных, заклейменных Цветаевой. И я кляну себя, что наговорила слишком мало диких слов и не была ни чересчур щедрой, ни вполне свободной, как Цветаева, Мандельштам и Ахматова.

Встретившись с Ахматовой, Цветаева жаловалась на судьбу, была полна горечи и вдруг, наклонившись, сказала, как ходила смотреть дом, где прошло ее детство, и увидела, что там по-прежнему растет любимая липа. Она умоляла Ахматову никому не открывать эту тайну, иначе «они узнают и срубят». Одна липа и осталась: «Поглотила любимых пучина, и разрушен родительский дом...» Я не знаю судьбы страшнее, чем у Марины Цветаевой.

(окончание следует)

Блудный сын

I. Начало и конец

Мандельштам всегда — всю свою жизнь — стремился на юг, на берега Черного моря, в Средиземноморский бассейн. Сначала он узнал Крым и полюбил восточный берег, потом, в двадцатом году, побывал на Кавказе, пробираясь окольными путями из Феодосии в Петербург. В двадцать первом году он уже со мной провел с полгода в Грузии, а в тридцатом мы с мая по ноябрь прожили в Армении и в Тифлисе, где после долгого молчания к нему вернулись стихи. Я говорю о настоящих путешествиях, а не о курортных поездках, которых было гораздо больше.

Средиземноморский бассейн, Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, «по которой учились первые люди». Исторический мир Мандельштама ограничивался народами, исповедующими христианство, и Армению он понимал как форпост «на окраине мира» («Все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы. И отвернулась со стыдом и скорбью от городов бородатых Востока»)... В те годы мы на каждом шагу видели следы мусаватистских погромов (одна Шуша чего стоила!), и это углубляло ощущение окраинности, окруженности чуждыми людьми и странами. Неожиданно в стихах об Армении проскользнула тема конца, гибели, завершенности: «И с тебя снимают посмертную маску».

Уезжая, Мандельштам навсегда простился с Арменией: «Я тебя никогда не увижу, близорукое армянское небо, и уже не взгляну, прищурясь, на дорожный шатер Арарата», а в Москве не переставал вспоминать ее и мечтать о новом путешествии. Армения полностью вытеснила Крым, и в стихах московского периода (1930–1934) тяга на юг связывалась с

Арменией. Крым назван только в «Разговоре о Данте», в рассказе о том, как Мандельштам, думая о структуре «Божественной комедии», откровенно советовался с коктебельскими камушками, а незадолго до этого в Старом Крыму появилось стихотворение «Холодная весна. Голодный Старый Крым...». Это стихотворение принадлежит не к историософскому, а к актуально-политическому разряду. Тот Крым, который мы видели, наводил на мысли не о возникновении культуры, а о конце и гибели.

Маленький городок был переполнен беглецами и бродягами с Украины, где в начале тридцатых годов был невероятный крестьянский голод, связанный с раскулачиваньем и коллективизацией. По силе и ужасу он был равен только голоду в начале двадцатых годов в Поволжье. Мне думается, что татарские набеги и Тамерлан не привели к таким последствиям, как раскулачиванье. Убегая или спасаясь от набегов, люди держались вместе для обороны или освоения новых земель, а раскулачиванье вызвало настоящее рассеянье: каждый спасался в одиночку, в крайнем случае — с женой и детьми. Родителей бросали где попало — старикам все равно умирать. Вокруг городов возникли землянки, где ютились сорванные с мест крестьянские сыновья. Постепенно они врастали в жизнь города, но обычно не сами беглецы, силы которых были исчерпаны, а их дети. Мне случалось бывать в землянках, когда меня в Ульяновске как преподавателя посылали переписывать избирателей к выборам. Меня поражала чистота и скученность, в которой жили в землянках. Родители еще не утратили традиционной крестьянской приветливости. Это обычно были люди за сорок лет. Стариков среди них я не видела ни разу, ни одного... Подростки и юноши, испытавшие в раннем детстве голод раскулачиванья, а потом войны, принадлежали к далеко не худшему разряду городских детей. В землянках жили бедственно, но о пьянках не слышали, чужим не доверяли, «компаний не водили», напрягая все силы, пытались спастись и вылезть из-под земли на поверхность. Я пила у них жидкий чай или заварку с земляничным листом, мы осторожно прощупывали друг друга. Большинство выбралось из деревни во время войны, некоторые в тридцатых годах. Расспрашивать подробно не полагалось: и я и они научились держаться начеку. Тем не менее мы молча сочувствовали друг другу, и это выражалось в том, что все мои избиратели приходили голосовать рано утром, чтобы не задерживать меня на участке. Агитатор отвечает за своих избирателей и торчит около урн, пока все не проголосуют. Уходя с участка, многие из моих избирателей спрашивали: «Скоро тебе домой? Кто там отстал?» — и, вернувшись, торопили отставших. И они и я выполняли подневольную церемонию и старались облегчить ее друг другу, но сказать откровенно хоть слово не смели. Никто на участке не понимал, почему у меня, сомнительной гражданки и, наверное, плохого агитатора, дело идет как по маслу, так что к десяти утра я отправляюсь домой, а звезды пединститута — мы работали на «подшефном участке» — сидят до ночи и мечутся по городу в поисках загулявших избирателей. Ни разу ни один избиратель не спросил меня, куда и кого избирают. Такие вопросы задавались только «звездам» в надежде, что они напутают и можно будет сделать им пакость. Мы действовали по простому правилу: раз требуют, надо сделать, иначе «они» не отстанут. Шли последние сталинские годы и первое десятилетие со смерти Мандельштама.

С жителями землянок и сараев мы сталкивались всю жизнь. В 33 году в Коктебеле Мандельштам привел к нам в комнату маленького мальчика, побиравшегося по пансионам и домам отдыха. Он напоил мальчика молоком, а на следующий день мальчик привел брата и сестру — еще меньше. Мандельштам утром бежал за молоком, зная, что к нему явятся дети получать паек. Через несколько дней пришел и отец, молодой украинец, бежавший с голоду из родной деревни. Мы жили в писательском доме отдыха, но писателей там не было сезон еще не наступил. (Мандельштама и Андрея Белого писателями считать нельзя — я говорю про настоящих, советских.) Жили весной одни мелкие служащие издательств Ленинграда и дочь Римского-Корсакова с сыном. Московский дом отдыха находился в доме Волошина, и в досезонный период там жили служащие московских издательств. В писательский Коктебель мы бы не поехали — страшно... Служащие, народ добросердечный и простой, бухгалтеры, счетоводы, канцеляристы, познакомились с детьми и стали откладывать куски с обеда, чтобы подкормить голодную стайку. Вскоре они собрали денег и отправили всю семью домой, где голод уже пошел на убыль.

Семья эта даже не принадлежала к раскулаченным. Они поддались общей тяге — бежать куда глаза глядят. На Украине и на Кубани голод свирепствовал вовсю, и люди вымирали целыми селами, но и беглецы погибали на всех путях и дорогах. Спасения не было и нет нигде. В этом сейчас убедились и не бегут больше никуда — да и жить стало легче. Эра метаний кончилась. Сейчас из деревни убегают только отслужившие военную службу юноши. Они женятся на ком угодно, лишь бы попасть хоть в районный городок. Впрочем, это сведения десятилетней давности, начала шестидесятых годов. Сейчас могло измениться — деревня, говорят, сыта.

Последний в жизни Мандельштама Крым был наводнен беглецами: «Тени страшные Украины, Кубани...» По утрам мы выслушивали рассказы, где ночью разломали саманную стенку, чтобы завладеть мешочком с пайковой мукой или крупой. В Старом Крыму мы месяц ели сухари, высушенные из московского хлеба, но на базаре продавали мясо и масло. Магазины исчезли. Карточки еле отоваривались, и беглецам, чтобы не умереть с голоду, только и оставалось, что ходить с протянутой рукой — только никто не подавал, потому что и горожане были нищими — или грабить. Самое удивительное, что не все вымерли, а как-то перебились, вырыли землянки, осели, спаслись. Сейчас же в маленьких городках можно купить в магазинах крупу, масло и сахар. Такой рай длится уже лет десять.

В Коктебеле все собирали приморские камушки. Больше всего ценились сердолики. За обедом показывали друг другу находки, и я собирала то, что все. Мандельштам был молчаливый, ходил по берегу со мной и упорно подбирал какие-то особые камни, совсем не драгоценный сердолик и прочие сокровища коктебельского берега. «Брось, — говорила я. — Зачем тебе такой?» Он не обращал на меня внимания... Вскоре мы раздобыли бумаги — хозяйка дома отдыха и заведующий магазином «закрытого типа» дали нам кучу серых бланков (бумаги у нас никогда не было и не будет), Мандельштам начал диктовать «Разговор о Данте». Когда дошло до слов о том, как он советовался с коктебельскими камушками, чтобы понять структуру «Комедии», Мандельштам упрекнул меня: «А ты говорила, выбрось... Теперь поняла, зачем они мне?» Летом 35 года я привезла в Воронеж горсточку коктебельских камушков моего набора, а среди них несколько дикарей, поднятых Мандельштамом. Они сразу воскресили в памяти Крым, и в непрерывающейся тоске по морю впервые вырвалась крымская тема с явно коктебельскими чертами. Воронеж расположен на границе леса и степи. Там Петр строил корабли для азовского похода. Мандельштам остро чувствовал ландшафт и даже любил его, но, потрогав пальцами крымские камни, написал стихи, в которых впервые простился с любимым побережьем: «В опале предо мной лежат чужого лета земляники — двуискренние сердолики и муравьиный брат — агат...» В этих стихах отголоски старого спора, стоит ли поднимать простой камень: «...Но мне милей простой солдат морской пучины, серый, дикий, которому никто не рад...» Крымское лето в этих стихах названо чужим.

Мандельштам готовился к уходу из жизни, прощаясь со всем, что любил: с Арменией, Крымом, с вещами и людьми. Он не простился только со мной, потому что не представлял себе, что я останусь жить без него. Он был абсолютно убежден, что я уйду вслед за ним. Поймет ли он, что я задержалась ради него? После его смерти я ни разу не была ни в Крыму, ни на Кавказе: раз он простился с ними, мне туда дороги нет. Не видела я и моря, потому что он простился и с морем («Разрывы круглых бухт»). Нельзя же считать морем пресный светло-серый залив недалеко от Комарова в советской Финляндии, где мы на минутку остановились с Ахматовой! Она тоже успела проститься с морем: «Последняя с морем разорвана связь». Искусственно, вернее, насильственно и противоестественно оторванные от всего, что нам было близко, мы только и делали, что поминали и прощались. Все оказалось запрещенным — даже хлеб: «И запрещенный хлеб безгрешен» (вариант). И все же мы были привилегированной частью населения, раз нам хватало на хлеб и мы получали карточки не самой последней категории. Мы не взламывали саманные стенки кладовок и не занимались ни лесоповалом, ни лесосплавом. Когда Мандельштам оказался в самой низшей группе, он, к счастью, умер. Плохое здоровье, в частности сердечная недостаточность, — отличный козырь для человека, потому что обеспечивает своевременную смерть.

Лето 35 года было полно событий. Вскоре после моего возвращения из Москвы мы увидели из окна своей комнаты — наемной, впрочем, не своей, с хозяином из раскулачивателей и хозяйкой из раскулаченной семьи, — похороны жертв летной катастрофы, военных летчиков, которых хоронили с воинскими почестями. Такое случалось редко:

природные бедствия и катастрофы, как правило, замалчивались. Вместе со стихами о похоронах погибших летчиков, в одном с ними цикле, возникло маленькое стихотворение в двух вариантах: «Нет, не мигрень, но подай карандашик ментоловый». В одном из них Мандельштам просит, чтобы я положила ему под голову пучок коктебельского чобру, степной душистой травки, и в чобре — ниточка, связывающая эту группу стихов с коктебельскими камушками. Во втором варианте (он и должен стоять в основном тексте) Мандельштам, сопереживая смерть летчиков, погибает той же смертью и в миг летной катастрофы видит начало жизни — младенчество, детство, «краски пространства веселого», — но все обрывается падением с высоты, где «холод пространства бесполого», то есть бесчеловечного, пустого, а земля с высоты кажется огромной рыжей плешиной (степной пейзаж), словно смотришь на нее сквозь цветное стекло. В описании вида земли с большой высоты сказались и горные путешествия, и рассказ Бори Лапина о полетах, а в цветных стеклышках — реминисценция детства. В бумагах найдется отрывок более подробный, чем тот, что вошел в «Египетскую марку», о шестигранных коронационных фонариках с цветными стеклами. Мандельштам ребенком разломал фонарик и поразился, как выглядит мир сквозь цветные красное, синее, желтое — стеклышки. (Кто из нас умеет смотреть на мир прямо и открыто, а не через цветные стеклышки обычаев, готовых представлений, культуры, общества и эпохи? Возможен ли прямой взгляд и что мы тогда увидим? Во всяком случае, не случайность и бессмыслицу, рассусоленную двадцатым веком.) Чтобы войти в мир Мандельштама, надо понять, как остры у него были ощущения (я не устану это повторять) — зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и даже осязательные — и как они запоминались на целые годы. Человек удесятеренной чувственности, он никогда не забывал ни одного сильного ощущения. Он видел то, чего я не могла разглядеть, слышал звуки, которые еле мерещились мне, и чувствовал запахи и привкусы, к которым я оставалась равнодушной. Он служил мне как бы добавочным органом чувств — я привыкла смотреть его глазами и слышать его ушами. Когда я осталась одна, мне не хватало моих глаз и моих ушей, и я не хотела ни на что смотреть и затыкала уши, чтобы ничего не слышать. Зачем стала бы я смотреть на то, чего он уже не видит или ощущает совсем не так, как я, еще живая... Надо остерегаться такой близости, какая была у нас с ним, потому что один всегда умирает раньше, а второй при жизни теряет все ощущения, которые свойственны живущим. Он тоже становится мертвецом, хотя и продолжает механически жить. Такая жизнь ни к чему. Это тень жизни...

В обоих вариантах стихотворения о ментоловом карандашике резкие обонятельные ощущения. Мандельштам часто, гуляя, искал пахучие травки и растирал их в руках, в частности чобр. На этом мы сошлись, гуляя еще в киевских парках и даря друг другу любимые листья и травки. Какие духи сравнятся с запахом листа грецкого ореха, который все знают и любят! Мне жалко Бердяева, обожавшего духи, в которых всегда пронюхивается что-то постороннее, грубое и вульгарное. В Сухуме была маленькая фабрика, выжимавшая из герани масло для духов. Вокруг нее стоял тяжелый запах аммиака, и мы поняли, что нам портит любые духи: в их состав входит нечто, то есть душистое масло, чья аммиачная грубость, явная при больших дозах, ощущается и в крохотных, которые потребляются в духах. О химикалиях в нынешних духах и говорить нечего — они непереносимы.

Во втором варианте стихотворения (основном) пахнет тухлой ворванью это запах тления — и больницей («рокот гитары карболовой», запах карболки всегда воспринимается как волна — то наступает, то отходит). Запах карболки ударил в ноздри еще в Москве — поздней осенью 1931 года, когда меня положили в Боткинскую больницу, и среди черновиков «Путешествия в Армению» записаны бродячие строчки о карболке. Тогда стихотворение о запахах не могло осуществиться по многим причинам. Главное — на него должен был упасть луч поэтической мысли. Из одного ощущения без мысли стихов у Мандельштама нет. (Есть ли они у кого-нибудь? Пастернак — поэт ощущений, но и у него всегда ведет мысль, через ощущение и сквозь него.) Поэтическая мысль в тот период не могла возникнуть, потому что Мандельштам писал прозу. Два процесса — писание стихов и прозы — никогда не происходили одновременно. У других поэтов проза иногда перебивает стихи или стихи прозу. У Мандельштама этого не бывало, если не считать «Молодости Гёте», которая в настоящую и настоятельную прозу не входит. Это честная заказная работа, где лишь случайно пробивается голос.

Я знаю, почему в стихотворении о внезапной смерти Мандельштам, переживая последнюю минуту, вдруг видит всю свою жизнь. Она проносится перед ним в одно мгновение. Когда-то Мандельштам прочел перевод испанского рассказа — это было как будто еще в дни, когда мы в первый раз жили на Тверском бульваре (1922/23). Он мне тут же сказал, что в рассказе человек, падая с моста в реку, в одно мгновение успевает вспомнить и пережить всю свою жизнь. Рассказ, вероятно, был рядовой, иначе я бы запомнила автора, но он как-то совпал с мыслью Мандельштама об умирании, или эта мысль зародилась от чтения рассказа: в момент смерти жизнь вспыхивает в сознании умирающего, и он отдает себе отчет, зачем жил и что видел. Пока мы жили вместе, я не понимала, как смерть и умирание всегда присутствуют и не отходят от нас. Пока Мандельштам был жив, я не понимала смерти, но, оставшись одна, только ею и жила. Я думала о ней, и прежде всего возник вопрос: неужели на койке лагерной больницы, умирая от невозможности жить и от истощения, человек может что-нибудь вспомнить? Такая смерть, думается мне, похожа на медленное затухание, когда постепенно отмирает связь с прошлым и с жизнью. (Нас лишили не только жизни, но еще и смерти.) Настоящее настолько нереально и непредставимо, что в нем разрываются все связи с жизнью, с самим собой, с прошлым, с людьми, с законами их общежития, с представлениями о добре и зле. Мысленно умирая смертью Мандельштама, я забывала все — даже надежду на будущее. Живя в нечеловеческих условиях прошлой эпохи, я часто убеждалась, что ничего не помню. Оставалась лишь одна светящаяся точка и физически осязаемое ощущение лагеря — груды тел в вонючих телогрейках, свалка человеческих тел, еще живых, еще шевелящихся, или такие же тела, но уже замерзшие и окостеневшие, яма, куда они сброшены «гурьбой и гуртом». Вот что я видела и чем я жила.

Я могла собрать силы и перенести эти ощущения, потому что отказалась от мысли о смысле жизни и жила одной целью. В мучительные эпохи, когда бедствие, нечеловеческое и чудовищное, затягивается на слишком долгий срок, нужно забывать про смысл — его не найти — и жить целью. Это результат моего опыта, и я не советую пренебрегать им: может, еще пригодится и у нас и не у нас. Упражняйтесь в уничтожении смысла и в заготовке целей.

II. Немножко текстологии

Стихотворение «Нет, не мигрень...» было первым подступом к «Стихам о неизвестном солдате», оратории, посвященной будущей (может, будущей и для сегодняшнего дня) войне и массовым гибелям, а также смерти Мандельштама. Исследователь, роясь в архиве Мандельштама, обнаружит первую запись (с чобром) на оборотной стороне листка, где записано стихотворение «волчьего цикла», но пусть это не толкает его на изменение датировки. Запись на одном листке — повод для передатировки только для редакторов типа Харджиева, не способных к смысловому анализу. У него есть ряд «бумажных» передатировок стихов (в этом он видит свою редакторскую честь), и с ними не следует считаться. Он передатировал стихи из «Камня», потому что нашел их записанными (без даты) на одном листке со стихотворением более позднего периода. Стихи могут оказаться записанными на одном листке по тысяче причин: например, автор делал подборку для журнала или записал по просьбе приятеля то, что тому понравилось. Мне ясно, почему «Мигрень» очутилась на «волчьем» листочке. Я привезла из Москвы в одном чемодане с камушками все уцелевшие от первого погрома-обыска бумажки со стихотворными текстами. (Они сохранились в кастрюле, стоящей и сейчас на моей кухонной полке, еще — в ботах, а кое-что было просто не замечено парнями, производившими обыск.) Бумаги в Воронеже лежали на единственном в комнате столе, и я составляла «ватиканский список». Мандельштам бегал по комнате, сочиняя стихи, и подходил изредка к столу, чтобы стоя быстро записать несколько строчек. Видно, меня не было дома, что он схватил первый попавшийся листок и записал на нем новые строчки. Была б я дома, он бы мне надиктовал или я дала б ему чистый листок.

Поэты меньше всего похожи на канцеляристов и учителей чистописания. В рукописях у них большого порядка не обнаружить. Ахматова только под старость завела себе тетради, а Мандельштам даже хвастался, что не умеет писать и работает с голоса («А вокруг густопсовая сволочь пишет»). Иногда он делал аккуратный чистовичок, но почти никогда не предназначал его для архива, а для кого-нибудь, кто попросил автограф. Частенько это случалось в разгаре работы, когда стихотворение еще не успело окончательно стать, и таким образом в аккуратном автографе сохранялся не окончательный текст. Окончательные тексты обычно записывались мной под диктовку. Диктуя, Мандельштам ворчал, что я не запоминаю с голоса сразу все стихотворение. Хозяин он был требовательный и неблагодарный. Сколько он издевался надо мной за неграмотность и вечные сомнения относительно двойных «н»! В южнорусских говорах — а я выросла в Киеве — двойное «н» не звучит, и в речи у меня его нет. Впрочем, сейчас оно звучит только у снобов и у древних стариков, а они, как известно, вымирают.

Мандельштам не мог понять, как я могу не помнить стихотворение, которое было у него в голове, и не знать того, что знает он. Драмы по этому поводу происходили тридцать раз в день. С Ахматовой же все было наоборот. Я не смела знать того, чего не знала она. Особый гнев вызывал английский язык она дважды обсудила произношение с Маршаком и все хотела меня этому обучить — он человек музыкальный и был в Англии. Некоторые французские идиомы тоже вызывали ее интерес. Ей казалось, что мы с Мандельштамом их не можем знать, но они принадлежали к тем, которые познаются в раннем детстве. Настоящую же ярость вызывала латынь. Я кончила классическую гимназию, и учителя умудрялись вбить какие-то знания даже отъявленным лентяям, но Ахматова вспыхивала, когда меня при ней просили что-нибудь перевести — такое несколько раз случалось. Она грозно говорила: «Что они могут знать! Ничего они не знают». Кто были «они», я не знаю. Скорее всего, кончившие гимназии с классической программой. Мой неистовый муж и моя неистовая подруга только и делали, что шпыняли меня, бедную, но и я от них не отставала и дразнила каждого в одиночку. Вместе я их дразнить остерегалась, чтобы они вдвоем — соединенными силами — не набросились на меня. Приходилось лавировать. Это трудное искусство. Если б мне дали дольше пожить с

Мандельштамом, я бы им овладела. Способности у меня есть. Мандельштам это признавал.

Когда стихотворение содержит в себе ядро будущей вещи, оно обрастает вариантами и дает множество отростков в разные стороны. В таких случаях у автора часто бывает ощущение, что основное стихотворение само по себе не существует, не вытанцевалось, не стало... Так было с «Волком», так произошло и с «Нет, не мигрень...», и оно не вошло в основной список, но осталось среди черновиков. В нормальных условиях оно бы отлежалось, а потом вынырнуло в момент окончательного становления книги. Ничего, к несчастью, нормального в нашей жизни не было. Черновики я отдала на хранение Рудакову, и они пропали у его вдовы.

Первый вариант «Нет, не мигрень...» я обнаружила в тех бумагах, что остались у меня, а второй долго считался погибшим. Эренбург дал мне свою тетрадочку со стихами, и в ней-то и оказался второй и окончательный вариант «Мигрени». Записан он был трудным почерком Эренбурга, остальное все — на машинке. Я отнесла тетрадку Харджиеву. Вот одно из его безумий: он разброшюровал тетрадь и уничтожил листок с «Нет, не мигрень...», потому что под ним была дата, а он пожелал изменить ее. «Чего хранить неграмотную запись!» — сказал он в ответ на мои упреки. В большом и в малом единственное оправдание советских людей то, что они психически больны. Все больны. Одни больше, как Харджиев, потому что у них врожденная болезнь, другие поменьше — благоприобретенный психоз. Нормальным не остался никто. Такое исключается. Полвека этой жизни не могли не довести до болезни. Безумными мне кажутся и нынешние молодые и непуганые. Одни ходят и поплевывают, другие готовятся к новой волне террора и будут убивать с не меньшей энергией, чем их деды. Пролитая кровь не научила их ничему. Запах крови сейчас почти неощутим, поэтому все может начаться сначала — в несколько обновленной форме. И не только у нас, а на огромных пространствах того мира, который некогда был христианским.

Я спрашивала Эренбурга, откуда у него взялось пропавшее стихотворение. Он, конечно, ничего не помнил. (Болезнь памяти — один из симптомов нашего психоза...) Часть стихов Эренбург получил от Тарасенкова, «падшего ангела», известного коллекционера рифмованных строчек, автора гнусных статеек о поэзии. Я могу только сделать несколько предположений. Эренбург приезжал в Воронеж весной 36 года. Возможно, что Мандельштам надиктовал ему несколько стихотворений, среди них и «Мигрень». Оно тогда еще не попало в полную опалу. Запись сохранилась у Эренбурга в Париже или в Москве у его дочери. Этот вариант вызывает у меня следующие сомнения: до войны Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому. Сдвиг произошел позже. Во время капитуляции Эренбург отсиделся в советском посольстве в Париже и был выпущен немцами в Советский Союз, потому что еще действовал наш пакт с Гитлером. Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту (из всех своих ссылок — не официальных, а паспортных — я умудрялась наезжать в Москву). Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом, — ни тени иронии, исчезла вся жовиальность. Он был в отчаянье: Европа рухнула, мир обезумел, в Париже хозяйничают фашисты... Он переживал падение Парижа как личную драму и даже не думал о том, кто хозяйничает в Москве. В новом для него и безумном мире Эренбург стал другим человеком — не тем, которого я знала многие годы. И совсем поновому прозвучали его слова о Мандельштаме. Он сказал: «Есть только стихи: «Осы» и все, что Ося написал...» Я запомнила убитый вид Эренбурга, но больше таким я его не видела: война с Гитлером вернула ему равновесие, и он снова оказался у дел. Единственное, что осталось от того отчаянья, это отношение к Мандельштаму, который стал для него поэзией и жизнью на фоне общего безумия и гибели. В этом перемена оказалась прочной. В остальном он постарался воскресить те иллюзии, которые помогали ему жить. (Не потому ли он мог сочетать Мандельштама с Нерудой и Элюаром, а в прежние годы и с Арагоном?) Он считал, например, что после гражданской войны у нас началась разумная жизнь и катастрофа разразилась только в 37 году (точка зрения «победителей»). «А как же с Мандельштамом?» — спрашивали у него. Других имен не называли, хотя список их нескончаемый, потому что знали, что к остальным Эренбург равнодушен, а Мандельштам для него — боль. Единственное лекарство от этой боли — рассуждение, что Мандельштам сам навлек на себя беду. Поведение Мандельштама было неразумное, а стихи против Сталина — плохонькие и выпадают из всего поэтического наследства. Писал бы себе про ос, и ничего бы с ним не случилось... Это тоже точка зрения «победителей», а с ними-то Эренбург и общался, пока жил в Париже. «Победители» работали в посольствах, приезжали в делегациях... Если вдуматься, то не судьба Мандельштама была для них случайностью, а весь тридцать седьмой год, отнявший у них плоды победы. Все, что происходило до 37 года, считалось закономерностью и вполне разумной классовой борьбой, потому что крошили не «своих», а «чужих».

В годы дружбы с «победителями» Эренбург приезжал искать в России новое, невиданное и увлекательное и на Мандельштама не глядел. Ему казалось, что тайной этого поэта он уже овладел. Таково было, очевидно, общее мнение, потому что такие разные люди, как Эренбург и Цветаева, проглядели зрелого Мандельштама. Эпоха принадлежала страстному новаторству, и оно не нуждалось в Мандельштаме, потому что он «не откликался на запросы времени». Растерянный Эренбург с собачкой на Каменном мосту сохранил бы стихи Мандельштама, но я не ручаюсь за своего довоенного приятеля, искателя «нового» и ценителя «вещи» и всякого новаторства, которое заметно с первого взгляда. Довоенный Эренбург мог сохранить стишок, а мог его потерять. Вопрос остается открытым. (Все остальные писатели могли только уничтожить стихи, что большинство из них и сделало.)

К маю 38 года стихотворение «Нет, не мигрень...» существовало в двух вариантах. Один находился у Рудакова, другой — в моем чемодане, из которого все бумаги вывернули в мешок и увезли на Лубянку. Сейчас еще одна рукопись обнаружилась у Зенкевича. Спрашивается, который из двух вариантов очутился у Мишеньки: тот, что был у Рудакова, или тот, который был увезен на Лубянку? Не от Тарасенкова ли получили этот стишок и Зенкевич, и Эренбург? Вот основной вопрос. Тарасенков с Рудаковым никак связан не был. Можно предположить, что пошел в ход вариант с Лубянки. Я заметила, что в рукописи Тарасенкова стихотворение «Квартира» записано с пропуском двух строф. Так Мандельштам дал его следователю на Лубянке в 34 году. Мы его записывать остерегались. Если из бездны выплыла одна вещь, могут вынырнуть и остальные пропавшие стихи, весь десяток, но почему они так медлят и прячутся столько долгих и мерзких лет? Я устала ждать их, но стараюсь не терять надежду. У надежды есть особое свойство — она оправдывается, если ее сохраняют. Смешно, но факт.

В 19 или 20 году в Коктебеле Мандельштам написал стишок «Для вас потомства нет, увы, бесполая владеет вами злоба…» Он не позволил мне запомнить его наизусть: важная профилактическая мера при современных режимах — не обременять память. Делается это на всякий случай, чтобы, очутившись на Лубянке, а такое может случиться с каждым, ничего не знать и быть как младенец Мандельштам с первых дней заботился о моей памяти, потому что знал, какая она цепкая. Он жил с полным сознанием близости «большого дома» и хотел уберечь меня. «Ты там должна быть полной дурой и ничего не знать... Не запоминай этого, чтобы тебя не подцепили. Надо понимать, где живешь», — постоянно повторял он. (Эти правила годились до 37 года, а потом факты ни в каком виде уже не интересовали: искали только заранее запланированное — террор, покушение на хозяина и все что угодно.) Сам он тоже забыл вредный стишок, и только в Ростове, у Лени Ландсберга, маленького горбатого юриста, хранился один экземпляр вредной вещи. Леня приезжал в Москву в 22 году, и оказалось, что рукопись сохранилась. Я не знаю его судьбы. Скорее всего, он погиб у немцев или у нас. Больше всего шансов у любого человека — на лагерь или пыточную камеру. Стишок я считала погибшим.

Несколько лет назад моя подруга, с которой я жила в Калинине после смерти Мандельштама, сказала, что ко мне рвется молодой поэт из Ростова. Я уклонялась от встречи, но она его все же привела. Мы болтали и пили вино, как она вдруг сказала: «Посмотрите, как они в Ростове издают Мандельштама». Я видела тысячу переплетенных машинописных книг и равнодушно открыла тысяча первую. Все было как всегда, но я тут же, листая, наткнулась на полный текст потерянного стихотворения, с одним, правда, искажением, которое я легко исправила по памяти. Выяснилось, что оно было записано в экземпляр «Стихотворений», купленных у букиниста. Вероятно, это была книга Лени Ландсберга. Стихотворение оказалось более жизнеустойчивым, чем автор и хранитель.

В машинописные списки иногда попадают стихи, которые никакого отношения к Мандельштаму не имеют. В одном списке я нашла стишок с упоминанием Бриджит Бардо, но владелец мне не поверил, что его надо выкинуть. Я прошу запомнить, что после смерти поэт перестает писать стихи.

Россия — страна Самиздата. Еще в пушкинское время ходили рукописные книги, а начальство, заполучив книжечку, призывало авторов к ответу. Как бы мне не всыпаться с изготовлением прозаического Самиздата.

III. «Стихи о неизвестном солдате»

Наташа Штемпель написала в письме, что Мандельштам прочел ей «Нет, не мигрень...» и «Не мучнистой бабочкою белой...» (похороны летчиков) и сказал, что это первые подступы к «Неизвестному солдату». У меня есть свидетельница, подтверждающая мое показание. Почти не осталось людей, которые знали Мандельштама, а только кое-кто из совершенно случайных знакомых — вроде Николая Чуковского (и его тоже уже нет) или Миндлина. Еще развелись фантасты и выдумщики. Они лепят Мандельштама по своему образу и подобию (как Миндлин или Борисов) или выдумывают про встречи, которых никогда не было (таких много в Воронеже — они видели Мандельштама в Воронеже вместе с Нарбутом в 19 году и с ним разговаривали о поэзии). Есть жулики вроде Харджиева и Рождественского — они знают все, что думал Мандельштам, и успели обо всем переговорить, чтобы написать комментарии или мемуары. Наташа Штемпель — единственный близкий нам человек и достоверный свидетель. К несчастью, она ленится записать то, что помнит. Ей следует доверять больше, чем кому-либо. Ее показания драгоценны. Если сохранится живое отношение к Мандельштаму, а я в это верю, пусть знают, что в памяти у этой женщины хранится многое из двух последних лет страшной жизни этого обреченного и прекрасного человека, писавшего накануне смерти стихи, изданные сейчас огромными тиражами в издательстве Самиздат.

В «Стихах о неизвестном солдате» говорится не про собственную гибель, а про целую эпоху «крупных оптовых смертей», когда каждый погибает «с гурьбой и гуртом» (знают ли, что гурт — это стадо?) и каждый становится «неизвестным солдатом», а среди них и автор. (Что делать с лирическим героем, когда разговор идет о жизни и смерти? Ответьте мне, любители литературы.) Это оратория в честь настоящего двадцатого века, пересмотревшего европейское отношение к личности. Человек, как известно, стал лишь удобрением для задуманного в канцеляриях социализма прекрасного будущего. У будущего есть одно прелестное качество: оно всегда удаляется и неуловимо, особенно в тех случаях, когда оно сулит счастье. Полвека народ верил в будущее. Сейчас он как будто заинтересовался несовершенным прошедшим, которое тесно связано с настоящим. Таксисты и любители домино во дворах с почтением и любовью вспоминают былые дни. Сам поэт Тихонов твердо сказал, что при Сталине было больше порядка. Впрочем, народ ни во что не верит и ничем не интересуется. Одни спят, вернувшись с работы, другие стоят в очереди к пивному ларьку. Это славные люди, которых в случае надобности можно организовать для погрома. Кого будут бить, не знаю. Вероятно, жидов и интеллигентов. Решать буду не я. За нас думает и беспокоится начальство.

В «Стихах о неизвестном солдате» есть тема смерти в воздухе, но это уже не случайная катастрофа, как было раньше, а результат стремления к гибели опустошенных людей, которых «воздушная яма влечет» («И за Лермонтова Михаила я отдам тебе строгий отчет, как сутулого учит могила и воздушная яма влечет»).

Чтобы осуществилось то, что предвидел Мандельштам, нужна не только воля к убийству, но и воля к гибели, тяга к концу, к воздушной яме, к самоуничтожению, к пустоте, к небытию... Такая тяга существует. Она вполне реальна и для самоуничтожающегося зла, и для тех, кто потерял веру в бессмертие. Во второй половине девятнадцатого века додумались до глубокой и тонкой мысли, что дух есть продукт высокоорганизованной материи и, следовательно, уничтожается вместе с ней. Странно, но именно эта мысль вызвала неслыханный прилив гордости, хотя чего бы тут, казалось, гордиться. Гордый человек воплощался в тысячах обликов — стоял между шкафом и печкой, уподоблял себя стервятникам, боролся с морозом, проповедовал сверхчеловеческие идеи, управлял народами и бросал войска на соседей. Он неслыханно вырастал, а затем вдруг сжимался и выглядел вроде крохотули грибка. С ним происходил фокус, как на мозаике на одной из станций метро. Я ходила под этой мозаикой как безумная, потому что Сталин, изображенный во весь рост на потолке, с одного места выглядел великаном, а при переходе на другое уменьшался до размеров человека-яйца, когда нельзя отличить галстук от пояса. Я опомнилась, заметив, что на меня начинают оборачиваться. Задержись я еще немного, меня бы уволокли на Лубянку по обвинению в чем угодно, такова была форма организованного погрома в те дни. Скорее всего, меня бы обвинили в покушении на вождя. Реального обвинения — взрыв надежды при виде того, как на мозаике уменьшается отец народов, — формулировать бы не посмели. Мандельштам говорил, что уничтожают у нас людей в основном правильно — по чутью, за то, что они не совсем обезумели, но, стыдясь признаться в терроре, привешивают каждому дело с фантастическим обвинением. Гордыня подстрекала людей к убийству и к самоуничтожению, и в этом самая существенная черта настоящего двадцатого века. Они доносили друг на друга и на самих себя и чувствовали себя при этом гордыми людьми. Только убийцы и самоубийцы, если посмотреть с нужного ракурса, уменьшаются до размера булавочной головки, хотя многим кажутся великанами.

Когда писались «Стихи о неизвестном солдате», уже надвигалась вторая мировая война. Меньше всего в нее верили газетчики, непрерывно трубившие о предстоящей решающей схватке между старым и новым миром. Реально она стала ощущаться после пакта с Германией. При жизни Мандельштама — он не дожил на воле до пакта с Гитлером, но предчувствовал его, а я ему не поверила: «Что ты выдумываешь!» — жизнь казалась такой невероятной и неправдоподобной, что будущего ждали, чтобы избавиться от настоящего. Так жили и мы, но, когда в стихи ворвалось предчувствие будущих войн, нас это удивило: мы знали, что для нас будущего нет и каждый прожитый день — чудо. «Чего уж беспокоиться о будущем, когда нас не будет! — смеялась я. — Брось своего солдата...» Стихотворение так овладело Мандельштамом, что освободиться от него он бы не смог, даже если бы захотел. Оно приняло окончательную форму только в Савелове — в стоверстной зоне под Москвой. Не помню, там или потом в Калинине он, просматривая по своему обыкновению газеты и читая между строчками, вдруг сказал: «Кончится тем, что мы заключим союз с Гитлером, а потом все будет, как в «Солдате»…» Можно ли было этому поверить?

Мне думается, что у Мандельштама было ощущение не одной войны, а целой серии войн. В строчках: «Слышишь, мачеха звездного табора, ночь, что будет сейчас и потом?» — отмечены два момента будущего — «сейчас», то есть скоро, вот уже надвигается, и «потом» — через некоторый промежуток времени, когда людям придется бороться «за воздух прожиточный», за глоток воздуха, за возможность дышать... Чувство недохвата воздуха могло быть вызвано собственной одышкой — она часто пробивалась в стихах. «Я это я, явь это явь» мог сказать только человек, которому трудно дышать. По этой строчке можно поставить диагноз — сердечная астма. (Мне приятно, что это заметил один далекий друг.) Но в «Стихах о неизвестном солдате» чувство недохвата воздуха подсказано не личными ощущениями, а страхом за будущее, обозначенное словом «потом».

Воздух, атмосфера вокруг земли и в особенности небо, «нижний слой помраченных небес», и видимое с земли звездное небо превращаются в угрожающую стихию. Воздух-небо даны как бы в двух аспектах. «Всеядный и деятельный» воздух в окопах и землянках принадлежит еще первой и также и второй мировым войнам, как и «неподкупное небо окопное, небо крупных оптовых смертей». Это небо, которое нависает над человеком, высунувшимся из окопа, огромное и равнодушное, свидетель массовой гибели твари, ползающей по земле. Человек — крошечное существо, но «миллионы убитых задешево (Что дешевле человеческой жизни?) протоптали тропу в пустоте», оставили незримый след своего едва осуществленного бытия. Второй аспект, в котором видно небо, относится к моменту «потом». В небе происходят события, говорящие о предчувствии чего-то иного: «Шевелящимися виноградинами угрожают нам эти миры», а затем неизвестно откуда возникшее ощущение взрыва, который ярче света: «Весть летит светопыльной обновою, и от битвы вчерашней светло... Я — новое, от меня будет свету светло...»

Мандельштам поверил, что мучившие его стихи — не призрак, только после того, как в них появился дифирамб человеку, его интеллекту и особой структуре. Я говорю о строфе, где человеческий череп назван «чашей чаш» и «отчизной отчизны». «Смотри, как у меня череп расщебетался, сказал Мандельштам, показывая мне листочек, — теперь стихи будут». (Проклятая зрительная память — я вижу, как он стоит у стола и дописывает последние слова...) Человек, обладатель черепа, есть настоящее чудо. Всякий человек — неповторим и незаменим. Он — Шекспир, потому что живет, мыслит и чувствует. А Шекспир только потому Шекспир, что он человек, обладатель черепа: «Чепчик счастья, Шекспира отец...» Человек — лучшее, что есть на земле и в мире, и то, чего не будет по вине самоубийственных людей.

Мандельштама мучила мысль о земле без людей. Она впервые появилась в обреченном городе Петербурге, а в Воронеже прорвалась еще в стихах о гибели летчиков: «Шли нестройно люди; люди, люди... Кто же будет продолжать за них?»

Я заметила, что ключевая строка, в которой сгустилось смысловое напряжение, всегда появляется последней (это, конечно, не значит, что она последняя по счету в стихотворении), словно поэт долго отстраняет от себя прямую мысль и высказывание, хочет обойтись без него, увильнуть, борется, пробует промолчать и, наконец, сдается. Тема дана уже в первой услышанной строчке (иногда и строфе), а разрешение темы — в той, что приходит последней. В стихах о летчиках последней пришла последняя строчка стихотворения: вопрос о том, что станется с человеческим делом, если не будет людей.

Через всю поэзию Мандельштама проходит мысль о человеке как о центре и воплощении жизни (человек — солнце, центр притяжения других людей) и о человечестве, воплощающем весь смысл жизни. Исчезновение человека, конец человечества — это та опасность, которая нависла над миром. Страх, прорвавшийся в статье «Слово и культура», когда Мандельштам понял, что остановить распад нельзя, постепенно принимал все более конкретные формы. Апокалипсическая тема прошла через следующие фазы: конец Петербурга и петербургского периода русской истории, ощущение земли без людей в разоренном Петербурге 21 года, где еще есть прибежище, куда «влачится дух» в «годины тяжких бед», бессмысленная смерть «в бесполом пространстве» и горький вопрос о том, кто продолжит за людей их дело, и наконец, оратория о будущих войнах как о самоубийственном акте человечества. Мысль об угрозе с воздуха мелькнула в стихотворении 22 года, где «и с трудом пробиваясь вперед в чешуе искалеченных крыл, под высокую руку берет побежденную твердь Азраил». Есть еще два стихотворения о смерти, но уже о собственной: «И когда я умру, отслуживши, всех живущих прижизненный друг» (здесь точная формула отношения к людям), и обращение к Тому, Кто придет в облаке. Эти два стихотворения не варианты, а единое целое, состоящее из двух частей.

Последние стихи воронежского периода обо мне, киевлянке, ищущей мужа («Ищет мужа не знаю чья жинка»), и обращение к Наташе Штемпель, чье призвание — «приветствовать воскресших».

В дни, когда писались эти стихи, еще не изобрели оружия, способного уничтожить жизнь на земле. Мандельштам назвал «поэтическую материю» пророческой, то есть провидящей будущее. Он не вполне сознавал, а скорее почувствовал, что гибель будет связана с новым оружием и войной. Раз было начало, будет и конец, но предначертана смерть, а не самоубийство, грозит же нам именно оно. Кириллов самоутверждения ради задумал самоубийство и все же колебался, прежде чем покончить с собой. Пока самоутверждающиеся народы колеблются и медлят, талантливые исполнители государственных заказов и охранители национального достоинства, суверенитета и прочих бредовых идей, отказавшись от личности и свободы во имя индивидуализма, личного и национального, разработают такое передовое и прогрессивное оружие, что оно погубит не только человека, но и всякую жизнь на земле. Хорошо, если уцелеет растительность, чтобы хоть что-нибудь осталось от этого прелестного и безумного мира, где так здорово научились во имя всеобщего или национального счастья убивать друг друга и уничтожать людей, не принадлежащих к породе убийц.

IV. Культуропоклонство

Мандельштам никогда не говорил о средиземноморской «культуре» или о какой бы то ни было «культуре». Это слово незаконно привнесено мной из-за бедности моего словаря, а сам он употреблял его с чрезвычайной осторожностью. В статье «Слово и культура» понятие «культура» означает мудрость и наследственные сокровища, а также носителей мудрости. В древности центром образованности и местом, где хранились сокровища духа, были монастыри, а князья держали их «для совета». В политической и государственной жизни они принимали лишь косвенное участие. В наш век секуляризации образованный слой отделился от носителей религиозного сознания, и Мандельштам надеялся, что носители культуры окажутся столь же внеположны государству, как некогда монастыри.

Мандельштам вынужден был употребить слово «культура», потому что не мог назвать носителей культуры интеллигентами. Он никогда не забывал, что русская интеллигенция враждебна слову. Он думал при этом о «полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, в сущности, уже безъязычной, аморфной в отношении языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской языковой стихии»... «Полуобразование и сопутствующий ему снобизм, потеря языкового чутья и соответствующая поэзия с обязательным новаторством и хлесткостью — все это лишь симптомы болезни, а не сама болезнь: как будто испытуется форма, а на самом деле гниет и разлагается дух...» (Я думаю, что падение языкового чутья тесно связано с секуляризацией и с принципиальным полуобразованием, — к этому вопросу Мандельштам постоянно возвращался и в разговорах, и в статьях. Полуобразование — худшая форма невежества, и мы пожинали его плоды в течение многих десятилетий.)

Мандельштам говорил не о культуре Средиземноморья, потому что оно вызывало в нем иные мысли и чувства и связывалось с другим рядом понятий: «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианства пью холодный горный воздух...» На крымской и армянской земле он искал «ключи и рубища апостольских церквей...». Христианство у Мандельштама неразрывно соединялось с горным ландшафтом, отсюда — горный воздух христианства, а также: «За нас сиенские предстательствуют горы». Когда он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане», — он думал не о геологическом возрасте Земли, а о давности и глубине связи Тосканы с иудейским и эллинско-христианским миром. (Как они теперь в Тоскане убивают Авеля и снова распинают Христа!) Рим потому «место человека во вселенной», что это центр исторического христианства — церкви. Я не могу точно сказать, что вызывало у него отталкиванье от Византии, но оно прослеживается и в стихах, и в прозе. Он мне когда-то сказал, что православие шло не от Византии, а от Афона. Это было сказано по поводу стихов Ахматовой: «И дух суровый византийства от русской Церкви отлетал». Я не знаю, правильно ли это и откуда взялось у него такое убеждение, но он так думал. Вполне возможно, что Мандельштам получил искаженные представления о Византии от Вячеслава Иванова, у которого она так переплелась с дионисийством, что их было не разорвать. Он выше всего ценил «устное поучение», и несомненно был период, когда он прислушивался к Вячеславу

Иванову. В ранних статьях («Утро акмеизма» и в статье на смерть Скрябина) он нередко поминает дионисийство, которое идет у него не от Ницше, а от Вячеслава Иванова. Ученик, однако, не следовал слепо за учителем. В статье о Скрябине есть явная полемика с ним: «С улыбкой говорит христианский мир Дионису: «Что ж, попробуй, вели разорвать меня своим менадам: я весь — цельность, весь — личность, весь спаянное единство»«. Сила, которую христианство дает искусству, заключается в уверенности в личном спасении. Второй источник, откуда Мандельштам мог почерпнуть представление о Византии, — Леонтьев. Он считал Леонтьева значительным писателем, но причислял его к лжеучителям. Получив в подарок от Цветаевой Москву, Мандельштам искал в ней черты, связывающие ее с Италией, а не с Византией. В церквах Кремля он увидел их итальянские черты: «...и пятиглавые московские соборы с их итальянскою и русскою душой...» Успенский собор был для него «Флоренцией в Москве». Мы много раз вместе смотрели Рублева, и Мандельштам всегда старался найти доказательства, что Рублев был знаком с итальянской живописью. Стихи «Айя-София» не противоречат его отталкиванию от Византии. В этом храме он видел синтез эллинского и христианского начал, а не специфически византийский мир. Мы еще любили мозаики небольшого храма под Константинополем. Моя память, наверное, исказила название, поэтому я его не привожу, но на плафоне изображено чудо претворения воды в вино, и мне запомнились динамические, прекрасно расположенные сосуды. Иначе говоря, нелюбовь к Византии была мало последовательной. Скорее всего, он не любил Византию Вячеслава Иванова и Леонтьева, а не подлинную, которую мало знал. Кроме того, Византия представлялась ему каноном, мешавшим прорваться живому ощущению мира, вещи, теплоты и цвета, а в русской иконописи, особенно новгородской и псковской школ, он не ощущал связывающего канона, а только свободу и радость живописца. Мандельштам чтил традицию, а не канон и свободу художника, дарованную христианством, так что художник может каждый раз заново преодолеть и переработать то, что получил от предшественников: «И пращуры нам больше не страшны. Они у нас в крови растворены».

Крым, Армения, «со стыдом и скорбью» отвернувшаяся от «городов бородатых Востока», — форпосты христианства, эллинистического и иудейского мира, а не просто «культуры». О культуре как таковой Мандельштам говорил мало и главным образом о ее статической природе, о свойстве культуры «стоять» в любой момент текущего времени. Культуропоклонники извлекают из культуры канон, и культура всегда ждет повторения пройденного, а вклад личности в культуру, вернее, в историю всегда нарушение канона, разрыв застывающего времени. Мандельштам писал: ««Египетская культура» означает в сущности египетское приличие, «средневековая культура» — значит средневековое приличие Любители понятия культуры, не согласные по существу с культом Амона-Ра или с тезисами Триентского собора, втягиваются поневоле в круг, так сказать, неприличного приличия. Оно-то и есть содержание культуропоклонства, захлестнувшего в прошлом столетии университетскую и школьную Европу, отравившего кровь подлинным строителям очередных исторических формаций и, что всего обиднее, сплошь и рядом придающего форму законченного невежества тому, что могло быть живым, конкретным, уносящимся и в прошлое и будущее знанием...»

Поэзию Мандельштам считал «внеположной культуре как приличию». Он говорил, что «поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделанна, чем так называемая «разговорная»«, и утверждал, что поэтическое звучание внеположно культуре, как приличию. А ведь в самом деле: наша речь, наши высказывания в огромной степени зависят от устоявшихся формул, от готовых словосочетаний, навязших в зубах и мешающих прорваться мысли. Слово в поэзии пробивается сквозь тьму готового и застывшего, чтобы в кратчайший срок дать поэтическую мысль. Оно набирает силу, преодолевая препятствия и отбрасывая прочь груды шелухи. Слова соединяются заново в новые словосочетания, чтобы выявить мысль.

Это вовсе не значит, что в поэзии нет готовых элементов. Само слово отрабатывалось веками, пока дошло до нас. Наследство мировой поэзии, включая весь фольклор, принадлежит поэту, лишь бы он мог вместить хоть каплю из него. Сама поэтическая мысль находится в преемственной зависимости от всей истории мысли и от всех, кто когда-либо дышал и думал. Понять и объяснить этого нельзя, но почему-то происходит вспышка, потому что в контакт входит, вошло все накопленное (точнее, сгущенное в крови) время и одинединственный миг, неповторимый, потому что он принадлежит текущему времени, вечный, потому что он остановлен (Стравинский говорил нечто подобное о музыке). Миг вечен для того, кто остановил его и, почувствовав вечность, был награжден чувством поэтической правоты: «как эту выпуклость и радость передать...» Миг воплощается в слово, давнымдавно существующее и сказанное впервые. В том-то и дело, что контакт времени и мгновения, личности и мира людей дает новую мысль и новое, впервые сказанное слово. Ложь новаторства в том, что оно всегда скользит по поверхности (почему-то оно всегда новаторство формы, жертвующей мыслью) в поисках резко ощутимой новизны. (Даже Андрей Белый готов был взять заранее данную ситуацию и мысль — в «Серебряном голубе», в «Московском чудаке» — и новизну поднести в построении фразы, которая с необычайной быстротой стандартизировалась.) Такая новизна длится один короткий миг, потому что она не включает неповторимых элементов: соотношения мига и времени, личности и людей и воссоединения собственной мысли и переживания с общечеловеческим фондом.

Ощутивший выпуклость и радость уже получил свою награду. Хорошо, если его слово дойдет до людей, но это от него не зависит, и потому он не может вербовать читателя, а только надеется на дальнего собеседника — «читателя найду в потомстве я»... Если он найдет читателя, произойдет повторный, хотя и ослабленный, миг воплощения. В статье о Виллоне Мандельштам говорит: «Настоящее мгновение может выдержать напор столетий и сохранить свою целость, остаться тем же «сейчас». Нужно только уметь вырвать его из почвы времени, не повредив его корней — иначе оно завянет».

Культура как приличие стремится создать школу и употреблять слова с должной стилистической окраской. Она допускает и даже ценит внешнее новаторство, целью которого является оживление стилистических единиц. Поразительно, с какой быстротой внешнее новаторство превращается в диктатуру школы.

Мандельштам подчеркивал статическую и опустошающую сторону культуры или культуры-приличия. Возможно, что это связано с неистовым культуропоклонством нашей эпохи, особенно страшным потому, что оно свирепствовало на фоне полного отмирания культуры как образа жизни, как обработки полей и постройки домов, как способа совместного проживания и дружбы людей, иначе говоря, на фоне полного одичания. Для меня это одичание воплощается в книжках издательства «Академия», сменившего «Всемирную литературу», где в гладеньком виде подносилась всяческая «классика», сработанная самыми «культурными» руками.

«Победители» жадно покупали эти издания и приобщались к «культуре», расставляя их на полки. Безвыборочность всегда пахнет мертвечиной. А в том, что культура всегда, а не только в периоды краха стремится задерживать движение, мне кажется, есть положительная сторона и для самого движения. Оно только укрепляется, если для своего начала вынуждено преодолевать инерцию стабильности, равномерности, неподвижности. Ему гораздо труднее возникнуть в хаосе развала и судорожных метаний, когда культуропоклонство становится единственной целью и ощущается как спасение. Такое ясно заметно было вчера и видно сегодня, когда речь идет уже не об упадке, а о чем-то несравненно более глубоком, в чем нам, свидетелям, разобраться не дано.

Когда наблюдаешь этот распад (а может, уже и не распад, а последствия распада), невольно думаешь, что он должен кончиться гибелью. Тогда возникает вопрос: есть ли прямая связь между распадом культуры и фактическим уничтожением жизни? Логически — связи нет. Если не будет войны, и притом тотальной, по-прежнему будут рождаться дети — они даже выше ростом, чем были, и это бросается в глаза всем, кто видел, как планомерно снижался от недоедания рост прежних поколений. Народятся дети, вырастут люди, и жизнь пойдет своим чередом. Уже ведь неоднократно напуганные безумием текущего времени мнимые пророки ждали конца мира. Я уже цитировала великого мудреца, который все знал и изрек, что эсхатологические настроения характерны для гибнущих классов. («Тоже красиво!» — сказала бы Ахматова.) В формуле мудреца больше неизвестных, чем слов, а его деятельность по уничтожению целых классов основана на тех же теоретических предпосылках, что и соображения относительно эсхатологии. Деятельность же эта привела совсем не к тем результатам, на которые он рассчитывал, и поэтому к его словам не следует прислушиваться. Мы уже здорово заплатили за то, что слушали мудрецов и гениев. Слушали, конечно, не все, но огромные толпы, которые заражали друг друга восторгом и не думали о расплате... А в наши дни эсхатологические настроения слишком распространены, чтобы приписывать их каким-то классам, то есть весьма сомнительному «мы», которое держится только как очередь в кассу за зарплатой.

Наша эпоха свидетельствует о распадении всякой общности, имеющей глубинные основания, и создании внешних единств по произвольным и малозначительным признакам. И вместе с тем есть слабые, только возникающие течения, которые говорят о тяге к единственно реальному единству. Что победит — национальная рознь, самоутверждение и индивидуализм народов, подкрепленный современным оружием, или незримая церковь, обладающая светочем, унаследованным от предков? Время покажет, а я уже не узнаю... Мне кажется, что Мандельштам, искавший связи между Рублевым и живописью Италии, стремился увидеть то, что объединяло, а не разделяло европейский мир. Не случайно он ответил на вопрос, что такое акмеизм, следующим определением: «Тоска по мировой культуре».

Я не знаю, прав ли был Мандельштам, когда считал Византию (но не Афон) символом разделения. Дело не в этом, а в том, что будет дальше и найдутся ли силы для преодоления окончательного распада и полного вымирания людей, вещей, травы, животных и деревьев. Когда я смотрю на лица людей, поднимающихся по лестнице метро или стоящих в очередях за котлетами, мне кажется, что жизнь в них уже иссякает. Но иногда и они, безмерно усталые, вдруг произнесут человеческое слово, и тогда надежда воскресает. До самой смерти человек не теряет надежды, хотя и знает все ее обманы. Есть и другая надежда. Она не обманет. Она никак не связана с эсхатологической тревогой и с ней не соразмерна: она вне времени и вне пространства.

V. Недобор и перебор

Культура — многозначное слово и понятие, не имеющее определений. О культуре написаны тысячи томов, но, сколько ни изучают ритуалы и обычаи так называемых первобытных народов, все равно никто не проникнет в суть человеческого общежития и не поймет, что такое человек. Мы даже не знаем, как отмирали древние культуры, если не было нашествий чужеземных полчищ, и как на месте цветущей страны образуется унылая провинциальная земля, лишенная мысли и голоса. Но нам, свидетелям развала, стало ясно одно: строительство Вавилонской башни не объединяет, а разделяет людей. Объединяет смысл, а не цель (как заметил Элиот: «Энтузиазм и цели преходящи»), культура же — форма совместной жизни, то есть объединение, а не разделение. Это отнюдь не попытка определения или характеристики культуры, а констатация простейшего факта, который Бергсон отнес бы к биологическим свойствам человека.

О культуре как об объединении думают сейчас многие, потому что и на Западе, и у нас одни и те же тревоги и беспокойства. Я с надеждой и любопытством открыла книжечку Т.-С.Элиота «К определению понятия культуры», но тут же поняла, что никакой попытки дать определение он не делает. Больше того, он даже не пробует вникнуть в суть проблемы. Позиция Элиота охранительная — ему хотелось бы сохранить некоторые особенности европейского общества, которые, как ему кажется, способствовали расцвету культуры: классовую структуру, региональное деление и тому подобное... Элиот более чем осторожно подходит ко многим вопросам и порой орудует непроверенными сведениями, лишь бы избежать нежелательной полемики. Одно из основных положений Элиота — связь культуры и религии. Он предчувствует возражения студенческой аудитории (статья состоит из ряда лекций, прочитанных Элиотом в Оксфорде), что в России, отказавшейся от религии, культура тем не менее процветает. И студенты, и Элиот приняли на веру нашу пропаганду, так что сомнений относительно веселого расцвета культуры в непонятном восточном мире у них нет. Этой неувязкой объясняется, вероятно, одно из центральных допущений Элиота. Он предполагает, что Англия может завершить свое отступничество и тогда «преобразует себя» на основе какой-нибудь «низко стоящей или материалистической религии». В этом случае Элиот допускает, что в Англии возникнет культура даже более блистательная, чем современная, потому что «любая религия, пока она существует, строит остов культуры и оберегает человеческие массы от скуки и отчаянья»...

Элиот — христианин, католик, кажется, но он не решился применить последовательно христианские критерии и попробовал сделать зигзаг в сторону так называемой объективности. В результате он попал в яму, вырытую для тех, кто строит суждения не на основе своей центральной идеи. Прежде всего совершенно непонятно, что такое «материалистическая религия». Думаю, это результат болтовни о том, что у нас тоже есть религия, только материалистическая. (Можно ли, например, считать какие-либо формы язычества «материалистической религией»?) Второй вопрос: с каких пор у религии есть чисто общественная цель — оберегать людей от скуки и отчаянья? Скука и отчаянье вообще несовместимы в одном предложении. От скуки «массы спасаются» иногда совершенно гнусными вещами. Мы видели, что зрелища, шествия, погромы, убийства, доносы нередко заполняют жизнь обезумевших масс, пока они не очнутся в своем разоренном доме, потеряв вкус к самоуничтожению. Что же касается до отчаянья, то должен ли христианин заниматься самоутешением, если он очутился среди людей, сознательно отказавшихся от добра и всеми силами поощряющих самые чудовищные инстинкты в себе и в своих соотечественниках... Другое дело, что отчаянье христианина качественно отличается от отчаянья атеиста, поскольку он верит в конечную победу добра. Вера, надежда, любовь спасают от черного отчаянья, а не «любая религия», как говорит Элиот. Есть религии, требующие человеческих жертв. Неужели такая религия спасла бы Элиота от отчаяния? И тут мне приходит на ум тяжкое подозрение, что Элиот выделяет себя из массы людей, из человеческих толп. Кто же он? Неужели он причисляет себя к элите? Я знаю, что такое самоощущение несовместимо с христианством.

Остается еще вопрос: откуда Элиот взял, что культура Англии неожиданно распустилась бы пышным цветом в честь таинственной, придуманной Элиотом религии? Свои заметки о культуре Элиот писал после второй мировой войны, когда всем стало ясно, к чему привел отказ двух могущественных стран от христианства. Неужели Элиот так отгораживался от жизни, что не заметил этого?..

О Германии Элиот не обмолвился ни единым словом, хотя обе страны, с которыми он связан, Соединенные Штаты и Англия, отдали много сил и принесли немало жертв в борьбе с фашизмом. Умолчание Элиота невольно настораживает. Что же касается России, то с ней Элиот разделывается чересчур легко. Он считает Россию грубой восточной страной, находившейся к моменту революции на таком низком уровне (о русской литературе он, вероятно, даже не слышал), что ей могло пойти на пользу то, что для Запада было бы крайне вредно. Россия, например, «устранила» высшие классы и только расцвела от этого (откуда он знает? Или почему позволяет говорить себе о том, чего не знает?), но сие было возможно только благодаря исключительно низкому развитию. Настоящим европейским странам «устранение» с рук бы не сошло. Неизвестно, что понимает Элиот под словом «устранение» — эмиграцию или террор, но ему следовало бы узнать о принципе насилия, который был положен в основу нашей государственности, прежде чем говорить о России. Страшно думать, что и он, христианин и поэт, допускает пользу преобразований, совершаемых путем насилия и жестокости, путем попрания человеческих прав и всех святынь. Мне ясно, что Элиот, очутившись в студенческой аудитории, с симпатией относившейся к России после победы над фашистской Германией, побоялся своих слушателей и поднес им примирительную теорию о том, что в варварской России можно делать что угодно, чего в культурной Англии допустить нельзя. Я боюсь, что такая постановка вопроса не говорит в пользу Англии, где большой поэт вынужден так приспосабливаться к студентам старинного университета. Неужели, если бы Элиот удосужился подумать о том, что такое террор, он и тогда бы не решился применить к событиям критерий совести и религии? Я не помню, из-за чего жертвует жизнью в одной из драм Элиота почтенный епископ, но после прочитанной мной статьи о культуре я эту драму не возьму в руки. Ведь Элиот разрешил «устранять» всех епископов нашей страны, поскольку чувствует отвращение к дикости.

Для моего уха дико звучит и довод Элиота против уничтожения врагов: врага следует сохранить, потому что обществу полезно трение и столкновение различных сил и мыслей. Разница между позицией Элиота и нашей только в одном: то, что он считает полезным, мы считаем вредным. Критерий Элиота столь же бесчеловечен, как наш, потому что ни польза, ни вред не могут служить основанием для уничтожения или сохранения человеческих жизней. У нас тоже миловали людей, которых считали полезными.

Между прочим, Элиот считает, что мы способны различать прогресс от регресса. Практика показывает, что никто еще этого различить не мог, да и сами понятия «прогресс» и «регресс» весьма сомнительны. В атомный век ими уже никого не соблазнишь. Прогресс — движение вперед, а регресс — назад. История вовсе не похожа на дорогу, по которой можно двигаться в двух направлениях. Разрушая культуру, мы вовсе не отступаем ни в век Просвещения, ни в средневековье. Даже в первобытное общество людям не дано отступить. Исторический путь необратим, как время, и спастись в регресс нам не дано

У Элиота нередко перевернуты даже наивные причинно-следственные связи. Он говорит, что в обществе необходима нормальная, а не чрезмерная степень «единения», потому что «излишек единства» объясняется варварством и может привести к тирании. Опыт показывает, что «единство», о котором говорит Элиот, явно намекая на Россию, порождается тиранией и приводит к варварству. Избегая говорить о побежденной Германии, Элиот подводит сам себя. Ведь «излишек единства» в этой стране оказался мнимым, и связь его с тиранией (причинная) и с варварством (следственная) обнажилась после падения фашизма с полной наглядностью. Презрение к одной стране и непонятное умолчание о другой сыграли с Элиотом плохую шутку. Можно ли говорить о современном обществе, игнорируя трагический опыт двадцатого века?

Элиот неоднократно напоминает о том, что культура явление органическое и создана искусственно быть не может, поэтому мне хочется отнести за счет переводчика (книга, к сожалению, попалась мне в русском переводе): «нужно выращиванье современной культуры из старых корней...» Слово «органическое» означает «возникшее непроизвольно в ходе исторического процесса». В связи с этим невольно смущаешься рекомендацией «выращивать... из корней» да еще в сочетании с модальной формой «нужно». Читатель, знакомый с Леонтьевым и Данилевским, знает, что они любили уподоблять национальные культуры деревьям с различными корнями, стволами и листвой. Кто же соблазнился сравнением из растительного царства — переводчик или автор? Возможно, что переводчик здесь ни при чем, а Элиот, изучавший науку, называющуюся «социальной биологией», расширил ее пределы и уподобил общество растениям, которые дают побеги от старых корней и выращиваются в садах и огородах.

От заметок Элиота все же пахнуло Леонтьевым с его жаждой красочного разнообразия в унылом мире, потерявшем яркость. Разве не уютнее там, где есть господа, парки, красивая жизнь, хорошие повара, скачки, а также пишущая машинка, к которой тянутся руки поэта... Леонтьев, житель варварской страны, конечно, перебрал, чего осторожный Элиот не сделал, но сущность остается та же. В наш век все стало настолько серьезно, что каждое безоценочное суждение режет, как ножом по стеклу. Культуропоклонство никого не спасло и не спасет. Если не найти твердые критерии, нельзя ничего судить.

История не повторяется. Суждения по аналогии всегда приводят к ложным выводам, а особенно в тех случаях, когда для аналогичного суждения привлекают искаженные факты. Между тем драма истории, если б мы применили к ее рассмотрению высшие критерии, могла бы нам многое открыть. Здесь уместно вспомнить слова Бердяева, как он, будучи марксистом, задумался о судьбе еврейства и понял, что никакой марксизм и никакая материалистическая теория к истории этого народа приложены быть не могут. Тем более были бы обречены на неудачу эстетические и охранительные теории типа Элиота или Леонтьева. Точно так гибель Европы была бы чем-то принципиально иным, чем падение Вавилона, и сыграла бы совсем другую роль в истории человечества, чем расцвет или гибель древних культур (сохранилась ли бы сама концепция истории после такого события?). Надо помнить, что это явления совершенно разных планов и речь идет не о дерби или хороших ресторанах, где разучились готовить и обслуживать посетителя, а о несравненно более мрачных вещах.

В начале двадцатых годов шумела книжка Шпенглера о закате Европы, построенная по аналогии и напоминавшая Данилевского. Мы прочли с Мандельштамом «Закат Европы», и он не согласился с выводами Шпенглера, считая, что они не приложимы к христианскому миру. Он был гораздо пессимистичнее Шпенглера, грозившего всего-навсего тем, что культура перейдет в цивилизацию и всем станет скучно. События показали, что ничего похожего на цивилизацию и на скуку не будет. Я обожаю цивилизацию и водопровод, но прожила жизнь без нее.

VI. Вечный жид

Мандельштам убеждал меня, что тяга на юг у него в крови. Он чувствовал себя пришельцем с юга, волею случая закинутым в холод и мрак северных широт. Мне казалось нелепым, что он связывает себя со Средиземноморьем: ведь предки нынешних российских евреев в незапамятные времена потеряли связь с его берегами и через владения германских князьков, через земли рассеяния и уже не первого изгнания перебрались в пределы России, чтобы поселиться на западных окраинах среди чуждых народов. Так было и в библейские времена: праотцы селились на чужих землях под чужими городами и у чуждых народов покупали право хоронить своих близких в чужих пещерах среди чужих пастбищ. Может ли кровь хранить память об этих скитаниях?

Любимые сыновья библейских старцев отрывались от своего племени и уходили в чужую культуру, впитывали ее, оставаясь евреями. Они растворялись в ней, чтобы «с известью в крови для племени чужого ночные травы собирать»... Еврейские Иосифы в начале нашей эры вербовались, как я прочла у С. Трубецкого, из числа саддукеев. Нынешние обрусевшие или европеизированные евреи тоже своего рода саддукеи, давно забывшие прародину. Как мог сохраниться народ без земли и почвы, веками отпускавший любимых сыновей на службу фараонам, эллинам, римлянам, испанцам, европейской культуре и науке, поэзии и музыке? Библейский Иосиф вырос среди своего племени и знал его язык, а древние саддукеи переходили на греческий. В Россию евреи принесли один из диалектов немецкого языка, земли своего изгнания, а потом перешли на русский и все-таки остались евреями и приобщились ко всем несчастиям своего племени. Это их сжигали в газовых печах и объявляли врачами-убийцами. По ним и сейчас скучают бараки на каком-то бесконечно далеком болоте, куда они не попали только благодаря невероятной случайности. Открещиваться от этих бараков еще рано. Они подгнили, но их можно отремонтировать собственными трудовыми руками. А деньги на ремонт легко вытряхнуть из пиджаков демократического покроя, которые пришли на смену лапсердакам. Опыт вытряхивания у нас есть.

Мандельштам — и по метрике Осип, а не Иосиф — никогда не забывал, что он еврей, но «память крови» была у него своеобразная. Она восходила к праотцам и к Испании, к Средиземноморью, а скитальческий путь отцов через Центральную Европу он начисто позабыл. Иначе говоря, он ощущал связь с пастухами и царями Библии, с александрийскими и испанскими евреями, поэтами и философами и даже подобрал себе среди них родственника: испанского поэта, которого инквизиция держала на цепи в подземелье. «У меня есть от него хоть кровинка», — сказал Мандельштам, прочтя в Воронеже биографию испанского еврея. Узник непрерывно сочинял сонеты («Губ шевелящихся отнять вы не могли») и, выйдя на короткий срок, записал их. Затем он снова был посажен на цепь (повторный арест!) и опять сочинил груду сонетов. По-моему, он выбрал сонетную форму, потому что чем строже форма, тем легче запомнить стихи. Память у испанского поэта была еще лучше, чем у Мандельштама, так как он годами помнил их и, вероятно, даже не записывал. Мандельштам же под конец начал забывать собственные стихи. А может, в подземельях инквизиции было легче, чем в наших лагерях? Я что-то не слышала, чтобы у нас в лагерях сочинялись стихи — только вирши. Зато выпущенные и спасшиеся помнят и ценят свои вирши — они спасли жизнь тем, кто ворочал их в уме.

Я часто думаю о том, есть ли во мне хоть ген, хоть кровинка, хоть клетка, соединяющая меня если не с праотцами, то хоть с гетто старинных испанских или немецких городов. Кто его знает, может, и есть. Иначе откуда бы взялась стойкость, которая помогла мне выжить и сохранить стихи? Для этого требуется маниакальное упорство, воспитанное столетиями бедствий, преследований, погромов и газовых печей, которые закаляют душу и усиливают жизнеспособность. Как-нибудь уж доживу свой век, вспоминая русскую стойкость Ахматовой, которая хвасталась тем, что довела до инфаркта всех прокуроров, произносивших обвинительные речи ей и ее стихам: «Я глохну от зычных проклятий, я ватник сносила дотла...»

В первой половине нашего проклятого века появилось много людей с чувством прародины несколько иного свойства, чем у Мандельштама. Г. Г. Г., врач из семьи врачей, на опыте познавших, как мерзки костры и подземелья инквизиции, рассказал мне про свою встречу с людьми нового склада. Сразу после капитуляции Германии Г. Г. Г., военный врач с погонами и в чинах, поехал для демобилизации в один из городков, только что отошедших к Польше. Он втиснулся в общий вагон, забитый до отказа, и подумал, что ему придется простоять всю дорогу. Вдруг его окликнул рослый детина в штатском, умеренно оборванный, как все после войны. Он предложил товарищу капитану медицинской службы занять место у окна, откуда он тотчас согнал другого штатского и тоже обтрепанного человека. Незнакомцы перекинулись с военным врачом несколькими словами — они говорили по-русски, но с каким-то странным акцентом. Был задан вопрос, когда врач думает вернуться на станцию, где сел на поезд. Врач не знал, насколько задержится, но незнакомцы заверили, что непременно встретят его, когда б он ни приехал...

На одной из промежуточных станций врач вышел, а с ним и тот, кто окликнул его и усадил у окна. Станционное помещение было переполнено, и только возле буфета нашлось местечко, чтобы пристроиться и отдохнуть. Незнакомец заказал четыре кружки пива (какую роскошь можно было получить в тех краях!), две взял себе, а две предложил врачу. «Вы скоро поймете, кто мы», — сказал он. К нему подошел человек, которого он представил как брата, и только тогда врач понял, что незнакомец — еврей. И по акценту, и по виду его можно было принять за кого угодно, но внешность брата сомнений не вызывала. Это единственное, что пока узнал о нем врач.

На обратном пути врач вышел на станции, и действительно его поджидала на платформе кучка людей. Они знали, что у врача нет знакомых в этом городке, и пригласили его к себе: «Идем, посмотрите, как мы живем, переночуйте у нас. Нам ничего от вас не нужно — мы встретились и разойдемся, но вы нас, может, еще вспомните...» Врач пошел с ними. Городок был обклеен плакатами, призывающими евреев возвращаться на прародину. Незнакомцы привели врача в почти пустое барачное помещение и пригласили поужинать. Трапеза была общая — подали свинину. Хозяева обратили внимание гостя, что среди них нет ни одной женщины. При немцах они скитались в лесах с партизанскими отрядами, а семьи — родители, жены, дети — были перебиты фашистами. Чужие друг другу, они впервые встретились в этом бараке, куда съехались со всех концов Польши. Здесь они дожидались отправки на прародину. Их объединяла только общая судьба: леса, отряды, погибшие семьи... Они показали врачу местную газетку. В городе, где они находились, недавно была сделана попытка устроить погром, но кончилось тем, что убили трех погромщиков.

Евреи, прошедшие школу сопротивления, сказали врачу: мы знаем, как вы, советские евреи, относитесь к этому, — вы верите, что вы равноправны. Вы не испытали на опыте то, что испытали польские евреи, но от этого никуда не уйти — это все равно ждет и вас. Хорошо, если обойдется, но надежды на такой исход нет. Хорошо, если вам не придется вспоминать наших слов, но, скорее всего, вы их вспомните...

Военный врач действительно считал себя равноправным, но ему действительно пришлось вспомнить этот разговор. Дело врачей, к счастью закрытое весной 53 года, рассеяло иллюзии. И в этом случае только собственное столкновение с жизнью, только разбитый лоб и пролитая кровь помогают людям осознать, что происходит у них на глазах и чего они не хотят видеть. Если жмут масло из соседа, это их не касается. Слепота особенность нашего времени, в нее спасаются, чтобы не омрачать жизнь. Меня возмущают «слепые», но втайне я им сочувствую: надо ведь себя поберечь, иначе рассыплешься на куски и потом ничего не собрать. В данный момент я выключилась из текущей жизни, начисто ослепла и не понимаю, что так волнуются те, кто помоложе. Все, что их тревожит, чистая мелочь по сравнению с тем, что выпало на долю старших поколений. В моем доме сто квартир, и все хозяева на месте. Чего же беспокоиться? Пока меня самое не уведут из дому, я не позволю себе поддаться тревоге — она мешает жить и думать.

Я прошу только помнить, что моя слепота вполне сознательная. Зрячей становиться сейчас я не хочу. Затыкаю всем рот — не вижу и видеть не хочу, потому что сыта по горло всем виденным. В этом и заключается разница между мною и слепцами прежних поколений: они даже не подозревали о своем увечье и непрерывно хвастались зоркостью. А зрячих тогда считали слепыми и непрерывно издевались над их мнимым увечьем. Люди старших поколений, читая мою первую книгу, обвиняют меня, что я не жила жизнью своих сверстников и потому не упомянула челюскинцев и стахановцев, про постановки Мейерхольда, гениальные фильмы с коляской, галушками и концом Петербурга, а главное мощную индустриализацию страны, блеск литературоведения и бессмертные романы, написанные в годы великих свершений... Кому что, но я отворачиваюсь от карнавала всех десятилетий нашего века, потому что у меня сильно развито чувство газовой камеры, лагеря, застенка и гнусной литературы, знающей, что́ надо видеть, а на что следует закрывать глаза. Я ведь вдова Мандельштама, которого и сейчас ненавидят с такой силой, будто он жив и ходит по улицам.

Судьба евреев замечательна тем, что они не только разделяют участь своего народа, но несут еще вдобавок все несчастья того народа, на чьей земле они раскинули палатки. Даже еврей, публично отказывающийся от своего еврейства, попадает наравне с другими в газовую печь, и он же отправляется на Колыму с чужим племенем, на языке которого он говорит.

Мандельштам, еврей и русский поэт, платил и платит до сих пор по двойным, а то и тройным счетам. Он ведь еще европеец и русский интеллигент из того слоя, где не чурались слова. За все эти преступления вместе и за каждое в отдельности у нас карали по всей строгости законов, потому что борьба с идеализмом была и будет главной задачей эпохи. Военный врач, рассказавший про встречу с людьми из барака, — еврей, русский интеллигент и гуманист, следовательно, подлежит ответственности по трем статьям. Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немножко еврей, потому что платит по тройным счетам.

Еврейские парни из польского погромного городка выбрали путь самообороны. Они сообразили, что не следует ждать, пока просвещенные европейцы втолкнут их в газовую камеру или походя зарежут на улице. Я иду другим путем и отказываюсь от самообороны. Я готова отвечать по всем статьям, которые мне могут предъявить: за то, что принадлежу к таинственному племени, которое существует вопреки всем законам истории и логики, за то, что не потеряла память и сохранила стихи, за то, что верю в высший закон и высшую правду, за то, что знаю, что дух не гниет в земле вместе с тленным телом, и за все прочие грехи и преступления второго разряда, в которых меня могут обвинить по законам и обычаям жестокого века.

Я бесповоротно отказываюсь от самозащиты, но другим этого делать не советую. Пусть соблюдают осторожность и живут потише, остерегаясь видеть, понимать, знать и подписывать бесполезные письма... Ничего хорошего нет в зрячем состоянии. Слепота гораздо приятнее и утешительней. Рекомендую осторожность и самозащиту.

VII. Родословная

У всех людей есть родственники. К моему удивлению, родственники обнаружились и у Мандельштама, который всегда казался совершенно отдельным человеком плюс беспомощный и милый брат Шура. Родственники оказались со стороны отца, фантастического человека с «маленькой философией». Сам дед постоянно вздыхал, что его «род» расцветал в предках и потомках, а сам он лишь звено между ними и в жизни ничего не сделал. Дед исписывал груды листочков мелким немецким почерком и обижался на сыновей, потому что никто из них так и не дослушал ни одного листочка до конца. Шкловский, узнав про сочинительство деда, уговаривал Мандельштама вставить что-нибудь из его мемуаров или «философии» в свою прозу, иначе грозился сделать это сам. Но до этого не дошло, потому что никто не понимал витиеватых оборотов деда и не разбирал готического почерка.

Дед относился ко мне хорошо, хотя считал, что Ося напрасно с ним не посоветовался. Дед поехал бы с ним в Ригу и подобрал бы там настоящую жену и настоящую еврейку. Я никак не могла понять, почему я не настоящая еврейка, но дед не умел этого объяснить. Кроме того, дед считал, что брак со мной — мезальянс, но, познакомившись с моим отцом, немного смягчился. Выяснилось, что Шура насплетничал ему про скоропалительность и необдуманность нашей связи, которой он был очень шокирован.

Дед пробовал излагать свою философию моему отцу. Он доказывал, что надо есть яйца всмятку, а не яичницу, потому что это «ближе к природе». Отец так терялся от философии деда, что Мандельштам спешил к нему на помощь. С зятем моего отца сближала музыка. В Москве — он гостил у моего брата — и в Киеве, когда мы приезжали к моим родителям, они вместе ходили на концерты. Однажды в Киеве отец пошел на вечер Мандельштама и сказал мне: «Знаешь, твой Ося хорошо читает стихи». На прямое суждение о стихах он не отважился, потому что считал себя некомпетентным. Больше всего он любил греческих трагиков и читал их для отдыха в подлиннике. Он был человеком строго дисциплинированной мысли правовик, государственник, математик. Приглядываясь к отцу, я поняла, что образование пало не сразу с революцией, а снижалось постепенно — от поколения к поколению. Юридическое образование моих братьев и отца, знание древних языков и литератур несравнимы. Это чувствовали все мои друзья и при отце не очень щеголяли эрудицией, а Эренбург поддразнивал меня: «Жаль, что ты не пошла в отца...» Особенно почитал его Маккавейский, потому что чуял что-то родственное с собственным отцом — профессором духовной академии.

Дед, ровесник отца, не представлял никакого поколения. Он был абсолютно уникальным явлением, не похожим на еврейских местечковых мудрецов, ни на ремесленников, ни на купцов, ни на кого на свете. Его профессия — выделка замши. Кажется, он был хорошим специалистом, но своего ремесла не любил: внутреннее беспокойство и потребность говорить не давали ему работать. Он цитировал Спинозу, Руссо и Шиллера, но в таких невероятных сочетаниях, что все только ахали... Дед был не фантазером, а фантастом, вернее, фантасмагорией. Про него нельзя сказать, был он добрым или злым, щедрым или скупым, потому что основное его свойство — полная отвлеченность, невероятная абстрактность. Он проповедовал деизм собственного изготовления и жаловался на покойную жену, что она отняла у него сыновей. Невозможно себе представить, что у него были дети, с которыми он разговаривал о чем-либо, кроме своей философии.

Насколько я понимаю, мать только и делала, что ограждала сыновей от отца. Она возила их на дачи и на курорты, выбирала для них гимназии — и очень умно, поскольку старшего отдала в Тенишевское, нанимала гувернанток, словом, старалась создать для них обычную обстановку интеллигентской семьи. Пробовала она, очевидно, наладить и дела мужа, но все ее усилия не приводили ни к чему. Мандельштам запомнил, как мальчиком возвращался с ней домой на извозчике и вдруг увидел, что она плачет. Вероятно, она пробовала уговорить кредитора об отсрочке векселя и ей не удалось. Устойчивый быт, к которому она стремилась, ускользал. Борьба матери за устойчивость своеобразно отразилась на трех сыновьях. Старший, Осип, твердо усвоил, что нельзя делать устойчивость целью, средний гордился мыслью, что довольствуется малым, а младший рвался к благополучию и в прилитературных кругах изощрял свои коммерческие таланты. Они у него действительно были, и он всегда был благополучен. Удивительно умело он пользовался именем брата с первых шагов, когда бросил медицину, по сегодняшний день. За вычетом, впрочем, двадцати лет (1934–1953), когда он брата вычеркнул из памяти. Каждое его упоминание обо мне и сейчас равносильно доносу. Он не похож ни на своего отца, ни на братьев.

Мандельштам любил мать и, единственный из братьев, унаследовал ее музыкальность. Он был привязан к среднему брату, Шуре, потому что лицом тот пошел в мать. Шуру он всюду возил за собой, заботился о нем, вытащил его из Ленинграда в Москву, пристроил в Госиздат, где тот всю жизнь прослужил мелким служащим торгового аппарата, подкармливал, успокаивал и пошучивал над его постоянным страхом потерять службу или сделать ошибку в очередной аннотации на очередную книгу. Ни один из братьев Мандельштама не имел языкового чутья, а у Шуры была своеобразная афазия, касавшаяся письменной речи. Он буквально не мог составить ни одного предложения — его мучило все:

порядок слов, предлоги, глагольные формы, фразеология. Говорил он вполне нормально — без запинок. Очевидно, он как-то унаследовал безъязычность деда, мало заметную в устной бытовой речи. С каждой аннотацией Шура приходил к Мандельштаму, а тот хитро сплавлял его ко мне Мандельштам всегда просил меня не обижать Шуру — «он так похож на маму». Что-то в Шуре было трогательно-беспомощное и растерянное. (Как невнимательны друг к другу люди: откуда Эренбург взял, что Шура практический, деловой и толковый человек! Ведь они жили рядом на одном коктебельском пятачке.) Эти свойства странно сочетались с непрерывными поисками нравственного идеала, которого, как ему казалось, он достиг. Идеал он понимал как полное слияние с толпой, самоограничение, стушеванность. Он проповедовал свой идеал, как отец — «маленькую философию», и его тоже никто не хотел слушать. Три поразительно непохожих брата что-то унаследовали от отца, на которого ни один из них не был похож. Шура умер на Урале в эвакуации, брошенный женой, одинокий, печальный. Евгений дожил до старости — у него крепкое отцовское сердце, не в пример старшим братьям, которые унаследовали материнское. Недавно Евгений купил у Иосифа Бродского два тома Мандельштама, и глупый Иосиф взял с него половинную цену. Скоро он увидит и третий том, где Мандельштам запрещает ему называть себя братом. Зная, что Евгений спокойно выбросит его письма в помойку, Мандельштам специально переписал их, и они сохранились в автографе. Это будет неприятным сюрпризом для старика, которому имя брата открывает двери в профессорские дома, где он получает консультации и отзывы на свои научно-популярные фильмы.

Дед и два сына, Осип и Александр, умерли заброшенные, в полном одиночестве. Даже Шура опоздал проститься с отцом, но все же успел похоронить его. Осип брошен в яму, могилы Шуры и деда заброшены. У моих родителей, у сестры и у брата могилы затеряны и заброшены. Я хочу, чтобы моя могила тоже была затеряна и заброшена, как у всех.

Революция разметала семьи, и много поколений не видели родни, живут без корней, не знают своих могил. Она исказила жизнь моих дедов и успеет искалечить существование тех, кто по возрасту годится мне во внуки и в правнуки. С революцией все семейные связи оборвались. У деда в Риге жил родной брат, вполне благополучный коммерсант. Он звал к себе деда в гости, и в двадцатых годах это было вполне осуществимо, но так старик и не поехал, потому что процедура получения разрешения на выезд и тогда была головоломной. Изредка к деду приходили из Риги подарки, и он ими очень гордился. В 32 году к нам на Тверской бульвар пришел двоюродный брат Мандельштама. Он прослышал, что у нас в Советском Союзе люди благоденствуют, а у них начался экономический кризис. В семье стали поговаривать, что неплохо переехать в Советский Союз, и послали на рекогносцировку самого бойкого и толкового. Он приехал с туристической группой — они уже тогда существовали, но не играли никакой роли в нашей жизни, потому что встреча с иностранцем называлась шпионажем. За такое легко было заработать десять лет.

Кузен привез в подарок деду пару теплых кальсон и спросил Мандельштама, как у нас обстоит дело с коммерцией и с юрисконсультскими службами. Насчет коммерции Мандельштам знал, что такого не бывает, а про службы ничего сказать не мог. Он только посоветовал кузену хорошенько осмотреться и не действовать опрометчиво. Кузен и сам был не лыком шит. Дня через два он снова забежал к нам и сообщил, что у нас такой же кризис, как повсюду, но мы об этом не догадываемся, потому что на службах нам ничего не платят. У людей создается иллюзия, что они при деле, а зарабатывать средства к жизни они так отвыкли, что не замечают, что работают задаром. Еще он поинтересовался, почему все у нас так плохо одеты. Неужели не хватает денег даже на хороший костюм? Экономические идеи кузена рассмешили Мандельштама, и ему захотелось «дать отпор» — так назывался бойкий ответ иностранцу, который нам полагалось давать в случае нечаянной встречи. Он заверил кузена, что каждый служащий покупает два костюма в год, а выглядят они плохо одетыми потому, что брюки «просиживаются» в один месяц, а пиджаки скроены как на памятниках. Ничего более убедительного для иллюстрации нашего благополучия он придумать не мог. В Риге действительно никто из мелких служащих не заказывал себе двух костюмов в год. Кузен вынужден был это признать. Почему-то он усмехнулся и потом исчез. Юрисконсультская должность осталась вакантной, а дед больше никаких кальсон не получал.

Кроме родственников мы сталкивались еще с людьми, носящими фамилию Мандельштам. Впервые Мандельштам встретился со своим однофамильцем в начале десятых годов в Териоках (тогда же он встретился в том же пансионе с Каблуковым). Однофамилец был киевским врачом-окулистом, известным еврейским общественным деятелем. Впоследствии я показала Мандельштаму дом, где жил окулист. Меня водили к старику проверять зрение, потому что в десять лет мне безумно захотелось носить очки и я стала жаловаться на глаза. Умный старый врач разоблачил бы любого симулянта, но для этого нужно было догадаться, что симуляция для чего-то нужна. Никто бы не догадался, что девочке с косичками хочется носить очки. Бедный однофамилец моего будущего мужа возился со мной целый час, пока не придумал слабости глазного мускула и не выписал мне очки. Я поносила их с неделю, а следующие завела себе через полвека.

Мне удалось околпачить первого встреченного мной Мандельштама. Второй был гораздо прозорливее, хоть и не окулист, и ни на какой обман не поддавался. Он предупредил меня об этом в один из первых дней знакомства, когда мы стояли на площади против дома врача Мандельштама. Весной в этом месте особенно ощутим ветер с Днепра, который всегда вызывал у меня тоску по морю. Площадь эта в кольце городских садов. На нее выходят главные парки города и моя горка. Я не знаю, как это выглядит сейчас, но в дни моей юности Киев был удивительно красивым европейским городом. Внизу лежал Подол, заселенный евреями, где много раз происходили погромы, на горе Печерск, район священников и военных, откуда донесся взрыв арсенала, разбивший все стекла и в нашем нагорном районе, и где массами вылавливали и убивали военных. В лавре изымали ценности и перебили монахов. В садах и в парках расстреливали. Город был залит кровью еще до второй мировой войны.

Когда два Мандельштама встретились в Териоках, кто-то спросил старика, не приходится ли ему родственником молодой. Старик ответил, что, вероятно, нет, иначе бы он пришел представиться. Я думаю, что они все же родственники: уж очень оборот мыслей напоминает деда. Никто из Мандельштамов, которых мы потом встречали, — ни ленинградские врачи, ни физик, с которым Осипа познакомил переводчик Исай Бенедиктович во время хлопот о пяти приговоренных к расстрелу («Четвертая проза»), ни машинистка в Ленинграде, необыкновенно быстро и грамотно писавшая под диктовку, что было в то неграмотное время абсолютной редкостью, — никто из них ничего не слышал про рижского Веньямина Мандельштама, а уж тем более про его сына Эмиля, то есть деда. Но друг про друга они знали все и умели посчитаться родством, отсчитывая колена от киевского окулиста и от переводчика Библии, попавшего в словарь

Брокгауза. Между тем все они, включая сыновей деда, явно походили друг на друга. Это устойчивый семейный тип: одинаковое строение черепа, чуть искривленный нос, узкие лица и выразительные надбровные дуги. У всех Мандельштамов повторялись одни и те же имена Осипы или Иосифы, Веньямины, Емельяны или Эмили, Александры, Исайи... Дед, очевидно, принадлежал к самой захудалой ветви этой большой и явно способной семьи. А женщины, как мне говорил Мандельштам, все были большеногие, очень серьезные и замечательно честные, вроде Татьки — дочери Евгения Эмильевича. Она неожиданно сохранила специфические мандельштамовские черты, хотя ни на отца, ни на деда не была ни капли похожа. Мандельштам очень любил девочку, и она единственная из всей семьи тосковала о нем и знала его стихи.

Мы никогда не узнали бы, что Мандельштамы — одна семья, если бы не случайная встреча в Ялте. Мать подарила мне эмалевые часики. Они считались хронометром, и в ломбарде за них давали порядочную сумму. Мандельштам время распределял по своей прихоти и кичился тем, что всегда знает, который час. Но в Ялте мы жили в пансионе грека Лаланова, где кухня была смесью греческой кухмистерской и советской столовки. В холодном виде она оказалась совершенно несъедобной, а мы вечно опаздывали к обеду. Нам пришло в голову, что надо отрегулировать часики, чтобы вовремя являться к обеду. На набережной в Ялте еще водились последние частники часовщики, фотографы, галантерейщики. Итоги нэпа подводились в следующие два года. Для нас же это были последние месяцы до разрыва с советской литературой. Иначе говоря, еще цвело сто цветов, но коса уже точилась. Мандельштам приехал в Ялту с месячным опозданием. Он задержался в Москве из-за хлопот об осужденных стариках. В Ялту он привез экземпляр только что вышедшей книги («Стихотворения»). Надвигалось раскулачивание. Нэпманы жаловались на невероятные налоги. Писатели уже сняли с себя налоги, которыми их под горячую руку обложили в 25 году, и хлопотали о литературной газете. Время еще было неопределенное, хотя за год до этого мы в Сухуме читали речи Бухарина против троцкистов и Мандельштам удивлялся, зачем он так старается.

Еврей-часовщик похвалил механизм и эмаль. Выписывая квитанцию, он ахнул, услыхав фамилию, и побежал за женой. Оказалось, что она тоже Мандельштам и семья эта считается «ихесом», то есть благородным раввинским родом. Старуха никак не могла добиться от Мандельштама сведений о той ветке, из которой он вышел. Мандельштам даже не знал отчества своего деда. Старики пригласили нас в комнату за лавкой и вытащили из сундука большой лист с тщательно нарисованным генеалогическим деревом. Мы нашли всех переводчика Библии, киевского врача, физика, ленинградских врачей, жену часовщика и даже деда и его отца. Мандельштамов оказалось ужасно много, гораздо больше, чем мы думали. Старики пририсовали три веточки, идущие от деда, но мы забыли назвать Татьку, бедный оборвавшийся отросточек.

Дерево начиналось незадолго до переезда какого-то патриарха из Германии в Курляндию, куда его выписал как часовщика и ювелира герцог курляндский Бирон. Он таким способом насаждал ремесла в своем только что полученном герцогстве. Мы потом прочли, что армянские Тиграны или Аршаки тоже завозили к себе евреев-ремесленников, но они потом слились с местным населением. При переезде в Курляндию ювелир еще носил древнееврейскую фамилию, а это является признаком почтенного раввинского рода. Я не запомнила фамилию, потому что никак не понимала, с чего это вдруг Мандельштам с таким любопытством рассматривает дерево и расспрашивает стариков обо всех ветках и отростках.

«Египетская марка» уже была написана, и Мандельштам там ясно сказал, что наш единственный предок — Голядкин. Этот предок был мне гораздо более понятен, чем дед и его рижский брат, а тем более чем курляндский часовщик и киевский врач. Старики угостили нас чаем, и Мандельштам действительно вел себя как почтительный родственник из боковой и захудалой ветви почтенного рода. Мне показалось, что он завидует часовщику и его старой и доброй жене, потому что у них сохранилось чувство рода и связи с предками. Мало того, старуха рассказала, что в ее семье, четко обозначенной на дереве, был обычай выдавать всех дочерей за ювелиров и часовщиков. Это делалось в память ювелира герцога курляндского.

В семье фантастического деда, вероятно, бытовала история придворного ювелира. Ведь не случайно Мандельштам в «Египетской марке» вспомнил свою тетку Иоганну: «Карлица. Императрица Анна Леопольдовна. По-русски говорит как черт. Словно Бирон ей сват и брат...» Дед часто пробовал рассказать про свою семью, но никто его не слушал. Часовщик с женой были гораздо убедительнее деда, и Мандельштам слушал их с большой охотой. Но в свой раввинский род он все-таки не поверил и все рвался к русским разночинцам. От них он вел свое происхождение: «Для того ли разночинцы рассохлые топтали сапоги, чтоб я теперь их предал? Мы умрем, как пехотинцы, но не прославим ни хищи, ни поденщины, ни лжи...»

VIII. Отщепенец

Впервые чувство отщепенства зародилось у Мандельштама в двадцатые годы. В ранних стихах его нет и в помине, потому что юношеская тоска и одиночество ничего общего с отщепенством не имеют. С болезнями юности он справился легко и не знал отчуждения от мира. Ведь и в самых ранних» стихах это «легкий крест одиноких прогулок», а не отчуждение. В нем самом было заложено целебное средство против болезней роста: сознание поэтической правоты («Ведь поэзия есть сознание своей правоты», — сказал Мандельштам в возрасте двадцати лет), доверие к людям, уважение ко всем, кроме «врагов слова», и способность наслаждаться тем, что дает жизнь. В голод, пока он не становится убийственным, наслаждение только обостряется и хлеб ощущаешь как пищу богов. А ведь он и на самом деле — пища богов.

Годы революции — с восемнадцатого по двадцать второй — накатились как стихийное бедствие, обострив в первую очередь чувство текущего времени. Каждый был готов к случайной смерти и потому учился пользоваться минутой. О будущем — какую оно примет форму — думали мало. Единственно, о чем мечтали, это стабилизация, успокоение, остановка невероятного движения, порожденного революцией. Потоки крови лились прямо на улице, перед любым окном. Мы все видели мертвых и пристреленных на мостовых и тротуарах и боялись не случайной пули, а издевательства и предсмертных пыток. Делались невероятные вещи, которые свидетельствовали скорее об одержимости убийством и уничтожением, чем о целеустремленной борьбе. Я запомнила «расстрелянный дом» в Киеве. На Институтской улице, что вела от Думы в Липки, стоял мирный четырехэтажный дом с большими зеркальными окнами. Мимо проходил вооруженный отряд, и кому-то показалось, что из этого дома выстрелили. Выстрелы и опасность мерещились всем, особенно тем, кто сам стрелял. Такие по ночам вскакивали с постели и хватались за револьвер. Они так кричали со сна, что будили соседей, которые от испуга тоже отвечали криком. Хорошо, если обходилось без стрельбы. Наяву люди часто действовали так, будто во сне. Вновь захваченное право стрелять и убивать овладело людьми, подчинило их своей власти, диктовало каждый поступок, стало хозяином и распорядителем тех, кто думал, что что-то приобрел и от чего-то освободился, навесив на бок кобуру. И вот вооруженный отряд человек в сорок выстроился на мостовой перед фасадом четырехэтажного дома и принялся палить в «буржуев», то есть беспорядочно стрелять в окна, чтобы не осталось ни одного целого стекла. Расправившись с домом, отряд зашагал дальше, а напуганные жильцы постепенно выползали из задних, выходивших во двор комнат и побежали за стекольщиками. Дому легче залечить небольшие раны, чем человеку, а разрушительная стихия, действуя на ограниченном пространстве, несравненно менее губительна, чем планомерно работающая государственная машина, стреляющая не в окна (окна могут понадобиться своим людям, их надо беречь), а в людей.

«Русский бунт, бессмысленный и беспощадный» длился недолго. Отряды вливались в армию с централизованным управлением, демобилизованные возвращались в деревни и в города, чтобы, побурлив, стать военизированными отрядами центральной власти. Мечта о стабилизации, то есть о сильном правительстве, осуществилась. Государство нового типа с первых шагов показало, что оно умеет управлять и обладает новыми методами управления. Общество добровольно пошло на службу к новому государству, потому что оно спасало от народной стихии. В первой половине двадцатого века (не знаю, что сулят последние десятилетия второй половины) приходилось выбирать между двумя немыслимыми вариантами: между бунтом и железным порядком, ради которого отрекались от всех ценностей, материальных и духовных, от личной свободы и от элементарного правосознания Люди новой формации предпочли железный порядок, а они были в подавляющем большинстве. Они не только замалчивали или воспевали преступления власти, но искренно считали, что так и надо: «пора без дураков». Сейчас, когда жестокости смягчились и количественно приусохли, старики ворчат по своим углам, что народ распускается и напрасно отпустили вожжи. Они продолжают ценить единомыслие, чем бы оно ни достигалось. Им по душе, когда граждане маршируют, и невдомек, до какого хаоса уже домаршировались. Единственное, чего они хотят, — заткнуть всем рты, чтобы очередь за огурцами стояла молча и никто не смел ворчать. В них еще говорят былой испуг и ужас перед разбушевавшейся стихией, хотя по возрасту большинство любителей порядка не могли в зрелом состоянии видеть стихию. Испуг они всосали с молоком матери.

К моменту стабилизации Мандельштаму было тридцать лет, но для всех, даже для меня, он оказался человеком старшего, уже отошедшего поколения. И субъективно он относил себя не к ровесникам (Катаев, скажем, казался ему щенком, хотя был моложе года на четыре), а к «прежде вынутым хлебам». Теперь я понимаю, что в эпохи полной перетасовки поколение исчисляется не только по возрасту, но и по принадлежности к той или иной формации. «Мой прекрасный жалкий век» вовсе не календарный девятнадцатый и не десятые годы, а незримая общность людей, не желающих ни убивать, ни присоединяться к убийцам. Одни называли себя гуманистами, другие христианами, но большинство интеллигентов верило, что ценностные понятия, нравственные и эстетические (до чего не переношу этого слова!), являются объективным завоеванием человечества, результатом исторического развития. К этому выводу пришел и Владимир Соловьев в «Оправдании добра», и Бергсон в своих гипотезах о происхождении религии и нравственности. По Бергсону, биологический вид, наделенный интеллектом, то есть человек, образует «закрытые общества» с целью сохранения вида. Для сплочения общества вырабатываются религия и моральный кодекс. Отдельные личности, светочи человечества, создают новые религиозные и моральные учения, обращенные ко всему человечеству («открытое общество»). Законы и религия «закрытого общества» выводимы из биологической природы человека. Религия и высокая нравственность «открытого общества» — результат как бы расширения и даже преодоления биологической природы человека. Во всяком случае, они из нее не выводимы. Высшее проявление «открытого общества» для Бергсона христианство. Преодоление законов и установлений «закрытого общества» и прорыв в «открытое», в сущности, является следствием исторического развития, в котором огромная роль отводится выдающейся личности. Мне кажется, что теория ноосферы Шардена сложилась не без влияния Бергсона. Обе теории основаны на биологии, а исторический процесс, теряя чисто человеческую специфику, приобретает черты эволюции.

Владимир Соловьев исходил из совершенно иных предпосылок: чувство добра вложено в человека, оно является признаком его богосыновства. В своем высшем проявлении, в любви, человек резко выделяется из животного царства. Жизнь человека в обществе и любовь направлены не на сохранение вида, как у животных, но имеют другой смысл и другую функцию — это проблески высшей любви, то есть богопознания. Владимир Соловьев понимает религии, свойственные человеческому обществу, как различные ступени откровения и богопознания. Идея добра, составляющая сущностный признак человека в отличие от животного мира, выявляется в человеческом обществе постепенно с ходом исторического процесса, гуманистические идеи девятнадцатого века радовали Соловьева как признак углубления и победы добра. Он приводил в пример победоносного шествия добра борьбу со смертной казнью, которая завоевывала в его время все новых сторонников. В сущности, оптимизм Владимира Соловьева основан на абсолютной вере людей его века в прогресс. Это не вульгарный прогресс властителей дум «шестидесятников», но все же оптимистическое понимание истории как движения вперед. Владимир Соловьев человек девятнадцатого века, и «Оправдание добра», как и «Смысл любви», написаны в девяностые годы. Людям двадцатого века трудно разделять оптимизм Соловьева, но все же и во мне теплится надежда (она затухает каждую секунду и скоро потухнет совсем), что испытания, пережитые человечеством, не пропадут зря. Но каждый день подрывает надежду, потому что новые поколения на Западе ничему не верят и не хотят задуматься о чужом опыте. Их слепота, равнодушие и идиотический эгоизм приведут Запад к тому, что мы испытали, только сейчас это несравненно опаснее, хотя бы потому, что не локализуется в определенном участке, а распространяется и покрывает всю землю отрядами, которые по заданиям начальства стреляют в окна, в людей, в душу человеческую, надевают на мыслящую голову китайскую каменную шапку, проламывающую череп, и рубят кисти рук тем, кто играет на рояле.

Даже такой глубокий человек, как Бергсон, несмотря на свой рационализм, видевший и знавший больше многих современников, сплошь и рядом закрывал глаза на то, что творилось в мире. Он знал, что «закрытые общества» ощерены друг против друга, но верил в безопасность человека в своем собственном «закрытом обществе». А ведь он жил рядом — бок о бок — со «сверхзакрытыми обществами» нового типа, которые уничтожали и крошили всех и каждого единственно с целью устрашения людей и ничтожного удовлетворения собственной потребности в величии. Какое гнусное величие, основанное на количестве пролитой крови и на штабелях трупов...

Очевидно, прежние «закрытые общества» были далеко не такими герметическими, как нынешние, где самоистребление стало одним из ведущих принципов. Последний оптимист в мире Тейяр де Шарден отдал дань хилиазму (тысячелетнее счастье на земле!) и для ноосферы начертил схему, использовав опыт тоталитарных государств. Кто сказал, что все существующее разумно? Тот, кто произнес эти слова, начисто забыл про свободу, данную человеку, который способен на все степени безумия и зла. Армия пропагандистов, или, как выражались в моем детстве, «наемные перья», ловко изобразит чудовищное зло как высшие степени добра и разума.

Пока человек погружен в деятельность, смысл исторического процесса для него затемняется ощущением современности и целями сегодняшнего дня. Всякий акт становится важной задачей сегодняшнего дня, и «строители общественных формаций» ставят одну цель за другой, не считаясь со средствами. (К счастью, они не всегда преступают границы дозволенного и допустимого.) Для своих деяний они всегда находят оправдания, главное из которых — достижение хорошо поставленной цели. Они не видят целостного смысла происходящего и смогут очнуться только в последний миг, когда уже будет поздно.

Тот, кто смотрит из будущего на прошлые события, тоже не может постичь смысла происходившего. Что для нас события прошлого? Пестрота сменяющихся исторических фактов, в которые исследователь привносит какой ему угодно смысл. Будущий исследователь, стремясь к «объективности» и не ощущая боли за людей, воскресит точки зрения всех современников и документы эпохи, стараясь найти «среднюю». Если мир будет существовать, найдутся глубокомысленные ученые, которые исследуют деятельность моих современников, покачают головой, но все же обнаружат некоторые плюсы кровавой эпохи. Плюсы перевесят минусы, потому что груды документов изготовлены специально для будущих «объективных» ученых. Документы облегчат им задачу оправдания и поощрения. Кое-что уцелеет даже из обвинительных материалов, и многие оправдательные послужат для обвинения, потому что они составлялись наспех и самым чудовищным образом. Для оправдания преступлений было, например, вполне достаточно ссылки на авторитет, призывавший к самоистреблению. Но факты на расстоянии бледнеют, пролитая кровь теряет цвет. (Очень нас трогает, что Петр Первый крошил людей? Это ведь не помешало ему стать Великим...) Конкретные случаи забываются, запомнившиеся можно отвести в рубрику «случайность» или обычаи и привычки того ушедшего и не слишком просвещенного века. Можно игнорировать даже события и явления, которые являются символами эпохи, потому что материала всегда хватит, чтобы подкрепить любую точку зрения. В «беспристрастной» науке, именуемой историей, все зависит от точки зрения исследователя Документов хватит с лихвой для чего угодно. Есть большие шансы, что этот ученый будущего будет сторонником всеобщего счастья на земле и, внимательно прочитав Андре Жида, Барбюса, Федина и Фадеева, выведет заключение, что к счастью, конечно, стремились, но иногда прибегали к чересчур энергичным мерам для его достижения.

Есть только один момент для осмысления происходившего — по горячим следам, когда еще сочится кровь и аргументация «продажных перьев» не стоит ни гроша. Здесь, как и в пересмотре собственной жизни, видно только с одной временной площадки, все остальные дают искаженную перспективу. В период брожения и распада смысл недавнего прошлого неожиданно проясняется, потому что еще нет равнодушия будущего, но уже рухнула аргументация вчерашнего дня и ложь резко отличается от правды. Надо подводить итоги, когда эпоха, созревавшая в недрах прошлого и не имеющая будущего, полностью исчерпана, а новая еще не началась. Этот момент почти всегда упускается, и люди идут в будущее, не осознав прошлого. Так было всегда, так будет и сейчас.

Мандельштам не был ни историком, ни философом. Он не искал обоснования ценностей, потому что никогда в них не усомнился. Вероятно, он сознавал, что ценностные понятия и гуманистические идеи лишь вывод из христианства, потому что в стихотворении «Сухие листья октября» он говорит, что люди, которыми «бесполая владеет злоба», не знают Вифлеема и не увидели яслей. Из этого стихотворения ясно и другое: Мандельштам воспринимал «новое» не как начало эры, а лишь как завершение прошлого, которое не имеет никакого будущего: «Бездетными сойдете вы в свои повапленные гробы...» В те годы сторонники «нового» утверждали, что именно они ведут борьбу за человека, за его права и за наследие гуманизма. Они предлагали не другие цели, а другие средства для достижения цели ввиду их могучей действенности. Большинство из них твердо верило в гуманную миссию и с полной искренностью разрабатывало знаменитую аргументацию: сейчас казнят, чтобы навеки искоренить казни и насилие, сейчас пришлось развязать войну, но это будет последняя война, и она ведется только для того, чтобы навсегда уничтожить войны... На поверку все вышло наоборот, и первыми погибли те, кто стоял за казни, террор и войну во имя уничтожения всех этих бед.

Самое существенное и трагическое в секуляризации не отделение церкви от государства или богословия от науки. Секуляризация достигла вершины в тот момент, когда оторвала гуманизм от породившего его христианства. В результате этого акта, вернее процесса, завершившегося в первой половине двадцатого века, мы оказались свидетелями неслыханной дегуманизации людей: каждого человека в отдельности и великих групп — общества и государства. Дегуманизация проявилась в двух формах. Первая форма:

дегуманизация протекает под прикрытием сладчайших слов из гуманистического словаря и обещает неслыханный расцвет личности и полную социальную идиллию. Вторая форма дегуманизации откровенно антропофагская: сильный порабощает слабого и пользуется плодами победы. Покров гуманистических слов в первом варианте был настолько ветхим, что сквозь него все время прорывались формулы откровенно зверского варианта. Этого не замечал только тот, кто вообще ничего видеть не хотел, а таких всегда слишком много в мире. Сейчас все слова иссякли, и в том, что их могло не хватить, единственный проблеск надежды.

В начале двадцатых годов, когда Мандельштама охватила мучительная тревога и он понял, что очутился среди чужого племени, ему еще верилось, что чужой мир хоть и не сразу, но все же впитает гуманистические идеи. Он верил в людей, в доброе начало, вложенное в них свыше, в самоуничтожение зла. В сущности, он разделял идею Владимира Соловьева о том, что люди, достигнув какой-то ступени в познании добра, уже не могут отступить назад, то есть хоть он и заплакал ребенком, услыхав слово «прогресс», все же и к нему привязалось доверие к какой-то своеобразной форме прогресса. (Может ли человек без этого жить?) Я знаю, что мир лежит во зле, но иногда и мне кажется, что в оптимизме есть крошечная доля истины: не потому ли некое «мы», немногие и рассеянные в пространстве люди, но все же существовавшие на этой земле, из тех, кто с детства слышал про борьбу против смертной казни и знал про ясли и благую весть, с таким ужасом относились к кровавой бане двадцатого века, что успели впитать в себя мысль о недопустимости уничтожения себе подобных... (Именно эти знали, что цель не оправдывает средства.) Люди, которых использовали для массовых убийств, вообще никогда ни о чем не слышали... Они слепо доверялись начальникам, а потом входили во вкус убийства и издевательства. Известно, что особой жестокостью отличались подростки и недомерки. В гитлеровской армии расстреливать мирное население на бреющем полете посылали шестнадцатилетних мальчишек. Такой мальчишка не ценит ни своей жизни, ни чужой. Он способен на все. Тех, кто соблазнял «малых сих», было сравнительно немного, но они вовремя успели изолировать детей и привить им зверские наклонности. А еще существовала толпа, развращенная войной — сначала фронтами первой мировой войны, а потом гражданской, когда все понюхали крови. Я заметила, что одно из ведущих чувств, на которых можно играть, развращая людей, зависть. Завистлив обычно человек, сознающий свою слабость. Совершая гнусности и преступления, он удовлетворяет зависть и чувствует себя сильным. Низкие поступки свои он всегда оправдывает мировой справедливостью. У такого есть две-три фразы для самооправдания, в котором он, в сущности, и не нуждается.

Отдельные люди в толпе, бесновавшейся в годы гражданской войны, а потом на службах и работах мирного строительства, может, одним ухом и слышали про запрет убийства себе подобных, но им успели крепко внушить, что ради пользы дела не только можно, но даже нужно убивать. Трусы и сладострастцы, возбуждавшие толпу, сами-то они были способны только на доносы и подметные письма, но их восхищала наглость и сила настоящих убийц. Эта толпа ревела на собраниях, одобрявших казни. Она окружала убийц, разрывавших на части рыжих женщин, принятых за чекистку Розу. Она воплями подстегивала погромщиков и раскулачивателей. Вопившая толпа была видна и слышна отовсюду, но составляла небольшой процент населения. Основную массу составляли угрюмые люди, которые сторонились убийц, но не смели им ничего сказать. К тому же у них не было аргументации. Яслей они не видели, а справа и слева слышали слова на одном языке. То был язык обещаний и мести. Толпа вопящая и толпа пассивная может быть повернута в любую сторону, а в каждом обществе найдутся «кадры» для уничтожения себе подобных, толпы людей с пустопорожними глазами. Весь вопрос в том, захотят ли их использовать и найдутся ли соблазнители. Весь вопрос в соблазнителях. На сегодняшний день меня интересуют мальчики, живущие на Западе и отпустившие длинные волосы. Кому они завидуют и какие недомерки руководят ими? Почему около них юлят Сартры и чем их соблазняют? Знают ли они технику каменной шапки и на чью голову им хочется ее нахлобучить?

Двадцатые годы — период, когда тщательно подбирались кадры соблазнителей и убийц. Их тренировали на мелких делах: они участвовали в рейдах «легкой кавалерии» (девушка-хромоножка из «Четвертой прозы»), в газетной шумихе, в строительстве колхозов, на собраниях и на службах в миллионах учреждений. Их взвинчивали и обучали, чтобы развязать в тридцатые. Среди интеллигенции действовали соблазнители с гуманистическим словарем, но еще больше жизнелюбцев и циников, развивших технику издевательства над колеблющимися, которых обвиняли главным образом в устарелых мыслях и понятиях и сбрасывали с корабля современности. Среди циников была и более приятная порода, выполнявшая заказы, чтобы покупать за дешевую цену девочек, а за дорогую — еду и одежду. Одни, продаваясь, роняли слезу, как Олеша, другие облизывались, как Катаев. Почему-то все желали идти с веком наравне. Никогда тема сегодняшнего дня, современности не звучала так назойливо. Все желали быть современниками, людьми сегодняшнего дня и смертельно боялись отстать.

Мандельштам твердо знал, что он принадлежит «другому веку» и никому не приходится современником. Он понимал свое отщепенство, но у него в уме завязли псевдогуманистические выкрутасы из проповеди взаимоуничтожения. Он сомневался в себе: раз все делается для людей, для будущей счастливой жизни, почему же он «один на всех путях» и полон ужаса? Неужели он один прав, а все погрязли в мерзости? Не слишком ли много он на себя берет, противопоставляя себя — себя одного — всем? Отсюда — «усыхающий довесок прежде вынутых хлебов», отсюда ощущение «чужого племени», для которого он должен собирать «ночные травы», отсюда — ранняя «известь в крови», чувство принадлежности к чужому поколению, старшему, ушедшему, обанкротившемуся... (В чем и как оно обанкротилось, я хочу знать... Почему оно не успело ничего противопоставить проповеди зверства?.. Как случилось, что церковь упустила прихожан и мальчика, у которого болел зуб?.. В чем были роковые ошибки прошлого у нас и в чем они сейчас на Западе? Это нужно понять и вовремя взяться за ум. Не идет ли растлевающее влияние не только от Арагонов и Сартров, но и от «охранителей», берегущих свое здоровье, покой, удобства и делающих ставку на счастье для себя, на свое собственное пищеварение?)

В десятых годах Мандельштам был чужд во многих кругах и сферах. У Мережковских его называли «Зинаидин жиденок», менады символистов отворачивались и по первому знаку предводителя могли растерзать. У Герцык, кажется, в мемуарах Ахматова нашла запись с издевательством над молодым Мандельштамом. Ждали, что он будет читать стихи на «башне», и готовились посмеяться над ним и над «бабушкой». Очевидно, была какая-то пожилая женщина, любившая стихи молодого поэта, но в его жизни не участвовавшая. Кто она, я не знаю. Все это естественная драка поколений, «литературная злость» или прилитературная склока. «Жиденок» не чувствовал разрыва с окружающим, потому что в обществе существовали разные круги с разным отношением к людям. Уже образовалось свое «мы», и даже в чужих кругах имелись отдельные люди, поддерживающие «жиденка» и чувствовавшие, что он обладает чувством поэтической правоты. В каждую эпоху бывает чужое и близкое. В десятые годы так и было. Мандельштам девятнадцатого года был полон доверия к людям, весел, легок. В двадцатые годы вся структура общества, стремившаяся к монолитности, и монолитное государство — все это обратилось против нас. Новое для себя чувство отщепенства Мандельштам попробовал перенести из двадцатых годов в десятые, вспомнив, что и там существовали недоброжелатели, люди с пустыми глазами, дамы, устроившие Трианон и предпочитавшие «офицерню» нищему мальчишке. Именно такому переносу из двадцатых в десятые годы чувства отчуждения посвящена «Египетская марка». В десятых годах Мандельштам решил искать корни своей изоляции (И впоследствии его занимал вопрос, почему одни находят свое место в любом обществе, а другие чувствуют свою изолированность и противопоставленность: он сравнивал отношение Тасса и Ариосто к окружающему миру, которого один боялся до болезни и в котором другой чувствовал себя как рыба в воде.) Но в «Египетской марке» есть деталь, которую никто не заметил: полковник Кржижановский при Временном правительстве ходит с красным бантом, а под занавес едет в Москву и останавливается в гостинице «Селект». Нам сказали, что эта гостиница в первые же дни была забрана для работников Лубянки. Не гвардейцы и банкиры были чужды Мандельштаму, а тот биологический тип, из которого формируются власть и деньги при любом режиме. Дело даже не в том или ином государственном строе. У каждого из них достаточно преступлений, чтобы навеки отвернуться от любого. Для того чтобы отвернуться, вовсе не требуется нашего масштаба преступлений, которые превзошли все, что когда-либо происходило на этой земле. Самое существенное в том, какие люди, ротмистры Кржижановские, получают оптимальные условия для расцвета заложенных в них качеств. Не мешает подумать, какие нужны были качества для того, чтобы выдвинуться в двадцатые и тридцатые годы. Каждое из этих роковых десятилетий выдвигало свой тип людей. Сороковые дали новый типаж, который в значительной степени действует и сейчас. Дала его не война, а послевоенные годы.

К счастью, я дожила до семидесятых годов, когда выдвиженцы «героических эпох» уже сходят на нет. Нынешняя преступная поросль наверх пока не поднимается. Она ждет своего часа, но он, может, и не наступит. Думаю, что старшие, которые сейчас у кормила, не хотят разгула террора и убийств. Они знают, к чему это приводит, и потому осторожны. Молодые, не бывшие свидетелями страшных лет, способны на все, но пока не дорвались до власти... Сейчас переходный момент, и от того, как повернется дальше, зависит все. Есть слабые ростки добра, ослабевшее зло и новое зло, еще набирающее силы. Кто победит завтра, сказать нельзя. И не следует утешать себя тем, что зло ослабело. Оно и ослабевшее способно натворить непоправимые беды. В старину говорили «под занавес»... Необходима невероятная осторожность, чтобы под занавес не совершилось непоправимое, а это может произойти, а также чтобы не прорвалось наверх новое зло, которое готовит новые соблазны и новые слова.

Инерция зла чересчур сильна, а добрые силы беспомощны и пассивны. Охранительские массы ничего не охраняют и подчинятся всякому обороту событий. В этом причина сегодняшнего беспокойства, которым охвачены огромные толпы, а вместе с ними и я, старая женщина, которая уже не узнает развязки. В этом мое единственное утешение.

IX. Стеклянный колпак

На службу в газету «Московский комсомолец» Мандельштам поступил осенью 29 года. Дотянул он там до февраля 30 года. В декабре приблизительно он начал диктовать «Четвертую прозу». Мы снимали комнату у нэпмана, торговавшего на базаре галантереей, которую изготовляли другие нэпманы. Нашего хозяина обложили фантастическим налогом — таким способом подводились итоги новой экономической политики. Нэпман долго и задумчиво считал на счетах и решил, что выгоднее сесть и отправиться в Туруханский край или в Нарым, чем влезать в неоплатные долги, выплачивая налог. Семье при этом оставались кое-какие деньги, которые он успел заранее припрятать, и квартира, выстроенная на имя жены. Он рассчитывал, что, сдавая комнату, семья протянет до его возвращения, а сам он в ссылке получит новую специальность и снова сможет содержать всех — жену и детей. Они, бедные, еще считали нужным содержать жен и семьи... Это были последние могикане, и о них давно забыли... Итак, нэпман решил принести себя в жертву семье, но даже не ощущал свой поступок как жертву, а только как расчет, сделанный на счетах и записанный на клочке бумаги, который он потом разорвал и спустил в уборную.

За нэпманом пришли, и целую ночь мы слушали, как трое молодцев орудовали в соседней комнате, — квартира была, конечно, двухкомнатная с тоненькой переборкой вместо стенки. Мы простились с нэпманом, когда его уводили, и он печально сказал: «Без ремонта не обойтись». В комнате при обыске вывернули паркет, а расход на новую укладку не входил в план и подрывал строго продуманный бюджет. (Бедняга не знал, что через год уже начнется новый голод и резкое падение денег.) На мысль о том, что всегда бывают непредвиденные расходы, нэпмана навели вывороченные в последнюю минуту паркетины. В какой-то щели молодцы нашли кучку червонцев, но мы знали, что эти деньги были сознательно засунуты в очень приметное место, как жертва разгневанному богу. Нэпман заранее договорился с женой, что она отчаянно взвоет, когда обнаружатся червонцы, и мы услыхали ее вполне талантливый вой и искренний визг детей, не посвященных в детали инсценировки. Единственное, чего нэпман не предвидел, это паркета. Он думал, что деньги найдутся сразу и молодчики, удовлетворившись находкой, уведут его. Они так плохо работали, что нашли щель с деньгами под самое утро, уже натворив груду беспорядка. Отсюда — убыток и непредвиденный расход.

После увода хозяина в семье начался разлад — тоже непредвиденный. Семья лишенца, да еще репрессированного органами порядка, имела одно-единственное право, вменявшееся ей даже в обязанность: дети продолжали посещать школу. Их было трое — две маленькие девочки и мальчик постарше. Девочки приспособились к новым условиям. Женщина всегда гибче нежного мужского сословия. Мальчишка, как внезапно оказалось, не мог перенести жизни, которую ему создали в школе учителя и соученики. Целыми днями мы слышали его рев и крики матери, требовавшей, чтобы он взял себя в руки и немедленно стал человеком. Она напоминала сыну, что отец ради него сел в тюрьму и ему надлежит жить, как все, и поскорее начать заботиться о сестрах... Мальчишка выл... Девочки возвращались с вечерней смены полные школьных впечатлений, и мать кормила их свеклой, капустой, кашей. Цены уже начали расти, и мать, вздыхая, перечисляла, что истрачено за день. Утро начиналось с приготовления завтрака: каша и чай особого сорта. На непитательный сушеный китайский лист в этой семье не тратились. Покупалось молоко, и мать разбавляла его на кухне водой. Молоко закрашивало воду легкой мутью. Мальчишка требовал чаю, мать причитала. Затем она гнала его в школу, мальчишка выл... Он выл с утра до вечера, но, к счастью, рано ложился спать. После одиннадцати вопли умолкали, и Мандельштам, выпив своего чая, который я норовила заваривать раз в сутки, а он выл и требовал свежей заварки, ложился на кровать и тихонько лежал, наслаждаясь тишиной. Я погружалась в дремоту, но, чуть подступал первый сон, Мандельштам будил меня: «Надик, не спи...» Я открывала глаза, и он сразу начинал диктовать: «Надик, не спи, ты же можешь встать, когда угодно, а я без тебя не могу...»

Я писала на клочках бумаги, притащенной из редакции, большим, детским, потому что со сна, почерком, безграмотно, но разборчиво. Работа кончалась к утру. Она оборвалась, потому что в феврале я уехала в Киев хоронить отца. Вернувшись, я побегала с Мандельштамом по учреждениям, готовясь к «путешествию в Армению». Бухарин нашел «приводной ремень» — путешествие было устроено через Молотова, как потом и пенсия. Устроено оно было по второму сорту — без блеска, как для настоящих писателей, но и то «по вашим грехам хорошо». Пока что еще можно было что-то устраивать для Мандельштама, но с каждым годом становилось все труднее. Он переводился в худшие категории — нисхождение по лестнице живых существ.

О судьбе нэпманской семьи я больше ничего не знаю. Вернувшись из Армении, мы не нашли ее по старому адресу. Сами ли они уехали или их выселили, что гораздо вероятнее, я не выяснила. Население дома сменилось, и узнать было не у кого. Дом принадлежал к категории частных новостроек, а заселявшие его люди назывались «застройщиками». Они настроили много домов, а потом были выселены или превратились в квартиросъемщиков, у которых отняли излишки площади. Расчеты нэпмана на квартиру не оправдались, а государство, наверное, нашло способ покрыть недоимку. Какие могут быть расчеты в нашей жизни? Ее закон — неустойчивость. Одна нэпманская семья, один воющий мальчишка — такую мелочь нельзя учитывать, когда строят новый мир, чтобы обеспечить счастье (и расцвет личности, как говорят теоретики) всем и каждому... Первая глава «Четвертой прозы» говорила о социализме, ради которого пришлось пожертвовать нэпманом и его глупым сыном. Для мальчишки, впрочем, открывалась отличная дорога прямо к лучезарному счастью — ему следовало осудить отца, порвать с прошлым и оказать услугу начальству, порывшись у нас в бумагах. На всякий случай я носила бумажки с «Четвертой прозой» в сумке, хотя знала, что в те годы начальство нами почти не интересовалось. Если мальчишку использовали, то, скорее всего, для разоблачения отца — куда он припрятал червонцы? — и всех его друзей и знакомых — в чьих огородах закопаны кубышки с бумажными деньгами?.. Я не помню, как вышли из употребления червонцы, но думаю, что многие не успели вырыть их и обменять на новые бумажки. А может, червонцев к этому времени уже не было и, обесценившись, они просто легли в сундуки одиноких и одичавших стариков рядом с керенками и грудой бумажек гражданской войны. Падение денег обычно происходило постепенно. Зарплаты почему-то начинает не хватать. Пенсии превращаются в фикцию. Не то деньги падают, не то цены растут. Один раз только — в начале второй мировой войны — было ясно, в чем дело: цены на продукты были резко повышены в один день (на сахар, например). Медленных процессов я обычно не замечаю — у меня нет памяти на цифры, а зарплаты всегда не хватает, даже когда она высокая, как в последние годы моей службы. На то она и зарплата.

В «Московском комсомольце» Мандельштаму платили так мало, что после получки денег хватало всего на несколько дней. У нас обеспечивали «своих» не зарплатой, а неучитываемыми вещами — пакетами, кульками, конвертами, кулечками, распределителями... Иногда Мандельштама принимали за своего, и он тоже получал кулек. С тридцатого до ареста в мае 34-го мы получали продукты в пышном распределителе, где у кассы висело объявление: «Народовольцам без очереди...» В дни «Московского комсомольца» мы жили на зарплату. Редакция помещалась на Тверской, то есть на улице Горького, в пассаже. Все вместе называлось «комбинатом», а управлял им «лихач-хозяйственник» Гибер. Струве пишет в примечаниях, что ему не удалось выяснить, кто такой Гибер... Гибер и есть Гибер, просто завхоз или коммерческий директор с лихим воображением. Структура комбината была действительно непонятна и таинственна. Он каким-то образом распространился на весь пассаж, и в него входила редакция газеты, а также театрик и ресторан. Вероятно, еще что-нибудь, но нас это не интересовало. В ресторане сотрудников охотно кормили в долг, а потом вычитали долг из зарплаты. Обедать я ходила в пассаж, и лакей (там были еще лакеи, а не подавальщики) поразил меня однажды, сказав: «Ваш старичок уже отобедал...» Моему «старичку» было тридцать восемь лет, но он уже понял, что дышать больше нечем.

В редакции к Мандельштаму относились доверчиво и дружелюбно, как потом в воронежском театре. У него просили, чтобы он снабжал редакцию и ее сотрудников «культурой», и поверяли ему разные антропофагские замыслы. Он мне их с ужасом потом пересказывал за обедом в ресторане или вечером дома. Все в редакции верили в светлое будущее и старались ускорить его. Для этого каждый боролся с косностью, повышал квалификацию в кружках и занимался учебой. Газетку делала целая толпа, потому что за каждым работающим присматривала целая толпа неработающих. Вся толпа ходила обедать в ресторан, и все обедали в кредит. Вечером шли развлекаться в театрик. Мы однажды видели забавный спектакль про мясника, страшного кавказца с усами, который рубил мясо и отпускал шутки в стиле эпохи. В мяснике нам почудился некто, чье имя уже стало всеобщим достоянием.

Уезжая в Армению, Мандельштам уволился и получил доброжелательную характеристику. В ней было сказано, что он принадлежит к интеллигентам, которых можно допускать к работе, но под наблюдением партийных руководителей. Его это почему-то задело, а я смеялась, почему он обижается на своих «парнокопытных» друзей. Чего, собственно, он мог ожидать от них? И он ведь обнаружил, что у них копыта, а не ступни, задолго до получения характеристики... Я берегла эту милую бумажку и не помню, когда она пропала: во время обысков, выемок или сама по себе. От нее пахло двадцатыми годами комсомольского типа на пороге великих дел. Комсомольцы еще чувствовали себя солью земли, но сознавали, что следует подсолониться культурой. Судьба их ждала зловещая. Они погибли на войне и в лагерях по обвинению в троцкизме, тайном или явном, реальном или выдуманном. Все поколение пошло под нож, но можно поручиться только за одно: до своего собственного ареста или гибели на войне они сами неустанно чистили и сажали. Единицам, быть может, повезло, и они уцелели в лагерях или на большой командировке. Такие сейчас играют по дворам в домино, хвалят бывшего хозяина, который проявил волю и твердость, ругают бестактного Никиту, позабыв, что это он выпустил их из лагерей и переселил из подвалов в дивные квартиры в Черемушках, хотя они уже не приносят никакой пользы государству. Смешно, что они ругают Никиту, единственного из начальников, позволившего старикам получать пенсии, квартиры и телефоны. Я, например, ему очень благодарна, хотя он не ведал, что творил.

В тот давно прошедший год, когда нынешние старики служили с Мандельштамом и всё гадали, как бы набраться у него культуры, они еще по-своему были добродушными малыми. Мне не раз случалось видеть, как они кормят обедом своих уже падших и разоблаченных друзей. В последующие годы никто бы не решился не только накормить, но даже поздороваться с отверженным. То были сладостные и невинные времена, о которых до сих пор вспоминает старшее поколение. Если б им дать вторую молодость, они бы всё повторили с самого начала.

Обиду Мандельштама на дурацкую характеристику я объясняю только тем, что он органически не переносил, чтобы его воспитывали. Это свойство, вероятно, и является признаком дурного характера, на который до сих пор жалуются его современники. Даже я не пробовала влиять на него и не лезла в воспитательницы, хотя еврейские жены славятся своими талантами на поприще мужеводства. Чтобы показать, как он не переносил воспитателей, я приведу малозначительный, но характерный случай, относящийся к эпохе дружбы с газетой и странной стабильности. В редакцию пришел рапповский критик Селивановский. Ему поручили отыскать Мандельштама и сказать ему, как его на данном этапе расценивает РАПП. Оказалось, что РАПП относится к Мандельштаму настороженно: наконец-то он стал советским человеком (иначе: служит в газете), но почему-то не написал ни одного стихотворения, то есть не продемонстрировал сдвигов в своем сознании. (Почему удивляются китайцам? Изобретатели не они, а мы.) Я никогда не видела Мандельштама в таком бешенстве. Он окаменел, губы сузились, глаза уставились на Селивановского. Он спросил, почему РАПП не справляется, как протекает у него половая жизнь, какие приемы в этой области рекомендуют РАПП и Цека, применим ли здесь классовый подход... Селивановский по-настоящему испугался — я видела это по его лицу. Он хотел что-то сказать, но Мандельштам не позволил. Ему пришлось несколько минут слушать поток бешеных речей, а потом увидеть спину Мандельштама. Селивановский, один из самых мягких из рапповской братии, вероятно, подумал, что

Мандельштам опасный сумасшедший. Тем более то, что ему поручили передать, являлось знаком благоволения, а писатели принимали такие знаки почтительно и с радостью. Это было почти предложением сотрудничества, выраженным на языке Авербаха и Фадеева.

Мандельштам сказал еще, что его работа становится общественной собственностью, только когда она напечатана, — «тогда бросайтесь хоть всей сворой» («Осип Эмильевич, вы называете нас сворой!»)... До этого рыться в сознании писателя так же гнусно, как перетряхивать его простыни и проверять, спит ли он со своей женой: «Вы же не спрашиваете меня, живу ли я со своей женой и сколько раз в неделю... А может, нет...» Селивановский пытался что-то сказать, что это буржуазная точка зрения и разговоры о так называемой свободе творчества... Писатель всегда работает в пользу того или иного класса... Но это были отдельные писки, которых Мандельштам не слушал. На слово «творчество» он матюгнулся и ушел в ресторан, зацепив по дороге меня. Я смертно обиделась, что при мне он развел эту непристойность про жену, но он только цыкнул: «Ничего не понимаешь... Заткнись...» Именно обида запечатлела в моей памяти этот разговор. Долго ли я сердилась — не помню. Скорее всего, за обедом он меня развеселил, и мы помирились...

Селивановского мы больше не видели. Думаю, он доложил куда следует об этом «приятном» разговоре. Хоть он и не был зловредной фигурой, «докладывание» считалось обязательным, тем более что Мандельштам назвал в неподобающем контексте некоторые важные учреждения. Селивановский кончил там же, где все или многие: судьба человека не зависела от того, что он думал и говорил.

«Четвертая проза» полного освобождения не дала, но пробила путь для стихов. Важно было не только назвать «чужое племя», но еще отмежеваться от него и перестать для него собирать травы. Не отщепенцем нужно было себя ощутить, а Иосифом среди дикарей, чего не чувствовал настоящий Иосиф в Египте, чужой среди чужих, с которыми не следует говорить, потому что нет общего языка.

С «чужим племенем» разделял язык в самом глубоком смысле слова, потому что все наши понятия и представления оказались разными. Чужими были все — и «победители», и сдавшиеся на их милость побежденные. Поражение так ошеломило людей, что старшим поколениям излечиться от удара не удалось. Одни запрятались и замолчали, другие старались говорить общие слова, чтобы им улыбнулся уполномоченный «победителей». Затем пошли поколения принципиальных пораженцев. Сыновья расстрелянных отцов доказывали себе и другим прелесть и смысл «заказа». Они требовали не приспособления, а безоговорочного перехода к «победителям» — к ним на службу не за страх, а за совесть, чтобы наконец стать в подлинном смысле советским человеком. Таков был бедняга Рудаков, генеральский сын, который с пеной у рта доказывал Мандельштаму, что пора заговорить на языке современности. Во время войны он тяжело переживал, что был просто лейтенантом, а не генералом, как его отец и братья, тоже погибшие. Это единственная его обида, потому что от мысли он полностью отказался. Портили этому бедному парню только вкусы: он любил Цветаеву и чуть-чуть Мандельштама. Его утешало, что именно ему суждено им все объяснить и вывести заблудших на верный путь. Таких было много, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Пока Мандельштам пытался понять чужаков и пробовал им объяснять, что и в прежнем мире он не был привилегированной персоной, обожаемой дамами и портными, ничего хорошего не получалось. (Почему, собственно, ему следовало быть любимчиком вроде Городецкого?) Голос обретался только в противостоянии. Он вернулся к Мандельштаму, когда его надоумило разбить стеклянный колпак и вырваться на волю. Под стеклянным колпаком стихов не бывает: нет воздуха.

Стихи ушли в середине двадцатых годов и не возвращались. Порой Мандельштам бывал мрачным, порой веселым, но всегда интеллектуальным и блестящим собеседником, только говорить-то было не с кем. И все-таки в нем что-то надломилось, ушло... Это было нечто неопределимое, крохотное, но очень существенное, некая формообразующая крупинка, без которой нельзя жить. Я могла бы назвать исчезнувшее «нечто» внутренним ритмом, духом музыки, но не могу себе позволить такого упростительства[25]. Дух музыки или просто музыка исчерпались в десятых годах. Мандельштам слышал и реальную музыку, и внутренняя музыка в нем жила, и любить он умел — к этому периоду относится большинство писем ко мне. Есть такое понятие: внутренняя свобода. Мне придется прибегнуть к нему, чтобы не искать новых слов. И все же надо быть точнее — свободу он сохранял и суждения его всегда были свободными. Может, он не получил свободы от времени и оно давило на него. Хоть он и сказал, что никогда не был ничьим современником, время все же до поры до времени не выпускало его на волю.

Мандельштам всегда знал большие перерывы между стихами. Они появлялись пачкой, а потом внутренний голос умолкал — иногда на год, иногда и на больший срок. Мне думается, что стихотворение «Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади...» относится к состоянию, когда один цикл стихов закончен, а другой еще не начался (оттого «клетка» и опустошена). Известно, что каждый художник, а может, и ученый, закончив цикл работ, чувствует, что все в нем остановилось надолго, а то и навсегда. Таков перерыв между циклами, периодами, книгами... Про молчание второй половины двадцатых годов сказано совсем иначе: «Когда я спал без облика и склада». Ясно, что такое молчание не имеет ничего общего с нормальным отдыхом, то есть тихим периодом накопления, созревания и роста. Окончательным толчком к пробуждению послужила встреча с Кузиным, молодым биологом. Встреча произошла в Эривани во дворе мечети, куда мы постоянно ходили пить дивный персидский чай с маленьким кусочком сахару вприкуску. Про эту встречу Мандельштам сказал: «Я дружбой был как выстрелом разбужен».

---

[25] *Далее следовало*: Причина немоты заключалась в конкретном состоянии ума и духа Мандельштама и зависела от отношения с обществом.

В нашей жизни человек, с которым можно было говорить о чем-либо кроме его изобретений и правительственных заданий, казался настоящим чудом. Разговор с Кузиным быстро исчерпался, потому что запас у него был неглубок, а пополнять он не умел, но свою роль встреча сыграла. Выяснилось, что еще существуют люди, принадлежащие к родственным племенам. Вскоре после встречи с Кузиным мы уехали в Тифлис, и там начались стихи. С тех пор стихи не прекращались, хотя бывали длительные периоды отдыха и накопления. Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем. Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения.

Снова возникло «нечто», крупинка. Мандельштам сразу расцвел, развеселился, и бес засел у него в ребре. Остановить стихи можно было только одним способом — убив носителя крупинки. Это и сделали, но еще оставалось больше семи лет жизни и работы. Мандельштам использовал их во всю силу. Эти семь лет — лучшее время нашей жизни, невзирая на все чудовищные внешние обстоятельства. Но и другие периоды прекрасны, веселы и легки. Нам очень славно жилось вместе.

X. Сила зрения

Мы вернулись из Армении поздней осенью тридцатого года. Теперь я знаю, что нам оставалось до катастрофы три с половиной года, но, к счастью, из настоящего будущее не видно, поэтому мы жили, всегда готовые к беде, но не предвидя ничего конкретного (обыска, сапог, голосов, звонков, увоза). Нам даже казалось, что гайки завинчены до предела и нужно ждать облегчения. Так и было — насчет гаек, то, что произошло дальше, непостижимо для здравого ума. Впрочем, мы об этом мало думали и жили полной, хотя и нищей жизнью. Первые полтора года мы мытарили по чужим квартирам, одно время даже порознь. «Волчий цикл» писался, когда Мандельштам жил у своего брата (у Шуры), а я у своего.

В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с двумя такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась «запрещенная тишь». (Мандельштам вовсе не был ночным сочинителем, хотя работа могла затянуться и до ночи. Дело только в шуме и в потребности уединения, которым днем и не пахло, так что этот период работы оказался ночным.) Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей. Кое-что сохранилось, хотя среди них похозяйничали органы, супруги Рудаковы и Харджиев.

«Запрещенная тишь» наступает после полуночи. Люди обычно боятся бессонницы, но в переполненных коммунальных квартирах с их непрерывным воем, в комнатах, заставленных койками, как мы прожили всю жизнь, побыть наедине с самим собой можно только ночью. Впоследствии, когда меня носило по провинциальным вузам, где мне отводили комнатенку в студенческих или преподавательских общежитиях (это еще хуже, чем в студенческих), я хорошо поняла строчки: «После полуночи сердце пирует, взяв на прикус серебристую мышь...» Кто-то, кажется Волошин, сказал Мандельштаму, что в греческой мифологии белая мышь символизирует время. Но, скорее всего, она пришла из пушкинской: «…жизни мышья беготня...». Насуетившись и накричавшись, люди блаженно спят в духоте и смраде, разинув от недохвата воздуха рты. (Духота и холод лагерного барака, вонь и холод барака — они не представимы даже мне, все годы ощущавшей их как физическую данность...) Ничего, кроме сопения и храпа, не нарушает тишины, и только странник наслаждается одиночеством, и сердце его пирует. (Милые западные мальчики с длинными волосами, вы этого добиваетесь? Или вы надеетесь, что успеете захватить дворцы, засунув паршивых граждан в коммунальные квартиры? Хоть на десять лет вас бы в Китай или в нашу героическую эпоху...) Я огорчалась, что Мандельштам не спит и предается по ночам пиршественным оргиям, но он меня утешал: чем больше препятствий для стихов, тем лучше — ничего лишнего не напишешь... (Он, кажется, прав.)

В начале лета Шура с женой уехали на полтора или два месяца на юг, а я переселилась к Мандельштаму в убогую комнатенку на Старосадском переулке. Пиршество продолжалось уже не только по ночам, но и днем, а стихи стали длиннее — они уже не спрессовывались ночным бдением. Время было голодное. Это начало чудовищного голода на

Украине, повышения цен и прочих радостей, результат раскулачивания и первой пятилетки. Мы еще в Тифлисе заметили, что происходит что-то неладное: исчезли продукты, в первую очередь папиросы, и мы охотились за ними вместе с Чаренцом. Выручали уличные мальчишки, продававшие диковинный товар прямо из грязных, но симпатичных рук. Усиливалась бдительность, а голод и бдительность всегда взаимосвязаны. Они находятся в прямой пропорции — чем хуже с одним, тем зорче другое. Если нельзя накормить людей, следует побольше арестовывать, чтобы никто не вякал. Такова мудрая политика мудрых правителей, которые спасут мир. Господин Сартр, конечно, не прочитает моей книги, но я прошу ему это передать: пусть знает.

Мы приехали в Москву из Тифлиса, и к вечеру нам захотелось есть. Тут-то выяснилось, что ни в одном магазине ничего нет. Я помню, как мы ходили по Покровке и ничего, кроме кофе «Здоровье», на прилавках не обнаружили. (Я готова была и раньше и теперь переносить любой голод и жить нищенской жизнью, лишь бы знать, что существует уважение к гражданину и не зверский, а человеческий закон.) Вскоре снова возникли карточки, по которым почти ничего не выдавали, и пайки для привилегированных (тогда и мы попали в их число). Пока суд да дело, на улицах появились летучие базарчики. Торговцы держали товар на ладонях яйцо, морковка, две картофелины. Я выходила на такой базарчик в двух шагах от дому и приносила роскошную трапезу. Чаще всего я добывала горсточку муки и немножко постного масла. Заботливая еврейка из соседней комнаты упрекала меня, что я чересчур экономлю масло и у меня выходят не настоящие оладьи, а булочки. Зато привередливый Мандельштам, знавший толк в пище, забыл про всякую кулинарию и считал удачей, если ему дважды в день перепадала кучка не настоящих, а сомнительных оладий. В конце войны я такими же оладьями кормила Ахматову, и она глотала их, как слоненок.

Люди толстеют от пищи, которой спасаются в голод. С голодухи бросаются на тяжелые, неудобоваримые радости из пайков и тут-то разбухают. У меня собрано много наблюдений о физиологии и психологии голода, но нас интересуют только голодовки в империалистических странах.

Идиллическая жизнь на Старосадском не омрачалась ничем, меньше всего заботой о будущем. Дел не было никаких. Забегал «старик Маргулис», спасшийся от ленинградского голода и безработицы в Москву. Он был полон надежд на получение перевода или службишки. Тем временем он рыл землю, добывая на корм и записывая стихи Мандельштама. На следующий день, кто бы нас ни встретил, цитировал их. Заходил Боря Лапин с пишущей машинкой и молча выстукивал новый стишок. Однажды он принес кусок киноленты, и мы рассматривали ее на свет. Кузин не знал, что делать со стихами. Он привык к книгам, где он им доверял, но со свеженьким никак не знал, как поступить. Он искренно огорчался, услыхав новые стихи. Одно Мандельштам в его честь даже уничтожил, но потом понял, что дело не в самих стихах, а в Кузине, и перестал реагировать на его слова. Кузин стремился к стабильности и принадлежал к породе людей, которые признают только ставшее и не переносят становящееся. Он постепенно застывал и, как мне сказали, сейчас начисто застыл. Часто приходила и Эмма Герштейн. Она из породы людей, которые каждую фразу начинают с поучения: «Я же говорила...» С Ахматовой она дружила многие годы, но после ее смерти оказалось, что у Эммы нет ни одного стихотворения. Мне пришлось ей дать из своих запасов, чтобы она не осрамилась перед любителями поэзии. Слишком много народу занимается поэтами, ни черта не понимая в стихах. Глупо, но факт.

Приходили еще люди, не много и не мало, а как раз сколько нужно. Мы были подвижными и много гуляли. Все, что мы видели, попадало в стихи: китайская прачечная, куда мы отдавали белье, развал, где мы листали книги, еще не покупая из-за отсутствия денег и жилья, уличный фотограф, щелкнувший меня, Мандельштама и жену Шуры, турецкий барабан и струя из бочки для поливки улиц. Возвращение к стихам привело к чувству единения с миром, с людьми, с толпой на улицах... Это блаженное чувство, и нам чудесно жилось, но я не понимаю, откуда брались деньги даже на эту собачью жизнь. Вероятно, Бухарин уже устроил продажу двухтомника с ежемесячной крохотной выплатой. Денег, во всяком случае, хватало на чай и оладьи, но мы не потолстели, потому что муки было слишком мало. Острее чувствовался недостаток сахару. Мы получали немножко по карточкам и чай пили вприкуску. Любители чая, знатоки, смеются надо мной, что я, высокий знаток, и сейчас пью чай внакладку. Один, самый главный, замолчал, когда я ему объяснила, что в течение сорока пяти лет мне не хватало сахару и каждый кусочек добывался чудом. Вскоре Халатов зачислил Мандельштама на паек в магазин с народовольцами и заставил писателей каждые три месяца заново включать нас в пайковый список, и мы стали получать кроме килограмма на карточки еще по три кило сахару в месяц. Это уже богатство. Зато хлеба нам всегда хватало на писательскую карточку выдавали много хлеба, как на рабочую, граммов с восемьсот. Настоящий голод, когда думаешь только о хлебе, я испытала уже в одиночестве — во время войны.

В Старосадском Мандельштам написал стихотворение, смысл которого не сразу дошел до меня, — он вдруг позавидовал «дальнобойному» зрению орлов. Он всегда радовался силе своего зрения, Ахматова же клялась, что никто не видит так далеко, как она. И она гордо заявляла: «У меня морское зрение». Это означало, что она происходит из семьи моряков. Я всегда напоминала, что моряки у нее сухопутные... Отец Ахматовой служил в морском ведомстве, где морского зрения не требовалось, и моря, как все чиновники, вероятно, не нюхал. «Наденька, вы всегда так», — говорила Ахматова. Это была формула обиды, а Мандельштам тут же подхватывал: «Она всегда так, она такая...» Он только и ждал повода, чтобы начать «дразниться», как все дрянные мальчишки и девчонки. Дразнить легче всего было меня и Ахматову — мы в этом понимали толк. Как трудно было мне, привыкшей, чтобы меня дразнили, остаться одной без дразнящего, смеющегося, веселого и сердитого спутника неодиноких прогулок...

Похваляясь друг перед другом силой зрения, Ахматова с Мандельштамом придумали игру, возможную только в Петербурге с его бесконечными и прямыми улицами и проспектами: кто первый разглядит номер приближающегося трамвая? По правилам игры за ошибку полагался штраф, за что-то приз, и велся сложный счет очков. Мне с моим заурядным зрением тягаться с ними не приходилось, но они требовали, чтобы я стояла рядом и была арбитром, потому что каждую минуту вспыхивали споры. Установив правила, они сразу всё перепутали, да еще каждый пытался сжулить и выдать догадку за увиденное. К великой зависти Мандельштама победительницей всегда оказывалась Ахматова. Как всякая женщина, она умела выдать желаемое за действительное, то есть жульничала в игре более умело и яростно, чем Мандельштам. Я, разумеется, как настоящий арбитр, держала его сторону, если Ахматова вовремя меня не подкупала. В ранней статье Мандельштам назвал Ахматову «узкой осой». Наигравшись с ней в трамвайную игру, он поверил в силу ее зрения. Не потому ли в воронежском стихотворении он наделил осу особым зрением?.. Кузин недоумевал, почему Мандельштам ходит к нему в Зоологический музей, листает книги и читает про устройство зрения птиц, насекомых, ящериц, животных. Что ему до теменного зрачка ящерицы? Кузин, суровый специалист, пожимал плечами и недоумевал: каждое существо видит, как ему положено, Мандельштаму нечего в это вникать, об этом позаботятся биологи. Он ворчал, но в книгах не отказывал.

Пять чувств для Мандельштама были окном в мир, несравненным даром, дающим и знание и наслаждение. Осязание как будто редкое свойство у современного человека, а у Мандельштама и оно было резко развито, и мне казалось, что это признак какой-то особой физиологической одаренности. Встречаясь со мной после разлуки, хотя бы самой краткой, он закрывал глаза и, как слепой, проводил ладонью по моему лицу, слегка прощупывая его кончиками пальцев. Я дразнила его: «Глазам ты своим, что ли, не веришь!» Он отмалчивался, но на следующий раз повторялось то же самое. А дразнить его было незачем: и в стихах, и в прозе он всегда возвращался к чувству осязания. Кувшин принимает у него подлинную форму для осязающей ладони, которая чувствует его нагретость. У слепого зрячие пальцы, слух поэта «осязает» внутренний образ стихотворения, когда оно уже звучит, а слова еще не пришли. «Вспоминающий топот губ» флейтиста тоже осязательное ощущение, но не пальцев, а губ. Вспоминание (а не воспоминание) и узнавание основные двигатели поэзии, а «узнает» человек, осязая. В стихах о потерянном слове Мандельштам ищет его пальцами, да притом еще «зрячими». В одном из вариантов стихотворения слово стало «выпуклым» («как эту выпуклость и радость передать, когда сквозь слез нам слово улыбнется»). В окончательном тексте это превратилось в «выпуклую радость узнаванья», то есть в тот самый жест, который я заметила при встречах. Это и было осязание, выпуклая радость, способность кожи чувствовать, видеть и осязать. Меня, как и Цветаеву, при первой встрече поразила изощренная нежность Мандельштама, которую, кроме него, я ни у кого никогда не замечала.

При всей изощренности чувств Мандельштам никогда не забывал, что роль у них только служебная. В «Записных книжках» (то есть на клочках бумаги и в двух-трех уцелевших блокнотах) есть запись: «...пять чувств лишь вассалы, состоящие на феодальной службе у разумного, сознающего свои достоинства «я»«. В статье о девятнадцатом веке Мандельштам обвиняет эпоху рационализма в том, что она отвергла «источник света», исторически унаследованный от предков, и превратилась в «огромный циклопический глаз». У глаза не осталось «ничего, кроме зрения, пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет, любую эпоху»... Сила мыслящего «я» в способности к отбору, к выбору, правильность которого зависит от критерия, то есть от умения пользоваться источником света даже в такие эпохи, когда он еле мерцает из окружающего мрака и тяжелых выхлопных газов. Это свет во тьме, о котором писал Франк.

В стихотворении «Канцона» Мандельштам, привязанный к Москве, лишенный возможности путешествовать, пригвожденный к ограниченному пространству, искал способа вырваться на простор. Впоследствии — в Воронеже — он говорил, что смена времен года равносильна путешествию, но в Москве, живя в Старосадском, он нашел другой выход. Он решил в тысячи раз усилить зрение, чтобы увидеть даль. Удлиняет зрение особое устройство глаза хищной птицы, дающей ей огромный кругозор, а также простой полевой бинокль. На острове Севан, где мы жили за год до Старосадского, мы заметили, что стекла увеличивают интенсивность цвета, делая его, как я бы сказала, простым и наивным. Старик Хачатурьян, один из армянских ученых, встреченных нами на острове, радуясь своей игрушке, расхваливал непревзойденное качество биноклей Цейса. «Египтологи и нумизматы» — армянские ученые, с которыми мы встретились на Севане. Они со всех сторон земного шара съехались к себе на родину. Эти оказались настоящими европейцами и в гораздо большей степени походили на ученых, чем те, с которыми мы сталкивались в Москве, преимущественно в общежитиях и санаториях Цекубу. Подобный тип гуманитария был у нас уничтожен, а может, и всегда представлял редкостное явление. Мандельштам мне говорил, что семинар Тураева посещало всего два-три человека. Сейчас гуманитариями даже не пахнет, и среди них развилась толпа оголтелых женщин, гордящихся степенями и званиями, а также количеством непереваренной информации в черепной коробке. Женщины твердо знают всё, что знают. В других науках они поскромнее, да и мужчины там лучше. Во всяком случае, они несравненно человечнее, чем в период двадцатых годов. По ученому сословию метла мела без устали все пятьдесят лет, и начала она с гуманитарных наук. Вузы подвергались разгромам несчетное количество раз. Не увидал бы сейчас Мандельштам и нумизматов — они попробовали возродиться, но их прикончили: древняя деньга что-то вроде валюты и должна быть использована с пользой и разумом.

Ученые армянские старики обладали не только пространственным, но и временным, то есть историческим, зрением: они умели проникать взглядом в глубь времен. В мире уже заглохли все краски, но они еще не умерли на исторической армянской земле, гордой своими учеными стариками. За «Канцоной» пошли белые стихи, в которых Мандельштам снова назвал Москву буддийской, то есть неподвижной и внеисторической. «Египтологи и нумизматы», разглядывающие прошлое, могли проникнуть и в будущее, и в это Мандельштам твердо верил. Эту мысль он потом развил в «Разговоре о Данте»: мертвые в «Божественной комедии» плохо различают близкие предметы, но зато их глаз способен проникать в будущее, подобно тому, как птицы хищных пород беспомощны, разглядывая близкие предметы, но с высоты замечают каждую мелочь на своем громадном охотничьем участке. Мандельштам постоянно возвращался к вопросу об историческом зрении, и вопрос этот был очень важным для нашей эпохи, исказившей перспективу прошлого и занимавшейся на основании искаженных суждений о прошлом предсказанием будущего. В отказе Мандельштама считать себя современником тех, с кем он жил, огромную роль сыграло то, что люди, соседившие с нами во времени, совершенно потеряли самые элементарные представления о прошлом и непрерывно спекулировали предвосхищением будущего. Современники же в понимании Мандельштама это совместные «держатели времени» («Разговор о Данте»), которые видят события с одного ракурса и обладают общими критериями, потому что не отказались от прошлого. Не только Мандельштам, но и я глубоко чувствовала полную несоизмеримость с активным слоем моих случайных соседей по эпохе и по времени, а также с огромной толпой пассивных, но бешено бегущих за «победителями» безумцев. Мне и сейчас не по себе с людьми старших поколений, жившими в аккуратной надстройке над базисом, обсуждавшими прыжки и казни, социалистический реализм и прочие мудрости, вызывавшие улыбку хозяев. Ну их, проклятых стариков, к ляду... Сердиться на них нельзя — уж слишком они ничтожны, но запах тления, идущий от этой поросли, невыносим, бьет в нос и вызывает тошноту. Скажем прямо, раскулачивание произвело на меня гораздо большее впечатление, чем «список благодеяний», а к тому же все нынешние старики были активными врагами слова и мысли. Слова они не чувствовали, а мысли не понимали. Среди них водились талантливые бесы, умело игравшие словами, кадрами и черт знает чем. Совести они были начисто лишены.

Для разрядки мне хочется помянуть мельчайшего из бесенят, несчастного, оплеванного и до отвращения трусливого. Ахматова объявила его большим поэтом, и он по-настоящему — почти как бедняга Бродский — рыдал у нее на похоронах. Студенты математического факультета устроили вечер памяти Ахматовой и поручили организацию «большому поэту». Человек он, кстати, очень красивый, и смотреть на него на председательском месте было бы очень приятно, если б он не дрожал как осиновый лист. Кто-то из выступавших, кажется К. И.[26], прочел стихи Ахматовой: «А здесь, в глухом дыму пожара остаток юности губя, мы ни единого удара не отвратили от себя» — и сказал, что поразительно, как поэты чувствуют свое будущее и судьбу. Он заключил, что поэты обладают даром предчувствия. Тут же слово взял председатель и, дрожа, произнес: «Тут говорят о предчувствии будущего. Надо понимать, что это не какая-нибудь мистика, а научное предвиденье». Аудитория, умные математики, у которых должны хоть немного ворочаться мозги, чтобы одолеть этот факультет, ответили дружным смехом. Я потом узнала, что начальство, то есть декан, приказал поэту провести вечер поприличнее. Он так привык бояться начальства, что принял и декана за своего начальника. Так Ахматова истратила свой талон на красивого «большого» поэта.

Мандельштам назвал поэтическую материю пророческой, то есть прорывающейся в будущее. В «Канцоне» прозорливец получает свой дар видеть от псалмопевца. Наша эпоха доказала правоту Мандельштама: именно поэты не поддались гипнозу эпохи и так или иначе вступили с ней в конфликт. Настоящие, разумеется, а не получившие свое звание по талону.

Проникнуть в смысл событий можно, только обострив чувства. Нам дан этот мир и даны орудия познания. Весь вопрос в том, как пользуется ими человек: является ли он носителем мыслящего «я» и видит ли он огонек, который светит из тьмы.

---

[26] Кома Иванов. – *Примеч. Н. Я. Мандельштам.*

XI. Начальник евреев

«Чтобы зреньем напитать судьбы развязку», Мандельштам, еще не достигший сорокалетия, но уже близкий к концу, прикованный к Москве и тяготившийся неподвижностью (он плохо переносил вынужденную неподвижность камеру с запертой снаружи дверью, прописку, хотя бы она была в Москве или в Воронеже. Хоть бы мне умереть, не узнав, как я переношу тюремную камеру), дико рвался на юг и пробовал преодолеть пространство одной лишь силой зрения. Неудивительно, что в стихотворении, возникшем на зрительном порыве, названы различные цвета: малиновая ласка, до оскомины зеленая долина, красная и желтая краски, еще не заглохшие в остановленном и принудительно неподвижном, застывшем мире. В свое время я приняла всю цветовую нагрузку как должное и не задумалась над ней. И. М. Семенко обратила мое внимание на реминисценцию из Крылова («до оскомины зеленая долина»). Всем известно, что такое «зелен виноград», которым лисица как бы сознательно пренебрегает, чтобы не набить себе оскомину. Мандельштам, вырвавшийся на простор и увидавший недоступную долину, сам над собой посмеялся и вспомнил Крылова. Мы-то хорошо знали, что никуда вырваться нельзя. (Не мешало бы пересчитать случаи, когда Мандельштам жалуется на свою привязанность к месту.) Это относится не только к периоду ссылки — она только завершила общую тенденцию привязывать человека к месту. Парадоксально, но эпоха, ознаменованная огромными перемещениями людей — в лагеря, в ссылки и добровольными — в поисках куска хлеба, в то же время закрепляла благополучный слой за определенным местом —

не только географическим пространством, но еще жилплощадью, от которой не уйти ни на шаг. В одном из анекдотов мы сравнивались с кораблем: кругом пучина — деваться некуда. Я думаю, что паровозы Платонова тоже вожделенный знак движения для человека, пораженного принудительным столбняком. Прикрепление к земле — особенность русской истории и жизни в сочетании с бродяжничеством. Не потому ли так страшен бунт колодников, что, сорвавшись с таким трудом с места, они, разучившиеся управлять своими движениями, беснуются и рушат вокруг себя все, что попадает под руку...

Та же И. М. Семенко спросила меня, откуда цветовой эпитет в строчке: «Я скажу «села» начальнику евреев за его *малиновую* ласку». Часто, читая стихи, мы пропускаем смысловые единицы и столь же часто объявляем стихи непонятными, потому что привыкли к разжеванному корму и обладаем убогим запасом представлений, точнее, знаков культуры. Хуже того — все наши знания носят самый общий расплывчатый характер, лишены конкретности и особых примет, как и глубинного смысла. Из всего великого наследства в умах застряло несколько имен и дюжина анекдотов, до отвращения приблизительно соотнесенных с эпохой и с внутренним содержанием. Во всем остальном «и цвет и вкус пространство потеряло», и нам их не вернуть, потому что от наследства мы отказались сами. Мне попалась заметка, в которой образованный филолог раскрывает смысл стихотворения Хлебникова, путешествующего на слоне, составленном из дев, как некий индийский бог на картинке или на барельефе. Филолог объясняет, что Хлебников, как и Мандельштам, только кажутся непонятными. Если вдуматься, всегда найдется ключ для объяснения. При встрече с филологом я мельком сказала, что «ключи» к стихам не нужны, потому что они не запечатанные ларцы. Думая о стихах, надо отвечать не на вопрос «о чем?», а на вопрос «для чего?» или «зачем?». Стихотворение воспринимается как целое, когда смысл и слова неразделимы, а позже раскрываются мелкие подробности, детали, углубляющие основной смысл. Если же читатель не видит целостного смысла — с одного или двух чтений, — то не лучше ли ему перейти на более доступное чтение и отложить книгу стихов? Я допускаю повторные чтения, потому что весь путь поэта и цельные книги помогают понять отдельные стихи и строчки. Когда раскрыт весь поэт, открываются отдельные этапы и, наконец, происходит проникновение в отдельное слово, которое было «потеряно», упущено читателем, а затем выступило в осязаемой выпуклости. Это и называется «понимающим исполнением». Ленивые читатели обойдутся поэтами типа Гейне, из-за которого Тынянов так примитивно понял целостность формы, именуемой «книга». Он заметил, что у Гейне каждое стихотворение играет ту же роль, что глава в романе. Не лучше ли в таком случае читать роман — там главы действительно главы...

Что же касается до деталей, настоящий хороший читатель никогда их не упускает. Меня когда-то научил читать мой отец случайным как будто вопросом. Он спросил, из какой материи был сшит фрак у Чичикова. Для отца, как и для автора, это была живая портретная деталь, клеймо эпохи и точное определение (аналитическое) полущеголя, запечатлевшего свою душу в костюме. Сказочник Хлебников всегда мечтал стать богом языческих мифов, молодым и прекрасным, как все «язычники» по сведеньям невежественной эпохи, вокруг которого вьются сонмы отвлеченно дивных дев. Тема повторяется в стихах, пьесах, драматических отрывках. Это видение странника и аскета, мечтавшего о соблазнах. (Какие дураки приняли сказки и мечты за эпос?) Непонятность Хлебникова и Мандельштама абсолютно разная, диаметрально противоположные явления. И светочи у них разные, и фраки, которых ни у того, ни у другого не было, сшиты из разной материи. Это не значит, что один поэт лучше, другой хуже. Оба имеют право на существование, а ни на что другое поэт не должен и не может претендовать. Поэтам ничего больше и не нужно. Вымеряют рост поэтов не они сами, а прихлебатели. Сопоставлять поэтов следует по знакам соизмеримости, а не по бурчанию ленивых читателей, которым я рекомендую переходить на романы (лучше всего — детективные). Стихи не викторина и не загадка, имеющая отгадку. И у каждого поэта есть свой мир и своя внутренняя идея или тема, которая строит его как человека. Стихи не случайность, а ядро человека, который отношением к слову стал поэтом.

Вопрос Семенко о «малиновой ласке» заставил меня призадуматься. Почти случайно я натолкнулась на некоторые смысловые уточнения, характеризующие скорее внутренний импульс, чем ставшее стихотворение. Комментарии к стихам, по-моему, излишняя роскошь, но человек — существо противоречивое, и я решила записать кое-что из найденного мною.

Когда Мандельштам писал «Канцону», он не переставал мечтать об Армении, которую назвал «страной субботней». Уже через один Арарат она связывается с Библией и с праотцами: чем не «младшая сестра земли иудейской»? Мандельштам жаловался, что «был возвращен насильно» в «буддийскую Москву», и то и дело вспоминал «сто дней» (на самом деле их было почти полтораста, но в ста днях есть крушение надежд), проведенных в Армении. Пейзаж в «Канцоне» — «край небритых гор», то есть поросших невысокой растительностью, — мог бы сойти за армянский, если бы не «до оскомины зеленая долина». Даже альпийские луга не дают яркой зелени высокогорные, они всегда сероватые — особенно в сухом воздухе Закавказья. Яркие долины принадлежат влажному климату, а в Армении «кротовое поле, как будто с издевательской целью засеянное каменными зубьями», «красная пыль араратской долины» и «кругом глазам не хватает соли. Ловишь формы и краски, и все это опресноки»... Любопытно, что речь идет о зрительных ощущениях, а соли приписана та роль, которую она играет во вкусовых. Это не перенос ощущений, а, скорее, нечто вроде синтеза. Вероятно, и в стихах, и в прозе можно обнаружить, как одно из чувств вызывает к действию остальные. Настороженность внутреннего слуха пробуждает осязание, зрительные ощущения обостряют обоняние... Весь чувственный аппарат отвечает на любое раздражение совместным откликом.

Пейзаж в «Канцоне» не армянский, а, скорее, обобщенно средиземноморский и в значительной степени ландшафт мечты. Мандельштам говорил, что в народных сказках люди, никогда не видевшие моря, представляют его себе как воплощение синевы, а гору — такой, как Арарат: чистый конус с хорошо обрисованной подошвой и ровной вершиной в белой шапке. (Даже Арарат вызывает страшные представления: он носил в дни нашей жизни в Эривани огневой пояс. Турки загоняли курдов на снежную вершину горы, по мере подъема сжигая кустарник, чтобы они не прорвались вниз. Хорошо было Ною на земле без людей — спасся на Арарате... Курды в Джульфе пробовали спастись вплавь и бросались в реку, но с нашей стороны пограничники открывали огонь. Всюду огонь... Курды в первой четверти века перебили армян, а во второй четверти были сами перебиты хозяином, пославшим их на убийство. Всегда одно и то же...)

В «Канцоне» Мандельштам назвал страну, куда он рвался. Он ждал встречи с «начальником евреев». Следовательно, умозрительное путешествие совершается в обетованную страну. Проникнуть в нее можно только через «край небритых гор», и цветовые взрывы начинаются только после встречи с «начальником евреев», которому он скажет библейское «села» в ответ на «малиновую ласку». Мандельштам помнил о древности евреев и назвал их племенем пастухов, патриархов и царей. Царям положено носить пурпур, и это одно из объяснений цветового эпитета. Из теплых красных выбран малиновый, потому что в русском языке он имеет положительную окраску: «малиновый звон», «не жизнь, а малина» (этому не противоречит употребление этого выражения в горько-ироническом смысле: «Что ни казнь у него, то малина»). Таковы не основные, а дополнительные оправдания эпитета. Я расспрашивала знатоков, нет ли какой-нибудь красной оторочки на еврейской ритуальной одежде, но ее не оказалось. Даже одежда Иосифа была не красной, а разноцветной... Только случай навел меня на догадку, почему ласка представилась Мандельштаму окрашенной в теплые красные тона, и случай этот связан с рассказом Е. С. Ласкиной.

Отец Жени, маленький, вернее, мельчайший коммерсант, растил трех дочерей и торговал селедкой. Революция была для него неслыханным счастьем евреев уравняли в правах, и он возмечтал об образовании для своих умненьких девочек. Объявили нэп, и он в него поверил. Чтобы лучше кормить дочек, он попробовал снова заняться селедочным делом и попал в лишенцы, потому что не смог уплатить налога. Вероятно, он тоже считал на счетах, как спасти семью. Сослали его в Нарым, что ли. Ни тюрьма — он попал в период, когда, «изымая ценности», начали применять «новые методы», то есть пытки без примитивного битья, — ни ссылка его не сломили. Из первой ссылки он прислал жене письмо такой душераздирающей нежности, что мать и три дочери решили никому постороннему его не показывать. Жизнь прошла в ссылках и возвращениях, потом начались несчастья с дочерьми и зятьями. Дочери жили своей жизнью, теряли мужей в ссылках и лагерях, сами погибали и воскресали. История семьи дает всю сумму типических советских биографий, только в центре стоит отец, который старел, но не менялся. В нем воплотились высокая еврейская святость, таинственная духовность и доброта — все качества, которые освящали Иова. (Не к таким ли старцам ходил в юности Гёте разговаривать о Библии?) Блаженно чистый отец, сейчас восьмидесятилетний старец, именно старец, а не старик, никого в жизни не осудил и ни разу не возроптал на судьбу. Он излучает блаженную доброту и доживает, окруженный всеми, кто когда-либо соприкоснулся с ним и приобщился его благодати. Где-то на Пречистенке, сейчас улице Кропоткина, живет в коммунальной квартире патриарх, торговец селедкой, служивший до последних дней экспертом по селедочному делу в торговой сети, Иов, неоднократно терявший, но, к счастью, сохранивший детей и лаской встречающий всякого пришлеца. «У него добрые руки», — сказала дочь, и я вспомнила, в какой связи Мандельштам произнес именно эти слова. Живя в Ленинграде, мы постоянно ходили в Эрмитаж и первым делом навещали рембрандтовского старца, протянувшего руки к коленопреклоненному сыну... И как-то Мандельштам сказал то, что я потом услышала от Жени Ласкиной: «У него добрые руки». Я никогда не видела отца Жени Ласкиной, но он принял образ того, кто лаской встретил блудного сына. В дни, когда жил Рембрандт, было больше святых еврейских стариков, чем в наши суетные дни. Это они, старики, подсказали ему образ отца, протянувшего добрые руки к сыну.

В тот же вечер я позвонила Ирине Семенко и попросила посмотреть, как распределяются теплые тона на картине Рембрандта. Вот что она записала для меня: «На отце красная накидка (не оторочка, как я думала). От нее исходит как бы красный отсвет и падает на его рот и голову сына, даже на тело сына, просвечивающее сквозь дыры, на все складки его одежды, на все, вплоть до босых ступней, тоже красных.

Красный свет падает на «стоящего свидетеля» его плащ красен не столько оттого, что он сделан из красной материи, а скорее потому, что вся фигура озарена светом внутреннего источника, находящегося в глубине композиции. «Сидящий свидетель» уже буквально имеет вид греющегося у костра и освещенного его пламенем...»

Красный, теплый колорит «Блудного сына» прочно вошел в сознание Мандельштама, гораздо более внимательного и зоркого, чем обычные рассеянные и равнодушные посетители музеев. Доброта всепрощающего отца и сила раскаяния блудного сына воплотились в его памяти в красное сияние, которое исходит от отца как благодать. Тема блудного сына в «Канцоне» совершенно ясна, хотя он не назван. Теплая тональность идет от Рембрандта. Мандельштам доверился читателю, потому что думал, что все запомнили торжество теплых тонов на картине Рембрандта. Он был уверен, что его память и зоркость явление обычное и свойственное всем людям. Однако это не так — глубинной памятью и вниманием одарены далеко не все. Мало кто держит в памяти то, что заметил и чему обрадовался. Обычно все улетучивается, а Мандельштам прочно хранил свои сокровища. Вот хотя бы случай с клешнями в стихотворении Жуковского о Кащее, прочитанном в детстве, претерпевшими сдвиг: клешни сдвинулись в клещи, которыми Кащей трогает гвозди. Здесь обычная для Мандельштама перестановка, но не эпитета, как обычно, а функции предмета: клещами вытягивают гвозди, а не трогают камни. Но в словах «щиплет золото гвоздей» дано зрительное представление о первом движении перед вытягиванием гвоздя, когда клещи защепляют его... Мандельштам, в детстве собиравший гвозди и назвавший их «колючим сокровищем», вынудил собирателя кладов Кащея разделить свою детскую страсть.

В памяти строителя всегда хранятся элементы, из которых строили его предшественники, их находки, символы, знаки...

Именно так осуществляется «разговор, заведенный до нас», как назвал Пастернак перекличку поэтов, не знающих ни временных, ни пространственных ограничений. Знаки и элементы, перестраиваясь, способствуют выявлению личностных ощущений, мыслей, чувств и переживаний строителя. Ведь и само слово не что иное, как сгусток смыслов, влагавшихся в него всеми поколениями, говорившими на данном языке, и еще и теми, которые вросли в слово в период, когда язык еще не отделился от праязыковой основы. Теплый тон «Блудного сына» стал для Мандельштама воплощением возврата в отчий дом. Стихотворение это принадлежит к группе отщепенских стихов, но в явно другом повороте, чем другие. Человек не может поверить, что его отщепенство, бродяжничество, изгойство неизбежны, как рок. И он сознает себя блудным сыном лишь в тех случаях, когда не теряет веры на встречу с Отцом.

Остается вопрос, кто же «начальник евреев», к которому припадает блудный сын, собиравший ночные травы для чужого племени. Тот ли это Отец, о котором говорится в притче, или тема Мандельштама — возвращение к своему народу, жажда Иосифа повидать своего отца Иакова. Мандельштам ведь всегда помнил об египетском тезке, в честь которого был назван: «Иосиф, проданный в Египет, не мог сильнее тосковать», — сказал он про себя. Я думаю, что конкретность мышления Мандельштама была такова, что обе темы — национальная и религиозная — слились. Возвращение к своему народу из мира, который забыл про светоч, означает и возвращение к Богу отцов, который послал людям своего Сына. К возвращению в отчий дом его побуждает христианская притча. Первоначальная общность иудейско-христианского мира для Мандельштама, искавшего «ключи и рубища апостольских церквей», гораздо ощутимее, чем последующее разделение. В христианско-иудейском мире, скрестившемся с эллинской культурой, он видит Средиземноморье, к которому всегда стремился. К иудейству, к «начальнику евреев», он рвется не по зову крови, а как к истоку европейских мыслей и представлений, в которых черпала силу поэзия.

В стихотворении «Канцона» есть черты, которые показывают, что и в нем звучит подспудно тема смерти (поэзия и философия![27]). Земное зрение ограничено, пространственное разделение непреодолимо, как время. Только смерть — выход из пространства и времени. У Мандельштама мысль о смерти часто связывается с преодолением пространственных и временных ограничений: «Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит...» В церкви молят об остановке времени и о прекрасной луговине, а меня мучит мысль о слове, о цвете и свете: какими они будут на той луговине? Или мы их навеки утратим вместе со словом «ты»?

Живой блудный сын придет к отцу, который устроит для него пир, и он уже не скажет: «Я лишился и чаши на пире отцов». Мертвый, он припадет к Отцу на той луговине, о которой поется при отпевании, и будет молить о прощении грехов. Для человека, любившего «эту бедную землю», а Мандельштам ее любил, потому что «иной не видал», та луговина представляется воплощением всех лугов и долин земли с самой яркой и зеленой травой, которая мерещится городскому жителю, прикрепленному к месту жительства, когда он тоскует весной по земле, одетой в чудный наряд, в самую яркую и зеленую траву, еще не иссохшую и не покрытую пылью земной, еще не погубленную простыми или атомными бомбами. Чем конкретнее мышление, тем ярче трава на той луговине, где «время не течет» и где мгновение, остановившись, стало вечностью.

---

[27] *Первоначально было*: поэзия, как и философия, есть подготовка к смерти.

Такова общая концепция «Канцоны», «модель», как сказали бы мои младшие современники, «слепок», как называл первоначальное ощущение целого Мандельштам. «Канцону» ведет порыв к преодолению пространства и времени, жажда блудного сына вернуться в дом отца еще при жизни, надежда на исполнение мечты и голос трезвого рассудка, который при виде яркой зелени напоминает про басню о лисице и винограде.

Стихи не рассказ и не отчет. Читатель берет в них ту глубину, на которую способен. Вести его за руку не надо. Человек, живущий в европейском мире, впитывает его идеи, живет их содержанием и богатством, проникает в глубь сокровищницы. (Недавно у нас клеймили китайцев за то, что они не забыли Конфуция. Думаю, было бы полбеды, если б они его помнили. У нас премируют за потерю памяти и казнят, если человек обнаруживает памятливость. Идеи, заложенные в фундамент европейской культуры и христианского мира, составляют клад, как и словарь языка, на котором говорит человек. Он орудует идеями, мыслями и соотношениями, как наследственными сокровищами. Его пытаются ограничить «основным словарным фондом» и рационалистическими идейками, процеженными сквозь идеологическое сито. Идейки были сформированы на обломках гуманизма во второй половине девятнадцатого века. В результате секуляризации этот гуманизм пошел по рукам и был вывернут наизнанку в двадцатом веке.)

Если не вернуться к истокам, никогда не понять, что такое луговина, где время стало созерцанием вечности. И малые вещи: добрые руки рембрандтовского старика, тоска по возвращению в отчий дом, малиновый звон, бинокль Цейса, удлиняющий зрение, басня о лисице и винограде — все это европейская, а следовательно, и русская утварь. Их возникновение в стихах закономерно, как счет на золотую валюту. У кого нет золота, расплачивается ходячими бумажками. Ассоциациями, даже не подсознательными, а иногда и такими, это кажется только тем, кто лишен золотого фонда. Некоторым сочинителям стихи Мандельштама кажутся таинственными сгустками, которые необходимо расшифровать, подобрав дюжину ключиков. Этим сочинителям обычно «чужд и странен Вифлеем», но его не заменить ключиками. Чтобы понимать стихи, нужны не ключи, но ощущение целого, которое постепенно углубится, и тогда раскроются детали. Слово «малиновый» дойдет сначала в своей положительной фольклорно-языковой окраске, чтобы потом раскрыться как теплота и отсветы от внутреннего источника света на эрмитажной картине. Все дело во внутреннем источнике света. Только в нем, и ни в чем больше.

Назидательная история

В поезде человек чувствует себя странником, незнакомцем и нередко рассказывает случайным спутникам вещи, о которых не посмел бы заикнуться дома или на службе, в привычной и стабильной среде[28]. Начальство, разумеется, посылает агентов для улавливания подобных разговоров. К Эренбургу однажды обратилась женщина с просьбой о помощи: она работала на железных дорогах и доставила в органы порядка немало ценной информации, между тем ее сократили, не зачтя в стаж пятнадцать лет трудовой деятельности. Она заверила Эренбурга, что работала безупречно и что по ее рапортам было поднято немало дел. Эренбург осведомился, почему она обращается именно к нему, и получил ответ: «Потому что вы за справедливость...» Ей было под сорок лет, и она уже думала о пенсии. Эренбург за справедливость не вступился, но я убеждена, что агент в юбке своего добилась. Ее, верно, пристроили и держат под паром до следующей волны террора, или она делится опытом с новичками. Ценные работники зря у нас не пропадают.

Все же обыкновенных людей больше, чем штатных и нештатных агентов, и задушевные разговоры в поездах продолжались даже в самое страшное время. Кое-что пришлось услышать и мне, но сейчас я хочу записать рассказ, услышанный братом Фриды Вигдоровой в райские, с нашей точки зрения, дни через несколько лет после массовых реабилитаций. Фрида и ее брат умерли почти одновременно, и я боюсь, что они не успели записать исповедь железнодорожного спутника, а ей пропадать не следует. Она отличается от исповедей такого рода полным отсутствием украшательства и самооправдания. Я выслушала тысячи рассказов на ту же тему, но рассказчик всегда преследовал одну цель — доказать себе и своему слушателю, что он с честью вышел из невыносимого положения и взял верх над тем, кто на него наседал. (Вариант сказал и сделал только то, что было неизбежно.) Не надо упрощать душевного состояния рассказчиков — они не лгали и не подтасовывали факты, а просто снова и снова перебирали события, которые отравили им жизнь, и спрашивали себя, не лучше ли было сразу покончить с надругательством и обречь себя на медленную смерть в лагерях и в пересыльных тюрьмах. Многие так и делали, но они уже ничего рассказать не смогли. Те же, кому удалось спастись, старались оправдать себя и мучительно перебирали каждое сказанное слово, нельзя ли было избежать этого слова, не было ли оно ошибкой, все ли сделано по совести. В такие разговоры пускался не каждый, а только люди, пережившие события как нравственную катастрофу. Они были, разумеется, в меньшинстве. Несчастье заключалось в том, что в первые встречи «на частной квартире» они не отдавали себе отчета, что навсегда и безвозвратно попадают в лапы к пресловутому учреждению. Менялись названия учреждения, уничтожали руководителей и средний состав, но имя явившегося по вызову и поддавшегося угрозам сохранялось в делах, и новый начальник, познакомившись с бумагами и документами, снимал телефонную трубку, и все начиналось сначала. Кое-кто говорил мне, что его потаскали, а потом забыли, но почти всех спасала только смерть.

---

[28] *Первоначально было*: Фридин брат разговорился в вагоне со случайным спутником, и тот поведал ему «историю своей жизни». Так говорят в народе, когда жалуются на свои беды, реальные или мнимые. В поездах часто слышишь вещи, о которых не смеют заикнуться ни дома, ни на службе. Сказал же мне парень, что ушел с «той» работы, потому что не в силах был вершить человеческие судьбы: «Шут с ней, с зарплатой, обойдемся... Ведь раньше-то ни сна, ни жизни... Еле вырвался...» И я узнала, что «душа не позволяла» моему спутнику выполнять «тот план»...

Спутник Фридиного брата принадлежал к «ровесникам Октября», новому племени, которое совершенно иначе, не по-интеллигентски, относилось к подобным вызовам. Добрые учительницы, кончившие двухгодичные курсы Ушинского, оплакивали Катерину из «Грозы», луч света в темном царстве, и воспитывали детей по системе Макаренко. Они внушали, что лучший способ помочь товарищу — сообщить о его колебаниях, сомнениях и поступках по начальству: классному руководителю, директору или завучу, пока он в школе, а потом — куда следует. В 38 году я очутилась учительницей школы и увидела, как старшеклассники, подтянутые, умные, серьезные и до ужаса невежественные, внимательно следят друг за другом и еще внимательнее за мной, как им поручило начальство. От меня слежку не скрывали — директор и завуч то и дело повторяли какую-нибудь фразу, сказанную в классе, давая понять, что надо мной есть бдительное око. Я ходила по классу — от доски к столу и между парт, чувствуя, как школьники, не поворачивая головы и только скашивая глаза, непрерывно следят за мной. Иным этот взгляд был присущ по семейным традициям, а другие просто подражали людям ведущей профессии и счастливым товарищам из железной когорты. Если б я хоть на секунду заговорила не на казенном, а на своем языке, любой из них, не задумавшись, отправил бы меня на лесоповал. Во время войны такой систематической слежки я не замечала. Вместо стопроцентной всеобщности и единства вроде как начиналось нормальное стукачество. Это была первая трещина в обработке масс.

Мальчики с косящими глазами были по-своему доброжелательными и славными людьми. Они явились скопом, когда я эвакуировалась, на пристань и перетащили меня и мать мою, а также кучу чемоданов на палубу прямо через борт, а не по сходням, где шло настоящее побоище. Они всегда были готовы «к труду и обороне» и сознательно пришли на помощь «старшему товарищу». Их поколение почти целиком легло на войне. Почти все еще в школе стали членами аэроклуба, а потом — сталинскими соколами. Кто из них уцелел и что делается в их бедных головах? Этому поколению особенно трудно осмыслить события последних десятилетий. Самиздат они не читают, как не читали ни одной из книг, рекомендованных добрыми воспитателями[29].

Вот с таким человеком встретился брат Фриды и услышал, как он попал в яму, которую вырыло себе его поколение. В первый раз он получил вызов в соответствующую инстанцию на фронте, в последний год войны. Ему задали несколько вопросов относительно одного из сослуживцев, и он ответил на них без всяких колебаний. Хоть он и пришел по вызову, его можно причислить к отряду добровольцев, потому что он разговаривал охотно и откровенно, как привык говорить с классным руководителем о грешках своих одноклассников. Он охотно принял предложение о сотрудничестве и подписал бумажку о неразглашении тайн. В некотором роде он был даже польщен оказанным ему доверием. Ему поручили за кем-то понаблюдать и сообщить о своих наблюдениях. Он это неукоснительно проделал. Речь шла об упаднических настроениях, и ему удалось подтвердить, что они налицо. Потом исчез первый из порученных ему парней. Ему сказали, что он переведен в другую роту. Сначала он поверил в другую роту, но исчезновения продолжались, и постепенно идеальный советский юноша начал понимать, что происходит. Мало того, вокруг него образовалась пустота: товарищи тоже сообразили, в чем дело, и отступились. На фронте дружба значила очень много — это был первый прорыв могучего единомыслия. К счастью, его вскоре демобилизовали, и он вернулся в родной город.

---

[29] *Далее следовало*: В герое повести «Случай на станции Кречетовка» я узнаю моих бдительных учеников первого призыва. Автор хорошо знал своих современников – он с ними учился, воевал, а кое с кем столкнулся и в лагере. Эта повесть – блестящий документ эпохи и портретна в каждой детали. Я заверяю, что мои школьные отличники поступили бы точно так, как герой этой повести, который отвел к чекистам человека, показавшегося ему подозрительным, потому что не знал, что Царицын переименован в Сталинград. В повести не сказано, сколько лет получил этот ротозей. Надеюсь, что не вышку, а только десять...

Армию он покинул с чувством глубокого облегчения и радостно вошел в новую жизнь. Прошло несколько месяцев — обычная канцелярская волокита, — и его неожиданно пригласили прийти в такой-то час по указанному адресу. Приглашение передал сослуживец, и говорил он железным голосом. У получившего приглашение сразу защемило сердце, хотя адрес был самый обыкновенный, отнюдь не учрежденческий. Несколько часов его продержали в передней в ожидании разговора, а затем предложили приступить к прежней деятельности. Энтузиазм давно остыл, но осталась привычка к повиновению, взлелеянная в школе и в армии. В родном городе все повторилось как по писаному: снова начали исчезать люди, с которыми у него был разговор по душам, но уже нельзя было утешаться мыслью, что их перевели в другую роту. Друзья снова стали уклоняться от встреч, хотя в обращении с ним сохраняли полную и даже несколько преувеличенную вежливость. Говорили с ним, как правило, казенным языком и в откровенность не пускались. Он решил, что так продолжаться не может. Изоляция в родном городе еще ощутимее, чем в армии. Он завербовался на окраину, сложил вещи и уехал. Несколько недель или месяцев прошли спокойно, затем снова последовал вызов на «частную квартиру». У Кафки рассказано, как человек стоит у телефона, слушает звонки и не смеет снять трубку. Это чувство знакомо многим советским людям, и о нем рассказывал Фридиному брату железнодорожный спутник, никогда Кафку не читавший, но получавший иногда вызовы по телефону.

Рассказчик напрасно менял города и службы — после короткой передышки «дело» догоняло его и он получал вызов по новому адресу и прежнее задание. Наконец, с ним случилось то, что постигало толпы людей: его арестовали, и он получил десять лет по доносу сослуживца. Арест и тюрьма, которых все так боялись, ему принесли только облегчение. Он надеялся порвать с прежней жизнью и потеряться в толпе бесчисленных лагерников. Первый год в лагере он чувствовал себя счастливцем, но второй год принес неожиданность: его вызвали к оперу и приказали доносить о членах бригады и о тех, кто ютился с ним в одном бараке.

Полного срока он не отсидел. В период массовых реабилитаций его выпустили. На родину он возвращаться не захотел, потому что там догадались о его второй профессии. Он выбрал провинциальный городок, снимал «углы», устроился на службу и хлопотал, как реабилитированный, о жилплощади. Он твердо верил, что началась новая жизнь, и потому женился, чего раньше позволить себе не мог. Невесте он поведал свою печальную историю, и она ему посочувствовала. Жилплощадь ему предоставили раньше, чем он ожидал: одну комнату в двухкомнатной квартире в новом доме со всеми удобствами. При Хрущеве началось огромное строительство жилых домов. Вручая ему ордер, его предупредили, чтобы он не вздумал менять замка от выходной двери. Во вторую комнату ввезли кабинетную мебель казенного типа и дверь оставили незапертой. В этой комнате изредка появляется человек в штатском и принимает одного или двух посетителей, которые никогда друг с другом не сталкиваются. Большей частью это происходит, когда муж и жена на службе. Они узнают о таинственной жизни, протекающей во второй комнате, которая стоит незапертой, по косвенным признакам: следы на полу, окурки в пепельнице. Числится эта комната, как выяснилось, за супругами, и человек в штатском предложил им поддерживать в ней чистоту. Они убирают ее не менее тщательно, чем свою. Муж по опыту знает, что происходит в подобных «частных квартирах», и мучительно переживает навязанное ему соседство. Жена относится ко всему гораздо спокойнее. Оба понимают, что переезд в другой город не спасет их, но менять комнату они пробовали. Им хотелось поселиться в густо заселенной коммунальной квартире, но мужа вызвали по «частному адресу» и обмен запретили. Детей заводить он не хочет, и жена огорчается: что за семья без детей!

Итак, молодой военный счел за честь сделанное ему предложение и попал на всю жизнь в кабалу. Далеко не каждый, втянутый в подобную воронку, сознает, что его деятельность направлена во вред людям, и тяготится своим положением. Большинство отравлено прошлой эпохой и продолжает жить по ее законам. Они без отвращения убирают «вторую комнату» и пользуются крохотными привилегиями по службе, которыми их награждают за послушание и безропотность. Многие из этого поколения, вернувшись с войны, были вычеркнуты из списка внештатных сотрудников, потому что весь аппарат подвергся омоложению, но они по собственной инициативе продолжают писать доносы и огорчаются, что они потеряли действенность. В Пскове я снимала частную комнату в коммунальной квартире и в дни получек слушала, как сосед, бывший партизан, ставший штукатуром, бушует, напившись, в коридоре и проклинает Хрущева. Он обвиняет его в падении нравов, потому что ни один донос на «проклятых власовцев», затаившихся в той же квартире, не был принят во внимание. Штукатур, расположившись на кухне, подносит чарку десятилетнему сыну: «Пей, сынок, из отцовской руки. С чужими не пей — они все бандиты...» Он рассказывает сыну, как с юных лет боролся с врагами народа, и они вместе пьют за славное прошлое и за вождя, который сразу после войны дал партизану роскошное жилье — шестнадцатиметровую комнату в доме, построенном военнопленными.

В этой квартире живут отборные граждане, и они, несомненно, пишут доносы на буйного штукатура.

Жена штукатура, родом из раскулаченных, в юности спаслась в городе, где пристроилась домработницей в партийную семью. Хозяин оказался «вредным элементом», и ей предложили за ним приглядывать. За услуги после уничтожения «вредной семьи» ей помогли «выдвинуться», назначив подавальщицей в самой закрытой столовой города. Во время оккупации она служила при немцах в офицерской столовой и, должно быть, осуществляла связь с партизанами, потому что именно тогда познакомилась с будущим штукатуром. Когда мы жили вместе, она была не у дел по болезни и подрабатывала у меня, помогая по хозяйству. Целую зиму она преданно служила мне, а весной, когда потянуло свежим ветром, не выдержала и донесла в милицию, что я живу без прописки, а моя хозяйка, «бывшая власовка», спекулирует комнатой. Она надеялась, что мою хозяйку выселят, а меня пропишут и тем самым обеспечат ей вечный заработок. Когда оказалось, что выехала я, а не «власовка», слезам и раскаянию не было предела. Слезы перемежались с жалобами, что ее перестали пускать в учреждение, где она служила подавальщицей, не то она бы добилась моей прописки и уничтожения всех врагов.

Псковские соседи — обычный и нормальный случай. Привычка к доносам так привилась, что они не могут не доносить даже во вред себе. Только они на десяток лет старше дорожного спутника, открывшегося брату Фриды. Он принадлежит к поколению, которое на войне несколько поколебалось, узнав цену истинной дружбе. Среди этого поколения как будто впервые появились тревожные и совестливые люди. Их очень мало, но они есть. Впрочем, в случае с жильцом двухкомнатной квартиры, может, сыграла роль какая-нибудь неизвестная бабушка, внушавшая внуку, что нельзя вредить людям. Полузабытая и вытесненная учителями и начальниками, она пришла во сне и пробудила в юноше совесть. Я передаю рассказ, полученный мною из вторых, точнее, из третьих рук, поэтому углубить его не могу. Надо подождать, может, он сам откликнется и напишет свою исповедь. Шансы на это ничтожные, но бывают и чудеса... Кто его знает, кто еще заговорит и что расскажет... За последнее десятилетие выяснилось, что тайное становится явным и даже мертвецы иногда обретают голос. Для этого нужно только время — десяток лет или еще полстолетия, а то и столетие. Никто не знает сколько, но многие запаслись терпением и ждут. И я жду, хотя знаю, что ничего больше не дождусь. То, что должно было раскрыться, уже раскрылось. Слишком мало, жалкие крохи, но все же они прорвали безмолвие и вырвались наружу. Вся наша жизнь прошла в твердой уверенности, что все останется запечатанным и никогда не откроется. Этого не случилось.

А кто, собственно, будет говорить? Поколение Мандельштама уже ушло, от моего остались отдельные безумцы, которые кряхтят и ходят по врачам. Те, на кого доносил штукатур, уже на пенсии. Они обрели мир и играют в домино. Вагонный спутник из двухкомнатной квартиры уже хватается за сердце и ждет инфаркта. Молодые ничего не знают и знать не хотят. Когда начнется следующий тур, они будут удивляться, как это случилось. Часть молодых учится затыкать чужие рты кляпом, другая часть скоро научится молчать. На этом все кончится.

Полная отставка

У меня был приятель, который не дождался полного омоложения кадров, потому что решил выйти в безоговорочную отставку. Врачи предупреждали его, что он ведет губительный образ жизни, но он только посмеивался. После тридцати почти лет вызовов на «частную квартиру», расспросов и разговоров «по душам» он буквально заточил себя в собственной комнате, курил одну за другой крепчайшие папиросы, неподвижно, тяжелой глыбой, сидел за письменным столом и занимался механическими расчетами, лишь бы занять мозги и забыться. Венозные ноги стали как кувалды, но он сознательно шел на медленное самоубийство и продолжал отсиживаться в кресле, накапливая к вечеру груду окурков в громадной пепельнице.

Из дому он не выходил. Когда становилось невмочь, раз-два в месяц он выбирался на улицу среди ночи и жадно вдыхал городской воздух. В поздние ночные часы, по его мнению, на улице было безопасно: он не рисковал встретить людей «оттуда» и получить очередной вызов. Сидя дома, он считался больным и действительно был болен. По телефону он отвечал, что болен и никого видеть не может. Он жил на припасенные заранее деньги и продолжал дома работать по договорам, разрабатывая какие-то проекты, чтобы не растратить всех запасов и оставить жене на дожитие. Он при жизни смотрел на нее как на свою будущую вдову и тщательно подсчитывал — без счетов, сколько ей нужно денег, если она получит за него пенсию, конечно, недостаточную, и будет прибавлять из запасов. Он учитывал, что она может прожить десять, пятнадцать и даже двадцать лет, потому что ее семье свойственно долголетие. Деньги оказались более или менее устойчивыми, и пока у вдовы все в порядке, хотя она пережила мужа почти на двадцать лет.

Однажды я зашла к нему в отсутствие жены, и он рассказал мне про свои сношения с тем миром. Он сказал, что я, как единственный человек, мнением которого он дорожит, должна знать про него все. Его поймали на крючок в самом начале двадцатых годов: он имел неосторожность сказать доброе слово об одном из людей, погибших в первой когорте. Ему угрожали расстрелом, лагерем, тогда еще Соловками, и полной безработицей. Он был молод, влюблен, и ему не захотелось сразу и зря погибнуть. Ему еще померещилось, что он может перехитрить своих оппонентов и выиграть время. Еще он думал, что каждая встреча тех ранних лет — последняя, что он отбрехался, выкрутился, заморочил им голову и они оставят его в покое. Но этого-то и не собирались делать. Вызовы были редкие — иногда с промежутком в полгода, иногда — в два-три месяца, но они и не думали прекращаться. Через несколько лет он понял, что ему не отвязаться от своих преследователей. От него требовали информации и конкретных сведений по предыдущим заданиям. Всякий раз давали новые поручения и спрашивали, какого он мнения о том или ином знакомом. От жены он старался скрыть свою беду и открывал ей только щелочку. Ему было необходимо сократить круг знакомых, чтобы остаться в одиночестве и отговариваться при вызовах, что никого не видит и ни о ком ничего не знает. Жена же отличалась общительностью и приглашала множество народу, среди которого были умельцы, которые поставляли на «частные квартиры» сведения о том, кто у него бывает и о чем говорится за столом. Нередко при очередном вызове «человек с портфелем» начинал разговор с перечисления гостей, бывших в такой-то день у него в доме, и с цитат из разговоров. Дома он всегда был начеку и не допускал сколько-нибудь скользких разговоров. В каждом госте, произнесшем неосторожное слово, он подозревал стукача.

В конце тридцатых годов ему удалось запугать жену и закрыть доступ в свой дом. На службе он держался в стороне от всех и постепенно перешел на работу по договорам. У него осталась одна слабость — женщины, и он особенно ценил тех, которые оставались неизвестными на «частной квартире». Прочих он сразу бросал. Без друзей он научился обходиться и не чувствовал в них нужды. В течение всех лет у него оставался один друг, и я думаю, что с ним он был откровенен и подробно рассказывал ему о каждом вызове. Возможно, что и с другом происходило нечто подобное, и они хорошо понимали друг друга. Любопытная деталь: имя этого друга никогда не поминалось при вызовах, словно никто не подозревал об его существовании. Это все, что я знаю про друга. О его делах мой приятель мне не рассказал, и это вполне естественно. Друг был из академической среды и занимал видное положение. Работали они в разных областях.

Мой приятель клялся, что за все годы от него ничего не добились. На все вопросы он отвечал, что ничего не знает и с лицом, о котором его спрашивают, не встречается. Он брал инициативу разговора в свои руки и требовал, чтобы его оставили в покое. Человеку с портфелем он систематически доказывал, что надо действовать с помощью профессионалов, а не таскать к себе частных людей. Не ручаюсь, что такой разговор был возможен на «частной квартире», но никаких уточнений и деталей от своего приятеля я не добилась. Беспримерно осторожный, он говорил со мной в самой общей форме, чтобы в случае, если зажмут и меня, я не могла бы выдать его. О самом факте вызовов догадаться было нетрудно. Однажды при мне его вызвали по телефону. Он побледнел, расстроился, странно повел себя, ушел из дому, сказав, что неизвестно, когда вернется. Я тогда же сделала вывод: «таскают»... Знать это не запрещалось. Другое дело, если бы я оказалась в курсе ведшихся с ним разговоров. Ведь он не имел права выдавать государственные тайны и каждый раз давал расписку с обязательством «не разглашать»... За разглашение его бы сгноили в лагере. Так случалось со многими из наших общих знакомых. Он знал, что научились клещами вытягивать показания (даже фантастические), и поэтому, не выдержав и рассказав мне о вызовах, ни на секунду не забылся настолько, чтобы сообщить мне хоть одну точную деталь.

В пользу моего приятеля у меня есть один довод. У него было много врагов, потому что он захватил выгодную работу, которую часто старались у него отнять. Все его враги здравствуют и благоденствуют. Следовательно, он не устраивал своих дел с помощью «человека с портфелем», а именно этим занимались почти все вызываемые лица. Бытовые дела он налаживал через одно высокопоставленное лицо, к которому имел доступ через известного мне человека. Именно так он добился выгодной договорной работы и квартиры. Другое дело, что высокопоставленное лицо оказалось бы беспомощным, если бы «человек с портфелем» высказался против. Мой приятель, конечно, лавировал, но прямых злодейств не делал.

В начале войны, когда эвакуировали Москву, мой приятель получил приказ никуда не уезжать. Его оставили «для связи» на случай сдачи города. Я знаю ряд людей в том же положении, получивших такой же приказ. Агентура составлялась из скомпрометированных людей, которым некуда было податься. Жена, мало что понимавшая, хвасталась оказанным мужу доверием. Слушатели большей частью понимали, что означает приказ не эвакуироваться, но не решались объяснить ей, в чем дело. Вдова и сейчас продолжает болтать и хвастаться. Она называет покровителя в учреждении, где работал ее муж, и как он помог ей получить пенсию и наладить все бытовые дела. Покровитель ходит в штатском, но все знают, что у него есть высокий военный чин. Она нечаянно выдает своего мужа, и виноват в этом он сам, потому что скрывал от нее свою реальную и мучительную жизнь...

Всю войну он просидел в Москве, и его не тревожили. После войны вызовы возобновились, и он понял, что конца им не предвидится. Тогда-то он и засел в комнате. Образ жизни, который он вел, был равносилен медленному самоубийству. Однажды он мне сказал, что у него был странный приступ, когда, теряя сознание, он понял, что именно так придет смерть. Вскоре он умер.

Мне ясно, что мой приятель вошел в какие-то сношения с теми, с кем никаких сношений иметь нельзя, но виню я не его, а тех, кто над ним издевался. Я знала и других, являвшихся по вызовам на «частную квартиру» и дававших подписки о неразглашении. Среди них были чистейшие люди, но они не решились обречь на гибель и себя, и своих близких. Нельзя требовать героизма от простых людей. Человек, который получил вызов, знает, что в одну минуту и его, и всех детей, и родителей, и жену могут превратить в лагерную пыль, и потому не решается сразу сказать «нет». Потом он долго и мучительно расплачивается за свою нерешительность и взвешивает в уме, что лучше — гибель в заключении или медленная смерть дома. Ни один из них не дожил до положенного срока. Одни сознательно призывали смерть, другие умирали, истощенные бессонницей, отвращением и ужасом. Я уверена, что ранняя смерть ждет и человека, который, возвращаясь со службы, выносит из второй комнаты окурки и заметает следы.

Когда-нибудь вспомнят одну десятимиллионную тех, кто погиб в тюрьмах и лагерях, но этих — не подвергшихся аресту и умирающих у себя дома — не вспомнит никто, потому что они пошли на компромисс. Теоретически я знаю, что идти на компромисс нельзя, но разве я решусь посоветовать хоть кому-нибудь отказаться от компромисса, бросить на произвол судьбы детей и кинуться в бездну... Единственное, что я могу сказать: не рожайте детей в этом чудовищном мире. Идиотский совет, потому что дети продолжают рождаться, хотя и в гораздо меньшем количестве, чем раньше, а именно ради них люди идут на компромиссы! Советов давать нельзя, можно только плакать, но я бесслезная, и для меня выхода и облегчения нет.

Если сложить все недожитые жизни и загубленные годы, получится огромный обвинительный акт, только предъявить его некому, потому что действовали не люди, а машина. Люди же подчинялись приказам, сигналам и ритмам саморазвивающегося механизма, в который в незапамятные времена была вложена чудовищная программа.

В данный момент никто не знает, исчерпан ли заряд, приводивший машину в движение. Возможно, мы живем в минуту ослабления и перерыва, который завтра кончится, и все начнется сначала. Я знаю только одно: скорее всего, машина заработает не в прежней форме, а найдутся новые доводы и новые слова, чтобы совершать новые преступления и довести начатое до логического конца. Доводы покажутся спасительными, и люди ухватятся за них, не догадываясь, что они ведут к тому же, что прежние. Это случится потому, что нет критериев для оценки теорий, доводов и поступков. Искусственно критерии не насаждаются. Они плод глубокой внутренней работы каждого отдельного человека, и хорошо, если эта работа ведется множеством людей, а не разрозненными единицами.

Я предчувствую, что появятся ловкачи, которые отполируют свои доводы так, словно они согласуются с высшими критериями. На самом же деле все окажется трухой и липой. Куда ни кинь, всюду петля и яма. Мы еще не расплатились за миллионы компромиссов и за роковую утрату критериев. Расплата впереди. Ее, кажется, не миновать.

Оправданье времени

Я долго служила, зарабатывая черствый кусок хлеба, и каждую осень по возвращении из отпусков безропотно — по первому требованию — записывалась в философский кружок. Это называлось «повышать квалификацию» и требовалось ото всех, кто хотел получать зарплату. Из года в год в меня вдалбливали четвертую главу «Краткого курса», и, поскольку кружки для преподавателей вузов принадлежали к «повышенному типу», руководитель, выделенный кафедрой философии, походя расправлялся со всей мировой философией. Канту иногда уделялось целых двадцать минут. (Гегеля ставили с головы на ноги, а Платона изредка поминали, зато уважали греческих материалистов, рассказывали про летящую стрелу и что все течет...) Над Кантом посмеивались и уничтожали его вместе с категорическим императивом. В официальной идеологии злосчастный императив замещался, кажется, классовой солидарностью, а на практике человековеды, которые управляли нами, делали ставку на инстинкт самосохранения и разумный эгоизм, придуманный одной из веток русской литературы. Впрочем, я могу ошибиться и по привычке подарить приоритет нашей литературе, даже если разумный эгоизм зародился не у нас, а на Западе. Где бы он ни зародился, радости от него мало.

Во второй половине пятидесятых годов «Четвертая глава» поблекла и отношение к Канту стало мягче, но в те баснословные времена никому бы не пришло в голову, что у человека есть душа, и каждый знал, что ходит на кружок из чувства самосохранения. Воспитание давало отличные плоды. Кружковцы поднимали руку и ловко отчеканивали заученные формулы. Многие и сейчас щеголяют той самой эрудицией и на пересмотр не решатся. Зачем тратить силы, когда все и так ясно...

В те горестные дни категорический императив действительно казался нелепой выдумкой кабинетного ученого, который даже не нюхал жизни. Каждый спасался поодиночке, жил затаившись и в любом соседе или сослуживце видел потенциального доносчика и губителя. В таких условиях обнаружить доброе начало в человеке почти невозможно, но все же оно было — уничтожить его нельзя. Из всех живых существ только человек способен на преступление, но никто, кроме человека, не может побороть инстинкт самосохранения и тем самым стать человеком. Как бы мало ни было таких людей, самый факт их существования вселяет надежду. Он означает, что мы еще люди и способны подчинять первичные инстинкты чему-то высшему, что в нас заложено и только приглушено шумом текущей жизни.

Для меня особенно дороги те случаи, которые совершаются естественно, без позы, без слов и деклараций. Человек в нашу эпоху — тварь дрожащая, и в герои ему лезть не пристало. Все высокие понятия — доблесть, геройство, правда, честь — превратились в казенные штампы. Они отданы на потребу газетной швали и ораторам, которые произносят пылкие речи, согласовав предварительно каждое слово с начальством. Высокие слова полностью обесценены, и в том случае, который внушает мне надежду, их нет и в помине. Речь пойдет об упрямой девчонке, не пожелавшей покориться обстоятельствам и довериться инстинкту самосохранения. Девчонка эта, видимо, производила впечатление на людей, столкнувшихся с ней в лагерных бараках. Она промелькнула в книжке Е. С. Гинзбург. В камере в Бутырках немка демонстрировала шрамы от избиений в гестапо и другие, появившиеся во время допросов на Лубянке. Сокамерницы, принадлежавшие на воле к несгибаемой железной когорте, сразу зачислили немку в число «агентов империализма». Гинзбург хотела вступить с ними в спор, но ее остановила совсем молоденькая девочка: «Не спорьте с ними. Вы же видите, какие они фанатички...» Девочка эта сохранила разум и еще нечто другое, и это определило ее судьбу на многие годы.

Н. Н. попала на Лубянку совсем молодой, в сущности девочкой. Причин к тому было много: происхождение одновременно дворянское и революционное, биография — она родилась и выросла за границей среди эмиграции дореволюционного периода — и главное — характер, открытый и вольнолюбивый. Любой из этих пунктов мог привести к гибели и был равносилен уголовному преступлению. В некоторых случаях все же беда проходила мимо — всех не пересажаешь. Ведь брали тех, кто попадался под руку, в поучение прочим. Иного человека за дурной характер отправляли в лагерь, а другой оставался дома. Все зависело от удачи и от случайности. Удивительно, что многие из уцелевших не сознавали, как им повезло. Террор в том и заключается, что берут кого попало для острастки оставленных на воле. Н. Н. не повезло — ее посадил милый юноша, наверное партнер по танцам или другим развлечениям. Юноша был из интеллигентнейшей семьи легально-марксистского толка. Вероятно, он с детства наслышался про разумный эгоизм и, вызванный на Лубянку, применил там свои теоретические идеи. Проще говоря, он не устоял перед угрозами и обещаниями и продал чуть знакомую барышню. Для этого требовалось немного: назвать фамилию, адрес, круг знакомых и повторить две-три сказанные фразы. Если такой юноша обладал нежной душой, он мог утешать себя тем, что никаких преступлений барышни не знал и потому выдать ее не мог. Он просто заметил, что Н. Н. болтала в гостях с таким-то (может, даже с иностранцем) и сказала ему, юноше из хорошей семьи, то-то... Для успокоения собственной совести юноша подобные вещи доносом имел право не считать... Про него я знаю, что жизнь он прожил спокойно, репрессиям не подвергался и, встретив в новой эпохе возвращенную и реабилитированную Н. Н., никакого смущения не обнаружил. Н. Н. по свойственному ей легкомыслию не стала поминать прошлого и только рассказала нескольким друзьям про приятную встречу.

Неизвестно, одна ли Н. Н. оказалась жертвой интеллигентного юноши, но сейчас он уже никому вреда не принесет, поскольку весь аппарат омоложен, а герои старой драмы уже получают пенсии. Мстить подонку Н. Н. не собирается, и он спокойно доживает жизнь — разумный эгоизм себя оправдал. Толпы разумных эгоистов, отправивших на каторгу друзей и знакомых, ходят по нашей земле, принимают гостей, покупают мебель, и жизнь у них не омрачена ничем. Большинство вернувшихся из лагерей плюнули и забыли предателей. Некто Д. все лагерные годы мечтал хоть поколотить мелкотравчатого журналистика, который его посадил. Вернувшись, Д. зашел в редакцию и поманил пальцем журналистика. Они вышли на улицу, и Д. услышал писк про жену и детей. Он махнул рукой, зазвал предателя в трактир, распил с ним бутылку и отпустил его с миром. В другом случае несколько человек, посаженных одной женщиной, очевидно профессиональной стукачкой, решили нагрянуть к ней скопом в день ее рождения и разоблачить ее пред всеми гостями. Предательница открыла дверь и, увидав у своего порога мрачных людей, в чьей судьбе она сыграла такую роль, испугалась и, схватившись за сердце, тяжело опустилась на стоявший в передней стул. Увидав, как она побледнела, мстители засуетились, побежали на кухню за водой, дождались, чтобы она успокоилась, и ушли ни с чем. Знаменитому Эльсбергу действительно не повезло, что о нем вдруг громко заговорили и даже попытались выкинуть его из Союза писателей. Говорят, что всю заваруху поднял не посаженный Эльсбергом человек, а некто, у кого была зарезана диссертация. Он мстил за это виновнику неудачи — Эльсбергу, зато аспиранты горой стояли за него, потому что надеялись с его помощью выйти в люди. Я не сторонница мести — в нашей стране полвека мстили не только отдельным людям, но целым группам и классам, и все узнали, как страшна месть. И все же я думаю, что стране не мешало бы «узнать своих героев», чтобы в будущем стало труднее их вербовать. Не ссылать и убивать их нужно, а ткнуть в них пальцем и назвать по имени. Но убийцы и предатели находятся под верховной защитой, потому что они «ошибались» вместе со своим начальством. Постепенно они сойдут в могилы, а новые поколения выдвинут новые кадры убийц и предателей, потому что ни убийство, ни предательство не осуждены, а тайное остается чуть приоткрытым и спрятанным. Разумный эгоизм оправдал себя на деле.

Н. Н. содержалась на Лубянке, и ее дело подходило к концу. Следователю для полного завершения не хватало одной мелочишки — нескольких фамилий, названных на следствии. Преступник считается неполноценным, если у него нет сообщников. Для красивого оформления дела, а это у нас очень ценилось, следователю надо было выявить хоть пять сообщников, но этого требования упрямая Н. Н. выполнить не соглашалась. Кроме следовательской эстетики имена сообщников нужны и по более серьезной причине: даже в периоды самого необузданного террора для ареста нужна хоть какая-нибудь зацепка — донос, информация, доставленная стукачами, а еще лучше — имя, названное на «следствии»... Это слово я пишу в кавычках, потому что все, что происходило по ночам в таинственном доме, следствием назвать нельзя, хотя «следователь» (тоже в кавычках) соблюдал «законность», то есть вел протокол, подбирал статью, собирал нужные подписи под приговором. Некоторых обреченных даже возили на суд, который длился несколько минут, и человек получал «вышку» или десяток-другой лет, не успев открыть рта.

Мы всегда гадали, зачем тратят время на скрупулезное оформление миллионов дел, запрятанных в папки для вечного хранения. Неужели кто-нибудь надеялся, что будущий историк, разбирая архивы, поверит всей этой галиматье? В период реабилитации уже знали цену протоколам и признаниям, и прокуроры спешили оформить прекращение дела или реабилитацию, не показав заинтересованному лицу самого дела. Я так и не узнала, что происходило с Мандельштамом в 38 году. Прокурорша быстро просмотрела тонюсенькую — в два листочка — папку, прикрывая ее от меня, и сказала: «повторное» и «дела нет», и мне прислали по почте справку о прекращении дела «за отсутствием состава преступления» Заседание суда, «закрывшего дело», состоялось 29 августа 1956 года, через восемнадцать лет после приговора о ссылке, вернее, убийства Мандельштама. Из «справки» (реабилитации его не удостоили) я узнала, что приговор был подписан Особым совещанием 2 августа 1938 года. В прошлую эпоху даже даты считались государственной тайной, и никто их не знал. Итак, дело считается конченым, но пусть не тешатся и вспомнят слова Мандельштама: «Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра...» Дело Мандельштама было оформлено, но оказалось, что дела нет...

Первая причина, почему требовались «сообщники», то есть имена знакомых с адресами, — красота оформления. Вторая причина — ордер выписывается на определенного человека, а при взятом у нас размахе имен не хватало. План уничтожения людей спускался сверху с контрольными цифрами. Каждый старался выполнить план, чтобы оправдать свою повышенную зарплату. Выполнение плана — долг патриота. Названные на следствии имена использовались сразу или держались про запас на случай дефицита. Имена «сообщников» — хозяйство следователя. Он пополняет свое хозяйство и черпает в случае нужды из запасов. Хозяйство принадлежало не человеку, а канцелярскому столу — если следователя «отправляли в расход», а это случалось сплошь и рядом, на его место садился другой безликий человек и пользовался списками, которые составил предшественник. Машина продолжала бесперебойно работать. Сейчас она стоит смазанная и отремонтированная. Не пустят ли ее снова на полную силу?

Ни один следователь, кроме брата Фурманова, сообщившего мне формулу: «Был бы человек, дело найдется», не делился со мной тайнами своего ремесла. Зато сотни людей рассказывали мне, как протекало их дело. Суммируя их рассказы, я вижу, что следователю было легче всего ошарашить свежеарестованного (психологическая обработка, начинавшаяся с сидения в боксе и гнусного обыска), назвав ему имя сосланного друга или знакомого. Арест и ссылка вызывали в кругу знакомых приступ суеверного страха. Для этого имелись все основания — болезнь действительно была прилипчивой, заразительной... Именем стукача и доносчика следователь оперировать не мог — он берег «кадры». О том, кто стукач, мы только догадывались по результатам его работы (исчезновение людей). Имя осужденного было кладом, и следователь умело им оперировал. Всякий обыватель тешил себя надеждой, что «нет дыма без огня» и, раз сосед арестован, значит, он в чем-то замешан. Такой умник сразу терялся (и я бы растерялась), услыхав от следователя сначала вопрос: «Вы, наверное, уже догадались, почему вы здесь», а затем имя исчезнувшего знакомого. До ареста бедняга считал себя «чистым как стеклышко», но на первом же допросе у него подкашивались ноги, потому что он чувствовал себя безнадежно скомпрометированным связью с преступником. Сознание это лишало его способности к самозащите и сопротивлению, и следователь мог вить из него веревки.

Я не думаю, чтобы самая умелая самозащита могла спасти кого-нибудь, но человек все же, погибая, мог сохранить человеческое достоинство, а это немало. Сейчас я боюсь только одного — шприца с новым лекарством, которое лишает меня воли и самоконтроля. Если я попаду в то проклятое место и заговорю, пусть знают, что это шприц. Как это случилось, что наука оборачивается против людей?

О страхе, вызванном арестом знакомого, можно рассказать тысячи историй, но я запомнила девятилетнюю девочку, которая, услыхав про арест друга ее родителей, деловито подошла к книжной полке, отобрала несколько книг, принадлежащих арестованному, и вырвала листки с его именем. Листочки тут же были брошены в печку. Девочка не раз видела, как родители уничтожают все следы знакомства — письма, листки в записных книжках с адресом и номером телефона. Говорят, она стала стукачкой. Если это так, причиной тому рабий страх. Я никогда не имела записных книжек с телефонами, а сейчас завела. Не пора ли спустить их в уборную, поскольку печек больше нет?..

В дни, когда из молоденькой Н. Н. вытягивали пять имен, страх сковал всю страну, всех людей без исключения. Если кто-нибудь не поддался страху, то только по чистому идиотизму. Был тридцать седьмой год, когда размах террора достиг апогея. Дрожали люди, поднимавшиеся по служебной лестнице, занимая опустевшие места. Гибель одних — карьера для других. Таков закон, и умные люди старались использовать этот закон на пользу себе и своим детям. Но они не могли не дрожать, потому что знали, чем обязаны своему возвышению. Скрывая дрожь, они фиглярничали, паясничали и совершали любые преступления, лишь бы сохранить жизнь. Эти были способны на все.

Я видела фотографию Н. Н., снятую незадолго до ареста. Обыкновенное русское, не просто молодое, а очень юное лицо с чистым и гармоническим овалом, суровые глаза и плотно сжатые губы. Такие лица встречались и в дворянской и в мужицкой среде, особенно среди молодых правдоискательниц и сектанток. Есть в этих лицах что-то трагическое и обреченное, словно будущее уже отбросило на них свою тень. Но Н. Н. не была ни сектанткой, ни правдоискательницей. Очень современная и не склонная к отвлеченным рассуждениям, она с жадностью бросилась в жизнь и неистово в ней крутилась. У этой женщины и сейчас осталось это свойство она так напряженно живет, что ей всегда некогда. Ни один человек не может с ней наговориться. Прервав разговор на полуслове, она убегает, так как ее уже ждут в другом месте. Никто не бывает насыщен дружбой с Н. Н., и мне, как всем, ее всегда не хватает.

Мой иноземный приятель, с любопытством присматривавшийся к непонятным для него русским людям, спросил Н. Н., собирается ли она писать о том, что пережила. Она ответила «нет». Он удивился: почему? Она сказала, что занята. Он заинтересовался: «Чем?» — и получил ответ: «Я живу...» Ее ответ точно соответствует действительности. В молодости жажда жизни, вероятно, была в ней не менее сильна, чем сейчас. Мне Н. Н. помогла освободиться от остатков скованности и страха, что не так просто. Ахматова, например, осталась во власти страха до последних дней. В больнице, где она лежала перед смертью, она выслушивала новости о деле Синявского и Даниеля и боялась, что то же самое случится с ней за напечатанный за границей «Реквием». Благодаря Н. Н. я полностью победила страх, хотя знаю, что случиться может что угодно. С нас требуют сейчас немногого: нас не трогают, если мы скрываем преступления прошлого и настоящего. Мы должны делать вид, что невинны, как младенцы, и твердо верим, что начальники наши ходят в белых ризах. Нам запрещено только действовать, говорить, а тем более писать.

По сравнению с прошлым мы живем как в раю, но почему-то не удовлетворяемся этим раем. Подобно собачке из анекдота, нам хочется иногда полаять. Пора бы понять, что лаять «не положено».

Я запомнила разговор с Н. Н., когда мы шли по улице Герцена из консерватории. Это происходило в конце пятидесятых годов. Она сказала, что собирается жить как ей вздумается и не будет считаться «с ними». Приспосабливаться к их требованиям она не будет... Немногие тогда успели освободиться от гипноза, но такова сила этой женщины, что общение с ней расковывает внутренние силы омертвелых людей. Услыхав ее слова, я поняла, что она наверстывает годы, потерянные в лагерях и в мерзостных ссылках, когда даже она не смела поднять головы. Невольно я сделала вывод и для себя — ведь и мне надо было наверстать годы молчания и бездействия. Ко мне внезапно пришло освобождение. Как это случилось, я не знаю, но это произошло на улице Герцена после ее слов.

Откуда у Н. Н. независимость и внутренняя свобода?.. Дочь своего времени, она не верит ни во что, в частности ей смешно слышать про ценностные понятия и их незыблемость. Все это для нее фикция, а добро и зло — отвлеченные категории, о которых она никогда не задумывалась. Эти понятия не вмещаются в ее трезвый ум. Я спрашивала ее: «Почему же вы поступаете хорошо, а не плохо?» Она не задумываясь ответила: «Потому что мне так хочется...» Я пасую перед таким своеволием. Героизм ей противен, жертвенность — лживая канитель, но в силу внутренней свободы она способна на поступки, которым нет названия на ее языке.

Во время следствия Н. Н. с железным упорством отвергала предложения следователя, которые могли бы избавить ее от лагеря. Приговор был заготовлен, но из-за пяти имен следователь чуть не попал в цейтнот — дела ведь ведутся по графику и каждому полагается свой срок. Он решил прибегнуть к экстренным мерам и передать упрямицу своему коллеге, азербайджанцу, прославленному мастеру упрощенного допроса, или «заплечных дел», как говорили в старину. Среди заключенных о нем ходили легенды. Говорили, что он пытает собственноручно и умеет выбить любые показания. В «Разговоре о Данте» Мандельштам сказал, как пользуется власть устрашающими рассказами о тюрьмах. Это психологическая артподготовка, которая облегчает следователю его утомительный, но хорошо оплачиваемый труд. Такие рассказы у нас поощрялись, но при случае за них могли дать любой срок или «вышку» как за подрывную деятельность.

В кабинете знаменитого следователя Н. Н долго стояла и ждала. Заключенных часто заставляли стоять, пока у них не затекали ноги и не делались вроде кувалд. Н. Н. стояла не слишком долго — только пока следователь вел разговор с дамой. Дело происходило в субботу — единственный день в неделе, когда не проводились ночные допросы. Следователь сговаривался с дамой, куда бы пойти вечерком. Обсуждался театр, что где идет, кино, клубы и рестораны... Было ли это психологической обработкой — как хорошо живется на воле, где танцуют, едят и ходят в театры, — или раскормленный скот просто отдыхал и развлекался в присутствии своей будущей жертвы?.. Нам трудно понять и расценить действия этих людей, о которых слишком мало известно, кроме того, что они помыкали нами. Несомненно только одно: всякий замкнутый изолированный круг развивается, подобно блатарям, по своим законам и вопреки интересам общества в целом. Такой круг чтит пахана и толковище, соблюдает круговую поруку (до поры до времени), хранит тайны, избегает общения с посторонними, а иногда по непонятным причинам уничтожает друг друга. Мы смотрели на них с ужасом и отвращением, а они на нас — сверху вниз. Палач всегда презирает свою жертву. Ему кажется жалким и ничтожным истомленный человек в сползающих брюках, с которым он волен делать что угодно, или женщина с землистой тюремной кожей, с трудом стоящая на распухших ногах. Им кажется смешным то, что для нас прекрасно. Я знала молодого филолога, женатого на дочери крупного чекиста одной из республик. В хрущевское время он жил в наемной комнате в Москве — отпуск для диссертации — и повесил на стену портрет Ахматовой. Жену навещали друзья детства, дети чекистов, снятых за жестокость. Молодую поросль вызвали в Москву обучаться в специальной академии делу отцов. Они не могли пройти мимо портрета Ахматовой, не поиздевавшись над ней. Эта женщина вызывала у них хохот. В их замкнутом кругу таких не бывало. Им была понятнее гитлеровская фрау. Вкусы подобных людей интернациональны. У них, говорят, были специальные «дачи», где в своем кругу они имели право напиться и побаловаться со своими «дамами». В кабинете азербайджанца стояла Н. Н., женщина чуждого типа, и ждала своей участи.

Закончив телефонный разговор, следователь обратился к Н. Н. ... Он объяснил, что с нее требуется только пять имен, а это минимум. Если она их не назовет, ее отправят в Лефортово и он сам «займется» ее делом... Здесь, на Лубянке, она вольна назвать кого угодно по своему выбору, а в Лефортове она будет рада назвать родного отца, чтобы получить минуту передышки. Приговор в обоих случаях один — восемь лет. Если она отправится в лагерь с Лубянки, то отсидит свой срок, выйдет, поправится и снова станет молодой женщиной. В Лефортове она превратится в старуху, ни на что больше не способную. Оттуда выходят люди разбитыми и никуда не годными... (Я знала двух сестер-погодок — одна прошла через Лефортово, другая — нет. Выйдя, они выглядели как мать и дочь.) Мне говорили, что Лубянка в те дни напоминала прифронтовой госпиталь: крики, стоны, искалеченные тела, носилки... В Лефортово отправляли для пыток высшего класса. (Говорят, что были места посерьезнее Лефортова.) В тюрьмах говорили: его отправили в Лефортово подписывать... Мало кто побывал в Лефортове и вышел с неповрежденным умом. Я таких не встречала. Итак, Н. Н. предстояло Лефортово, а она уже успела наслушаться рассказов о том, что делается в легендарной тюрьме. Следователь подошел к Н. Н., положил ей руки на плечи, заглянул в глаза и посоветовал быть благоразумной и хорошенько подумать. На размышление он дал два часа, а она успела заметить, что руки у него волосатые. Когда она мне сказала про руки, я вспомнила, как Мандельштам боялся мерзких рук своих могучих современников.

Н. Н. отвели в камеру. Она села на койку и задумалась. Ей хотелось найти компромисс. Она перебирала в уме знакомых, ища, кого бы назвать, чтобы избавиться от Лефортова. Оказалось, что нет человека, которого она могла бы назвать даже ради собственного спасения: у одного дети, другой слаб здоровьем, у третьего жена — как их разлучить? Прошло два часа, и ее снова отвели в кабинет. Она молчала, а следователь выжидал. Наконец он спросил, что она надумала. Она ответила: отсылайте в Лефортово... «Пусть в Лефортове я назову собственного отца — это вы вынудите меня. А здесь, добровольно, я никого назвать не могу...» («Я не сказала «не хочу», я сказала «не могу»«, — недавно повторила Н. Н.... «Не могу» кажется ей не столь высоким актом, как «не хочу».)

Следователь отвесил ей издевательский поклон, и ее снова отвели в камеру. Она сложила узелок, села на койку, ожидая вызова и отправки в Лефортово. Дежурный заглянул в глазок и приказал ложиться. Она сказала, что ее сейчас отправят в Лефортово. «Будет приказ, разбудим», — сказал дежурный. Она легла и заснула.

Н. Н. пробыла на Лубянке еще месяц, ежеминутно ожидая перевода в Лефортово, но ее угнали прямо в лагерь. Мы гадали, почему так случилось. Я высказала предположение, что Н. Н. понравилась следователю и он пожалел ее, но она только рассмеялась: зачем ему арестантка, когда любая красотка сочтет честью разделить с ним что угодно... Красотки ценили силу и мощь начальников, их положение в обществе и паек. Выбор у этих господ был огромный, а женщину не красят ни служба, ни стояние в очередях, ни тем более тюрьма. А заметили ли люди, что заяц, убегая от преследователя, не теряет красоты? Не происходит ли это оттого, что он создан для бегства? Бегущий, спасающийся, уклоняющийся и дрожащий человек жалок, потому что он создан для свободы и свободного выбора. Н. Н. хотела, но не могла назвать пять человек. Это акт свободного выбора, человеческий поступок, поэтому-то она и осталась человеком и всем своим существом ощущает жизнь.

Н. Н. думает, что ее спасла суббота. Они ведь так завалены работой, особенно в периоды террора, что передохнуть им некогда. Волосатый спешил на свидание с дамой и забыл отдать приказ. Ведь даже мастер упрощенного допроса бывает рассеянным и усталым. Можно ли сказать, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо? У меня другое предположение. Дело было мелкое — поймали и раздавили девчонку. Дело Мандельштама тоже считалось мелким по их масштабам и представлениям... Крупными были только дела, связанные не с реальной, а с потенциальной борьбой за власть, остальное в счет не шло. Возиться с такими делами не стоило, а запугивали всех. Угрозы действовали не хуже пыток.

Не каждого из нас обрабатывал знаменитый следователь с волосатыми руками, и не каждому грозило Лефортово, но оно нависло над каждым, и люди жили с сознанием, что оно есть и в любую минуту можно очутиться в его подвалах. Как воспитательный прием существование Лефортова и Лубянки дает потрясающие результаты на несколько поколений .вперед. Оно отнимает волю и потребность к выбору, оно лишает человека простых человеческих свойств. Все мы шли на малые компромиссы, многие, вернее большинство из нас, не останавливались перед большими. Человек в первобытном племени связан обычаями и ритуалами, но все они направлены на укрепление общности. Христианство дало людям свободу. Познавшие свободу отказались от нее и выбрали атеизм, дюжину скептических фраз и мнимо рациональных формул жалкого рационализма. Связь полного крушения внутренней свободы и свободы выбора с отказом от христианства бросается в глаза, но слепые и добровольно отказавшиеся от зрения не видят ее. Между тем в этом основное знамение времени, и оно было продемонстрировано людям с удивительной наглядностью... Хуже этого зрелища не бывает ничего. От него остаются только стыд и омерзение. Единственное человеческое чувство, скрашивавшее жизнь, — жалость к людям. Но и на нее были способны далеко не все. Испытывал ли жалость мастер упрощенного допроса? Кого он жалел? И мы, рассеянные по миру, усталые и потерявшие надежду люди, — были ли у нас силы, чтобы хоть когонибудь пожалеть? Кажется, у нас за душой не оставалось решительно ничего, кроме воли к жизни, потребности во что бы то ни стало пережить страшный период и посмотреть, что будет дальше. Я уже не узнаю, что будет дальше, потому что сейчас у нас временная передышка.

А выбор нам предлагался — в простейшей и ясной форме. Нигде не предлагали выбирать так ясно и откровенно: лагерь прямо с Лубянки или пыточная камера. Избравшие гибель были обречены на молчание, но погибали не все. Парадоксально, что делавшие ставку на благополучие гибли массами, хотя шансов уцелеть было у них как будто больше, чем у тех, кто отказывался назвать пять имен. У нас уничтожали «своих» еще больше, чем «чужих», то есть нас. Мне понятно, кто такие «мы»... Это те, которые назвали пять имен только под пытками, а не добровольно, по первому приглашению. Пока существуют люди, пробующие преодолеть инстинкт самосохранения, надежда еще не потеряна, жизнь продолжается.

Среди «чужих», делавших ставку на счастье и веривших в инстинкт самосохранения, тоже существовали люди, которые давали забить себя до смерти, но не подписывали показаний против тех, кого уважали и ценили. Я слышала про женщину, погибшую в тюрьме, потому что она отказалась подписать показания против Молотова. Многие были расстреляны, потому что оказалось невозможным выпустить их на суд для дачи фантастических показаний. Это означает, что среди «победителей» были люди, верившие в свое дело. Они не отдавали себе отчета в том, что делают и куда ведут человеческие толпы.

Мастер упрощенного допроса, говорят, жив и работает на том же поприще. Свою энергию и силу он согласует с очередной инструкцией. В самые тяжелые времена он действовал по закону и по инструкции. Даже на простое избиение жалкого арестанта он получал санкцию от своего начальника. Ни он, ни его начальники не вызывают во мне злобы, но у меня нет нравственной силы, чтобы их пожалеть. Они ведь тоже сделали выбор. Жестокость была заложена в их природе, а они не только не пробовали преодолеть ее, но всячески поощряли и воспитывали все страшное и темное в себе.

«Они»

Настоящих начальников я не знала. Мне приходилось сталкиваться лишь с уже падшими, как Бухарин, и с мелкими функционерами всесоюзного значения. Через функционеров, представляющих необходимое звено аппарата, сверху передаются инструкции для низов, а наверх сообщаются сведения о стремлениях и потребностях низов. В данном случае речь идет о писательских организациях. Функционер писал, а может, и пишет стихи. Благодаря стихам он выдвинулся на «ведущую работу». Наверх он докладывает и выслушивает идущие сверху распоряжения, внизу — заговаривает зубы, обещает, а потом, если он не в силах выполнить обещание, смывается или тает как воск. Внизу за ним приглядывает некто в штатском, сидящий в соседнем кабинете. «Некто» не просто функционер, а «бдительное око». Функционер и «бдительное око» получают инструкции в разных местах. В их согласованных действиях осуществляется синтез двух силовых источников. «Некто в штатском» немногословен, функционер сладкоречив. Его прозвали «гиеной в сиропе». Сироп ему необходим, потому что он обращен к писательским массам и обязан с каждым вести доверительный разговор. Он играет в этой комедии роль человека. Из того, как он ведет себя в ласковые минуты, можно заключить, как он понимает человеческое и что такое для него человек. Зато когда «некто в штатском» корректирует его действия, он превращается в чистую функцию и берет назад все свои обещания. Прозвище «гиена в сиропе» предполагает в нем наличие хищности и фальши. На самом деле у него нет ни дурных, ни хороших качеств, а некогда были задатки, использованные для функционирования в аппарате. Он не человек, а только играет роль человека. Он функция, и в этом его смысл.

Летом 55 года мы шли с Ахматовой по Ордынке и заметили, что из каждой подворотни торчит топтун. Ахматова сказала: «Там что-то происходит, но не бойтесь. Это не против нас, а за нас...» Шел пленум, как мы потом узнали, на котором Хрущев огласил свое письмо. В церковном садике мы сели на скамейку, и Ахматова стала уговаривать меня пойти в Союз писателей и поговорить с Сурковым. Он выдвинулся на первые роли после смерти хозяина, но Ахматова предупредила, что все же с ним надо соблюдать полную осторожность: «Он из них, но хотя бы знает, что такое Мандельштам. Остальные ничего не знают...»

Под нажимом Ахматовой я пошла к Суркову. В те дни я была без работы, потому что уехала из Читы по приглашению Чебоксарского пединститута, но в Москве получила телеграмму, что Чебоксары раздумали и не берут меня (кафедра литературы, наверное, услышала мою фамилию и посоветовала не связываться) Я опять посылала бумаги на тысячи конкурсов и опять получала один отказ за другим. Уже шли реабилитации и тоненькая струйка заключенных возвращалась из лагерей. Цепенящий страх прошел, но новая эпоха еще не определилась. До начала «оттепели» оставалось несколько месяцев, но она наступила сначала для посвященных и лишь потом для нас. В ту минуту посвященные уже грелись на солнышке. Для них это был период больших надежд. Я пришла к Суркову, когда он был полон надежд, и поддерживала с ним отношения до 59 года, когда он полностью растаял вместе со своим сиропом. Один раз мне пришлось с ним говорить по телефону, в конце шестидесятых годов, но ни обещаний, ни сиропа я не обнаружила — только знак функции. Это отнюдь не значит, что положение с 59 года ухудшилось. Оно стало несравненно лучше, но все-таки остается невыносимым. Что же касается Мандельштама, то он просто ни при чем. За эти годы появились новые группировки, которые считают его «жидовским наростом на чистом теле русской поэзии». Кроме того, выяснилось, что он самиздатный автор, которого переписывают гиблые молодые люди. К текущей литературе, а тем более к писательским организациям Мандельштам никакого отношения не имеет. Думаю, что люди, входящие в секцию поэтов, не переписывают и не читают Мандельштама (кроме отдельных, конечно, но они в меньшинстве). Считаю, что это вполне естественно и так должно быть. Мандельштам не тот поэт, которого могут использовать в советской литературе. Он противопоказан ей, как она ему. Точно так мне не о чем разговаривать с Сурковым, как и ему со мной. Отношения наши относятся к прошлому. Совершенно закономерно, что они оборвались. У меня остался от недолгого периода наших встреч только смутный образ функционера, а у него, наверное, тоже ничего, кроме легкого отвращения. Ничего иного и не могло быть. Мы принадлежим к разным мирам. Это факт.

Мандельштам, а за ним и я когда-то подумали, найдя непонятные триста рублей в кармане пиджака, что их сунул Сурков. Это была месячная плата за частную комнату. Дело происходило зимой 37/38 года. Мандельштам стоял в коридоре Союза писателей, окруженный людьми. Среди них был Сурков. Уйдя, мы обнаружили деньги в кармане пиджака. Сейчас я сомневаюсь, что их положил Сурков. Может ли человек, готовящийся стать функционером, отважиться на подобный поступок? Или за годы террора с ним произошли перемены и он, бывший когда-то человеком, застыл и превратился в призрак? Не знаю. Но пойти к Суркову я согласилась только потому, что помнила об этих деньгах.

Я назвала свою фамилию секретарше, и она доложила обо мне Суркову. В приемной ждали люди, вернувшиеся из лагерей. Сурков тогда занимался их устройством. На доклад секретарши Сурков пулей вылетел из кабинета. Он кинулся ко мне и спросил, кем я прихожусь Мандельштаму. Узнав, он сказал, что примет меня через несколько дней, так как очень занят, попросту завален работой... Я прекрасно понимала, в чем дело. Прежде чем разговаривать со мной, Сурков должен был выяснить наверху (я не знаю, до каких вершин он доходит), как относиться к Мандельштаму и что говорить вдове.

Ждать мне пришлось около двух недель. Я звонила в Союз, и мне настойчиво повторяли, чтобы я никуда не уезжала и спокойно дождалась встречи. Наконец встречу назначили — и при этом еще на неприемный день. Это означало, что предстоит большой разговор. Первый вопрос Суркова, где архив и наследство Мандельштама. Он был поражен, узнав, что я все (какое там все! чуть-чуть, немножко) сохранила. Потом он спросил про Ахматову, и я рассказала про Леву и предложила в первую очередь заняться живыми, а потом уже подумать о мертвых. Сурков хотел поговорить о Леве с Ардовым. Зная, что Ахматова не доверяет этому хохмачу (воображаю, что бы он наговорил о Леве! Чтобы понять это, надо прочесть его письмо, адресованное в суд), я предложила Суркову встретиться с Эммой Герштейн. Вторая встреча состоялась на следующий день. В приемной дожидалась целая толпа (функционеров всегда нужно терпеливо ждать). Писательница Барто развлекала ожидающих кокетливыми жалобами на положение женщины: даже очереди ей приходится дожидаться наравне с мужчинами — никаких преимуществ!.. Подкатила машина — это приехал Сурков. Он проследовал в кабинет с криком: «Сначала дамы...» Дамами неожиданно оказалась не Барто, а мы с Эммой Герштейн. Я сказала Эмме: «Мы представляем сейчас хорошие фирмы». В тот момент фирмы Ахматовой и Мандельштама еще не обанкротились. На прощанье Сурков мне сказал: «Для Ахматовой, Мандельштама и Гумилева я сделаю все, что могу...» Он опять взял себе две недели сроку, но было ясно, что на верхах царит доброжелательство: Сурков буквально плясал передо мной. Я не привыкла к такому обращению и растаяла.

Первый тур разрешился тем, что я подала заявление о реабилитации, а Сурков при мне — чтобы я услышала, как он разговаривает, когда ему разрешается, — поговорил с Котовым в Гослите и с министром просвещения. На следующий день министр принял меня и повторил своим чиновникам все слова, которые накануне услышал по телефону от Суркова. Они звучали так: «Он (то есть Мандельштам) попал в мясорубку. Мы его реабилитируем. Она наша переводчица и чиста, как стеклышко...» Эти слова были услышаны не только служащими министерства, но и посетителями министра. Они распространились в одну минуту по всему министерству. Их повторяли как знак и сигнал новой политики. Начальники областных и районных отделов министерства, несомненно, приняли их за образец и стали повторять в соответствующих случаях у себя в кабинетах. Благодаря этому где-нибудь в провинции приняли на работу каких-нибудь несчастных женщин, и сейчас они получают, как и я, пенсию.

В первый и ослепительный тур моих переговоров с Сурковым я усвоила одну вещь: функционер на уровне сенатора не пишет записок, чтобы не оставить вещественного доказательства. Он предпочитает потратить сколько угодно времени (поэтому, может, у них его никогда не хватает), лишь бы провести дело путем телефонных переговоров. Произнесенное слово — просто сотрясение воздуха, пробежит звуковая волна, и не остается никаких следов. Магнитофоны пока ничего не изменили, и произнесенное слово сохраняет летучесть. Его нельзя пришить к делу, как документ, письмо или записку. Воздух сотрясается во всех уголках нашей страны. Функционеры знают по опыту, что инструкции, по которым они действуют, изменчивы и завтра его могут покарать за то, что сегодня считается правильным. Сурков полтора часа прождал разговора с министром, но документа не оставил. Он объяснил мне: «Нельзя ничего писать — секретарша вдруг возьмет да прочтет...» Секретарша услышала, как и все, каждое произнесенное им, повторенное министром слово, но это был не документ, а сотрясение воздуха.

По распоряжению министра меня направили на работу в те самые Чебоксары, которые только что отвергли мою кандидатуру. Я просилась в какое-нибудь другое место, но мне сказали, что это было бы непедагогично. Я уехала с ощущением новой эпохи и с обещанием Суркова через год предоставить мне комнату в Москве и принять меры к печатанию Мандельштама. Вскоре он назначил комиссию по наследству Мандельштама, не считаясь с тем, что по первому делу в реабилитации отказали. Это случилось сразу после событий в Венгрии, и отказ непосредственно связан с ними. Они вызвали испуг, и гайки немножко прикрутились. Сурков было приступил к выполнению обещаний, но эпоха больших надежд кончилась, и мне пришлось наблюдать, как происходит отречение. В таких случаях ничего не говорят прямо, а произносят формулы, выработанные полувековой практикой. Формула состоит не из слов, смысловых знаков, а является примитивным сигналом, свидетельствующим об отступлении. Смысла в ней нет, слово переродилось, мысль искажена и зловонна. Уже многие говорили о мертвых словах («Дурно пахнут мертвые слова», как сказано у Гумилева), но, общаясь с функционером, я перехватила несколько мертвых формул современного типа. Они опасны, потому что из них становится ясно, что человек отказался от своего основного свойств;) — дара слова и мысли.

Прежде всего Сурков отрекся от Левы Гумилева. Он сказал: «С Гумилевым дело сложно — он, вероятно, мстил за отца...» Когда-то наверху решили вместе с отцами уничтожать и сыновей, чтобы они не стали мстителями. Отказываясь помочь сыну, у которого убили отца, и издеваясь над матерью, самое простое использовать формулу о мстителях. Я совершенно убеждена, что Сурков ни в каких мстителей не верил, а просто умывал руки. Лева освободился после XX съезда, когда поехали специальные комиссии, выпускавшие лагерников на волю. Остались в лагерях только люди с большими сроками, которые, вероятно, никаких «преступлений» не совершили, но, испугавшись угроз и пыток, подписали дикие протоколы.

Комнату Сурков мне добыл, и я получила от нее ключ. Мне кажется, что запрет на предоставление комнаты наложил «некто в штатском», во всяком случае ордера я не получила. Сурков дал мне соответствующее объяснение: «Они говорят, что вы добровольно уехали из Москвы». Мне ставилось в вину, что я не подверглась аресту и ссылке (меня просто выгнали из Москвы, объяснив в специальном кабинете милиции, чтобы я убиралась). Формула «добровольный отъезд» означала отказ в прописке. Окончательное отречение от меня Сурков выразил следующими словами: «Мне некогда поговорить о вас с товарищами». Ему некогда до сих пор. Сейчас председатель комиссии по наследству Симонов, но Сурков долго отказывался оформить его. В связи с этим я звонила ему по телефону. Он сказал: «Мне некогда поговорить об этом с товарищами. Вы думаете, что, кроме Мандельштама, у меня нет никаких дел?..» Я все-таки выставила его из председателей комиссии, хоть она и существует только на бумаге.

Первоначально, когда речь шла о моем жилищном устройстве, а Союз обязан был это сделать, поскольку отобрал нашу квартиру после второго ареста Мандельштама, Сурков хотел поселить меня с Ахматовой. Она работала в Москве (добывала переводы), из Ленинграда ее зимой выгоняли, чтобы она не путалась у Ирины Пуниной под ногами, и всю зиму она слонялась по Москве, переходя от одной красавицы к другой и в каждый дом внося шум, беспорядок и жизнь. Сурков выделил двухкомнатную квартиру, но при мне к нему в кабинет зашел «некто в штатском» и наложил вето на всю затею. Тут-то я обнаружила, как Сурков может съежиться и потускнеть... Когда мы остались вдвоем, я сказала: «Ахматова у нас одна. Вам надо поговорить о ней наверху». (Сукин сын, Мандельштама он не понимал, но Ахматову знал и любил.) Речь шла о том, чтобы добиться для нее чего-то вроде двойной прописки, в Москве и в Ленинграде. И там и здесь у нее было бы по одной комнате. Где в мире это запрещено? Даже у нас есть писатели, имеющие квартиры у себя на родине и в Москве, не говоря уж о дачах.

Сурков сразу нашел ответ на мое предложение. «Нельзя, — сказал он, слегка заикаясь, — нас могут обвинить в отсутствии чуткости». Чуткость лучшая добродетель функционера. С Ахматовой чуткости не проявили, раз она осталась неустроенной, но исправить этого нельзя, чтобы не признаться в отсутствии чуткости. Функционер мыслить не умеет. Это совершенно ясно, но он думает, что и другие, с которыми он разговаривает, способны удовлетворяться его формулами. Очевидно, он всех считает себе подобными. Он разучился видеть и слышать собеседника, и все кажутся ему функционерами, живущими теми же мерзкими формулами, что он. (Не в этом ли разгадка фантастических протоколов, которые велись следователями?)

Ахматова сначала согласилась поселиться со мной, но потом раздумала. Ей казалось, что, когда мы вместе, начальство сходит с ума и засылает к нам всех своих стукачей. Вето, наложенное на нашу квартиру, ее не огорчило, но я осталась неустроенной, и это смущало ее. Ей казалось, что виновата во всем она, хотя на самом деле ее вины уж никак не было. Ведь в отдельную комнату меня потом не впустили точно так, как в квартиру. (А ведь они безмозглые дураки — я бы в жизни не решилась написать ни первую, ни вторую книгу, если бы жила в писательском доме, окруженная стукачами.) Если б работала комиссия по наследству, вышло бы собрание Мандельштама и было сказано хоть полслова правды, я бы не подумала писать. (Не думаю, чтобы мои книги были им полезны и приятны.)

Я работала в Пскове, когда Ахматова в порыве раскаяния пригласила к себе Суркова, чтобы поговорить обо мне. Сурков явился с букетом белых роз неслыханной красоты. Ахматовой ничего не пришлось ему объяснять, потому что он говорил обо мне с вдохновением и приплясом. Он твердо обещал немедленно устроить мне прописку и комнату. Ахматова пришла в восторг. Я получила от нее телеграмму в Псков с похвалой Суркову. В тот же день пришла вторая телеграмма — от человека, которого я называю «некто в штатском». Он сообщил, что Литфонд перевел мне двести рублей. Ссуда была безвозвратной. Сурков проявил чуткость, свойственную функционеру, — комната и прописка превратились в кучку денег. Я сначала не хотела брать этих денег, но потом вспомнила Женю Левитина, первую ласточку, который однажды по такому же поводу накричал на меня: «С паршивой собаки хоть шерсти клок!» На эти деньги я купила «Камень», принадлежавший Каблукову. На полях Каблуков вписал груду стихов Мандельштама. Он трогательно следил за своим молодым другом... Я считаю, что это хорошее употребление денег, выданных грязным учреждением. Прошло немного времени, и Фриде удалось пробить мою прописку. Наклюнулась кооперативная квартира. Симонов обратился в Литфонд с просьбой дать мне взаймы тысячу на покупку квартиры. Он гарантировал возвращение ссуды. Литфонд начисто отказал. Деньгами он не рисковал — их вернул бы Симонов. Отказ носил принципиальный характер. Деньги мне дал Симонов. Половину мне удалось ему вернуть. Вторые пятьсот рублей ему вернут, когда я умру, потому что наследники получат внесенный мной пай. Я очень благодарна Симонову и должна сказать, что и первую половину он взял неохотно.

В период моих сношений с Сурковым у нас был еще ряд любопытных разговоров, характеризующих таинственную прослойку, к которой он принадлежит. Когда началась заваруха с «Доктором Живаго», я вошла в кабинет Суркова сразу после Пастернака. Перед аудиенцией Пастернак очень волновался, думая, что на него навалится куча писателей и разорвет его на части. (Ритуал у них действительно омерзительный. Оксман утверждал, что вызовы и допросы на Лубянке были менее гнусны, чем травля писательской своры.) Я ждала в коридоре, и меня тошнило при мысли, что в кабинете заедают Пастернака. «К черту у них комнату брать, — думала я, — пусть подавятся...» Я всегда думала о функционерах и писателях, употребляя некрасивые обороты и грубые слова. Но Пастернак вышел от Суркова веселенький — они договорились о телеграмме в Италию, запрещающей печатать книгу. Доволен был и Сурков, потому что добился своего. Доволен, наверное, был и итальянский издатель, потому что скандал повысил спрос на книгу. (Как они сейчас служат молебны, чтобы меня посадили, и тем самым дали отличный материал для рекламы моей первой книги.)

Веселенький Сурков забыл, что в приемной его ждет толпа посетителей, и увлек меня в разговор о романе. Он дал оценку и стихов Пастернака: ему не нравилось, что «определение не имеет никаких общих признаков с определяемым». Примеры, которые Сурков приводил как негодные: «С усов утеса льющееся пиво» и «Прибой, как вафли, их печет» (в первом случае речь идет о морской пене, во втором — о волнах). Суркову хотелось, чтобы все писали так же понятно, как Пушкин и Шекспир. Я перевела ему по памяти два-три шекспировских сравнения из любимых мной разговоров миссис

Куикли, но на него ничто подействовать не могло. Литературные правила твердо засели в его мозгу. «Моча в норме», — сказала бы Ахматова, то есть среднеписательское понимание поэзии или Пастернак с точки зрения социалистического благоразумия. В разговоре были затронуты и более актуальные вопросы. Сурков заявил, что доктор Живаго не смеет судить о революции. Он был убежден, что Октябрьская революция может обсуждаться только «победителями», а у прочих и тем более у пострадавших права на суждение нет. Переубедить его было невозможно, и все мои доводы пропали зря. Такова позиция, разделяемая всеми «победителями» (живыми и мертвыми) и функционерами: слово предоставляется только тому, кто говорит по бумажке. Остальные пусть заткнутся. В противном случае их постараются заткнуть, то есть посадят. Вторая ступень: каждый обязан, если прикажут, говорить по бумажке. Иначе кувырком в яму. В писательских организациях такая дисциплина была достигнута без всякого труда на самой заре — полстолетия назад Сурков радовался речи Хрущева, но не отдавал себе отчета, что с гробовым молчанием покончено. Он так привык к молчанию и так называемому единомыслию, что искренно считал его единственно возможным и нормальным для общества состоянием.

Получение комнаты совпало со скандалом по поводу Нобелевской премии Пастернаку. Меня потому и вытурили из Москвы, что из-за «Доктора Живаго» начался зажим. Я успела сказать Суркову, что следовало напечатать роман, а не идти на непристойный скандал. Сурков задумался, а потом сказал, что вроде и так, но «мы уже сорок лет не даем молодежи такие романы». Спрашивается: сколько лет молодежи, которая уже сорок (а сейчас — побольше пятидесяти) лет ничего не читает? Не пора ли дать этой «молодежи» хоть перед смертью что-нибудь прочесть?

Психология «победителя» и верных слуг — они не хотят отказаться от достижений революции, главное из которых — тщательно подобранная пища: журналы, газеты, книги для «единомысленного множества», о котором так мечтали в десятых годах.

Однажды, когда я сидела у Суркова, в кабинет ворвалась, чуть не рыдая, секретарша, очень добрая и славная женщина, но, к несчастью, как все преданные секретарши, зараженная начальственными идеями. Ей только что сообщили «оттуда», что ночью зловредные станции, не признающие нашей цензуры, передавали поклеп на социалистический реализм. Требовалось дать отпор. Сурков даже не спросил, в чем заключался поклеп. «Отпор» был у него готов заранее. Он распорядился напечатать бумажку о том, что девяносто девять с десятыми (как на выборах) процентов населения поддерживают социалистический реализм и читают только книги, написанные этим методом. Секретарша побежала стучать на машинке, а я спросила Суркова, откуда он взял такую точную цифру. «По сведеньям библиотек», — не задумываясь ответил Сурков. Из современной литературы в библиотеках выдается только «социалистический реализм», свой или переводной, так что сведенья Суркова точные. Другой вопрос, сколько процентов населения пользуются библиотеками. Приходится сделать допущение, что в стране со стопроцентной грамотностью библиотеками пользуются девяносто девять с десятыми населения. Сурков верит статистическим данным с искренностью функционера, который знает, зачем функционирует.

Секретарша, когда меня выселяли из Москвы, устроила скандал своему шефу и добилась, чтобы мне дали добавочно двухмесячную прописку. Она получает значительно меньше своего шефа и потому сохранила человечность. На высших ступенях служебной лестницы человеческие черты вроде доброты стираются. Внизу они есть и будут. Пусть не запугивают «человеком массы». Он не вполне самостоятельно мыслит, но зато сохраняет человечность, а это главное. Обесчеловечиванье связано с разрядом, чином и пайком. Звали секретаршу Зинаида Капитоновна. Сейчас она, наверное, на пенсии, если только жива. Жизнь секретарши даже в таком мощном заповеднике, как Союз писателей социалистических реалистов, суровая и трудная.

В разговорах Сурков всегда ссылался на таинственную ипостась «они». Он говорил: «Я не знаю, как «они» на это посмотрят» или: «Я не знаю, будут ли «они» печатать Мандельштама». Я заметила, что «они» считают, думают, полагают... Однажды я спросила: кто же это «они»? «Ведь для меня «они» это вы». Он был крайне удивлен — мы так приятно разговаривали, и для него, поэта, вдова погибшего поэта была дамой, которую он однажды принял без очереди. Потом я поняла, что мир состоит из этажей и те, кто выше, называются «они». Сурков ходит на один из невысоких этажей, и ему тоже говорят, что надо доложить и выяснить, как «они» на это посмотрят. Над следующим «они» перекрытие, а затем снова «они». Я нахожусь внизу, еще ниже Зинаиды Капитоновны, и для меня ее шеф — олицетворение таинственного «они». У Суркова не те «они», что у человека, именуемого «некто в штатском». О мнении других «они» Сурков узнает от «некто в штатском». Кругом «они», и Сурков мечется, улещивая писателей, ведя классовую борьбу и вымаливая у тех, кто «они», кое-какие подачки для своих подопечных. В классовой борьбе он должен сохранять кадры. Один писатель на семью из трех (жена и сын) потребовал квартиру в четыре комнаты. Сурков не мог ему отказать: «Иначе он может скатиться в контрреволюцию». Сурков рассказал мне этот прискорбный случай и пожаловался, как трудно управлять литературой и стоять у кормила. Четырехкомнатные квартиры предоставляются только тузам. Человек часто причисляет себя к тузам раньше, чем «они» его заметили. Отказать в квартире нельзя, потому что будущий туз возьмет да скатится, а это скандал, и допускать его нельзя. У него копошится тайное подозрение, что Пастернаку следовало вовремя расширить жилплощадь и тем самым предотвратить сочинение романа.

Однажды Суркову позвонил Ардов, что до Ахматовой дошли слухи, будто опять задерживается ее книга. (Речь шла о книге с предисловием Суркова, которое развлекло и утешило Ахматову: «По крайней мере, все ясно и без дураков».) Сурков, узнав о клеветнических сплетнях (книгу обсасывали какие-то «они» и снимали все, что попадало им под руку и казалось недостаточно сладким), возмутился: «Зачем они ее запугивают такими рассказами! Ведь она может опять уйти во внутреннюю эмиграцию!»

Суркову нелегко подхватывать писателей, которые норовят «скатиться» или «уйти», еще труднее заниматься классовой борьбой и воевать с призраками, но самое трудное — распределять реальные блага: квартиры, дачи, пакеты и пайки — кому в конверте, кому в кульке... Нельзя винить его, что он пускает струи сиропа на патоке и уснащает речь окающими звуками, как Алексей Максимович, а иногда кусается и ест падаль. Я бы не хотела очутиться на его месте: трудно...

Сурков не хуже, а может, лучше других функционеров. За наше краткое знакомство я успела немало наговорить вещей, нетерпимых для слуха (раньше была формула: «Я наговорила на десять лет»)... Факт, что он на меня не донес, — на такое способен не всякий функционер. Но всякий функционер мертвит и убивает слова, мысли и жизнь. Он убивает и себя, и никакая патока его не спасет. Мы с Сурковым ровесники. При первой встрече он с ужасом на меня посмотрел: так вот что такое шестой десяток! Я видела его на похоронах

Эренбурга и поразилась стеклянному склеротическому глазу и отвислой слюнявой губе. Теперь моложе оказалась я: ничто не спасет функционера от раннего маразма.

Последнее высказывание Суркова, которое до меня дошло, относится к Солженицыну. «Я, конечно, понимаю, — сказал Сурков, — что Солженицын крупный писатель, но «если враг не сдается, его уничтожают»...» Уместная цитата из Горького все равно что ссылка на самый высший этаж дома, где сидят «они». Таково значение литературы в нашей стране.

Я ушла из Союза писателей, написав Суркову письмо, что «ноги моей не будет в вашем грязном учреждении». Мне казалось, что я один раз нарушила свое обещание, а на самом деле я дважды была в их кино (на «Евангелье по Матфею» — очень не понравилось — и на «Диктаторе» — Чаплин хорош даже в среднем фильме) да еще раз пообедала в ресторане, возвращаясь с похорон Эренбурга. В другие отношения с социалистическим реализмом я не вступаю. Жизнь прожита без них, да к тому же они меня так же любят, как я их. А Мандельштама просто не переносят.

Добрый человек

Иногда на своем пути встречаешь доброго человека, и он возникает неожиданно, откуда ни возьмись, словно вестник, чтобы сказать: держись, еще не все потеряно, голову выше — уныние запрещено... Нужно только не упустить его и вовремя сказать слово, чтобы он открылся, иначе пути разойдутся и весть не будет передана. Многих я, наверное, пропустила, прошла мимо, не остановилась, иных узнала и храню их светлую память. С одним из них я встретилась в Ташкенте в последний год войны, когда Ахматова уже уехала в Ленинград и я осталась совсем одна.

В эвакуацию я отправилась «диким способом», сгружая вещи в проходящие теплушки, сталкиваясь в поездах со случайными людьми, заводя минутные знакомства. И я сделала наблюдение, имеющее прямое отношение к моему рассказу о добром человеке: через два месяца после начала войны вся невероятная толпа, бежавшая на восток с Украины, из Белоруссии, из русских областей, угрожаемых немцами, — отовсюду, уже успела стоптать обувь и была разута. Я проехала невероятное количество километров — в теплушках и на пароходах, сделала несколько петель, попадала на острова, и в пустыни, и в цветущие края, осела в деревне под Джамбулом, провела там страшную зиму, как верблюд таская тяжести и валя деревья, а потом благодаря Ахматовой выбралась в Ташкент. За все время я увидела целую обувь только в Ташкенте, да и то на чужих ногах. Еще на улицах Калинина, то есть Твери, я заметила, что все беженцы разуты: подошвы отстают, их привязывают веревками, под которыми протирается кожа. В теплушках ехали люди в сравнительно приличной (с нашей точки зрения) одежде, но обувь разваливалась у всех подряд, кроме, пожалуй, беженцев из Польши. У этих, как это ни странно, на ногах было что-то пристойное. Обычно они носили дешевую спортивную обувь, и она не разваливалась даже у тех, кто после раздела Польши попал в лагеря, а потом был выпущен по случаю организации армии Андерса или по требованию госпожи Рузвельт. А для жителей Советского Союза обувь оказалась самым слабым местом. Это продолжалось чересчур много лет. Для меня проблема обуви началась с первой поездки с Мандельштамом на Кавказ и кончилась лишь в середине пятидесятых годов. Острота обувной проблемы, правда, не всегда была одинаковой, но я помню пару туфель, купленную в 38 году, когда мы жили на подаяние. Задники в этих туфлях были сделаны из чего-то вроде бересты — ударники обувной проблемы подобрали заместитель дефицитной кожи для нищенской обуви. Они натерли мне ноги до такой степени, что, вернувшись в Калинин, я несколько дней пролежала с высокой температурой, глядя, как синеет нога. Обувная нищета достигла первого пика в годы гражданской войны, а затем второй пик выпал на вторую мировую войну. Приятно вспомнить ледяные лужи Тифлиса и отличные деревянные сандалии, которыми я хлопала по воде. Люблю молодость, как у студенток в Ташкенте с посиневшими пальцами на ранней весной уже голых ногах.

В Ташкент я приехала совсем разутая. Фаина Раневская, актриса, дружившая тогда с Ахматовой, подарила мне тапочки, связанные из крученой ваты, то есть хлопкового сырья. Они порвались на пятый день, потому что я осторожно ступала. Фаина горестно вздыхала, что своей тяжелой походкой я загубила нежную и красивую вещь. В ее голосе был звук обуви на вас не напасешься! (Именно на таких ролях она специализировалась в театре и, говорят, была сильна.) Я раскаивалась, что приняла подарок или, по крайней мере, не предупредила, как он непрочен. После смерти матери у меня остались крохотные башмачки и калошки. Я крутилась, как могла, и сушила вечно мокрую обувь у электроплитки. Мне еще повезло, что было на чем сушить. Воровать электроэнергию я научилась только к концу войны. Она добывалась на соседнем оборонном заводе — мы жили дом в дом по улице Жуковского. За пользование энергией я платила огромную дань монтерам, а через забор в наш дом ежедневно плюхались мешки с ведром угля в каждом. К вечеру приходил хозяин мешка и брал плату с тех, кто забрал уголь. Моя печка тоже отапливалась заводским углем, и за каждое ведро я платила честную рыночную цену. Рабочие, торговавшие углем и энергией, называли свой заработок «прибавочной стоимостью». Они ведь тоже изучали марксизм в кружках системы политпросвещения и все были ярыми сталинистами.

Надвигалась последняя военная зима, и я заранее дрожала от холода. Кто-то мне сказал, что в соседнем переулке, невдалеке от дома, где жила невестка Горького, есть сапожник, который не брезгает низкой работой. Большинство сапожников работало на настоящих людей, обеспечивших себя «прибавочной стоимостью». Скромный сапожник был белой вороной, и я взяла пару развалившихся башмаков, неизвестно кем брошенных в нашей с Ахматовой комнате, и отнесла их по указанному адресу. Сапожник в ужасе осмотрел мое сокровище и спросил, нет ли у меня чего покрепче. Нет, ответила я, и никогда не было. Как я потом узнала, ему тоже успели надоесть крики честных советских людей: «Как мы жили прежде, как мы живем теперь!»

...Он заломил невероятную по отношению к зарплате, но по тем временам совершенно нормальную цену и кое-как сварганил мне «обутку». Мне пришлось вскоре отнести ее в починку, и, уж не знаю как, мы разговорились. Я сказала ему то, чего не осмелилась бы выговорить перед своими честными сотрудниками по кафедре университета, которые только и делали, что разоблачали меня в незнании английского языка и в употреблении не тех выражений, которым их обучили.

Они-то про меня кое-что знали, но это вызывало у них только справедливый гнев, а сапожнику я по-бабьи пожаловалась, что потеряла мужа не на войне, а в дальневосточном лагере, и что муж у меня был чудесный, и что я сама не понимаю, зачем тяну постылую жизнь, и на что это я надеюсь, что продолжаю тянуть ее, проклятую... Сапожник на этот раз снял с меня мерку и сказал, что я больше не буду ходить с мокрыми ногами.

В ответ на мою откровенность он тоже рассказал мне про себя, хотя посторонним людям, приносившим ему заказы и починку, не рассказывал ничего. В 37 году он работал монтером на строительстве под Ташкентом. Семья жила в той самой комнате, где он теперь тачал сапоги. Счастье, что он не забрал их с собой на строительство, хотя его там соблазняли квартирой. Однажды ночью за ним пришли, и он больше года просидел в камерах ташкентской «Лубянки». В каждом городе есть большой новый дом, где располагается это учреждение, и зовется он то «большой дом», то попросту «Лубянка», то еще как-нибудь. Его били смертным боем, но не выбили ничего. Он стиснул зубы и молчал и даже не ругался, хотя это облегчает душу. Ругаться, однако, было слишком опасно. Не то чтобы он берегся, потому что никакой надежды у него не было, но врать на себя перед этими зверями не мог. Не то чтобы не хотел, а просто не мог. Добро бы только на себя: заговоришь, так и на других заставят клепать... Он уже мысленно простился сам с собой, и с женой, и с дочкой, но тут — после падения Ежова — попал в счастливую тысячу, которую отпустили на волю. Добивались от него признания о вредительстве на стройке, он еще в тюрьме дал себе слово не возвращаться на прежнюю, хорошо оплачиваемую работу, да еще квалифицированную, черт ее дери... Он повторял в уме: хватит, отмучился, а выйдя на волю, купил инструмент, колоду, верстак, колодки (друзья-соседи помогли, а другие-то тоже наклепали) и стал сапожничать. К нему приезжали инженеры и партийные разные со стройки — сами же засадили! его вызывали в высокие инстанции, требуя, чтобы он не деквалифицировался и шел работать по специальности. Ему объясняли, что своим поведением он наносит урон социалистической родине и рабочему классу, но он стоял на своем. К счастью — или это несчастье? — в тюремных камерах и карцерах он заработал много болезней, а среди них такую тяжелую стенокардию, что даже наши дисциплинированные и чересчур угодливые врачи вынуждены были дать ему справку об инвалидности. Это называлось «пройти ВТЭК», и в те годы было труднее, чем сквозь игольное ушко. Подоспела война, и он стал нужнейшим человеком — разутая толпа чинила, латала, ставила союзки и подметки. Он мог позволить себе помочь человеку, не вырывая куска у жены и дочери. Я хорошо поняла его — лучше, чем другие. Ведь на обратном пути из Чердыни Мандельштам все клялся, что никогда не будет заниматься проклятым литературным трудом — редактурами, консультациями, всякой мерзостью, культурной шебуршней: «Еще культуру разводят! Хватит...» Только мы, никчемные, не научились настоящему труду.

По старости я забыла все названия улиц, но отлично помню обстоятельства и разговоры — где, что и о чем... Особенность моей памяти в том, что внутреннее зрение воспроизводит отдельные моменты с четкостью моментальной фотографии. Обычно я вижу не движение, а статический момент: обстановку, расположение фигур, освещение... Когда воспроизводится улица, по которой я шла и встретила когонибудь, то и тут фигура как бы застывает в момент движения. Я вижу и себя — со стороны, но зрительный образ смазан. В отличие от фотографии обстановка никогда не бывает полной. Каких-то предметов, которые не могли не быть, почему-то нет Восстановить их я не в силах. Иногда я вижу вход в дом, а дом отсутствует, как будто фотограф взял особый ракурс. Каждая статическая ситуация имеет психологическую основу, и я знаю, что происходит в этот момент. Я слышу сказанную тогда фразу с неповторимой и для меня все еще звучащей интонацией, но большинство сохранившегося имеет значение для меня одной. Особенно это касается нашей жизни с Мандельштамом, как в Ялте мы ходили на горку «к собакам» (их там было много, и все дружелюбные) и пускали в луже, которую называли прудом, кораблик, купленный у бывшего агента бывшего пароходства. Я не жила воспоминаниями, но продолжала жить с Мандельштамом, зная, что при встрече должна буду дать ответ за все сделанное и совершенное. Многое он мне простит — лишь бы не рассердился за кораблик и за все эти страницы, что взялась не за свое дело. Впрочем, простит — ведь он был легкий и незлопамятный и мне, ничего не прощающей, удивлялся. Только я не сержусь на всех Сурковых, окающих и акающих, а только удивляюсь: откуда они такие взялись и как исказили в себе все человеческое — даже простые слова? Добро бы для себя исказили, но ведь и людям они испортили жизнь, проповедуя искаженные и мерзкие вещи, толкая их на гнусные поступки и цитируя своих классиков: как убивать врагов и друзей...

Хорошо бабушкам, которые возятся с внуками, но я никогда не хотела иметь детей и рада, что у меня их не было. Именно на это у меня хватило ума. А теперь мне нужны сохранившиеся в памяти снимки, я рассматриваю их сериями и вдруг начинаю понимать их сокровенный смысл. Будущее, которое сейчас называется настоящим, проявило документальные моменты и объединило их в осмысленное целое. Кадры только тогда открыты внутреннему зрению, когда в них есть элементы смысла, будущего и судьбы. Для меня они есть и в кораблике, но откуда же среди всего взялся сапожник, который стоит перед моими глазами, хотя он только и сделал, что не дал мне ходить с мокрыми ногами в последний год войны и в последующую тяжелую зиму... В том-то и дело, что речь идет не о сухих или мокрых ногах, а о чем-то высоком и важном. Я увидела участие и доброту в этом человеке, столь редкие в жизни, особенно в моей, и только благодаря таким встречам не потеряла веры в людей. Пока существуют такие люди, жизнь еще теплится, еще не иссякла человечность.

Вот один из кадров, вынутых из памяти. Яркая улица с маленькими домами и высокими деревьями. Это отличительная черта Ташкента — диспропорция между домом и деревом, но сейчас — после землетрясения — она, наверное, утеряна. С той улицы спускаются вниз крутые улочки на Алайский базар. Чудный восточный базар, где горой лежат крупные овощи, фрукты, соблазнительные и недоступные, висят бараньи туши, с рук продаются плоские белые хлебцы по умопомрачительной цене, черные бабы торгуют восточной дрянью, которая вязнет на зубах и имеет приторно-сладкий вкус. Одним концом эта улица упирается в небо, а другим — в площадь, которую мы с Ахматовой прозвали «Звездой» («В Париже площадь есть. Ее зовут Звезда»), выдумав про генерала Кауфмана, будто он мечтал о Париже и, планируя город, заставил улицы влиться в площадь, как в парижскую Этуаль. Я шла по улице от площади в конец и вглубь — к небу и встретила своего сапожника Сергея Ивановича. Он сказал: «Да вы еще легко ходите». Сам он шел сгорбившись и тяжело дышал. Ноги у него были, видно, опухшие, и он с трудом передвигал их и шаркал, но совсем не по старости, так как лет ему было не больше пятидесяти или с хвостом. Он шел на Алайский базар на толкучку, где на покупку даже ветошки не хватило бы даже месячной моей зарплаты. Я жила там грудой частных уроков, получая деньгами или пайковыми продуктами. Паечники ценили свою валюту, рисовую и мучную, а одна очень важная дама, отказавшаяся после постановления о «Звезде» (не площади, а журнале) от моих услуг, сказала: «Вам все-таки очень повезло, что вы иногда можете посидеть в тепле» — то есть у нее в квартире.

Прошло с неделю после встречи на улице, и как-то ранним утром Сергей Иванович постучался ко мне в дверь и сказал, что спешил, потому что на дворе уже холод и грязь. Длинная осень кончилась (с голодных лиц сходил загар, и они приобретали мертвый зеленоватый оттенок). Он боялся, что я промочу ноги: «Не дай Бог простудитесь, тогда совсем пропадете...» Вот почему он поторопился принести мне пару грубых башмаков, составленных, как мозаика, из двух пар ошметков, купленных на толкучке в день нашей встречи. Союзки и верх были разного цвета, но куски любовно подобраны. Сияли латки, а подошва была двойная — одна подметка, подбитая другой. Он взял с меня только то, что истратил на ошметки, а заплатил за них очень дешево. За работу брать отказался: «Я даже не сапожничал, а мозаику строил...» Мозаику он видел, должно быть, в Самарканде и от меня услыхал про Софию в Киеве. И еще дочке раздобыл, когда она была маленькой, игрушку «Мозаика» в ящике, а теперь «мозаичил» из кожи, собирая по кусочкам. Он извинился, что кусочки особенно носки и латки — разного цвета. Чтобы сгладить пестроту, он равномерно все наваксил и посоветовал почаще чистить обутку — для красоты и прочности. Башмаки действительно не промокали, и время от времени Сергей Иванович вечером забегал ко мне забрать на ночь башмаки, чтобы утром, за ночь залатав, вернуть их в полной исправности. Чувство доброты и сухих ног, давно уже неизведанное, грело меня и радовало.

От его внимательного взгляда не ускользнуло, что зимой у меня в комнате завелось постороннее тело: из Колымы в Ташкент приехал Казарновский, московский поэтик, которому случилось быть свидетелем последних дней Мандельштама в пересыльном лагере на Второй речке под Владивостоком. От него я получила первые достоверные сведения о смерти Мандельштама. Мне приходилось вытаскивать их из-под груды брехни о красивой жизни в Москве в литературных кругах Дома Герцена, о Доме печати, о поэзии вообще, французской, русской и московской. Меньше всего он врал про Мандельштама, потому что не видел особого блеска в этой судьбе. Такое отношение вполне меня устраивало.

Казарновский приехал в Ташкент поздней осенью. Милиция отказала ему в прописке и гнала из города в район, раздетого и нищего. Я укрыла его от милиции у себя в комнате и продержала несколько необыкновенно долгих недель, пока не удалось сунуть его в больницу к доброй врачихе. Соседи думали, что я завела себе любовника, и отнеслись снисходительно к женской слабости. Их радовало, что я не собираюсь прописывать своего жильца. Они надеялись, что, подобно всем эвакуированным, я когда-нибудь уберусь к себе домой — «но где мой дом и где рассудок мой?» — и они завладеют куском жилплощади. Непрописанный жилец на площадь претендовать не мог. Наши интересы совпадали — и я и они предпочитали не вмешивать в это дело милицию, хотя я кое-чем рисковала: за нарушение прописочного режима можно было угодить в лагерный барак. Но в одном отношении мои добрые соседи переоценили Казарновского, считая его способным на что-либо вроде романа или связи. Это был совершенно спившийся человек, падавший замертво от одной рюмки. Трезвым я его не видела — он либо спал, либо бегал по городу, добывая на шкалик. Иногда он понемногу воровал — у меня, конечно, — а время от времени ездил на вокзал, чтобы поднести пассажиру чемодан и получить солидный грош. Как он нес поклажу, я себе не представляю, потому что он падал раз пять, пока приносил в комнату ведро воды. Сил у него не было ни на что. Удивительно, что он прожил еще десятка полтора лет и умер в Москве, возвращенный «домой» после Двадцатого съезда. Есть у Лескова офицерская вдова, которая поселила на дворе в сторожке отставного солдата за то, что тот вынес из сражения тело ее убитого мужа. Пьяница и скандалист, он устраивал черт знает что под ее окном, но она терпела. Я завидовала вдове, потому что у меня не было ни двора, ни сторожки и приходилось терпеть Казарновского в углу крохотной комнаты. У меня не поднималась рука выбросить его на улицу среди зимы. У него был способ смирять мой гнев: меня обезоруживал вид его ступни без единого пальца. Он отморозил ноги, и лагерники отрубили ему пальцы, когда они начали загнивать. В ту зиму он носил мой ватник и калошки моей матери — они вполне влезали на мужскую ногу без пальцев. Казарновский, познакомившись с моим другом-сапожником, заходил к нему побеседовать о литературе и поклянчить на шкалик. Сергей Иванович во всем ему отказывал — такой скот...

Однажды Сергей Иванович решился поговорить со мной начистоту и открыть мне глаза на Казарновского. Войдя, он тяжело опустился на диванчик казенного образца, обитый клеенкой, и в упор спросил меня: «Зачем вам этот тип?.. Бросьте его...» Он сказал, что Марфа Ивановна, его жена, обещает мне, если мне невмоготу без мужчины, подобрать и сосватать мне хорошего человека, самостоятельного, непьющего... «Но лучше совсем бросьте это дело, — прибавил Сергей Иванович, — ну их совсем... Сами себе хозяйка...» Мне пришлось открыться моему другу: про Вторую речку, первую весть о Мандельштаме и неувязку с милицией... Через одного из своих клиентов, чинившего у него всю войну одну пару сапог, мой сапожник помог пристроить Казарновского в больницу к доброй докторше. Сергей Иванович, а с ним и Марфа Ивановна очень обрадовались, что я с ходу отказалась от самостоятельного и трезвого жениха. «Пробьетесь как-нибудь, — сказал он мне. — А там и с хлебом будет полегче...» (После больницы Казарновский заявился ко мне, как домой. Стояло лето, и я его не пустила. Он чертыхнулся, сказал, что Мандельштам бы так не поступил, пхнул меня кулаком в живот и ушел. Мандельштам бы, пожалуй, не выгнал пьяницу, а пристроил бы куда-нибудь, но раскаянья у меня нет.)

Сергей Иванович всегда приходил перед праздниками чинно пригласить меня от имени Марфы Ивановны. Я бывала у него на Рождество и на Пасху. В церковь они не ходили, но святые дни соблюдали. Марфа Ивановна пекла пироги, и чаще всего я была единственным гостем: они не слишком доверяли людям с тех пор, как узнали, сколько наклепали на него сослуживцы и даже грех какой! — некоторые соседи. Дочка-студентка на этих пиршествах не появлялась. Она считала предрассудком все, кроме пирогов. Училась она Чернышевскому и Белинскому на литературном факультете и слегка презирала меня за то, что я дружу с ее родителями. А нам втроем хорошо разговаривалось, потому что мы друг другу доверяли.

Летом Сергей Иванович сделал мне удивительно прочные сандалии на каблучке из чистых отходов и того же фасона, что дочке. Ведь мы работали в одном учреждении — где она училась, а я служила. Я принимала экзамены и почти с ним не виделась. Он пришел среди бела дня в одно из воскресений, но без сапожного и без сватовского дела. Просто опустился на кушетку и долго молчал. Мы посидели мирно и тихо, а мне все казалось, что у него что-то на уме, что он не решается произнести. Был он грустный и какой-то торжественный, а уходя, поцеловал мне руку, что в его привычки отнюдь не входило и ему, суровому и грустному, казалось поразительно несвойственным. Он сказал, прощаясь: «Даст Бог, до лучшего доживете...»

Я недоумевала, что у Сергея Ивановича на душе, а наутро прибежала жена: «Ночью наш Сергей Иванович скончался...» Меня пригласили на поминки, на которых собралось много народу. Я заметила, что на интеллигентские похороны приходило очень мало народу, в большинстве люди официальные. В простых сословиях еще отдавали последнюю дань покойнику, прибегали проводить его, собирались на поминки, а кое-где даже голосили и причитали. На поминках у Марфы Ивановны все было чинно и хорошо, но никто не причитал. Она поцеловала меня и сказала, что сердце у нее почуяло, когда он пошел ко мне, что идет он неспроста, а прощаться. Только она ему ничего не сказала, чтобы не призывать смерть

После смерти мужа Марфа Ивановна поступила на службу гардеробщицей. Сергей Иванович надолго обеспечил и ее и дочку обувью. Уезжая из Ташкента, я зашла к ним проститься. Дочка отнеслась к этому вполне равнодушно, а мать всплакнула. У старых и молодых заботы разные. Дочка посмеивалась над родительскими причудами, а я-то и была одной из причуд покойного отца. Она получала высшее образование и очень этим гордилась. Подростком и активной пионеркой она тяжело пережила арест отца, потому что верила во врагов народа. Поскольку он вернулся, вера ее не пошатнулась. В активистках в университете она не состояла, но была на хорошем счету.

То, что я оказалась одной из причуд покойного Сергея Ивановича, радует меня и греет, как башмаки, которые он мне соорудил на манер мозаики из чистой ветошки разных цветов и оттенков

Годы молчанья

Обета молчанья я не давала, но молчала не только с чужими, но и с немногочисленными своими, которым с ходу надоедало все, что я могла сказать. Даже Шура, брат Мандельштама, был так занят собой, своей женой и службой, что почти не слышал моих слов, и я предпочитала их не тратить. Почти со всеми людьми старших поколений я предпочитаю молчать и сейчас, иначе они мне расскажут, что Мандельштам был маленького роста и съел у Каменевой все печенье. К счастью, стариков я почти не вижу — они сидят по своим углам и доживают нерадостную жизнь, которую и сейчас пытаются оправдать. Я знаю, что для живых оправдания нет.

Доживаю свою жизнь и я, с тревогой думая, что будет после нас. Мы замутили воду на много поколений. К чистым источникам, может, уже не пробить тропы. Мне страшно, что то, что произошло с нами, только начало. Еще недавно мне казалось, что наш опыт поможет разобраться в смысле событий, заставит людей задуматься и отвратит их от тех путей. Теперь я понимаю, что чужой опыт никого не учит, когда от него, как от нашего, остаются одни клочки и обрывки. Десятки лет, больше полустолетия, все спрятано и закрыто. На каждого, кто осмелится приоткрыть хоть крохи истины, обрушивается целая свора густо заинтересованных псов. Кое-кто был в прошлом слеп и глух, другие, лукавые политики, считали и считают истину невыгодной — не для себя, Боже сохрани, а для целого класса общества, а третьи просто получают за молчанье чистоганом. Скоро все зарастет травой.

Самое удивительное, что еще копошатся люди, которые пробуют подать голос сквозь толщу воды, со дна океана. Среди них и я, хотя мне точно известно, какие нужны сверхчеловеческие усилия, чтобы сохранить кучку рукописей. И все же я не могу уйти, не рассказав о веселом человеке, который жил со мной и не позволял мне унывать, о стихах и о людях, о живых и мертвых и о стопятницах, хотя они до сих пор тщательно скрывают свое прошлое. Раньше они сознательно молчали, а потом разучились говорить. К тому же их никто не слушает: хватит, надоело, нельзя же всегда об одном и том же... Молодежь, говорят, этим больше не интересуется — надо же подумать о молодежи. А я утверждаю, что никакой меры нет: надо говорить об одном и том же, пока не выйдет наружу каждая беда и каждая слеза и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Нельзя позволять Сартрам проповедовать мнимую свободу и садизм, нельзя итальянским писателишкам ездить в Китай и давать советы о том, как по-китайски бороться с бюрократией. Нельзя напиваться как свиньи, чтобы уйти от реальности, нельзя собирать русские иконы и солить капусту, пока не будет сказано все до последнего слова, пока не вспомнят каждую жену, ушедшую за мужа в лагерь или оставшуюся дома, чтобы молчать, проглотив язык. Я требую, чтобы все пересмотрели мои сны за полстолетия, включая тридцать с лишком лет полного одиночества. Попробуйте, начните, тогда вам, может, не захочется убивать.

Женщина, когда у нее посадили мужа, если только она не сама его посадила, мечется и продает вещи, чтобы сделать передачу. Я продавала книги и металась, не зная, куда деваться, а по ночам повторяла стихи. Пока у меня принимали передачи, я старалась держаться поближе к Москве. Со дня на день я ждала ареста, потому что жены обычно разделяли участь мужей. Потом оказалось, что существует инструкция, каких жен убирать, а каких оставлять в покое — это зависело от количества лет, наваленных на мужа. Правила этого не всегда придерживались. За мной приходили в первые же дни в Калинине, но я сразу смоталась оттуда и увезла корзинку с рукописями. Таким способом я ускользнула от голубчиков и поселилась под Москвой в поселке Струнино. Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой, бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах. С тех пор я часто слышала заверения людей из другого мира, что у них этого не будет, они все сделают гуманно и прекрасно, красиво и точно. И всюду и везде повторялось то, что было у нас. Не пора ли задуматься — почему...

В очередях на передачу и в прокуратуру я не раз слышала, как возвращенные из лагерей и тюрем мужья — такие бывали, хотя и очень немногие, — добивались в справочных окошках, куда угнали их жен, сосланных за них. Из окошка рявкал солдат и захлопывал деревянную ставню. Ошарашенный муж больше не смел подойти и, стоя в сторонке, что-то бубнил под нос. Я представила себе, что меня заберут, а Мандельштам вернется и будет метаться по окошкам со ставнями и солдатами. В одну из бессонных ночей я написала ему письмо — на случай невероятного возвращения Письмом этим я закончу книгу.

К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Я решила ехать в Калинин. Вещи уже были в вагоне, а я стояла на платформе, и тут мне рассказали про то, что за мной приходили с ордером. Мне показалось слишком трудным сгружать вещи, я махнула рукой и села в вагон, решив, что будь что будет. Настало время законности — уже вместо Ежова пришел Берия. Он посадил Бабеля, Мейерхольда и толпы других, а меня почему-то забыл. Мне сошло с рук возвращение в Калинин. Там я работала сначала надомницей в артели, делавшей игрушки. Потом меня приняли на работу в школу. Мне предстояла еще эвакуация, вернее, бегство от немцев, и я везла свои бумажки в сумке, которую не выпускала из рук.

Сначала я попала на остров Муйнак на Аральском море и видела в больнице «лепрозную дамочку», как выразилась докторша. Перезимовала я в деревне под Джамбулом, а весной меня нашел брат и Ахматова вырвала для меня пропуск в Ташкент. Мне еще предстояли бесконечные скитания по стране в поисках работы. Могу засвидетельствовать только одно — с годами боль не проходит и не смягчается. Исчезает только острое оцепенение первых дней, недель, месяцев, а может, и лет, когда перед глазами непрерывно разыгрывается «единственное, что мы знаем днесь»... Тогда, больше чем тридцать лет назад, я была старше, чем сейчас, когда Мандельштам уже одержал победу и продолжает оставаться под запретом в своей стране, верной старым принципам и целям. Запрет своего рода легализация, и я принимаю его как должное. Что-то мне в этом запрете даже лестно и приятно.

Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мекк, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть. Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче...» Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как всегда и везде, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них различить умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. Я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом преодолев инерцию молчания — губы двигались, но звук не образовывался, — я просила отвесить сахару, если тогда был сахар, соли или крупы. Часто я приносила совсем не то, что просила Галина, и она снова гнала меня в лавку. Она тормошила меня, заставляла отвечать на вопросы и все время гоняла в лавку: «Иначе вы уснете и не проснетесь».

Я знала, что не имею права уснуть и не проснуться, поэтому ходила в лавку и делала все, что говорила Галина. А по вечерам я слушала ее бред, потому что у нее только что забрали лагерного мужа. Он был для нее светлым царевичем, потому что, сойдясь с ним, она поверила, что жизнь началась снова. Чаще всего я сидела с матерью Галины, у которой расстреляли мужа. Она всегда рассказывала про свидание с мужем — как вывели седого старика и он закричал и заплакал: «Не верь, не верь ничему...» Его увели, и они не простились. Мать Галины не бредила, потому что надеялась на встречу. Она ждала смерти, но не знала, как доверить дочерям маленького внука. Это она заставила меня учиться читать, потому что знала по опыту: бездетным помогают только книги. Училась я читать по книгам, которые требуют непрерывного внимания. То были грамматики древних и новых языков да еще несколько книжек по языкознанию. Но прочесть я могла только несколько строчек, потому что на странице вдруг появлялось пятно — груда тел в лагерных ватниках.

Втроем мы часто читали кусочки из Шекспира, чаще всего про мать маленького Артура, которая боялась, что не узнает на небесах сына, истрепанного лихорадкой, измученного злодеями, потерявшего свой прелестный облик из-за страшного жизненного опыта. Я удивлялась, что англичане, читавшие про маленького Артура — как он словами смягчил сердце палачей, не разучились убивать. Галина утверждала, что палачи, после Шекспира продолжавшие крошить и убивать, просто не видели этой хроники: Шекспира на долгое время перестали ставить и читать. (Я часто встречала англичан и американцев, переселившихся к нам, которые хохотали, услыхав, что я постоянно читаю Шекспира: зачем вам такое старье!) Я плакала по ночам, что палачи никогда не читают ничего, что могло бы их смягчить. Я плачу и сейчас. Но сама я тоже ничего почти не читала ни в Малом Ярославце, ни потом в Калинине (это Тверь, просто Тверь). Только потом в Ташкенте я научилась грамоте, когда вместе с Ахматовой перечитывала Достоевского.

К этому времени мне пришлось говорить со многими людьми, вернувшимися из лагерей (большинство из них были снова отправлены в лагеря во второй половине сороковых годов). Первым мне рассказал о лагере — скупо и сдержанно — мужик, который пешком возвращался домой. По пути он заночевал в избе, где я жила с матерью в деревне под Джамбулом. Сын, получивший крупную военную награду, вымолил, чтобы освободили отца. До награды сын, наверное, ловко скрывал, что отца у него раскулачили и отправили в лагерь. Ничего иного он сделать не мог, и редкий сын вспоминал отца в минуту, когда вождь украшал его грудь орденом. Этот был сыном умного мужика и поступил отлично. Но сколько я ни расспрашивала о лагерях, живая зрительная картина создалась у меня только после того, как я прочла «Ивана Денисовича». Шаламов обижался на меня за такую измену и объяснял, что в таком лагере, как Иван Денисович, можно провести хоть всю жизнь. Это упорядоченный послевоенный лагерь, а совсем не ад Колымы. Так мне говорили и другие, кто попал в тюрьмы и лагеря в конце тридцатых годов, но показать они ничего не умели. Я знаю только, что лагерь Солженицына — это не тот ужас, в который попал в тридцать восьмом году на Второй речке Мандельштам. Но о лагерях должны рассказывать люди, которые погибали в них и случайно выжили. Мой рассказ о женщинах, которых эта участь случайно миновала.

В Калинине мне часто приходилось проходить по мосту через Волгу. Я знала, что подо мной чудная серая вода, только взглянуть на эту воду мне казалось святотатством. По этому мосту мы ходили вдвоем, и я всегда помнила и видела (проклятая способность видеть!), как мы шли там в одну из предзимних ночей последнего года нашей жизни. Ночью мы вернулись из Москвы, где раздобыли немного денег. На раздобытые гроши мы могли заплатить недели за две хозяйке и несколько дней не ездить в Москву, то есть по теперешним временам у нас было рублей двадцать пять (тогда это называлось сотнями). В лавках продавали горох — мы варили его и ели раза два-три по горсточке. Вот и весь наш рацион, не считая хлеба, чаю и сахара. Главное было передохнуть и не ездить в Москву. Передышка нам была нужна как воздух. И психически сил не хватало на нищенство у довольно бедных людей, хотя по тем временам они казались богачами, и главное потому, что мы оба еле держались на ногах. Я не помню, кто дал нам эти деньги, но добывать их было всегда унизительно и трудно. В те годы никто не представлял себе, что можно что-то вынуть из собственного кармана и отдать ссыльному. Научились этому только сейчас. Нам мучительно хотелось хоть чуть-чуть забыть обо всем прежде, чем начинать новый тур унижений и поисков. На вокзальной площади мы поспорили, брать ли извозчика. Я возражала — извозчики стоили непомерно дорого. Жили мы на окраине, и он заломит дикую цену. Прощай тогда горох и мирная жизнь... Мандельштам жаловался на сердце и напоминал, какой дальний путь до дома. Есть два способа жить в нищете. Один — растягивать деньги, отказывая себе во всем (я и сейчас отказываю себе во всем, кроме такси), другой удовлетворять насущные нужды, а потом снова идти с протянутой рукой. Я пробовала спасаться самоотказом, но ведь от горсточки гороха не откажешься.

Спор продолжался минутку, но, когда я согласилась на растрату, на нарушение мнимого бюджета, извозчиков успели разобрать. Всего-то их выезжало к поезду два, три, от силы четыре. Частники, они облагались таким налогом, что перед войной почти исчезли, а такси еще не было и в помине. (И сейчас, приехав в провинциальный город, человек стоит со своим чемоданом и не знает, куда податься...) Вышло по-моему — мы пошли пешком. Мандельштам шел останавливаясь и тяжело дыша. Особенно тяжко ему стало на мосту, где дул пронзительный ветер. Он не жаловался, но я чувствовала, что ему плохо, и замирала от страха: вдруг он упадет куда броситься за помощью? Ночь, никого на улицах, тьма, мост, река... Все обошлось благополучно — мы добрались до дому, вскипятили чаю, хозяйка притащила чего-то своего поесть, а наутро купили гороху.

Казалось бы, в наш жестокий век боль в сердце и ветер на мосту не тема для горестных воспоминаний, но именно так погибают все доходяги — в лагерях и на воле. Они через силу идут, идут, а там свалятся, и крышка... (Вот почему для меня такси важнее хлеба.) Свалившись, доходяга иногда проползает несколько шагов, вероятно по инерции... Я видела много доходяг на воле и потому считаю мгновенную смерть — даже от горсточки свинца удачей. Разные бывают удачи, но кое-кто поймет эту удачу профессионального доходяги.

В Калинине, проходя по мосту уже одна, я каждый раз видела эту ночь и задыхающегося, еле бредущего человека. Вот тогда, думала я, лучше бы броситься вниз — в холодную воду... Река еще не стала, можно было утонуть. Или умереть от инфаркта (мы тогда еще не знали этого слова)... Но, умри он тогда на мосту, я бы не знала, что он избавлен от еще горшей муки — будущее для нас закрыто. Видно, каждому надо пройти свой путь до конца и благословить смерть, которую недаром называют избавительницей. Я так погружалась в себя, переходя Волгу по длинному мосту, что, если, случалось, меня окликал какой-нибудь прохожий или знакомый, я смотрела на него диким невидящим взглядом. Меня даже спрашивали, что со мной, не заболела ли я... Объяснить, что у меня болезнь эпохи — оцепенение, разговор со смертью, я не решалась. Видевшие меня в такие дни говорили, что я чокнутая. Они не знали, что они тоже чокнутые.

Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха. Миллионы женщин точно так ходили по улицам и мостам, стояли в очередях к прилавкам и кассам, никого не видя и ничего не замечая. Они не составляли никакого «мы», а были случайным набором песчинок, не отсосанных мощным пылесосом. Это, говорят, делалось ради таинственных государственных целей, и сейчас есть люди, которые свято верят в вождя, предусмотрительно уничтожившего «пятую колонну». Они не прочь повторить все сначала. Надеяться нам не на что — я это знаю. И я спрашиваю себя, что представляли собой те, кто сначала декретировал, а потом провел в жизнь массовое уничтожение людей... Можно ли считать их людьми? Не правильнее было бы их уничтожить?.. Ответ пришел уже тогда: тот, кто начал уничтожение людей, пусть даже преступных и повинных в чудовищных убийствах, сам неизбежно станет зверем. (Бедные звери! С кем мы их сравниваем...) Он не сможет остановиться, потому что на этом пути остановки нет. Раз человек поставил себя над людьми и захватил право распоряжаться жизнью и смертью, он уже не властен над собой. Если построен аппарат уничтожения, человек неизбежно потеряет власть и над ним. Машина будет работать, пока не развалится от пресыщения. Под конец она работает вяло, как сейчас у нас, но сущность ее действий остается той же. Отдохнув, она в любой момент может заработать во всю силу. Говорят, перед концом она будет переведена на грозную мощь. В ней заложена программа уничтожения, и она выполнит ее до конца.

Все это я смутно понимала всегда, но выявилось оно с полной отчетливостью, как знание, в первые дни моего одиночества, когда надо мной издевался писатель-генерал по фамилии Костырев. Его вселил к нам в квартиру Ставский, дав гарантию, что он уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама. Я получила временную прописку (на один или два месяца) в проходной комнате у моей матери, а он, шествуя в свою, произносил: «В Биробиджан этих стерв». В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока, через особую комнатку в милиции, где сидит представитель органов. В те годы у нас еще не было официального антисемитизма, но Костырев, связанный с двумя передовыми отрядами литературой и органами порядка, «шел впереди прогресса». Он был гнусен, но еще гнуснее была его унылая жена. Неужели у них такая же дочь — тупая смрадная убийца?.. Она казалась самым обыкновенным ребенком, и мне любопытно, в гены ли вложена преступность или она развивается воспитанием.

Супруги Костыревы рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама. Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила», как выражалась Ахматова, что я отняла список, и генерал не посмел пикнуть. Думаю, это случилось потому, что я смотрела ему прямо в глаза. Этого они не выдерживают.

В уборной на гвоздике я находила черновики писем Костырева к вождю. Письма были преимущественно благодарственные: я был никем, а стал всем только вашей милостью. В каждое письмо был вкраплен мелкий донос. Ели они своеобразно — не как обыкновенные люди: жена варила макароны, кладя их в холодную воду. К ней не приставали никакие навыки, как к идиоту, которого взяли в ночную охрану. Таинственная порода, восприимчивая только к тому, что вносит разлад и уничтожение. Откуда такие берутся?

Как почти всем женщинам в моем положении, мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники — они явились в дом, навели порядок и, может даже, увели Костырева из украденной им квартиры. И тут же — в ту же секунду — я поняла, что «не хочу иметь своих фашистов». Пусть лучше все эти негодяи умирают на собственных дачах, проживая пенсии, достойные палачей, чем мне иметь в своем распоряжении отряд палачей для расправы с ними. Я не хочу уподобляться им и отказываюсь от защитников, если бы они каким-нибудь чудом возникли и предложили мне свои услуги. (Такого искушения, надо сказать, у меня не было и быть не могло. Я отказываюсь от умозрительных «защитников».) Боюсь, что такое отношение к жизни называется «непротивлением злу». Если так, я «непротивленка», хотя предпочла бы, чтобы это называлось как-нибудь иначе.

Как бы оно ни называлось, мое убеждение сложилось следующим образом: уговаривать убийц, увещевать их или пускаться с ними в рассуждения не имеет никакого смысла — их не пронять ничем. Они непроницаемы для мысли и слова. Им внушает отвращение мысль и слово, а это наше единственное оружие, и недаром его так боятся. Но убийцы сильны только в том случае, когда за ними стоят обыкновенные люди и восторгаются их подвигами и силой, как происходило в первую половину нашего века. Обыкновенные люди, будь то охранительная и ленивая масса или беснующиеся толпы народной революции, доведенные до неистового накала тупостью прежних охранителей, сначала прельщаются новым способом думать и объяснять жизненные явления. Они втягиваются в хитроумные ловушки рассуждений и учатся выворачивать все понятия наизнанку, чтобы оправдать то, что раньше называлось злом. Они начинают поклоняться насилию как единственному способу действовать. Не успев спохватиться, они уже сочувствуют убийцам, подхватывают их лозунги, восхваляют их цели — с виду реальные, а на самом деле мнимые и обманные. Цели не достигаются, они отмирают. Люди перестают им верить, но по инерции продолжает действовать культ силы (у нас был не культ личности, как писали в газетах, а именно культ силы, которая в конце концов оказывается чепухой, петрушкой, комической немощью), а потом остается только голый страх, порожденный злой силой. Нужно начисто побороть страх в себе и бороться за каждую человеческую душу, напоминая человеку, что он человек и тридцать сребреников еще никого не спасли.

Все пережитое нами — соблазн века и грозит всем, кто еще не переболел болезнью силы и кровавой расправы. (Зависть и месть — основные движущие силы.) Нашим опытом нельзя пренебрегать, а именно так поступают ленивые иноземцы, лелея надежду, что у них — таких культурных и умных — все будет иначе. Я тысячи раз слышала такие заверения (я не устану это повторять) от чистеньких людей, которых держали под паром в наших теплицах, чтобы в нужную минуту выпустить на родные поля. Они созревали у нас до восковой спелости и у себя рассыпались ядовитыми зернами. Многие погибли и, только погибая, что-то поняли. Другие и погибая продолжали твердить мерзкие азы. Кто жив, тот действует и будет действовать, как ему полагается, и доведет программу до конца. Дети, выросшие в подобных семьях, обычно сохраняют семя зла и преступления. Сами они часто не убийцы, потому что выросли белоручками, однако говорят на том же языке и орудуют теми же понятиями. Наш опыт — единственное лекарство, спасительная прививка, вакцина. Я для того проходила, не глядя на воду, по длинному мосту как чокнутая, как городская сумасшедшая, чтобы хоть один человек не захотел, подобно мне, получить собственных фашистов, чтобы выдворить Костырева из моей квартиры.

Несчастье в том, что мы продолжаем скрывать свой опыт и добраться до него нельзя, не приложив некоторых усилий, а люди ленивы и нелюбопытны. Единственное, что нам надо делать, это накапливать сопротивление грубой силе, чтобы все передачи в машине испортились и она покрылась ржавчиной. Чтобы это произошло, надо слишком много времени, потому что у нас нет языка, нет мерила, нет светоча, а только подлый страх.

Самое трудное — преодолеть подлый страх, потому что нам есть чего бояться. Окончательно я преодолела страх во сне. В течение двадцати, а то и тридцати лет я по ночам прислушивалась к тарахтению автомобиля, если он останавливался у моего дома. В начале шестидесятых годов в Пскове у меня во дворе затарахтел грузовик. Во сне я увидела, что меня будит Мандельштам: «Вставай, на этот раз за тобой... Меня ведь уж нет...» Я ответила ему во сне, не просыпаясь: «Тебя уж нет, а мне все равно...» И, повернувшись на другой бок, спокойно заснула без снов. Наутро я поняла, что не открою двери, как бы ко мне ни стучали. Пусть хоть ломают (дверь-то из картона!), мне все равно. Я им дам статью — сопротивление при аресте, пусть радуются. Меня может разбудить не стук, а только человеческий голос, но не всякий голос принадлежит человеку. Убийца не человек.

Это произошло после того, как стихи были напечатаны. Теперь пропасть они не могут. Я вышла на полную и безоговорочную свободу, и мне легко дышать, хоть я и задыхаюсь. Поймет ли кто-нибудь, какое счастье легко вздохнуть хоть перед смертью.

Книга, которую я сейчас кончаю, может пропасть. Нет ничего легче, чем уничтожить книгу, пока она не распространилась в Самиздате или не напечатана в типографии, как было в гутенберговский период русской истории. Но, даже погибая, она не полностью пропадет. Ее прочтут прежде, чем бросить в печь, специалисты по уничтожению рукописей, слов и мысли. Они ничего не поймут, но в их странных головах застрянет мысль, что чокнутая старуха ничего не боится и презирает силу. Пусть узнают хоть это. Единственная мысль, которая до них дойдет, будет вроде соли к пайку, к пакету и к литературе, предназначенной для воспитания кадров, которым все нипочем: жизнь, человек, земля и светоч, померкший от их дыхания. Бог с ними, но неужели они успеют уничтожить все и всех?

Последнее письмо

Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы женщин писали такие письма — мужьям, сыновьям, братьям, отцам или просто друзьям, только ничего не сохранилось. Все уцелевшее надо считать чудом или случайностью. Мое письмо уцелело случайно. Я написала его в октябре 38 года, а в январе узнала, что Мандельштам умер. Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало там почти тридцать лет. Оно попалось мне, когда я разбирала в последний раз бумаги, радуясь каждому сохранившемуся клочку и оплакивая огромные, непоправимые потери. Прочла я его не сразу, а только через несколько лет. Читая, думала о женщинах моей судьбы. Подавляющее большинство думало то же, что я, хотя многие из страха не смели себе ни в чем признаться. Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им. Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются, что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня, да еще ругнут тех, кто «ослабил бдительность», позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Сейчас опять запрещают помнить и думать, а тем более говорить о прошлом, а так как от разгромленных семей если кто уцелел, то только внуки, то и вспоминать и говорить, в сущности, некому. Жизнь идет своим чередом, и ворошить прошлое почти никому неохота. Сначала признали, что в прошлом совершили некоторые «ошибки», а сейчас пытаются взять это признание обратно и никаких «ошибок» больше не усматривают. Я тоже не назову того, что было, «ошибкой». Разве можно считать ошибкой действия, которые входят в систему и являются неизбежным выводом из основных предпосылок...

Вместо послесловия заканчиваю книгу письмом. Постараюсь принять меры, чтобы сохранилась и книга, и письмо. Надежды на это мало, хотя нынешний период — мед и сахар по сравнению с прошлым. Будь что будет, а вот письмо:

22/10(38)

Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюша — наша детская с тобой жизнь — какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды — это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка — тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь...

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье — и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному — одной. Для нас ли неразлучных — эта участь? Мы ли — щенята, дети, — ты ли — ангел — ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, — мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я — дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, — я плачу, я плачу, я плачу.

Это я — Надя. Где ты?
Прощай. *Надя.*

Указатель имен

Аввакум (1620-1682), протопоп

Авербах Леопольд Леонидович (1902-1939, расстр.), критик, генеральный секретарь РАПП (1928-1932), племянник Я. М. Свердлова

Агранов (Сорендзон) Яков Саулович (1893-1938, расстр), зам. председателя ОГПУ, первый зам. наркома внутренних дел (1933-1937); в мае 1934 г. подписал ордер на арест Мандельштама

Адалис (Ефрон) Аделина Ефимовна (1900-1969), поэтесса

Адмони Владимир Григорьевич (1909-1993), филолог, переводчик

Акопьян — Акопян Акоп (1866-1937), армянский поэт

Аксенов Иван Александрович (1884-1935), поэт, переводчик, автор книги «Пикассо и окрестности», занимался английской драматургией елизаветинской поры

Александр II (1818-1881)

Александр Герцевич *см.* Беккерман А. Г.

Александров Георгий Федорович (1908-1961), директор Института философии АН СССР (1947-1954), министр культуры (1954-1955)

Алкей (кон. VII — 1 пол. VI в. до н. э.), древнегреческий поэт

Аля *см.* Эфрон А. С.

Амусин Иосиф Давидович (1910-1984), ученый-гебраист, узник лагерей

Андерс Владислав (1892-1970), польский генерал, в 1941 г. возглавил польскую армию на территории СССР

Андроникова (во втором замужестве — Гальперн) Саломея Николаевна, княжна (1888-1982), петербургская красавица, на квартире которой собирались поэты, артисты и художники

Анненский Иннокентий Федорович (1855-1909), поэт-трагик, «первый учитель» для Ахматовой и Мандельштама

Аня *см.* Каминская А. Г.

Арагон Луи (1897-1982), французский писатель, член Французской коммунистической партии

Арагоны —Арагон Л. и Триоле Э.

Арбенина (Гйльдебрандт) Ольга Николаевна (1897/98-1980), в конце 10-х — начале 20-х гг. актриса Александрийского театра, художница, жена Ю. И. Юркуна

Ардов (Зильберман) Виктор Ефимович (1900-1976), писатель-юморист

Ардовы — Ардов В. Е. и Ольшевская Н. А.

Ариосто Лудовико (1474-1533), великий поэт итальянского Возрождения

Аршак II, царь Армении (345-367) из династии Аршакидов

Асеев Николай Николаевич (1889-1963), поэт, соратник В. Маяковского по группе ЛЕФ

Ася *см.* Цветаева А. Н.

Ахманова Ольга Сергеевна (1908-1991), лингвист

Ахматова (Горенко) Анна Андреевна (1889-1966)

Ахматова Елизавета Николаевна (1820-1904), писательница, переводчик

Ахматова (в замужестве Мотовилова) Прасковья Федосеевна (ум. 1837), прабабка А. Ахматовой по материнской линии

Ахматова Раиса Солтмурадовна (1928-1992), чеченская поэтесса

Бабель Исаак Эммануилович (1894-1940, расстр.)

Багрицкая (Суок) Лидия Густавовна (1896-1969), жена Э. Г. Багрицкого, узница лагерей

Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895-1934), поэт

Бальмонт Константин Дмитриевич (1867-1942), один из первых русских поэтов-символистов

Баратынский Евгений Абрамович (1800-1844), поэт

Барбье Огюст (1805-1882), поэт Французской революции 1830 г.

Барбюс Анри (1873-1935), французский писатель

Бардо Брижит (р. 1934), французская киноактриса

Барто Агния Львовна (1906-1981), детская поэтесса

Баталов Алексей Владимирович (1928-2017), киноактер и режиссер

Батюшков Константин Николаевич (1787-1855), поэт

Бедный Демьян (Придворов Ефим Алексеевич) (1883-1945), поэт, автор политических агиток и басен, библиофил

Безыменский Александр Ильич (1898-1973), комсомольский поэт

Белинский Виссарион Григорьевич (1811-1848)

Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934), поэт, прозаик и теоретик русского символизма

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873), поэт

Берберова Нина Николаевна (1901-1993), писательница, жена В. Ф. Ходасевича

Бергсон Анри (1859-1941), французский философ-интуитивист, автор книг «Творческая эволюция» и «Два источника морали и религии»

Бердяев Николай Александрович (1874-1948), крупнейший философ русского культурного «ренессанса» начала XX в.

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953, расстр.), в 1938-1953 гг. нарком, затем министр внутренних дел СССР

Бе́рлин Исайя, сэр (1909-1997), английский дипломат и философ, прототип «Гостя из Будущего» в «Поэме без героя» А. Ахматовой

Бетховен Людвиг ван (1770-1827)

Бирон Эрнст Иоганн, граф (1690-1772), фаворит императрицы Анны Иоанновны, в 1730-1740 гг. фактический правитель России

Благой Дмитрий Дмитриевич (1893-1984), литературовед-пушкинист

Благонадежная, знакомая Н. Я. Мандельштам

Блок Александр Александрович (1880-1921)

Блок Георгий Петрович (1888-1962), двоюродный брат А. Блока, писатель, литературовед, один из руководителей кооперативного издательства «Время» (1922-1934)

Блок (Менделеева) Любовь Дмитриевна (1881-1939), жена А. Блока, актриса

Бобров Сергей Павлович (1889-1971), поэт, участник группы футуристов «Центрифуга», стиховед

Бозио Анджолина (1830-1859), итальянская певица; скончалась во время гастролей в Петербурге

Борисов Леонид Ильич (1897-1972), писатель

Брамс Иоганнес (1833-1897), немецкий композитор

Браунинг Роберт (1812-1889), английский поэт

Браунинг Элизабет Баррет (1806-1861), английская поэтесса, жена Р. Браунинга

Брехничев — Брихничёв Иона Пантелеймонович (1879-1968), священник, публицист, издатель; в 1906 г. лишен сана за публикацию статей против «антихристианского» устройства общества, в начале 20-х гг. работал в Наркомпросе Грузии

Брик (Каган) Лиля (Лили) Юрьевна (1891-1978), сестра Э. Триоле, жена О. М. Брика

Брик Осип Максимович (1888-1945), теоретик стиха, редактор журнала «ЛЕФ», один из создателей группы ОПОЯЗ

Бродский Иосиф Александрович (1940-1996), поэт, лауреат Нобелевской премии (1987)

Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924), один из первых «мэтров» и вождей русского символизма

Бубнов Андрей Сергеевич (1884-1938, расстр.), в 1929-1937 гг. нарком просвещения РСФСР

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891-1940), писатель

Булгаков Сергей Николаевич (о. Сергий) (1871-1944), русский православный философ

Булгарин Фаддей (Тадеуш) Венедиктович (1789-1859), журналист, писатель; сотрудничал с Третьим отделением Императорской канцелярии

Бурлюки — Бурлюк Давид Давидович (1882-1967), поэт, художник, один из родоначальников русского футуризма, Бурлюк Николай Давидович (1890-1920?), поэт-футурист

Бухарин Николай Иванович (1888-1938, расстр.), редактор «Правды» (1918-1929) и «Известий» (1934-1937), член Исполкома Коминтерна (1919-1929), член ЦК ВКП(б) (1917-1934)

Бучма Амвросий Максимилианович (1891-1957), артист

Ваганов (Вагенгейм) Константин Константинович (1899-1934), поэт, автор гротескных романов, объединенных темой гибели Петербурга

Ваксель Ольга Александровна (1903-1932, покончила самоубийством), актриса

Васильев Аркадий Николаевич (1907-1972), литературно-партийный деятель

Введенский Александр Иванович (1888-1946), один из иерархов «живой церкви»

Венгеровы — Венгеров Семен Афанасьевич (1885-1920), историк русской литературы, родственник Мандельштама по материнской линии; Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867-1941), критик, переводчик; Венгерова Изабелла Афанасьевна (1877-1956), пианистка

Вигдорова Фрида Абрамовна (1915-1965), писательница

Виленкин Виталий Яковлевич (1910-1997), театровед, автор книги об А. Ахматовой

Виллон — Вийон Франсуа (1431 — после 1463), любимый Мандельштамом французский поэт Средневековья

Виноградов Виктор Владимирович (1895-1969), языковед, академик

Витя, подруга Н. Я. Мандельштам

Вишневецкая Софья Касьяновна (1899-1962), жена В. В. Вишневского, художница

Вишневский Всеволод Витальевич (1900-1951), участник гражданской войны, драматург

Владимир II Мономах (1053-1125)

Волошин (Кириенко-Волошин) Максимилиан Александрович (1877-1932), поэт, критик, художник

Волошина (Заболоцкая) Мария Степановна (1887-1976), жена М. А. Волошина

Вольпе Цезарь Самойлович (1904-1941?), литературовед

Воронский Александр Константинович (1884-1937, расстр.), критик, публицист, редактор журнала «Красная новь» (1921-1927)

Вышинский Андрей Януарьевич (1883-1954), ректор МГУ (1925-1928), свою политико-судебную карьеру начал в 1928 г. (Шахтинское дело), с 1933 г. зам. прокурора, а с 1935 г. прокурор СССР, государственный обвинитель на политических процессах 1936-1938 гг.

Габричевский Александр Георгиевич (1891-1968), историк искусств, переводчик

Ганди Мохандас Карамчанд (1869-1948)

Гаршин Владимир Георгиевич (1887-1956), профессор Военно-медицинской академии, племянник В. М. Гаршина; в 1938-1944 гг. был дружен с А. Ахматовой

Г. Г. Г. — Гельштейн Гдаль Григорьевич (1917-1989), врач, друг Н. Я. Мандельштам

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831)

Гейне Генрих (1797-1856)

Герцен Александр Иванович (1812-1870)

Герцык (Лубны-Герцык) Евгения Казимировна (1878-1944), литератор символистского круга, мемуарист

Герштейн Эмма Григорьевна (р. 1903), литературовед, друг О. М. и Н. Я. Мандельштамов

Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832)

Гибер Михаил Владимирович, издательский работник

Гинзбург Евгения Семеновна (1906-1977), автор книги о ГУЛАГе «Крутой маршрут»

Гинзбург Лидия Яковлевна (1902-1990), литературовед

Гиппиус Владимир Васильевич (1876-1941), один из первых поэтов-символистов, учитель Мандельштама в Тенишевском училище

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869-1945), писатель-символист, вместе с Д. С. Мережковским проповедник «нового религиозного сознания»

Гитлер (Шикльгрубер) Адольф (1889-1945)

Гладков Александр Константинович (1912-1976), драматург

Глебова-Судейкина Ольга Афанасьевна (1885-1945), актриса, жена С. Ю. Судейкина, подруга А. Ахматовой

Глинка Михаил Иванович (1804-1857), композитор

Глухов, в начале 50-х гг. секретарь парторганизации Ульяновского пединститута

Гоголь Николай Васильевич (1809-1852)

Годунов Борис (ок. 1552-1605)

Гольденвейзер Александр Борисович (1875-1961), пианист

Горенко Андрей Андреевич (1887-1920), старший брат А. Ахматовой

Горенко Андрей Антонович (1848-1915), отец А. Ахматовой, инженер-механик флота

Горенко Виктор Андреевич (1896-1976), младший брат А. Ахматовой

Горенко (Стогова) Инна Эразмовна (1856-1930), мать А. Ахматовой

Горенко Ия Андреевна (1894-1922), младшая сестра А. Ахматовой

Горлин Александр Николаевич (1878-1938), переводчик, в середине 20-х гг. главный редактор отдела иностранной литературы Ленотгиза

Городецкая (Козельская) Анна Александровна (1889-1945), жена С. М. Городецкого

Городецкая Рогнеда Сергеевна (1908-1999), дочь С. М. Городецкого

Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967), поэт, в 10-е гг. акмеист

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868-1936)

Греч Николай Иванович (1787-1867), писатель, филолог

Гржебин Зиновий Исаевич (1869-1929), издатель

Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795?-1829)

Гуковский Григорий Александрович (1902-1950, репрессирован), литературовед

Гумилев Лев Николаевич (1912-1992),сын А. Ахматовой и Н. Гумилева, историк-востоковед, узник лагерей

Гумилев Николай Степанович (1886-1921, расстр.)

Гумилева (Энгельгардт) Анна Николаевна (1895-1942), вторая жена Н. Гумилева

Гурвич Элеонора Самойловна (1890-1989), жена А. Э. Мандельштама, художница

Гусев Сергей Иванович (Драбкин Яков Давидович) (1874-1933), в 1925-1927 гг. зав. отделом печати ЦК ВКП(б), в начале 30-х гг. член Президиума Центральной контрольной комиссии ВКП(б)

Гюисманс Шарль Мари Жорж (1848-1907), писатель французского декаданса

Д см. Домбровский Ю. О.

Даль Владимир Иванович (1801-1872)

Даниель — Даниэль Юлий Маркович (1925-1988), писатель; в 1966 г. осужден вместе с А.Д. Синявским

Данилевский Николай Яковлевич (1822-1885), философ позднего славянофильства, автор книги «Россия и Европа»

Данте Алигьери (1265-1321)

Дармолатова Мария Николаевна (1864?-1942), мать А. Д. Радловой, С. Д. Лебедевой, Н. Д. Мандельштам и В. Д. Дармолатовой

Державин Гаврила Романович (1743-1816)

Добролюбов Александр Михайлович (1876-1945?), поэт раннего символизма, затем религиозный проповедник, основатель секты «добролюбовцев»

Домбровский Юрий Осипович (1909-1978), поэт и прозаик

Дорохов, в 30-е гг. председатель колхоза в селе Никольском Воронежской области

Достоевская (Сниткина) Анна Григорьевна (1846-1918), жена Ф. М. Достоевского

Достоевский Федор Михайлович (1821-1881)

Дубровин Александр Иванович (1855-1921, расстр.), политический деятель, организатор черносотенного «Союза русского народа»

Дувакин Виктор Дмитриевич (1909-1982), литературовед

Дюрер Альбрехт (1471-1528), немецкий художник

Еврипид (ок. 480-406 до н. э.)

Ежов Николай Иванович (1895-1940, расстр.), с сентября 1936 по декабрь 1938 г. нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности

Елена Ивановна, повар в Детском Селе в 20-е гг.

Елисеев Григорий Григорьевич (1858-1942), купец, до революции владелец гастрономов в Петербурге и Москве

Елисеев Степан Петрович (ум. 1937), финансист, в его особняке на углу Мойки и Невского размещался петроградский Дом искусств (1919-1923)

Есенин Сергей Александрович (1895-1925, покончил самоубийством)

Жаров Александр Алексеевич (1904-1984), комсомольский поэт

Жданов Андрей Александрович (1896-1948), в 1934-1944 гг. первый секретарь Ленинградского обкома и горкома партии, с 1939 г. член Политбюро ЦК ВКП(б)

Жид Андре (1869-1951), французский писатель, автор критической книги «Возвращение из СССР» (1936)

Жирмунский Виктор Максимович (1891-1971), филолог, академик

Жуковский Василий Андреевич (1783-1852)

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903-1958), поэт, участник группы левого искусства ОБЭРИУ, узник лагерей

Зайцев, хозяин пансионата в Детском Селе в 20-е гг.

Заславский Давид Иосифович (1880-1965), партийный журналист, автор клеветнического фельетона о Манндельштаме

Звенигородский Андрей Владимирович (1878-1961), поэт, происходил из древнего княжеского рода

Зелинский Фаддей Францевич (Тадеуш-Стефан) (1859-1944), филолог-классик, переводчик Софокла

Зельманова Анна Михайловна (1891-1952), художница, автор портрета Мандельштама, жена В. А. Чудовского

Зенкевич Александра Николаевна (1899-1979), актриса, жена М. А. Зенкевича

Зенкевич Михаил Александрович (1891-1973), поэт, переводчик, входил в группу акмеистов

Зинаида Капитоновна *см.* Улина З. К.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883-1936, расстр.), с декабря 1917 г. председатель Петроградского совета, в 1921-1926 гг. член Политбюро ЦК ВКП(б)

Зощенко Михаил Михайлович (1894-1958), писатель-сатирик, высоко ценимый Мандельштамом

Иванов Вячеслав Всеволодович (1929-2017), филолог

Иванов Вячеслав Иванович (1866-1949), поэт, теоретик символизма, представитель его младшей, «теургической» линии

Иванов Георгий Владимирович (1894-1958), участник организованного Н. Гумилевым «Цеха поэтов», крупнейший поэт русского зарубежья

Иванов Димитрий Вячеславович (1912-2003), сын В. И. Иванова, журналист

Иванова Лидия Вячеславовна (1896-1985), дочь В. И. Иванова, композитор

Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич) (1878-1946), критик, публицист левоэсеровского направления, друг А. Белого; в 1933 г. был арестован

Иваск Юрий Павлович (1907-1986), поэт, критик; упоминается его статья в американском Собрании сочинений Мандельштама

Ильф (Файнзильберг) Илья Арнольдович (1897-1937), писатель

Иоанн IVГрозный (1530-1584)

Ионов (Бернштейн) Илья Ионович (1887-1942?, погиб в заключении), с начала 20-х гг. руководитель Петрогосиздата (Ленотгиза), с 1929 г. председатель правления издательства «Земля и Фабрика»

Каблуков Иван Алексеевич (1857-1942), физико-химик, академик

Каблуков Сергей Платонович (1881-1919), математик, педагог, секретарь Религиозно-философского общества в Петербурге (1909-1913), автор статей о духовной музыке, друг-покровитель Мандельштама в юности

Казарновский Юрий Алексеевич (1904-1956?), поэт, солагерник Мандельштама, ранее узник Соловецкого лагеря и Беломорстроя

Калинин Михаил Иванович (1875-1946), с 1919 г. председатель ВЦИК, с 1938 г. председатель Президиума Верховного Совета СССР

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883-1936, расстр.), член Политбюро ЦК ВКП(б) (1919-1926), в 1933-1934 гг. заведовал издательством «Academia»

Каменева (Бронштейн) Ольга Давыдовна (1883-1941, растр.), сестра Л. Троцкого, жена Л. Б. Каменева, в 1918-1920 гг. зав. Театральным отделом Наркомпроса, в 1925-1929 гг. председатель Всесоюзного общества культурных связей с заграницей

Каминская Анна Генриховна (р. 1939), дочь И. Н. Пуниной

Канделаки Давид Владимирович (1895-1938, растр.), нарком просвещения Грузии (1921-1930), торговый представитель СССР в Швеции и Германии (1930-1937), в 1937 г. Эмиссар Сталина по налаживанию контактов с гитлеровским окружением («миссия Канделаки»)

Каннегисер Леонид Иоакимович (1896-1918. расстр.), поэт

Кант Иммануил (1724-1804)

Каранович Е. Л., у ее сестры, Н. Л. Фельдман, Мандельштам в начале 30-х гг. снимал в Москве комнату

Кареев Николай Иванович (1850-1931), историк

Карташев Антон Владимирович (1875-1960), богослов и историк церкви, член петербургского Религиозно-философского общества, в 1917 г. министр исповеданий в последнем составе Временного правительства

Катаев Валентин Петрович (1897-1986), писатель, брат Е. П. Петрова

Катенин Павел Александрович (1792-1853), поэт-архаист

Кауфман Константин Петрович (1818-1882), генерал-губернатор Туркестана

Кафка Франц (1883-1924), австрийский писатель

Качалов (Шверубович) Василий Иванович (1875-1948), артист МХАТа

Керенский Александр Федорович (1881-1970), премьер Временного правительства

Кибальчич Николай Иванович (1853-1881, казнен), революционер-народник, участник покушений на Александра II

Кирсанов Семен Исаакович (1906-1972), поэт группы ЛЕФ

Китс Джон (1795-1821), английский поэт-романтик

Клопфшток — Клопшток Фридрих Готлиб (1724-1803), немецкий поэт

Клычков Сергей Антонович (1889-1937, расстр.), крестьянский поэт и прозаик, друг Мандельштама

Клюев Николай Алексеевич (1884-1937, расстр.), поэт «вещего напева» (Мандельштам)

Ключевский Василий Осипович (1841-1911), историк

Князев Всеволод Гавриилович (1891-1913, покончил самоубийством), поэт, прототип «драгунского корнета со стихами» в «Поэме без героя» А. Ахматовой

Коган Петр Семенович (1872-1932), историк литературы, критик, с 1921 г. президент Государственной академии художественных наук

Козаполянский — Козó-Полянский Борис Михайлович (1890-1957), ботаник

Козинцев Григорий Михайлович (1905-1973), кинорежиссер

Козловская (Герус) Галина Лонгиновна (1906-1991), литератор, жена композитора А. Ф. Козловского

Коневской Иван (Иван Иванович Ореус) (1877-1901), поэт раннего символизма, высоко ценимый Мандельштамом

Конфуций (ок. 551-479 до н. э.)

Костырев — Костарев Николай Константинович (1893-1941), командир партизанских соединений на Дальнем Востоке в гражданскую войну, писатель-очеркист, был близким другом В. П. Ставского

Котов Анатолий Константинович (1909-1956), с 1948 г. директор Гослитиздата

Кочетов Всеволод Анисимович (1912-1973), писатель, с 1961 г. главный редактор журнала «Октябрь»

Кочубей, граф

Краснов Петр Николаевич (1869-1947, казнен), генерал-лейтенант (1917), атаман Войска Донского (1918-1919), в эмиграции — исторический романист

Краснушкин Евгений Константинович (1885-1951), психиатр, при его активном участии в 1921 г. был организован Институт судебной психиатрии им. В. П. Сербского

Крученых Алексей Елисеевич (1886-1968), поэт-футурист, соратник В. Хлебникова, создатель заумного языка

Крылов Иван Андреевич (1769, по др. свед. 1766 или 1768-1844)

Кузин Борис Сергеевич (1903-1973), биолог, друг О. Э. и Н. Я. Мандельштамов, автор воспоминаний о поэте

Кузмин Михаил Алексеевич (1872-1936), поэт, прозаик, в символизме занимал позицию «прекрасной ясности»

Кузьмин-Караваев Дмитрий Владимирович (1886-1959), поэт, в эмиграции — католический священник

Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927), художник

Кустодиева (Прошинская) Юлия Евстафьевна (1881-1942), жена Б. М. Кустодиева

Кшесинская Матильда (Мария) Феликсовна (1872-1971), балерина

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797-1846), поэт, друг А. С. Пушкина

Лавут Павел Ильич (1898-1979), антрепренер

Лаланов — Лоланов Григорий Павлович, хозяин пансионата в Ялте в 20-е гг.

Ламарк Жан Батист (1744-1829), французский естествоиспытатель

Ландсберг Леонид Эммануилович (ок. 1899-1957), юрист, друг Мандельштама, уроженец Феодосии, в начале 20-х гг. жил в Харькове, позднее преподавал в Ростове

Лапин Борис Матвеевич (1905-1941, погиб на фронте), поэт, прозаик

Ласкин Самуил Моисеевич (1879-1970), отец Е. С. Ласкиной

Ласкина Евгения Самуиловна (1914-1991), в 1956-1969 гг. зав. отделом поэзии журнала «Москва»

Ласкина Софья Самуиловна (1911-1991), дочь С. М. Ласкина, в начале 50-х гг. была осуждена по «делу о вредительстве на ЗИСе»

Лебедев Владимир Васильевич (1891-1967), художник

Лебедева (Дармолатова) Сарра Дмитриевна (1892-1967), скульптор, жена В. В. Лебедева

Лебедев-Полянский (Лебедев) Павел Иванович (1881/82-1948), критик, в 1918-1920 гг. председатель Пролеткульта, в 1921-1930 гг. начальник Главлита

Левитин Евгений Семенович (1930-1998), искусствовед

Левковская Мария Владимировна, лингвист

Легран Борис Васильевич (1884-1956), одноклассник старшего брата Н. Гумилева Дмитрия по тифлисской гимназии, в начале 20-х гг. полпред РСФСР в республиках Закавказья, с осени 1930 г. директор Эрмитажа

Лежнев (Альтшулер) Исай Григорьевич (1891-1955), редактор-издатель сменовеховского журнала «Россия» (1922-1925), в 30-е гг. сотрудник газеты «Правда»

Лелевич Григорий (Калмансон Лабори Гилелевич) (1901-1945), критик, член редколлегии журнала «На посту» (1923-1925); упоминается его статья «Анна Ахматова» (1923)

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924)

Леонтьев Константин Николаевич (1831-1891), философ позднего славянофильства

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)

Лесков Николай Семенович (1831-1895)

Лившиц Бенедикт Константинович (1886/87-1938, расстр.), поэт, участник футуристической группы «Гилея», переводчик новой французской поэзии

Лившиц (Скачкова-Гуриновская) Екатерина Константиновна (1902-1987), жена Б. К. Лившица, балерина, узница лагерей

Линде Федор Федорович (1881-1917, убит), математик, депутат первого Петросовета, комиссар Особой армии на Юго-Западном фронте

Липскеров Константин Абрамович (1889-1954), поэт

Лозинский Михаил Леонидович (1886-1955), поэт, редактор акмеистических изданий, переводчик

Лопатинский Борис Львович (1881-?), художник, в 1935 г. был приговорен по «кремлевскому делу» к трем годам высылки

Лопе де Вега (1562-1635), испанский поэт и драматург

Лукницкий Павел Николаевич (1900-1973), писатель, биограф Н. Гумилева и А. Ахматовой

Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933), нарком просвещения (1917-1928)

Лурье Артур Сергеевич (Наум Израилевич) (1891-1966), композитор

Лысенко Трофим Денисович (1898-1976), агроном, «народный академик»

Любарская А. А., лингвист

Любищев Александр Александрович (1890-1972), биолог

Майков Аполлон Николаевич (1821-1897), поэт

Макаренко Антон Семенович (1888-1939), педагог

Маккавейский Владимир Николаевич (1891-1919?), поэт классицистского направления

Маккавейский Николай Корнильевич (1864-1919), священник, профессор Киевской духовной академии, отец В. Н. и Н. Н. Маккавейских

Маккавейский Николай Николаевич, брат В. Н. Маккавейского, молодой литератор

Маковский Сергей Константинович (1877-1962), поэт и художественный критик, редактор-издатель журнала «Аполлон» (1909-1917)

Макогоненко Георгий Пантелеймонович (1912-1986), критик, литературовед

Макридин Николай Васильевич (1882-1942), поэт, по профессии инженер-мелиоратор

Маленков Георгий Максимилианович (1902-1988), в 1946-1953 и 1955-1957 гг. зам. председателя, в 1953-1955 гг. председатель Совета Министров СССР

Малкин Борис Федорович (1890-1942, погиб в заключении), в 1918-1922 гг. зав. Центральным агентством печати, в 1930-1939 гг. руководитель ИЗОГИЗа (издательства «Искусство»)

Малкина Инна Романовна (ок. 1896-1938, расстр.), жена В. А. Чудовского

Малларме Стефан (1842-1898), французский поэт-символист; его и И. Ф. Анненского молодой Мандельштам признавал великими поэтами» современности

Мандельштам Александр Эмильевич (1892-1942), средний брат поэта, работник системы книгораспространения

Мандельштам Александр Эмильевич, врач, дальний родственник поэта

Мандельштам Вениамин (Бениамин) Зунделович (1831 — не ранее 1909), дед поэта

Мандельштам Герман Вениаминович (ум. после 1926), брат Э. В. Мандельштама

Мандельштам Евгений Эмильевич (1898-1979), младший брат поэта, до войны сотрудник Ленинградского отделения Московского общества драматических писателей и композиторов, врач-гигиенист, после войны сценарист документального кино

Мандельштам Исай Бенедиктович (1885-1954), переводчик, дальний родственник поэта, сын киевского врача Б. Е. Мандельштама (ум. 1904), после смерти отца воспитывался в семье дяди, М. Е. Мандельштама

Мандельштам Лев Иосифович (1811-1889), гебраист, переводчик Библии на русский язык, дальний родственник поэта

Мандельштам Леонид Исаакович (1879-1944), физик, академик, дальний родственник поэта

Мандельштам Макс (Макс-Эммануил) Емельянович (1838-1912), известный врач-офтальмолог, председатель Киевского отделения Общества для распространения просвещения между евреев в России, дальний родственник поэта, старший из семи братьев, каждый из которых имел высшее образование, в частности, Иосиф Емельянович Мандельштам (1846-1911) возглавлял кафедру русского языка и словесности в Гельсингфоргсском университете

Мандельштам Михаил Львович (1866-1938, расстр.), адвокат, присяжный поверенный, член ЦК кадетской партии (1905-1906), в середине 20-х гг. вернулся из эмиграции в СССР

Мандельштам Мориц Эмильевич, врач, дальний родственник поэта

Мандельштам (Дармолатова) Надежда Дмитриевна (1894-1922), первая жена Е. Э. Мандельштама

Мандельштам Наталья Евгеньевна (1920-1942), дочь Е. Э. Мандельштама, училась на историческом факультете ЛГУ

Мандельштам (Вербловская) Флора Осиповна (1866-1916), мать поэта

Мандельштам Эмиль (Хацкель) Вениаминович (1851-1938), отец поэта

Мандельштам, однофамилица поэта, ленинградская машинистка

Мандельштамы, дальние родственники поэта, жили в Ялте

Мар Сусанна (Чалхушьян Сусанна Георгиевна) (1900-1965), поэтесса, переводчик, жена И. А. Аксенова

Маргулис *см.* Моргулис А. О.

Марджанов Константин Александрович (Котэ Марджанишвили) (1872-1933), режиссер

Маринетти Филиппо Томмазо (1876-1944), писатель, глава итальянского футуризма

Марр Николай Яковлевич (1864/65-1934), востоковед, лингвист, автор «яфетической теории», господствовавшей в языкознании до начала 50-х гг.

Марфа Ивановна, ташкентская знакомая Н. Я. Мандельштам

Марченко Анатолий Тихонович (1938-1986, погиб в заключении), писатель, правозащитник, автор книг о советской тюремной системе послесталинского периода

Маршак Самуил Яковлевич (1887-1964), поэт, переводчик, автор и редактор книг для детей

Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930, покончил самоубийством)

Медведев Жорес Александрович (1924-2018), биолог

Мей Лев Александрович (1822-1862), поэт

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (1874-1940, расстр.), актер, режиссер

Мекк Галина Николаевна, подруга Н. Я. Мандельштам, дочь Н. К. фон Мекка, мемуарист

Мекк Николай Карлович фон (1863-1929, расстр.), крупный инженер железнодорожного транспорта

Мелетинский Елеазар Моисеевич (1918-2005), литературовед, фольклорист

Меншиков Александр Данилович, светлейший князь (1673-1729), сподвижник Петра I; Петром II был сослан в Березов

Мережковские — Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865-1941), писатель, поэт-символист, проповедник «нового религиозного сознания», и З. Н. Гиппиус

Метнер Николай Карлович (1879/80-1951), композитор

Мещанинов Иван Иванович (1883-1967), лингвист, академик, разделял взгляды Н. Я. Марра

Миклашевский Константин Михайлович (1886-1943), артист, режиссер, театровед

Миклухо-Маклай, знакомая Н. Я. Мандельштам

Мильтон Джон (1608-1674), английский поэт

Миндлин Эмилий Львович (1900-1981), литератор

Митурич Петр Васильевич (1887-1956), художник

Михоэльс — Михоэлс (Вовси) Соломон Михайлович (1890-1948, убит), артист и режиссер Еврейского театра

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), член Политбюро ЦК ВКП(б) с 1926 г., председатель Совнаркома (1930-1941)

Моргулис Александр Осипович (1898-1938, погиб в заключении), литератор, переводчик, друг Мандельштама

М. П. *см.* Петровых М. С.

Мстиславский (Масловский) Сергей Дмитриевич (1876-1943), революционный деятель, писатель

Набоков (Сирин) Владимир Владимирович (1899-1977), писатель

Набоков Владимир Дмитриевич (1869-1922, убит), один из лидеров партии кадетов, отец В. В. Набокова

Найман Анатолий Генрихович (р. 1936), писатель, с 1963 г. литературный секретарь А. Ахматовой

Наполеон I (1769-1821)

Наппельбаум Моисей Соломонович (1869-1958), фотограф, автор фотопортретов политических деятелей, писателей и деятелей искусства

Нарбут Владимир Иванович (1888-1938, расстр.), поэт, входил в группу акмеистов, основал и был председателем правления издательства «Земля и Фабрика» (1922-1928), арестован в 1936 г., по последним сведениям — расстрелян на Колыме

Нарбут (Суок) Серафима Густавовна (1902-1982), жена В. И. Нарбута, во втором браке — В. Б. Шкловского

Недоброво (Ольхина) Любовь Александровна (ум. 1923), жена Н. Н. Недоброво

Недоброво Николай Владимирович (1882-1919), поэт, стиховед, друг А. Ахматовой

Некрасов Николай Алексеевич (1821-1877/78)

Нельдихен (Ауслендер) Сергей Евгеньевич (1891-1942), поэт

Немитц Александр Васильевич (1879-1967), контр-адмирал, в 1920-1921 гг. командующий морскими силами РСФСР

Нерваль Жерар де (1808-1855), французский поэт-визионер

Неруда Пабло (1904-1973), чилийский поэт

Никитина Евдоксия Федоровна (1895-1973), организатор издательства и литературного салона «Никитинские субботники»

Николай II (1868-1918, расстр.)

Никон (в миру Никита Минич) (1605-1681), патриарх (1652-1666)

Никулин Лев Вениаминович (Ольконицкий Лев Владимирович) (1891-1967), журналист, писатель, литературный деятель

Нимец *см.* Немитц А. В.

Ницше Фридрих (1844-1900), немецкий философ, апологет «героического пессимизма», оказавший большое влияние на мировосприятие эпохи модерна

Н.Н. *см.* Столярова Н. И.

Оглоблин, владелец книжного магазина в Киеве

Одоевцева Ирина Владимировна (Гейнике Ираида Густавовна) (1895 или 1901-1990), поэтесса, писательница, жена Г. И. Иванова

Ойстрах Давид Федорович (1908-1974), скрипач, в мае 1936 г. гастролировал в Воронеже

Оксман Юлиан Григорьевич (1894-1970), литературовед, в 60-е гг. собирал и переправлял Г. П. Струве материалы для американских собраний сочинений поэтов «серебряного века»

Олейников Николай Макарович (1898-1937, расстр.), поэт-«обэриут»

Олеша Юрий Карлович (1899-1960), писатель

Ольшевская Нина Антоновна (1908-1991), актриса, жена В. Е. Ардова, подруга А. Ахматовой

Осипов Н., упоминаются его комментарии к шуточным стихам Мандельштама

Остроухов Илья Семенович (1858-1929), художник, собиратель произведений древнерусского искусства

Отроковский Владимир Михайлович (1892-1918), молодой поэт, филолог

Оцуп Николай Авдеевич (1894-1958), поэт

Павленко Петр Андреевич (1899-1951), писатель, крупный литературно-партийный функционер; справка П. А. Павленко «О стихах О. Мандельштама» была приложена в 1938 г. к письму В. П. Ставского Н. И. Ежову с просьбой «решить вопрос о Мандельштаме»

Павлов Владимир Александрович (1900-?), поэт, служил флаг-офицером у А. В. Немитца

Павлович Надежда Александровна (1895-1980), поэтесса

Палей Владимир Павлович, князь (1895-1918, убит), поэт

Палей (Гогенфельзен) Ольга Валериановна, княгиня (1865-1929), жена великого князя Павла Александровича, мать В. П. Палея

Папанин Иван Дмитриевич (1894-1986), полярный исследователь

Парно́к (Парнох, псевд. Андрей Полянин) София Яковлевна (1885-1932), поэтесса, критик

Пастернак Борис Леонидович (1890-1960)

Пастернак (Лурье) Евгения Владимировна (1898-1965), жена Б. Л. Пастернака, художница

Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968), писатель

Перепелкин Андрей, внучатый племянник В. Г. Шкловской

Петр I (1672-1725)

Петрарка Франческо (1304-1374), величайший итальянский лирик; четыре его сонета переведены Мандельштамом

Петров (Катаев) Евгений Петрович (1903-1942), писатель

Петровых Мария Сергеевна (1908-1979), поэтесса, переводчик

Пильняк (Вогау) Борис Андреевич (1894-1938, расстр.), писатель

Платон (428 или 427-348 или 347 до н. э.)

Платонов (Климентов) Андрей Платонович (1899-1951), писатель

Поволоцкая Елена Валериановна, дочь царского генерала, редактор издательства «Советский плакат»

Полонский Яков Петрович (1819-1898), поэт

Поля *см.* Стёпина П. Ф.

Попова Эликонида Ефимовна (1903-1964), жена В. Н. Яхонтова, режиссер созданного им «Театра одного актера»

Пронин Борис Константинович (1875-1946), организатор литературно-артистических кабаре «Бродячая собака» и «Привал комедиантов»

Пунин Николай Николаевич (1888-1953, погиб в заключении), искусствовед, в 1924-1938 гг. муж А. Ахматовой

Пунина (Аренс) Анна Евгеньевна (1892-1943), первая жена Н. Н. Пунина

Пунина Ирина Николаевна (1921-2003), дочь Н. Н. Пунина, искусствовед

Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837)

Р. *см.* Рожицын В. С.

Рабинович Исаак Моисеевич (1894-1961), художник, сценограф

Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885-1939, убит в тюрьме), партийный публицист, член Исполкома Коминтерна (1920-1924)

Радлов Сергей Эрнестович (1892-1958), драматург и режиссер

Радлова (Дармолатова) Анна Дмитриевна (1891-1949, умерла в заключении), поэтесса, переводчик, жена С. Э. Радлова

Райкин Аркадий Исаакович (1911-1987), актер-сатирик, художественный руководитель Ленинградского театра миниатюр (1939-1982)

Раковская-Петреску А. Г., издательница, сестра Х. Г. Раковского

Раковский Христиан Георгиевич (1873-1941, расстр.), председатель Совнаркома Украины (1919-1923), позднее — на дипломатической работе

Раневская Фаина Григорьевна (1896-1984), актриса

Раскольников (Ильин) Федор Федорович (1892-1939), большевик, сыграл видную роль в кронштадтских событиях 1917 г., командующий Балтийским флотом (1920), полпред РСФСР в Афганистане (1921-1923), член редколлегии журнала «Красная новь» (1927-1930)

Редько Климент Николаевич (1897-1956), художник

Рейснер Екатерина Александровна (ум. 1929), мать Л. М. Рейснер

Рейснер Лариса Михайловна (1895-1926), жена Ф. Ф. Раскольникова, журналист, принадлежала к петербургской революционной интеллигенции, член ВКП(б) с 1918 г., комиссар Генштаба Военно-морского флота (1918-1919)

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669), голландский живописец

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844-1908), композитор

Рогинский Яков Яковлевич (1895-1986), антрополог

Рождественский Всеволод Александрович (1895-1977), поэт, в начальный период близкий к акмеизму

Рожицын Валентин Сергеевич, писатель

Роза, киевская чекистка

Розанов Василий Васильевич (1856-1919), писатель и философ

Романовы, династия

Ростан Эдмон (1868-1918), французский поэт-романтик, драматург

Рублев Андрей (ок. 1360/70 — ок. 1430)

Рудаков Борис Александрович (1857-1921?, расстр.), генерал, в 1920 г. перешел в Красную армию, отец С. Б. Рудакова

Рудаков Игорь Борисович (?—1921?, расстр.), офицер, в 1920 г. вместе с отцом Б. А. Рудаковым перешел в Красную армию

Рудаков Сергей Борисович (1909-1944, погиб на фронте), поэт, литературовед; в 1935-1936 гг. находился в ссылке в Воронеже, где познакомился с Мандельштамом и собирал материалы к его биографии

Рудакова Лина Самойловна (Финкельштейн Полина Самуиловна) (1906-1977), жена С. Б. Рудакова

Рудерман Михаил Исаакович (1905-1984), поэт

Рузвельт (Анна) Элеанор (1884-1962), жена президента Ф. Д. Рузвельта, племянница президента Т.Рузвельта

Руссо Жан Жак (1712-1778), французский философ и писатель-сентименталист

Сабашниковы — Сабашников Михаил Васильевич (1871-1943), Сабашников Сергей Васильевич (1873-1909), книгоиздатели

Санников Григорий Александрович (1899-1969), поэт, друг А. Белого

Сартр Жан Поль (1905-1980), французский писатель, философ-экзистенциалист

Сафо (Сапфо) (VII—VI вв. до н. э.)

Светлов Михаил Аркадьевич (1903-1964), поэт

Свирская (Ростовцева) Татьяна Алексеевна, жена А. И. Свирского

Свирский Алексей Иванович (1865-1942), писатель, автор книги «История моей жизни»

Северянин Игорь (Лотарев Игорь Васильевич) (1887-1941), поэт-эгофутурист

Сезанн Поль (1839-1906), французский живописец-постимпрессионист

Селивановский Алексей Павлович (1900-1938, репрессирован), критик, в 1926-1932 гг. один из руководителей РАППа

Сельвинский Илья (Карл) Львович (1899-1968), поэт, входил в группу конструктивистов

Семенко Ирина Михайловна (1921-1987), литературовед, текстолог, исследователь творчества Мандельштама

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800-1858), писатель, востоковед

Серафимович (Попов) Александр Серафимович (1863-1949), писатель

Сергей Иванович, ташкентский знакомый Н. Я. Мандельштам

Серов Валентин Александрович (1865-1911), художник

Симонов Константин (Кирилл) Михайлович (1915-1979), писатель

Синани Борис Борисович (1889-1911), друг и одноклассник Мандельштама по Тенишевскому училищу

Синани Борис Наумович (1851-1920), психиатр, врач и душеприказчик Г.Успенского, отец Б. Б. Синани

Синявский Андрей Донатович (1925-1997), писатель; в 1966 г. осужден вместе с Ю. М. Даниэлем к заключению в лагере за передачу рукописей за границу

Скрябин Александр Николаевич (1871/72-1915), композитор

Случевский Константин Константинович (1837-1904), поэт, предтеча новейших течений в русской лирике

Солженицын Александр Исаевич (1918-2008)

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900),философ

Соловьев Сергей Михайлович (1885-1942), поэт, племянник и биограф В. С. Соловьева

Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (1863-1927), поэт, прозаик, один из крупнейших русских символистов

Софокл (ок. 496-406 до н. э.)

Спасский Сергей Дмитриевич (1898-1956), поэт, узник лагерей

Спиноза Бенедикт (Барух) (1632-1677), нидерландский философ

Срезневская (Тюльпанова) Валерия Сергеевна (1888-1964), подруга А. Ахматовой

Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900-1943, погиб на фронте), писатель, комиссар в гражданскую войну, активный участник коллективизации и автор повестей о ней, с 1936 г. генеральный секретарь Союза писателей; в 1938 г. написал письмо Н. И. Ежову с просьбой «решить вопрос о Мандельштаме»

Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953)

Стеблин-Каменский Михаил Иванович (1903-1981), филолог-скандинавист

Стенич (Сметанич) Валентин Иосифович (1898-1938, расстр.), поэт, переводчик англо-американской литературы

Стравинский Игорь Федорович (1882-1971), русский композитор и дирижер, с 1910 г. жил за границей

Струве Глеб Петрович (1898-1986), литературовед, редактор (совм. с Б. А Филипповым) первого посмертного Собрания сочинений Мандельштама (Нью-Йорк, 1955) и Собрания сочинений в трех томах (Вашингтон, 1964-1971)

Струве Никита Алексеевич (1931-2016), руководитель парижского издательства «YMCA-Press», редактор журнала «Вестник русского христианского движения», составитель четвертого (дополнительного) тома Собрания сочинений Мандельштама (Париж, 1981)

Судейкин Сергей Юрьевич (1882-1946), художник, сценограф

Суок (Суочек) — сестры Л. Г. Багрицкая и С. Г. Нарбут.

Сурков Алексей Александрович (1899-1983), поэт, литературно-партийный деятель, первый секретарь Союза писателей (1953-1959)

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817-1903), драматург

Т. *см*. Татлин В. Е.

Табидзе Тициан Юстинович (1895-1937, расстр.), поэт, участник группы грузинских символистов «Голубые роги»

Таиров Александр Яковлевич (1885-1950), актер, создатель Камерного театра

Тамерлан (Тимур) (1336-1405)

Тарасенков Анатолий Кузьмич (1909-1956), библиофил, литературный критик, автор статьи о Мандельштаме в первой Литературной энциклопедии (1933)

Тарсис Валерий Яковлевич (1906-1983), писатель; пользовался сомнительной репутацией, в 1962 г. за публикацию произведений на Западе помещен в психлечебницу, в 1966 г. выехал за границу

Тассо Торквато (1544-1595), итальянский поэт

Татлин Владимир Евграфович (1885-1953), художник русского авангарда

Татька *см.* Мандельштам Н. Е.

Тейяр де Шарден Пьер (1881-1955), французский философ, теолог, автор книги «Феномен человека»

Терапиано Юрий Константинович (1892-1980), поэт, критик

Тихон (в миру Белавин Василий Иванович) (1865-1925), с 1917 г. патриарх Московский и всея Руси

Тихонов (псевд. Серебров) Александр Николаевич (1880-1956), писатель, один из руководителей издательства «Всемирная литература» (1918-1924)

Тихонов Николай Семенович (1896-1979), поэт, начинал в жанре революционно-романтической баллады, в 1929-1944 гг. главный редактор журнала «Звезда»

Толстая-Есенина Софья Андреевна (1900-1957), внучка Л. Толстого, жена С. Есенина

Толстой Алексей Николаевич (1883-1945), прозаик, после революции эмигрировал, в 1923 г. вернулся в СССР

Толстой Лев Николаевич (1828-1910)

Томашевский Борис Викторович (1890-1957), литературовед-пушкинист

Тренев Константин Андреевич (1876-1945), драматург

Тренин Владимир Владимирович (1904-1941), литературовед

Тринклер Николай Петрович (1859-1925), хирург

Триоле (Каган) Эльза Юрьевна (1896-1970), писательница, сестра Л. Ю. Брик, жена Л. Арагона

Трубецкой Сергей Николаевич, князь (1862-1905), философ, последователь В. Соловьева

Тураев Борис Александрович (1868-1920), востоковед, академик

Тынянов Юрий Николаевич (1894-1943), литературовед, теоретик формальной школы, автор исторических романов

Тютчев Федор Иванович (1803-1873)

Ульянова Мария Ильинична (1878-1937), сестра В. И. Ленина, в 1917-1929 гг. ответственный секретарь редакции газеты «Правда»

Урицкий Моисей Соломонович (1873-1918, убит), в 1918 г. председатель петроградской ЧК

Усова (Левенталь) Алиса Гуговна (ок. 1892-1951), жена поэта-переводчика Д. С. Усова

Ушинский Константин Дмитриевич (1824-1870/71), педагог

Фадеев (Булыга) Александр Александрович (1901-1956, покончил самоубийством), писатель, один из лидеров РАППа, с 1934 г. в руководстве Союза писателей, с 1946 г. его генеральный секретарь

Федин Константин Александрович (1892-1977), писатель, занимал ряд ведущих постов в Союзе писателей

Федорченко Софья Захаровна (1880-1959), писательница

Флоренский Павел Александрович (1882-1937, расстр.), священник, религиозный философ и ученый-энциклопедист

Франк Семен Людвигович (1877-1950), религиозный философ

Фрейд Зигмунд (1856-1939), австрийский психолог, основоположник психоанализа

Фрида *см.* Вигдорова Ф. А.

Фриче Владимир Максимович (1870-1929), литературовед-марксист

Фурманов Аркадий Андреевич (1890-1962), чекист, брат Д. А. Фурманова

Фурманов Дмитрий Андреевич (1821-1926), писатель

Хазин Александр Абрамович (1912-1976), поэт и драматург, упоминается в докладе А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946)

Хазин Александр Яковлевич (1891-1920?), брат Н. Я. Мандельштам, ушел с белыми из Киева и пропал без вести

Хазин Евгений Яковлевич (1893-1974), брат Н. Я. Мандельштам, литератор

Хазин Яков Аркадьевич (ум. 1930), отец Н. Я. Мандельштам, присяжный поверенный при Киевском окружном суде

Хазина Анна Яковлевна (ум. 1938), старшая сестра Н. Я. Мандельштам

Хазина Вера Яковлевна (ум. 1943), мать Н. Я. Мандельштам, медик

Халатов Артемий Борисович (Арташес Багратович) (1896-1938, расстр.), в 1921-1931 гг. председатель Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), в 1927-1932 гг. председатель правления Госиздата (ОГИЗа)

Ханцын — Ханцин Иза Давыдовна (1899-1985), пианистка, жена А. О. Моргулиса

Харджиев Николай Иванович (1903-1996), литературовед, искусствовед, исследователь футуризма, редактор «Стихотворений» Мандельштама («Библиотека поэта», 1973)

Хармс (Ювачев) Даниил Иванович (1905-1942, погиб в заключении), поэт, писатель, участник группы левого искусства ОБЭРИУ

Хачатурьян (Хач) Асотур Хачатурович (1862-1938), армянский этнограф, историк и археолог

Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885-1922), поэт, «глава» русского футуризма

Ходасевич (Чулкова) Анна Ивановна (1887-1964), жена В. Ф. Ходасевича, сестра Г. И. Чулкова

Ходасевич (в замужестве Дидерикс) Валентина Михайловна (1894-1970), художница, племянница В. Ф. Ходасевича

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886-1939), поэт-символист «младшей классической линии» (Мандельштам)

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860), русский философ-богослов, поэт, славянофил

Хрущев Никита Сергеевич (1894-1971)

Цветаева Анастасия Ивановна (1894-1993), писательница, сестра М. Цветаевой

Цветаева Марина Ивановна (1892-1941, покончила самоубийством)

Цыгальский Александр Викторович (1880-1941), полковник, военный инженер, поэт

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856), мыслитель, автор «Философических писем», оказал большое влияние на историософские воззрения Мандельштама

Чагуа, конвоир батумской тюрьмы

Чаплин Чарлз Спенсер (1889-1977), американский киноактер и режиссер

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869-1942), математик, академик

Чаренц (Согомонян) Егише Абгарович (1897-1937, расстр.), армянский поэт

Чернышевский Николай Гаврилович (1828-1889)

Чехов Антон Павлович (1860-1904)

Чехов Михаил Александрович (1891-1955), артист, племянник А. П. Чехова

Чечановский Марк Осипович (1899-1980), в начале 30-х гг. редактор издательства «Художественная литература»

Чудовский Валериан Адольфович (1882-1938, расстр.), критик, стиховед, сотрудник журнала «Аполлон»

Чуковский Корней Иванович (Николай Васильевич Корнейчуков) (1882-1969), критик, литературовед, детский писатель

Чуковский Николай Корнеевич (1905-1965), писатель, сын К.Чуковского

Чулков Георгий Иванович (1879-1939), писатель-символист

Шагал Марк Захарович (1887-1985), художник

Шагинян Мариэтта Сергеевна (1888-1982), писательница

Шаламов Варлам Тихонович (1907-1982), поэт, прозаик, многолетний узник лагерей; в «Колымских рассказах» оставил ярчайшее свидетельство о лагерном «мироподобии»

Шарден *см.* Тейяр де Шарден Пьер.

Шекспир Уильям (1564-1616)

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854), немецкий философ

Шенгели Георгий Аркадьевич (1894-1956), поэт, переводчик, стиховед

Шёнберг Арнольд (1874-1951), австрийский композитор-модернист

Шилейко Владимир (Вольдемар) Казимирович (1891-1930), ученый-востоковед, в 1918-1921 гг. муж А. Ахматовой

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759-1805)

Шишмарев Владимир Федорович (1875-1957), филолог, академик

Шкловская (Корди) Василиса Георгиевна (1890-1977), жена В. Б. Шкловского

Шкловский Виктор Борисович (1893-1984), писатель, литературовед, теоретик формальной школы

Шолохов Михаил Александрович (1895-1984)

Шопен Фридерик (1810-1849), польский композитор

Шопенгауэр Артур (1788-1860), немецкий философ «волевого познания», автор книги «Мир как воля и представление»

Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906-1975), композитор

Шпенглер Освальд (1880-1936), немецкий философ культуры, автор книги «Закат Европы», ниспровергатель идеи сквозного поступательного прогресса

Шпиковский Николай Григорьевич (1897-1977), кинорежиссер

Штемпель Наталья Евгеньевна (1910-1988), уроженка Воронежа, преподаватель русского языка и литературы, преданный друг О. Э. и Н. Я. Мандельштамов, автор воспоминаний о поэте

Штернберг — Штеренберг Давид Петрович (1881-1948), художник, в 1918-1923 гг. зав. Изобразительным отделом Наркомпроса РСФСР

Шуберт Франц (1797-1828), австрийский композитор

Щербаков Александр Сергеевич (1901-1945), в 1934-1936 гг. первый секретарь Союза писателей, в 1935-1936 гг. зав. отделом культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б)

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898-1948), кинорежиссер

Эйхенбаум Борис Михайлович (1886-1959), литературовед формальной школы

Экстер (Григорович) Александра Александровна (1884-1949), художник-авангардист, в 1918-1920 гг. руководила мастерской декоративного искусства в Киеве

Элиот Томас Стерн (1888-1965), англо-американский поэт и критик

Эльсберг (Шапирштейн) Яков Ефимович (1902-1976), в 20-е гг. критик-рапповец, литературовед, одно время работал секретарем Л. Б. Каменева; после XX съезда КПСС получила огласку его деятельность осведомителя

Элюар Поль (1895-1952), французский поэт-авангардист

Энгельгардт Борис Михайлович (1887-1942), литературовед

Эпштейн Марк Исаевич (1899-1949), скульптор, рисовальщик-иллюстратор, сценограф

Эренбург Илья Григорьевич (1891-1967), писатель

Эренбург Ирина Ильинична (1911-1997), дочь И. Г. Эренбурга

Эренбург (Козинцева) Любовь Михайловна (1900-1970), жена И. Г. Эренбурга, сестра Г. М. Козинцева

Эсхил (ок. 525-456 до н. э.)

Эфрон Ариадна Сергеевна (1912-1975), дочь М. Цветаевой и ее биограф, переводчик, узница лагерей

Эфрос Абрам Маркович (1888-1954), искусствовед

Юркун (Юркунас) Юрий (Иосиф) Иванович (1895-1938, расстр.), писатель

Якобсон Роман Осипович (1896-1982), русский и американский лингвист, литературовед

Якулов Георгий Богданович (1884-1928), художник

Ярослав Мудрый (ок. 978-1054)

Яхонтов Владимир Николаевич (1899-1945), актер-чтец, создатель «Театра одного актера», друг и почитатель Мандельштама

Оглавление

«Я» 3
Потрава 15
«Мы» 26
Лишний акмеист 34
Трое 45
Пятеро 56
Возвращение 68
Распад 78
В пути 86
Современники 96
Хлебников 108
Чад небытия 118
Молодой левит 126
Жилплощадь в надстройке 139
В преддверье 153
Первые ссоры 162
Встреча в редакции 175
Память 183
Страх 197
Обрывки воспоминаний 213
Медовый месяц и кухарки 221
Промежуток 240
Пограничная ситуация 248
Нищий 261
Наш союз 272

Скрытые автопризнания 285
Этапы 299
Этапы моей жизни 310
Отступление в сторону 318
  I. Гибельная свобода 318
  II. Свобода и своеволие 326
  III. Мужики 338
Стихи и люди 352
  I. Читатель 352
  II. Несовместимость 363
  III. Два полюса 373
  IV. *Литературоведенье* 384
  V. Признанный поэт 390
Большая форма 399
  I. Трагедия 399
  II. «Пролог» 414
  III. Постановление 421
  IV. Сон во сне 426
  V. Бытовые детали 433
  VI. Судилище 442
  VII. Единство потока 454
  VIII. Фальшивые кредиторы 468
  IX. Функционер 478
  X. Вставка и деталь 485
  XI. Тяга 494
  XII. Черновик 501
  XIII. «Поэма без героя» и моя обида 506

Первая встреча 516
Ольга Глебова-Судейкина 525
Старые друзья 532
Блудный сын 546
I. Начало и конец 546
II. Немножко текстологии 555
III. «Стихи о неизвестном солдате» 563
IV. Культуропоклонство 570
V. Недобор и перебор 578
VI. Вечный жид 584
VII. Родословная 591
VIII. Отщепенец 600
IX. Стеклянный колпак 614
X. Сила зрения 626
XI. Начальник евреев 637
Назидательная история 649
Полная отставка 658
Оправданье времени 664
«Они» 680
Добрый человек 695
Годы молчанья 707
Последнее письмо 721
Указатель имен 724

Литературно-художественное издание

Надежда Яковлевна Мандельштам

Вторая книга

12+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16